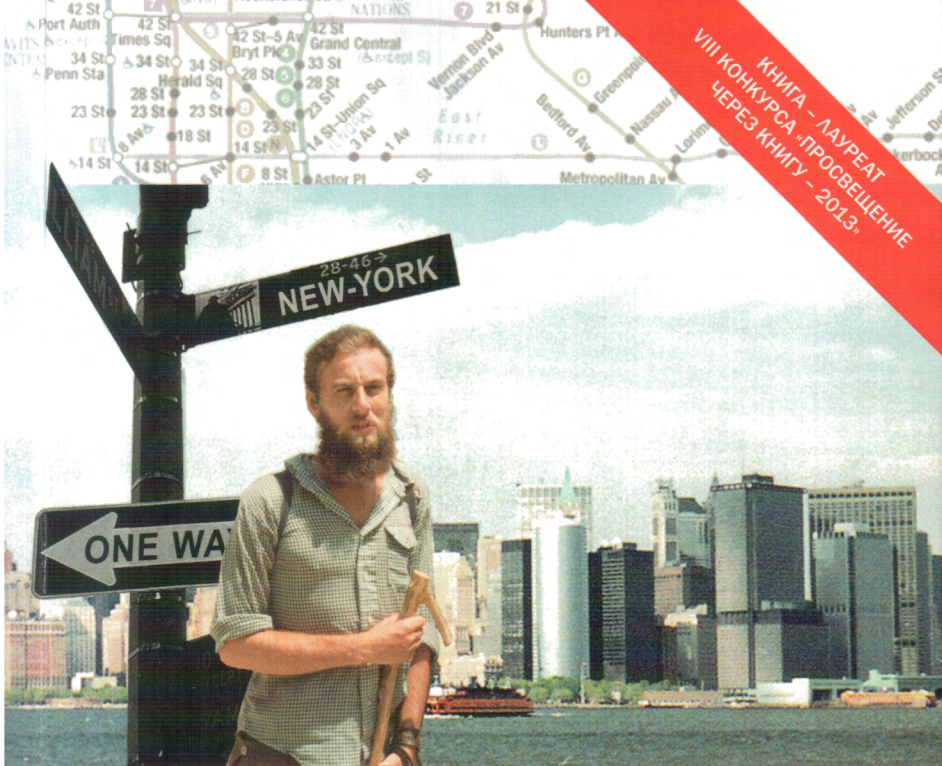


КНИГА – ЛАУРЕАТ
VIII КОНКУРСА «ПРОВЕЩЕНИЕ
ЧЕРЕЗ КНИГУ – 2013»

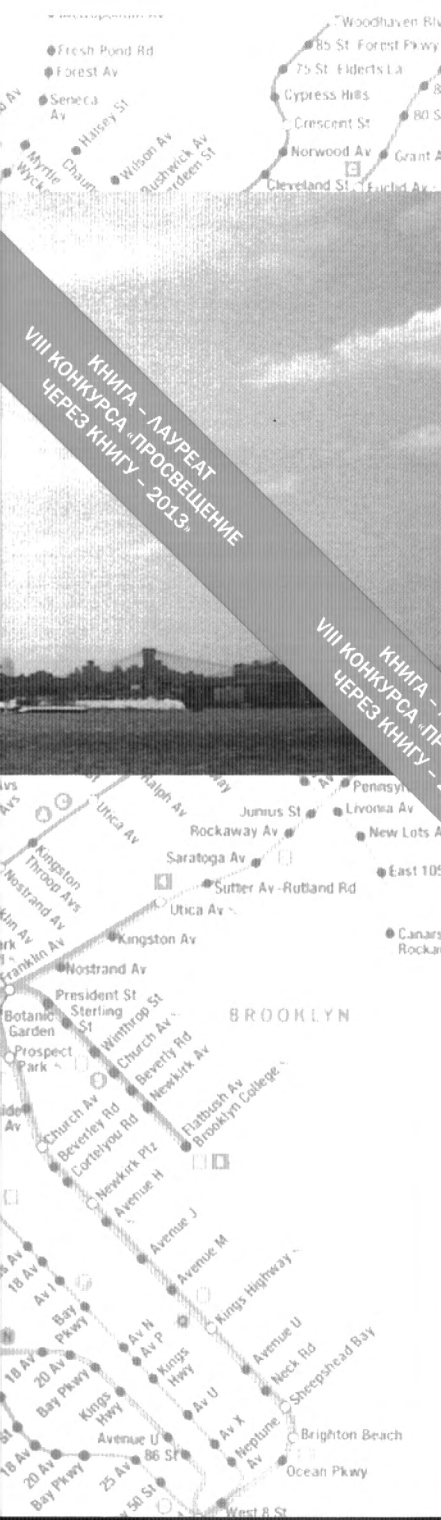


Александр Дворкин

МОЯ АМЕРИКА

Автобиографический роман в двух книгах
с прологом и двумя эпилогами

155

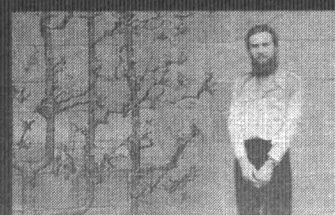
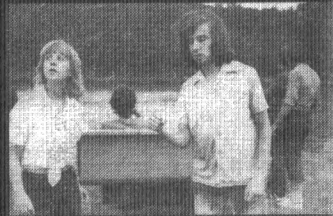


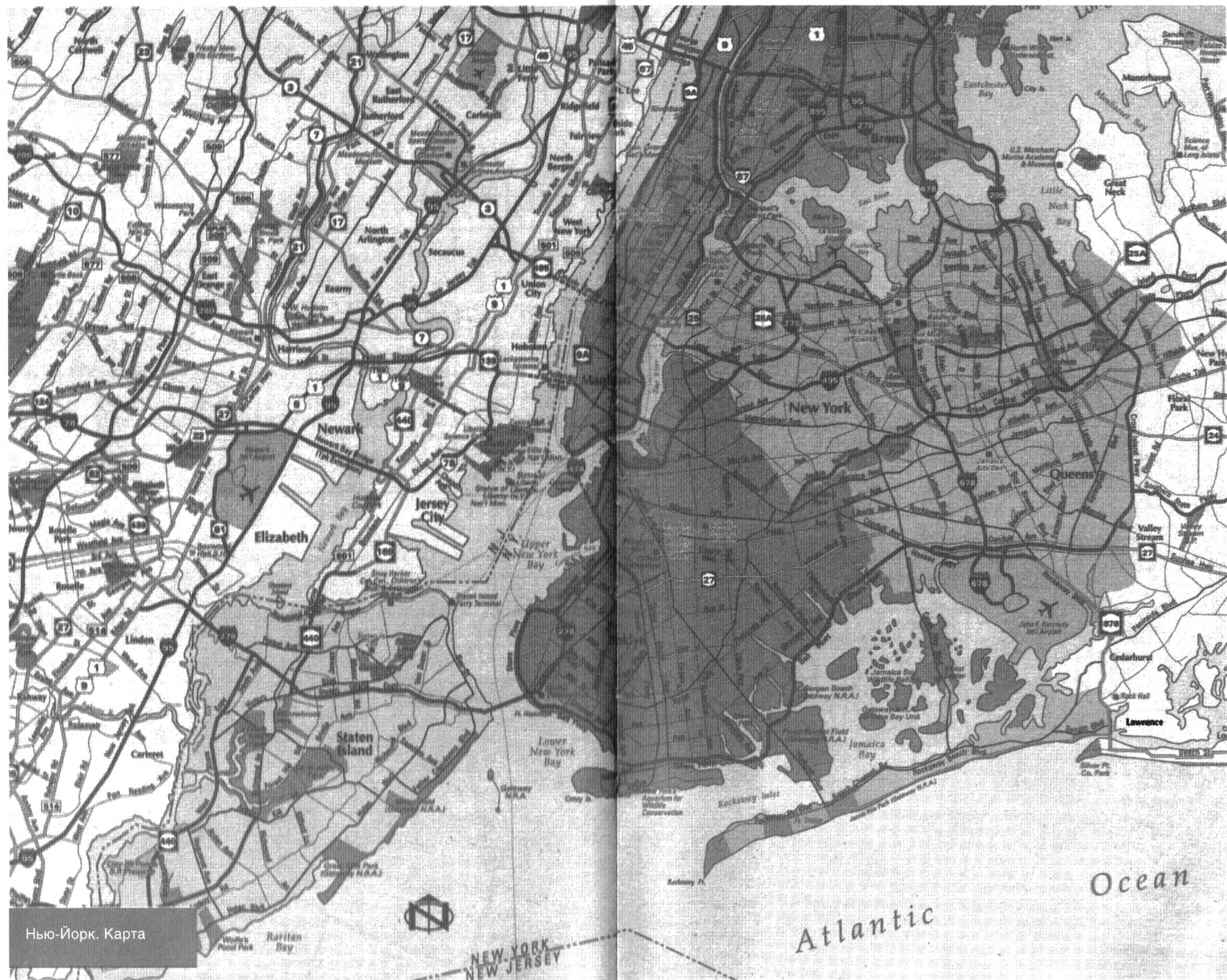
VIII КОНКУРСА - ЛАУРЕАТ
ЧЕРЕЗ КНИГУ - 2013

VIII КОНКУРСА - ЛАУРЕАТ
ЧЕРЕЗ КНИГУ - 2013

Александр Дворкин МОЯ АМЕРИКА

Автобиографический роман
в двух книгах с прологом
и двумя эпилогами

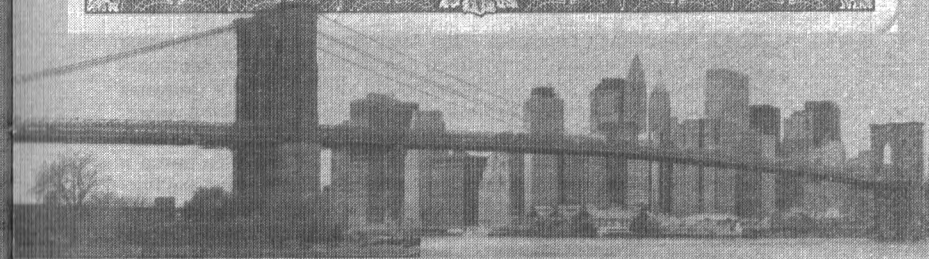
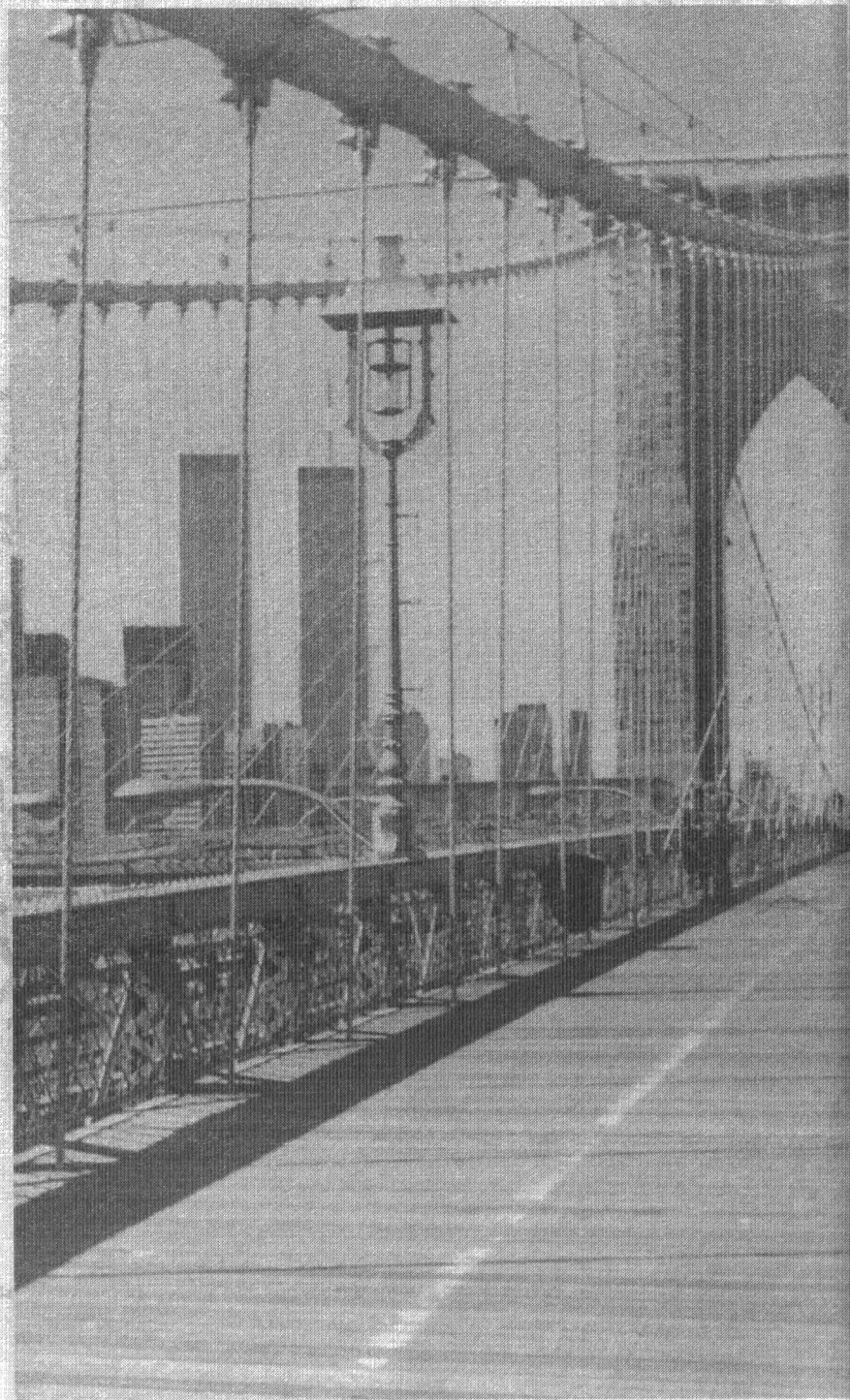




Нью-Йорк. Карта

NEW YORK
NEW JERSEY

Atlantic Ocean



Издание второе, исправленное



Издательство «Христианская библиотека»

Нижний Новгород • 2013

УДК 82-312.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Д 24

Допущено к распространению Издательским Советом
Русской Православной Церкви, ИС 13-304-0328

Издательство «Христианская библиотека»
является участником ассоциации «Православная книга».

Дворкин А. Л.

Д 24 **Моя Америка** : Автобиографический роман в двух книгах с прологом и двумя эпилогами / Александр Дворкин. Предисловия прот. Димитрия Смирнова, О. Николаевой. Нижний Новгород : Издательство «Христианская библиотека», 2013. — Изд. 2-е, испр. — 795 с., илл.

ISBN 978-5-905472-16-9

Книга Александра Дворкина «Моя Америка» — это многоплановое увлекательное чтение, остроумное беллетризованное повествование о похождениях молодого московского хиппи в США и мемуары о его учителях — протопресвитере Александре Шмемане и протопресвитере Иоанне Мейендорфе, а также о тех людях (как широко известных, так и никому не ведомых), которых встречал автор и в Свято-Владимирской академии, и на Афоне, и в Америке, и в России. Книга также ценна тем, что несет в себе свидетельство очевидца драматических отношений между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью накануне их воссоединения. Книгу «Моя Америка» А.Л. Дворкина можно назвать богоискательским романом — стремление к Истине, обращение к Богу, просвещение, крещение, таинственная жизнь в лоне Церкви составляют стержень, на котором держатся разноплановые впечатления, картинки, сценки, портреты.



Издано по заказу ООО «РИЗА», г. Москва

ISBN 978-5-905472-16-9

© Дворкин А.Л., текст, 2013
© ООО Издательство «Христианская
библиотека», оформление, макет, 2013

УДК 82-312.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Дорогой Читатель!

В последнее время в русской жизни появился новый интересный и важный феномен — литература воцерковленных людей. Все чаще выходят книги, захватывающие новый для читателя пласт бытия — жизнь Церкви и верующих людей. В списке таких авторов, как Олеся Николаева, Майя Кучерская, архимандрит Тихон (Шевкунов) и других, появилось еще одно имя — Александр Дворкин. Перед Вами очередная его книга — «Моя Америка».

Когда поднялся «железный занавес», ожидалось, что в уже свободную Россию приедут тысячи людей, которые поделятся своим опытом жизни в свободном мире, в свободной Церкви. Но единственным, кто вернулся, был Александр Леонидович Дворкин, который, прожив в Америке многие годы и получив там блестящее богословское образование, приехал на Родину, чтобы послужить Церкви и отечеству... Надо сказать, что вернулся он вовсе не от плохой жизни: в Америке он был прекрасно устроен и востребован, но своим христианским долгом и призванием считал именно служение в России, куда и приехал сразу, как только появилась такая возможность, — в начале 1990-х. И занялся труднейшей работой (с нуля!) — борьбой с опаснейшим врагом человека — сектами. Он ведет поистине апостольскую деятельность как абсолютно бескомпромиссный христианин. То, что он сделал в одиночку, а потом со своими товарищами, есть настоящий подвиг, который еще будет оценен по достоинству. Вполне закономерно, что многие в России его не принимают, относятся к нему с подозрением. Ведь наше современное — в том числе и церковное — общество настроено на мифологический лад. Причем в сознании людей эта мифология имеет не агиографический, а скорее самоизмышленный характер. И деятельность Александра Дворкина как раз направлена на развенчание такой вот бытовой мифологии.

Кроме того, его служение чрезвычайно опасно. Сектантство ведь зиждется на системе финансовых пирамид. И после убийства отца Даниила Сысоева Дворкин остается фактически единственным, кто ведет борьбу на этой опасной почве. По-хорошему, для противостояния этой духовной болезни

нашего общества должен быть создан целый отдел безопасности — с аппаратом, с финансированием, с привлечением определенных сил. Александр Дворкин же мужественно сражается практически в одиночку.

Именно поэтому так интересна эта книга: о нынешней деятельности Дворкина мы все более или менее знаем, тогда как «Моя Америка» повествует о предшествующем пути — о том, как молодой человек оказался в «ином» мире и как он оттуда вернулся домой. Во-первых, необычайно увлекателен рассказ об американской жизни, описанной изнутри, с изнанки. Одно дело — приехать в Америку в гости, увидеть ее внешним взглядом, и совсем другое — посмотреть на нее глазами эмигранта, двадцатилетнего хиппи, которому пришлось проделать путь жизненного и духовного становления с самого начала, с низов, с работы посудомойки и вплоть до крещения и учебы в Свято-Владимирской академии. Этот внутренний и профессиональный рост — в чужой стране выйти в люди и самому стать ученым, несомненно, стоит немало труда и самодисциплины.

Во-вторых, в этой книге поражает истинно христианское отношение к жизни и к испытаниям судьбы. Получив прекрасное образование, достигнув определенного положения и встав на ноги, Александр Дворкин бросает все и возвращается на Родину. Как говорится, гол туда приехал, гол и уехал. Дворкин строит повествование с точки зрения своего пути к Богу, под знаком христианского становления. Само по себе его обращение к Церкви вполне естественно и закономерно: человек часто приходит к Богу в экстремальной ситуации. В чужой стране, в изоляции от близких и от своей среды гораздо естественнее стремиться к духовной пище и традициям своего народа. Поэтому путь автора-героя к Богу был прямым, без лишних ответвлений. Именно таковым он предстает в книге.

Кроме того, «Моя Америка» представляет собой бесценное свидетельство о великих людях, с которыми автора свел Господь. Воспоминания об отце Александре Шмемане, отце Иоанне Мейендорфе, отце Георгии Флоровском и многих других потрясающих людях, с которыми Александр Леонидович близко общался, добавляют живые штрихи к их портретам.

Помимо увлекательного повествования о ярких и промыслительных событиях в судьбе Александра Леонидовича, воспоминания имеют и множество других, в том числе и литературных, достоинств. Читается залпом! Сердечно хочется выразить благодарность автору книги, открывающей чрезвычайно интересные странички подлинной американской церковной жизни, свидетелем и участником которой он был.

Протоиерей Димитрий Смирнов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Недавно мы отмечали двадцатилетие церковной свободы. Видимо, настало время собирать кое-какие плоды, приносить личные свидетельства действия в мире неусыпающей благодати Божьей, призывающей тех, кто родился и вырос в стране с тысячелетней историей Православия, но в такие безбожные времена, когда целью государственной политики было полное уничтожение Церкви с показательной демонстрацией народу «последнего попа».

Книга Александра Дворкина «Моя Америка» — одно из таких свидетельств. Это автобиографическое произведение по своей канве напоминает авантурный роман — столь много здесь захватывающих приключений, авантурных сюжетов, скитаний, странствий, духовных блужданий, обольщений, разочарований, открытий и откровений, испытаний и искушений, которые предстоят герою.

А герой — это молодой человек, московский хиппи, своего рода длинноволосый и джинсовый «хипповский профи» начала семидесятых годов, входящий в Систему, знакомый с легендарным вождем хиппи Солнышко, посещающий подпольные «сейшны», путешествующий к теплому морю автостопом, удостоенный милицейских разбирательств и даже несколькихдневного тюремного заключения с насильственным обриванием головы.

В поисках истинной свободы и вольных людей, настоящих, подлинных хиппи, этих «детей цветов», герой отправляется «на страну далече», а именно эмигрирует по израильской визе через Вену и Рим в США... Здесь и начинается настоящая «школа жизни»: истории забавные и страшные, события удручающие и чудесные, люди, порой полубезумные, порой премудрые... Тесен и узок путь к подлинной свободе!

Можно назвать книгу и богоскательским романом — ведь стремление к Истине, обращение к Богу, просвещение, крещение, таинственная жизнь в лоне Церкви составляют тот фабульный стержень, на котором держатся разрозненные впечатления, картинки, сценки, портреты. Что ж, порой дорога в храм на соседней московской улице лежит через Европу, Великий океан и Америку... Вечный сюжет «Синей птицы».

Это многоплановое увлекательное чтение, сочетающее почти документальные сведения и описания, наблюдения очевидца, остроумное беллетризованное повествование и мемуары о тех замечательных людях, которых встречал автор и в Свято-Владимирской академии, и на Афоне, и в Америке, и в России, и вообще «на просторах земли».

Но, может быть, не менее интересным оказывается здесь сам образ героя-автора, этого ловца свободы, искателя смысла и взыскателя Истины, которому Промысл попустил пересечь половину мира, истоптать, как в старых добрых сказках, «семь железных сапог», изжевать «семь железных хлебов», прежде чем он пришел туда, куда и назначено было ему прийти. Удивительно, но и многие его современники, также из советских эмигрантов, с которыми так или иначе связан герой повествования, тоже, вроде бы вопреки всему – окружающей жизни, чужой стране и ее ценностям, то есть «ими же веши судьбами», приходят к исповеданию Единой Истины: кто-то из них так даже и уходит в монастырь. Воистину «Свет Христов просвещает всех».

Книга Александра Дворкина ценна еще и тем, что несет в себе свидетельство очевидца исторических церковных событий, а именно – драматических отношений между Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью накануне их воссоединения. И наконец, подлинным украшением этого повествования являются мемуары о выдающихся богословах и проповедниках, клириках Американской Церкви – протопресвитере Александре Шмемане и протопресвитере Иоанне Мейендорфе, чьим учеником в Свято-Владимирской академии был автор. В эту портретную галерею попали и другие преподаватели, и студенты, а также священнослужители и члены Зарубежной Церкви и даже католики, с которыми Александр Дворкин водил знакомство, когда писал диссертацию и собирал материалы к ней, работая в Руссикуме.

Перед каждым, кто пишет мемуары об известных или еще живых людях, вправленных в исторический контекст, всегда стоит непростая дилемма. Можно, ко всеобщему спокойствию, написать их «парадными красками» и покрыть «юбилейным лаком». Но это всегда так или иначе нивелирует предмет изображения, лишая его тех индивидуальных черт и характерных черточек, которые запечатлевают опыт личного свидетельства.

А можно пойти по более рискованному пути и попытаться зафиксировать именно ту картину, очевидцем или участником которой был автор. Со всеми характерными деталями, красноречивыми подробностями, конфликтами и подводными камнями. Со всем ее драматизмом. Для автора это порой

чревато опасностью навлечь на себя, в лучшем случае, неудовольствие своих персонажей, их окружения или просто заинтересованных людей. Неудовольствие, обиду, а то и гнев.

Таких «рискованных» наблюдений много в книге Александра Дворкина. Но тем самым он дает читателю пищу для размышлений и свободу делать собственные выводы. Ведь добросовестные мемуары – это, в отличие от исторического, социологического или этнографического исследования, жанр, по определению, субъективный.

В любом случае чтение это преумножит наше знание о современном человеке, о мире, в котором мы живем, и о тайных путях сердца, по которым человек приходит к Богу. Что касается Александра Дворкина, то его книга еще и о том, как он жаждал свободы, а обрел Свободу, искал смысла, а нашел Смысл.

Олеся Николаева



Ты создал нас для Себя,
и не знает покоя сердце наше,
пока не успокоится в Тебе.

Блаж. Августин

Для христиан всякая чужая страна есть отечество
и всякое отечество – чужая страна...
Они находятся на земле, но суть граждане небесные.

Послание к Диогнету

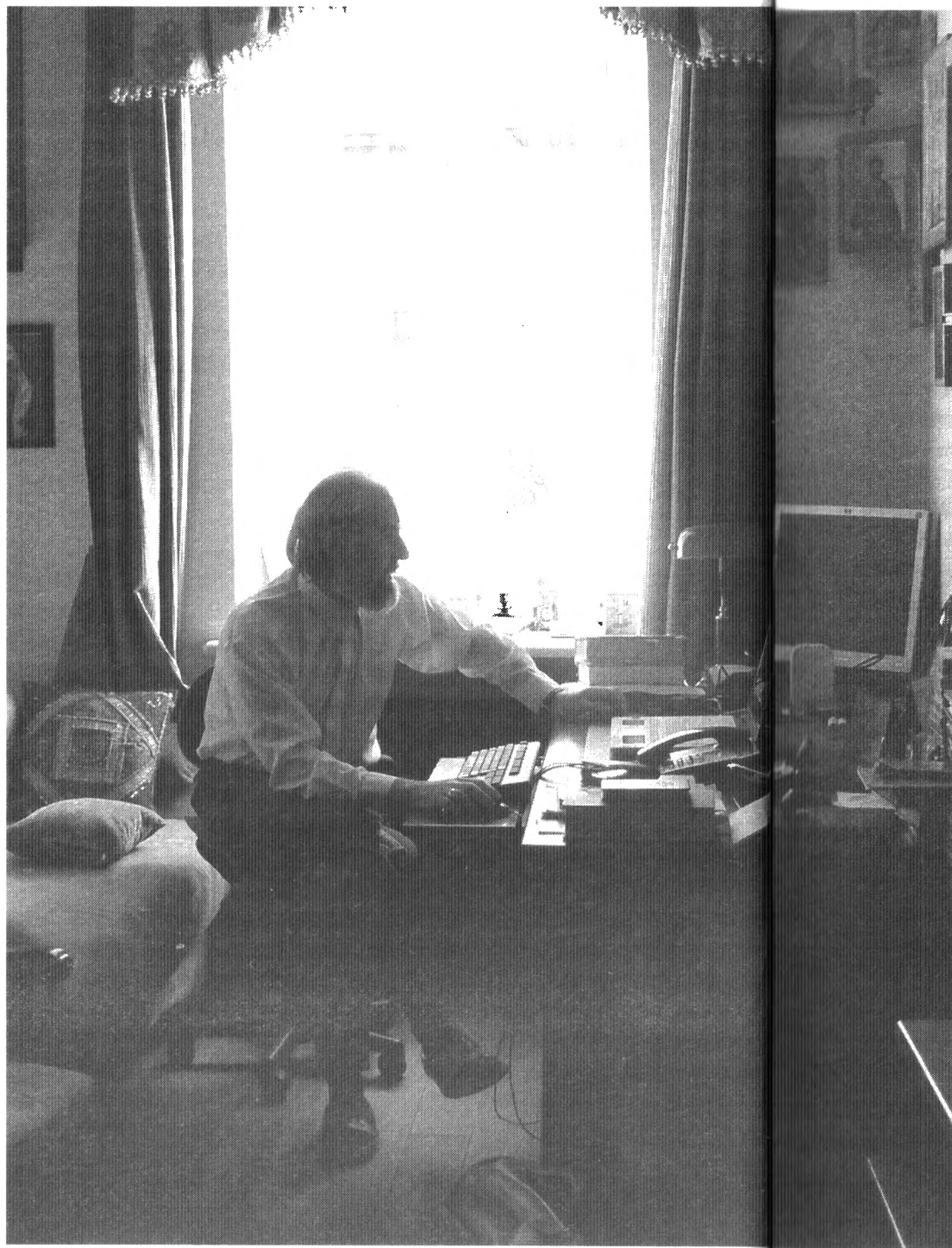


ПРОЛОГ

АМЕРИКА И Я

И ненавижу ее и люблю.
Почему же? — ты спросишь.

Катулл



С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ: СТАРЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ

В мае 2003 года в журнале «Фома» было опубликовано большое биографическое интервью со мною. Когда зашел разговор о том, почему я вернулся из американской эмиграции на родину, я ответил так:

– Это, действительно, нужно объяснить. Недавно на нашем интернетовском форуме переехавший в США несколько месяцев назад Е. К. написал (в ответ на мои мысли по поводу Америки) буквально следующее: «Американцы – люди, довольно терпимые и уважающие чужую личность. Дворкин – антиамериканец с головы до ног, хотя и имеет в кармане американский паспорт. Если бы Вы хоть немного пожили в Америке и почувствовали ту атмосферу духовной свободы, которая царит здесь, Вы бы ни за что так не сказали».*

Что тут сказать? Я прожил там пятнадцать лет – двенадцать лет в Нью-Йорке и три года в Вашингтоне. Я застал еще другую Америку – страну, в которой чувствовалось ее христианское (пусть даже пуританское) прошлое, страну, которая, увы, навсегда уже исчезла.

Не стоит обвинять меня в «антиамериканизме» – я очень люблю Америку,

* Один из активных участников «старого» форума диакона Андрея Кураева, на котором я в ту пору вел рубрику. – Здесь и далее примечания автора.

особенно ту, которую я еще успел застать и которая безвозвратно канула в Лету. С поразительной скоростью, за какой-то десяток лет, протекла, как песок сквозь пальцы. Сейчас это во многом уже совсем новая страна, закованная в резиновые путы политкорректности, страна экономического принуждения и все более усиливающегося глобального контроля. Страна, полностью отрекшаяся от своего христианского прошлого (заметьте, без помощи коммунистических гонений, а так – добровольно). И антихристианские силы продолжают вытеснять последние остатки воспоминаний о христианстве из всей общественной жизни.

В той Америке еще была хоть какая-то свобода. В нынешней и этого уже нет. А тем более нет духовной свободы. Есть политкорректность, доведенная до абсурда, есть экономическое рабство и есть вседозволенность греха и разврата. Унесогласных есть свобода молчать.

Ну-ка, попробуйте, выскажитесь публично против гомосексуализма, и посмотрим, надолго ли Вы останетесь в стране! Или сообщите своим коллегам, что Вы принадлежите к единственной истинной Церкви (может быть, Вы так не считаете, но есть люди, придерживающиеся такого мнения, и они вроде бы должны иметь свободу его высказывать), и посмотрите на их реакцию. Или попробуйте шлепнуть своего ребенка (да зачем шлепать – лишите его в наказание десерта за обедом) и на завтра ждите повестки из суда за издевательство над малолетним: в школе психологи учат самых маленьких крошек «павликоморозить» на своих родителей по самому ничтожному поводу! И не надо уверять, что, дескать, можно иметь свое мнение. Можно, но осторожно. И не делиться им с коллегами по работе. И не стоит думать, что, дескать, можно прожить на «вэлфере» (пособии социального обеспечения) – бедненько, но с гордостью. Во-первых, вэлфер – его далеко не так просто получить (особенно если вы не принадлежите

к признанному расовому меньшинству). А во-вторых, пособие, может, конечно, и обеспечило бы прожиточный минимум средней российской семьи, но на американском уровне жизни вэлферное существование таково, что его никакому врагу не пожелаешь. И никто, кроме тех самых меньшинств, добровольно на вэлфер ни за что не пойдет.

Некоторые утверждают, что члены Зарубежной Церкви, дескать, открыто настаивают на своей исключительности. Однако заметим, что не на работе. Скажем, протоиерей В. П. с 9 до 5 на «Голосе Америки» – самый яркий экуменист, такой, что и патриарху Афинагору не снилось. А что он в воскресенье с амвона говорит, так это в четырех стенах в закрытом помещении... Можно еще сослаться на меткое замечание ректора Свято-Владимирской академии протопресвитера Фомы Хопко, что в США определение дозволенных религиозных собраний полностью совпадает с определением дозволенной порнухи: «То, что в закрытом помещении делают между собой согласные совершеннолетние люди». Характерно, не правда ли?

Продолжать можно было бы долго, да чего там. Да, в этом обществе редко сажают в тюрьму (хотя могу привести много подобных вопиющих случаев). Но есть реальные – экономические – рычаги принуждения. Если все живут в долг – на пластиковую карточку, то угроза потерять работу из-за некорректности и в одночасье лишиться всего (от дома и машины до медицинской страховки) страшнее всего.

Но главное – это социальное давление, ибо каждый человек на определенной ступени общественного положения должен ему соответствовать – иметь соответствующий дом в соответствующем районе, с соответствующим газонам, который нужно косить на соответствующем тракторе, соответствующую машину, соответствующую мебель, проводить несчастные две недели ежегодного отпуска

на соответствующем курорте, посылать детей в соответствующую школу или колледж и так далее. Повышение по службе — извольте все это менять, чтобы новые коллеги на ежегодной ратту* не заметили бы никаких несоответствий в члене их круга. Поэтому, как бы ни повышалось ваше жалование, соответственно повышаются и расходы, и человек всегда живет в месяце от полного разорения (вдруг выгонят — и оплачивать счета будет нечем). Попробуй тут не соответствовать политкорректности!

Мне говорят — там свобода? Уверю вас, что сейчас, в данный исторический момент Россия — самая свободная страна в мире, потому что пока у нас еще есть возможность позволить себе всегда быть самим собой, выражать свое мнение, называть черное черным, а белое — белым и не бояться при этом за свое будущее**.

Кстати сказать, по количеству смертных казней эта, самая свободная и демократическая страна (США) оставляет далеко позади многие «банановые» и «кокосовые» диктатуры.

Помимо прочего, Е. К. написал, что религиозность американцев гораздо выше, чем у россиян, и что в церкви в Америке ходит гораздо больший процент людей, да и ходят они гораздо чаще. Но ведь главное-то не в том, сколько людей в церкви, а в том — зачем они туда ходят. А вот это г-н К. сможет узнать лишь позже, когда поближе познакомится с этими людьми и получше выучит английский язык. Когда сумеет отличать показную и ни к чему не обязывающую любезность от действительного интереса к человеку и заботы о нем (хотя, честно скажу, этой «уличной любезности» мне в Москве очень сильно не хва-

* Вечеринке (англ).

** Напоминаю, что этот текст был написан в начале 2003 г. С тех пор в нашей стране многое изменилось и, боюсь, не в лучшую сторону. Хотя по степени всеобъемности диктатуры политкорректности пока еще США нас далеко опережают.

тает, а постоянные телесные толчки друг друга в транспорте переживаю очень тяжело). Да, эта любезность весьма облегчает жизнь и уличные перемещения. Но все же она — не критерий уровня христианизации общества.

И, кстати сказать, у этой любезности есть и обратная сторона — всеобщее доноительство. Вообще, настулать на ближнего здесь считается достоинством, и об этом с гордостью рассказывают. Особенно в провинции. В Нью-Йорке, где я жил дольше всего, слава Богу, хоть меньше обращают внимания друг на друга. Также США — это страна сутяг. Так, как судятся здесь, не судятся ни в одной стране мира. Очень популярны рассказы о ловкаче, который отсудил у своих ближних (или у государства, или у фирмы, или у страховой компании, или у своего врача и пр.) несколько миллионов долларов и теперь до конца жизни может отдыхать на Карибах*.

И возвращаясь к церковной тематике, могу напомнить слова уважаемого Вами отца Александра Шмемана, как-то сказавшего, что по приезде в Америку его поразила эта страна, где банки выглядят, как церкви, а церкви — как банки.

Е. К. еще написал: «Поэтому, собственно, он (в смысле я. — А. Д.) и не остался там. Можно всю жизнь прожить в клетке и, не зная о существовании воли, считать, что весь мир такой же полосатый, восхваляя при этом свою собственную клетку как самую лучшую. Но попав однажды из рабства на свободу, захотеть снова идти в рабство — у меня это в голове не укладывается».

Я хочу ответить и на это. Е. К., видимо, просто не понимает, что человек хочет жить и работать на своей Родине. Что он знает о несвободе? Он и не жил в СССР (может, пионером разве что успел побыть). В рабство я

* Я знал некоторых американцев, мечтающих о том, чтобы их покусала соседская собака. Тогда благосостояние на долгие годы и безбедная старость обеспечены!

не возвращался — я вернулся в свободную Россию, чтобы свободно жить и работать в ней. Я понимаю, что аргумент о Родине кому-то ничего не говорит. Тогда скажу так:

Я больше не пишу скучнейшие новости на третьесортной радиостанции, которая называется «Голос Америки». Я также не вынужден ради академической карьеры ехать в оклахомскую или техасскую глушь, чтобы учить средневековой истории детей местных фермеров, потянувшихся к высшему образованию и просяживающих штаны на глубоко неинтересных им предметах ради заветного университетского диплома, который потом можно повесить в рамочку на стену. Поймите меня правильно: в том, что я написал, нет никакого снобизма. Фермерские сынки, несомненно, старательно учатся, так как денежки уплачены, а образование нужно для более престижной и высокооплачиваемой работы. Однако они совсем не любят учить историю, которую им для чего-то нужно проходить, а к будущей работе отношения она никакого не имеет.

Я живу в одном из самых красивых, интересных и динамичных городов мира — великом культурном центре — моем родном городе. И уж коль скоро я православный, — в городе с самой напряженной, разнообразной и интересной церковной жизнью в мире. Я работаю для своей Церкви (то есть отрабатываю свое богословское образование), и я вижу, что мой труд приносит реальные плоды.

Я абсолютно свободен. Да, мое материальное положение несравнимо с тем, тогдашним американским. Да, часто я не знаю, чем я в следующем месяце буду платить за квартиру. Но зато я ощущаю себя в руках Господа и, как никогда, доверяю Ему. Я рад принять от Него все, что бы Он ни послал, и пока мне еще не доводилось нуждаться ни в чем.

Понимаете, свобода не приобретается горизонтальными перемещениями! Свободный человек свободен повсюду — даже в США, хотя там это сложнее. С возрастом начинаешь понимать это отчетливей. И могу сказать одно:

не стань я православным в Америке, я, наверное, никогда не вернулся бы в Россию. Но будь я православным в России (пусть даже в СССР), я, наверное, никогда не уехал бы из нее в Америку.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Естественно, после публикации этого текста обвинения в моем «антиамериканизме» еще более усилились. Однако нужно учитывать, что слова эти писались в полемике, в ответ на безудержное восхваление США и всей тамошней жизни. Текст давний, и сегодня я написал бы его немного по-другому. Во всяком случае, некоторые акценты, наверное, расставил бы иначе. Но и сейчас для нашего общества характерна поляризация мнений об Америке: либералы восхищаются абсолютно всем, что есть в этой стране, а консерваторы все столь же категорически отвергают.

Америка — очень большая и очень разнообразная страна, которую невозможно охарактеризовать одной фразой и которую невозможно описать в одной статье. Как и всюду, в ней есть не меньше хорошего, чем плохого. Очень многим в ней я восхищаюсь, многое мне хотелось бы перенести в Россию. Мне нравится замечательная американская приветливость и открытость. Если чуть-чуть отъехать от Нью-Йорка, то сталкиваешься с совершенно сельским отношением друг к другу (хотя, парадоксальным образом, в Америке нет деревень — лишь города, городки и стоящие отдельно фермы). Даже в столичном Вашингтоне, если идешь по улице и встречаешься взглядом с прохожим, он, скорее всего, с тобой, улыбнувшись, поздоровается. Когда в годы поздней перестройки моя мама впервые смогла навестить меня, она восхитилась такой приветливостью. Я ворчливо ответил, что это — ненастоящее, неискреннее, что встретившимся прохожим мы совершенно безразличны и что здороваются они просто

так, по привычке. На что мама ответила чеканной формулой: «Пусть лучше мне фальшиво улыбнутся, чем от души нахамят!»

Обратная сторона этой медали – то, что американец всегда, при всех обстоятельствах обязан улыбаться. Он не имеет морального права жаловаться на проблемы, не может говорить о том, что у него плохо, всегда должен все держать в себе и сам справляться со своими проблемами. В результате я постоянно сталкивался с феноменом под названием «nervous breakdown». На русский это переводится как «нервный срыв», но на самом деле это – нечто большее. Выражается он в полном отказе всех тормозов. Переживающий этот самый breakdown может, например, раздеться на улице, начать рыдать, громко материться, может биться в истерику и при этом совершенно не отдавать себе отчета в том, что с ним происходит. После такого срыва нужно долго лечиться в психиатрической больнице, но порой бывают и необратимые изменения в психике.

Еще одна характерная черта – это отзывчивость. Американцы всегда готовы, по возможности, оказать любую помощь. Но с другой стороны, опять же, обратиться за помощью – это значит признать себя неудачником. В Америке большего позора трудно себе представить.

Когда речь идет о помощи, то имеется в виду прежде всего благотворительность. Столько, сколько жертвуют на благотворительность американцы, не жертвуют, наверное, ни в одной стране мира. Но это может быть и помощь на улице – человеку, который попал в сложную ситуацию. Особенно она ощутима в провинциальных городах: если вы остановились и оглядываетесь по сторонам, к вам тут же подойдут и спросят, можно ли чем-то помочь.

Американцы очень гостеприимны. Пригласить путешественника домой, накормить, оставить переночевать – это в порядке вещей, хотя, конечно, сейчас этот обычай уже меняется в связи с опасностью терроризма.

* * *

Очень нравится мне американская доверчивость. Вашему слову, как правило, верят без всяких подтверждений. В американском сознании действует принцип презумпции невиновности: если можно поверить, то нужно поверить. Но горе вам, если вас однажды поймали на лжи, – доверия вам не будет уже никогда! Уже когда я учился в университете, я как-то подошел к преподавателю и сказал, что не смогу писать экзамен в назначенный срок: у меня было тогда неотложное дело. Он спросил, могу ли я написать его сейчас, и когда узнал, что могу, предложил пойти в библиотеку, засесть два часа и ответить на два вопроса, которые он мне сейчас скажет. Но заглядывать в книги нельзя, равно как и сообщать эти вопросы своим однокурсникам. Вот и все. Он верил мне, что я не нарушу его условий. Но если студента хоть раз ловят на списывании или на плагиате, его выгоняют сразу и без разговоров.

Помню еще одну историю. Перед самым отъездом домой после полугодового пребывания в Риме, где я собирал материалы для докторской диссертации, стало ясно, что теплая одежда не вмещается в мои чемоданы. Я попросил итальянского друга послать часть одежды по почте, что он и исполнил, но, правда, с типичным итальянским пофигизмом. Уже осенью мне пришло оповещение, что посылка на мое имя развалилась, собрать вещи нет никакой возможности, так что я должен такого-то числа приехать по означенному адресу для опознания. Адрес этот находился где-то на задворках Джерси-Сити, иными словами – в такой дыре, куда добраться было весьма сложно. И надо же так произойти, что буквально через несколько дней я случайно оказался совсем недалеко от этого места. Раз так, я решил зайти туда. Почтовые работники встретили меня не слишком дружелюбно, справедливо указав на то, что я явился не в назначенное мне время. Но, выслушав мои оправдания,

подобрели и предложили самому попытаться отыскать свои вещи. Они завели меня в огромный ангар, где на полках лежал скраб из развалившихся посылок, и, примерно указав мне секцию, где могла быть моя одежда, удалились. Я отыскал почти все, но больше всего меня поразило доверие этих людей. Ведь теоретически я мог бы набрать там любую одежду! Но они верили, что если я нормальный человек, то не возьму чужого.

Американцы живут без внутренних паспортов и без какой-либо регистрации по месту жительства. При устройстве на работу главный документ – это резюме, которое вы пишете о себе сами. Однако работодатель оставляет за собой право позвонить в любое указанное вами место работы и проверить правдивость ваших слов, но делается это весьма редко (если, конечно, вы не поступаете на госслужбу). Часто даже не просят предъявить диплом. А рабочих книжек нет вовсе. Но сейчас, увы, эта невиданная свобода заменяется электронными досье, в которых отслеживается каждый шаг человека. В мое время, разумеется, ничего подобного еще не было...

Мне часто задавали вопрос, подвержены ли американцы пропаганде?

В общем, и да и нет. С одной стороны, СМИ легко могут ими манипулировать, но с другой – есть у них такое глубинное убеждение, что все газеты врут.

Например, отношение американцев к русским. Тут существовал ряд стереотипных представлений. В мое время русский мог быть либо белым аристократом – элегантным и артистичным, но склонным к лихим загулам и пылким внешним выражениям чувств, либо застегнутым на все пуговицы советским бюрократом, на все предложения с каменным лицом отвечающим: «Нет». Наверное, сейчас появились новые стереотипы – сказочно богатого миллиардера и кровавого мафиозо – не знаю, при мне их еще не было. Конечно, представления

эти могут быть и не совсем верными, но во всех стереотипах есть доля правды.

Вот характерный пример, относящийся к советским временам. Согласно стереотипу, представитель Советского Союза должен был быть грузным дядей в помятом пиджаке, который выступает по телевизору от лица правительства СССР и говорит по-английски с тяжелым русским акцентом. Понятно, что такому человеку никакой американец не поверит. Но когда на экране появился вальяжный Познер, говорящий, как настоящий американец (правда, с неблагозвучным нью-йоркским выговором, но тем не менее без акцента), знающий американскую манеру общения, он сразу воспринимался «своим парнем». И если он озвучивал ту же самую позицию советского правительства по поводу самых неблагоприятных его поступков (а в этом и состояла работа нынешнего прославленного телемэтра), то американцы легко проглатывали наживку и верили умелому и циничному пропагандисту. То есть, когда американец сталкивается с разрушением стереотипа, он безоговорочно готов поверить каждому слову – такая своеобразная наивность. Но, на мой взгляд, это не отрицательная черта. Эта готовность верить людям и есть то самое доверие, которое присуще американцам.

* * *

Забавная черта большинства жителей США – полное неведение географии. Чаще всего они вообще не знают ничего, что происходит за пределами их страны и даже не могут показать, где находятся те или иные весьма известные места на карте. Помню, еще в мою дохристианскую жизнь молодой парнишка, работавший в зеленой лавке близ моего дома, проникся ко мне симпатией и всякий раз уже после взвешивания подбрасывал в мой мешок кое-какие овощи и фрукты. Когда я разговорился с ним,

он рассказал, что родился на Мальте, но с детства живет тут – в итальянском районе Бруклина. Но уже Манхэттен, находившийся совсем рядом, по ту сторону реки, казался для него весьма расплывчатым понятием, река Миссисипи ничего не значила, а названия европейских стран были по большей части и вовсе ему неизвестны. Впрочем, конечно, он был всего-навсего малограмотным мальчишкой.

Но вот как-то я отправлял посылку в Москву. Почтовая работница – молодая кокетливая негритянка, – прочитав название страны «Россия», задумчиво спросила меня: «Восточная или Западная?»

Я, опешив, начал было объяснять ей, что Москва, конечно, находится на западе России, хотя для почтового адреса это вряд ли имеет значение. Стоявший рядом со мной русский приятель предположил, что она, скорее всего, путает Россию с Германией. Так оно и оказалось.

Еще через несколько лет я присутствовал при приеме в Свято-Владимирской академии митрополита Гедона, тогда управлявшего громадной Сибирской епархией с центром в Новосибирске. После богослужения и проповеди владыки приятель, только что блестяще защитивший докторскую диссертацию о Леонтии Иерусалимском, спросил меня, где находится Новосибирск. Я ответил, что примерно в центре Сибири. «Я этого не понимаю, – говорит приятель, – ты мне скажи, в отношении Москвы это к востоку или западу?»

Я начал объяснять ему, что Сибирь находится в Азии, которая расположена к востоку от Европы, а Москва-то, как он знает, в Европе...

«Да что ты говоришь, – изумился новоиспеченный доктор, – неужели Москва действительно находится в Европе?»

Вообще, Америка, по определению, – провинциальная страна, она была основана на принципе изоляции от европейских тирании и деспотизма и построения прин-

ципиально нового общества. Американцы очень мало интересуются тем, что происходит во внешнем мире, и это видно даже по новостям: международной тематике посвящают несколько минут в самом конце выпуска. Америка стала супердержавой как бы против воли (правда, разумеется, быстро вошла во вкус), и до сих пор очевидна поразительная разница между восприятием мира среднего американца и американской внешней политикой. Среднему американцу внешняя политика в буквальном смысле «до лампочки», он ею не интересуется. Отсюда и неведение географии – в крайнем случае, авианосец всюду довезет...

Этот провинциализм естественно сочетается у американцев с любовью к своей стране и верой, что она – самое лучшее место на свете. Это значит, что американская система управления – самая лучшая, американская экономика – самая лучшая, американская культура – самая лучшая, и так далее. Аргумент для подобного убеждения у них самый неотразимый – ведь все приезжают жить к ним, сюда, в Америку, а не наоборот! Отсюда и гостеприимство по отношению к иностранцам, особенно к эмигрантам: каждый помнит, что его предки были эмигрантами, и им точно так же кто-то помогал здесь определиться, а теперь святой долг – помочь тем, кто тоже пришел в поисках лучшей доли в самую лучшую страну.

Европа для среднего американца до сих пор значит что-то утонченно-изысканное, но при этом порочно-декадентское, в отличие от простого, прямого и ясного морально здорового отечественного.

Впрочем, такая культурная оторванность иногда дает противоположный результат. Часто, познакомившись с культурой той или иной страны, американцы «усыновляются» в ее культуру до такой степени, что делаются большими французами, чем французы, большими японцами, чем японцы и большими русскими, чем русские.

Иногда они даже уезжают в полюбившиеся им страны и надолго (если не навсегда) селятся там. Но в процентном соотношении таких «блудных сыновей» довольно мало, хотя, в своем роде, они тоже типичны. Впрочем, о них – чуть ниже.

* * *

В основном Америка – нелитературная страна. Чтение никогда не было там национальной страстью, как в послевоенные годы в СССР. Для американца чтение – это хобби, наряду с такими занятиями, как, скажем, филателия, балльные танцы, разведение цветов или рыбалка. Вспоминаю, как я был шокирован, познакомившись в первые месяцы моей американской жизни с парнем, который похвастался, что после окончания колледжа два года назад он не прочитал ни одной книги и каждое утро просыпается с радостным чувством, что ему больше не нужно ничего читать. Правда, проучившись много лет в американских учебных заведениях (где иной раз приходилось прочитывать за неделю несколько тысяч страниц), я немного лучше стал понимать его чувства.

* * *

Американское общество предоставляет человеку такие возможности, которых вряд ли можно добиться в более традиционных странах. Но, с другой стороны, система социального обеспечения и помощи неимущим в США развита намного меньше, чем в Европе. Конечно, если приложить к этому усилия, можно получить «вэлфер» – социальное вспомоществование, которое даст вам возможность жить не работая, хотя весьма и весьма скромно. Но если ты уже попал в неудачники, то вывести с себя это клеймо чрезвычайно сложно, почти невозможно. Поэтому для американца сесть на «вэлфер» значит сдаться, признать себя неудачником и поставить крест на всей

своей возможной карьере. Для белого человека это почти невозможно. Зато «вэлфером» активно пользуются представители разных расовых меньшинств – в первую очередь чернокожие и латиноамериканцы. Ну и некоторые новоприбывшие русские. Именно в те годы сложился анекдот о беседе двух эмигрантов:

– Ну как, ты тут уже устроился?

– Нет, еще работаю.

Зато сравнительная с Европой слабость системы соцобеспечения компенсировалась в США гораздо меньшим вмешательством государства в жизнь человека. Опять же, я говорю о ситуации 70–80-х годов – о той Америке, которую я знал. Сейчас меняется все.

Несомненно, уровень жизни в США выше, чем во многих европейских странах. Но вот качество жизни намного ниже. На пенсию американцы выходят позже европейцев, а нормальным отпуском считается всего две недели в год. Да и тот можно не брать, а перевести его в денежный эквивалент или перенести на следующий год (в отличие, например, от Германии, где каждый обязан отгулять ежегодно положенные шесть недель).

* * *

Есть такой стереотип, что американцы очень не любят Нью-Йорк, примерно так же, как россияне не любят Москву. Расхожее выражение: «Москва – это не Россия» – дублируется за океаном: «Нью-Йорк – это не Америка». Должен сказать, что ни с тем ни с другим утверждением совершенно не согласен. Нью-Йорк, с его населением, скажем, в десять миллионов человек плюс те, кто живет в пригороде и работает в Нью-Йорке, – то есть еще миллионов семь-восемь, и еще столько же приезжих из других концов Америки, а значит, всего миллионов двадцать пять – вмещает в себя около десяти процентов населения Америки. Москва точно так же

сосредоточила в себе как минимум десять процентов населения России. Россия немыслима без Москвы, и Америка немыслима без Нью-Йорка. Конечно, Америка не исчерпывается Нью-Йорком, это очень большая и очень разнообразная страна, Нью-Йорк – это мазок в пестрой палитре того, что представляет собой Америка, это одна деталь гигантской мозаики. И об этой невероятной пестроте Америки нужно всегда помнить (если, конечно, хочешь ее понять).

Америка – совершенно нецентрализованная страна, в отличие от России или, скажем, Франции, где все тянется к столице. В Америке каждая территория – это свой мир. Каждый штат имеет свою собственную гордость, достопримечательности, свою историю, пусть и короткую, свой собственный центр. И люди вполне осознают свою принадлежность к тому месту, где живут, и ощущают за него законную гордость – такой местный патриотизм. При этом в течение жизни американцы очень много переезжают – из одного конца страны в другой. Но при этом чувство малой родины, тяготение к тому месту, где родился и вырос, присутствует всегда. На мой взгляд, это очень хорошая черта.

* * *

Американец может переезжать раз двадцать в течение жизни: получает работу в другом штате, переезжает, покупает там дом, продает его, покупает новый, побольше, и так далее. У моего друга Джеффри Макдональда отец всю жизнь работал управляющим разными крупными компаниями. Когда мы учились в Свято-Владимирской академии, он как раз купил новый большой дом в обширном поместье в двух часах езды от Нью-Йорка. По американским меркам дом был старинным – ему было лет двести с хвостиком. Семья с энтузиазмом начала ремонтировать новое жилище, обставлять и обживать. Казалось, человек

в возрасте подготовил себе удобное место для старости. Но не тут-то было. Через пару лет старший Макдональд был приглашен на новое место работы в другом штате, продал свой дом и переехал. С тех пор он менял место жительства еще раз пять. Как любой американец, он весьма легок на подъем.

Вот сказал: «как любой американец» – и опять промахнулся. Американцы все очень разные, они даже говорят все по-разному. В разных концах Америки свои варианты произношения, довольно сильно отличающиеся друг от друга: есть Новая Англия, где слегка гнусавят, есть Нью-Йорк со своим, очень заметным еврейским акцентом, есть южные штаты с весьма интонированным протяжным говором, есть Средний Запад, где и говорят более или менее усредненно. Я до сих пор люблю удивлять американцев, угадывая по их произношению, из каких мест они происходят.

Встречается в Америке очень интересный феномен – явление не массовое, но довольно распространенное. Американцы, имеющие весьма короткую историю своей страны и еще более короткую историю своего рода в Америке, чрезвычайно дорожат обнаружением (или приобретением) каких-то корней. Первое поколение эмигрантов часто стремится отречься от своего этнического происхождения. К примеру, дети-школьники, бывает, стесняются своих родителей, которые принадлежат культуре совсем другой страны – страны, из которой они вынуждены были уехать. Они стесняются их акцента, их неамериканских обычаев, их незнания реалий местной жизни. Такие дети отказываются говорить на родном языке и полностью переходят на английский. Иногда проявляется это даже в еде: например, ребенок отказывается есть спагетти и требует исключительно гамбургеров или заявляет: «Мама, забери свои вареники, я люблю попкорн». И так далее.

Цель при этом одна – не выделяться, не выдавать своего национального происхождения. Некоторые, достигнув совершеннолетия, могут даже поменять имя и фамилию.

Следующее поколение уже начинает понимать, как важно не терять этнических корней, потихоньку заново их открывает. Те дети эмигрантов, которые отказывались говорить на родном языке, стремительно забывают все то, что знали в детстве. Теперь они ощущают себя «как все», то есть говорят только на английском. Детей своих они обучают исключительно английскому. И вдруг эти подросшие дети начинают сами учить язык своих предков – будь то немецкий, французский, русский, совершают поездки в страну своих корней и постепенно возвращаются к родной культуре.

Как я уже говорил чуть раньше, бывает и так, что американец «усыновляется» в какую-то культуру. То есть он увлекается ею, не имея к ней этнической «привязки», начинает ее изучать, вживается, становится, например, «почетным французом», «почетным непальцем», «почетным венгром»... Варианты могут быть самые разные, интересные и необычные. Вот, например, я знал одного американца, который занимался танцами и однажды познакомился с македонской культурой танца. Ему это так понравилось, что он начал учить македонский язык, освоил македонскую культуру, уже чуть ли по-английски не стал говорить с македонским акцентом. А самые последовательные американцы просто переезжают в полюбившуюся страну.

Однажды в Риме я встретил русского православно-го священника, который, придя в Церковь из протестантизма, не только выучил русский, но и поменял фамилию и даже носил офицерские хромовые сапоги, которые он с огромными сложностями выписывал из Советского Союза... Впрочем, об этих двоих речь пойдет в моем основном рассказе...

Это дает основания говорить о некоем «комплексе сиротства» у американцев. Но, что бы мы ни говорили, Америка – это страна эмигрантов, и ни в одной другой стране (за исключением, может быть, Австралии и Новой Зеландии, но там я не бывал) эмигрант не чувствует себя так вольготно.

* * *

Мне довелось пожить в разных странах. Например, я очень люблю Италию и часто мечтал рано или поздно перебраться жить именно в эту страну. И вот, когда я писал докторскую, я получил возможность прожить полгода в Риме. Я обитал там в тепличных условиях, работал в библиотеке. Жилье и питание были обеспечены, я обзавелся массой друзей, ко мне все относились замечательно, но все же я неизменно оставался чужим. Пусть дорогим гостем, но все же не местным. А ведь гость рано или поздно должен уехать (если, конечно, он не хочет до смерти надоесть хозяевам). Среди своих римских друзей, с которыми я очень много и интересно общался, я ощущал себя чем-то вроде экзотического фрукта или, скажем, некоего редкого животного, которого привели для украшения вечеринки.

Вот так я понял, что только в Америке, а особенно в Нью-Йорке, можно оставаться самим собой и при этом не чувствовать себя чужаком. В любой другой стране, даже при самом благожелательном отношении, иностранец все равно всегда останется иностранцем. И только Америка принимает всех, и потому в Нью-Йорке почти все говорят с акцентом. Вообще, в Америке совершенно никого не волнует, как вы говорите. Критерий один: понятно – и ладно.

В Нью-Йорке не обязательно быть как все, приспособливаться под общую жизнь, под какую-то американскую культуру – можно вести себя как угодно. И это,

в общем, хорошо. В Америке все на равных правах, и долго быть гостем у вас не получится. Приехал – отлично! Добро пожаловать! А теперь показывай, что ты умеешь.

Нью-Йорк, с его преступностью, с его темпом жизни, со всем его разнообразием и наполненностью, очень сильно отличается от провинциальной Америки, где люди живут в небольших городках, в индивидуальных домах для каждой семьи, и до сих пор оставляют машины на улицах незапертыми. Достаточно проехать три часа в сторону от Нью-Йорка – и окунаешься в спокойную, неспешную жизнь.

Кстати, индивидуальные дома для семьи – это тоже очень характерное явление. Американец, который так и не обзавелся своим домом, – это не вполне американец. Есть, конечно, и городские жители, которые обзавелись квартирами или просто снимают жилье всю свою жизнь, но это, как правило, нью-йоркцы или, скажем, бостонцы. Большинство считает, что к финалу жизни у человека должен быть собственный дом на своей земле, и, несмотря на все переезды, идеалом для американца остается родовое гнездо, где живет вся его семья, где он чувствует себя свободным и независимым и где ему не приходится беспокоить соседей. Это очень характерная американская черта.

В самом же Нью-Йорке сейчас могут жить либо очень богатые, либо очень бедные люди: квартиры в приличном месте стоят таких денег, что только очень богатый человек может себе это позволить; в других районах жилье субсидированное, и там живут очень бедные. В Нью-Йорке много молодых бездетных пар, которые приезжают туда делать карьеру, но когда обзаводятся чадами, покупают в предместье дом в рассрочку на тридцать лет и уезжают из города. Есть и много пожилых людей, которые снимают здесь квартиры еще с чрезвычайно давних времен и никуда переезжать уже не станут.

* * *

Меня часто спрашивали о процессе адаптации, о ностальгии, о самоощущении в чужой стране.

Мой процесс адаптации можно разделить на три этапа. Вначале я восхищался всем увиденным (первые несколько месяцев), потом возненавидел Америку и все американское (год-полтора), а потом привык и просто начал жить – стал одним из горожан громадного, пестрого, многонационального мегаполиса.

Острых приступов ностальгии по завершении адаптационного периода у меня не наблюдалось. Но был некий общий, все время осознаваемый фон моего существования: память о том, что я не дома. Я мог бы прожить в Америке всю жизнь, но это ощущение никуда бы, наверное, не ушло. Не могу сказать, что я переживал его трагически, я вполне свылся с ним и воспринимал его как норму. Норму моей жизни, о которой я всегда помнил и которой даже дорожил.

В течение большей части моей эмиграции (до начала перестройки и появления возможности вернуться) мне часто снился один и тот же сон.

Я возвращаюсь домой, хожу по знакомым с детства улицам, общаюсь с родными и друзьями. Меня переполняет щемящее чувство радости: разлука преодолена! Но вдруг подходит наряд милиции, меня сажают в «воронку» и увозят, причем я понимаю, что назад в Америку меня уже не отпустят и что ничего, кроме долгих лет тюрьмы, мне не светит...

Я просыпаюсь в холодном поту, вижу, что я в Америке, на свободе, с облегчением вздыхаю, но... Значит, я не дома! И облегчение сменяется глубокой печалью.

Позже я прочитал стихотворение Набокова «Расстрел» и поразился схожести наших чувств. Вообще-то я не считаю Набокова большим поэтом и люблю его прозу гораздо больше его стихов, но это произведение считаю гениальным. Вот оно:

*Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.*

*Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.*

*Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.*

*Оцепенелого сознания
коснется тиканье часов,
благополучного изгнания
я снова чувствую покров.*

*Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.*

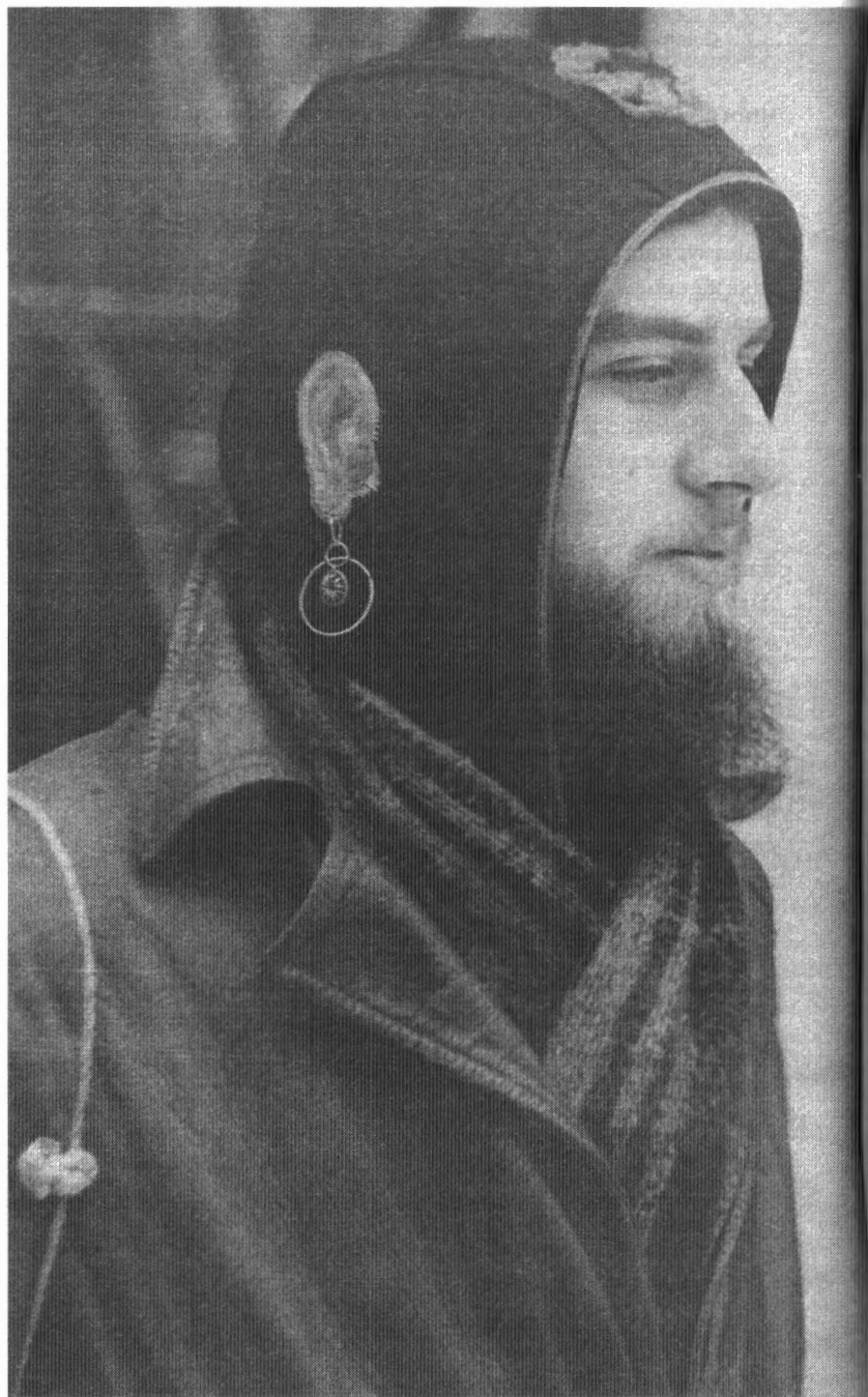
Говорить обо всех особенностях моей жизни в Америке можно долго, но все это будет восприниматься как общие рассуждения. Мне уже давно хотелось рассказать о той Америке, которую я знал: о хорошем и плохом, о красивом и уродливом, о веселых и грустных событиях, которые я пережил за долгие годы в этой стране, и о тех людях, которых я там встречал и с которыми я общался. Мне кажется, это гораздо полнее и многограннее отразит мое отношение к Америке — великой стране, которую я люблю, в которой я родился духовно, но и в которой я так

многого не принимаю и не могу принять. Но, конечно, это не просто книга об Америке. Это книга о движении человеческой души к Богу, о препятствиях и проблемах, которые возникают на этом пути, и о Божьем Промысле, действующем в нашей жизни. Обо всем этом я рассказываю на своем примере и на примерах окружавших меня людей — как близких друзей, так и совсем вроде бы случайных знакомых. Описываемые мною те или иные подробности моей жизни, мне кажется, важны не сами по себе, а именно в этом качестве. Именно поэтому я решил о них рассказать.

* * *

Замысел этой книги появился у меня очень давно. Однако работать над первоначальными набросками к ней я начал по весьма настойчивым уговорам Владимира Гурболикера — тогда соредатора журнала «Фома». Чтобы подвигнуть меня к написанию текста, он командировал ко мне журналистку (тогда студентку МГИМО) Аллу Митрофанову, которая записывала мои рассказы на диктофон и потом отдавала в распечатку. Некоторое время присланные мне тексты лежали без движения. Впоследствии на основе некоторых из них были созданы «Афонские рассказы» и части «Учителей и уроков». Лишь после выхода этих книг я начал, отталкиваясь от зафиксированных начерно устных рассказов, писать эту — непридуманную историю. Некоторые из ранее опубликованных текстов вошли в эту книгу и заняли в ней то место, для которого они предназначались изначально.

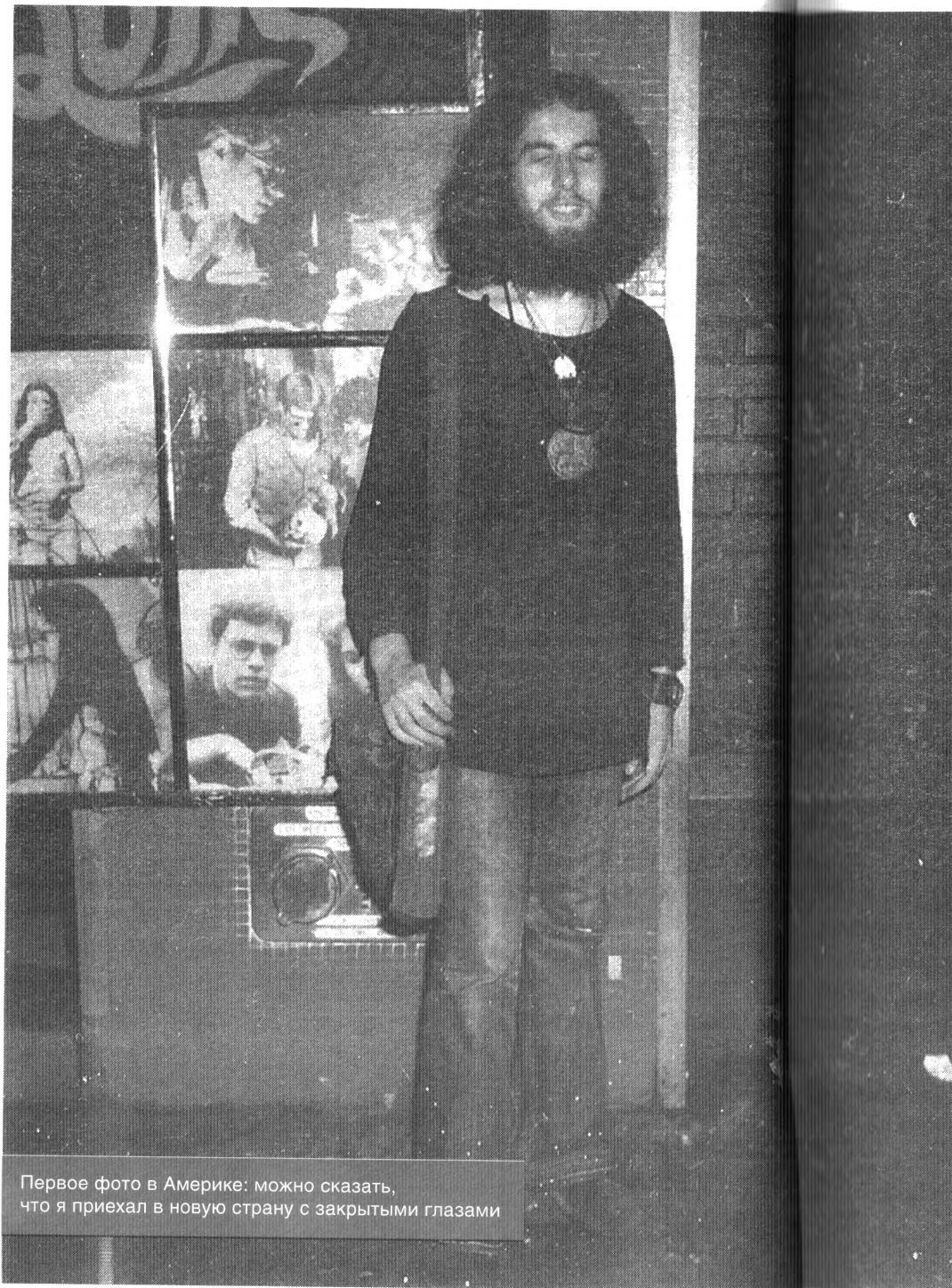
Все события, описанные в книге, реальны. Некоторые имена изменены.



В ПОИСКАХ СВОБОДЫ

Неужели вон тот — это я?

Ходасевич



Первое фото в Америке: можно сказать, что я приехал в новую страну с закрытыми глазами

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ

Какая страшная жара! Неужели это можно вынести? Ощущение, что живешь в бане, — тяжелый, липкий жар. Ходишь все время мокрый от пота. Даже ночью не приходит облегчение — темно, солнца нет, но из открытого окна (хотел написать распахнутого, но вовремя остановился: тут окна не распахнуть — рамы на шарнирах поднимаются вверх и вниз, так что открыть можно лишь половину окна — верхнюю или нижнюю) по-прежнему пышет жаром. Днем я заходил в супермаркет за покупками. Там оказалось неожиданно прохладно, даже холодно — кондиционер! Я долго пробыл в магазине — гулял между полками, пока не продрог до костей, и уличная жара стала казаться даже желанной. Выкатился в нее — и через несколько минут опять стал стремиться обратно в супермаркетский холод.

Я уже сутки в Нью-Йорке — в городе, о котором я мечтал так долго и который заочно всегда казался мне самым лучшим, самым красивым и самым свободным городом мира. Прилетели мы вчера — 7 июля (7-го месяца) 1977 года. Все эмигранты в самолете радовались — говорили, что семерка — счастливое число. А я еще и сидел в 17-м ряду. Сидел и сам не верил своему счастью. По прилете нас привезли в гостиницу под громким названием «Отель "Люцерн"». Правда, она оказалась грязноватой и какой-то очень уж третьесортной. Зато в самой середине Манхэттена на 71-й

улице между Седьмой авеню и Бродвеем (опять семерки!). И номер мне дали на 10 этаже – предпоследнем. Правда, вида особого нет – напротив тоже высокие дома, все загораживают.

В лобби возле стойки толпились эмигранты, встречавшие прибывших с нового рейса. Они немедленно и с видимым удовольствием сообщили, что гостиница в основном используется для свиданий с проститутками. Но зато тут дешево, так что наших селят сюда. А кроме того, тут можно жить долго, и цена лишь немного больше, чем квартиру снимать. Зато ни о чем думать не нужно – ни о мебели, ни о коммунальных платежах. Так что есть люди, которые задерживаются в «Люцерне» годами.

Завтра нужно съездить в организацию, отметить, а они решат, что делать с каждым из новопривывших: кого на курсы английского, а тех, кто умеет сам объясняться, можно сразу на работу устраивать. За гостиницу будут платить три месяца, и за это время нужно самому найти себе жилье. А дальше – живи уже как хочешь...

Утром, после бессонной жаркой ночи (еще и разница во времени с Европой – 6 часов – сказалась) я подошел к окну и увидел, как мимо пролетел человек с искаженным от ужаса серым лицом (мне кажется, что я успел поймать его остановившийся взгляд), а затем услышал глухой удар внизу, истошные вопли прохожих и вскоре трели разных сирен – полицейских, медицинских. Оказалось, сосед сверху, пуэрториканец – один из многолетних постояльцев гостиницы, решил свести счеты с жизнью.

А еще через день пропало электричество. Мне-то что, не привыкать, в России часто выключалось. Разве что жара усилилась – вентилятор, который я выпросил у портье, перестал работать. Да и на десятый этаж пешком бегать – совсем запаришься. Но только вот вокруг что-то странное началось. Все магазины закрылись. Оказалось, во всем Нью-Йорке электричества нет. И не было целых

три дня. Потом я узнал, что попал в знаменитый нью-йоркский «black out», навсегда вошедший в историю. Из-за аварии сократили подачу электроэнергии в город, и в разгар жары, на пике потребления, пошел эффект домино – стало вырубаться все подряд. Нью-Йорк парализовало. Начались повальные грабежи и мародерство.

Тогда я как-то не заметил большую часть этого. Хотя напротив на углу какой-то молодчик попытался ограбить аптеку, а аптекарь его застрелил. Из моего окна были видны распростертое тело на тротуаре, толпящийся вокруг народ и подъехавшие полицейские машины.

Масштабов происходившего я вовсе не понимал. Телевидение не работало, а портье на вопрос, когда включают энергию, лишь разводил руками. Гулять по городу поначалу было интересно, только опять же – жарко, да и одиноко как-то. Все спешат, никто не остановится пообщаться. За четыре месяца ожидания американской визы в Италии я привык к легкому уличному общению, которое быстро переходит в приятельские отношения, а то и в дружбу. Задашь вопрос прохожему – он ответит, поинтересуется происхождением акцента, вот и завязался разговор. Или сядешь под фонтаном передохнуть, раскроешь русскую книгу, у тебя тут же спросят, что это за язык – и немедленно начинается обмен мнениями, знакомство с приятелями собеседника, приглашения в гости и так далее. В Нью-Йорке так не получалось. Акцентом не интересовался никто. За несколько дней прогулок я познакомился только с молодым греком – уличным торговцем хот-догами, который даже угостил меня своим товаром, но разговаривать особенно было не о чем, да и некогда ему было «при исполнении». Но я уже знал, что настоящая контркультурная молодежь тусуется в Гринвич-Виллидж, и на следующий день направился туда.

Район поначалу меня разочаровал. Дома невысокие, из почерневшего кирпича и, по большей части,

без архитектурных излишеств (только позже я узнал, что такие домики, построенные в XIX веке, – самый ценный архитектурный фонд недревней Америки). Вездесущие железные пожарные лестницы, часто прикрученные прямо к фасадам зданий, придавали улицам какой-то промышленный вид. Когда мой взгляд притерся к типичному облику американского города, я перестал эти лестницы замечать.

Должен сказать, что поначалу, помимо уродливых пожарных лестниц, меня очень удивляло практически полное отсутствие дворов. Дома стоят сплошной стеной, а если с обратной стороны и есть двор, то он маленький, колодезобразный и используется в сугубо утилитарных целях владельцами заведений (магазинов, ресторанов, мастерских), расположенных на нежилом первом этаже. Дети играют на узком тротуаре перед своим домом. От проезжей части их отделяет только ряд запаркованных машин. Поразила меня баскетбольная площадка в Гринвич-Виллидж, отгороженная от тротуара металлической сеткой-рабицей. Там, в метре от проезжей части, самозабвенно бились две команды из чернокожих игроков. Позже я узнал, что это – самая престижная баскетбольная площадка в Нью-Йорке, куда съезжаются со всего города игроки почти профессионального уровня.

* * *

Как это было непохоже на мое московское детство! Рос я на Большой Никитской, тогда – улице Герцена. Флигель, на втором этаже которого размещалась наша квартира, стоял во дворе, со всех сторон окруженном невысокими хозяйственными постройками, в советское время ставшими жилыми. Самый большой отгораживавший нас от улицы дом (бывший барский) имел всего четыре этажа. Во дворе росли липы, обсаженные кустами крыжовника и смородины. Правда, мне никогда не доводилось попробовать ягоды: в конце августа, когда я возвращался после

каникул, их уже не было – подседали дочиста. Все дети играли во дворе, а за ними зорко присматривала чья-нибудь бабушка, вышедшая посидеть на лавочке. Любого зашедшего во двор чужого человека сразу примечали, так что детей можно было смело отпускать играть самим – им ничего не угрожало. Нам только строго-настрого воспрещалось выходить одним за пределы двора – на улицу.

Впрочем, когда перед первым мая и седьмым ноября по нашей улице каждый вечер в течение нескольких дней подряд, лязгая и грохоча, проходили танки, бронетранспортеры и тяжелые тягачи с ракетами (шли репетиции перед военными парадами на Красной площади), нам дозволялось выходить на улицу, махать солдатам и кричать «ура». Земля содрогалась, оконные стекла в домах дребезжали, воздух затягивало сизой дымкой вкусно пахнущего выхлопа, расчетные команды бронетехники на крышах своих машин улыбались и махали нам в ответ. Потом колонна проходила, оставляя цепь светлых вмятин и выщербин на опустевшем асфальте, и мы возвращались во двор с ощущением причастности к чему-то великому.

Сосед дядя Петя, работавший шофером на почте, приезжал домой на служебном транспорте – белом пикапчике. Иногда он предлагал прокатиться. Я садился рядом с ним на сиденье, и он вез меня через весь двор, за угол и через подворотню до самого выезда на улицу, после чего я, счастливый от полученного удовольствия, бежал назад.

Зимой все покрывалось сугробами, такими высокими, что мы прорывали в них пещеры и извилистые туннели. Как таинственно и уютно было сидеть в пещере с зажженной свечкой и воображать себя героем сказки!

От соседнего двора нас отделяла кирпичная стена. С нашей стороны она была по грудь, а с другой высилась в полтора роста, что давало нам ключевое преимущество в снежных боях против тамошних более многочисленных обитателей.

Постепенно наш двор, состоявший по большей части из коммунальных квартир, начали расселять. Самая кошмарная по условиям обитания коммуналка располагалась в подвале барского дома. Помню, как дворничиха-татарка баба Нюра вернулась после просмотра новой квартиры в черемушкинской хрущевке и, окруженная внимательными соседками, с восторгом докладывала: «Захожу в фатеру. Направо – комната, налево – другая комната – как в киятре!»

Так постепенно и расселился наш уютный двор. Когда мне было пятнадцать лет, уехали и мы – в новостройку на Хорошевке. В громадной девятиэтажке было тринадцать подъездов и почти пятьсот квартир, так что такой единой семейной атмосферы, как в моем старом доме, уже не было. Но все равно был двор и достаточное игровое пространство для детей, так что гонять мяч на улице не приходило в голову никому.

* * *

Но вернемся в Нью-Йорк. Посреди Гринвич-Виллидж я обнаружил средних размеров сквер, в центре которого красовалась мраморная арка со скульптурным изображением двух Джорджей Вашингтонов: один был в военной форме и в треуголке, но с отбитым носом, другой – с целым носом, но в гражданском платье и с непокрытой головой. Пока я рассматривал этот необычный архитектурный памятник, мне успели несколько раз предложить самокрутки с «травкой». Все марихуанные разносчики были чернокожими. На газонах сквера сидели, лежали и общались между собой самые разношерстные люди, по большей части – молодежь. Я погулял вокруг них, поси- дел рядом, но на меня даже никто не оглядывался.

Объект моих поисков – длинноволосые молодые люди в хипповых одеждах – попадались взгляду, но далеко не так часто, как в Италии. Знакомиться никто из них

не подходил. Тогда я решил попробовать проверенный способ: уселся на скамеечку и раскрыл русскую книгу. Просидел целый час, но абсолютно безрезультатно: никому до меня и до моего экзотического языка совершенно не было дела.

Лишь через несколько дней таких одиноких хождений мне наконец-то удалось разговориться с одним чернокожим обитателем здешних мест. Волосы на его голове стояли громадным черным шаром. Он назвался свободным поэтом и философом, то есть явно был человеком привычного мне круга. Правда, первые минуты знакомства принесли серьезное разочарование. Тут нужно кое-что пояснить.

Дело в том, что к тому времени я уверился в своем весьма продвинутом знании местного наречия. Общаться на нем я начал неожиданно для себя самого. Разумеется, английский я учил в школе и в институте, даже занимался с репетитором, но языком не владел вовсе. В первый же день моей эмиграции в Вене со мной на улице заговорил какой-то местный хиппи, и я, удивившись, что понял его, ответил. Разговор получился, а вечером меня пригласили в гости в веселую компанию – ведь русский хиппи воспринимался весьма экзотической диковинкой на Западе, так что внимание мне было обеспечено. Я понял, что каким-то образом могу общаться, и с радостью предавался этому занятию. Всякий раз, когда другие эмигранты слышали мои разговоры с аборигенами – в Вене, а затем в Риме, – они рассыпались в похвалах моему великолепно-му английскому. Впрочем, еще бы: они-то говорить вовсе не умели, так что на их фоне мое весьма убогое владение языком воспринималось как что-то близкое к совершенству. Но я воспринял их похвалы за абсолютную истину. Наверное, это мне помогло: я перестал бояться говорить, и от постоянной практики качество моего английского стало улучшаться с каждым днем. Новые итальянские

приятели, знавшие английский куда хуже моего, также вовсю сыпали комплиментами. Впрочем, с ними мне пришлось начать говорить и на их родном языке, и после четырех месяцев непрерывного общения с носителями я продвинулся в нем довольно сильно.

Таким образом во мне развилось качество, которое я называю «лингвистической наглостью». В начале моей эмиграции оно проявилось впервые и осталось во мне навсегда. Я не боюсь говорить на языке, который очень плохо знаю. То есть я не боюсь делать ошибки и пытаюсь обходиться теми словами, которые могу вспомнить. В дальнейшем во всех языковых средах, где я оказывался, я тут же, приобретя минимум знаний, пытался начать говорить: пусть и с ошибками, поначалу коряво, но все же мне удавалось доносить свои мысли. Опыт показал, что именно так легче всего преодолевается языковой барьер.

Так вот, через несколько минут общения с чернокожим поэтом, когда я уже успел сообщить ему, что приехал из Москвы как беженец от коммунистического режима, он повел знакомить меня со своими друзьями, ошибавшимися тут же. «Вот мой новый знакомый – русский парень, – сказал он, – совсем паршиво говорит по-английски, но я все же научился его понимать».

Я встречался с этим философом и поэтом еще пару раз, прежде чем он совсем исчез с моего горизонта. На память о наших беседах у меня до сих пор осталась тоненькая брошюрка его творений довольно убогого, должен сказать, содержания и оформления, но с весьма кудрявым посвящением от автора.

Итак, контакта с американскими хиппи наладить пока не удавалось. А ведь в этом и была главная цель моего переезда из Москвы сюда, в Нью-Йорк. Началось же все гораздо раньше...

С мамой



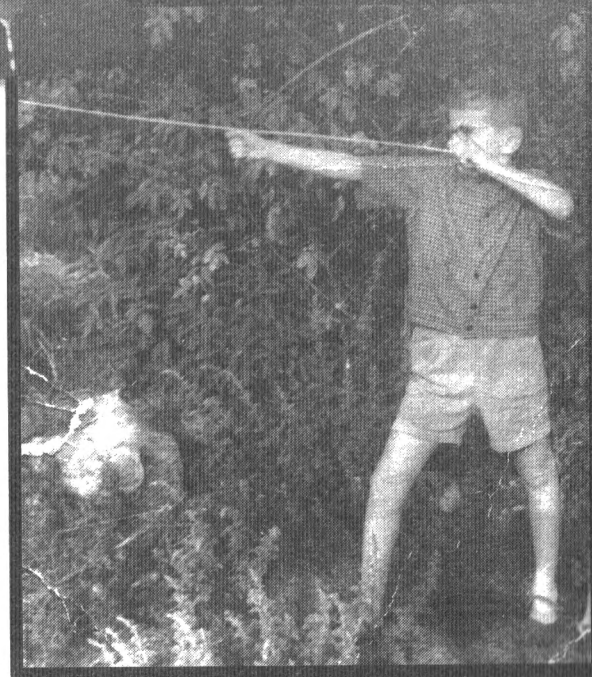
В детском саду



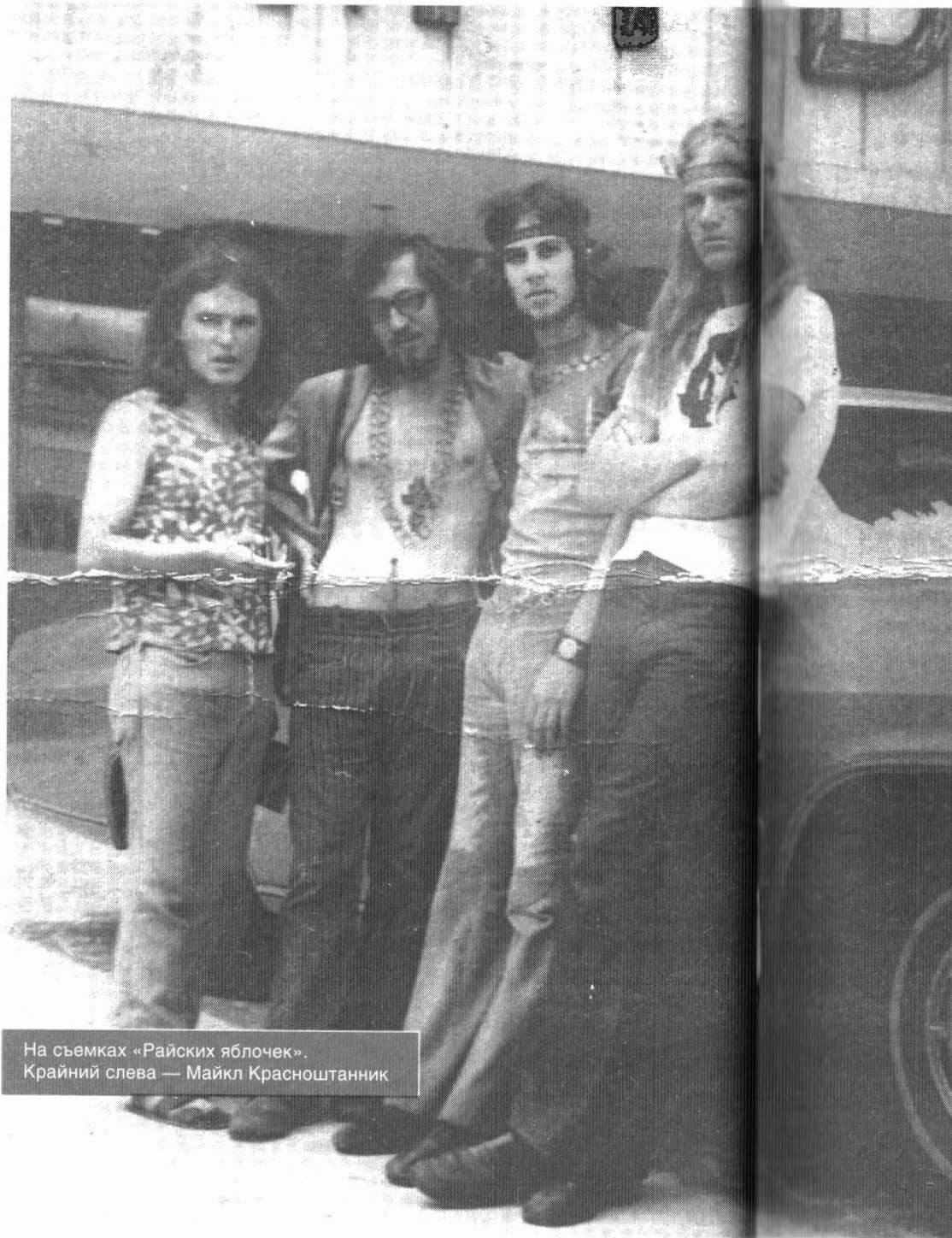


С новогодними
подарками

Мне шесть лет



...я тут восемь



На съемках «Райских яблочек».
Крайний слева — Майкл Красноштанник

ВОЛОСАТЫЕ

КАК Я НЕ ПРОИЗНЕС РЕЧЬ С БАЛКОНА

Уже написав значительную часть текста, я полез в старые бумаги и, к своему удивлению, вдруг отыскал дневниковые записи тех дней. Воспроизведу отрывок — он передает, как я, тогдашний, воспринимал себя и окружающий мир:

«...врубился в необходимость: забывать нельзя! Я оставил позади все, что я прожил — 21 год. Всю мою жизнь, страну, город, в котором я родился, друзей, маму, все мои чувства, привычки, привязанности. Теперь рождаюсь заново. Начинаю все сначала. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног».

Итак. Я, Александр Леонидович Дворкин, 21 года (ох, да, забыл, «Леонидович» осталось в Союзе), я, Александр Дворкин, 21 года, сижу за столом в комнате, которая находится в центре Рима. Как я раньше завидовал побывавшим за границей, относился к ним с каким-то подсознательным почтением. И вот — я сам в этой ожидаемой и всю жизнь онеймечтаемой загранице. Вокруг сплошные фирмачи и сплошная фирма. Только все буднично, спокойно, люди как люди, города как города. В Союзе я здешнюю жизнь приблизительно так же себе и представлял. Но думал, что это из-за недостатка информации и бедности воображения, а прилечу — увижу фейерверк, карнавал, сказку. В общем-то, конечно, сказка: разные

киевляне-одесситы (эмигранты) только об этом и твердят, но я, как я теперь понял, еще в Союзе максимально, насколько это возможно, приблизился к западному образу жизни, мышления, морали, поведения и т. п. Все эти местные свободы меня не удивляют и не поражают, как остальных. Я сразу воспринял их как должно быть, хотя и не видел никогда в жизни.

Итак, я, Александр Дворкин, сижу за столом в центре Рима и пишу дневник.

6 марта я вылетел из Москвы. Сегодня кончается 25-й день моей эмиграции. Все время ловлю себя на том, что примеряюсь ко всему, как я то или иное событие расскажу в Москве, как чем-то пережитым похвастаюсь. Невозможно, думаю, человеку примириться с тем, что произошло нечто необратимое, что нет пути назад, к прежнему, каким бы оно ни было.

От всего процесса отлета (или улета?) и нескольких предыдущих дней остались очень тяжелые воспоминания. Ну еще бы – бросок в неизвестность, в одиночество, слезы мамы, лица всех близких, ближайших и далеких, которых больше никогда не увижу, – это преобладало тогда. Я вообще очень сентиментален, хоть и постоянно стебаюсь над сантиментами, а тут, думаю, сентиментальность во мне круто усилится. Тяжелые у меня были проводы, но я держался, бегал, суетился, разрывался между всем обилием народа, прерывал на полуслове разговор с одним, бежал к другому, ничего не соображал, отгонял от себя все мысли. Когда они приходили, хотелось плакать, но я гнал их от себя и бегал опять, туповато улыбаясь. Обстановка стояла похоронная. Я был как в тумане. Потом – час сна, ночевала у нас куча народу – спали вповалку на полу. Утром такси – на ходу бросил монетку в Москва-реку (или в канал – не помню) – и в аэропорт Шереметьево 1. Ехали на трех тачках. В третьей – я с матушкой, в первых двух –

все остальные. Приехали первые. Вскоре появился Фроська* с волосатой толпой, которая все увеличивалась, хотелось со всеми попрощаться, каждому что-то сказать. Помню испуганные глаза мамы: она все прижимала меня к себе – последние минуты. Против воли поднялось раздражение: почему она отрывает меня от моих. Но сразу стало стыдно. Потом шампанское – и таможня. Досмотрели мои вещи поверхностно, потом принялись за Лайми. Я стоял, ждал и мечтал, как мы помашем всем рукой с балкончика и какие слова я скажу на прощанье. Что-то долго Лешу шмонают. Ну, вроде все. Нет, опять нашли что-то. Потом у него куда-то запропастилась виза, и, когда он лихорадочно выворачивал карманы, пришел капитан-пограничник и сказал, что мы задержаны. Помню животный страх до дрожи в коленках, до обморочного состояния, до смерти... но тут виза нашлась. Ух, полегало. Но он все равно приглашает следовать за собой – страх нахлынул опять. Он ведет нас какими-то окольными путями, мимо солдат-мордоворотов, через комнаты и подземные переходы с трубами над головой. Еле иду, подгибаются коленки. И вдруг – большой зал с обилием света и иностранцев. Тут я понял, что все-таки улечу, но что слов прощания не будет. Все. Потом – тщательнейший обыск (как он тут называется, «личный досмотр»), споры о том, пропускать ли мои старинные пуговицы на надетом на мне дореволюционном кителе, магнитное и рентгеновское просвечивание, автобус, подъем по трапу, последний взгляд из окна на кумачевый транспарант и – вперед. Сильнее всего – тоска: не попрощался. Навсегда уехал – и не попрощался! Леша сидит рядом. Достал тетрадь, хочет что-то рисовать. Я беру у него ручку и пишу на листке: "СВОБОДА". Потом мы оба распишемся».

* Он же Лайми – московский хиппи Алексей Ф., с которым мы вместе эмигрировали.

ВЫПАСТЬ ИЗ СОВЕТСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

После получения в 1972 году аттестата зрелости, я сразу же поступил в институт – МГПИ им. Ленина, на факультет русского языка и литературы. В школе я учился весьма средне, с хорошими оценками только по гуманитарным предметам. Но по самому сильному моему предмету – литературе – выпускные экзамены прошли неудачно: мне достался единственный невыученный билет с вопросом про ленинскую статью «Партийная организация и партийная литература» (мне никогда не удавалось осилить ее дальше первого абзаца), и я едва вытянул экзамен на тройку. В результате в аттестат пошла четверка. А по истории я всегда спорил с учительницей-коммунисткой, задавая ей каверзные вопросы. Например, почему большевики издали Декрет о мире, а начали воевать в Гражданскую войну? Или почему предателей Каменева и Зиновьева, едва не сорвавших Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, сразу же допустили управлять молодым советским государством? И так далее, в таком же духе. В результате из троек я не вылезал и, получив на выпускном экзамене пятерку, смог повысить итоговый балл лишь до четверки. Но вступительные экзамены в институт я сдал на все пятерки, поверил в свои силы и резко повысил собственную самооценку.

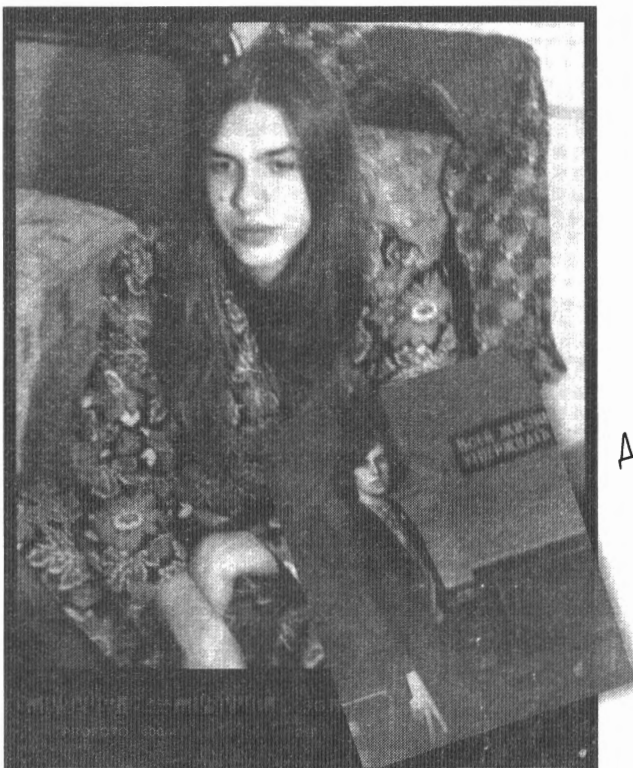
Дело в том, что я был одним из самых непопулярных учеников в своем классе: физической силой и спортивностью не отличался, учился неважно, модными одежками и большим количеством карманных денег тоже не выделялся. Но теперь мне представилась возможность начать все с чистого листа. И я начал. Наш факультет был настоящей ярмаркой невест: девушки количественно превышали юношей раз в пятнадцать, так что нас ценили. Эрудиции мне хватало, и первую сессию я сдал на одни пятерки, что еще больше повысило меня в собственных глазах.



Группа «Волосы»



«Американская
«Владья»
в Серебряном Бору
Танцуют с Лори

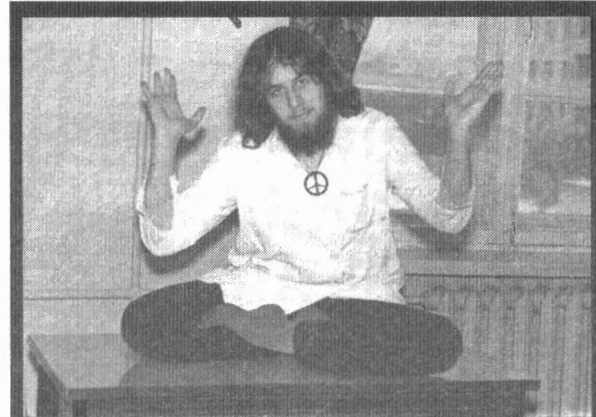


Дима Степанов



Студенты 1-20 курса
ленинского
пединститута

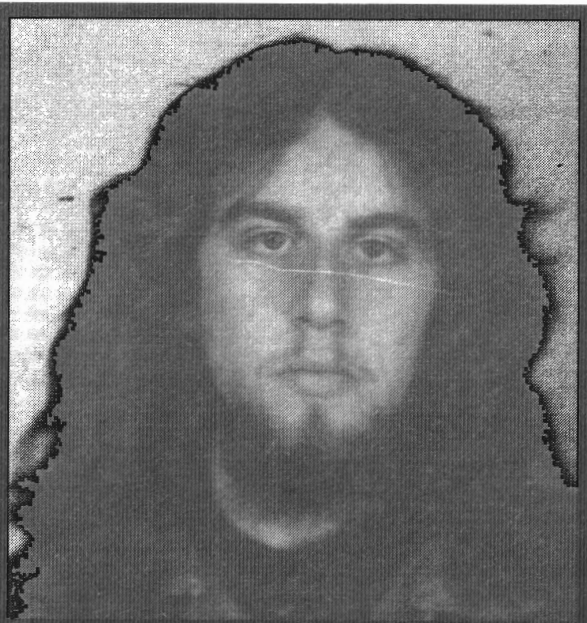
Санитар отдела
травматической
реанимации



Напротив моего
дома на Хоро-
шевке



В метро



Незадолго перед тем,
как меня остригла
крымская милиция.
1976 г.



Хиппи в Вильянди

К тому моменту я уже хорошо знал про московскую «Систему» (так называли малюсенькое сообщество хиппи) и мечтал познакомиться с ней. Среди студентов ходили легенды об отважных хиппи, устроивших первую мирную манифестацию 1 июня* 1971 года в скверике перед университетом на Моховой. И хотя манифестация никаких антисоветских лозунгов не выдвигала, но призывала лишь к миру («Make love not war!») и защите детей («Save the children!»), через несколько минут милиция скрутила экзотичных манифестантов и увезла на разбирательство, а затем часть отсидела пятнадцать суток за хулиганство, а других отвезли в психбольницу на освидетельствование. Обще-признанного главу Системы звали Юра Солнце. Иногда я видел его на Стриту (так мы называли улицу Горького). Его светлые прямые волосы невиданной длины – ниже плеч – вдохновенно развевались на ветру. Расклешенные джинсы были расшиты яркими узорами. Юра шел в окружении поклонников и приближенных к нему лиц, сопровождаемый почтительным шепотом: «Смотри, сам Солнышко идет!» Но главный хиппи страны не обращал внимания на серую комсомольскую массу и общался только со своими.

Хиппи смотрелись замечательным ярким пятном на фоне всеобщей советский затхлости, серости и скуки. Среди одинаковых прохожих – в одинаковых одеждах, с одинаковыми прическами и весьма одинаковым поведением – длинноволосые, разноцветные, вызывающе разнообразные хиппи воспринимались как весть об ином, запредельном существовании. Их раскрепощенное поведение казалось небывалым проявлением свободы. Эта маленькая группка виделась мне (да и не только мне) каким-то полубожественным орденом – братством любви и свободы среди мертвящей коммунистической идеологии, тупости и доноительства.

* Международный день защиты детей.

Сами себя советские хиппи называли просто: «волосатые». Самообозначение «хиппи» среди своих считалось неприличным – нескромным, заносчивым бахвальством. Такое звание следовало еще заслужить. Это было все равно что аттестовать себя героем или гением. Настоящие хиппи жили на Западе – наши лишь стремились им подражать, но только весьма немногие из них дотягивали до столь недостижимого идеала. О ком-нибудь можно было сказать в виде высшей похвалы: он – настоящий хиппи.

Итак, едва ли не главным критерием принадлежности к Братству была длина волос, ведь требовалось их отрастить не меньше года, преодолевая сопротивление окружающей среды: родителей, деканата и милиции, главным аргументом которой в борьбе против такой вызывающе несоветской внешности были ножницы. В итоге приходилось выбирать между волосами и институтом, между волосами и комсомолом, между волосами и работой, в конце концов, между волосами и легальным способом существования. Только самые отважные решались променять все обозримое будущее в СССР на подпольную свободу, которую давали эти самые длинные волосы. Оттого хиппи и были окружены подспудным уважением, а то и почитанием многих моих ровесников, которые сами никогда не отваживались на столь радикальный шаг, но завидовали тем, кто все же решился.

А ведь я хорошо был знаком с одним из членов Системы. Когда мы перешли в девятый класс, нам представили нового ученика – Толю Вайнберга. Его черные, прямые, блестящие волосы, почти закрывавшие уши (что виделось неслыханной длиной), и смуглая кожа делали его похожим на индейца в исполнении популярного югославского актера Гойко Митича. Джинсы с небольшим клешем, стоявшие по тем временам баснословных денег, сразу же поставили его на небывалую высоту среди моих одноклассников. Говорил Толик мало, предпочитая гордое молчание, пре-

рываемое отрывочными лаконичными фразами, которые он ронял лишь в случаях самой острой необходимости. Общаться с нами он явно не желал, но делал это с таким достоинством, что все восприняли это как должное.

Дальше последовала долгая история: учителя заставляли его стричься и переодеваться – он этого не делал; его не пускали на занятия, вызывали в школу его мать, она плакала, что сын совсем от рук отбился, и так далее. В конце концов его выгнали из нашей образцово-показательной школы, и мать устроила его в ШРМ*. Но за это время я успел с ним подружиться. Он-то впервые и рассказал мне о хиппи и по секрету сообщил, что он – один из их числа. Я ходил к нему в гости и слушал на магнитофоне «Смена» записи тогдашних рок-групп: в первую очередь, конечно, Beatles и Rolling Stones, но также и Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath и Uriah Heep. Все эти названия звучали музыкой для моих ушей, и я жадно впитывал новые ритмы и новое звучание.

После отчисления Толика из школы я потерял его из вида, но сейчас вновь стал встречать на Стриту. Он обычно шел среди спутников Солнышка, его уже по-настоящему длинные черные волосы были перехвачены на лбу алой ленточкой, что делало его сходство с Гойко Митичем почти абсолютным. Теперь его так и звали – Виннету. Толик познакомил меня с Солнцем, и я удостоился вялого рукопожатия великого человека. Я был почему-то представлен ему как Шурик (меня никогда ранее не звали таким именем), но, как оказалось, Юра меня так и запомнил.

* * *

К тому времени волосы у меня самого заметно отросли. Правда, одет я был вполне по-советски: семья наша жила весьма скромно, в магазине ничего модного не

* Школа рабочей молодежи.

продавалось, о джинсах я не мог и мечтать, а шить на заказ было не на что. Весь семестр я экономил на своей стипендии и вот весной, купив по случаю отрез вельвета салатного цвета, заказал у левого портного Ивана Семенича широко расклешенные брюки и короткую курточку в обтяжку. Вскоре я смог красоваться в обновке. Ходить в расклешенных (50 сантиметров) штанах было непривычно: пришлось вырабатывать новую походку и шагать, широко расставляя ноги. Вельвет оказался паршивым и через несколько дней вытерся на коленях, но это сделало мой вид еще более хипповским. Я стал отращивать свою первую бородку, поначалу еще весьма жиденькую.

Теперь на студенческих «рок-сейшенах» я выглядел одним из самых продвинутых посетителей. Про «сейшены» стоит сказать особо. Так назывались выступления самодельных рок-групп. Как правило, они проводились в вузовских домах культуры или в студенческих общежитиях. Официально группы оформлялись как ВИА* или как фольклорные ансамбли. Названия у них были весьма экзотическими: «Черные вороны», «Завтрашнее железо», «Аракс», «Стертая ржавчина», «Сломанный воздух», «Високосное лето», «Рубиновая атака» и так далее**. Такие названия, как «Оловянные солдатики», «Машина времени» и «Удачное приобретение», числились среди самых заурядных. Полуофициальная группа «Цветы», возглавляемая Стасом Наминым – внуком бессменного члена Политбюро Анастаса Микояна, популярностью не пользовалась. Инструменты ограничивались парой-тройкой электрических гитар (поначалу часто самодельных), ударной установкой и, у самых богатых, – еще и син-

* «Вокально-инструментальные ансамбли» – официально действующие эстрадные коллективы. Любителями рок-музыки аббревиатура ВИА употреблялась как уничижительное прозвище.

** Названия групп приводятся по памяти. Возможны некоторые несовпадения.

тезатором. Главным достоинством подобных коллективов считалось умение исполнять песни западных рок-групп на английском языке «один к одному». Собственное творчество, да еще и на отечественном языке, категорически не приветствовалось. Для начала (и успокоения совести организаторов студенческого досуга) полагалось сыграть пару-тройку песен из тогдашнего эстрадного репертуара, а далее следовал западный рок, под который все «отрывались» и плясали до упаду. Танцы были двух типов: быстрый и медленный. В первом больше всего ценилось умение выделять акробатические коленца, а во втором, во время которого обычно приглушался свет, – полагалось как можно теснее прижаться к своей партнерше, слегка покачиваясь с ней в такт музыке. Дело это было несложное, и очень скоро я научился преуспевать в обоих видах.

«Сейшены» проходили относительно редко. О них нигде не объявлялось. Главное было узнать о месте и времени, а затем прорваться сквозь заслоны. Если это удавалось сделать слишком большому количеству «чужих», «сейшен» могли отменить, равно как его могли прервать в любой момент, если выступление группы казалось организаторам слишком диким, чересчур уж переклещивающим через границы дозволенного для морального облика советского студента поведения. Но опять же, и они выглядели островками свободы – опыта переживания столь желанной западной жизни. Более того, на них появлялись люди из Системы, и я потихоньку делал все новые и новые знакомства.

* * *

Этой же весной 1973 года состоялась одна чрезвычайно важная для меня встреча. В Москве, на ВДНХ проходила выставка «Туризм и отдых в США». Отстояв длинную очередь, можно было попасть внутрь павильона, завистливо повздыхать над невиданными по красоте и удобству

спальными мешками и палатками, посмотреть слайд-шоу с разными туристическими маршрутами и – самое главное – пообщаться с настоящими американцами – веселыми, разговорчивыми молодыми людьми и девушками, довольно прилично говорившими по-русски. Набравшись наглости, я спросил у одной из них: «What do you think of free love?»*, на что она вполне корректно ответила на моем родном языке: «Все зависит от того, что вы называете свободой и что – любовью». В конце беседы она подарила мне настоящую драгоценность – большую карту автодорог США, на которой по моей просьбе прочертила фломастером путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Карту я разместил на стене своей комнаты и часами путешествовал по ней. На выставку я приходил еще несколько раз и подружился с гидами, а в одну из них – невысокую блондинку по имени Лори – даже влюбился, правда платонически и втайне от нее. Несколько раз, соблюдая все правила конспирации, я встречался в городе со своими новыми друзьями. Они подарили мне несколько значков, пару ручек и даже образцы американских монеток. Когда мой дед, в свое время отсидевший приличный срок в сталинском лагере, увидел в нашем доме эти деньги, он остолбенел от ужаса и потребовал, чтобы я незамедлительно, пока всех не арестовали за валютные махинации, выкинул их куда-нибудь подальше. Не помню уже, чем разрешился этот конфликт.

А в июне, за несколько дней до отъезда, двое гидов решили пожениться и организовать экзотическую свадьбу – в советском ЗАГСе. Меня с одним моим сокурсником пригласили в качестве местных гостей. Мы вдоволь потешались над застегнутой на все пуговицы сотрудницей ЗАГСа, каменным голосом и едва двигая губами произносившей казенные формулы. Какой контраст с нашими

живыми, свободными, раскованными, естественно себя ведущими друзьями! А затем нас пригласили на брачный прием, который проводился не в каком-нибудь скучном ресторане, а в виде пикника на берегу Москвы-реки, в Серебряном Бору. На кострах жарились хот-доги, которые подавали с невиданной мною ранее ярко-желтой сладкой горчицей, закусывать можно было картофельными чипсами с разными вкусовыми добавками, а запивались эти заморские яства апельсиновой фантой с настоящим апельсиновым вкусом из индивидуальных жестяных банок. Все это кошмарное химическое угощение показалось мне тогда райской едой – нектаром и амброзией. Никто не перепился, как на знакомых мне свадьбах. Гости весело играли в волейбол и впервые увиденные мною фрисби и бейсбол и танцевали под музыку из портативного магнитофона. Всех фотографировали при помощи еще одного небывалого чуда – полароида, который выдавал небольшие черно-белые фотографии практически мгновенно. Я как будто попал за границу и был там своим среди своих, вдалеке от обрыдшего советского быта, от серых людей, от мертвящей идеологии и страха вездесущих стукачей. Впрочем, стукачи были и там: автобус с американцами сопровождал советский гид при галстукке и в пиджаке. Он взялся было поиграть в бейсбол, но почти сразу получил тяжелым мячиком в глаз и, прижав к нему мокрый носовой платок, удалился в автобус беседовать с шофером. Без его всевидящего ока всем стало еще веселее.

Но все хорошее рано или поздно кончается, кончилась и эта «химическая» свадьба: нас погрузили в автобус, меня довезли до метро и высадили там. Автобус с американцами поехал дальше, а я остался один среди до смерти надоевшего и ненавистного советского быта – всего того, что казалось мне совершенно чужим. Вот впервые в жизни я ощутил себя свободным, но после нескольких часов этого райского существования был вновь выброшен

* Что вы думаете о свободной любви? (англ.).

в толпу рабов к своему прежнему рабскому прозябанию. Я испытал настоящий и жестокий культурный шок.

Кстати, после этого события обо мне впервые заговорил «Голос Америки», правда без упоминания имени. В новостях рассказали об этой столь важной для «политики разрядки» свадьбе и сообщили, что среди гостей на ней присутствовали «двое московских студентов». Передачу услышал дед и сообщил, что теперь-то меня наверняка арестуют. Не арестовали.

* * *

Подошла вторая сессия, которую я сдал вполне прилично, но уже далеко не так блестяще, как первую. После нее передо мной встала задача, как раздобыть денег на отпуск. Через знакомых узнал, что на «Мосфильме» можно неплохо заработать, снимаясь в массовке, и отправился на киностудию. Оказалось, я попал ровно куда надо: режиссер Щукин снимал сатирический фильм о западном обществе под названием «Райские яблочки», и в массовку срочно требовались длинноволосые молодые люди, так что меня взяли сразу. Платили целых три рубля в день, а на первой же пробе режиссер Щукин заявил, что я отличаюсь киногоеничной внешностью и поставил меня на первый план, за что платили уже и вовсе запредельную сумму – семь с половиной рублей. На три недели съемочная площадка «Райских яблочек» сделалась центром хипповой жизни Москвы: узнав о такой халяве, многие системные потянулись туда. Еще бы: все, за что их гоняла милиция, теперь поощрялось. На Мосфильме выдавали дополнительные реквизитные фенечки и требовали максимально раскрепощенного поведения. Милиция, видя такое безобразие, щелкала зубами от злости, но сделать ничего не могла: трогать «артистов» было нельзя. Так я завел новые знакомства и стал восприниматься своим в Системе.

Вспоминаю забавный эпизод, связанный со съемками этого фильма. Разыгрывалась сцена забастовки в каком-то капиталистическом государстве. Массовка изображала бастующих и публику, а сверху раскидывали чистые бумажки, изображавшие прокламации. Дело происходило возле тогда только что построенного здания МХАТа на Тверском бульваре. С Пушкинской площади было видно, что вдали летят какие-то листовки, но подробностей разглядеть не удавалось. Именно там разместился член Системы по прозвищу Майкл Красноштанник и просил у прохожих подать на нужды оппозиции. Удивительно, что ему подавали и никто не донес в милицию!

После «Райских яблочек» мы перешли в другой фильм. То был приобретенный впоследствии некоторую известность «Бегство мистера МакКинли» с Банионисом и Высоцким. Мы, как всегда, изображали западных хиппи, живших лагерем на окраине какого-то западного, капиталистического города. Весь смысл нашего существования был в оттенении Высоцкого, который по сюжету был лидером этих хиппи и пел свои песни. Когда знаменитость появилась на площадке, мы расхохотались. На лидера хиппи этот аккуратно подстриженный и гладко выбритый в новеньких джинсах «СуперРайфл» человек не походил никак. По сюжету мы приветствовали его дикими криками и воплями, а затем понесли на плечах. Последнее довелось делать мне в паре с еще одним волосатым. После нескольких дублей Высоцкий вытащил из кармана плоскую флягу с коньяком и предложил нам подкрепиться. Мы высокомерно отказались: певец в нашем кругу считался слишком «урловым», и относились к нему мы весьма прохладно.

В конце концов эпизод с лагерем хиппи в окончательную версию фильма не попал.

Потом было еще несколько съемочных площадок, и к началу августа я заработал уже вполне приличную сумму, с которой рванул в Пярну.

По сравнению с зажатой Москвой, провинциальный эстонский городок выглядел настоящей западной вольницей. Мои длинные волосы и весь вид говорили о моем явно несоветском образе жизни. Я выучил два слова «Vapa Eesti» (Свободная Эстония), которыми сразу же завоевывал доверие аборигенов, что помогло мне быстро сойтись с местной альтернативной молодежью и стать для них совсем своим. Когда мы заходили в рестораны на ужин, музыканты объявляли: «А теперь для нашего гостя – московского хиппи – мы сыграем...» – и как могли исполняли что-нибудь из репертуара западных рок-групп.

Почти одновременно со мной в город приехало трое питерцев – таких же, как и я, околехипповых студентов, которые почти сразу стали моими лучшими друзьями. Позже они познакомили меня с кругом питерских волосатых, одним из самых известных членов которого был начинающий поэт по имени Боб Гребенщиков (тогда он только-только еще приступал к занятиям музыкой и гораздо более был известен своим неподцензурным поэтическим творчеством). Впрочем, на питерскую Систему у меня были и другие выходы – через однокурсницу, выросшую в городе на Неве и близко знакомую с тем же Гребенщиковым и всем его окружением.

В Москву я вернулся уже бывалым путешественником. Московская Система начинала признавать меня за своего. В своих обтрепанных расклеенных брюках и с лежащими на плечах волосами я выглядел настоящим хиппи, что позволяло мне наслаждаться заслуженным вниманием: как восторженным – со стороны студенческой молодежи, так и резко враждебным – со стороны советского мейнстрима. В вагоне метро или в троллейбусе я неизбежно делался предметом громкого и оживленного обсуждения окружающих меня пассажиров. На меня орали, мне грозили, милиция проверяла документы,

уличные хулиганы пинали, заушали и таскали за волосы. Но благодаря этому я ощущал себя героем-одиночкой, отважно противостоящим бездушной машине подавления. Нарциссизм и гордыня полностью овладели мной. В школе я ощущал себя гадким утенком. Теперь я стал... – нет, конечно, не лебедем, но, наверное, павлином. Глупым, тщеславным, самовлюбленным павлином. Я наслаждался собою и своей новообретенной популярностью.

* * *

Но тут грянула катастрофа: военная кафедра. Пожилой и корпулентный подполковник Нечипоренко, увидев меня, остолбенел и потребовал, чтобы к следующему разу я пришел на занятия «по полной форме». «Я научу тебя Родину любить!» – рявкнул он. – Может, твой папаша и главк какой-нибудь, но неуставного вида я не позволю! Пидарасов нам тут не нужно! Вольно!»

Человек он был простой и глубоко презирал нашу хилую команду, состоявшую из филологов и историков. Называл он всех нас курсантами и выражался примерно так: «А остальные пять дней в неделю, товарищи курсанты, вы будете проходить службу по наряду русский язык и литература».

Отец мой, вопреки уверенности подполковника, «главком» не был, и стричься мне пришлось. По мере того как под рукой парикмахера падали на пол мои локоны, я ощущал вытекающую из меня силу. Из парикмахерской я вышел разжалованным из генералов в рядовые. Теперь я опять сливался с толпой и ничем не выделялся из нее. На меня никто больше не пялил глаза и не оглядывался. Даже знакомые на Стриту перестали узнавать. Я доставал свою фотографию с волосами, лежащими на плечах, показывал ее всем, говорил, что это – вынужденная мера. Знакомые вежливо мне сочувствовали и шли дальше. Я сам отторг себя от хиппового братства!

Я суетился, оправдывался и в совершенно безумном тщеславии дошел до того, что прикрепил к груди самодельный значок с собственным волосато-бородатым изображением, чтобы все видели, каким я был. Однако это не помогало. Не успев по-настоящему стать хиппи, я утратил это высокое для меня звание. Нужно было что-то решать.

Я вспомнил о перенесенном в детстве сотрясении мозга, собрал справки и пошел по врачам. Удивительно, но это сработало: я получил белый билет и освобождение от военной кафедры. Можно было отращивание волос начинать сначала. За всеми этими переживаниями я запустил учебу и третью сессию сдал уже с тройками, что лишило меня стипендии. Но зато мне наконец удалось приобрести свои первые джинсы – ношенные, сильно вытертые, но все же настоящие – американские, и щеголяя теперь в них, постепенно закрывая появляющиеся дыры вышитыми гладью узорами.

В институте я числился уже на весьма нелестном счету. Однажды с приятелем мы прочитали, как нью-йоркские хиппи прервали на несколько часов работу центральной биржи на Уолл-Стрит, раскидав с галереи несколько сотен однодолларовых бумажек, что заставило клерков внизу ловить их, отпихивая друг друга. Долларов у нас, разумеется, не было, но зато в нашем институте также были галереи, выходящие в центральный холл с большой гипсовой статуей вождя мирового пролетариата. Мы разменяли два рубля по копейке и швырнули две горсти мелочи вниз. Как красиво звенели копейки, отскакивая от вымощенного плиткой пола! К счастью, нас не поймали, но, думаю, все догадались, чьих рук это было дело. Комсомольские собрания я откровенно прогуливал, общественными работами демонстративно манкировал. На проводимых в нашем общежитии сейшенах шокировал окружающих неудержимыми танцами и знакомством с совсем уже нессоветского вида личностями.

В институтской многотиражке появилась статья о моральном облике студента Дворкина, которого неоднократно вызывали на проработку, но который так и не думает исправляться. «О чем он думает – неизвестно» – так завершалась статья. «Знали бы они, о чем я думаю на самом деле», – с ехидной улыбкой говорил я, показывая газету своим приятелям.

Тем не менее четвертую сессию я сдал. Вновь с тройками, но все же далеко не самым худшим образом. Институт отправлял нас в стройотряд в Казахстан. Я, разумеется, заявил, что ни за какие коврижки не поеду, но все же, поддавшись настойчивым уговорам мамы, которой сообщили, что моя неявка в стройотряд приведет к немедленному отчислению, скрепя сердце, согласился. Себя я утешал тем, что стипендии мне не положено, а деньги все же нужны. В стройотряде можно было заработать даже побольше, чем на «Мосфильме». В общем, я отбыл в Кокчетавскую область со стройотрядом какого-то инженерного вуза, к которому прикрепил нескольких наших филологов.

Работать на стройке оказалось тяжело и скучно. Приходилось терпеть и смиряться. Попутно в выходные пару раз удалось подработать организатором вечеров молодежи в местных селах, тогда еще заселенных большим количеством русских немцев. В первой части я, пользуясь невежеством местных цензоров, декламировал со сцены стихи декадентских поэтов Серебряного века, при этом до слез смущая местных красавиц долгими взглядами в упор во время чтения любовной лирики. Во второй половине запускались привезенные мною магнитофонные записи, и я, подобно актеру Моргунову из «Кавказской пленницы», демонстрировал, как сейчас в Москве принято танцевать. За один такой вечер платили целых пятнадцать рублей.

Осенью я вернулся в Москву, изрядно подзаработав, и смог обзавестись полным комплектом необходимого для хиппи обмундирования. Из старых джинсов сшил

себе вместительную сумку через плечо. По мере отрастания волос я ощущал себя все более и более в силе и, предаваясь свободной божественной жизни, вновь обретал необходимые в Системе связи.

* * *

Чем дальше, тем больше я переключивался в интеллектуальный андеграунд – любые виды неподконтрольной жизни принимали тогда причудливые подпольные формы. Хипповое существование подразумевало сочетание подпольной жизнедеятельности с сознательным эпатажем внешнего мира. Разумеется, мы уверяли себя и друг друга, что внешний мир нам безразличен, что мы живем свободно и естественно, невзирая на окружающих. На самом деле, еще как взирали! Мы жили этим эпатажем и во многом ради него.

Но все же больше всего меня удручала ложь, пронизывавшая все стороны советской действительности. Примерно тогда я прочитал в самиздате статью Солженицына «Жить не по лжи» и нашел его идеи удивительно созвучными со своими. Напомню, основная мысль писателя была в том, что в советскую систему все равно никто давно уже не верит. Люди притворяются ради работы, ради привилегий, ради карьеры, ради status quo. Коммунистическую идеологию во всей ее полноте никто всерьез не воспринимает, но все делают вид, что верят, и ведут себя соответственно. Отсиживают комсомольские или партсобрания (стараясь сесть на задний ряд, чтобы можно было порешать кроссворды), клеймят, кого надо, голосуют, как положено, шепотком рассказывая друг другу анекдоты и мечтая втридорога купить западные шмотки. Где надо, заявляют о новой советской морали, при этом в реальной жизни не ощущают себя стесненными никакими нравственными правилами. В общем, ведут обычную советскую жизнь. Вот если бы все честно признались

в этом и перестали лгать – тогда система изменилась бы. Идея отказаться от внешней лжи постепенно начала вызревать во мне. Хипповое бытие казалось способом вести такую честную и непритворную жизнь. Однако на ложь своего внутреннего существа, на глубокую безнравственность собственных поступков внимания я не обращал, да и не думал обращать. Внутрь себя я не заглядывал. Все враждебное сосредоточивалось снаружи, и мое противостояние выражалось тоже почти исключительно во внешних формах.

В то время я был стихийным атеистом. Вольная жизнь и погоня за наслаждениями почти полностью заглушили во мне подсознательное стремление к Богу, которое я ощущал в детстве.

Приведу тут несколько историй из моего детства. Мне кажется, что без них честный рассказ о моем сложном, запутанном пути был бы неполным.

ТВОРЕНИЕ КПСС

Как тяжело ребенку не верить в Бога! Как мучительно для детской души не знать опыта молитвы и не иметь в жизни никакого вертикального измерения! Помню, как ночью в своей кровати я мечтал о том, что было бы, если бы Бог существовал, как я беседовал бы с Ним, рассказывал Ему о своих делах, просил бы Его о помощи девочке на костылях или слепому дяденьке, которых я видел на улице, и почувствовал, как острая жалость сдавливает мое сердце. А недавно мамина подруга потеряла сына: мальчик утонул. С тех пор меня от нее прятали, чтобы не напоминать ей о сыне и не усугублять горя. Как я боялся момента появления ее высокой, грузной фигуры в дальнем конце коридора маминой работы, когда мне приходилось сворачивать в ближайшую комнату и прятаться там за шкафом! Я точно попросил бы Бога вернуть ей сына, чтобы они опять жили вместе. А как страшна **смерть!**

С мыслью об этом ужасе невозможно примириться: ты есть, живешь, думаешь, двигаешься, любишь, переживаешь, а потом раз – и тебя больше нет. Совсем нет. И все было напрасно и ненужно. Вот если бы Бог существовал, то после смерти можно было бы встретить всех, кто жил до тебя, общаться с ними, радоваться, благодарить Бога...

Но Бога нет, и ничего этого не будет. Не будет жизни, не будет радости, не будет ничего. Вообще ничего. Есть только абсолютно пустое небо над головой. Это доказано. Ведь космонавты Бога не видели.

Уже одно то, что коммунисты лишали детей веры, заслуживает самого сурового осуждения. Думаю, это одно из их самых тяжких преступлений.

Впрочем, совсем веры лишить они не могли. Они лишь подменяли веру в живого Бога своей верой – верой в их мертвую и мертвящую все вокруг идеологию. И эта чудовищно абсурдная вера зачастую весьма гротескно претворялась в детской душе.

Уже когда я вырос, мать напомнила мне один эпизод моего раннего детства. Мне было года четыре. Придя из детского сада, я спросил:

– Мам, а кто такой Бог?

– Видишь ли, сынок, – начала моя тогда еще неверующая мама, – в древности наука была еще неразвита. Люди были не такими образованными, как сейчас. Они не знали, откуда происходит все вокруг – леса, поля, деревья, горы, небо, Земля, Солнце, звезды. И они думали, что все это сотворил Бог.

– Раньше люди были глупые, – перебил ее я. – Вот они и думали, что все сотворил Бог. Теперь они поумнели и знают, что на самом деле все – леса, поля, деревья, горы, небо, Землю, Солнце, звезды – сотворила Коммунистическая партия!

ПЕРВЫЙ УРОК

Вспоминаю одну давнюю историю из моего детства, когда я учился в первом или втором классе (не помню), ничего не знал о Боге и, как каждый советский школьник, считал себя атеистом. И вот в один день (как я теперь знаю, 14 октября) наша учительница, Анна Ивановна, начала очередной урок примерно со следующих слов: «Дети, сегодня православные отмечают праздник Покров. Смысл этого праздника в том, что в этот день первый снег якобы покрывает землю (?! – А. Д.). На самом же деле, как вы видите, все это – глупости. Посмотрите в окно, как ярко светит октябрьское солнышко, как ласково оно пригревает землю, и вы видите, как далеко в этом году до первого снега. Все это опровергает глупые суеверия наших предков и означает, что никакого Бога нет».

Мы посмотрели в окно: стояла теплая и ясная осенняя погода, на голубом небе не было видно ни облачка, и аргумент нашей строгой пожилой учительницы показался нам чрезвычайно убедительным. Первый урок пошел своим чередом.

Но представьте себе, что в ходе урока небо вдруг потемнело, подул сильный холодный ветер, солнце исчезло за серыми облаками, и внезапно повалил густой-густой снег! Учительница изменилась в лице и, выдавив из себя кривую усмешку, сказала: «Что же, всякие бывают совпадения», а я впервые подумал...

Нет, не помню, что я тогда подумал. Помню только чувство изумления, которое я испытал, глядя на густой, мохнатый, валящий плотной стеной снег. Собственно, и вспомнил я об этом эпизоде много лет спустя, когда стал православным христианином и уже давным-давно знал, что на самом деле праздник Покрова Божией Матери ни к какому снегу отношения не имеет.

В ХРАМЕ

Как-то ребенком я зашел в православный храм. Не помню, где это было. Наверное, в Москве. Шла служба, народу внутри было много. Но я начал протискиваться вперед, к алтарю, и через несколько минут уже стоял перед иконостасом, как замороженный глядя на мерные, неторопливые движения священника и слушая протяжное пение хора. Старушки, стоящие вокруг, одобрительно поглядывали на меня и гладили по головке. Мне было хорошо и спокойно.

Но вдруг в голове возникла и стала нарастать паническая мысль о похищающих детей сектантах, о которых нам рассказывали в школе. А я ведь стоял в самой глубине церкви, отделенный от входа плотной толпой. Вот теперь меня похитят, внесут в эти разукрашенные ворота впереди, и больше никто никогда Саши Дворкина не найдет!

Когда эта мысль обрела отчетливые очертания в моей бедной голове, паника охватила все мое существо, и я, расталкивая народ, ринулся к выходу. Без оглядки выбежал я из храма на яркий солнечный свет и некоторое время потом боялся заходить в церкви в одиночку.

Впрочем, еще лучше я запомнил тусклое золото иконостаса, священника, совершающего непонятные, но столь прекрасные действия и тихое пение, пронизывающее все мое существо...

БОЛЬШЕ НЕ СТУДЕНТ

Вернемся к моей хипповой юности. Да, я по-прежнему выискивал в любой литературе отрывки из недоступной мне Библии и по-прежнему любил заходить в храмы, если они попадались мне по пути, где удивлял старушек знанием иконописных сюжетов. Но все это было не более чем хобби, далекое от моей жизни, ее событий и моих поступков, часто подлых и гадких. В ответ на призывы

мамы, деда, бабушки, которые указывали мне на это, я вполне логично говорил: а в чем дело? Ведь Бога нет, соответственно, все позволено. С чего вы взяли, что нельзя то, нельзя это? Пожалуй, единственное, что я, к нынешнему своему удивлению, признавал, — что нельзя предавать. Хотя, конечно, это было нелогичным с моей стороны. Почему нельзя, если Бога нет? Все равно, когда все умрут, ничего не будет. И какая в посмертном небытии разница между предателем и героем? Правда, этой нелогичности я тогда не видел. Более того, под предательством я понимал только нечто, ну, скажем, политическое. Например, не выдать друзей милиции. Предательства в личных отношениях, которые я совершал тогда налево и направо, для меня виделись чем-то совершенно естественным. Но все остальное, кроме такого весьма специфического понимания предательства (ну и причинения физического вреда другому человеку — я ведь называл себя пацифистом), я считал вполне нормальным и допустимым. Мои неверующие родные не могли меня убедить, почему нельзя совершать те или иные поступки. Мои ответы ставили их в тупик. Аморально, безнравственно? А откуда тогда берутся мораль и нравственность и что это такое вообще? А если для меня естественна совсем другая модель поведения, то чем она безнравственнее предпочитаемой ими модели? При этом я даже не задумывался над тем, что моя «модель поведения», то есть мой образ жизни, причинял тяжелые страдания моей семье, моим близким. Напротив, я обижался на них и скандалил с ними, обвиняя их во вмешательстве в мою жизнь, так как они не позволяют мне делать все, что я хочу. Но брать у них деньги не стыдился и считал это нормой.

В такой тяжелой и постыдной слепоте я пребывал все дольше и дольше и увязал в ней все глубже и глубже. Ту неизбывную внутреннюю неудовлетворенность собой, которую не мог не ощущать, я списывал на внешнюю

среду, на обрыдший советский строй и все советское общество. Страна моей мечты – Америка, в которой царят свобода и счастье для всех и каждого, – недостижима. Безжалостная судьба забросила меня в совдепию, для которой я абсолютно чуждый элемент. Значит нужно из нее уйти во внутреннюю эмиграцию и жить, как будто этой совдепии не существует. Для этого требуется перестать лицемерить и начать, по совету Солженицына, жить не по лжи. Поэтому чем дальше, тем меньше я соблюдал обычную для советского человека осторожность: я разговаривал со всеми и обо всем, не опасаясь высказывать свое мнение. Антисоветской агитацией я не занимался, но открытое пренебрежение тем, что составляло общепринятый образ жизни, не могло не бросаться в глаза. Это тоже была идеологическая позиция. Разумеется, в институте дела мои шли все хуже. Мое демонстративно вызывающее поведение никто не собирался терпеть бесконечно, тем более что исправляться я не собирался.

* * *

Удивительно, что я еще так долго продержался в институте, прежде чем меня выгнали, как «не соответствующего моральному облику советского студента». Формально мне были инкриминированы неуспеваемость и непосещаемость: количество моих прогулов вполне позволяло применить ко мне санкции по этой линии. И хотя были студенты, не появлявшиеся на занятиях куда больше моего, к пятой сессии меня не допустили. Так к непосещаемости добавилась неуспеваемость, что и создало все предпосылки для законного отчисления.

Почти вся наша состоявшая из женского пола группа пришла просить за меня в деканат. Там им сообщили, что ко мне применяется педагогическая мера: я не ценю высокой привилегии быть советским студентом. Пускай я поработаю на тяжелой работе («а не каким-нибудь

лаборантом, просиживающим штаны за шкафом»), пойму что почем, и тогда, при наличии хорошей характеристики, меня, конечно, восстановят.

Мне уже было все равно, но ради мамы, у которой очередной виток моих приключений вызвал тяжелый сердечный приступ, я обещался сделать все как надо. На работу я устроился сразу же. Забрав документы из института, я зашел навестить знакомую, работавшую лаборанткой в кардиологическом институте на Пироговке. На всякий случай решил зайти в отдел кадров. Там сказали, что срочно нужен рентгентехник в отдел реанимации. Я, не раздумывая, попросился на эту должность. За несколько дней меня обучили обращению с аппаратами, и я приступил к работе.

Новое дело мне нравилось: я чувствовал себя полезным и при этом находился вне всякой идеологии. Но, как оказалось, не совсем: директором института был академик Петровский, тот самый, именем которого сейчас названа улица в Москве. Тогда он еще здравствовал и даже служил министром здравоохранения СССР, хотя, наверное, уже перешагнул восьмидесятилетний рубеж. Он приезжал в институт раз в неделю, делал операцию и уезжал руководить советской медициной. Врачи поговаривали, что из-за возраста он оперировал уже плохо, и обычно ему подсовывали безнадежных больных. Както, это было уже в начале лета, он случайно столкнулся в коридоре со мной. Я отработал смену и шел по коридору, стянув с головы медицинскую шапочку. Длинные волосы висели в художественном беспорядке. Увидев меня, академик побагровел и осведомился у своей свиты, откуда я такой взялся. Ему доложили. Тогда светило науки обратился непосредственно ко мне, сказав буквально следующее: «Ну, ты, Иисус Христос, немедленно марш в парикмахерскую!» Я очень спокойно ответил ему, что мы на брудершafft с ним не пили, что обращаться ко мне

на «ты» он не имеет права. Академик еще больше побагровел и сообщил, что я ему во внуки гожусь, поэтому он может ко мне обращаться как хочет. Я тихим голосом возразил, что все же не являюсь его внуком, а взрослые и ответственные люди обращаются друг к другу на «Вы», и поскольку, надеюсь, мы с ним оба взрослые люди, то я вправе ожидать от него обращения на «Вы». Министр рявкнул: «Вон!» – и вместе со своей свитой удалился. Я сразу же пошел в отдел кадров и написал заявление об уходе по собственному желанию. Врачи, под началом которых я трудился, жалели меня – работал я хорошо, – но сделать ничего не могли. Впрочем, характеристику для восстановления в институте мне дали отличную – точнее, поручили написать ее мне самому.

Но, разумеется, восстанавливать меня никто не собирался. Я вздохнул с облегчением – я сделал все, что мог, и теперь имел полное право уже более ни от чего не зависеть. Последнее, что тяготило мою совесть – это членство (хоть и формальное, но все же членство) в комсомоле. Я пошел в райком и сдал изумленным инструкторам свои билет и учетную карточку.

* * *

Теперь я наконец-то был совершенно свободен – настолько, насколько можно быть свободным в моей стране. Одна моя знакомая тогда собиралась в Одессу, и я поехал вслед за ней – автостопом. До этого таким способом я ездил только в Питер – доехать до Одессы было куда дальше и интереснее.

Автостоп вышел отличным – с приключениями, интересными попутчиками и с милицейским задержанием между Киевом и Москвой на обратном пути. Представители законности даже делали поползновения нас (я путешествовал с приятелем) постричь, но мы стойко отстояли наши права на альтернативную внешность и достойно вер-

нулись в Москву, обогащенные новым опытом, о котором можно было повествовать восхищенным слушателям.

Теперь я заслуженно ощущал себя самым настоящим хиппи и мог вести такой образ жизни, к которому давно стремился.

В СИСТЕМЕ

К 1975 году Система стала уже другой. Первая Система – та самая, с Юрой Солнцем во главе – уже не казалась самой продвинутой. На Стриту появились новые действующие лица, в основном мои сверстники. Юру постепенно забывали. Ныне его часто можно было увидеть одного, в состоянии сильного подпития, все еще не верившего, что так быстро минула его земная слава. Теперь он сам приветствовал давних знакомых, неизбежно прося у них денег на очередную бутылку. По старой памяти ему еще давали, но все реже и реже...

Для нас, называвшихся Второй Системой, те, первые, воспринимались слишком грубыми, вульгарными, примитивными. Мы-то видели себя гораздо более утонченными, причастными искусству и настоящему западному образу жизни. Можно сказать, мы были самыми последовательными западниками Советского Союза. Америку мы воспринимали нашей Землей Обетованной, символом подлинной и безграничной свободы. Сделать что-то, «как в Штатах», виделось высшей целью. Какой-нибудь слух о новом «штатском» обычае (часто, как оказывалось потом, совершенно фантастический) заставлял нас перекраивать все наши привычки.

Но главной пружиной нашей жизни, конечно, был рок. Английский и американский. Песни на русском языке отменялись сразу. Диски были неподъемно дорогими для наших пустых карманов (цены на них у фарцовщиков начинались от тридцати рублей за подержанную виниловую пластинку и доходили до ста и больше – за новую).

Мы доставали магнитофонные записи и собирались для прослушивания, переписывая их друг у друга. Эта музыка не просто оправдывала наше существование. В ней мы видели смысл жизни, придавая року высшее религиозное значение. Эти сакральные для нас вибрации полагалось слушать молча, в темноте, полностью отдаваясь их звучанию. Сейшены с танцами считались уже слишком вульгарными, не подходящими для священных звуков. Несмотря на большое количество русифицированных английских слов, которыми мы уснащали свою речь, английский все знали плохо или не знали вовсе, поэтому о содержании песен представление у нас было, в лучшем случае, самое приблизительное. Но это не мешало воспринимать, за редкими исключениями, весьма примитивные рифмовки как наилучшую поэзию и глубочайшие по смыслу философские тексты. Западные рок-музыканты – служители нашей священной музыки – виделись пророками, героями, почти что небожителями и, конечно, учителями жизни и высшими образцами для подражания. Апокрифические истории о них благоговейно передавались из уст в уста.

Но они-то были далеко, в США. А в нашей стране? Теперь я вижу, что тут высшей кастой мы считали самих себя. Трудно было найти больших снобов, чем наше тогдашнее сообщество. Окружающий нас мир состоял в основном из «коммунистов» и «пролетариев». Достойными общения признавались только люди с западными интересами, да и то лишь отчасти, с известной долей снисхождения. Диссидентов мы, скорее, уважали, но считали чересчур узколобыми, заикленными на своей политике. Нашими антагонистами была «урла» (они же «морлоки») – хулиганствующая алкоголизированная молодежь, считающая своим гражданским долгом отлупить попавшегося ей в руки хилого «хиппаря»-пацифиста.

Единомысленную нам часть студенчества мы мило-стиво признавали (тем более что через нее мы получали новые записи любимых рок-групп), называя при этом таких доброхотов «пионерами». Так же именовались и «начинающие» хиппи, которым нужно было пройти некий испытательный срок и совершить определенное количество «подвигов» (поездок автостопом, милицейских задержаний и тому подобное), чтобы добиться почетного права называться человеком (точнее, «мэном») Системы.

Среди тех и других «пионеров» мы пожинали почет и уважение. Я уже говорил, что в своей родной школе был одним из самых малопопулярных учеников. Теперь настало время реванша. Как-то я встретил нашего классного лидера и заводилу – героя школьных романов, силача и спортсмена Васю Губина. В годы нашей учебы я практически не попадал в поле его снисходительного внимания. Теперь он первым заметил меня на улице и подбежал ко мне, издала протягивая руку: «Здорово, Санек! Помнишь меня? Я ведь вместе с тобой в одном классе учился!»

Я удостоил его легкого кивка головы, вяло пожал услужливо протянутую мне руку и даже сказал несколько приветливых слов его девушке, которую он тут же мне и представил, после чего оба они ушли счастливые. Другой одноклассник – умница и отличник Сережа Фаворский, также встреченный мною на улице, – выразил все одной фразой: «Разве мы бы относились к тебе так, если бы знали, каким человеком ты станешь?»

Мое честолюбие было удовлетворено, а тщеславие возрастало с каждым днем. Помню еще такой эпизод. Как-то я шел по Стриту и увидел симпатичную девушку, шедшую в компании молодого человека весьма грозного вида. Улучив момент, когда юноша отошел в сторону, я перекинулся с девушкой несколькими словами, мы обменялись

телефонами, и вот через пару дней уже гулял с ней по центру. И вдруг мы увидели ее бывшего парня, приближающегося к нам быстрыми шагами. Я замер. Предстояла крайне неприятная сцена, по всему обещавшая закончиться для меня побоями. Но подошедший грозный мститель вдруг льстиво склонился ко мне и, протянув для пожатия ладонь, робко сказал: «Чувак, ты меня помнишь? Ты меня раньше с ней видел. Меня Дима зовут. Тебе нужна какая-нибудь помощь? Может, обижают кто?»

* * *

Одеваться мы также стали несколько по-другому. Импортная джинса была по большей части недоступна для нас. Но зато наши «герлы» к тому времени научились отлично шить и мастерили для нас изумительные доспехи из подручного материала. Можно сказать, что теперь мы носили модельную одежду. Мне соорудили широленные (60 см) брюки («трузера») из палаточного брезента, выкрашенного вручную в кислотно-яркие цвета. Доставшуюся мне от кого-то самодельную черную куртку расшили узорами. На капюшоне с двух сторон нитками телесного цвета были вышиты уши в натуральную величину, в которые мы вставили настоящие сережки весьма крупного размера, что, разумеется, чрезвычайно шокировало окружающих «пролетариев». Впрочем, эпатаж окружающего мира оставался одним из наших главных подвигов, об отдельных, наиболее изобретательных эпизодах которого мы с восторгом рассказывали друг другу. Как-то, например, несколько человек, нарисовав себе на верхних веках открытые глаза, уселись рядом на сиденье метро. Разумеется, сидящие напротив пассажиры стали наперебой громко возмущаться их внешностью. Тогда они все одновременно закрыли глаза, чем вызвали шок у своих визави. Впрочем, на следующей остановке им пришлось спастись бегством от накинувшихся на них разъяренных пассажиров.

* * *

В отличие от первой, вторая Система не имела единого лидера. Она, хотя и небольшая по численности, имела структуру движения, то есть состояла из групп и отдельных людей. В Москве таких групп было три-четыре, а общая численность московских хиппи (вместе с приезжающими из Подмосковья) составляла около двухсот человек, а вместе с «пионерами», возможно, доходила и до пятисот. Всего же по СССР, по моей оценке, эти цифры составляли пятьсот и тысяча соответственно. Это и было все наше братство. Дополнительным кругом общения для нас стала артистическая и интеллектуальная богема – авангардные художники и писатели, непризнанные философы, рок-музыканты – в общем, то самое «поколение дворников и сторожей».

Одной из самых известных среди хипповых компаний стала группа, называвшая себя просто: «Волосы». Я часто встречался с ними, но от более тесных отношений меня удерживала неприемлемая для меня, да и нетипичная для хиппи, организованность и подчинение своему лидеру – довольно некрасивой девушке по кличке Офелия. С эстетической точки зрения «Волосы» выделялись на фоне остальных хиппи: их одежды были расшиты самыми затейливыми узорами, а места обитания по живописности опережали другие жилища. Офелия была старше остальных лет на шесть-семь и пользовалась среди них непререкаемым авторитетом. Ей все время приходили на ум всевозможные идеи, которые она отработывала на своих последователях. То она объявляла, что язык нужно освобождать от всех слов-паразитов, например: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», то настаивала на том, что вообще говорить можно лишь в случае самой крайней необходимости. Вся ее группа (человек около десяти) с восхищением смотрела ей в рот и подхватывала каждую ее новую идею. Из всех «Волос»

больше всех я дружил, пожалуй, с юношей, первоначальное прозвище которого звучало как Фроська, но в группе Офелии ему поменяли столь неблагозвучное имя на неизвестно что значащее, но звучное Лайми. Просто Офелия как-то прочитала трактат Хлебникова о красоте звука «л» и тут же переназвала двух новичков в своей группе в Лайми и Лой. Мужа Офелии звали Шаман. Он слыл одним из лучших рок-гитаристов Москвы, а возможно, и всей страны. В 1975 году милиция обнаружила в рояле у Шамана сверток с опиум-сырцом, и его посадили.

Вскоре Офелия завела себе нового друга жизни по кличке Азazelло. Этот высокий светловолосый длиннотелый парень с шишкой на скуле не отличался особым интеллектом. По слухам, он происходил из полуурловых кругов, в которых он назывался Толя Кирпич. Иногда в центре он натакивался на приехавших туда погулять старых знакомых, которые весело кричали ему:

– Толян, старина, айда к нам, по портвейну врежем!

Бывший Кирпич заливался краской и тягуче, в нос произносил:

– Не в кайф, чувак, меня Азazelло зовут.

Была своя, куда менее формальная, группа вокруг волосатого, которого все звали Корок, и у нескольких других. Но эти объединения не были столь жесткими, как «Волосы», и напоминали, скорее, дружеские тусовки. Изредка появлялись на свет остатки старой, первой Системы во главе с Юрой Солнцем. Правда, они все менее общались с новыми лицами, замыкаясь в своей компании, в основном вокруг бутылки с портвейном (наши, как правило, алкоголя не потребляли, считая его принадлежностью презируемого пролетарского мира). Многие недавно появившиеся на Стриту пионеры даже уже не знали этих легендарных фигур прошлого.

Самым близким нам человеком из старой Системы был неунывающий весельчак Сеня Скорпион, плавно пе-

ретекий в новые компании. Он повсюду ходил со своей подругой цыганкой Замирой, с которой они часто бурно при всех ссорились (иной раз дело доходило до взаимных побоев), а потом столь же бурно мирились. Несмотря на разницу в возрасте (он был старше меня лет на 7), мы с ним сдружились. Нас сблизила страсть к каламбурам, которыми мы с ним обменивались при каждой встрече.

Среди заметных одиночек самым колоритным, пожалуй, был Юра Диверсант. Он ходил во всем черном, что выгодно оттеняло его длинные, почти до пояса, светлые волосы. В своей комнате Юра выкрасил в черное все – пол, стены, потолок и даже простыни. В отличие от нас, Диверсант не был пацифистом – на стене напротив кровати он повесил самодельный плакат «Дай работу пулемету» и любил порассуждать о военной истории Третьего Рейха. При этом держался строгого вегетарианства и даже свою черную кошку кормил растительной пищей, изредка балуя ее молоком. Как-то Юра изготовил несколько листовок безумно-анархистского содержания и темной ночью вдвоем с приятелем пошел клеить их на стены домов. Постовые, стоящие возле индийского посольства, заметили их и погнались за ними по пустынному переулку, громко топоча тяжелыми ботинками. Неожиданно Юра крикнул: «Петька, отстреливайся!»

Милиционеры попадали на асфальт, достали свое табельное оружие и сделали по предупредительному выстрелу. Теперь падать пришлось Диверсанту с Петькой. Их связали и сильно побили. Разумеется, никакого оружия при них не нашли. После разбирательства обоих отправили на принудительное лечение в психушку.

* * *

Так вышло, что я не вошел ни в одну из существующих групп (отношения между которыми скоро стали, мягко говоря, не идеальными), но с удовольствием общался

со всеми. Наверное, я ощущал себя слишком неисправимым индивидуалистом, да и каждая из них чем-то до конца меня не устраивала, хотя жизненный опыт я черпал отовсюду. Даже решил увековечить наше движение, составив словарь сленга советских хиппи. Общаясь со всеми, я постоянно записывал на карточки новые слова. Впоследствии мне удалось переправить картотеку в США, и ее приняло в печать издательство «Ардис» в Анн-Арборе. Однако вскоре после этого главный редактор издательства профессор Карл Проффер скоропостижно скончался, а его вдове было уже не до издательства. Так мой первый (и единственный) лингвистический труд не был опубликован. Теперь я, скорее, этому рад.

Что меня определенно огорчало – это полная безыдейность большинства моих собратьев. Они просто жили своей хипповой жизнью, в некоторых случаях эстетизируя ее, как «Волосы», в других – вообще не задумываясь о главном. Мне же хотелось сформулировать смысл нашего жизненного выбора и, соответственно, его оправдание. Для этого я стал писать «Петицию свободной молодежи» к советскому правительству. Главная идея ее была заимствована у Солженицына – жить не по лжи. Точных слов я теперь, конечно, уже не помню. Примерный смысл был таков: мы, свободная молодежь, не играем в ваши игры, не нуждаемся в вашей карьере, не хотим занимать место в вашем обществе. Но мы не враги вам и не угроза: мы аполитичны, власть нам не нужна, мы готовы сохранять внешнюю лояльность и не будем устраивать каких-либо открытых выступлений против вас. Мы не отказываемся честно зарабатывать свой хлеб: мы живем и работаем на самых простых работах, принося непосредственную пользу людям. Мы можем прожить без вас, проживите же и вы без нас. Мы просим от вас только одного: оставьте нас в покое и не заставляйте участвовать во всех ваших идеологических играх, в которые мы не верим.

К счастью, адресату я все это не отправил, и немедленных последствий моя дерзкая выходка не имела.

Но декларации декларациями, а жить не по лжи оказалось куда сложнее, чем просто перестать участвовать в советских мероприятиях: ложь гнездилась в отношениях между нами, поедая остатки наших идеалистических мечтаний. Да и какая «жизнь не по лжи» возможна без Бога и Его Церкви? Замена одной лжи на другую, да еще с гордыней впридачу? Впрочем, все это – тема для отдельного повествования.

В любом случае, наш изначальный праздник скоро выродился в мучительные будни. Сейчас я понимаю, что, несмотря на горделивое ощущение себя избранными одиночками, «элитой», посмевшей бросить вызов «гегемонам» и начать новую, отдельную от всех жизнь в своего рода «внутренней эмиграции», подспудно зрело желание принадлежности к чему-то большему, единому, правильному. Ничто так не утомляет и не разочаровывает еще не совсем испорченного и не совсем тупого человека, как роль гордого одиночки в компании таких же гордых одиночек. Мы притворялись, что все остается по-старому, но не могли не видеть, что забрели в еще худший тупик.

Но все же мы ждали перемен. Это ожидание прекрасно выразил в своей более поздней (написанной во второй половине 80-х годов) песне неизвестный тогда нам Виктор Цой. Но в наше безнадежное время подспудно все начинало бурлить перед переменами. Нам в глухой середине 70-х перемен ждать было неоткуда. Но все же, вопреки всем здравым смыслам, вопреки логике и окружающей нас очевидности, нереальные, но упорные мечты о переменах возникали вновь и вновь.

И вот представьте себе мое изумление, когда однажды, проходя мимо памятника Пушкину на Тверской (тогдашней улице Горького), я увидел там демонстрацию.

Причем демонстрацию явно не советскую! Куча возбужденных людей – весь сквер вокруг памятника был запружен, толпа выливалась на проезжую часть – с неизвестными мне сине-белыми (не красными!) знаменами.

Сладкая мысль: «Вот оно! Началось!!!» – пронзила мое сознание. В крови забурился адреналин, сердце забилось учащенно. Более ничего не видя и не слыша, я ножом врезался в толпу размахивавших знаменами людей.

– Ребята, что это, демонстрация?

– Да, – отвечают мне.

– А куда идем?

– К Кремлю!

Сердце, ухнув, сладостно провалилось в самый низ живота, а затем ликующей птицей поднялось в заоблачные выси. Наконец-то! Дождася! Дожил!

– Здорово! А можно я с вами!

– Конечно!

– А что, с какой платформой выступаем?

– Ты о чем, парень?

– Ну, как, чего мы требуем?

– Зачем требовать, ничего не требуем, ты че, ненормальный?

Теперь уже я перестал что-либо понимать.

– А зачем тогда все это? – растерянно обвел я вокруг рукой.

– Ты че, пацан, с луны, что ли, свалился? Ведь «Динамо» – чемпион! Ура!!! – завопил мой собеседник и стал усердно размахивать своим сине-белым флагом, на котором я только теперь разглядел букву «Д».

Низкое, серое осеннее небо придавило меня свинцовой тяжестью. Я тихонечко вышел из толпы и поплелся своей дорогой.

– Уу, битлис волосатый! – привычно зашипел какой-то пожилой динамовский болельщик, вливавшийся в толпу во главе группки своих содоминошников. Впрочем,

мне было все равно. Вокруг царил беспросветный мрак. Я ощущал себя ограбленным: у меня только что отняли лучший момент жизни. Это оказался не мой день.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

К тому времени я работал санитаром в отделе травматической реанимации 67-й горбольницы, недалеко от моего тогдашнего дома на Хорошевке. Туда я устроился сразу же по возвращении из автостопного путешествия в Одессу. Работа была весьма напряженной, но приносила мне удовлетворение, так как я видел, что помогаю людям в самом беспомощном состоянии и тем самым приношу пользу. В отличие от клиники сердца, где мой контакт с больными был эпизодическим (сделал рентгеновский снимок и укатил), тут я был при пациентах постоянно. Люди к нам поступали сильно искалеченные, после аварий и катастроф. Я старался исполнять свои нехитрые обязанности не за страх, а за совесть: подавал больным утку и судно, перестилал им постели, подкладывал подушки, приносил еду и питье. Даже уколы научился делать и делал их, по словам больных, хорошо: они часто просили, чтобы уколол их именно я. Напарником моим по отделению оказался Женя Маргулис – бас-гитарист из той самой «Машины времени», которая постепенно выдвигалась на лидирующее место среди московских групп. Тогда она, как и все самые лучшие из них, играла английскую музыку. Мы с Женей перекладывали больных на каталки и везли их на операции, потом назад. Больных, которым делалось лучше, мы с радостью катили наверх, в терапевтическое или хирургическое отделение, умерших же покрывали простыней и отвозили вниз – в морг. Помню, как я плакал, столкнувшись с первой смертью одного из наших пациентов. И хотя потом, как и у всех медицинских работников, душа моя огрубела, я все же сильно переживал по поводу каждой из весьма частых в нашем отделении смертей.

В свободное время я несколько раз ездил в ближайшие города: в Питер и в Киев, где останавливался у знакомых «волосатых». Если что-то не получалось, всегда можно было перекантоваться ночь-другую в подьезде. Отправиться зимой в автостопные путешествия мало кто рисковал, так что я приспособился ездить зайцем на поездах: из-за холода проверяющие билеты проводники обычно стояли в вагоне, возле своего купе, так что можно было зайти и тут же перескочить в задний тамбур соседнего вагона, изображая на минутку вышедшего покурить пассажира. Когда проверка билетов заканчивалась, оставалось пройти в плацкартный вагон и тихонько занять свободное место. На худой конец годилась и верхняя багажная полка.

* * *

Еще одно общественное событие, которое тогда привлекало внимание многих, – это выставки неподцензурного искусства, проходившие в то время в Москве. Первая – весной 1974 года – была раздавлена бульдозерами. Но из-за поднявшегося международного шума советское правительство пошло на попятный и позволило провести новую выставку. Она состоялась осенью того же 1974 года в Измайловском парке, где на зеленой лужайке выставлялись все, кто хотел. Люди просто приносили свои картины или скульптуры и ставили их на всеобщее обозрение. Зрителей собралось очень много, у экспонатов шло живое обсуждение. Несмотря на обычно ненастный октябрь, погода в тот день выдалась небывало теплая и солнечная. Память об этом дне еще долго жила в моей памяти – таким было ощущение любви, братства и, главное, свободы, царившее на зеленой лужайке в московском парке.

Следующие выставки, в которых от всех московских хиппи приняли участие «Волосы», прошли зимой

1975 года в павильоне «Пчеловодство» на ВДНХ и осенью того же года в ДК там же. Это были уже гораздо более формальные мероприятия с оргкомитетом, отбиравшим картины (площадь экспозиции была весьма ограничена) и с длинными очередями у входа. Из экспонатов «волосатых» прошло вышитое Офелией с помощницами знамя московских хиппи с большими цветными лозунгами «Make Hair Everywhere»^{*} и «Страна без границ» (последнее в каком-то частном разговоре посоветовал Офелии я) и с полным набором хипповой символики (сейчас не припомню, на которой из двух выставок оно появилось), а также несколько картин хипповых художников, в частности Гарика (Игоря) Каменева по прозвищу Стрелец.

После выставки о группе «Волосы» появилась небольшая заметка в журнале «Тайм», что еще более привлекло внимание властей к московским хиппи. Несколько человек из них уехали в Коктебель, где прятались всю зиму на даче безногого диссидента Юрия Киселева^{**}, кстати жившего в Москве в одном доме со мной и часто помогавшего мне юридическими советами, которые к тому времени стали мне весьма полезны: моя петиция, ушедшая в самиздат, получила некоторое распространение и даже пару раз попадалась мне в разных городах. Наверное, примерно тогда она была замечена компетентными органами, и авторство ее было «вычислено»: во всяком случае, с осени 1975 года задерживать меня стали намного чаще. Обычно задержания происходили так: на улице к нам подходил наряд милиции и просил документы для проверки. Получив наши паспорта, милиционеры клали

* Буквально «Делайте волосы повсюду». Правильнее было бы «Grow hair everywhere» – «Растите волосы повсюду».

** Киселев рассказывал, что ноги ему отрезало трамваем, когда в молодости он шел на комсомольское собрание. С этого, по его словам, начался его антисоветизм.

их в нагрудный карман и приказывали пройти с ними. В отделении заполнялись подробные протоколы, а дальше начиналась беседа о необходимости вести советский образ жизни. Часто от нас требовали написать те или иные доносы на своих же (нужно было сообщить данные «организаторов антисоветских притонов», участников антисоветской деятельности, писать списки имен «неблагонадежных элементов» и так далее), а при отказе начинали орать, запугивать, а иногда и бить нас. Такое задержание могло продлиться до пяти-шести часов, но в конце концов, ничего не добившись, милиционеры нас отпускали. Главное было не иметь при себе ничего инкриминирующего, так как обыскивали при каждом задержании нас весьма тщательно. Милиционеры даже целенаправленно копировали телефоны из записных книжек. Поэтому от телефонных книжек приходилось либо отказываться, либо зашифровывать номера. Жизнь все более усложнялась.

* * *

И тут я встретил Толика-Виннету, давно уже не появлявшегося на моем горизонте. Он сообщил, что уезжает в Америку по израильской визе, и спросил, не прислать ли мне приглашение. Даже не думая, я согласился – почему бы и нет, тем более что звучало это предложение более чем абстрактно.

Но вдруг через пару месяцев я извлек из почтового ящика вызывающе иностранный, длинный белый конверт с прозрачным окошечком, открывающим мой адрес. Приглашение пришло. Меня вызывал на постоянное место жительства в Израиль некто называвшийся моим родственником. Имя было не похоже ни на что – даже не было понятно, кто отправитель: мужчина или женщина. На бумаге была выдавлена печать, а к ней приклеена красная ленточка. Раньше таких документов и конвертов я не

видывал. Я показал диковинную вещь родственникам и приятелям и задвинул письмо в дальний ящик.

Было это в начале весны 1976 года. Вскоре мне пришлось идти в логово врага – в местное отделение милиции. Я потерял паспорт и должен был получить новый. Мне велели зайти в кабинет следователя, где началось жестокое издевательство: меня били, швыряли из угла в угол, надевали мою же сумку мне на голову и таскали за бороду по всей комнате, подставляя ноги, так что я падал на пол. Милиционеры даже не требовали от меня ничего подписывать: они просто развлекались и, как выяснилось позже, тянули время. Потом меня подержали пару часов в обезьяннике и наконец полусогнутого от боли в отбитой спине (дома начались почечные кровотечения) провели в комнату, где сидели двое очень серьезных мужчин в штатском. Они-то и сообщили мне, что знают о полученном мною приглашении и предлагают серьезно подумать о моем будущем. Они, дескать, лично не видят, как я смогу реализовать его в нашей стране, хотя готовы попробовать перевоспитать меня в лучшей в мире советской пенитенциарной системе. Но они считают, что, оказавшись в жестоком капиталистическом мире, я, возможно, пойму все преимущества социализма, от которых столь высокомерно отказываюсь, и тогда из меня может что-то получиться. Впрочем, думать и выбирать – мне. С этим меня проводили до выхода.

Предложение было серьезным. Я решил скрыться из Москвы и поразмыслить о своем будущем на досуге. Уволившись с работы, я стал собираться в большое автостопное путешествие по всей стране, которую я знал еще весьма мало.

Накануне увольнения я дежурил в больнице последнюю смену. Поздно ночью я зашел в актовый зал и написал-нацарапал неприличное слово на гипсовом лбу белого бюста Вождя всех трудящихся. Такие изображения

Ульянова были неременным атрибутом всех публичных мест. Ситуация усугублялась еще и тем, что на завтрашнее утро, как я знал, было назначено всеобщее партийное собрание, которое теперь окажется в весьма забавном положении – глубоко процарапанное матерное слово просто так смыть будет невозможно. Я понимал, что за подобное преступление можно получить лет десять, но, увидев такую возможность, удержаться не смог.

Теперь с Москвой меня больше ничего не связывало. Мой тогдашний неразлучный друг – Дима Степанов – легко согласился составить мне компанию, и мы, собрав вещички (все они умещались в матерчатых наплечных сумках, к которым снаружи были приторочены легкие одеяла), двинулись в путь.

АВТОСТОПОМ ВОКРУГ РОССИИ

Все путешествие заняло около четырех месяцев: мы выехали в середине мая, а вернулись домой в середине сентября. Я был абсолютно городским жителем, из интеллигентской семьи, с очень малым опытом общения вне своего круга – интеллигентских посиделок, богемной среды и контркультурных молодежных группировок. Понятно, что все они были очень замкнутыми. Мы гордились нашей элитарностью, «продвинутой» и считали себя сливками общества. Всех, кто не дотягивал до наших стандартов, придуманных нами же, мы презирали или боялись. Это путешествие стало для меня возможностью впервые получить настоящий, большой опыт, что было очень познавательно и полезно во всех отношениях.

Тогда про автостоп в Советском Союзе почти никто не слышал: все думали, что «голосующий» добирается до ближайшего населенного пункта и должен что-то дать шоферу. Но мы рассчитывали на бесплатный проезд. Поэтому, только садясь в машину, начинали объяснять, что

мы бедные и денег у нас нет. Как правило, водители это понимали и вопросов больше не возникало, за какими-то редкими исключениями. К тому же мы всегда говорили, что если они хотят, то могут нас высадить. Но такого не случилось почти никогда: обычно людям за рулем было интересно узнать, кто мы такие, почему выглядим так необычно и отчего путешествуем таким странным способом: ведь обычно «голосующие» просили подбросить их не далее, чем до соседней деревни. Мы начинали рассказывать о себе, о своем образе жизни и так развлекали водителей в течение всего долгого пути.

Первоначально мы направились в Тбилиси, где жили двое моих приятелей-грузин. Я подружился с ними два года назад в Пярну, и они приглашали в гости. Ехать предстояло через Восточную Украину, Ростов и далее Ставропольский край.

Помню краткую остановку в Харькове, куда нас завез очередной попутчик и где мы решили пообедать. Первое, что меня поразило в столовой, – это «рыбный день», как оказалось, давно действующий в Харькове. Я долго не мог поверить, что во всем общепите города не подают по вторникам и четвергам ничего мясного. Убедившись наконец, что это действительно так, я в шутку предположил совершенную невероятность: вдруг к нашему возвращению и в Москве введут «рыбные дни»? Забегая вперед, должен сказать, что так оно и случилось: к сентябрю в столице уже вовсю действовало это новшество. Когда в конце концов мы сели обедать, к нам за столик подсел какой-то человек неопределенного вида. Он стал нас довольно дружелюбно расспрашивать, кто мы такие, отчего так выглядим и какой жизнью живем. После наших подробных ответов он, неожиданно резко переменяв тон, прошипел: «Я – интеллигентный бандит! Даю вам полчаса. Если через это время я встречу вас в Харькове, обещаю, что вам не жить!»

Мы благоразумно решили не проверять, насколько серьезно его обещание, и поскорее удалились из неприглядного города. Уже на Украине мы начали ночевать на природе, завернувшись в одеяло и подложив сумки под голову. Пару раз нас приглашали на ночлег случайные попутчики. В ту пору автостоп был весьма малоизвестным способом передвижения, и, когда мы в очередной раз объясняли, что едем не в ближайшее село, а на другой конец страны, многие проникались к нам сочувствием и старались помочь, чем могли. Шоферы-дальнобойщики охотно угощали нас своими дорожными припасами. Конечно, особую роль играла и наша почти невиданная в провинции внешность. В ответ на расспросы я охотно пропагандировал хипповый образ жизни. Вряд ли мне удавалось кого-нибудь в него обратить, но на многих мои объяснения производили, в общем, благоприятное впечатление. Наверное, нас считали слегка (а может, и не слегка) тронутыми.

* * *

Кавказский хребет стал первыми горами, которые я увидел в своей жизни, — вначале в виде дымки на горизонте, которая все росла и уплотнялась, пока не загородила весь вид, да так, что дух захватывало. Помню Военно-грузинскую дорогу, по сторонам которой еще лежал снег, продуваемый всеми ветрами перевал и спуск в заполненную густой зеленью долину, выглядевшую настоящим раем. А вскоре перед нами открылся вид на невиданной мною ранее красоты город — Тбилиси. Мои друзья-грузины, к которым мы нагрянули как снег на голову, встретили нас по-царски. Такого гостеприимства мне ни разу еще не приходилось испытывать. Они едва не поссорились, обсуждая, у кого мы будем ночевать, так что пришлось ежевечерне переезжать на новое место. Пирей следовали за пирами, приемы за приемами. Об одном только

я жалею сейчас: каким-то образом тогда я совершенно не заметил грузинского православия. Даже ни одного храма не запомнил, как будто бы их там вовсе не было.

Отдохнув в Тбилиси целую неделю, мы тронулись на Черноморское побережье. Планировали проехать через Абхазию и Новороссийск, а затем добраться до Крыма, где нас под Судак должен была поджидать группа московских «волосатых». Доехать автостопом удалось только до Сухуми. Толком ознакомиться с этим городом мы не успели — через несколько часов нас задержала местная милиция. Курортных стражей порядка нельзя было удивить или испугать столичными паспортами — они их выдывали в изобилии каждый сезон. После недолгого разбирательства нас под конвоем отвезли к московскому поезду и посадили на него.

Автостопить имело смысл только на федеральных трассах, а поезд безнадежно увозил нас от них. Дружелюбный проводник сообщил, что в донбасском городе с диковинным названием Ясиноватая мы можем пересесть на крымский поезд. Поскольку мы хотели продолжить путешествие, то выбора не оставалось. В Ясиноватой мы оказались около двух часов пополудни, а симферопольский состав по расписанию отходил в восемь с чем-то. Предстояло просидеть тут всего-навсего шесть часов. Мы направились было к кассе, но нас ткнули носом в объявление, что билетов нет вообще — ни на какой поезд. Значит, нужно проникнуть в вагон зайцем. Оставалось только его дожидаться.

Шахтерский городок утопал в тишине и спокойствии. Состоял он по большей части из одноэтажного «частного сектора» с палисадниками, за которыми виднелись белые хаты и огороды. Мы отправились гулять по безлюдным улицам и зашли довольно далеко. Однако ближе к пяти отовсюду стали раздаваться пьяные крики и звон бьющегося стекла. Трудовой день кончился,

и рабочий народ начинал «отдыхать». А ведь где пьют, там и бьют, и чаще всего друг друга. От греха подальше мы решили поскорее вернуться в центр. По пути нам несколько раз приходилось переступить через лужи крови, но, к счастью, тех, кто их оставил, на месте уже не было. Такого я нигде больше не видел. На привокзальной площади мы уселись на скамейке и, стараясь выглядеть как можно более незаметно, тихонечко стали ждать. Вдруг к нам подошла подвыпившая компания довольно агрессивного вида.

– Кто такие? – поинтересовался покрытый наколками верзила в кепке – видимо, главный из них.

– Туристы из Москвы, – уклончиво ответил я.

– Лет сколько? – неожиданно спросил татуированный.

– Мне? Двадцать. Ему – девятнадцать.

– Из них?

– Что – из них? – не понял я.

– Из них?

– Если сколько из них я учился, то двенадцать с половиной. Десять в школе и...

– Из них?

Я решительно не мог его понять. А между тем компания проявляла все большую агрессивность. Дело начинало принимать совсем нехороший оборот. Но на наше счастье, рядом остановился милицкий уазик, и наши собеседники быстро отошли в сторону. Милиция, не обращая внимания на нас, последовала за ними, и мы вздохнули с облегчением.

Между тем приблизилось наше время, и мы отправились на перрон. Он был запружен народом. Подошедший поезд толпа брала штурмом. Никаких проводников даже видно не было: они благоразумно сидели в своих купе и даже не пытались как-либо регулировать посадку пассажиров. К счастью, нам, не обремененным тяжелыми

чемоданами, удалось прорваться внутрь одними из первых, и мы быстро залезли на третьи – багажные – полки напротив друг друга. Как оказалось, это был самый разумный выбор. На вторых – спальных – полках люди сидели по трое, свесив ноги вниз. Сидели они и в проходах на полу, и на столиках, и всюду, где только удавалось примоститься. Мы-то хоть могли лежать, вытянув ноги. Правда, спуститься за какой-нибудь надобностью оказалось совершенно невозможно: во-первых, пройти до туалета не удалось бы, а во-вторых, и в туалете размещалось несколько пассажиров. Так и пришлось терпеть до следующего утра, когда наш поезд прибыл в Симферополь.

* * *

Под Судаком нас поджидала теплая компания из своих. Всего собралось человек десять-двенадцать. Мы жили под открытым небом на берегу, ночуя под своими одеялами. Было это совершенно противозаконным, так как побережье считалось пограничной зоной и находиться у воды после наступления темноты строго запрещалось. Деньги к тому моменту у всех уже почти кончились, так что существовали мы на голодном пайке. Днем ходили в поселок раздобыть пищу, потом варили общий обед из всего принесенного (костры зажигать позволялось только днем – по вечерам побережье обходили пограничные патрули), затем купались и долго беседовали в темноте перед сном – в общем, вели жизнь Тома Сойера и его друзей на необитаемом острове. Через пару дней мы завели знакомство с местной молодежью, и ребята начали исправно снабжать нас тушенкой и макаронами, а некоторые из них даже вполне всерьез спрашивали, в каком месте в Москве можно записаться в хиппи.

Но все хорошее рано или поздно кончается: наше райское существование продлилось немногим более недели. Наверное, конец был неизбежным: с одной

стороны, мы не могли прожить без визитов в поселок, но с другой – неизбежно привлекли к себе внимание, и кто-то донес пограничникам, что на территории их ответственности поселились весьма подозрительные люди, совсем несоветской внешности. Ночью началась облава. Почти всем нашим каким-то чудом удалось отсидеться за кустами и остаться незамеченными. Поймали только меня и Мишу Тамарина, не ведавших ни о чем и возвращавшихся из поселка после позднего амурного визита. У нас проверили документы и отвезли в местную милицию. Ночь мы провели в обезьяннике, а утром милиционеры, скрутив нам руки и ноги, большими овечьими ножницами постригли нам волосы под корень.

Мы шли назад по залитой солнечными лучами пыльной дороге и плакали. Ощущение было такое, как будто нас изнасиловали. «Миша, теперь я понял, я уеду из этой страны, – говорил я. – Жить тут я не могу. Когда выеду, я тебе пришлю вызов. Хочешь?»

Миша согласно кивал. Пока мы шагали до места, наши теперь непокрытые волосами головы обгорели на солнце. После долгих поисков своих мы отыскивали в укрытии. Нас ждали, чтобы совместно отправиться в путь. Разбившись на пары, мы выехали в Симферополь. Там во время ночевки в доме своих собратьев-хиппи у меня украли джинсовую куртку – последний остаток прежней одежды. Увы, и местные волосатые оказались совсем другими.

* * *

Следующим пунктом нашего с Димой маршрута значилась Одесса. Но доехать до нее оказалось не так-то просто: в Херсоне бдительный водитель автобуса обратил на нас внимание и, не открывая дверей на остановках, довез до отделения милиции, где и передал с рук на руки стражам порядка. Те объявили, что наши паспорта поддельные и что нас задерживают до выяснения обстоятельств.

По тогдашнему закону подозрительное лицо без предъявления обвинений можно было задерживать на срок до двух недель. Эти четырнадцать дней нас и продержали в спецприемнике.

Должен сказать, что, вопреки ожиданиям, пребывание в заключении не оставило у меня травматических впечатлений. Учитывая все обстоятельства, мы совсем неплохо провели две недели в тюремной камере и даже приобрели весьма важный опыт.

Наши соседи по нарам были довольно разношерстными и не слишком криминальными: по большей части, это были бродяги (тогда их называли «бичами») и прочие не вписавшиеся в советскую систему человеки. Меня поразило то, что они оказались совершенно обычными людьми, такими же как все. Единственное, что их отличало, – это сложившиеся обстоятельства, по которым они оказались на обочине советской жизни, а потом и вообще выпали из нее, став «деклассированными элементами» (то есть бездомными), и начали свое странствие по спецприемникам. Сложись обстоятельства иначе, они работали бы на заводах, сидели бы в конторах, а может, даже преподавали бы в школах. Они не производили впечатления страшных изгоев, отверженных. Да, некоторые из них промышляли мелким жульничеством, но кто из жителей Советского Союза не был мелким жуликом, не таскал у государства, не выносил чего-либо со своего места работы? Воспринималось это как нечто естественное: жалованье платилось минимальное, людям нужно было как-то выживать, а для этого приходилось где-то что-то нарушить, где-то что-то утащить. Просто один на этом попадался, а другой нет. Кто не попадался, считал себя честным и порядочным, хотя был ничуть не честнее и не порядочнее тех, кого за то же самое упекли за решетку.

Относились к нам в камере, скорее, хорошо, разве что слегка иронично. Никаких притеснений мы

не испытывали, а вот помощи – в виде добрых советов и даже еды – мы получали предостаточно.

Это оказалось чрезвычайно важным, так как с пищей ситуация была самой напряженной. Спецприемник жил по советскому (несколько переиначенному апостольскому) принципу: кто не работает – тот не ест. То есть теоретически нас работать не заставляли, но не трудящегося не кормили. В воскресенье работы не было, а значит – и пищи, если не считать утреннего и вечернего «чая» (слегка подслащенной мутной воды) с куском хлеба. Работать приходилось тут же – во внутреннем дворе спецприемника. Туда привозили с местной швейной фабрики большие коробки с металлическими катушками, на которых оставалось немного ниток. Катушки нужно было очистить, срезав нитки острым ножом. За один ящик давали котлету, за другой – картошку, за третий – компот, за четвертый – суп и так далее. К концу первого дня наши пальцы были исполосованы, а катушки закапаны кровью, но полный обед мы себе так и не заработали. Так продолжалось из дня в день, и на волю мы вышли изрядно похудевшими, но зато и волосы мои в неволе чуть-чуть подросли, и оставленные ножницами проплешины более не бросались в глаза.

* * *

Отдохнув пару дней у Диминых родственников в Одессе, мы перебрались в Кишинев, где натолкнулись на четырех московских хиппи, приехавших туда несколькими днями раньше. Мы погостили у молдавских братьев (вся кишиневская Система вряд ли превышала полтора десятка человек) и направились на север – через Бельцы и Единцы в Западную Украину.

Помню красивый старый монастырь в городе Могилеве-Подольском – на границе Молдавии и Украины. Приблизившись к нему, мы обнаружили, что он

находится в полуразрушенном состоянии. Тем не менее в его осыпающихся корпусах размещался интернат для детей с задержками развития. Мы зашли на никем не охраняемую территорию, где нас немедленно облепила кучка маленьких маугли – шустрых подростков в оборванных и обтрепанных сиротских униформах. Все они – и мальчики и девочки – были стрижены «под ноль». Выглядели эти маленькие и щуплые дети лет на восемь-десять. Каково же было наше удивление, когда они, в ответ на вопрос, стали называть свой возраст: как правило, тринадцать-четырнадцать лет! Мы дружелюбно поговорили с ними – как мы обычно говорили со всеми, кто нам встречался. И этих нескольких слов оказалось достаточно, чтобы стать лучшими друзьями заброшенных и затравленных детей, видимо чрезвычайно редко встречавших простое, неагрессивное отношение со стороны взрослых. Они стали приносить нам еду (отрывая ее от себя – ведь вряд ли их очень сытно кормили) и даже отдавать какие-то безделушки, видно главные свои сокровища. Мы отказались от всего, забрав только сигареты (они-то, рассудили мы, детям совсем ни к чему). «Возьмите нас с собой, – просили мальчишки. – Мы хотим поехать с вами. Мы будем делать все, что вы скажете, будем все время вас слушаться, только возьмите нас!»

Как нам ни было мучительно жалко этих несчастных детей, мы отказались. Да и что бы мы могли сделать?

«Мы все равно убежим отсюда», – говорили дети.

Мы настоятельно посоветовали им все же дождаться шестнадцати лет и получить паспорта, а до того не предпринимать никаких решительных действий, чтобы не попасть в куда худшее место, чем их детский дом. Не знаю, послушались ли они нас...

Дальше были Черновцы, где мне впервые удалось увидеть «Райские яблочки» (фильм получил «категорию 2», то есть его можно было демонстрировать всюду,

кроме Москвы) и лицедреть себя в этом на редкость плохом фильме. Теперь перед нами лежали Карпаты. Тут нам довелось испытать подлинную советскую бдительность, воспитанную десятилетиями пропаганды, которой подвергались жители приграничных районов.

В одном селе мы (в тот момент нас было четверо) подошли к колодцу, чтобы наполнить дорожную фляжку. Остатки старой воды выплеснули в траву рядом. Не успели мы опомниться, как нас окружила толпа селян и, крепко взяв под руки, препроводила к сельсовету. Вскоре прибыла местная милиция, и после долгих допросов нас заставили написать объяснительные записки, в которых мы ругались, что не являемся засланными иностранными диверсантами, пытавшимися отравить сельский колодец.

Мы клялись и божились, и каждый выпил не меньше, чем по литру колодезной воды, чтобы доказать невиновность. «А вдруг вы подлили туда такой яд, который сейчас не действует, а заработает через год?» – торжественно утверждали бдительные жители окраины Советской страны.

Наикратчайшая дорога в Ужгород, выбранная нами по карте, проходила в непосредственной близости от румынской границы. Шофер остановленного грузовика позволил нам ехать в кузове. В середине пути машина остановилась: «Тут погранзаезда, нужно предъявлять документы», – пояснил водитель.

Постовой офицер, забрав наши паспорта, объявил, что дальше ехать мы не можем, и стал крутить ручку полевой рации: «Товарищ полковник, говорит лейтенант Голубев. Те четверо, которые были замечены вчера на бензозаправке в ста километрах отсюда, уже прибыли. Как прикажете поступать?»

Видимо, полковник приказал отправить нас восвояси, так как лейтенант, объяснив, что в погранзоне нельзя находиться без специального пропуска, посадил нас на

встречную машину и отправил откуда приехали. Пришлось нам пробираться в Ужгород долгим кружным путем, в том числе – и на тормозной площадке груженного углем товарняка. Отмывались мы потом очень долго.

* * *

Впрочем, помимо всех историй о наших злоключениях, я мог бы рассказать гораздо больше других – о тех добрых людях, которых мы встречали. Мы столкнулись с удивительной человеческой добротой – когда незнакомый человек совершенно иного социального круга, к которому в обычной жизни скорее всего побоишься просто так подойти, вдруг оказывает тебе неожиданную милость, неожиданную любовь, нежданное гостеприимство.

Помню, в Молдавии в городе Бельцы первый прохожий, у которого мы спросили, где можно бесплатно переночевать, предложил привести нас в дом к своему брату, который, как оказалось, жил в маленьком однокомнатном домике. Мы узнали, что он неделю назад освободился с зоны, а два дня назад женился. Очевидно, что четверо незваных гостей пришлось ему совсем некстати. Тем не менее он оказался чрезвычайно радушным, я бы даже сказал – жертвенным хозяином. После роскошного ужина он предложил нам две имеющиеся в домике кровати, причем нам с Димой – совершенно незнакомым ему людям – он уступил свое супружеское ложе, а сам с молодой женой разместился в углу – на коротком и узком даже для одного человека сундуке. Я до сих пор не встречал других людей, способных так принять незваных и совершенно чужих гостей.

Мы успели немного пообщаться с хозяином: вечером, потом утром, за предложенным им обильным завтраком. Он оказался хорошим, простым и радушным человеком. Это было для меня тогдашнего чрезвычайно странным открытием, потому что выходцев с зоны я привык

воспринимать как отъявленных злодеев – «морлоков», «урлу». Но передо мною сидел обычный человек, искренний и открытый. Единственный из всего города, кто предложил кров и пищу незнакомым странникам.

Денег у нас не оставалось совсем, но кормиться надо было. Стоило зайти в обычную столовую небольших украинских городков и сказать, что мы туристы, оставшие от группы, и не ели двое суток (что было недалеко от правды), как сердобольные сотрудницы общепита усаживали нас за стол и кормили лучшим, что у них было припасено для себя.

В романтическом Ужгороде на ночлег нас пригласила многодетная вдова, недавно оставшаяся без мужа. В ее тесном и беспорядочном, но очень гостеприимном доме мы прожили несколько дней. Стоит ли говорить, что сделала она это абсолютно безвозмездно.

Из Ужгорода дорога лежала через Мукачево во Львов. Тамешние хиппи были довольно политизированы (тот самый «западенский» национализм не обошел их стороной), но нас приняли как родных. Помню, какой-то львовский прохожий возмутился нашим русским языком, но сопровождавший нас местный «волосатый» заступился за нас, объяснив, что такие люди, как мы, имеют право говорить на родном языке.

Помню и другой эпизод. Мы с Димой поднялись на горку ко входу к величественному собору святого Юра (сейчас, к сожалению, он передан униатам). Храм был действующим, в ворота все время входили верующие. И вдруг одна из сидевших тут же нищенок, заметив нас, заголосила: «Братья и сестры! Смотрите, в наш город вернулись Божии странники! Господь заметил нас! Он ответил на наши молитвы! Вот они! Дайте им все, что они попросят!»

Вокруг нас мгновенно собралась толпа. Смущенные, мы стали объяснять, что мы совсем не те, за кого нас при-

няли. Но народ стоял непоколебимо: раз блаженненькая сказала, значит, так оно и есть. Нас отпустили, лишь нагрузив пищевыми запасами и снабдив несколькими десятками рублей.

* * *

Из Львова через Западную Украину, а затем Белоруссию мы направились в Минск. Где-то в Ровенской области, проходя вдоль дороги, мы слышали странные звуки: если это и была музыка, то какая-то уж очень авангардная. Поднявшись по откосу, мы увидели двух хиппи в одинаковых широкополых шляпах, сидевших плечом к плечу и игравших – один на скрипке, а другой на флейте. Оказалось, оба они – глухие, точнее, слабослышащие, но настолько слабо, что официально считались глухими. Они отлично понимали собеседника, читая по его губам, и говорили весьма сносно, правда с довольно своеобразным выговором, напоминавшим иностранный акцент. Жили оба в Минске и очень любили музыку, которую воспринимали не через уши, а всем телом впитывая вибрации. Поэтому-то им необходимо было прижиматься друг к другу во время музицирования. Один из них рассказывал, что как-то получил передовой слуховой аппарат, который дал ему возможность слышать. Он походил с ним несколько дней, а потом выбросил на помойку: слишком уж много беспорядочных и неуправляемых звуков на него обрушилось. «Мне намного привычнее и спокойнее жить в тишине», – завершил он.

Новые друзья сопровождали нас в Минск и передали с рук на руки тамешним хиппи. Через несколько дней мы отправились в Каунас и Вильнюс, где пробыли сутки в каждом городе, после чего отбыли в Ригу. Там мы остановились в доме местного хиппи Миши Бомбина – обладателя самых длинных волос в городе, а возможно – и во всей Прибалтике. Когда он прятал их за ворот, они

мохнатым хвостом свисали из-под пол его куртки. И наконец мы отправились в эстонский Вильянди, где должен был состояться ежегодный рок-фестиваль и куда постепенно подтягивались хиппи со всей нашей огромной страны. К огромному сожалению, в этом году местные власти, напуганные невиданным ранее «нашествием иноплеменных» (не менее двухсот хиппи буквально заполонили маленький сонный эстонский городок), отменили запланированное мероприятие.

Делать было нечего – пришлось разъезжаться. Я решил навестить знакомый мне Пярну. Хозяин, у которого я снимал комнату два года назад, принял нас с Димой как родных, бесплатно поселил у себя, истопил нам сауну и приложил все усилия, чтобы за эти пару дней мы прибавили бы немного веса после дорожных злоключений. Отдохнув на море, мы прибыли в Таллинн и провели блаженную неделю в этом самом западном (по мироощущению) городе Советского Союза. Милиция на практике не гоняла. Мы валялись на траве в Кадриорге и общались с собратьями из самых различных городов. Принимал нас старый приятель эстонский хиппи Рейн Мицниин по прозвищу Мичурин. Хотя чаще его звали по имени – уж очень англоязычно оно звучало. Позже я узнал, что он стал кришнаитом, но в конце концов вышел из секты.

Хотя шевелюра моя к тому времени несколько отросла и живописно торчала во все стороны, мне все же еще было далеко до моих длинноволосых собратьев. Однако отношение ко мне оставалось самым теплым и сочувствующим: то, что меня насильно постригли милиционеры, стало известно всем и, вкупе с двухнедельным пребыванием за решеткой, подняло мой авторитет на неслыханную высоту.

После Таллинна мы направились в Питер и оттуда в середине сентября прибыли в Москву – после четырехмесячного анабазиса. Штаны мои были изорваны в кло-

чья, ботинки, купленные перед путешествием, просили каши, от носков осталась только верхняя часть вокруг лодыжек. Было холодно, шел мелкий дождь, и через дырки в подошвах я ощущал все неровности мокрого асфальта.

Я УЕЗЖАЮ

Решение было принято – я решил эмигрировать. Конечно, насильственная стрижка в милиции не была главной причиной моего выбора. Все виделось сложнее.

Мой тогдашний круг общения был очень узок. Мы вращались в среде полуартистической, полудиссидентской, полубогемной молодежи – той, что составляла советский андеграунд. Художники, как правило, были не слишком талантливые, но свободомыслящие, музыканты – не слишком умелые, но зато роковые, писатели – доморожденные, но антисоветские, философы – примитивноватые, но зато ориентированные на Запад. По-настоящему талантливые люди встречались, но довольно редко, да и они все были с какими-то заскоками и вывертами.

Слово «андеграунд» означает «подполье», «подвал», а все время в подвале жить невозможно. Подвальная жизнь калечит людей: из них получаются только чихоточные дети подземелья. Совсем не случайно, возможно, самый принципиальный среди диссидентов человек – генерал Петр Григоренко – назвал книгу своих мемуаров «В подполье можно встретить только крысы».

Тут необходимо сказать кое-что о диссидентах. В те годы я довольно много общался с ними, и они составляли для меня некий периферийный круг общения. Хотя я принципиально не занимался политической деятельностью (считал себя выше этого), но многие из них были мне интересны, я считал их героями и априорно неподдельно уважал. Это общение продолжилось в эмиграции, так что, думаю, диссидентский менталитет я понял хорошо. Так вот, в конце концов мне стало ясно, что диссидентство –

тупиковый путь. Тупиковый в том смысле, что на одном отрицании ничего не построишь. Логика постоянной борьбы, постоянного сопротивления, постоянного обличения в конечном итоге занимает все в жизни человека, и он перестает видеть в мире что-либо хорошее, что-либо ценное. Перманентная борьба, как кислотой, разъедает душу, и нет ничего более печального на свете, чем профессиональный диссидент, ничего, кроме тотального обличительства, не умеющий. Это человек, который настолько привык к подпольной жизни, что, выходя из этого подполья, теряется, ничего не понимает и в результате сам быстро создает себе новое подполье, которое бывает еще страшнее прежнего.

Но мы также обитали в подполье, и это роднило нас с диссидентами, а значит, подпольная жизнь калечила и хиппи, даже самых сильных и выносливых из нас. Она калечила диссидентов, она калечила и артистическую богему – свободолюбивую и раскрепощенную молодежь, и, разумеется, мой непосредственный круг не был исключением. И это я начал понимать ко времени возвращения из своей поездки. Именно осознание тупиковости нашей жизни сыграло ключевую роль в том, что я все-таки отважился на эмиграцию. Меня привели к моему решению не только страх перед репрессивными органами и не только обида за насильственную стрижку. Я понял, что как бы хорошо и интересно ни было чувствовать себя героем из Системы, жить не как все, гордиться вниманием окружающих, из тщеславия придумывать все новые и новые формы эпатажа, но в конце концов это неминуемо приведет к распаду личности. Существовать от лета до психбольницы, а затем опять – от психбольницы до лета... Слава Богу, меня это пока коснулось меньше, моих друзей – гораздо больше, но в этом чередовании периодов вольной жизни с психиатрическими застенками была роковая неизбежность, которая стоила слишком дорого.

Перед отъездом:
прощание с Москвой



Прощальное фото.
Я сделал 64 таких
и раздал на память
друзьям



Мой двор





За два дня перед
отъездом: в старых
штанах



Новые штаны

Кроме того, имелась и еще одна крайне важная проблема: наркотики. Постепенно они проникли в нашу среду и, как яд, отравляли ее. Я не говорю о неотвратимом распаде личности, к которому они приводили. Но они разлагали и все наше братство. Собственно, с распространением наркотиков оно перестало существовать: остались лишь изолированные одиночки, каждый из которых был заинтересован только тем, где раздобыть новую дозу. Постепенно доза начала заменять все – идеи, друзей, любовь, да и жизнь, наконец. Все чаще мы сталкивались с торговлей между своими, с воровством, с предательством друзей, с отказом от самых близких людей. Участились и аресты: теперь у властей нарисовался абсолютно безупречный повод борьбы с нами. Появились и первые среди нас погибшие от передозировок и других связанных с наркотиками причин.

Выхода для себя я больше не видел. Вопрос можно было решить только хирургическим путем – через отъезд.

Как и все мои собратья, я считал себя лишь жалким эпигоном настоящих хиппи – тех, которые основали движение на Западе и прежде всего в США. Если в СССР хипповая Система гибла, так и не состоявшись, значит, требовалось отыскать подлинник, проникнуть в самую суть и поучиться ей у тех, кому мы стремились подражать. Чтобы отыскать их, оставалось ехать на Запад.

И наконец, постепенно вызревала еще одна важная причина: я понял, что хотя советским студентом мне быть категорически не нравится, однако учиться я хочу. Но в СССР это было нереально – от всех мостов давно оставались руины, уже даже не дымящиеся. В этом смысле эмиграция давала перспективу, потому что она представляла возможность начать все с чистого листа и продолжить образование.

* * *

Я приступил к сбору документов. Дело это оказалось сложным и хлопотным, так что устроиться на прежнюю работу было невозможно – требовалось занятие со свободным графиком. Друзья предложили труд натурщика в Художественном училище имени 1905 года – еще одна распространенная среди хиппи профессия. Платили целый рубль в час, так что в день можно было собрать рублей пять-шесть. Заработок давался нелегко – по сорок пять минут нельзя было шевелиться, но поскольку тогда во всем училище работало всего двое молодых натурщиков (вторым был сын еврейского диссидента Слипака), я мог выбирать позы и соглашался только на сидячие постановки. В училище у меня появилось много новых друзей среди начинающих художников.

Когда я писал заявление в ОВИР о разрешении мне эмигрировать, возникла неожиданная сложность. Как я уже говорил, по имени человека, вызывавшего меня, не было понятно, мужчина это или женщина. Так что писать: дядя меня вызывает или тетя? В конце концов я решил, что если не могу решить, кто это, то чиновники и подавно не будут знать, и написал, что приглашает меня к себе горячо любимый дядя, который не может без меня жить и хочет, чтобы я скрасил ему одинокую старость. В начале ноября я наконец подал документы в ОВИР и стал ждать ответа. Почти одновременно со мной, хотя мы и не сговаривались, подал документы Алеша Лайми (бывший Фроська): ему тоже кто-то прислал приглашение.

* * *

Похоже, мы сделали это вовремя. Места хипповых тусовок опустели, все компании разваливались. Моего друга Диму Степанова арестовали и упрятали на принудительное лечение в психушку. И он был далеко не единственной жертвой. На Стриту поселились страх и одиноче-

ство. Как-то я встретил Юру Солнце. Он шел совсем один, какой-то потрепанный и грязноватый, кровоточащей рукой время от времени вправляя себе, видимо, кем-то поврежденную нижнюю челюсть.

Увидев меня, обрадовался: «Здорово, Шурик, как живешь? Пойдем, портвяшку выпьем. У меня деньги есть, угощаю».

Я присел с ним на скамеечку во дворе и из вежливости отпил несколько глотков тошнотворного сладкого пойла.

Юра изливал мне душу. Он говорил, что жизнь потеряна, что лучшие годы прошли, что лишь немногие знают его, Юрия Юрьевича Буракова, по-настоящему. «Знаешь ли ты, что я – великий поэт? Ты ведь даже не видел моих стихов. А еще я пишу роман, который станет лучшим романом нашего века. „Мастер и Маргарита“ отдыхает! – заверял меня Юра. – В следующий раз я дам его тебе почитать».

Мы прообщались более часа. На прощанье я пожал жесткую, широкую ладонь «отца-основателя». Он опять пощупал свою пострадавшую челюсть и спросил: «Может, тебя кто-то обижает? Ты скажи, я его сразу урою!»

* * *

Вернувшись домой, я обнаружил в почтовом ящике повестку с Петровки, 38. Поскольку на ней не было указано ни номера дела, ни в каком качестве меня вызывали (обвиняемого, свидетеля), я не пошел (юридическая школа соседа-диссидента Киселева не прошла даром). Потом оказалось, что вызывают всех тех, кто был с нами во Львовес. Одного из вызываемых как-то задержали на улице и доставили на Петровку приводом. Так мы узнали, что наши львовские хозяева были арестованы за какие-то листовки, которые они расклеивали, и теперь им пытаются инкриминировать создание антисоветского притона. Мы

были нужны как свидетели, а заодно и как потенциальные обвиняемые. Пришлось лечь на дно. Пару месяцев я жил у Корока (тоже побывавшего во Львове), счастливого обладателя свободной трехкомнатной квартиры. Вместе со мной скрывались от властей мой друг Дима, Валя Белый Негр, Ира Крокодильчик, Илья Кожаный Плащ, девушка по прозвищу Меланья и еще несколько человек. Тут подбор кличек был куда менее благозвучен, чем у эстетствующих «Волос». Но зато и свободы в отношениях было куда больше.

Мы соблюдали строгие правила конспирации: в квартиру заходили поодиночке, на телефонные звонки отвечали только после нескольких условленной длительности прозвонов, а дверь открывали лишь после сложных условных сигналов. В темное время суток электричества не зажигали: жили при свете включенного, но неработающего телевизора: звук был перекрыт, а по рябому экрану бродили какие-то тени. Впрочем, этого хватало, чтобы не врзаться в мебель и друг в друга.

Тем не менее в конце концов милиция к нам ворвалась: кто-то выдал наши условные сигналы, и мы открыли дверь, за которой стоял наряд милиции. Всех разделили по кабинетам, и началось обычное чередование добрых и злых следователей: один орал и дрался, а другой уговаривал не злить нервного коллегу и подписать все похорошему. Взяли нас утром, и в отделении мы просидели до вечера, когда совершенно неожиданно всех нас отпустили. Про Петровку и про львовское дело никто так и не упомянул. Я до сих пор не знаю, чем все это было вызвано: то ли нас просто решили пострадать, то ли местная милиция оказалась неинформированной о расследовании МУРа, а МУР, в свою очередь, – о том разговоре, который у меня был с кагебешниками. А может, те самые мои собеседники сообщили милиции, что я и так уезжаю, так что раскручивать дело не было смысла.

* * *

В начале февраля нового, 1977 года я встретил Женю Маргулиса, и он пригласил меня на сольный концерт Макаревича. Это казалось чем-то новым, и я пошел. Мероприятие, на которое я попал, совсем не было похоже на привычный сейшен. Во-первых, никто не плясал, все чинно сидели в зале. Во-вторых, Макаревич был один и с акустической гитарой. В-третьих, и это было самое невероятное, он пел по-русски, свои собственные песни.

Попутно он инструктировал собравшихся, что прихлопывать ему нужно не в такт, как принято у нас, а против такта, как это делают в Америке. Мы поверили ему и старательно хлопали против такта. Таким образом я успел поприсутствовать при зарождении русского рока.

В середине февраля я нашел в почтовом ящике открытку – вызов из ОВИРа. Там сообщили, что разрешение на эмиграцию мне выдано. До отъезда оставалось менее месяца. За это время требовалось совершить массу хлопотных (и весьма дорогостоящих) дел: оплатить отказ от советского гражданства, приобрести дозволенные к вывозу 150 долларов, купить авиабилет до Вены, получить визу в ОВИРе, запросить академическую выписку в моем бывшем институте, перевести все документы на английский (с официальным заверением) и так далее. Побегать предстояло изрядно. Так что даже остановиться и немного призадуматься времени не оставалось. Алеша получил разрешение на выезд через неделю после меня. Мы решили лететь вместе, так что сроки у него оказались еще более сжатыми. Тем не менее мы успели. Виза моя была открыта до 8 марта 1977 года. Чтобы не рисковать, мы купили билеты на 6 марта. Пошел обратный отсчет времени.

* * *

В предотъездной суете у меня произошла одна встреча, которую я потом вспоминал много раз. Это случилось в моем институте, где я за два дня до отъезда сидел в деканате и ждал академической справки. На соседнем стуле я заметил относительно молодого человека с темной бородкой, лет на пятнадцать постарше меня. Наши взгляды встретились, я кивнул ему, и он, улыбаясь, спросил, что я тут делаю. Я ответил, что жду справки, поскольку уезжаю в Америку.

Тут нужно кое-что пояснить. Во-первых, я старался никому не говорить, что уезжаю: продолжали приходить повестки с Петровки и можно было ожидать, что если в МУРе узнают про мой отъезд, они могут все поменять. Любой человек мог оказаться стукачом, так что спокойнее было молчать. Во-вторых, моя чрезмерная откровенность могла поставить моего собеседника в неудобное положение: он-то не знал, кто я такой. Я мог оказаться провокатором, следящим за тем, как онотреагирует на «изменника Родины». Тем не менее я почувствовал, что этому человеку можно довериться. Он, действительно, совсем не испугался, посмотрел на меня и произнес: «Вам предстоит страшное испытание. Выдержите ли вы его?»

Я ответил, что все уже решено и пути назад нет.

На это незнакомец сказал, что я непременно, всенепременнейше, должен съездить в Сергиев Посад, в Лавру, и поговорить там с отцом... и тут он назвал какое-то совсем простое имя. Наверное, это был отец Кирилл, но тогда названное имя я довольно быстро забыл. Я ответил, что уже никак не могу успеть, но он настаивал и даже просил обещать, что я это сделаю. Я обещал постараться. Конечно, я не поехал: возможности у меня такой не было, потому что время до отъезда было расписано. Да и, честно говоря, я тогда не понимал, зачем мне это нужно.

Наверное, будь у меня желание, нашел бы время. Многие годы после той встречи я вспоминал об этом и очень жалел, что не поехал тогда в Лавру.

Выйдя из деканата, я подошел к своим однокурсникам и спросил, кто это такой. Они сказали, что это новый преподаватель по фамилии Мамонтов. Потом в Америке я все мечтал, что как-нибудь отыщу его и расскажу, что я все-таки стал верующим, хотя и не поехал тогда в Лавру. Уже вернувшись, я узнал, что он принял монашеский постриг и был рукоположен в священный сан. Сейчас он архимандрит и служит где-то в небольшом городке в Латвии. Так я с ним и не встретился. В любом случае, вряд ли он меня помнит. Но я запомнил его хорошо.

Впрочем, это была не единственная встреча с верующим человеком в моей сознательной жизни. За пару лет до этого, в разгар моего хипповства, я познакомился с девушкой, которая очень отличалась от всего моего окружения. И за эту инаковость я сразу же влюбился в нее. К моему большому недоумению, она оказалась верующей, причем крестилась сама, сознательно, в 16 лет. Я не понимал, как это так, и долго у нее допытывался, зачем она это сделала. Однако убедительного ответа, с моей точки зрения, она не дала. Просто – потому что это нужно, и ты должен понять это сам. Подобных эпизодов в те годы у меня было несколько.

Но, может быть, главным путеводителем ко Христу для меня стала русская классическая литература. Достоевского я начал читать довольно поздно, в девятом классе, и он был, наверное, первым верующим человеком, с которым я всерьез столкнулся. Именно у Достоевского я услышал первые аргументы в защиту веры. Хотя сначала я их не очень воспринял, но они жили во мне и постепенно созревали, на что, наверное, требовалось время. Удивительный, странный процесс! Читаешь какие-то произведения или отрывки из них – и не замечаешь

совершенно. Много позже, в Духовной академии, я стал перечитывать русскую литературу и увидел такие вещи, которые ранее пролетали мимо меня незамеченными. При первом, втором, третьем прочтении все они как-то пролистывались, казалось не вызывая никаких откликов в уме или в сердце, — я просто читал дальше. А потом с большим удивлением обнаруживал их и спрашивал себя, как же я мог *тогда* их не заметить. Лишь став верующим человеком, я смог прочитать все старые, давно знакомые книги так, чтобы все стало на свои места. Наконец-то я гораздо лучше понял их смысл. Но я убежден, что эти идеи, аргументы и смыслы жили во мне и в свое время сыграли решающую роль на моем пути к вере. Но это движение для меня началось уже потом, в эмиграции, когда многие оставшиеся на родине вещи и даже реалии сделались недоступными, и, как тогда казалось, возможно, даже навсегда...

Теперь, ретроспективно глядя на свою тогдашнюю жизнь, я понимаю, что Господь постоянно отворял передо мною двери, но я гордо прошагивал мимо них. Он стучался в мое сердце, но я, оглушенный громом музыки своей самости, опьяненный свободой и вседозволенностью, шальной от тщеславного любования своей «широкой известностью в узких кругах», не слышал Его тихого голоса и бежал дальше по своим «неотложным» делам, все более погрязая в пучине греха. Чтобы вырваться из этого порочного круга, мне нужна была капитальная встряска. Ее дала эмиграция.

* * *

Однако вернемся к событиям тех суматошных предъездных дней.

Получив требуемую справку из института, я направился на Стрит, где в подземном переходе под Манежной площадью встретил Макаревича и, сообщив ему, что че-

рез день уезжаю, спросил, передать ли что-нибудь каким-то его друзьям или знакомым. «Передай Америке привет от меня! — сказал он картинно. — Скажи ей, что она еще услышит Андрея Макаревича!»

Я обещал сделать это, хотя не совсем понимал, как именно такое пожелание можно исполнить.

На следующее утро в Москву приехал мой киевский дядя, чтобы проводить меня и поддержать маму. Я вышел к двери встречать его. Дядя посмотрел на мои широченные брезентовые штаны, составленные из клиньев палаточного брезента, крашенного в разные оттенки синего цвета и покрытого пятнами сиреневой нитроокраски.

— Что это на тебе надето? — поморщившись, спросил он.

— Брюки, а что?

— И ты собираешься в них завтра ехать?

— Ну да.

— А других штанов у тебя нет?

— Есть, новые.

— Слушай, Саша! — сказал дядя проникновенно. — Я уже пожилой человек. Возможно, я больше тебя никогда не увижу. Ради меня, пожалуйста, надень завтра эти новые штаны! Там уже ходи, как хочешь, но в последний день уважь брата твоей матери.

— Разумеется, дядя! В чем проблема? Я прямо сейчас их и переодену!

Через минуту я вышел в роскошных новых штанах. Незадолго перед этим мама наконец-то разрешила мне использовать по усмотрению гобеленовое покрывало с кровати сестры, к которому я давно примерялся. Одна из наших мастериц сшила мне из него штаны, которые я сам долго продумывал. На широкий клеш сверху были нашиты фигурные карманы. Другие карманы — потайные — скрывались в двух узорных лямках.

Дядя посмотрел на меня с ужасом.

– Так это и есть новые штаны?

– Ага!

– Знаешь что, Саша, – вздохнул дядя, – езжай-ка, пожалуй, в старые.

А под вечер этого же дня меня наконец-то застал дома участковый капитан Кузякин. Он давно охотился за мною, но обнаружить меня дома было не так-то просто. Капитан ненавидел меня лютой ненавистью: я был единственной «паршивой овцой» на его участке. С остальными было проще: набедокурил, попался и отправился в тюрьму. Участок опять чистый. А меня никак не удавалось отправить с подведомственной ему территории, и я продолжал портить статистику, из-за чего ему никак не давали майора.

Досаждал он мне изрядно. Помню даже однажды приснившийся мне сон, в котором я убегал по каким-то буеракам от преследовавшего меня по пятам доблестного капитана. Несмотря на все мои уловки, он никак не отставал. Наконец мне удалось подстроить так, что он свалился в яму. Я засыпал ее тяжелейшими валунами и только успел вздохнуть с облегчением, как увидел выползающего из-под камней милиционера, задорно кричащего: «Врешь, паскуда, не возьмешь! Кузякин бессмертен!»

Проснулся я в холодном поту.

И вот он стоит передо мной и грозно смотрит на меня:

– Ага, нашелся! Жалуются на тебя, что тунеядствуешь, не работаешь. Ведь мы тебя за тунеядку посадим. Когда на работу устроишься?

– Никогда! – дерзко ответил я.

– Как? – обомлел участковый, не ожидавший от меня такой наглости.

– А я завтра с утра пораньше уезжаю за границу! Насовсем!

– Знаешь, ты ври, да не завирайся! Какая-токая за-

граница? Таких, как ты, за границу не пускают. Вы – позор нашего советского государства. Говори, что ты на самом деле затеял?

– Вот то и затеял – настоящий отъезд! От вас и всех ваших подальше. Что, не видите – вон чемоданы пакуются. А вот моя виза и билет!

И тут я впервые увидел на лице Кузякина доброе, человеческое выражение. Он просто расцвел в улыбке.

– Неужели? Насовсем! Вот молодец! Езжай, то есть езжайте, устраивайтесь там получше, чтобы все хорошо было, чтобы назад не хотелось. Ну, в общем, как говорится, – с Богом!

Думаю, он был единственный, кто проводил меня такими словами. Наверное, вскоре после моего отъезда ему наконец дали майора.

* * *

Уже с вечера к нам приехало много народа – родственники, подруги мамы и мои «легальные» друзья. Открыто провожать изгоя в аэропорт решились только самые отважные. Благоразумный киевский дядя остался дома. Интересно, что теперь я помню эти события иначе, чем тогда, когда я «по свежим следам» записал их в дневнике. Попробую изложить их заново.

Мама все время плакала. Когда я вошел в Шереметьево, я обомлел. Казалось, вся Система собралась там, чтобы проводить нас с Алешей. Всего в тесном старом аэропорту скопилось не менее пятидесяти наших собратьев. Там были люди, которых я не видал уже очень давно, но все же они прибыли, чтобы проститься с нами. Казенное советское здание расцветилось невиданными ранее оттенками.

Мама обомлела.

– Кто это? – дрожащим голосом спросила она.

– Мои друзья!

– Какой ужас! – И тут слезы мамы наконец высохли. – Знаешь, теперь я окончательно поняла, что тебе действительно нужно уезжать как можно скорее.

Но тут, увидев такой контингент, перепугалось и начальство аэропорта. Может быть, оно решило, что грозит демонстрация или еще какая-нибудь антисоветская акция на глазах у иностранцев.

Я заметил, что после паспортного контроля и таможенного досмотра отъезжающих уводили в глубь здания, а потом они на секунду выныривали на балкончик над общим залом, чтобы скрыться уже навсегда. Я решил, что, когда выйду на балкончик, непременно что-нибудь такое монументальное скажу. Но, наверное, пограничники догадались, что от нас можно ожидать всего и решили предотвратить такую вероятность.

Таможенники взялись за нас по-настоящему. Чемоданы наши распаковали и все вещи перерыли с максимальной доскональностью. Они все не могли поверить, что за скудностью нашего багажа ничего не скрывается, и, очевидно, пытались обнаружить что-нибудь очень ценное.

Осмотрев вещи, они не успокоились. Нас отвели в маленькие будки и, заставив раздеться, прощупали нашу одежду. Вот тут Алеше было чего бояться. Дело в том, что за несколько дней до того ему кто-то подарил старинные епитрахиль и поручи. Разумеется, для нас эти предметы мало что значили – мы лишь знали, что они из церкви. Вывезти их явно не позволили бы, и Алеша просто нашил их себе на рубаху. Получилось роскошное одеяние: рубашка с гобеленовыми манишкой и манжетами. Уловка прошла, и таможенники ничего не заметили.

На этом наши злоключения не закончились. Несколько рослых, вооруженных автоматами пограничников, окружив нас, повели через низкие, темные казематы с протянутыми по потолку трубами. Тут я по-настоящему испугался. Ведь они запросто могут нас увезти куда-



С мамой
в Шереметьево.
Перед отлетом



В Шереметьево.
Наличие хиппи



Прощание с друзьями



Хипповые проводы



Прощание
в Шереметьево

Шереметьево:
последние минуты

Наш с Алешей пер-
вый день в Вене

В Шереметьево:
старый китель

нибуть отсюда или просто расстрелять – и поминай, как звали. Скажут, сам пропал где-нибудь на Западе. Никто и следов не отыщет!

Но все оказалось не так страшно. Нас просто провели другим путем, в обход балкончика, и наконец выпустили в ярко освещенный накопитель. От своих нас отделяла стена. Меня лишили последнего прощания с родными и друзьями. А ведь я больше никогда не смогу их увидеть!

Осознание этой финальности давило почти физически. Уже потом я понял, что сам отъезд в эмиграцию был прообразом переживания опыта умирания. Уезжать предстояло туда, откуда не было возврата. Мы уходили навсегда, зная, что реальных шансов на возвращение, на встречу с единственно знакомой нам средой, нашими друзьями, нашими близкими – не будет никогда. Перемещались в некий призрачный мир. Да, мы верили в его существование, но законы тамошней жизни были нам практически неизвестны. По каким-то рассказам знакомых иностранцев я мог себе приблизительно кое-что представить. Но, с другой стороны, при всем неприятии нами советской пропаганды она все же подспудно оказывала на нас влияние: кто знает, а может, действительно, выжить там окажется невозможным?

Для этого мира – единственного знакомого нам – для всего нашего окружения, для всей нашей жизни мы умирали. Мы переходили в иное бытие.

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ

Ощущение инаковости заграничного существования подтвердилось сразу же по прилете в Вену. В самолете было около пятнадцати эмигрантов – через Москву улетали люди со всего СССР. Прямо у трапа нас встретили представители еврейского агентства «Сохнут» и спросили, кто направляется сразу в Израиль. Откликнулась примерно половина, и их сразу увели. Оставшиеся прошли

в здание Венского аэропорта. И вот передо мною сами собой открылись стеклянные двери! Такое невероятное для жителя Советского Союза зрелище в реальной жизни мне довелось увидеть впервые. В детстве в «Кинотеатре повторного фильма», куда я ходил на утренние воскресные сеансы, в отечественных фантастических фильмах показывали космические дома будущего: там ходили люди в белых комбинезонах по длинным белым коридорам, и перед ними сами собой раскрывались двери. И вдруг я попал в это самое светлое будущее. Я вернулся назад, чтобы еще раз посмотреть на чудо. Двери послушно открылись опять. На этом я перестал чему бы то ни было удивляться.

В аэропорту нас встретили другие сохнутовцы и сказали, что отвезут в гостиницу, но завтра мы должны явиться к ним и пройти повторное собеседование. Если после него мы вновь откажемся лететь в Израиль, нас передадут в ведение других агентств, заведующих расселением эмигрантов по всему остальному миру.

Гостиница оказалась маленькой, темной и грязноватой. Даже с нашей тогдашней неприхотливостью мы поняли, что поместили нас во что-то весьма третьесортное. Ночью мы с Алешей долго не могли заснуть. Сидели у окна, думали и ощущали себя невероятно одинокими посреди этого чужого и совершенно незнакомого мира. И тогда мы поклялись: что бы с нами ни случилось, мы не должны расставаться — поодиночке мы сразу погибнем. Нужно держаться друг друга. Тогда у нас еще останется шанс.

Утром, правда, все стало видаться немного по-другому. Уезжали мы из зимы, а в Вене в начале марта уже царил весна. Деревья покрывались небольшими листиками, светило яркое солнце. Зимнюю одежду мы сразу же сняли и постарались принарядиться. Я надел свои новые брюки и ту самую куртку с вышитыми ушами. На левом кармане ее было написано: «The Pocket Full of Love», а на правом: «The Pocket Full of Hate».

По пути в агентство с нами заговорили на улице местные хиппи и пришли в восторг, узнав, что мы — их собратья из далекой России. На вечер нас пригласили в гости, и мы, окрыленные новым знакомством, проследовали в контору «Сохнута», чтобы отбиваться от Израиля. Это оказалось довольно легко, но все же этот визит принес неприятности: мне сказали, что я должен завтра же выехать на поезде в Рим, где буду ждать визу в Америку, а Алеше придется остаться в Вене еще на несколько дней, пока не наберется народ на новый поезд. Как мы ни умоляли не разлучать нас, наши новые доброхоты были непреклонны: в отходящем поезде оставалось одно место, и, кроме меня, заполнить его было нечем. Пришлось подчиниться, и на следующее утро после веселого вечера у наших новых австрийских друзей я уже катил по направлению к Италии в компании совершенно чужих мне эмигрантов самого что ни на есть советского вида и мироощущения.

* * *

Рим с первого взгляда поразил меня своей красотой и на всю жизнь стал самым любимым городом. Его дома разных оттенков охры, оливково-зеленые запыленные ставни, резкий контраст света и тени, крутые холмы с храмами на вершинах, неожиданно открывающиеся взору пiazze — небольшие, построенные, как театральные сцены в окружении декораций, и огромные, с мастерски продуманными открытыми пространствами; palazzi (дворцы), рынки и руины, памятники и фонтаны, звуки и краски потрясли мое воображение и навсегда покорили сердце. Поражало в Риме органическое сочетание старого и нового, древнего и современного. Все было живым и теплым. К руинам были пристроены средневековые дома, возрожденческие дворцы плавно переходили в барочные и завершались античными фрагментами. И так повсюду! Должен сказать, что с тех пор я побывал в очень многих

городах и многих странах, но нигде более я не видел города со столь ярко выраженной исторической преемственностью и непрерывностью существования – от древних античных времен через все эпохи до наших дней. Каждая эпоха оставила свой след, и это были не музейные кварталы, а неотъемлемые живые части живого города!

Даже знаменитые римские барочные фонтаны не просто служили украшением города. Из каждого фонтана можно было пить прохладную чистейшую воду. К каждому памятнику были пристроены ступеньки, чтобы посидеть и отдохнуть на нагретом солнцем камне. И все городское пространство было наполнено людьми – разговаривающими, спорящими, кричащими, целующимися, едящими, лежащими, бегущими, иными словами – живущими самой свободной жизнью, именно той, которой мне так не хватало в родной стране.

Меня и группу других эмигрантов поселили в пансионе с трехразовой кормежкой. За неделю предстояло найти квартиру на несколько месяцев ожидания. Нам выплатили пособие 150 тысяч лир (по тогдашнему курсу – около 180 долларов). На эти деньги предполагалось кормиться и снимать жилье целый месяц. В те годы при режиме разумной экономии это было вполне возможно.

Помню, как в первый вечер, только положив вещи в комнату, я вышел из своего пансиона. Он был расположен в обычном доме, построенном, наверное, в 20-е годы XX века. Рядом стояли такие же дома. Первые этажи занимали кафе под полотняными тентами. Вроде ничего особенного. Но напротив, через дорогу, тянулась древняя крепостная стена. Я пошел вдоль нее и вскоре дошел до ворот, ведущих в старый город. На небольшой площади перед ними возвышалась статуя бегущего в атаку солдата-берсальера с петушиными перьями на широкополой шляпе. Помню, как у меня захватило дух от ощущения небывалой новизны, красоты и какого-то волшебства этого

места. С замиранием сердца я почувствовал, что стою на пороге невероятного приключения, которое приведет меня к совершенно не ожидаемым мною целям и результатам.

* * *

Поначалу казалось, что мы с Алешей, который присоединился ко мне через три дня, нашли именно то, к чему стремились. В Европе движение хиппи, хотя уже и начинало выдыхаться, но было еще весьма заметным. Мы пребывали в эйфорическом состоянии, которое ничто не могло испортить. Серьезные размышления появились потом, в Америке. В Риме все воспринималось совсем по-другому. Прибавим еще веселость и общительность итальянского характера, теплый климат, красоту городов и средиземноморской природы. Все это создавало ощущение праздника, раздолья, торжества радости, свободы и сбывшейся мечты. И, несмотря на затруднения из-за чужой языковой среды, многие жизненные реалии были вполне узнаваемыми. Мы могли вести тот же образ жизни, что и в Союзе, только легче и свободней: и климат теплее, и милиция не преследует. Прибавим еще очень доброе отношение к нам окружающих, во многом, конечно, за счет нашей экзотичности: большинство новых друзей впервые в жизни видели настоящих русских, а уж тем паче – хиппи из России. В общем, примерно через месяц мы сделали едва ли не самыми популярными персонажами в римской хипповой тусовке. Я целиком окунулся в бурный водоворот встреч, знакомств и новых ощущений и жил лишь текущим моментом. Я впитывал в себя все новое и настолько был поглощен этим процессом, что мне было не до серьезных мыслей и размышлений о смысле жизни.

Случались в нашем новом свободном бытии и неприятности, но и они, как оказывалось, в результате приносили добрые плоды.

Через три дня после того, как мы сняли комнату (в самом центре Рима), мы познакомились с двумя бродячими аргентинцами, которые напросились к нам переночевать. До кучи мы пригласили еще трех знакомых итальянок. Началась веселая вечеринка с гитарами и пением, в середине которой пришел хозяин и выгнал нас всех на улицу, сказав, что не планировал превращать комнату в притон. Пока мы, оставив аргентинцев сторожить наши вещи, искали, куда переселиться, они забрали все ценное и скрылись. Каким-то образом им удалось унести и только что выданное на двоих месячное пособие, и даже те доллары, которые мы вывезли из СССР. В общей сложности, жулики за наш счет разжились суммой долларов в 700, что по тем временам было весьма внушительными деньгами, и это не считая фотоаппаратов, новых спальных мешков, часов (прощальный подарок киевского дяди) и еще какой-то мелочевки.

Остаток ночи мы проспали в парке, а с утра направились в агентство. Сотрудницы поохали, но сказали, что бюджет строгий и помочь нам ничем не могут. Мы оказались на улице, да еще и без гроша в кармане, в прямом смысле этого слова. Однако буквально через несколько часов мы познакомились с веселой компанией околохипповой итальянской молодежи, которая на весь месяц взяла нас на содержание: мы ночевали в разных квартирах, ежедневно нас кормили и развлекали. Научились мы и подрабатывать: один уезжавший в Америку эмигрант оставил в наследство несколько десятков расписных холмовских ложек, которые ему не удалось продать на римском блошином рынке Порты Портезе. Рынок был перенасыщен русским товаром, и стоило все очень дешево: десяток ложек отдавался за тысячу лир, то есть немногим более доллара. Мы же начали продавать ложки на одной из центральных и красивейших римских площадей — Пьяцца Навона, где и так проводили значительную часть

дня, общаясь с новыми друзьями, многие из которых также торговали какими-то своими поделками. Причем, рассудив, что те, кто ходит сюда, вряд ли бывают на Порты Портезе, мы выставили цену за каждую ложку в две тысячи. Иногда удавалось продать две-три ложки в день, так что маленький приработок у нас появился.

* * *

Рим тогда был центром, в который стекались хиппи со всей Европы, и у нас появилась возможность активного международного общения. Попадались и весьма колоритные типы. Некоторых я помню до сих пор.

На Пьяцце Навона мы подружились с англичанином Питом. Белокурый, голубоглазый, с волнистыми локонами ниже плеч, в костюме то ли мушкетера короля, то ли гвардейца кардинала, он в течение всего дня принципиально не выходил за пределы Пьяццы, только ночевать удалялся в парк. С утра Пит являлся на площадь, как на работу, и до позднего вечера прохаживался по ее овальному пространству, попивая дешевое вино. Помню, меня поразил контраст между его кротким ангельским лицом и обнажавшимися в улыбке чудовищной величины лошадиными зубами. Контраст, впрочем, для англичанина типичный. Дружили мы и с немцами, и с голландцами, и с французами, не говоря уже про местных жителей.

Помню одного француза, с которым мы познакомились в автобусе. Загорелый дочерна европеец в традиционных индийских одеждах привлек к себе наше внимание, тем более что каждую минуту поглядывал на часы, а потом доставал какой-то пузырек и мазал себе виски, за ним другой — и мазал шею, потом — третий и так далее. Оказалось, он провел несколько месяцев в Индии, вернулся только что и едет из аэропорта. Мы пригласили его к себе (тогда мы еще жили в нашей комнате) и предложили накормить. Он сразу же удалился в уборную

и вернулся оттуда лишь минут через двадцать, неся в руках четыре резиновые колбаски, набитые какой-то темной субстанцией. Оказалось, он вывез внутри своего тела индийский гашиш, для чего не ел три дня. Мы стали его откармливать, а он в благодарность предложил оставить нам гостинца из его внутрикишечной контрабанды.

Да, мы общались с самыми различными людьми...

Через месяц, получив новое пособие, мы автостопом уехали в Неаполь, где побывали в Помпеях, проникнув туда через дырку в заборе. В Неаполе мы жили в коммуналке анархистов, состоявшей из нескольких человек. С пребыванием в этом городе связан один смешной эпизод. Дело в том, что Алеша, заработав на лотках немного денег, сразу же купил себе новые кеды. Однако чуть позже выяснилось, что, ошеломленный разнообразием выбора, он взял их без должной примерки, и они ему чудовищно жали. Ничтоже сумняшеся, Алеша отрезал у кедров носки, сказав, что теперь это будут сандалии, и стал ходить так – с торчащими пальцами, черными от грязи. Примерно тогда же мы познакомились с молодым неаполитанцем, который, с ужасом поглядывая на Алешины ноги, пригласил, если мы окажемся в его городе, заходить в гости. Прибыв в Неаполь, мы позвонили ему и договорились о встрече. Он жил в верхней – самой богатой – части города. Узких, извилистых живописных улочек, приводивших нас в восторг, там не было. Все было довольно скучно – виллы, сады, цветы, деревья. Наш новый знакомый накормил нас роскошным обедом, а в конце его вынес целый мешок одежды и обуви. Мы, пытаясь, отнесли его нашим друзьям-анархистам, с которыми по-братски поделились содержимым.

Вернувшись в Рим и передохнув там несколько дней, мы вновь отправились в путешествие, на этот раз на север, и побывали во Флоренции, Сиене, Милане и Венеции, не считая попадавшихся нам по пути массы мелких городков.

* * *

К сожалению, посмотреть Флоренцию нам почти что не удалось. Виной тому стала секта кришнаитов. Вот что произошло с нами в этом городе.

Добрались мы туда поздно вечером. Было зябко, моросил мелкий дождик. Центральные площади, где обычно собиралась молодежь, блестели мокрой пустотой. Справиться о бесплатной ночевке было решительно не у кого. Мы уныло брели куда глаза глядят. Время близилось к полуночи. Одежда постепенно намокала. И вдруг на окраине города перед нами вырос из тумана громадный шатер. Мы зашли: на полу на поролоновых матрасиках повсюду спали люди. В углу виднелась стопка свободных матрасов. Мы вытянули себе по одному, бросили их на пол, упали на них и мгновенно заснули. Однако долго спать нам не пришлось. Задолго до рассвета нас разбудили отвратительно хриплые, но тем не менее очень громкие звуки какого-то музыкального инструмента (оказалось, большой раковины, в которую дул один из обитателей шатра). Мы открыли глаза: в полумраке бродили тощие голые фигуры с бритыми, кроме пучка волос на затылке, головами и тряпками, обмотанными вокруг бедер. Зрелище было, что называется, не для слабонервных – пострашнее нечисти из «Вия» – первого фильма ужасов советского проката и единственного, который я на тот момент видел.

Оказалось, мы попали в передвижной ашрам кришнаитов, о которых в ту пору слышали разве что краем уха. Впрочем, к нам отнеслись благосклонно и позволили на время утренней молитвы залезть вместе с матрасами на крышу кабины грузовика, стоявшего тут же, и доспать свое. Последнего сделать не удалось: несколько десятков человек, ходящих кругами и непрерывно на разные лады бормочущих «Харе Кришна», производят такой шум, что спать совершенно невозможно. Понаблюдав за всем этим бедламом с часок, мы оставили попытки заснуть и слезли

со своего возвышения. Как только закончилось мантрование, нас стали обрабатывать, но тут во многом помогло недостаточное владение языком: что-что, а к восприятию кришнаитского трансцендентного жаргона мой английский был совсем не приспособлен. Да и курить очень хотелось. Мы вышли из шатра, тактично спрятались за угол и зажгли наши сигареты. Тут к нам приблизился замотанный в оранжевую тряпку кришнаит. Пугливо озираясь, он спросил, нет ли у нас лишней сигаретки, и, получив ее, с жадностью втянул в себя табачный дым.

После нескольких затяжек его затуманенный взгляд прояснился.

– Долго говорить не могу, – скороговоркой пробормотал он, – хочу сбежать отсюда. Можно с вами?

– Разумеется, – не задумываясь, ответили мы.

– Тогда вот что. Сейчас будут кормить. После еды уходите. Обещайте прийти вечером. Скажите, вас очень заинтересовал Кришна. Мы пойдем на санкиртану.

– На что?

– Ну, деньги кланчить у прохожих. В полдень ждите меня под статуей Давида у галереи Уффици. У любого спросите, вам покажут.

Так мы и сделали. Майкл (так звали нашего нового знакомого) появился в условленном месте около часа.

– Идем медленно, – прошептал он. – Делаем вид, что увлечены беседой.

Через пару улиц Майкл (мы уже знали, что он англичанин и что провел в секте почти полгода) резко нырнул в подворотню. Извлек из-под своих оранжевых простыней джинсы и рубашу и мгновенно переоделся. Вышли мы через другую подворотню на параллельную улицу.

– Теперь срочно бежим из города, – проговорил он.

– Как, да мы его совсем не видели! Давай останемся на пару дней, погуляем, посмотрим.

– Это невозможно! Кришнаиты меня найдут.

– Ну и что? Ты же свободный человек. Скажешь им, что не хочешь больше у них оставаться.

– Неужели вы такие наивные? Это же страшная секта! Вы даже не представляете себе насколько! Они убьют и меня и вас. Бежим, скорее бежим!

Так мы удрали из Флоренции. Майкл перестал нервничать лишь тогда, когда мы отъехали от города на порядочное расстояние. Ночевали мы в очаровательной средневековой Сиене. Вечером, несмотря на наши уговоры, Майкл отстриг с затылка длинный клок волос и остался с совершенно лысой головой. По-нашему, первоначально было куда круче, но Майкл сказал, что не желает оставлять на себе воспоминания о страшном кришнаизме. Рассказывать о секте что-либо он отказывался, но только повторял, что безмерно счастлив унести оттуда ноги и никогда не забудет нашей роли в его спасении.

Вместе с ним мы побывали в Милане, где я увидел первый в жизни готический собор и был им совершенно очарован, и в Венеции, где местные хиппи научили нас спать в пустых вагонах, стоящих в железнодорожном депо.

Погуляв три дня по каналам и улочкам Венеции, мы повернули назад в Рим (подходило время выплаты нашего пособия, и пропускать этот день мы не могли), а Майкл, по-прежнему боявшийся мести кришнаитов, направился на север – в Австрию.

* * *

По пути в Рим мы познакомились с молодым длинноволосым немецким автостопщиком Андерсом и пригласили его погостить у нас (по прошествии первого месяца и получении пособия мы сняли новую комнату). Он собирался на Сицилию. Алеше поездки надоели, а я решил отправиться в путь с новым знакомым. В Неаполе мы переночевали у наших друзей-анархистов, а затем через

Калабрию и Мессинский пролив прибыли в Мессину и далее в Палермо. В теплой международной компании мы прожили несколько дней на клумбе в парке, а затем мой друг Андерс собрался в Грецию (появилась возможность бесплатно проехать на пароме), а мне, беспаспортному «лицу без гражданства», пришлось одному возвращаться в Рим.

Дома ждал Алеша с неожиданным подарком. Пока я отсутствовал, он познакомился с русскими баптистами, которые подарили ему две Библии (одну он взял для меня). Так я впервые по-настоящему открыл эту Книгу, прочитать которую мечтал очень давно. До этого мне удавалось лишь несколько раз подержать ее в руках, читать же возможности не было. Листая страницы, я заметил вложенную между ними бумажку, на которой было написано, что если я, читающий Библию, не верую в Бога, но хочу поверить, то должен попросить Его о даровании мне веры. Простенький текст молитвы прилагался тут же. Я решил, что терять мне нечего: почему бы нет, посмотрим, что будет, – и обратился к неведомому мне тогда Господу с просьбой помочь мне, неверующему, поверить в Него. Произнес эти слова и тут же забыл о них. Я и не подозревал, что молитва моя будет услышана. Правда, осознание этого пришло ко мне много позже. Пока же жизнь моя продолжалась без каких-либо изменений.

Остаток времени в Италии мы с Алешей провели, став уже совсем своими среди итальянских хиппи. Нас узнавали на улицах, приглашали на разные тусовки, кормили, затевали жаркие дискуссии. Из эмигрантских мероприятий мы лишь однажды посетили концерт Александра Галича, незадолго до своей трагической кончины приехавшего на гастроли в Рим. Концерт, в общем, понравился: в отличие от – в моем тогдашнем восприятии – слишком «урлового» Высоцкого и слишком «манерного» Окуджавы, Галича я всемерно уважал. Странное впечатление

произвели только комментарии. Галич рассказывал об ужасах советской жизни, но главным примером в его устах стал эпизод, как прозаик Гладилин не мог купить курицу для больной дочки и как эту курицу помог ему достать академик Сахаров, воспользовавшийся закрытым распределителем.

– Вот представьте себе, – обратился Галич к итальянской аудитории, – как если бы Галилею пришлось доставать курицу для Боккаччо!

При том, что перед Галичем в те годы я благоговел, некая несоразмерность этого сравнения, да и мелочность всего эпизода больно резанула ухо.

В продолжение всего концерта мы с Алешей, демонстрируя полное презрение к условностям, сидели на полу перед первым рядом, и Галич бросал на нас опасливые взгляды. Заметила нас и местная пресса, так что мы были удостоены упоминаний в статьях о концерте в итальянской периодике.

Вскоре нас вызвали на собеседование в какую-то контору, где болезненно грузная русскоязычная дама с тройным подбородком, тяжело вздыхая, задавала нам вопросы, а затем записывала подробные ответы о том, кто такие советские хиппи и чем они живут. Нам она представилась секретарем Солженицына. Позже я узнал, что звали ее Ирина Иловайская-Альберти и что у Солженицына она проработала три года. В эмигрантском сообществе ходили слухи, что она тесно связана с ЦРУ, которое, по всей видимости, ее к писателю и приставило. Прощаясь с нами, она обещала вскоре связаться вновь, но более в жизни моей, к счастью, физически не появлялась (хотя в качестве многолетнего редактора парижской эмигрантской газеты «Русская мысль» время от времени оказывалась причастной к каким-то периферийным для меня событиям). Очевидно, у ее работодателей интереса мы не вызвали.

А вскоре меня пригласили в Фонд и сообщили, что визу мне выдали и через несколько дней я вылетаю в Нью-Йорк. Алеша пока задерживался – его рейс в Сан-Франциско намечался лишь недели через две. Он вызвался ехать в этот город, так как там проживала одна супружеская «системная» пара, уехавшая года за два до нас. Я же никогда с ними не был близок и решил, что мне больше подходит город, располагающийся поближе к Европе. Да и вообще, Нью-Йорк (точнее, его мысленный образ) воплощал для меня ту Америку, к которой я столь стремился. Эти последние дни я провел в прощальных гулянках с итальянскими друзьями. Все как один уговаривали меня остаться. «Зачем тебе эта Америка? – говорили они. – Там все другое, там все совсем не наши. И наших ты там не найдешь. Плюнь ты на нее, и будем тут жить, как жили».

Но разве мог я отказаться от земли своей мечты? Да, я провел четыре праздничных месяца в Италии, но теперь за океаном меня должны ждать еще большие радости. Несмотря на свою мнимую свободу, я был насквозь идеологизирован, а поскольку моя идеология родилась в Америке, стремился туда, мечтал припасть к своим истокам и отказаться от выстраданной мечты не мог. Да, я ехал в новую страну совсем один, но я чувствовал себя уже вполне приспособленным для той жизни. Время, когда мне казалось, что, расставшись с Алешей, мы пропадем поодиночке, осталось далеко позади.

* * *

Впрочем, Нью-Йорк был городом мечты не только для одного меня. Среди эмигрантов бытовала история про весьма пожилую еврейскую пару, заявлявшую всем подряд, что поедут они только в Нью-Йорк.

– Ведь мы не откуда-нибудь, а между прочим из Бердичева, – напыщенно прибавляли они.

– Но почему бы вам не поехать в Израиль? Там развитые социальные программы, да и земляков ваших сможете найти, – уговаривали их сотрудники агентства.

– Нет, в Израиле мою Басю в армию заберут, – говорил муж. – Да и вообще, мы не какие-нибудь проходимцы неизвестно откуда. Мы, бердичевские, едем в Нью-Йорк.

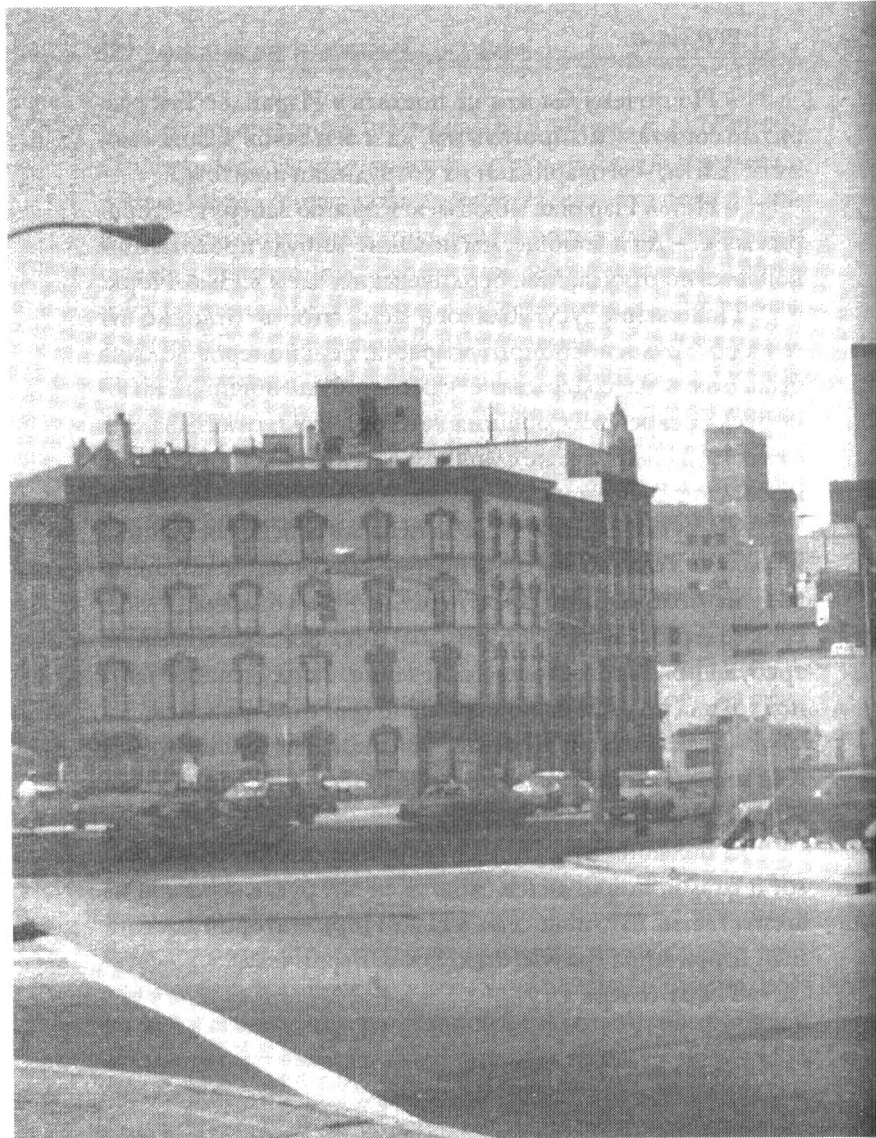
Положение усугублялось тем, что, в отличие от граждан трудоспособного возраста, пенсионеров должна была взять на содержание какая-нибудь община. Нью-Йоркская еврейская община категорически отказывалась от этого, да и другие не слишком хотели. Но старики тоже не соглашались ни на что другое.

Но тут случилось чудо: женеvская еврейская община изъявила желание взять на полное обеспечение пожилую пару не моложе шестидесятитрехлетнего возраста (чтобы срок содержания был обозримым) и без тяжелых болезней, требующих дорогостоящего лечения. Бердичевская пара подходила по всем параметрам. Но они отказывались:

– Какая такая Женева! Наверное, настоящая дыра? Как мы можем ехать туда после Бердичева? Хотим в Нью-Йорк!

С большим трудом их уговорили, и они, со вздохами и охами, поплелись в свою Женеvу, ругая жуликов из агентства, не пустивших их в Нью-Йорк – второй достойный город мира (разумеется, после Бердичева).

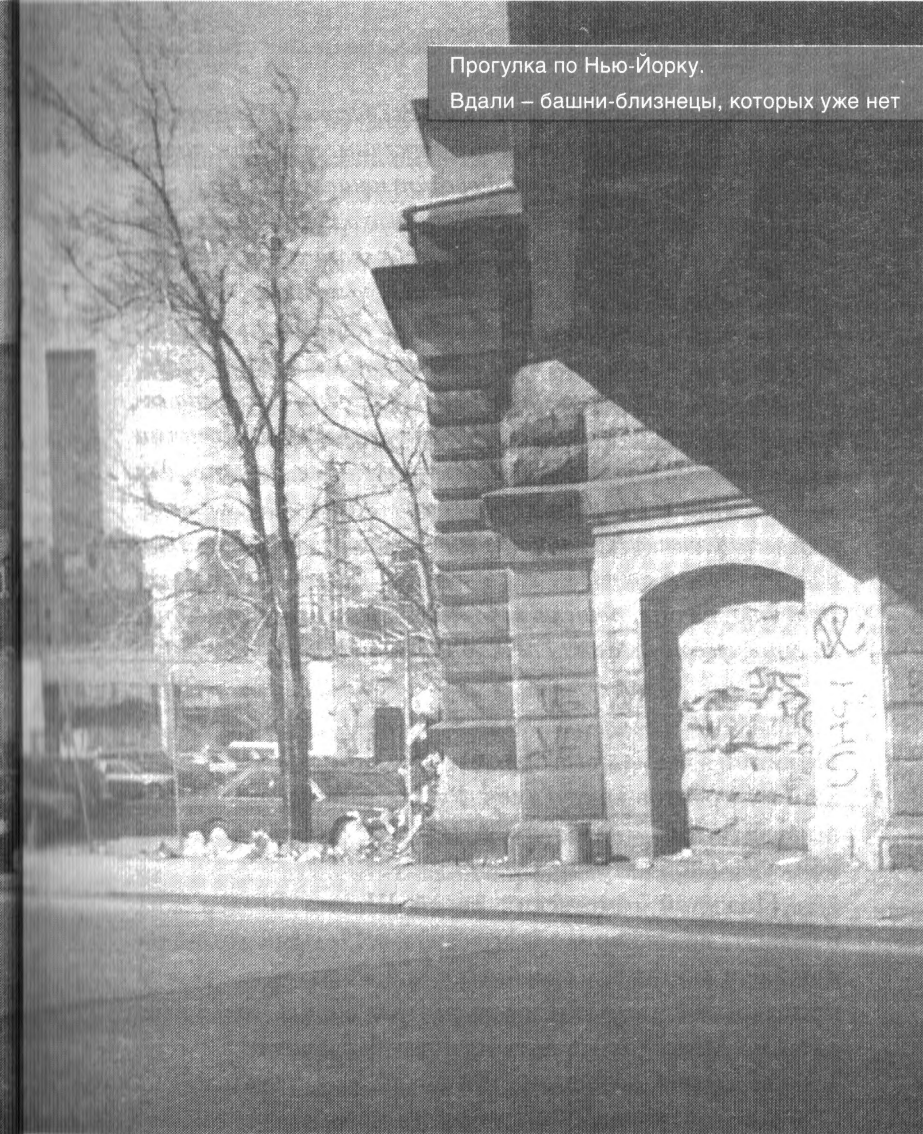
И вот теперь я тут...



Я НАЧИНАЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Еще одна дневниковая запись, теперь уже нью-йоркская, хорошо передает мое тогдашнее настроение:

«За что боролись, на то и напоролись! Ха-ха-ха! Был



Прогулка по Нью-Йорку.

Вдали – башни-близнецы, которых уже нет

вчера на Typical American Party. ...Вот что общество волосатых значит! В другом непривычно, скучно, неинтересно. Они кажутся глупыми и ограниченными, и со всеми их благими намерениями и предложениями помочь хочется назвать*

* Типичная американская вечеринка (англ.).

их ублюдками и послать подальше. Все одетые, стриженные, вежливые до безобразия, ужасно сдержанные и выдержанные. Джефф особенно. Тоже мне, Форсайт нашелся!..*

Потом пойду в Виллидж, если своего круга общения не найду, заностальгирую по Европе... И какого хрена я там не остался! Искать волосатых, искать волосатых, искать! Иначе в этой пуританской стране не проживешь. И ведь, пока я тут, волосатых куда меньше, чем в Европе, видел. Может, в Калифорнии иначе? А еще сегодня какой-то еврей, работающий в гостинице, с длинными предисловиями и извинениями начал советовать постричься, дескать, для моей же пользы (на работу устроиться и т. д.) А позавчера в агентстве ведущий посоветовал мне то же самое. Вот она, свобода, к которой я стремился! Союз, да и только! Вот что значит, пошел я искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок! Где же она, моя свобода?»

* * *

Но хиппи я все не мог найти. Оставалось разве что наблюдать эмигрантов вокруг себя. Русскоязычные поселенцы в нашем отеле «Люцерн» создали атмосферу большой коммунальной квартиры.

Пожилой гомельский еврей Шломо Болтер жил в комнате возле коридорного санузла. Целыми днями он в майке и длинных «семейных» трусах сидел на стуле за приоткрытой дверью и зорко смотрел в щель, кто в него заходит. Минут через пять начинал барабанить в стену: «Ты не один! Санузел общий! Давай, не задерживай!»

Дверь отворилась, и оттуда выходил препоясанный махровым полотенцем Ленчик – харьковский авторитет, умудрившийся убедить американских чиновников, что

* Джеффри Кассел – житель Нью-Йорка, с которым я случайно познакомился в Москве и которого потом отыскал в Нью-Йорке (см. ниже).

его пять ходок на зону были политическими преследованиями, вызванными антисемитизмом советских властей. Накачанный ленчиковый торс украшали кресты, профили вождей и портреты красоток. На одном жилистом колене было написано «Спаси господи», а на другом: «от прокурора». Не успевал он сделать и шага по направлению к комнате Болтера, как тот захлопывал дверь и визгливо кричал из-за нее:

– Уголовник! Бандит! Сейчас милицию вызову!

Ленчик в ответ цедил сквозь золотые фиксы:

– Только попадись мне, старый хрен! Бóшку отвинчу! – и возвращался завершать свой туалет. В отличие от его земляка, встреченного мною в давнишнем автостопном путешествии, этот харьковский бандит не стремился выглядеть интеллигентом.

* * *

Когда завозили из аэропорта новую партию эмигрантов, многие поджидали их внизу: все-таки интересно – новые люди, а вдруг кто знакомый попадется.

Как-то один из новоприбывших – миниатюрный человечек с аккуратненькой бородкой – подошел ко мне.

– Давайте познакомимся, – произнес он, протягивая руку, – Иван Тургенев. Слышали обо мне?

Я, зная тогда только одного человека с таким именем – знаменитого писателя, был ошеломлен.

– А разве вы не...

Тут я хотел сказать: «умерли», но на ходу прервал неактичный вопрос. Тем не менее начатую фразу нужно было заканчивать, и поэтому я произнес первое, что пришло мне в голову:

– ...не, э-э-э, выше ростом?

И последнее, разумеется, вышло горше первого.

Тургенев со своей женой Марией Пуговкиной числились заурядными советскими журналистами, состо-

явшими в штате газеты третьего эшелона – какого-нибудь «Ленинского знамени» или «Советского рабочего». Как-то поссорились с главным редактором, обиделись и, чтобы насолить ему, подали документы на эмиграцию. Почему-то им отказали. Терять супругам было уже нечего, и они объявили об открытии «Независимого информационного агентства». Разумеется, об этом событии сразу же сообщили все западные «голоса». Не успело новоиспеченное агентство выпустить три-четыре самиздатовских бюллетеня, как власти передумали и выдали его основателям выездные визы. Так предприимчивые супруги оказались на Западе.

Они аттестовали себя экспертами-советологами, да еще и создателями первого и единственного независимого информационного агентства в Советском Союзе. Через несколько лет выпустили аналитическую книгу об СССР, которая начиналась примерно такими словами: «15 ноября 1976 года Леонид Брежнев проснулся в очень мрачном расположении духа...» Дальше читать я не стал.

* * *

Познакомился я с Моисеем Зайцевым. Ныне он – известный музыкальный критик, составитель и публикатор мемуаров самого знаменитого советского композитора. Зайцев был последним секретарем музыкального гения и уверял, что тот оставил ему свои записки, которые он вывез с собою в Америку и, литературно обработав, издал. Действительно ли это так, до сих пор никто не знает (подлинность этих мемуаров оспаривают ведущие музыковеды мира), но с той поры дела Моисея Зайцева резко пошли в гору. Но когда я разговорился в нашей гостинице с сутуловатым курчавым брюнетом с небольшой бородкой, все это было далеко впереди. Оказалось, что они с женой приехали в Нью-Йорк год назад и с тех пор так и живут в гостинице – не хотят никуда уезжать из такого удобного

места, а платить получается не намного дороже, чем за квартиру в какой-нибудь дыре типа дальнего района Бруклина. Я стал жадно расспрашивать такого бывалого человека про местную жизнь, а он, глянув на меня испытующим взором, пригласил завтра пойти с ним и женой на берег реки – позагорать. Разумеется, я с радостью согласился.

На следующее утро мы встретились в холле гостиницы и тронулись в путь. Впереди плелась жена, нагруженная свертками («Моисей играет на скрипке, – пояснила она, – и ему нельзя перетруждать руки»), за ней – Моисей, который торжественно нес перед собой свои небольшие сухонькие белые ручки, и я, внимавший его поучениям. Пройдя несколько кварталов, мы уперлись в парапет.

– Вот мы и пришли! – объявил мой новый знакомый.

– А где же река? – поинтересовался я.

– Да вон же она!

Я заглянул за парапет. За ним был крутой поросший кустарником спуск, завершавшийся скоростной автострадой, после которой шел новый спуск, потом новая автострада, пролежавшая над доками, уставленными старыми ржавыми судами. Дальше наконец виднелась вода.

– А что, поближе к реке подойти нельзя?

– Нет, сами видите.

– А как же искупаться? – Мой вопрос прозвучал очень жалобно.

– Купаться тут ездят на океан. Но там – шумно и жарко, да и, честно говоря, не очень чисто. А тут тихо и безлюдно, к тому же свежий воздух. Так что – располагайтесь! – широким жестом пригласил меня Моисей.

К тому времени его жена расстелила прямо на асфальте цветные коврики, и музыкальный критик, сняв рубашку и оставшись в клетчатых и длинных (до колен) шортах, с удовольствием разлегся на нем, подставив солнцу поросший черными волосами дряблый животик...

Прерву ненадолго свое повествование и поясню, что в Нью-Йорке все совсем не так плохо. И пляжи далеко не так отвратительны, разве что ехать до них на метро не меньше часа. Есть там и парки: например, в географическом центре Манхэттена расположен громадный Центральный парк. Там можно и лежать на траве, и устраивать пикники под раскидистым деревом. Но отсутствие набережных – характерная черта американских городов. Если в европейских городах, где есть хоть какая-то вода, пространство рядом с ней максимально используется для жизни горожан, то в Америке к водной стихии сугубо утилитарный подход. Лишь в последние годы американцы стали обустраивать небольшие отрезки набережных для прогулок...

Итак, я расположился на коврике рядом с Зайцевым.

– Чем вы намерены тут заниматься? – поинтересовался он.

– Хочу продолжить свое образование. В Москве меня выгнали с третьего курса, так что, надеюсь, мне что-нибудь из этого тут засчитают.

– Может быть, может быть... А, простите за нескромный вопрос, вы – не гомосексуалист?

– Это как? – не понял я.

– Ну, вы не испытываете гомосексуальных наклонностей?

– Да как вы могли про меня такое подумать!

– Я не подумал, а только спросил. И могу сказать: вам очень не повезло, что вы не относитесь к числу таких людей. Вы ведь не негр и не индеец – этих вне конкурса продвигают. Кстати, негров следует бояться – они ни одному белому никогда не прощают его цвета кожи и при возможности стремятся отомстить. А гомосексуализм тут очень распространен в академической среде и вам было бы легче всего сделать хорошую карьеру через подобные связи. Может быть, все же попробуете?

Я возмущенно ответил, что лучше буду всю жизнь посудомойкой, чем пробовать эту мерзость.

– Жаль, жаль, я ведь из лучших побуждений вам посоветовал, – заключил мой собеседник.

Больше я с ним не общался, но разговор этот, как оказалось, меня изрядно напугал: всю ночь мне снились чернокожие гомосексуалисты, которые гонялись за мною по городским улицам.

* * *

Впрочем, вскоре с этой проблемой мне пришлось столкнуться уже непосредственно. Дело в том, что в Нью-Йорке у меня был один знакомый – местный житель Джеффри Кассел, с которым я как-то встретился в Москве у общих друзей. Он оставил свой адрес и телефон, так что, приехав в город, я связался с ним. Джеффри охотно вызвался пообщаться и, забрав меня из гостиницы, повел на новый фильм «Звездные войны», а потом – в китайский ресторан (в Нью-Йорке они самые дешевые). После ужина мы пошли гулять в Гринвич-Виллидж. Джеффри показывал мне достопримечательности.

– А вот в этом квартале, – вдруг сказал он, – собираются геи.

– Ага, – на всякий случай сказал я, не поняв этого слова, но не желая постоянно переспрашивать.

– А ты знаешь, кто такие геи? – спросил мой знакомый, внимательно глядя на меня.

– Честно говоря, нет.

– Так у нас называют гомосексуалистов.

– А... Ну к этой публике я отношусь спокойно, только если они держатся от меня подальше. А поблизости от себя я их на дух не переносу.

– Все ясно, – сухо ответил Джеффри, и мы пошли гулять дальше.

Потом он пригласил меня на вечеринку в доме своих родителей, с которыми тогда проживал, ту самую typical

American party, о которой уже шла речь в моем дневнике. Приглашение пришло в гостиницу по почте. Не знал я, что в Америке так зовут в гости. Помню, меня поразила приписка в конце: «Bring your own bottle»*. Мне показалось, это как-то по-жмотски. Выяснилось, что это обычная американская практика. Правда, Джеффри, позвонив чуть позже, пояснил, что ко мне это не относится.

Семья моего приятеля жила в одном из многочисленных еврейских кварталов Бруклина. Друзья Джеффри были в основном белыми и выглядели вполне аккуратно. Но, в духе зарождавшейся тогда политкорректности, присутствовало два-три негра, а кроме того, один из гостей пришел с девушкой-китайкой. Лиц мужского пола, к моему огорчению, было заметно больше, чем женского. Зато все были дружелюбны и общительны. Я довольно быстро напробовався из тех самых принесенных гостями собственных бутылок и веселился вовсю. Там и заночевал, одетый, на диване.

На другую вечеринку, на этот раз в дом своего приятеля, Джеффри пригласил меня несколько месяцев спустя. Дело происходило на севере Манхэттена. Компания была примерно та же, только особ мужского пола еще больше. По комнатам бесприютно бродила некрасивая девушка с ярко выраженной еврейской внешностью – в прошлый раз мне представили ее одноклассницей Джеффри. Опыта американской жизни у меня накопилось уже чуть больше, и я почувствовал, что компания эта какая-то не такая. Понять, в чем дело, я некоторое время не мог, пока не натолкнулся в дверном проеме на двух целующихся взасос парней. Наконец-то мне все стало ясно, и я рванул к выходу. Джеффрина одноклассница вышла вместе со мной.

– Неужели Джеффри – гей? – спросил я ее, как только мы оказались снаружи.

* Приносите свою бутылку (англ.).

– А разве ты этого не знал? – удивилась она.

– Даже и не подозревал. Просто в голову такое не могло прийти. И давно он так?

– Уже несколько лет. Он ведь был моим женихом. Но потом сообщил, что у него другая направленность, и отказался.

Мне стало ее ужасно жалко.

– Бедная ты, бедная! Неужели ничего нельзя изменить?

– Нет. И поэтому мне уже 27 лет, и я до сих пор не замужем...

К сожалению, оказалось, что в Америке (во всяком случае в Нью-Йорке) обойти стороной эту крайне неприятную тему практически невозможно...

* * *

Но это произойдет потом. Вернемся к тому жаркому душному лету – моему первому лету в Америке. Как-то мне все же удалось завязать знакомство на улице с вроде бы подходящим типажом. Но волосато-бородатый человек в потертых джинсах, с которым мне удалось разговориться, оказался вовсе не хиппи, а фермером из Пенсильвании, где он жил с женой и пятью детьми: старшие из них были подростками, а младшие – еще младенческого возраста. В Нью-Йорк вся большая семья приехала на экскурсию. Я провел с ними несколько часов, мы вместе пообедали, а потом они, погрузившись в старую разбитую машину, поехали домой, предварительно взяв с меня обещание, что я их непременно навещу.

А однажды мои шатания по улице в поиске единомышленников-хиппи привлекли внимание каких-то сектантских проповедников, пригласивших меня в свою коммуну. Не знаю, кем они были. Возможно, из местной общины «Детей Божьих» – одной из самых гнусных сект. Впрочем, посидев у них совсем недолго, я послал их подальше

и сбежал – уж очень коммунистическим духом повеяло от их собрания. Хотя и говорили они не о прибавочной стоимости, а о любви Иисуса и рождении свыше.

Однажды я оказался в гостях у восемнадцатилетней девушки, которая приехала в Америку из Питера всего за несколько месяцев до меня. Она успела уже арендовать квартиру где-то в дальнем квартале Бруклина и оформить себе вспомоществование от города, которое полагалось ей как несовершеннолетней (в США совершеннолетие наступает в 21 год). Вскоре она страшно затосковала в своей двухкомнатной (как говорили эмигранты: «однобедренной»*) квартире и начала звонить в Петербург друзьям и родственникам, в первую очередь – маме. Звонила она постоянно, часами не слезая с телефона. Через месяц пришел счет больше чем на тысячу долларов – абсолютно неподъемную для нее сумму. Девушка (по-моему, звали ее Маша) этот счет проигнорировала и продолжала свои переговоры. Потом пришел второй счет, третий и, наконец, извещение, что если она к такому-то числу не заплатит, то телефон у нее отключат. Маша набрала питерский номер и стала говорить в режиме нон-стоп.

Когда я пришел к ней, трубка лежала на столе, а Маша жарила на кухне картошку. «Не клади трубку, – крикнула она мне, – там мама ждет».

Действительно, терять ей, живущей на вэлфер и даже не имеющей банковского счета, было нечего. Правда, телефонная компания предупредила, что после отключения телефон на ее имя не поставят уже никогда, но кто в восемнадцать лет думает о столь отдаленных последствиях? В общем, Маше было все равно.

Она предложила и мне позвонить в Москву, все равно до послезавтра телефон еще работает, ведь при долге

* Правильнее было бы «однобедрумной» от «one bedroom» – одна спальня (и одна гостиная).

в несколько тысяч долларов лишние тридцать или сорок будут вообще незаметны. Я позвонил маме и нескольким друзьям. Напоследок я связался со своей близкой подругой Катей Гвоздикиной по прозвищу Гвоздика. В Москве была глубокая ночь. С Катей мы проболтали около получаса, как вдруг из ее рук вырвал трубку проснувшийся отец – глубоко засекреченный профессор-ракетчик. Он понял, с кем говорит его дочь, и от ужаса совсем потерял голову.

– Это провокация ЦРУ! – закричал он в трубку. – Официально заявляю перед всем миром, что я не знаю человека, который мне позвонил, и не имею отношения к этому звонку! Я верен Коммунистической партии и не допущу, чтобы мою телефонную трубку оскверняли гнусные предложения от матерых антисоветчиков!

– Помилуйте, Борис Ефимович, – попытался усмирить я его. – Я Саша Дворкин, вы меня прекрасно знаете. Никаких провокаций нет, я просто звоню Кате. Можно мы с ней продолжим разговор?

– Нет!!! – завопил он еще громче. – Я не знаю тебя! Я никогда не слышал твоего имени! Постыдные провокаторы из ЦРУ, вам никогда не удастся подловить честного советского ученого!

Мне стало противно, и я повесил трубку. Маша опять набрала номер своей мамы. Я прогостил у нее до поздней ночи. На душе было тоскливо и тревожно. Отказавшись от предложения переночевать, я отправился домой. Решил пойти пешком. Рассвет встретил на знаменитом Бруклинском мосту, до которого добирался часа четыре, и еще через пару часов дошел до своей гостиницы.

* * *

Наверное, я засиделся в Нью-Йорке, решил я. Поэтому все и не складывается. Покуда есть возможность, нужно хоть немного поездить по Америке и навестить знакомых. Решено – сделано, и через день я отправился в свое первое

путешествие по дорогам США – то самое, о котором я так долго мечтал дома, в Москве.

Чтобы выйти на трассу и поймать машину, нужно было перейти мост Джорджа Вашингтона – величественное подвесное сооружение, переброшенное через Гудзон от верхней части Манхэттена в соседний штат Нью-Джерси. Где-то там была пешеходная дорожка, но я на нее не попал и оказался на трапе, протянутом по внешней стороне моста. Сквозь решетку под ногами далеко внизу была видна река, внешнего ограждения не было, и, когда по мосту проезжали большегрузы, моя спасительная тропка предательски сотрясалась. В ушах свистел сильный ветер, грозя снести меня в реку. Я шел на ватных ногах, стараясь не смотреть вниз, и, чем дальше удавалось пройти, тем больше я проникался гордостью за свою смелость. Но аккурат на середине моста я увидел чернокожих ремонтных рабочих, которые умудрились поставить на шаткую дорожку высокую стремянку и закусывали, болтая ногами, на самом верху ее. Увидели меня, обрадовались: «Эй, парень, может, косячком угостишь?»

Протиснувшись под их стремянкой, я поспешил к спасительному концу бесконечно длинного моста. На той стороне мне пришлось довольно долго идти по боковой дорожке, прежде чем удалось выбраться к нужной трассе. По другую сторону реки открывался вид на футуристический пейзаж Манхэттена. Я шел и думал: вот она, мечта, еще год назад казавшаяся абсолютно нереальной! Она исполнилась, но где же радость и удовлетворенность достигнутым? Радости не было. Вот если бы сюда перенести моих московских друзей, чтобы я мог им все это показать и рассказать! Переживания и впечатления в одиночку словно уничтожали реальность происходящего. Все: и жизнь моя, да и я сам – стало чем-то ненастоящим, призрачным, нереальным. Я был совершенно один, а значит, по большому счету, меня не было...

Автостоп в новой стране пошел на удивление быстро, и уже через несколько часов я добрался до Нью-Хейвена – города, где располагался знаменитый Йельский университет.

В нем теперь преподавал Виталий Шеворошкин – бывший мамин коллега, изгнанный с работы, а затем вытесненный из страны усилиями представителей коммунистического надзора за языкознанием, которые проводили зачистки в двух крамольных институтах: русского языка и языкознания. В мамином институте карательные меры тесно связывались с именем нового партийного секретаря Льва Скворцова. Именно тогда, как неблагонадежные, из двух институтов были изгнаны великие лингвисты, цвет отечественной науки: Виктор Панов, Игорь Мельчук, Шеворошкин и многие другие ученые. Ветеран войны, кавалер многих боевых орденов профессор Панов, к счастью, нашел другую работу в Москве, а вот более молодые по возрасту профессора Мельчук и Шеворошкин вынуждены были эмигрировать. Оба они в конце концов обосновались в престижных университетах США и Канады. В один из них я и приехал.

Знаменитый Йель, занимавший громадную территорию, на которой располагались выстроенные в неоготическом стиле корпуса, увитые густым плющом и разделенные зелеными лужайками, мне очень понравился, но с Шеворошкиным постигло разочарование. Оказалось, он уехал из города на летние каникулы. За поисками и расспросами день незаметно прошел. Уезжать было уже поздно, и я стал устраиваться на ночлег: расстелил свой сделанный из одеяла спальный мешок на окруженном готическими корпусами громадном зеленом газоне, на котором весь день отдыхала самая разношерстная публика. Однако вскоре ко мне стали подходить люди и дружески предупреждать, что ночевать здесь не положено. «Но почему же? – искренне удивлялся я. – Ведь

это — Америка, свободная страна. Можно делать что хочешь».

Оказалось, все же нельзя, во всяком случае в Йельском университете. Но один из доброжелателей (как оказалось, местный студент), видя мое недоумение, сжалился и пригласил переночевать у себя. Дома он накормил меня ужином, предупредил, что уйдет очень рано, и предложил мне самому позавтракать и захлопнуть за собой дверь. Спать он уложил меня в гостиной на толстом мягком ковре. Проснулся я от глухого удара об пол. Что-то весьма увесистое упало прямо рядом с моей головой и обдало меня холодными брызгами. Открыв глаза, я увидел, что в окно светит яркое утреннее солнце, а на ковре лежит тяжелый горшок с большим зеленым растением, каким-то чудом меня не задевший. На потолке, где он висел ранее, теперь зияла дыра, а ковер и мои волосы засыпаны мокрой черной землей.

Хозяина уже не было, и мне пришлось начать уборку. Не слишком преуспев в выковыривании комков грязи из толстого ворса, я поставил треснувший горшок на подоконник и пошел умываться. Наверное, нужно было поскорее уходить, чтобы меня не обвинили в сотворенном погроме. Но, на свою беду, я решил все же воспользоваться гостеприимством сердобольного хозяина и позавтракать. В холодильнике я нашел сосиски и решил было их пожарить, тем более что на плите стояла невиданная мною раньше диковинка — стеклянная прозрачная сковородка. Новинку, конечно, стоило испробовать, и я, налив в нее масло, включил газовую горелку. Ба-бах! «Сковородка» разлетелась на тысячи мелких кусочков. Наверное, она все же не предназначалась для жарки. Я постарался побыстрее собрать осколки, запихнул в себя две противные сырые сосиски с отменно невкусным белым квадратным хлебом и, оставив на окне рядом с разбитым горшком записку хозяину, что я не виноват,

Эту фотографию
я сделал в Риме
на годовщину
насильственного
пострижения волос



Мы с Алексеем
на концерте Талима
в Риме

С аргентинцем
Виктором, который нас
через день обворовал





Нью-Йорк. В Центральном парке:
старый китель и
новые сапоги



В Тарлеме

поскорее бежал из гостеприимного дома. Не знаю только, понял ли приютивший меня студент что-нибудь из этой записки — ведь с английской грамотностью у меня тогда было весьма туго.

* * *

Теперь мне предстояла поездка в Пенсильванию — к моему новому знакомому Тиму — тому самому фермеру с пятью детьми. Поначалу путешествие пошло не шатко не валко, но все же за день я проехал около пятисот миль. Ночь застала меня в Пенсильвании, но довольно далеко от места моего назначения. Последний подобравший меня водитель — бородатый и волосатый толстяк на маленьком грузовичке (вообще, в сельской местности, как я заметил, этот вид транспорта преобладал), узнав, что я русский хиппи, присвистнул от удивления и зазвал к себе на ночевку. Оказалось, он тоже бывший хиппи и даже участник знаменитого и уникального рок-фестиваля в Вудстоке. Дома гостеприимный хозяин усадил меня на мягкое кресло и врубил рок-музыку через квадрофоническую систему, о которой я ранее только слышал. В общем, мечты вроде бы начинали сбываться: вот он, один из тех хиппи, которых я ищу. Но с другой стороны, неужели этот благодушный толстяк, живущий в большом благоустроенном доме, — один из них, тех самых бунтарей и революционеров, к общению с которыми я так стремился? Какие ответы он мог бы дать на мои жизненно важные вопросы? Он и его столь же толстая жена были милейшими, радушнейшими людьми, но они, со своим домом и работой, всецело принадлежали к тому миру, против которого столь ярко, красиво и убедительно восставали хиппи.

Мои размышления были прерваны хозяином, оторвавшимся от телевизора. «Элвис умер, — сказал он, указывая рукой на экран, — вот это да! Завершилась целая эпоха... А ведь как раньше мы рвались на его концерты!»

Этим высказыванием сей бывший хиппи, участник высшего таинства единения в Вудстоке и, значит, причастный к духу высшей силы и высшей мудрости, окончательно утратил авторитет в моих глазах. Мы ведь считали Элвиса Пресли презренным попсовиком, представителем того самого истеблишмента, против которого мы восставали. И вот тебе, пожалуйста!

Наутро толстяк довез меня до дороги, и вскоре я стучался в дверь фермера Тима. На несколько дней я окунулся в радости буколической жизни в сельской местности с большим гостеприимным семейством, предпочитающим здоровый образ жизни. Семья старалась жить здорово, питаться натурально, но, что оказалось совершенно новым для меня, все они были верующими (и практикующими) католиками. В воскресенье семья приоделась и отправилась в ближайший городок на мессу. Меня, разумеется, взяли с собой. Я вежливо просидел всю службу на скамейке рядом с моими хозяевами, а когда подошло время причастия, Тим потянул меня за собой.

— А что, неверующим разве можно? — удивился я.

— Можно, — ответил он.

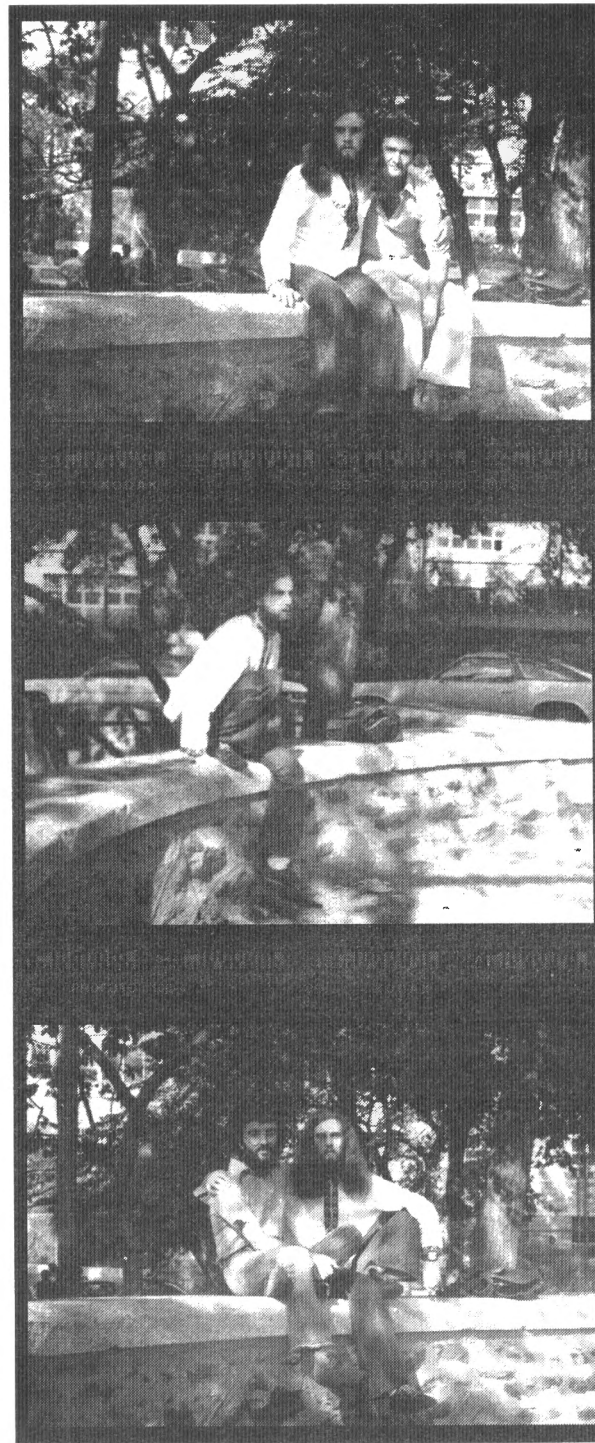
— А некрещеным?

— Все равно можно!

Я послушно вышел в проход и, когда до меня дошла очередь, получил в рот круглую, абсолютно безвкусную облатку. Так впервые в жизни я приобщился тому, что окружавшие меня люди считали высшим христианским таинством. Не могу сказать, что это вызвало у меня какие-то особые переживания. Но о чем-то задуматься — заставило.

Через несколько дней я отправился назад в Нью-Йорк. Каникулы заканчивались, наступала пора приступать к трудовой жизни. Эмиграция завершилась, началась иммиграция.

*С Игорем и Римиком
в Гарлемском скверике*





Буржуазный вид: я в новых сапогах и в новом плаще

РАБОТА

Вскоре я нашел первую работу. Мне предложили место компаньона у пожилого миллионера российско-еврейского происхождения. По достижении весьма преклонного возраста он продал свой бизнес, но дома чувствовал себя одиноким. Партнеры его по висту постепенно отходили в мир иной, и проводить время ему было не с кем. Вот родные и решили нанять молодого человека, который общался бы с ним на языке его детства.

Миллионер, Григорий Осипович, оказался весьма милым старичком. Мы гуляли с ним в Центральном парке, на краю которого стоял его дом, беседовали о жизни, ходили в кино на премьеры. Он даже по-своему меня утешал и обнадеживал: дескать, не стоит беспокоиться, он почти шестьдесят лет назад тоже приехал в Нью-Йорк без гроша, жил на чердаке и питался селедкой, но потом открыл собственное дело и теперь богатый человек и сам себе хозяин.

Я, не желая разочаровывать его, не говорил, что у меня другие цели в жизни и что материальное меня привлекает меньше всего. Так я думал, точнее, хотел думать. Правда, неожиданно для себя я стал осознавать, что материальная жизнь постепенно затягивает в свои сети и меня. Во-первых, на Западе я приоделся во все те вещи, которые мечтал иметь в России. И, облачаясь в них, я невольно оценивал свой вид как бы

со стороны: если бы меня увидели на улицах Москвы! Но жил-то я не в Москве, а в Нью-Йорке, где всем этим великолепием (джинсами, настоящей американской военной камуфляжной курткой и прочими вещами) некого было удивлять. Получалось, к одежде нужно было относиться просто как к одежде, а не как к чему-то невероятно дорогому, труднодоступному и выделяющему тебя из серого внешнего мира. На осознание этого требовалось время. Но окончательно «подкосил» меня один краткий эпизод.

Получив первое жалование у своего миллионера, я шел домой – в гостиницу – и вдруг в витрине обувного магазина увидел дивные светло-коричневые сапоги. Высокие – до колена, на шнуровке и на толстом кожаном каблуке. Стоили они по моим возможностям очень дорого, но я все же не удержался и купил их. Придя в свой номер, надел сапоги (уже наступила осень), закатал джинсы, чтобы обновка была всем видна, и отправился в продуктовый супермаркет. По пути встретил Лешку Вербова – простодушного и совершенно безбытового толстяка, подрабатывавшего грузчиком при переездах и всегда ходившего в мятых штанах с пузырями на коленях и в сильно стоптанных на одну сторону башмаках, порывавших от времени.

– Ого, – говорит Лешка, – вот это обновочка! Да они же, небось, жутко дорогие?

– Знаешь, – ответил я, любовно оглядывая сапоги, – как изрек один мудрец, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.

– Сказал настоящий хиппи Александр Дворкин, – закончил за меня мой собеседник.

Когда до меня дошел смысл сказанного им, я чуть не сгорел от стыда.

Долго у Григория Осиповича я не проработал. Меня наняла его дочь – милейшая дама средних лет, но, оказалось, у него имелся и сын, о котором мне рассказывали

только в превосходной степени. Он был профессором (не помню чего) в Колумбийском университете. Григорий Осипович сообщил, что сын много лет назад развелся с женой и дети у него уже взрослые. А сейчас он опекает юношу-пуэрториканца, которого вытащил из наркомании, перевоспитал, и тот даже учится в университете. Месяца через полтора я застал сына у отца. Он был худ, подтянут, носил дизайнерские джинсы и черную водолазку, длинные, густые, темные волосы с проседью на висках затянуты в косичку, лицо гладко выбрито.

Я подумал, что мужик, видно, действительно передовой. Ведь он уже в возрасте моего отца, а так круто выглядит! Мы мило пообщались, а потом сын пригласил меня к себе в гости.

Он арендовал большую квартиру в университетском районе на Аппер*-Вест-Сайде. Дверь мне открыл бывший пуэрториканский наркоман – смазливый смуглый парень с манерными движениями. Я спросил, чему он учится в университете. Парень очень удивился и сказал, что учиться пока не думал. «Видно, что-то перепутал Григорий Осипович», – решил я.

Меня пригласили за стол. Все было приятно, но что-то меня настораживало. Мне усердно подливали спиртного, а на десерт предложили толстую самокрутку с марихуаной. Встав из-за стола, я подошел к окну, и вдруг сын моего работодателя полез на меня с объятиями. Лжестудент перегородил путь к отступлению. Пришлось лягнуть его промеж ног и спастись бегством. Вот, оказывается, как профессор «перевоспитывал» пуэрториканских наркоманов...

На следующий день добрейший Григорий Осипович, чуть не плача, сообщил, что сын приказал меня уволить, а то ноги его не будет в отцовском доме. Расстались

* Upper – верхний (англ.).

мы хорошо: отставной миллионер заплатил мне за месяц вперед и подарил новый очень дорогой плащ известной фирмы, который, правда, после беседы с Лешкой я не рисковал часто надевать. Да и стиль у плаща был слишком уж буржуазным...

* * *

Итак, я стал нью-йоркским безработным. Нужно было что-то искать. Новое занятие нашлось буквально через день. Выглянув из окна гостиницы, я заметил новую вывеску над полуподвальным помещением здания напротив. Вывеска гласила: «Restaurant Jerusalem Gardens» (ресторан «Иерусалимские сады»). А выйдя на улицу, я увидел объявление о наличии рабочих мест и решил наведаться. Внутри меня встретил чрезвычайно дружелюбный и разговорчивый молодой человек в вытертых джинсах и цветастой рубашке, но при этом с длинной всклокоченной бородой и кудрявыми пейсами, доходящими до середины груди. Голову его украшала широкополая шляпа. Выглядел он хиппово, и я решил познакомиться с ним поближе. Он назвался Ицек и сообщил, что исповедует хасидизм. Тем не менее на вопрос, считает ли он себя хиппи, новый знакомый, внимательно посмотрев на меня, ответил утвердительно. Хасидский хиппи? Интересно! Это меня обрадовало, как и возможность занятости в хипповом месте.

Подробно расспросив о моей жизни, Ицек сообщил, что не прочь взять меня на работу в новый ресторан. Заведение было полубыстрого обслуживания, а точнее говоря – забегаловка (хотя и на полступеньки выше, чем обычный фаст-фуд). Пищу подавали вегетарианскую, хотя сам Ицек вегетарианства не придерживался. Но, поскольку ресторан объявлялся кошерным, а правила кошерности предполагают строгий запрет на соприкосновение мясного с молочным (даже посуда должна быть разной и хранить ее нужно на определенном расстоянии

друг от друга), то проще было вовсе мясо отменить. Тем более что, как объяснил Ицек, вегетарианство ассоциируется с натуральным питанием и здоровым образом жизни, а это сейчас модно. В меню входила выпекаемая тут же пицца и различные ближневосточные блюда, которые можно было приобрести на вынос в виде горячего сэндвича в пите, а можно было съесть тут же из одноразовой тарелки. Мой новый знакомый сообщил, что ресторан просто обречен на успех: другой кошерной точки общепита в непосредственной близости нет, а вокруг полно офисных зданий, где работает множество евреев (евреи составляют не менее трети населения Нью-Йорка), которые захотят поддержать единоверца. Я для него, как он заверил меня, был находкой: часто рестораны со здоровой пищей открывали именно хиппи, и волосатый-бородатый за прилавком для имиджа заведения был то что надо. Жалование он положил мне невысокое (по-моему, три доллара в час), но сказал, что питаться я смогу бесплатно.

Я подумал-подумал и согласился. На следующее утро Ицек познакомил меня со своим партнером Майклом – вполне цивилизованно одетым светловолосым, коротко стриженным молодым человеком в маленькой ермолке. Кроме него, в ресторане работал повар, тут же на глазах у всех лепивший и формировавший пиццу, а начинку каждый клиент заказывал сам. Я встал за прилавок, и ресторан открылся.

Первые несколько дней все шло хорошо: новые клиенты приходили, хвалили Ицека за догадливость и с удовольствием поедали нехитрую снедь. Повар готовил, я принимал заказы и убирал за посетителями, а Ицек сидел в углу с бутылочкой сладкой водки и развлекал их разговорами о еврейском житье-бытье. Иногда выходил с кем-то из них на короткое время, но быстро возвращался. Майкл заглядывал после обеда (с утра он занимался каким-то другим бизнесом) и помогал мне с уборкой

перед ужином. Закрывались мы поздно вечером. Расплачивались со мною честно – в конце каждого рабочего дня, а поскольку он продолжался не менее двенадцати часов, то сумма выходила неплохая. В первый же день, после вручения заработка, Ицек предложил тут же купить у него «самую лучшую марихуану». Вот это да! Я спросил:

– Ты вроде набожный человек. Почему ты занимаешься этим делом – торговлей наркотиками?

Мой хозяин спокойно ответил:

– Во-первых, в Торе не написано, что этого нельзя делать. Там вообще ничего не говорится о курении травы. А во-вторых, я все соблюдаю и не торгую в субботу. Я уже не говорю про то, что марихуана дает радость, чтобы славить Господа.

Через несколько дней в нашей работе начались сбои. Как-то, придя к назначенным десяти часам к ресторану, я обнаружил, что дверь еще заперта. Просидев на ступеньках час в ожидании хозяина, я отправился искать его обиталище. Жил он тут же – снимал квартиру в доме над рестораном. Заспанный Ицек пригласил меня внутрь. Комната, пропитанная тяжелым запахом канабиса, выглядела, как будто она пережила кишиневский погром. Ицек протянул мне ключи: «Иди, отпирай ресторан и наводи порядок. Я подойду попозже».

Открываться мы должны были в одиннадцать, но сегодня все было готово лишь к двенадцати. Многие посетители, пришедшие к раннему ланчу, уходили несолоно хлебавши. Ицек появился лишь к трем и сказал, что плохо себя чувствует – голова болит. К вечеру он вполне поправился и повеселел. Закончили работу мы, как всегда, после десяти. Уходя, я спросил, в котором часу утром мы открываемся. Ицек заволновался: «В ресторанном бизнесе главное – начинать пораньше, чтобы не терять клиентов. Завтра – чтобы в десять ты как штык был на рабочем месте! Я уже открою ресторан и буду тебя ждать!»

На следующее утро я не стал спускаться на работу: просто посматривал из окна, когда хозяин откроет дверь. Продав два часа, я отправился будить Ицека. Дверь в квартиру была не заперта. Пробившись через густое облако марихуанного дыма, я увидел хасида, спящего в картинной позе на диване. Растолкал его и сообщил, что жду уже два часа. «Ладно-ладно, бери ключи, иди, открывай», – непослушным языком произнес он.

Я отправился расставлять стулья, подметать... Но уже начинали подходить потенциальные клиенты на ланч и спрашивали, когда будет еда. Я сообщил им, что сегодня ланча не будет, потому что ресторан только что открылся. Они, ворча, удалялись и говорили, что больше не придут. Я извинялся, но это, разумеется, дела не меняло. В конце концов подошел повар, припелся Ицек, и вновь началась какая-то жизнь, которая длилась до вечера. Однако клиентов стало уже заметно меньше.

Следующие недели две этот сценарий повторялся ежедневно почти один в один, только что торговля шла все хуже и хуже.

Партнер Ицека Майкл начал волноваться. Он приходил лишь после обеда, когда все уже работало, и не понимал, в чем дело. Однажды он привел с собой какого-то специалиста по маркетингу, которого нанял за очень большие деньги. Тот, осмотрев помещение и продегустировав наши блюда, дал ряд чрезвычайно ценных указаний: прилавки нужно переставить в другой угол, стены покрасить в теплые тона, стулья купить другие, а этого (он указал на меня) постричь... Все было сказано с очень умным видом, после чего специалист важно удалился.

Я сказал, что стричься не буду, так что пусть меня увольняют. Сошлись на компромиссе: я стал завязывать волосы в косичку. Впрочем, другие рекомендации специалиста никто выполнять тоже не стал. Да и дело было не в них. «Иерусалимские сады» стремительно

приближались к разорению. Единственное, чему я был рад, – что платили мне каждый вечер, поэтому в конце концов, когда ресторан закрылся, денег я не потерял. Ежедневно (кроме субботы) с 12 часов (а считалось, что с 10) и до позднего вечера я пребывал на работе, питался там же и денег скопил довольно много, поскольку тратить мне их было некогда и не на что.

А закрылось наше заведение так: однажды Майкл все-таки пришел раньше обычного. Как всегда, его партнера не было, я подметал пол в пустом помещении. Майкл потребовал немедленно привести хасида к нему. Пришлось преждевременно вытаскивать Ицэка из постели. Когда тот, опухший и помятый, приполз в ресторан, Майкл накинулся на него. Ругались они на идише, которого я не понимал, долго друг на друга вопили, кричали, стучали ногами, размахивали руками. После очередной реплики Ицэка партнер полез в подвал, очевидно, чтобы проверить наличие там каких-то продуктов. Стоило ему начать спускаться по лестнице, Ицек захлопнул дверь и два раза повернул ключ в замке, а потом для надежности еще и припер вход столом. Запертый Майкл вопил, ругался и орал: «Саша, немедленно открой дверь». Ицек не подпускал меня к замку: «Саша, я запрещаю тебе это делать, я тебя нанимал, и ты обязан слушаться меня». Я стоял в сторонке и наблюдал за развитием событий. Хасид подбежал к телефону и стал кому-то звонить.

Вдруг Майкл, перемазанный, поцарапанный и с распоротой штаниной, ворвался в ресторан с улицы: ему удалось выбраться через узкое подвальное окошко. Он снял пиджак, бросил его на стол и завопил: «Саша, немедленно уходи отсюда, мне не нужны свидетели, сейчас здесь будет море крови!» Ицек прыгнул за прилавок, схватил самый большой кухонный нож и, размахивая им, закричал: «Не уходи, мне нужны свидетели, чтобы ты подтвердил, кто первый начал!» Я понял, что крови не будет, сел

за столик и стал ждать развязки. Через несколько минут дверь распахнулась и в помещение зашло несколько мощных громил весьма внушительного вида. Майкл, оглянувшись на них, поперхнулся и замолчал на полуслове. Они взяли его за руки и за ноги и вынесли на улицу, где аккуратно положили на тротуар. Вслед за ним полетел его пиджак. Теперь уже я сам решил поскорее уйти подобру-поздорову.

На следующее утро я увидел большой замок на двери ресторана. Квартира Ицэка тоже была пуста. Ее хозяин исчез. Так я опять стал безработным. Правда, теперь у меня имелась довольно большая для меня сумма денег, скопившаяся за последний месяц, так что я мог спокойно искать новое место. Но главным наследием, оставшимся после «Иерусалимских садов», стал пушистый трехцветный котенок, названный мною Муркой. Кто-то подбросил в ресторан трех малюсеньких котят. Двух к вечеру разобрали, а оставшегося третьего (как выяснилось потом, кошечку) пришлось взять мне. Я контрабандой принес ее в гостиницу и несколько дней, пока она не научилась лакать сама, кормил молоком из соски. Потом Мурка путешествовала со мною по всем моим квартирам и стала самым моим верным другом.

Через какое-то время, уже когда я готовился к крещению, я встретил Ицэка на улице. Вид у него был весьма потрепанный. Он сразу узнал меня и пригласил в синагогу.

– Я не пойду в синагогу, – отвечаю. – Я не хочу ходить в синагогу. И вообще, я христианин.

Ицек ничуть не смутился:

– Ну, хорошо, хорошо, без проблем. Тогда купи у меня травки. Или кокаина хочешь? Можно и ЛСД достать.

– Спасибо, не требуется.

– Ну ладно. Если что-то будет нужно, звони. Только не в субботу.

И мы разошлись. Больше его я не видел.

Второго хозяина я тоже как-то потом встретил на улице. Тогда я уже учился в Духовной академии. Майкл был без ермолки, и я даже сразу его не узнал. На вопрос, почему он так изменился, он ответил, что тогда, в ресторане, носить ермолку требовал бизнес. А теперь бизнес другой и вид другой.

Итак, я вновь пребывал в безработном состоянии, но теперь у меня был один иждивенец: маленький котенок Мурка, которую я шуточно представлял своим друзьям как жертву сионизма.

* * *

Новое место опять нашлось быстро: я устроился курьером в бюро путешествий и проработал там несколько месяцев – до середины зимы (попутно очень хорошо изучив Нью-Йорк). Но вдруг меня продуло, и я слег с межреберной невралгией. Пока болел, оказалось, что на мое место нашли другого человека.

К тому времени я уже познакомился с молодой американкой (звали ее почему-то мужским именем, но с женским окончанием – Bobbie) и стал встречаться с ней. Еще раньше я отыскал в Нью-Йорке Толика-Виннету. Самый первый хиппи в моей жизни, как оказалось, закончил компьютерные курсы, устроился на работу и стал полноценным членом общества. Он жил в тесной и душной квартире (но зато в престижном Аппер-Ист-Сайде, чем очень гордился) с женой Венерой (она была татаркой) и трехлетним сыном. Волосы, черные как смоль и прямые, у него по-прежнему были длинные, но одевался он уже не по-хипповому: нужно было ежедневно ходить в офис. Как и раньше, говорил Толик редко, отрывисто и очень краткими фразами, что придавало его речи особую глубокомысленность. Эмоций почти не выражал, лишь улыбался иронически почти постоянно. Толик познакомил меня со своим другом – киев-

ским хиппи Мариком, с которым они постоянно проводили время вместе. Марик, проживавший в Гринвич-Виллидж со своей американской подругой (увидев их, я решил, что и мне необходимо обзавестись приятельницей из местных), был долговязым малым с длинными всклокоченными каштановыми волосами, выдающимся кадыком и большими бакенбардами, весьма словоохотливым и эмоциональным. Общались они друг с другом чрезвычайно смешно. Скажем, за кружкой пива Толик вдруг изрекал:

– Нельзя называть интеллигентным человека, который не читал Пруста.

Марик начинал ерзать на месте:

– Ну, Толик, а если у него пока еще не было такой возможности?

– Значит, он не интеллигент. – Толик был непреклонен.

– Ну а если просто жизнь такой возможности не дала? Как же ему быть? – кипятился Марик.

– Не интеллигент!

И такой диалог мог продолжаться часами, по-видимому, доставляя обоим собеседникам некое странное удовольствие.

Через полгода нашего знакомства Марик сбрил бакенбарды, коротко постриг волосы, покрасив их в черный цвет, переоделся в черное и узкое и объявил нам, что стал панком.

– Понимаете, чуваки, хиппи – это уже не модно. Это уже полный отстой. Ваши длинные волосы и клеши – все равно что в совдепии пузатые дядьки в шляпах и в клетчатых байковых рубашках под пиджаками. Сейчас круто быть панком. Идите тоже со мной в панки!

В панки я не хотел, а Толик давно уже перестал быть хиппи. Но зато он сказал мне, что крестился и стал православным. Подробности не сообщал, несмотря на все мои

упорные расспросы. В церковь Толик не ходил, да и в жизни его я не видел никаких проявлений религиозности. Но сам факт, что человек, которого я знал еще со школы и который впервые познакомил меня с Системой, идентифицирует себя с христианством и Церковью, произвел на меня сильное, хоть и не слишком осознанное впечатление.

Но пока я искал работу и вроде бы мало задумывался о Боге. Я продолжал по инерции считать себя неверующим, хотя... Хотя как-то вдруг я неожиданно понял, что верую в Бога. И не просто верую, а воспринимаю свою веру абсолютно свободно и естественно, как будто был верующим всегда. Я даже не мог назвать момент, когда именно это произошло: вот до него я был атеистом, а потом уверовал. Нет, вера, как евангельское зерно, тихо и незаметно проросла во мне. Лишь много позднее я припомнил молитву, наспех прочитанную с листочка в тесной римской комнатухе, и понял, что получил на нее ответ и что ни одно наше слово, обращенное к Богу, не остается неслышанным. Как и все настоящие чудеса, это произошло совсем незаметно. Но моя новообретенная вера, как я понимаю теперь, была абсолютно умозрительной, даже абстрактной. Я не знал и ничего не стремился узнать о Боге, в Которого веровал, Библию читал лишь в небольших отрывках, о Церкви даже и не помышлял и совершенно не подозревал, что настоящая вера подразумевает полное изменение жизни. Я барахтался в своей пучине греха и не хотел никаких перемен. Я даже не подозревал, что нужно (и можно) такому человеку, как я, жить по-другому.

Бобби – единственная дочь в семье либеральных нью-йоркских евреев, которая специализировалась в колледже по русскому языку, восприняла мою появившуюся веру весьма неодобрительно, сказав, что не подозревала о моей склонности к средневековому мракобесию. Но я сослался на свободу мнения, и она вынуждена была смириться. Впрочем, смириться ей особенно было не с чем,

ведь, как я уже сказал, в жизни моей не изменилось ровно ничего. Впрочем, и к моему хипповству она относилась весьма иронически: рассказывала, что сама была хиппи, пока училась в колледже (!), но потом бросила. Меня, в свою очередь, такие заявления шокировали. Как можно совмещать высокое звание хиппи с учебой в колледже, да еще и относиться к нему как к временному явлению? Так что же значит «быть хиппи» для тех, кого мы считали своими недостижимыми для подражания образцами?

* * *

А тут мои хипповые позиции укрепились: в Америку приехал Костя – одноклассник Димы Степанова, моего московского лучшего друга. Костя появился в жизни Системы сравнительно недавно: он пришел из армии примерно за полгода до моего отъезда и сразу включился в нашу тусовку. Мы относились к нему немного свысока, считая его пионером – не имелось у него еще выслуги лет. Да и не был он похож на нас: все-таки отслужил в армии (для системных это было большой редкостью) и, в отличие от декадентствующих хипповых хлюпиков, выделялся весьма крепким спортивным сложением и вполне мог постоять за себя. Но в наше времяпровождение он включился с пылом неопита и, что называется, пустился во все тяжкие, ничего не пропуская. Да, в Москве Костя был пионером, но в Нью-Йорке я воспринял его как самого родного человека – прибывшего в наше загробие из мира живых с почти теплыми приветами. Встречались мы почти ежедневно. Познакомил я его и с Бобби. Повторялась ситуация полугодичной давности: тогда, увидев американскую подружку Марика, я решил, что и мне следует обзавестись такой же, а теперь Костя говорил мне, что единственный путь для интеграции в новое общество – это близкое знакомство с какой-нибудь аборигенкой. Но он пока совсем не владел английским и не мог преуспеть в этом.

* * *

Через некоторое время после Кости меня разыскал еще один старый знакомый по Системе. Звали его Сергей Растопцев, и знал я его довольно мало. Он появлялся на московских тусовках изредка, потом надолго исчезал, затем выныривал откуда-то на короткое время и пропадал вновь. Обычно при наших (бывало, бурных) обсуждениях Сергей отмалчивался, лишь изредка произнося отрывистые фразы. Мы считали это признаком глубокой мудрости, а то, что его реплики далеко не всегда попадали в тему разговора, делало его еще более глубокомысленным в наших глазах. Сережа отличался недюжинной физической силой, правда, учиться нигде не смог – даже восьмилетку не закончил. Мы воспринимали это как еще одно доказательство неординарности его мышления.

В Америку Сережа попал совершенно случайно – через фиктивный брак. Как-то он познакомился в Москве с еврейской девушкой из далекого провинциального городка. Она рвалась в Израиль, но для эмиграции требовалось согласие родителей, а те, боясь окружения (в маленьких городах все про всех знают), сказали, что подпишут бумаги, только если она подаст документы на выезд в другом месте. Но для этого требовалась прописка. Сережа согласился жениться и прописать жену у себя в обмен на совместный выезд. Его родители были приятно поражены, что их охламон женился на чистенькой девочке, и без лишних вопросов прописали ее себе в коммуналку.

Вскоре Сережа объявил им, что едет с женой на работу в Иран: «Вы разве не слышали? Все евреи в Иран едут!»

Те подписали разрешение, и вскоре Сережа с «женой», которая оплатила все его эмиграционные расходы, долетел до Вены. Оттуда она укатила в Израиль, а Сережа, дождавшись визы, прибыл в Нью-Йорк.

Бедный, он совсем не понимал, где он и что с ним происходит. Мы пообщались день-другой, и я наконец-то понял, что его немногословность и отрывистость выражений были вызваны отнюдь не особой мудростью, а скорее тяжелой отсталостью.

Сережа планировал разбить палатку в Центральном парке и жить там. Мне стоило немалого труда отговорить его делать это. Учить английский у него тоже не получалось. Я спросил его о причине.

– Дурацкий язык, – буркнул Сережа.

– Почему?

– А вот как, к примеру, по-английски «нет»?

– No.

– Вот именно, а как будет «знать»?

– Know.

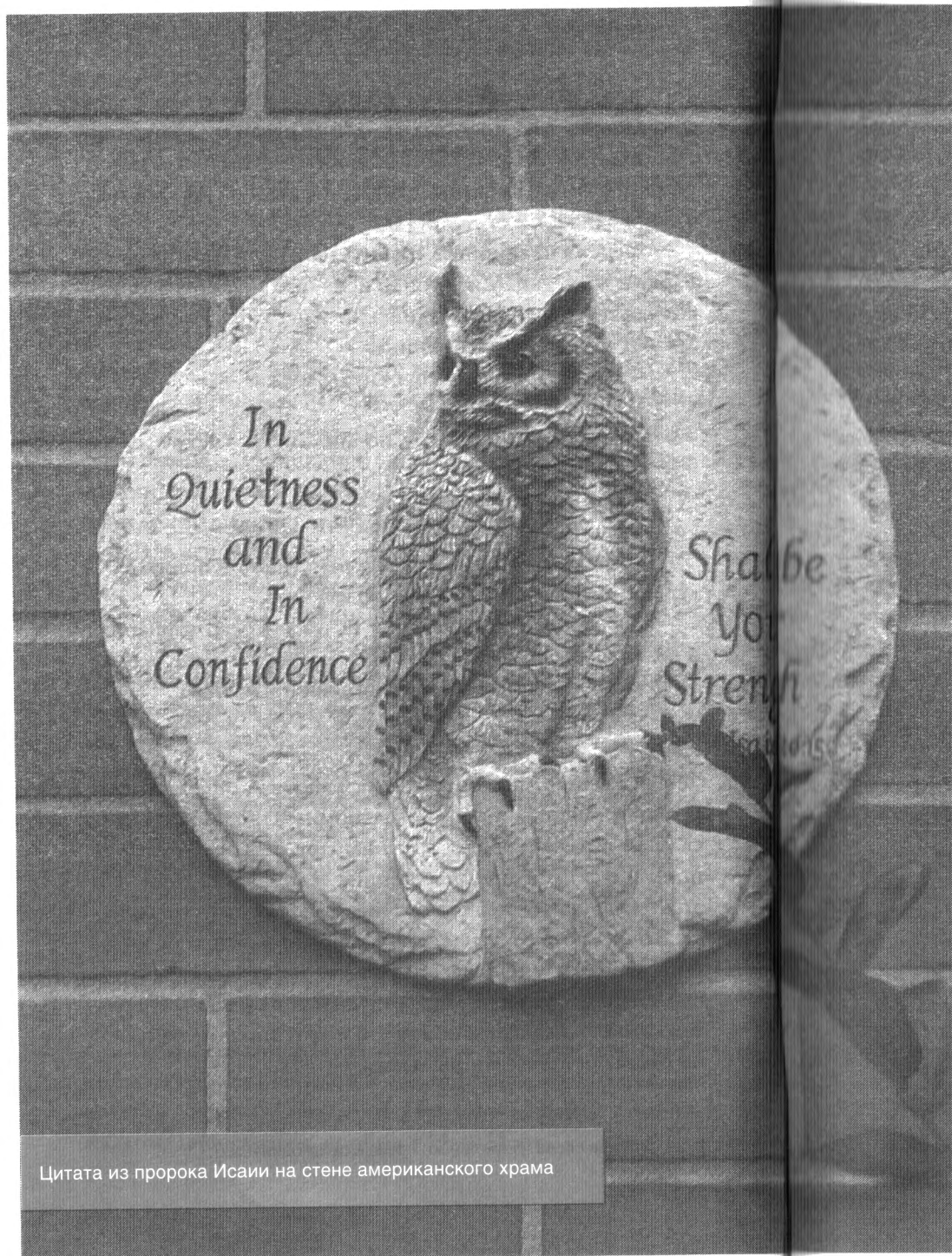
– Видишь, – торжествуя заметил мой приятель, – дурацкий язык, невозможно его выучить*.

Через какое-то время он исчез с моего горизонта и долго потом не появлялся. Интересно, что и в Америке он не оставил этой своей московской привычки.

* * *

Тем временем я наконец нашел работу – оператор ксероксной машины в копировальном центре. Правда, мне сказали, что берут меня всего на пару месяцев – пока не поправится мой предшественник, сломавший ногу. Но других вариантов не подворачивалось, так что я согласился. Много позже я узнал, что здание, нижний этаж которого занимало новое место работы, в пятидесятые годы было первым адресом моей будущей alma mater – Свято-Владимирской академии, так что и этот эпизод моей жизни оказался providенциальным.

* Эти два слова по-английски произносятся одинаково.



Цитата из пророка Исаии на стене американского храма

УЧИТЕЛЬ

Подошла весна. Как-то Толик сказал мне, что сегодня – пасхальная ночь и он собирается пойти на службу в церковь. Я вызвался сходить с ним. Храм выглядел как обычное здание – лишь козырек над входом украшал маленький проволочный куполок. Мы подошли к нему уже за полночь – крестный ход закончился, и служба шла внутри. Народу в небольшом помещении храма набралось довольно много, но стояли все свободно. Мы прошли в уголок и встали там. Что произошло дальше, сказать не могу. Я забыл, где я и что со мной. Знал только, что не хочу отсюда уходить. Я не понимал ничего, что происходило вокруг, но мне это было совершенно неважно. Наверное, это и было ощущение присутствия Божьего, даваемое Им по Его неизреченной милости новоначальным. Толик дергал меня за руку и говорил, что пора домой. Я лишь ответил ему, что если он хочет, пусть уходит, я же отсюда не уйду. В какой момент он исчез, я не заметил и оставался в храме до конца службы, а на улицу вышел, лишь когда все стихло. Первое, что я сделал, дойдя до автомата, – набрал номер своего друга и сказал: «Толик, я хочу креститься! Скажи мне, куда нужно за этим идти?»

Он весьма раздраженно ответил, что нечего из-за пустяков будить людей по ночам. Впрочем, мне было все равно. Счастье и радость настолько переполняли меня, что я не захотел спускаться в метро (в Нью-

Йорке оно работает круглые сутки) и отправился домой пешком на другую сторону Манхэттена и долго обходил по периметру опасный в ночное время Центральный парк (по нему категорически не рекомендовалось ходить после наступления темноты). Дошел лишь к 6 утра. Несмотря на бессонную ночь, спать не хотелось совсем.

Интересно, что я совсем не запомнил служившего священника. А ведь вероятнее всего, в ту ночь в храме служил отец Иоанн Мейендорф, всего через несколько лет ставший моим духовным отцом.

* * *

Впрочем, уже потом я заметил, что, стоит человеку решить креститься, тут же начинают происходить неожиданные события, препятствующие этому шагу. Так вышло и со мною. В понедельник после пасхального воскресенья я встретил человека, который на ближайший год стал моим учителем жизни. Случилось это так.

На работе мне дали отксерить несколько книг, оставленных заказчиком на ночь. Это были русские до-революционные тома с какими-то религиозными текстами. Подробнее я рассмотреть их не мог, но решил, что надо бы познакомиться с их владельцем. Он оказался пухловатым брюнетом лет на пятнадцать старше меня, в больших очках на вздернутом носу, под которым красовались квадратные гитлеровские усики. Небольшой подбородок прятался между немного вислыми, как у хомяка, щечками. Но карие глаза смотрели на собеседника сквозь толстые стекла внимательно и сосредоточенно.

Я спросил его по-русски, православный ли он.

В ответ незнакомец задумался. «Хороший вопрос, – в конце концов произнес он. – Впрочем (тут он написал что-то на бумажке), впрочем – вот мои имя и телефон. Позвоните мне, и мы сможем его обсудить».

Так я познакомился с Аркадием Гроднером – московским эзотериком, эмигрировавшим в Нью-Йорк за несколько лет до меня. Тогда он учился в магистратуре епископальной семинарии при Колумбийском университете. Жил с женой и шестилетним сыном в просторной трехкомнатной квартире, располагавшейся в общежитии семинарии в престижном районе города, но при этом постоянно жаловался на тяжелые жилищные условия и стесненные обстоятельства. Мне он объяснил, что изучает духовные традиции разных стран, что пишет книги и издает эзотерический журнал «Гносис». Расспросив подробно о моей жизни, он сказал, что видит во мне большое будущее: я должен стать, как и он, писателем и помогать ему издавать журнал, что и является главным делом сегодня на земле. Аркадий подарил мне книгу своих рассказов и первый номер журнала. Над вторым он как раз работал. Я был польщен его вниманием и счастлив, что обрел такого продвинутого нового знакомого – настоящего писателя, а когда узнал, что магистерскую диссертацию он готовит по патрологии о проблемах теосиса у Евагрия Понтийского, то и вовсе лишился дара речи. Все эти малознакомые мне слова звучали райской музыкой для моих ушей.

Так завязалось наше знакомство. Я познакомил Аркадия со своими друзьями: с Толиком, Мариком и Костей и, разумеется, с Бобби. К ним он отнесся довольно скептически, впрочем, сказал, что простоватого Костю можно использовать в качестве помощника. Бобби же не понравилась ему больше всех. Он изрек, что поражен, как я, духовный человек, смог избрать себе столь плотский объект для воздыханий. Я сухо заверил его, что он не понял Бобби, и разговор на этом прекратился. Впрочем, и она весьма нелестно высказалась о моем новом знакомце.

У Аркадия, казалось, имелись ответы на все вопросы о главном. Общение с ним обогащало мою жизнь новыми

смыслами. Даже семья его виделась мне идеальной: тихая и кроткая жена, к тому же чрезвычайно ученая, сын-вундеркинд, и, главное, они уже давно вели религиозную жизнь, которую я только-только открывал для себя. Так я стал воспринимать Гроднера своим Учителем и Наставником. Единственное, чего я не мог понять, почему мой учитель до сих пор не крещен.

Когда я говорил ему, что хочу креститься, он отвечал, что креститься, может, и нужно, но лишь у достойного человека, однако он такого пока не нашел. Вот, посмотрите, Саша, на этого священника, какой он нехороший человек: он точно агент КГБ. А вот другой. Он пьяница. Этот третий – отъявленный антисемит, с четвертым тоже какие-то серьезные проблемы – в общем, все не подходило. «Вот, если бы найти достойного человека, – завершал он, – я готов идти к нему креститься хоть куда, хоть в подвал. Как найду – непременно вам скажу».

Время от времени я спрашивал, не нашел ли он уже такого праведника, на что он неизменно отвечал, что пока еще нет, но поиск продолжается.

Впрочем, искал достойного человека и я. Кто-то упомянул при мне имя отца Александра Шмемана. Я спросил Аркадия о нем. Это пришлось совершенно не к месту: как я потом узнал, Гроднер только что прослушал лекционный курс отца Александра, который тот прочел в его семинарии. По окончании семестра Аркадий написал итоговую работу, и – небывалый случай – отец Александр, обычно очень милостиво раздававший хорошие отметки, влепил ему тройку с минусом. Видно, совсем у Гроднера плохо получилось. В ответ на мой вопрос учитель невероятно разозлился и заявил, что у Шмемана страшное волчье лицо, и оно полностью его характеризует.

Но однажды он пришел на встречу со мной очень воодушевленным и сказал, что наконец-то нашел «правильного» священника – действительно светлого челове-

ка, который объездил мир, обладает тайными званиями и даже, возможно, готов их передать достойным и так далее. Гроднер с ним еще раз поговорит, познакомится поближе и, возможно, решит, что креститься нужно у него. Я с нетерпением чаял встречи с этим замечательным человеком. Через несколько дней Аркадий сказал, что собирается к нему ехать. Я ждал его возвращения и звонка от него. Однако звонка не было. Через несколько дней я, не выдержав молчания, аккуратно спросил своего учителя о результатах визита. Тот визгливо ответил, что ошибся: поп этот оказался выжившим из ума старым хрычом, недостойным даже пальцем коснуться таких духовных людей, как мы. Лишь позже я понял, что речь шла об отце Георгии Флоровском, который в то время был уже глубоким стариком. Но характер у отца Георгия был крутоват, так что теперь могу представить себе, как он спустил моего учителя с лестницы, когда тот начал излагать ему свои эзотерические теории.

Уже тогда я узнал, что православных русских Церквей в Америке три (о том, что есть православные нерусские Церкви, я пока еще не знал): Зарубежная («Синодальная»), которую Гроднер объявил мракобесной и фашистской; Московская – разумеется, кагебешная; и, наконец, Американская автокефальная, которая, во-первых, находилась под влиянием Москвы, а во-вторых, была не русской и вовсе уступала американизации. Как-то получалось, что ни одна из них не подходила под наши строгие критерии. Но других-то не было...

* * *

Мы собирались у Гроднера, обсуждали эзотерические проблемы и слушали его проспекты о том, как найти денег на достойную жизнь тех, кто по праву является цветом общества. К нему приходили какие-то непризнанные композиторы, неизвестные поэты, спивающие-

ся журналисты. Аркадий объяснял, что нужно создать среду, что без среды не бывает гениев, что даже Пушкин не состоялся бы без его круга. Помню постоянного автора газеты «Новое русское слово» Вячеслава Завалишина. Гроднер приглашал его на свои посиделки, так как много лет назад Завалишин стихотворно перевел Нострадамуса. Теперь это был грузный, неряшливый, плохо выбритый старик с прилипшей к рубашке вчерашней макарониной в томатном соусе и стойким запахом водочного перегара. Впрочем, надолго он на нашем обсуждении не задержался: жадно выпил принесенную с собою бутылку пива и, когда убедился, что спиртное ему подавать не собираются, тут же под благовидным предлогом отбыл восвояси.

Американцы бывали реже. Помню курчавого раджи-ниста в оранжевой рубашке с портретом его бородатого гуру на груди (Аркадий сообщил мне, что по приказу своего учителя Том всегда ходит в оранжевых одеждах) и каких-то мутных гурджиевцев с обреченностью во взоре.

Гроднер принимал гостей льстиво, расписывая каждому, как он велик, но стоило перехваленному деятелю удалиться, хозяин тут же сообщал мне, что ушедший — полное ничтожество, незаслуженно получающий те или иные блага, в то время как настоящие духовные люди, вроде него, вынуждены ютиться в убогих общежитиях и перебиваться с хлеба на картошку. Последнее было таким же риторическим преувеличением, как и первое, но тем не менее я ему верил. По просьбе учителя в выходные я ходил в специальный архив, где искал для него гранты, а он занимался моим оккультным образованием, подсовывая мне книги Штайнера, которые я читал с большим удовольствием. Впрочем, тогда я воспринимал их больше как полемику против атеизма, с которым я сам лишь недавно расстался. Так я начинал обнаруживать рациональное объяснение веры в Бога, которое и излагал все более киснущей подруге.

* * *

И тут неожиданно мне позвонил Алеша Лайми. Он сказал, что находится недалеко от Нью-Йорка и ему нужно приехать в город на несколько дней для оформления каких-то бумаг, так что можно ли у меня остановиться. Разумеется, я согласился. Перемены, происшедшие с моим другом, превзошли все мои ожидания. Прожив несколько месяцев в Сан-Франциско, где он по старой памяти подрабатывал натурщиком в художественном училище, Алеша пришел в православный храм и крестился. Но этого было мало: еще через несколько месяцев он решил поступать в русскую православную семинарию, которая находилась в монастыре близ городка Джорданвилль на севере штата Нью-Йорк. Трое суток он ехал на автобусе через всю страну, пока не прибыл на место. Как он рассказывал, двое семинаристов на машине встретили его в Джорданвилле, чтобы отвезти оттуда в монастырь. Но, видимо, они не часто выбирались в город, так как предложили ему перед выездом угоститься с ними мороженым в местном заведении. Усевшись за стол, Алеша вытащил сигарету и закурил. Семинаристы посмотрели на него округлившимися от удивления глазами и сообщили, что у них это делать категорически запрещено. «Ну ладно, — согласился Алеша, — значит, не буду этого делать. Закончу эту сигарету — и все».

Так он бросил курить.

Я никак не мог понять, что же все-таки произошло с моим совершенно неуправляемым и недисциплинированным другом и как он мог так внезапно отказаться от всей хипповой вольницы, поместив себя в сверхжесткую систему, да еще в той самой «Синодальной» Церкви, которая, насколько я представлял себе, отстояла дальше всего от нашего хиппового вольномыслия. Более того, Алеша сообщил, что думает о принятии монашества, чем просто выбил всякую почву у меня из-под ног. Он действительно

стал совсем другим: если раньше на правах старшего, более образованного и более опытного я частенько поучал его и командовал им, то теперь он вел себя со мною как старший и умудренный человек. Он действительно знал что-то такое, чего не знал я. На многие мои вопросы он просто не отвечал, лишь улыбался и говорил, что потом я сам пойму. И это при том что он все еще с большим трудом говорил по-английски (я-то общался уже совсем бегло) и был абсолютно неустроен. Хотя я считал, что мне весьма везет и жизнь моя складывается более чем удачно, впервые задумался, так ли все благополучно со мною, как мне казалось.

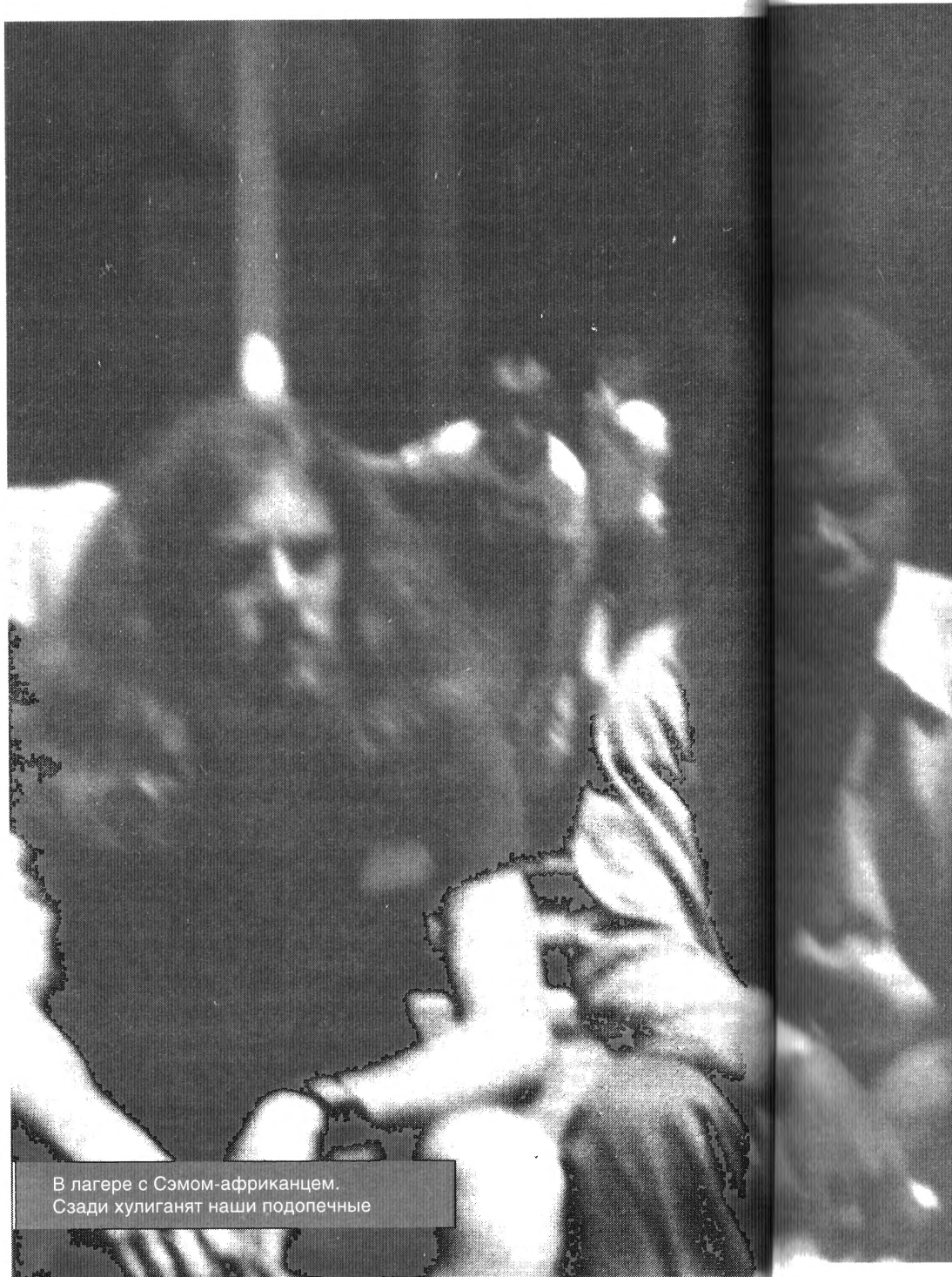
Два дня прошли быстро, Алеша уехал в свой монастырь, а я вновь погрузился в свою столь благополучную и обустроенную жизнь.

С Игорем
и Ричиком
и нашего дома
в Нью-Йорке



Сергея на фоне
Нью-Йорка





В лагере с Сэмом-африканцем.
Сзади хулиганят наши подопечные

ОПЯТЬ ПРО РАБОТУ

Впрочем, обустроенность скоро кончилась. Весна уже подходила к концу, когда я вновь лишился работы: человек, которого я замечал, выздоровел и вернулся к своим обязанностям. А мне предстояли новые поиски заработка.

Но найти его оказалось делом совсем непростым. Стояло уже лето, мое второе невыносимо жаркое нью-йоркское лето. А летом искать работу – дело совсем гиблое. Да еще к тому же, как оказалось, многим работодателям не нравились мои длинные волосы. Но ведь не затем же я уехал из тоталитарного СССР, чтобы поддаваться на экономическое давление! Я гордо отказывался стричься. Но это все менее нравилось Бобби, которую страшно пугала перспектива стать содержательницей советского тунеядца. Напряжение в наших отношениях возрастало, и дело начинало пахнуть разрывом.

Через некоторое время мне удалось устроиться кассиром в столовую. Но оказалось, я совсем не умел быстро считать деньги, все время ошибался и к концу дня со сдачей переплатил клиентам несколько долларов. Должен сказать, что некоторые возвращались и говорили, что я дал им слишком много. Но очевидно, кто-то решил не возвращаться или просто не заметил лишних денег. Когда это повторилось несколько дней подряд, менеджер предприятия вежливо сообщил, что в моих услугах более не нуждается.

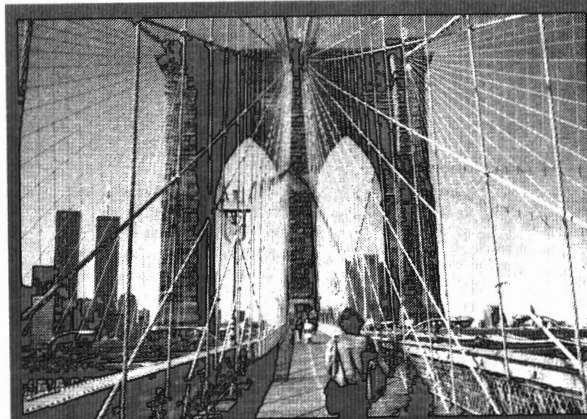
Какое-то время я, ко все большему неудовольствию весьма озабоченной моим положением подруги, пребывал безработным, пока наконец не устроился в ресторан посудомойкой. Нужно сказать, что посудомойка – самая низовая работа в Америке. Ниже ее ничего нет... Жалование минимальное – два с половиной доллара в час. Так я оказался на нулевой ступеньке социальной лестницы. Тут мои волосы никого не интересовали. Я имел полную свободу выглядеть, как я хотел. Если на это оставались силы...

В первый же день работы у меня создалось непоколебимое ощущение, что я попал в ад. Маленькая, жаркая, дымящаяся от переизбытка влаги комната без окон. В ней суетятся несколько человек. Все время приносят новые кастрюли, металлические жаровни, противни, раздаточные ложки, половники. Мы должны очень быстро их мыть и относить поварам. Но, сколько ни мой, гора посуды не уменьшается: приносят все новые и новые груды. На полу лужи: вытирать их некогда. Приходится перетаскивать в соседнее помещение громадные кастрюли с кипятком. Перед проходом сыпешь на пол соль, чтобы не поскользнуться. Несешь кипяток и думаешь: вот поедет нога – и все, прощай навеки. Первый день я проработал двенадцать часов подряд с единственным пятнадцатиминутным перерывом на обед. Домой вернулся на дрожащих ногах и сразу упал. С утра опять нужно идти на работу. Мой второй рабочий день продолжался пятнадцать часов вовсе без перерыва. Времени на обед, да что на обед – даже на перекур, не было вовсе. Стоя у раковины рядом с напарником-пуэрториканцем, я спросил его, часто ли бывают такие авралы.

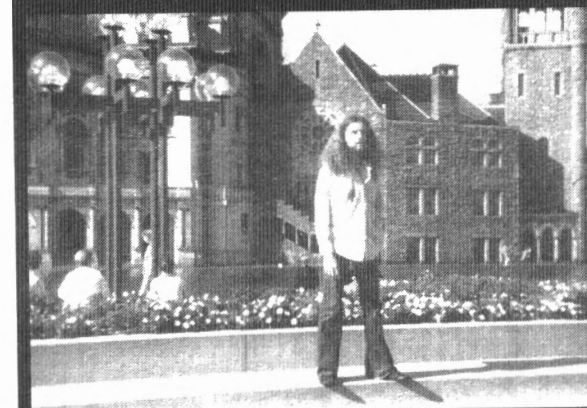
– Каждый день, – ответил он.

– Ну, ничего, – говорю, – мне бы до конца лета продержаться. В сентябре начну учиться в университете и найду себе что-нибудь получше.

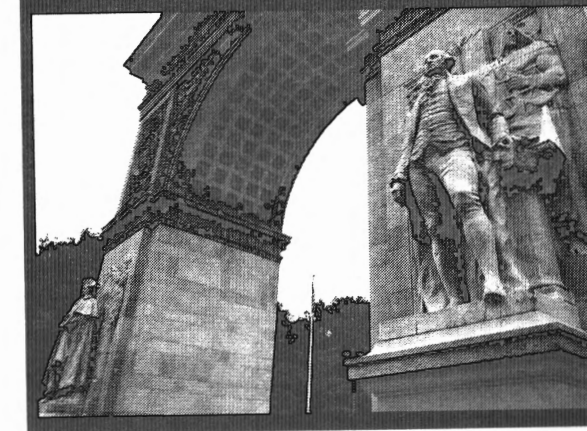
Бруклинский мост



В Бостоне



Арка с двумя
Вашингтонами





Зима
в Бруклин Хайтс



Зима. Вдали
Нью-Йоркская бухта



Открыточный вид
Нью-Йорка

Через несколько минут пуэрториканец вышел, сказав, что ему надо в туалет. А по окончании рабочего дня менеджер посудомоечного цеха вручил мне несколько заработанных бумажек и сообщил, что завтра приходить уже не требуется, так как студенты тут не нужны.

Я ехал на метро домой и плакал от радости, что мне не нужно возвращаться в этот ад. Но когда я сообщил об этом Бобби, она взорвалась: «Нет у меня для тебя терпения! Если к концу недели не найдешь новую работу, не возьмешься за ум, не сможешь зарабатывать, как положено, то ты мне больше не нужен!»

* * *

Я страшно обиделся, но работу-то искать все равно было необходимо. А она не находилась. Положение делалось совсем критическим. Деньги уже подходили к концу. И тут Бобби предложила мне уехать в детский лагерь вожатым. Это был тот самый лагерь, куда она ездила в детстве и о котором у нее остались самые нежные воспоминания. Правда, как оказалось, вожатым там платили очень мало — двести пятьдесят долларов за два месяца. Может быть, поэтому оставались незамещенные вакансии, а руководство согласилось меня взять, хотя я явно им не подходил. Должен сказать, что я с детства терпеть не мог лагерей, коллективизма, отрядов и жизнь под звуки барабана и горна. Единственный раз в детстве я был в пионерском лагере, но через две недели перелез через забор и сбежал. До сих пор я с трудом выношу всевозможные коллективные мероприятия — не люблю турпоходов, совместных поездок, слетов на природе, КСП* и так далее. А тут мне

* «Клуб самодеятельной песни» — так назывались популярные одно время слеты на природе, где по вечерам вокруг костра всевозможные полупрофессиональные (а часто и совсем не профессиональные) барды исполняли под гитару свои произведения.

предлагали не какую-то групповую экскурсию, но самый настоящий лагерь! Но, похоже, выбора у меня больше не оставалось, и я пошел сдаваться.

Все оказалось куда хуже, чем я думал. Лагерь был еврейским и социалистическим. Костяк его руководства составляли бывшие коммунисты, изгнанные из компартии США за критику антисемитизма в СССР. Но тем не менее отношение к моей социалистической родине у них оставалось самое трепетное. Начальница – весьма потрепанная жизнью некрасивая дама лет за сорок – сразу же заявила мне, что запрещает говорить детям что-либо плохое про Советский Союз.

– Это что – цензура? – удивился я. – Мы же вроде живем в свободной стране?

– Нет, не цензура! Просто разумное ограничение нежелательной для детей информации. Мы не хотим, чтобы у них возникло неприязненное чувство по отношению к СССР.

– Но я же могу рассказать им только правду! Мой собственный опыт. Ничего другого!

– Неважно! Это – нежелательная правда. Вы считаете себя пострадавшим от советской власти, значит – ваша позиция необъективна. Объективно же Советский Союз играет позитивную роль в мире, значит, мы должны его поддерживать. Несмотря на мелкие недочеты, которые там есть. Но нашим детям вредно все это знать. И мы не позволим вам распространять среди неподготовленных детей антисоветские взгляды.

Вот это да! Вот это попал! К каким-то реликтовым уродам! Я хотел было развернуться и уйти, но, поймав на себе напряженный взгляд Бобби, вздохнул... и от полной безысходности остался. По крайней мере, эти ничего не говорили о необходимости стричься.

Через несколько дней я наконец-то выписался из гостиницы, где проживал с самого моего приезда в Нью-

Йорк, отвез свои пожитки в подвал к Гроднеру, а Мурку к знакомым. После всех этих дел у меня оставался один доллар тридцать семь центов. С ними я и выехал в лагерь – весьма живописное место на берегу озера в трех часах к северу от города. Должен сказать, что во всех моих самых мрачных ожиданиях я не подозревал, насколько мерзкой оказалась эта клоака. Единственным нормальным человеком на весь лагерь оказался мой напарник по руководству отрядом 12–13-летних мальчиков – чернокожий студент из Берега Слоновой Кости, получивший эту работу по молодежному обмену.

Нанявшая меня на работу директриса, как выяснилось, сожительствовала с пожилым физруком. В середине лета ее муж, маленького роста курчавый еврей, заставший парочку вдвоем, тряс дюжего, дородного физкультурника за грудки посреди лагеря, а тот плаксивым голосом кричал: «Ударь меня по лицу! Я это заслужил! Я даже не дам сдачи!»

Заведующая эстетическим воспитанием детей – безобразно толстая женщина среднего возраста – сразу же после знакомства заявила мне, что она – лесбиянка и находится в интимных отношениях с худосочной прыщавой поварихой. Я так и не понял, зачем она решила загрузить меня этой информацией.

Зайдя после вечерней летучки в барак, где спали мои мальчишки, я застал старшую группу за сеансом коллективного рукоблудия, а на мое требование немедленно прекратить мерзость, услышал, что родители им это позволяют и даже поощряют. Я сказал, что тогда пусть делают это так, чтобы я ничего не видел, но при мне ничего подобного не будет. Еще через пару недель самый старший мальчик в группе похвастался своими родителями, которые сочли, что ему пора становиться мужчиной, и дали деньги на оплату сексуальных услуг лагерной посудомойки.

Вот и получилось, что общался я почти исключительно с Сэмом-африканцем, также постоянно дивившимся, куда он попал и как такое может быть. Он подарил мне изделие со своей родины – большой кожаный крест, который я тогда же стал носить сверху одежды. У руководства лагеря это вызвало шок, но я заявил, что они не имеют права преследовать меня за выражение моей веры, которую я лично исповедую и никому не навязываю. Почему-то это подействовало. Может быть, они ощущали некоторые угрызения совести из-за запрета на разговоры об СССР и им неудобно было показывать себя полными держимордами. Но, скорее всего, заменить меня им было нечем, ведь по нормативам в каждой группе полагалось иметь двоих вожатых.

Но зато со мной стали проводить идеологическую работу, разъясняя, что Бога нет и я неправ. Но я-то уже поднатаскался, набрав много аргументов из книг Штайнера, и легко ставил своих собеседников в тупик, рассказывая им о разных необъяснимых природных феноменах. Они только и могли отвечать, что, дескать, наука этого пока объяснить не может, но рано или поздно все же ответит на эти вопросы. В конце концов на помощь был призван зам. начальницы лагеря, преподававший философию в каком-то университете.

– Как ты можешь верить в библейского Бога, – начал он, – когда авторы Библии были настолько примитивны, что считали Бога полной копией человека – с телом, руками, ногами, волосами, бородой и прочими атрибутами?

– Чушь, – ответил я. – Это ваши расхожие атеистические штампы. Все знают, что Бог – это не дедушка с бородой на ватных облаках, но Дух – вездесущий, невидимый и непостижимый.

– Никакая не чушь, – обиделся мой собеседник. – В Библии написано, что Бог создал человека по Своему образу и подобию. Значит, автор Библии верил в человекоподобного Бога.

Теперь уже обиделся я.

– Нечего фантазировать! Нет там таких слов! Нет и не может быть никогда!

– А ты посмотри, – вкрадчиво предложил мой собеседник. – Вот пойди и посмотри. В самом начале Книги Бытия. А завтра мы продолжим наш разговор.

К моему изумлению, такие слова в Библии действительно оказались. Я их как-то не заметил, когда еще в Италии впервые прочитал эти страницы.

– Ладно, ваша правда, – признался я своему оппоненту. – Так действительно написано. Как это объяснить, я пока не знаю. Но точно знаю, что тот библейский Бог, в которого я верю, – Бог, сотворивший этот мир и человека, – не человекообразен. Я еще буду учиться и узнавать, и тогда я пойму, что значат эти слова. И тогда объясню вам!

Как же плохо было мне в этом лагере! Я был один, во враждебном окружении, среди чужих людей, чужого языка и избалованных, развратных детей! Я должен был постоянно защищаться и никогда не мог расслабиться. Тут я впервые затосковал по России и по родному языку.

Как-то дети начали спрашивать у меня и у Сэма про наши родные языки. Сэм объяснил, что его родной язык – французский. Есть еще и совсем родной, материнский язык, но он не письменный, а только устный.

– А как насчет твоего родного языка, Саша? – обратился он ко мне. – Твой русский язык письменный или тоже только устный?

– Ты знаешь, для меня он стал только письменным, – поразмыслив, ответил я. – Устный у меня теперь английский.

Но больше всего меня утешало то, что дома, в Нью-Йорке, меня ждут самые близкие мне люди: девушка, которую я почти что считал своей невестой, мой лучший

друг Костя и мой самый мудрый учитель Аркадий. И я ждал своего единственного выходного, чтобы навестить их всех.

* * *

В субботу вечером я выехал автостопом в город. Когда после сложной дороги поздним вечером я позвонил в дверь квартиры Бобби и с распростертыми объятьями бросился к ней, она, оттолкнув меня, раздраженно спросила, почему я не предупредил ее о своем приезде. Я совсем потерялся, не понимая причины ее плохого настроения. Но тут в дверь позвонили, и вошел Костя. К тому времени он также подружился с Бобби (ведь она говорила по-русски), так что я даже обрадовался его приходу, который, как мне казалось, поможет снять возникшее напряжение. Но и Костя почему-то был сумрачным и уклонялся от разговора, ссылаясь на головную боль. По странному совпадению, голова болела и у Бобби. Вечернего общения не вышло, а вот утром на меня, все еще ничего не подозревавшего, обрушился тяжелый разговор. В мое отсутствие Костя сошелся с той, которая, как мне казалось, обменялась со мною хоть и не высканзанным, но очевидным обещанием верности.

Я взял свою сумку и вышел на улицу. Оказалось, в Нью-Йорке делать мне больше нечего. У меня не было ни возлюбленной, ни друга, ни даже дома (туда, где я жил перед лагерем, возвращаться было нельзя). Оставался только один учитель. В ближайшем автомате я набрал его номер, но трубку никто не брал. В конце концов телефонистка общежития сообщила, что он вместе с семьей на две недели уехал на океан. Что же, пора было возвращаться в лагерь: ведь нужно было заработать хоть немного денег, чтобы осенью попытаться начать новую жизнь.

Я был один во всем мире. Все близкие мне люди находились вне пределов досягаемости — за железным занавесом в СССР. Но именно теперь я, как никогда,

почувствовал, что есть Бог, который любит меня и никогда меня не оставит и не предаст. В тот день я впервые начал молиться перед сном. Это была краткая молитва: уже лежа в постели я читал «Отче наш» и налагал на себя крестное знамение.

В следующее воскресенье в лагерь неожиданно пришла Бобби. Она плакала, просила прощения, уверяла, что на нее что-то нашло из-за депрессии от одиночества, умоляла меня не порывать с ней и клялась, что с Костей покончено. Уже потом я узнал, что вслед за мною хлопнул дверью раскаявшийся Костя и она просто побоялась остаться совсем одна. Но я все простил и обещал вернуться.

Вот краткая запись того времени:

Мне приснился сон — я под Москвой... Почему-то мне снилось, что уже конец августа. Такое счастье почувствовал — Подмосковье, цветы, все друзья тут — даже не знаю, чему больше радоваться. Целый букет цветов собрал, красивых, разноцветных — маков, васильков, ромашек...

Проснулся я с радостью, вначале не понимал почему, а потом обломался. Это был так называемый sleep-out с детьми. Противными, избалованными, жадными, развратными, богатыми, наглыми и жестокими американскими детьми.*

* * *

В середине августа лагерь закончился. В сентябре мне предстояло начать учебу в университете, куда меня приняли еще весной и дали стипендию, покрывающую все расходы на обучение. Это был весьма известный в стране Хантер-колледж Нью-Йоркского городского университета. С учетом обучения в Москве меня приняли туда сразу на третий курс, правда обязав дополнительно заниматься

* Ночевка под открытым небом (англ.).

английским, против чего я ничуть не возражал. Я решил закончить начатое образование и специализироваться по русской литературе.

Но предстояло еще найти какую-нибудь работу, чтобы иметь средства к существованию. И тут темная полоса моей жизни, похоже, начинала сменяться на светлую. Неожиданно позвонил Марик и предложил устроиться на его место, так как он нашел себе что-то другое. Марик трудился в клубе филателистов и уверял, что там мне понравится. Он работал на полставки – 20 часов в неделю, а платили по тем временам более чем прилично: целых пять долларов в час. Итого выходило четыреста долларов в месяц, что должно было с лихвой хватать на мою жизнь.

Мы пошли знакомиться. Клуб филателистов располагался в небольшом пятиэтажном доме в престижном районе на юго-восточной стороне Манхэттена. Дом был построен в 20-е годы знаменитым архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом и считался памятником архитектуры. В клубе работало два человека: секретарь и библиотекарь. Я должен был исполнять все остальные обязанности: уборщика, мастера-ремонтника, завхоза, курьера, дворника и гардеробщика. Впрочем, работа не была обременительной: после того как я привел весьма запущенное здание в порядок, на поддержание его требовалось не более полутора-двух часов в день. Закончив все дела, я поднимался на четвертый этаж и, сидя за антикварным столом, готовился там к университетским занятиям, а иногда даже спал на толстом ковре.

На пятом этаже располагалась квартира библиотекаря – худенькой старушки миссис Эдбридж. Она работала в клубе уже почти шестьдесят лет и знала все о ценной филателистической библиотеке, которая занимала второй этаж дома. Я рассказывал приятелям, что шестьдесят лет назад филателисты выменяли миссис Эдбридж

на марку стоимостью в десять центов, а теперь, дескать, конкурирующий клуб предлагал за нее марку в пять миллионов долларов, но наши гордо отказались.

Филателисты собирались на свои тусовки вечерами, с утра я вытряхивал пепельницы и пылесосил ковры, а затем шел подметать улицу перед домом. Как-то к бордюру причалил роскошный белый роллс-ройс. Дверца отворилась, и из него вышел высокий статный негр в белом костюме.

– Сколько стоит этот дом? – обратился он ко мне с королевским британским акцентом.

– Не продается, – нагло ответил я ему.

– Вы для начала поинтересуйтесь, сколько я вам за него предложу, – настаивал мой собеседник.

– А я его не продам ни за какие деньги!

– Вы уверены?

– На все сто!

– Что же, ваше право, – вздохнул негр, сел в свою машину и плавно отъехал от тротуара.

Потом приятели ругали меня и уверяли, что нужно было все же продать ему дом и уехать подальше с полученными деньгами.

Несколько раз в году в клубе проходили филателистические вечеринки. Секретарь, миссис Дьюкас, заказывала еду и напитки, и мы расставляли их на третьем и четвертом этажах. В эти дни я должен был работать вечерами, за что мне доплачивали отдельно. Более того, любители марок обычно щедро одаривали меня чаевыми, а потом мы с миссис Дьюкас уносили домой остатки основательных филателистических трапез.

УНИВЕРСИТЕТ И УЧЕБА

В общем, работа мне нравилась и почти не обременяла меня. Я ходил туда четыре раза в неделю и проводил в здании пять часов, а потом направлялся в университет, до которого было около получаса ходьбы. Учиться тоже

было не слишком сложно и довольно интересно. Во всяком случае, на лекциях по русской литературе я имел возможность познакомиться с другими точками зрения, отличными от тех, «единственно верных», которые навязывались нам в СССР. Я читал много эмигрантской литературы и капитально прорабатывал авторов



Студенческий билет Хантер-Колледжа

Серебряного века, многие из которых были совершенно недоступны в Союзе. Настоящим открытием для меня стал Набоков, и в течение долгого времени я был под обаянием его отточенной филигранной прозы. Постепенно начал читать и английскую литературу, вначале современную, а потом и классику XIX века.

Одним из моих профессоров, проводивших семинары по русской религиозной мысли от средневековья до наших дней был Эндрю Блэйн, официальный биограф отца Георгия Флоровского. Мы приходили на семинары к нему домой – в одноэтажный особнячок, спрятанный в незаметном дворике между двумя массивными зданиями в модном районе Гринвич-Виллидж. Жить в таком месте мог позволить себе лишь очень состоятельный человек. Домик профессор Блэйн делил с соседом. Каждому из них принадлежало по квартире комнат на пять с отдельным входом. Как-то мы столкнулись с этим соседом во дворе. «Познакомьтесь, это Иосиф», – сказал мне преподаватель.

Я пожал руку невысокому сутуловатому человеку со смутно знакомым лицом. Так единственный раз в жизни я встретился с Бродским.

* * *

Наверное, стоит сказать несколько слов об американской системе образования. В те годы бытовал такой стереотип (да и сейчас он нигде не делся), что среднее образование в Америке намного слабее, нежели в СССР (теперь в России). Те, кто верили в него, очень любили сравнивать американских школьников и школьников российских. Из этого вырастает представление о среднестатистическом американце: мол, сама система образования в Америке такова, что, являясь специалистом в одной области, американец дальше этого своего круга выходить не хочет и не может.

Однако в жизни все несколько сложнее. Во-первых, потому что американское образование в разных местах очень разное. Во-вторых, потому что и наше тоже. Одно дело, если мы говорим о московской спецшколе, и совсем другое – если речь о школе, скажем, села Дубки Талдомского района. Честно говоря, я не уве-

рен, что школьник села Дубки Талдомского района (если, конечно, такое село в Талдомском районе есть) покажет более высокие результаты в сравнении с выпускником американской школы из какой-нибудь равнозначной глубинки. Конечно, если только он не Ломоносов. Да и в Америке в глубинке школы гораздо лучше, чем где-нибудь в нью-йоркском Гарлеме. В том-то и дело, что американские школы очень сильно отличаются друг от друга. Есть государственные, есть частные. На падении качества первых сильно сказывается введенная в 70–80-х годах система автобусных перевозок. Традиционно в районе, где живут белые, школы лучше, а в районах проживания чернокожих* школы хуже. Теперь же, чтобы уравнивать всех в возможностях, одних возят туда, других сюда. В результате получается хуже и там и тут. Что касается частных школ, то они, как правило, очень дорогие, и образование в них весьма и весьма сильное. Но опять-таки, и эти школы также все разные. В России, мне кажется, с развалом советской системы образования ситуация приближается к американской. Другое дело, что при нашей системе образования ученик средней советской школы традиционно получал больше знаний (особенно в точных науках и технических дисциплинах), чем ученик средней американской. Но, при всех своих недостатках, американская школа учила самостоятельному мышлению, то есть тому, что совершенно отсутствовало в насквозь заидеологизированной советской школе.

Высшие учебные заведения в Америке тоже очень разные. Есть элитные университеты. Образование там очень хорошее, но система обучения крайне жесткая, потогонная и с сильной конкуренцией. Поэтому учиться в хорошем учебном заведении чрезвычайно сложно.

Совмещать учебу с работой еще сложнее, хотя часто приходится это делать. Как правило, во время длинных летних каникул (три полных месяца) все американские студенты (даже из состоятельных семей) работают: образование очень дорогое, и платят за него родители, но при этом считается, что сам студент должен внести свой посильный вклад и почувствовать цену заработанной копейки. К примеру, труд официанта считается типичной студенческой работой: нестандартные часы и гибкий график идеально подходят к университетской жизни.

* Почему-то в отечественной публицистике в последнее время стал употребляться термин «афроамериканцы». На самом деле политкорректный американский термин «African-American», т. е. «африкано-американцы». «Афро» – это такая прическа, когда длинные курчавые волосы стоят шаром вокруг головы.

Как я уже сказал, американская система обучения по природе своей конкурентная, особенно в хороших университетах, так что у студентов здесь гораздо меньше шансов бездельничать весь семестр и садиться за учебники только перед сессией. Во-первых, экзамены есть и между сессиями. Во-вторых, к каждому занятию приходится готовиться. Если вы этого не делаете, то очень скоро это станет заметно. В-третьих, за образование вы платите деньги, а за свои деньги всегда стараешься получить тот максимум, который только возможен.

Однако стандартной системы высшего образования как таковой в Америке нет. Все университеты отличаются друг от друга, и подавляющее большинство из них – частные. Что-то более или менее общепринятое, конечно, есть, но совершенно не обязательно, что в том или ином вузе это «общепринятое» не будет выглядеть иначе.

Как правило, каждый студент сам составляет программу своего обучения, что для сознательного и целеустремленного человека может быть очень хорошо. Но большинство зачастую не в состоянии понять, что им нужно для всестороннего и более насыщенного образования. Факультетов в университетах нет. Студенты поступают просто в университет и могут записываться на курсы, предлагаемые любым отделением или любой кафедрой (исключение составляют лишь, пожалуй, медицинские и юридические школы, где большая часть изучаемых предметов – обязательная). Система такова, что за годы обучения вам нужно набрать определенное количество «кредитов», то есть баллов. Чаще всего это число составляет 120 или 140 баллов. Каждый курс оценивается отдельно, в зависимости от сложности, и напротив каждого курса всегда указано соответствующее число баллов. В большинстве университетов баллы необходимо набирать в разных областях знаний: столько-то в точных науках, столько-то в естественных, в социальных, в языках – и так далее. В каждой области есть большой список курсов, на которые можно записаться, – это уже по выбору. Главное – набрать установленное число кредитов в каждом разделе.

В целом же университетское образование рассчитано на четыре года. Можно учиться и дольше, можно и быстрее, но это уже сложно – работать приходится очень много. Обычно первые два года считают базовым образованием: получая его, студент может принимать решение о своей будущей специальности – кредиты набираются в различных сферах знаний. К моменту окончания второго курса необходимо определиться: какой предмет будет главным, а какой – побочным. По главному предмету нужно набрать, скажем, сорок кредитов и еще двадцать по побочному. Этим студент и занимается оставшиеся два года. На первый взгляд, все вполне

приемлемо. Но хороший результат бывает не всегда. Например, я знал студента, который из разных областей знаний выбрал себе вышивание, народные танцы, рисование, «науку о человеке» и так далее, то есть в каждой области набирал что-нибудь попроще. Чему он в итоге научился за это время?

* * *

Но даже для выпускников хороших университетов характерна такая особенность: приобретая свою специальность, студент настолько выкладывается, что на другое у него не хватает времени. Вспомним молодого человека, о котором я писал в начале книги. За три года до встречи со мной он окончил очень престижный университет по специальности журналистика. И был так счастлив, что с тех пор не прочел ни одной книжки. Его можно понять: действительно, по каждому курсу ему приходилось прочитывать огромное число книг, в неделю по несколько тысяч страниц. Но все же, чтобы чтение настолько надоело, нужно очень сильно постараться. Конечно, в России такое тоже может произойти, но человек это, скорее, скрывал бы. А американец честно похвастался.

В Советском Союзе моего детства было особое отношение к книге: было принято читать и предполагалось, что любой человек, считающий себя интеллигентом, имеет дома хорошую библиотеку и всегда в курсе всех новинок. В Америке отношение к книге совсем другое, и надо сказать, что наши эмигранты тоже постепенно отходили от привезенных из отечества устоев.

Эмиграция – это своего рода момент истины. Человек сталкивается со сложным испытанием: разваливается семья, расстраивается жизнь... Все буквально начинается заново. Человек с высшим образованием приезжает в Америку, но ему приходится работать на простой, низкооплачиваемой работе. Постепенно он выучивает язык, обрывает связи, приспосабливается к новой жизни и наконец получает должность инженера. И тут он вдруг обнаруживает, что в среде инженеров никто особенно книг не читает и совсем не страдает от этого. Каждый занимается тем, что ему больше по душе: садоводство, рыбалка и так далее. У каждого свое хобби. Может, у кого-то и обнаруживается такое хобби – читать книжки. Но это именно хобби, наравне со всеми остальными занятиями, и ничего более. И тут человек говорит себе: а зачем, собственно, читать? Зачем мучиться? В компанию и без этого принимают, ущербным тоже никто не назовет... В России – другое дело: круг обязывает, положение обязывает. В Америке никто не обязывает, поэтому там читают только те, кто действительно хочет читать. В некотором смысле, наверное, это хорошо: по крайней мере, человек чувствует

себя свободным и не лицемерит, занимаясь тем, к чему у него совершенно не лежит душа.

На книжной полке у читающего американца, скорее всего, вы найдете стандартный набор мировой литературы. Это, конечно, и его любимые книги, но Достоевский там будет непременно. А вообще серьезные книги в Америке издаются сравнительно небольшим тиражом — для тех, кто их действительно купит, чтобы прочесть, а не просто поставить на полку. Правда, есть и те, кто украшает книгами свой интерьер. Но такие приобретают толстые тома в кожаных переплетах, особо не вникая в содержание этих книг. Я даже видел в богатых домах потертые кожаные тома «под старину», на самом деле пустые внутри, которые используются для хранения бутылок с любимыми (иногда тоже старинными) напитками.

Книжные магазины в Америке бывают и большими и не слишком, но всегда очень интересными. Есть такие, которые выглядят, как целый город, необъятный, где можно ходить-бродить, отыскивать самые разные, самые интересные книги. В больших магазинах, как правило, можно найти даже те книги, что были изданы очень маленьким тиражом. Вообще, Америку можно назвать книжным раем, потому что здесь можно купить даже весьма редкую книгу, причем в ближайшем к вам магазине. Обычно я регулярно навещался в несколько книжных магазинов — смотрел, искал и находил то, что нужно. А ведь есть еще букинистические магазины, секонд хэнда, где всегда можно найти что-то интересное по бросовым ценам. Часто это книги отличного издания, в хороших переплетах, красивые: они просто залежались на полках и потому уценены. Если часто ходить в магазины, то в течение года можно в конце концов найти любую книгу. Так постепенно удавалось собрать хорошую библиотеку. То есть достать любое издание — это не проблема, вопрос только в цене и во времени. Чем быстрее вы хотите получить книгу, тем дороже это будет стоить.

В хороших магазинах продавцы, как правило, сведущие, начитанные — интеллектуалы, с которыми можно подробно поговорить о достоинствах того или иного издания. И эти роскошные книжные магазины — неотъемлемая часть любого большого американского города, но особенно Нью-Йорка.

ПРО НЬЮ-ЙОРК И ЕГО НРАВЫ

К тому времени я полюбил Нью-Йорк. Еще начиная с моего курьерского бытия я много ходил по городу пешком, и мне открывались самые неожиданные его уголки, незаметные беглому взгляду. Удивительно, но постепенно

он все больше казался мне похожим на Москву. Например, многоквартирные дома, построенные в начале века в стиле модерн, хотя в Нью-Йорке их возводили значительно более высокими, чем в Москве. Есть в городе и свои укромные садики, и роскошные парки, и неожиданно интересные здания, и уютные уголки. И чем дальше, тем больше мне открывалось непривычных черт этого удивительного, ни на что не похожего города.

* * *

Тут нужно пояснить, что Нью-Йорк состоит из пяти громадных районов, каждый из которых имеет свое самостоятельное управление — Манхэттен, Бруклин, Квинс, Бронкс и Статен-Айленд (первые четыре русские эмигранты уютно обозначили как Мохнатан, Брюквинск, Квинск и Брянск). Бронкс расположен на материке, остальные четыре района — на островах. Из них, строго говоря, Нью-Йорком является только Манхэттен, который и в почтовом адресе обозначается как Нью-Йорк, Нью-Йорк (N. Y., N. Y.) или просто Нью-Йорк-Сити (N. Y. C.). Он вполне самодостаточен, и если вам посчастливилось там поселиться, то выезжать оттуда никакой необходимости нет — это целый мир в себе, в котором есть все, что необходимо для жизни, и все, что только можно пожелать. Манхэттен — длинный и узкий остров, южный конец которого омывается Верхней бухтой океана, а в нее впадает река Гудзон, отделяющая его от материка с запада. На другом берегу — соседний штат Нью-Джерси. На северо-востоке Манхэттен отделен от материка (район Бронкс) рекой Харлем. На востоке и юго-востоке его отделяет от острова Лонг-Айленд (в его ближайшей к Манхэттену части расположены Бруклин и Квинс) пролив Ист-Ривер. Длина Манхэттена — 21 км, а ширина — от 3,7 км до нескольких сотен метров. Остров небольшой, а население его очень плотное (чуть ли не самое плотное в мире). Вот он и растет ввысь. Этому способствует и то, что весь Манхэттен — гранитный, лишь слегка присыпанный землей. Во многих местах порода выходит на поверхность. Поэтому громадные здания можно ставить на совсем неглубокие фундаменты. В центре острова — огромный прямоугольник Центрального парка — чуть ли не самого большого городского парка в мире, на территории которого, как говорят, могут разместиться два княжества Монако.

Кроме самой южной и самой северной частей острова, на большей его части все проезды и проходы нарезаны сеткой с юга на

север и с запада на восток. Вертикальные артерии называются авеню (расстояние между ними – одна десятая мили, то есть 160 метров), а горизонтальные – улицы (расстояние между ними одна двадцатая мили, то есть – 80 метров). Единственное исключение составляет Бродвей, пересекающий всю длину острова по диагонали. Все, что к востоку от Пятой авеню называется Восточной частью, а к западу – соответственно – Западной. По нумерации домов легко определить их расположение. И улицы и авеню пронумерованы: улицы с юга на север, а авеню – с востока на запад. Впрочем, у некоторых авеню числовые обозначения с течением времени были заменены на названия, но общий принцип остается тем же.

Нью-йоркское метро, наверно, самое большое в мире. Оно сложилось из трех независимых транспортных систем и поэтому может показаться довольно запутанным, особенно сначала. Но зато оно работает 24 часа в сутки и, несмотря на довольно утилитарный (абсолютный минимум декора), а местами и весьма мрачный вид, обладает своим особым шармом и даже романтикой.

Характерная особенность Манхэттена, да и всего Нью-Йорка – отсутствие у него центра. Обычно американцы называют центр города даунтауном*, но в Манхэттене это слово понимается буквально: оно означает нижнюю – южную часть острова, в то время как аптаун** означает северную часть. Кроме того, оба слова обозначают направление движения – с севера на юг или с юга на север. Но что можно назвать центром? В географическом центре острова – прямоугольник Центрального парка. Если, как в европейских городах, под центром подразумевать самую древнюю часть города, то это – южная оконечность острова, так называемый финансовый район, целиком застроенный небоскребами. Именно в нем находится знаменитая Уолл-Стрит и центральная биржа на ней. От старых времен там осталось только две небольших церквушки – епископальная и католическая. В первой обозначена скамья, на которой сидел и молился Джордж Вашингтон. Днем этот район кишит многочисленными толпами, а вечером поражает абсолютной пустотой: здесь не живет никто, люди приезжают только на работу. После шести-семи вечера тут закрывается все, и улицы превращаются в мертвую зону с немногочисленными группками туристов, сиротливо жмущихся друг к другу.

Выше находится артистический район Сохо, где в 70-е годы не слишком богатые художники и альтернативные галерейщики стали осваивать заброшенные фабричные помещения. Теперь это

* От англ. downtown – букв. «нижний город».

** От англ. uptown – букв. «верхний город».

богемный район с высокими ценами на недвижимость. Еще выше – Гринвич-Виллидж, некогда оплот битников и хиппи, а ныне – один из наиболее роскошных районов города. В нем находится большая часть зданий Нью-Йоркского университета. Двадцатые-тридцатые улицы заняты одежной промышленностью и залами для показа мод. В районе сорок второй улицы, на пересечении ее с Бродвеем, – театральный район. В мое время сорок вторая улица, точнее, отрезок ее в восточной части острова, была самым значным местом города, пестревшим порномагазинами и соответствующими «заведениями» и отличавшимся высоким уровнем преступности. Теперь, правда, это сильно изменилось, все «заведения» были вытеснены оттуда, и район облагородился. В районе 80-х улиц на тянущейся вдоль парка Пятой авеню находится музей Метрополитен, сравнительно небольшой, но с исключительно богатой коллекцией музей Frick Collection, Музей современного искусства Гуттенхайма и еще несколько важных музеев – так называемая «музейная миля». Напротив, на западной стороне – мечта любого ребенка: громадный Музей естественной истории со скелетами бронтозавров и массой прочих экспонатов. Выше – в районе сто десятых улиц – расположился Колумбийский университет – один из лучших в стране. К востоку и к северу от него находится знаменитый негритянский район Гарлем, куда, как сразу меня предупредили, белому нельзя и носа казать. Еще севернее Гарлема – солидный буржуазный район Вашингтон Хайтс. Ну и где тут, скажите на милость, центр? А я ведь не перечислил еще этнические районы – китайский, итальянский, еврейский, немецкий и так далее, каждый из которых является центром в себе!

* * *

Вообще, национальные общины до сих пор весьма сильны в этом городе. У каждой из них – свои сферы влияния, которые делают город похожим на огромный слоеный пирог. Скажем, полицейские – это в основном ирландцы, которые в начале XX века стали допускать к себе итальянцев (для работы с мафией), а теперь и чернокожих с латиноамериканцами для патрулирования соответствующих кварталов. Но ключевые полицейские должности ирландцы до сих пор удерживают за собой. Мусорщики (очень денежная профессия) – итальянцы. Ювелирка и индустрия мод – евреи (правда, последнее время их довольно сильно там теснят индусы). Евреям также принадлежит большая часть развлекательного бизнеса. Почти все крупные банки в руках «васпов»* – коренной нации, и так далее.

* От англ. WASP (White Anglo-Saxon Protestant) – белый англосаксонский протестант, т. н. «настоящий американец».

* * *

Каждый из остальных районов – также мир в себе, со своими архитектурными достопримечательностями, парками, музеями, дорогими районами и трущобами. Из всего нью-йоркского конгломерата самый малозначащий район – Статен-Айленд. Этот остров расположен на отшибе, на выходе из бухты в океан. Метро туда не ходит и добраться до него можно только на пароме. Это почти целиком спальный район, его большая часть застроена скромными односемейными домиками. Зато все остальные районы тесно связаны между собой транспортными артериями, которые проходят как по мостам, так и по туннелям под реками. В советское время бытовало газетное клише: «Нью-Йорк – город контрастов». Как оказалось, оно очень точно передает впечатление от города, в котором самые дорогие, купающиеся в роскоши районы буквально через квартал сменяются трущобами и наоборот, как будто где-то были прочерчены невидимые границы. Эти границы с течением времени могли перемещаться в ту или иную сторону, но контрастность подобных перепадов оставалась всегда. Например, богемный Гринвич-Виллидж резко переходит в полутрущобный Ист-Виллидж с высоким уровнем преступности, улица бомжей и пьяниц Боуэри упирается в артистическое Сохо, а сверхблагополучный Аппер-Ист-Сайд (Верхняя Восточная сторона) отделяется 96-й улицей от Восточного (испанского) Гарлема, куда белым заходить считалось самоубийственным.

* * *

В 70-е годы в городе еще очень бросались в глаза остатки этнически-профессиональных кварталов. Есть они и сейчас, но выражены менее резко. Скажем, Лоуер-Ист-Сайд (Нижняя Восточная сторона) делили между собой евреи-ортодоксы и украинцы. Чуть выше – китайский и итальянский кварталы. Про Сохо и Гринвич-Виллидж я уже писал. На роскошной Пятой авеню, в той части ее, которая примыкает к Центральному парку, располагались квартиры англо-саксонских миллионеров (например, семья Холдена Колфилда из «Над пропастью во ржи» жила именно там), а напротив – на Сентрал-Парк-Уэст – миллионеров еврейских (там находилась квартира моего Григория Осиповича). На Аппер-Вэст-Сайде (Верхняя Западная сторона) селились профессора, писатели, журналисты и прочая интеллектуальная элита, а на еще более дорогом Аппер-Ист-Сайде – преуспевающие банковские и офисные работники. Гарлем был поделен на негритянскую и испанскую (латиноамериканскую) половины. На севере – в Вашингтон-Хайтс, жили немецко-скандинавские эми-

гранты и секулярные евреи. Еще более заметно были поделены по этнически-профессиональному признаку другие четыре района Нью-Йорка.

* * *

Я записал тут всего несколько примет этого города – самого необычного города мира, центра вселенной, который не является столицей не только страны, но и даже штата Нью-Йорк, самого «неамериканского» из всех американских городов (более половины его жителей говорят по-английски с акцентом), и тем не менее символа Америки для всего мира. Город, в котором никого ничем невозможно удивить. Как-то по улице с интервалом примерно в минуту мимо меня прошли сикх в тюрбане, православный священник в рясе, хасид в лапсердаке, панталонах до колена и шапке-колесе с меховой опушкой, полуголый йог в набедренной повязке, клоун в цветном балахоне и с красным носом, кришнаит в дхоти и наконец шаман в перьях и мехах. Прохожие даже не оборачивались. Нью-йоркцы привыкли ко всему – ходи как хочешь, дело хозяйское! Такая вот город...

Вся остальная Америка по сравнению с ним кажется дремучей провинцией: и университетский Бостон, и столичный Вашингтон, и промышленный Чикаго, и богемный Сан-Франциско, и целлулоидно-киношный Лос-Анджелес. И несомненно, среди всех американских городов Нью-Йорк, будучи совсем не европейским – его даже трудно назвать городом в европейском смысле этого слова, ближе всего к Европе. И главное, ты можешь жить в нем, оставаясь самим собой, и никто не будет воспринимать тебя чужаком. Да и как, если каждый второй сам говорит с акцентом! Мне рассказывали про старого китайца, встреченного в китайском квартале (Чайна-Таун)* группой эмигрантов из СССР. Он всю жизнь прожил в Нью-Йорке и при этом ни слова не говорил по-английски. Но зато бегло болтал на идише и был уверен, что это и есть английский!

Я гордился своим знанием города и его обитателей. В метро я почти безошибочно мог вычислить, кто из пассажиров будет выходить на следующей остановке и, соответственно, чье сиденье место освободится.

Я совсем свылся с разнообразием лиц, типов, рас, народов и даже переставал его замечать. Едешь в вагоне подземки, рассматриваешь пассажиров напротив и думаешь, например, как эти

* От англ. China Town – букв. «китайский городок».

американские уставшие рабочие женщины с бессильно лежащими на коленях натруженными руками похожи на таких же женщин в московском метро... И лишь потом замечаешь, что они – негр-танки или пуэрториканки.

* * *

Самое неприятное, что есть в Нью-Йорке, – это его климат. Лето там невыносимо жаркое и влажное. Неделями температура держится вокруг отметки сорок градусов при влажности более 98 процентов. Эта влага, вкупе с нагретым асфальтом и выхлопами от кондиционеров, не дает жару спастись ночью, так что прохладных передышек не бывает вовсе. Частые ливни не приносят облегчения, но лишь усиливают эффект парилки. Выносить все это крайне сложно, и при малейшей возможности я стремился летом сбежать из города.

Помню, в какой-то невозможно жаркий и душный летний день мы с приятелем поняли, что если срочно не отправимся на пляж, то растворимся в собственном поту. Добирались на метро часа полтора и, в конце концов, приехали. С океана дул освежающий ветерок, температура ощущалась на несколько градусов ниже. Мы искупались и ожили. Но тут небо резко затянуло черными тучами, и стеной хлынул тропический ливень. Мы мгновенно промокли насквозь и отчаянно замерзли, так что я даже с тоской стал вспоминать манхэттенскую жару. В кондиционированном вагоне метро нам в мокрых шортах и футболках согреться не удалось. Я стучал зубами и искренне не понимал, как же это можно было устать от жары. И вот, наконец, мы дома. Пять минут я согревался, а затем с тоской стал вспоминать блаженный холод...

Зима – холодная и ветреная. Температура, как правило, не слишком низкая (во всяком случае, по московским меркам), но влажность и ветры делают холод пронизывающим, так что коченеешь мгновенно. В прогнозах погоды обычно указывают две цифры: температура по градуснику и (с учетом ветра и влажности) – по ощущениям. Последняя цифра часто может колебаться между тридцати- и сорокаградусной отметкой (разумеется, со знаком минус).

Ровные улицы с высокими домами по сторонам создают аэродинамический эффект, многократно увеличивающий силу ветра, так что иной раз сквозняк даже сбивает с ног прохожих. На южной оконечности Манхэттена раньше каждую зиму протягивали канаты, чтобы пешеходы могли держаться за них.

Снег лежит недолго, потом тает, потом выпадает опять. В середине зимы может резко потеплеть градусов до пятнадцати или даже двадцати, а затем вновь все занести бураном.

Весны практически нет. Так погода и скачет – тепло – холод – до мая (даже в конце апреля может все засыпать снегом), а там резко наступает палящая жара.

Единственный комфортный сезон в Нью-Йорке – осень. Во второй половине сентября жара начинает спадать, и устанавливается теплая, ясная и сухая погода, которая может продлиться до конца ноября или даже до середины декабря. Ночи делаются прохладными, но дневное солнце хорошо прогревает воздух. После середины октября леса и парки расцветаются фантастически яркими, люминисцентными красками, несопоставимыми со скромным осенним увяданием родной мне среднерусской природы. Это колористическое буйство длится до середины ноября, пока деревья полностью не обнажатся. Первый снег обычно выпадает в конце декабря, а то и в январе.

* * *

Когда я водил по Нью-Йорку приехавших в гости друзей, то начинал знакомство с городом в Бруклин-Хайтс – ближайшей к Манхэттену части Бруклина. Один из самых дорогих районов города, он сохранил историческую застройку конца XVIII – начала XIX века. Тихие улочки, усаженные древними вязами, буками, кленами, платанами и каштанами, обрамлены рядами «браунстоунов»* – облицованных большими коричневыми камнями трех-пятиэтажных домов с наружными ступенями на бельэтаж. Я показывал своим гостям главную торговую улицу района, Montague Street (т. е. улица Монтекки) и расположенное на ней кафе «Капулетти» и опять углублялся в тихие улочки старой колониальной Америки. И когда мои гости привыкали к этой неброской провинциальной атмосфере, я неожиданно выводил их на Променад – просторный деревянный настил вдоль реки. По ту сторону горизонт заслонял футуристический пейзаж южной оконечности Манхэттена с двумя торчащими вверх белыми башнями-близнецами Центра всемирной торговли, окруженными целым лесом меньших небоскребов. Слева простиралась

* От англ. brownstone – коричневый камень.

расширяющаяся водная гладь бухты со статуей Свободы, навеки задравшей руку с факелом, и низким Статен-Айлендом за ней, а направо, за ажурной вязью тросов Бруклинского моста, сколько видел глаз, шла высотная застройка Манхэттена. Потом мы шли по пешеходной дорожке этого удивительно красивого моста с его готическими арками, к которым крепилась паутина стальных канатов. Под нами оставались уродливые сторожевые башенки иеговистов, а впереди постепенно приближался Манхэттен. На переднем плане возвышались небоскребы, возведенные в 20-х годах прошлого века, во многом ставшие прототипом для сталинских высоток, построенных двумя десятилетиями позже. Именно этим мостом столь восторгался Маяковский, который при этом внес в свой восторг необходимую нотку классовой трагедии, заявив, что «отсюда безработные в Гудзон бросались вниз головой». Вообще-то, Бруклинский мост перекинут через Ист-Ривер, и чтобы попасть в Гудзон, безработным пришлось бы пролететь через весь Манхэттен в самой широкой его части... Затем прогулка продолжалась по узким темным улочкам между заслоняющими свет небоскребами в финансовом центре, откуда можно было выйти на самый кончик острова и всего за двадцать пять центов съездить на пароме до Статен-Айленда и обратно. Удивительное дело – паром все отдалялся от Манхэттена, а небоскребы не уменьшались, продолжая нависать над тобой. Было в этом величественном рукотворном пейзаже что-то нереальное, искусственное, как в театральной декорации. Но все равно он не мог не поражать воображения. Паром проходил мимо Либерти-Айленда со статуей Свободы (поездка на экскурсионном катере до него стоила долларов десять) и в конце концов причаливал к пункту назначения. Поездка в обратный конец не стоила ничего. Я весьма гордился, что знаю этот дешевый способ полюбоваться всеми достопримечательностями.

И потом уже, вернувшись на берег, можно было вести гостей на север, показывая интересные здания и рассказывая о районах, по которым пролегает маршрут. Были и другие прогулки по иным частям города. Самых стойких я провозил на метро по Южному Бронксу. Там, как и во многих других местах, линия метро проходила над городом – по специально построенному виадуку, и поезда шли на открытом воздухе. С обеих сторон, остановка за остановкой, обгоревшие остовы многоэтажных домов перемежались с заросшими травой пустырями. Мы с приятелями называли этот район Сталинградом. А на севере того же Бронкса привольно раскинулись дорогие пригородные кварталы, а чуть южнее их – живой и интересный итальянский район, куда менее туристический и, значит, куда более аутентичный, чем «Маленькая Италия» на юге Манхэттена.

* * *

В самом дальнем углу Бруклина, на берегу океана, рядом с развлекательным комплексом Кони-Айленд постепенно начинал заселяться и обустраиваться «русский» район Брайтон-Бич. Поскольку селились там в первую очередь одесские евреи, через несколько лет он получит второе название – «Маленькая Одесса».

Помню, как мы с группой американских приятелей впервые приехали на экскурсию на Брайтон-Бич. Главная улица этого района проходила под метроэстакадой, что не добавляло ей привлекательности. Зато ровно в квартале от нее находится просторный песчаный пляж, отгороженный от жилых домов широким деревянным настилом для прогулок, тянущимся в бесконечную даль. Тогда на весь район, еще весьма запущенный и заселенный в основном пуэрториканцами, было всего два-три начинающих русских магазина и ресторана. В один из них мы и отправились пообедать.

Темный зал был весь задрапирован красным плюшем, отчего он напоминал нечто среднее между борделем и президиумом партийного собрания. Мы сели за столик. Через некоторое время к нам растерянно вышла средних лет толстая официантка со сверкающим между густо на помаженных губ золотым зубом. По-английски она не говорила. Пришлось мне переводить. Кто-то попросил пива. «Пиво у нас есть двух сортов, – поведала дама. – Один в баночках, другой в бутылочках».

Мы заказали бутылочки.

Когда их принесли, одна оказалась полной лишь наполовину. Мы указали на это официантке. «Ах, извините, – смутилась она, – я думаю, из этой бутылочки просто уже кто-то попил...»

Такие тогда там были простые нравы.

* * *

Вообще, русские в многоязычном Нью-Йорке встречались тогда довольно редко. С моими длинными волосами и нестандартной одеждой я не выглядел типичным эмигрантом из СССР, и те немногие соотечественники, которые мне встречались, не признавали во мне земляка. Помню, как в метро двое русских, сидящих напротив, подробно обсуждали мою внешность. На мне был старинный китель, на котором все пуговицы были разными, в их числе и несколько антикварных. Но их больше всего интересовало, откуда я достал солдатскую пуговицу с пятиконечной звездой, также пришитую к моему кителю. В конце концов они сошлись во мнении, что я купил ее за громадные деньги на черном рынке, сочтя, что иметь такой раритет – очень модно.

Весьма забавная встреча случилась у меня как-то зимой. Меня остановил прохожий с отчаянной решимостью во взоре. На его голове красовалась ушанка, а зубы были прорежены золотыми «фиксами», так что происхождение его угадывалось с первого взгляда.

– Мэдисон авеню, – заорал он мне с ярко выраженным русским акцентом, – вер*?

– В ту сторону, – ответил я ему по-русски.

Однако он был настолько напряжен необходимостью общаться с аборигеном на почти незнакомом ему языке, что не заметил родной речи, наверное, впрочем, подсознательно порадовавшись, что так хорошо понимает по-местному.

– Лонг? Лонг? ** – повторил он несколько раз.

Я понял его.

– Нет, совсем рядом. Всего четыре квартала.

– Сенькю *** , – вздохнул он с облегчением.

– Не стоит благодарности, – широко улыбаясь, проговорил я.

И только тут до моего собеседника, что называется, дошло:

– Вы говорите по-русски? – ошеломленно выговорил он.

* * *

В те далекие годы встретить за границей граждан СССР было большой редкостью. К тому же, все они ходили группами и панически боялись заговаривать с местными жителями. А услышав русский язык, выездные соотечественники обычно еще более стремительно убегали, боясь, что сейчас начнется страшная антисоветская провокация, о которых их предупреждали на предварительных беседах в парткоме, блестяще спародированных Высоцким: «Там шпионки с крепким телом, ты их – в дверь, они – в окно...»

В качестве примера не могу не вспомнить две хулиганские истории из моей жизни, связанные со встречами

* Искаж. англ. от where – где.

** Искаж. англ. long – длинный. Очевидно, мой собеседник хотел спросить, далеко (т. е. far) ли ему идти.

*** Искаж. англ. от thank you – спасибо.

с советскими туристами за границей. Одна из них произошла в Нью-Йорке году в 1978-м, когда я прожил в Америке еще совсем недолго. Со своими волосами до середины спины, камуфляжной курткой и уже упомянутыми высокими сапогами я полностью вписывался в локальный городской пейзаж. Заподозрить во мне советское происхождение было крайне сложно.

И вот на улице города я заметил группу советских туристов – явление тогда и в том месте крайне редкое. Даже в Болгарию было достаточно сложно попасть, а в какую-нибудь Венгрию – и подавно. Далее в этой номенклатуре следовала Югославия, затем, если я не ошибаюсь, «развивающиеся страны», потом государства Западной Европы, а уж в США пускали только самых проверенных и заслуженных товарищей.

А тут – целая группа! Состояла она сплошь из коренастых дядек средних лет весьма обкомовского вида. Их куда-то вели, а поскольку мне было в ту же сторону, я шел за ними несколько поодаль. И вдруг я заметил, что двое отстали. Загляделись на какую-то витрину и не заметили, что группа уже ушла вперед. Я поравнялся с ними и по какому-то наитию (еще несколько секунд назад я ничего такого не планировал) строго произнес: «Товарищи, почему вы отстали от остальных? Вы что, не знаете, в какой стране находитесь? Кучнее держитесь, кучнее! Немедленно присоединитесь к группе!»

Не знаю даже, откуда в моей памяти всплыло уродливое слово «кучнее», но бедолаг как током передернуло. Они покраснели, побелели, встали навтыжку и хором сказали: «Извините, пожалуйста, товарищ! Обещаем, что больше такого не повторится». И бегом, несмотря на свои обширные габариты, припустили к своим.

Наверное, если они еще живы, до сих пор рассказывают домашним об эффективности бывшего КГБ, агенты

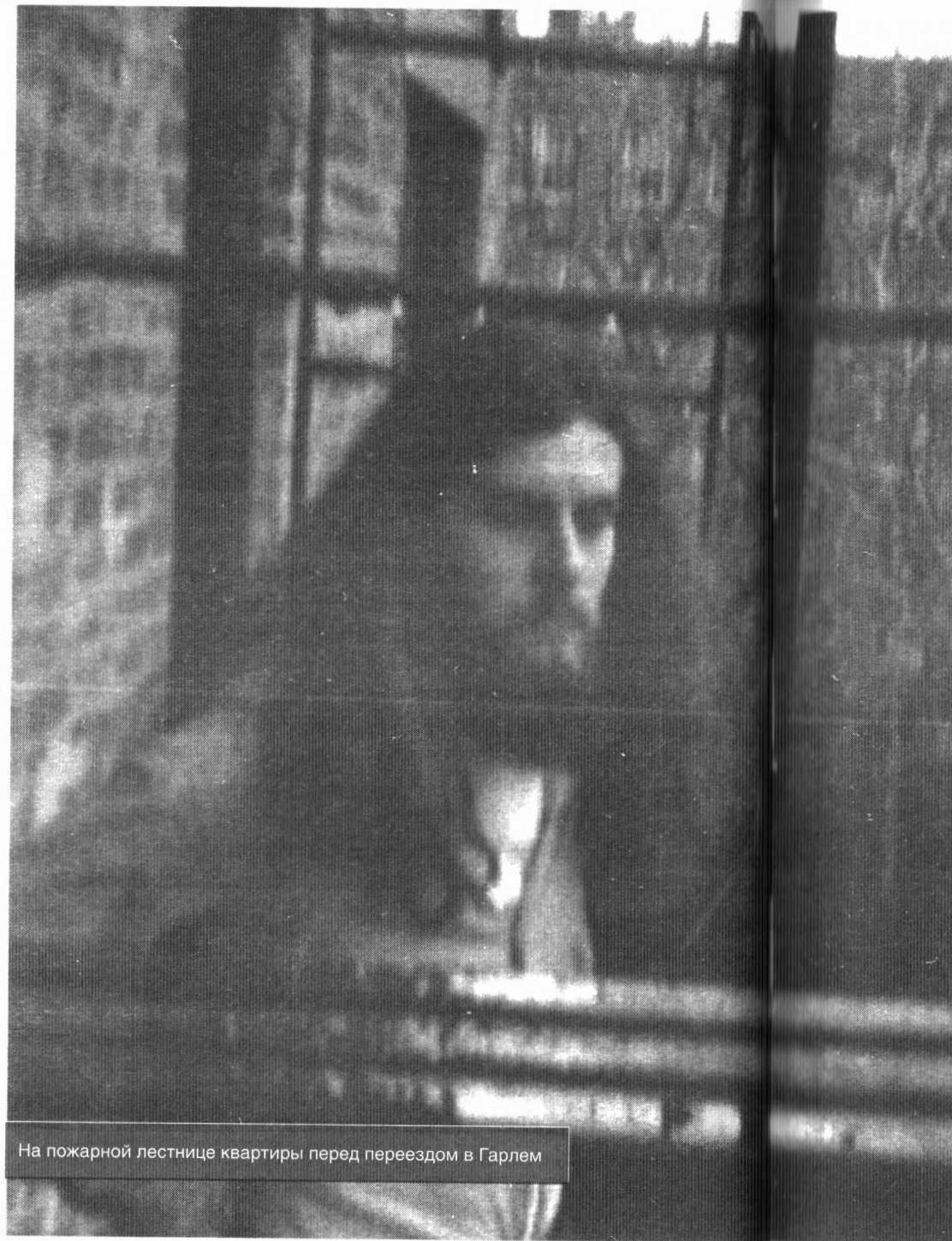
которого в самом сердце США под видом местных хиппи «пасли» советские группы.

* * *

Другая встреча произошла много позже, в 1982 году, в июне, когда мы с другом путешествовали автостопом из Лондона на Афон. Нагруженные своими рюкзаками, мы выбирались из Амстердама. Чтобы начать ловить машину, необходимо выйти за границы города, к выезду на автостраду, и там можно уже поднимать палец. Было раннее утро. На самой окраине мы увидели группу людей в красных спортивных костюмах, которые, стоя широким кругом, делали утреннюю зарядку. На их груди и спине белели буквы, складывающиеся в английскую аббревиатуру Си-Си-Си-Пи, что-то смутно мне напоминавшую. Подойдя поближе, мы услышали слова одного из них – явно старшего: «Ноги на ширине плеч, руки в стороны...» – и тому подобное. И вдруг я сообразил, что слова произносились по-русски! Тут же разрешилась и загадка странной аббревиатуры: она состояла не из латинских, а из русских букв и значила, конечно, СССР! Видно, это была советская спортивная команда, приехавшая в Голландию на соревнования.

И опять, проходя мимо, я совершенно без какого-либо предварительного плана, что называется, на автомате, выдал дикторским голосом: «С добрым утром, дорогие товарищи! Московское время семь часов тридцать минут. Начинаем утреннюю гимнастику!»

Вся группа застыла в немой сцене ровно в той позе, в которой застали каждого мои слова. Лишь один из спортсменов ответил было (видно, тоже на автомате): «С добрым утром...», но тренер на него свирепо шикнул, и все продолжали стоять без движения, провожая нас взглядом, пока мы не скрылись за углом.



На пожарной лестнице квартиры перед переездом в Гарлем

Я ПЕРЕЕЗЖАЮ

Однако пора вернуться к моей тогдашней жизни. Учеба шла хорошо, работа мне нравилась, встречи с Аркадием возобновились. Он по-прежнему подсовывал мне эзотерическую литературу, а я исполнял его поручения, главным образом заполнял бесконечные анкеты для получения им грантов или развозил по адресатам какие-то посылки и передачи. Он продолжал авансом уверять меня, что я талантливый писатель, и уговаривал начать писать прозу и стихи. Некоторые из этих опусов сохранились до сих пор. Подавляющее большинство из них я предпочитаю никому не показывать. Гроднер также подробно расспрашивал меня о хипповой жизни и делал заметки, как он говорил, для своей новой книги. Почему-то больше всего его интересовала сексуальная сторона: об этом он допытывался особенно дотошно. При всем моем тогдашнем благоговении перед учителем, я не мог не вспомнить, что тем же самым в первую очередь интересовались подвозившие нас в России шоферы-дальнобойщики и люмпенизированные соседи по камере предварительного заключения в Херсоне. Но я гнал от себя эти мысли, не позволяя им развиваться в выводы.

Одновременно с чтением эзотерической литературы я открыл для себя русскую религиозную философию и погрузился в нее. Больше всего я читал Розанова и Шестова. Эти два совсем разных автора очень

увлекли и вдохновили меня. Но все же, как я постепенно стал ощущать, оставались вопросы – наверное, даже самые важные, на которые они не могли дать ответа. Его еще предстояло найти.

С крещением дело тоже никак не продвигалось. Я встретился еще с одним священником и поговорил с ним. Однако Гроднер сообщил мне, что принимавший меня старец – власовец и антисемит, а значит, не годится совершенно. Хотя мне очень понравился этот седобородый батюшка с добрым внимательным взглядом, я и на этот раз послушался своего учителя.

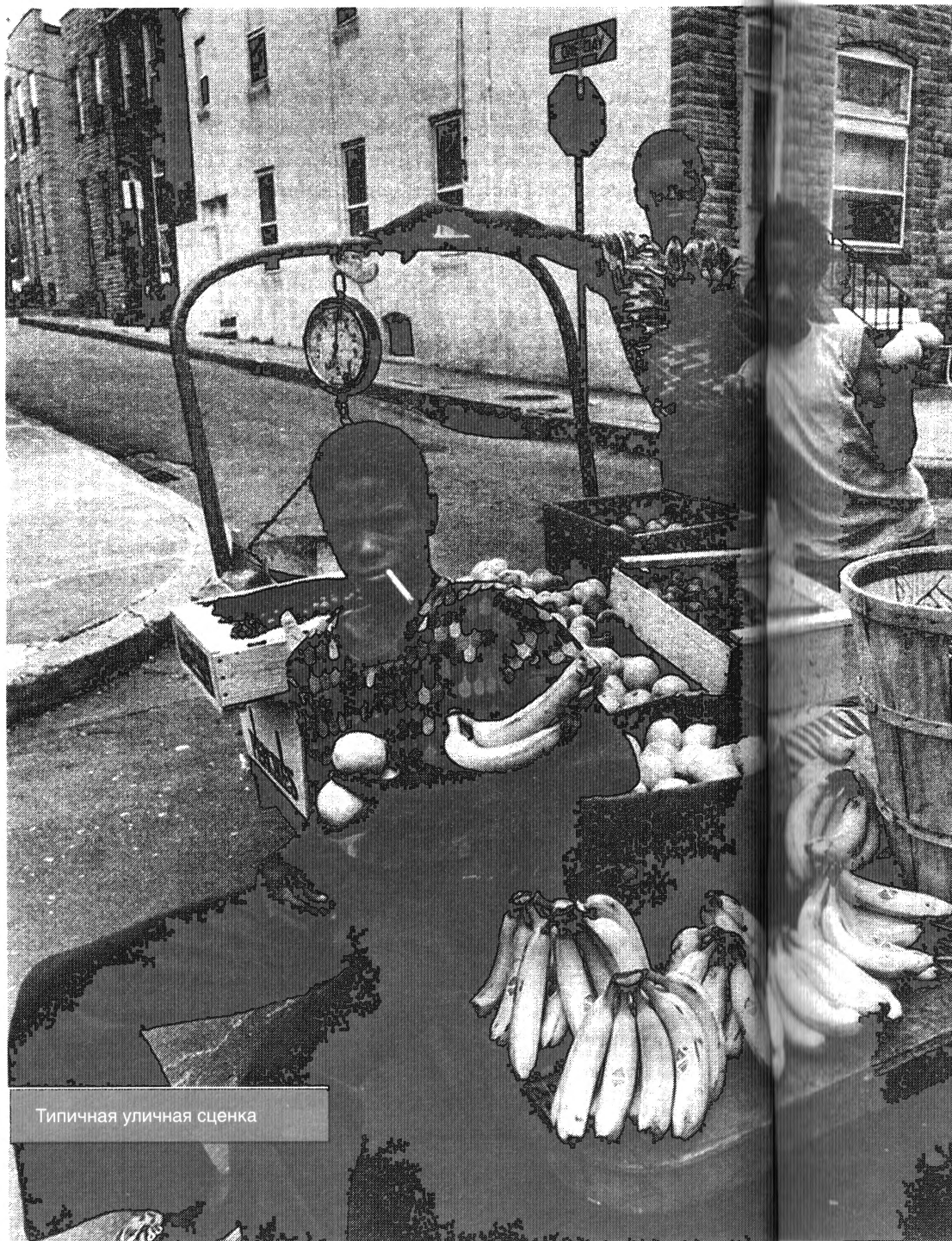
* * *

Хуже всего обстояли мои дела с Бобби. Летом наши отношения дали трещину, и склеить ее, как оказалось, было невозможно. Потом выяснилось, что за время моего отсутствия, уже после Кости, она, не разрывая со мной, продолжала амурные эксперименты с другими общими знакомыми. Но тогда я этого еще не знал.

Хотя у меня все складывалось наилучшим образом, Бобби это почему-то совсем не радовало. Может быть, потому что я все крепче становился на ноги и все меньше зависел от нее. Я изредка продолжал встречаться с ней, хотя уже и не понимал зачем. Каждая встреча превращалась в долгое и мучительное выяснение отношений. Гроднер меня утешал, говоря, что все духовные люди должны страдать, хотя и советовал прекращать общение. Я колебался, как вдруг выяснилось, что у Бобби прямо на моих глазах начинает разворачиваться еще один роман, и тут я понял, что продолжать все это больше не имеет никакого смысла. Хотя, конечно, как я вижу сейчас, смысл в происходившем все же был: я на себе ощутил, что такое измена, и понял, как тяжело она переносится. Значит, правы были мои неверующие родители, когда призывали меня жить по-другому? Значит, предательством может быть не толь-

ко донос на друга в КГБ, но и нечто совсем другое – то, что я сам ранее позволял себе неоднократно? Я впервые стал задумываться над этими вопросами. Постепенный процесс смены моих убеждений приобрел дополнительный динамизм.

В моем альбоме сохранилась фотография, сделанная в те дни на площадке пожарной лестницы за окном одной американской квартиры. Поздняя осень, серый, пасмурный день, смазанные краски. Но я ощущал этот момент как новое начало и новую надежду. Столь долго зревший нарыв был вскрыт. Беспросветный кошмар последних недель завершился. Начиналась новая и, кстати, впервые в Америке, совершенно независимая жизнь.



Типичная уличная сценка

ЖИЗНЬ В ГАРЛЕМЕ: У ОКСАНЫ

Примерно в тот же период я наконец смог оставить свое тогдашнее место обитания (я временно жил у одних друзей) и сам платить за свое собственное жилье. После недолгих поисков мне сообщили, что одна знакомая чьих-то знакомых, пожилая украинка, живущая в очень большой квартире на севере Гарлема, сдает комнату. Условия, в общем, меня устраивали. Правда, немного смущал адрес – все же Гарлем пользовался, мягко говоря, не самой лучшей репутацией. Но особенно выбирать не приходилось. Упаковав свои вещи и забрав Мурку, я выехал немедленно. Панк Марик, который к тому времени обзавелся большой старой черной машиной, согласился меня перевезти.

Так я оказался жильцом Гарлема, точнее, его северо-западной части. Район, в котором находилось мое будущее жилье, пару десятилетий назад был весьма престижным, но постепенно пришел в запустение. Прежние жильцы выезжали, и квартиры заселялись другой публикой. Дома ветшали, приобретая все более трущобный вид. Улицы постепенно грязнели. Так расширялся Гарлем. Но зато тут кипела жизнь: у дешевых магазинчиков толпился народ, овощные лавки пестрели буйством красок, забегаловки и ресторанчики испускали соблазнительные запахи, соседствовавшие, впрочем, с вонью гниющего

мусора и дешевыми ароматами из парфюмерных заведений, столь любимых здешними обитателями.

Дом, где мне предстояло поселиться, имел четырнадцать этажей (последние два назывались четырнадцатым и пятнадцатым, так как тринадцатых этажей в США предпочитают не делать – там никто не захочет поселиться) и занимал полквартала. Внизу размещались прачечная, самообслуживания, магазин подержанной одежды и музыкальный салон. Когда-то дом был роскошным и к моменту моего заселения еще сохранил некоторые следы былого великолепия: внизу, в просторном холле, всю стену занимало громадное – размером пять на десять метров – зеркало. Я выгрузил в квартире вещи, запустил в свою комнату – светлую и просторную, с отдельными душевой и туалетом – Мурку и тут же убежал в университет. Когда вечером я вернулся, стена зияла пустотой: зеркала уже не было. Не оставалось даже осколков на полу. Восстановить его на прежнем месте никто не пытался.

* * *

Квартира, как и дом, тоже когда-то блистала роскошью. Она располагалась на 10-м этаже, и в ней было восемь комнат, громадная кухня, два коридора, два санузла с ваннами и один с душевой, три просторных кладовки и несколько стенных шкафов. Комнаты были большими и светлыми, однако все свободное пространство между ними занимали кучи всевозможного скарба, так что в просторном коридоре пройти было можно лишь по стеночке. В квартире арендовали комнаты еще два человека, так что вместе с хозяйкой у нас получилась настоящая американская коммуналка.

Но, конечно, наибольший интерес в этом жилище представляла сама хозяйка – Оксана Прихвятько. Родилась она на Украине, в западной ее части, бывшей в составе Польши. В 1939 году, когда началась война, ей не было

еще и десяти лет. Жила она в оккупированной Варшаве, где погибли ее родители, пережила Варшавское восстание и чистки после него. Все это время ей приходилось отчаянно бороться за существование, и в конце концов она стала тем, кто по-английски называется *survivor*, то есть человеком, для которого эта борьба составляет цель и смысл жизни и который всегда может выжить, даже в самых сложных условиях. Это свойство она сохранила до самой смерти. После войны Оксана оказалась в лагерях для перемещенных лиц в Германии, потом ее носило по всему свету, пока в конце концов она не осела в Нью-Йорке.

В результате всех своих странствий Оксана Прихвятько научилась говорить на шести или семи языках, но при этом ни одного не знала по-настоящему. Иными словами, у нее не было родного языка. На всех языках она говорила с акцентом и не чувствовала себя дома ни в одной культуре. Потом я встречал еще нескольких таких несчастных «граждан мира», а по сути онтологически бездомных людей без родного языка, и мне всегда было их бесконечно жаль.

В детстве Оксана, разумеется, говорила по-украински, но не успела на нем и школу закончить, так что владела им далеко не совершенно. Потом его вытеснил польский, затем она как-то выучила русский, потом еще наслоился немецкий, испанский, французский и английский – языки всех стран, где ей доводилось жить.

Характер у Оксаны был чрезвычайно тяжелым. Правда, ко мне поначалу она отнеслась весьма радушно. Но знакомые сразу предупредили, что вызвать ее раздражение очень легко, а обиды, по большей части воображаемые, Оксана не прощала никому и никогда. Комнаты в своей квартире она сдавала за сумму по тем временам и для наших карманов весьма значительную: 150 долларов в месяц. К тому же брала задаток – тоже 150 долларов

в качестве платы за последний месяц, когда жилец собирался съезжать. Практически же деньги всегда пропадали, потому что спустя некоторое время Оксана неизбежно ссорилась с жильцом и, когда он уходил по делам, меняла замок на двери. Человек просто оказывался на улице. Вещи потом приходилось доставать с полицией и вывозить: въезжать она уже никому не позволяла и задаток оставался у нее. Через месяц после того как я поселился в квартире, это произошло с одним из жильцов почти на моих глазах: Оксана выдала мне новый ключ, а когда через несколько дней я спросил, куда делся жилец, другой сосед тихонечко поведал об этом.

Но пока Оксана благоволила ко мне, и ничто не предвещало грядущих бурь.

Хозяйка моей новой квартиры прожила бурную жизнь, но все же так и не смогла (или не захотела) задуматься о вечном: Оксана была воинствующей атеисткой, даже, скорее, антиатеисткой – богоборцем, находящимся в состоянии перманентного восстания против своего Творца. Она видела себя бойцом-одиночкой, воюющей против всех и вся: стран, режимов, правительств, враждебных обстоятельств, окружающих людей и в конечном счете Бога. При этом она была человеком совершенно безнравственным. Я вдруг понял, что значат в реальности слова Достоевского: «Если Бога нет, то все позволено». Когда я их повторял раньше, то все-таки считал, что какие-то ограничения есть. В бытность мою атеистом я сам устанавливал для себя некие, пусть воображаемые, но все же границы. Однако Оксана действительно считала, что позволено абсолютно все, и жила согласно этому принципу. В этом смысле она была, наверное, самым последовательным и бескомпромиссным атеистом из всех, кого я встречал до сих пор. Главным критерием и мерилем всего существующего для Оксаны была она сама: ее желания, потребности, удовольствия, капризы. Исходя

из этого она и действовала. Для удовлетворения желаний и потребностей годились все средства. И горе тому, кто становился на ее пути!

* * *

Когда мы с Оксаной познакомились, она была смертельно больна. У нее развилась четвертая стадия рака. Сначала опухоль нашли в груди, была проведена ампутация, но через некоторое время метастазы обнаружили в костях. Бог, в Которого Оксана не верила, избавил ее от мучений: каким-то образом она практически не ощущала боли и в общем-то чувствовала себя неплохо. Но это было временной передышкой: процесс необратимо развивался, и в любой момент у нее могло все сразу отказать. Пожалуй, единственным ощутимым последствием болезни было то, что Оксана не чувствовала запахов – у нее полностью отбило обоняние.

Уже давным-давно она жила на вэлфере и дополнительно подрабатывала сдачей комнат, так что более или менее стабильный доход у нее набирался. За свою роскошную квартиру, как мы вычислили, она должна была платить довольно мало: в США существует такое понятие, как *rent control*, то есть хозяева не могут поднимать ренту произвольно и даже при въезде новых жильцов должны не выходить за определенные рамки. А пока в квартире остается старый жилец, хозяева могут повышать плату за жилье лишь раз в несколько лет, да и то весьма символически. Таким образом, если человек арендовал помещение лет двадцать-тридцать назад, то и плата с годами становилась смехотворно мала. А, как мы узнали, Оксана жила в этой квартире не меньше двадцати лет. Значит, благодаря аренде, она не только расплачивалась с домовладельцами, но и покрывала многие свои другие расходы.

А жить наша хозяйка умела очень экономно: сказывался ее опыт выживания в самых экстремальных

условиях. По ночам она отправлялась на улицу на промысел. Вначале она обходила закрывающиеся рестораны и продуктовые лавки, где с ней делились невостребованными и просроченными продуктами. Далее начинался обход всех окрестных помоек и сбор всего, что когда-либо может ей понадобиться.

* * *

Следует, однако, иметь в виду, что помойка в Америке – совсем не то, что помойка в России. На американских помойках иной раз можно найти весьма добротные вещи – и антикварную мебель, и бытовые приборы, и посуду, и много чего другого. Но если увлечься такой помоечной охотой и войти в азарт, она может привести к весьма плачевным последствиям.

Я вспоминаю трагическую историю В. С. – очень известного в 70-е годы в СССР художника-авангардиста, который участвовал во многих неподцензурных выставках, подвергался гонениям и в конце концов эмигрировал в Америку. Он действительно был талантливым мастером, картины его стали хорошо продаваться, но тут начались проблемы. В. С. не мог пройти мимо выкинутых на помойку роскошных вещей: то увидит замечательную антикварную швейную машинку Зингер, которая, если поменять одно колесико, может заработать как новая, то роскошный стул середины XIX века – его отшкурить, отлакировать, и получится завидное приобретение, то настоящий пиратский сундук, то какую-то удивительную лампу, в которой недостает только нескольких стеклышек, и так далее. Все это он тащил домой на свою съемную квартиру. Остановиться В. С. не мог, вскоре жилище его переполнилось этими вещами, они перестали там помещаться – а он все приносил новые ценные находки, стараясь разместить все наиболее экономичным образом. В конце концов он даже разработал хитрый способ

пролезать в свою квартиру: немножко приоткрыть дверь (больше, чем на пятнадцать сантиметров, она не открывалась), просунуть в щель руку, что-то вытащить, затем протиснуться внутрь, задвинуть этот предмет назад и закрыть дверь. Как-то ночью он умер во сне, задохнулся от обилия вещей, не оставивших ему кислорода. Когда его стали разыскивать, дверь пришлось вырезать автогенном, а затем прожигать им путь сквозь спрессованную массу помоечных артефактов, чтобы добраться до тела несчастного накопителя.

* * *

Судя по всему, у Оксаны была похожая ситуация – только жилплощадь позволяла куда больший размах мшелоимства. Правда, когда я вселился, квартира, хоть и перегруженная рухлядью, все же была освобождена от большого количества хлама: проживающая в Техасе дочь предложила матери переехать к ней – слезь Оксана могла в любой момент, а в Нью-Йорке ухаживать за больной было некому. Но Оксана хоть уже и отправила вещи, никак не могла решиться на переезд: для нее он означал бы, что она сдалась перед враждебной жизнью и что та борьба, которую она с детства вела одна против всех, завершилась ее поражением. А признать это и принять милость от дочери ей не позволяла гордость. Все-таки в Нью-Йорке она оставалась сама себе хозяйка и жила привычной, хоть и весьма странной, жизнью.

Отославшись после ночной охоты, Оксана начинала сортировать добычу. Помню, как-то она притащила ящик основательно подгнившей картошки. Поскольку обоняния у нее не было, запах ее не тревожил. Как сейчас вижу картинку: Оксана чистит эту картошку, тут же в сковородке шкворчит просроченное масло, я, стараясь не морщиться, прохожу мимо, в то время как она любезно приглашает меня к столу откусать вместе с ней. А вот желудок у нее все

еще оставался железным: от такой диеты мог бы слечь любой, но она на пищеварение не жаловалась никогда.

Не чуралась она и наркотиков: марихуану, во всяком случае, частенько покуривала. Более того, эта пожилая, смертельно больная женщина с ампутированной грудью и полностью сбитой лечением гормональной системой – у нее росла густая борода и говорила она басом – встречалась с любовником, двадцатилетним слепым негром. В такой противоестественной связи был заложен весьма нечистоплотный обман: незрячий парень вряд ли представлял себе в полной мере, с кем именно он встречается.

* * *

Таковы были обстоятельства моей гарлемской жизни. Когда я, бравируя, сообщал своим университетским приятелям (и особенно приятельницам), что живу в Гарлеме, на меня смотрели как на героя или (гораздо чаще) как на сумасшедшего: ведь считалось, что белому человеку там небезопасно появляться даже среди бела дня и даже на короткое время: сразу ограбят, изнасилуют, убьют. Хотя Оксанин дом находился близ северной границы Гарлема (кварталов через семь начинался приличный район, но ведь их надо было еще пройти!), въезжал туда я с серьезными опасениями. Но, правда, быстро привык, поскольку ничего особенно плохого там не видел. Наша сторона Бродвея считалась пуэрториканской, противоположная – негритянской, но деление это было весьма условным, может быть, более оно сказывалось на меню ресторанчиков и ассортименте торговых лавок. Меня никто не трогал ни здесь ни там, по улицам я ходил свободно в любое время дня и ночи. Вскоре соседи начали меня узнавать, здороваться, угощать сигаретами или леденцами – в общем, вели себя более чем дружелюбно.

Правда, когда я сказал одной своей знакомой, что Гарлем – совершенно безопасное место, она ответила, что

для кого как. Я в ту пору носил камуфляжную куртку и сапоги на шнуровке (те самые, дорогие), волосы струились по груди, на плече висела военная сумка от противогаза. «Скорее всего, тебя принимают за чокнутого вьетнамского ветерана с гранатой в кармане. Вот они к тебе и подлизываются», – едко заметила моя приятельница.

Может быть, она была и права, хотя некоторые последующие события не вполне сообразовались с ее наблюдением. Хотя кто знает...

* * *

Вообще, мой район неожиданно вызвал у меня довольно много ассоциаций с советской действительностью. Разве что все было куда более ярким. Дома потрепанные, запущенные, подъезды грязные, лифт все время ломается, мусоропровод засорен, ничего не работает... Но – на улицах магазины ломятся от товаров, в лавках – невероятные тропические фрукты-овощи, масса рекламы, половина из которой на испанском языке, раздающаяся отовсюду музыка... Именно тогда появилась мода гулять по улицам с громадным радиоприемником на плече, включенным на всю мощность (он так – весьма неполиткорректно – и назывался: *ghetto box**). Однажды я даже видел трех вышедших на прогулку темнокожих подростков, один из которых нес радиоприемник, а два его приятеля справа и слева – большие колонки, сотрясающиеся от бьющего из них мощнейшего звука. Здешные обитатели предпочитали ездить на больших машинах ярких – иной раз даже радужных – расцветок. Пускай частенько их автомобили бывали помятыми, ржавыми или у них не хватало деталей корпуса, но зато по размерам они приближались к семьсот тридцать седьмому Боингу – самому крупному тогдашнему авиалайнеру.

* Ящик для гетто (англ.).

Больше всего раздражало взгляд обилие мусора. Он был повсюду – и в виде хлама под ногами, и в виде больших и маленьких пластиковых мешков на каждом углу, у каждой витрины или двери. Но постепенно глаз «замылся», и я перестал все это замечать, как я давно уже «не замечал» обязательных в Нью-Йорке уродливых железных пожарных лестниц, прикрученных к каждому дому.

Когда ломался лифт, приходилось подниматься наверх пешком. Помню, как я бегу через ступеньку на свой десятый этаж мимо завистливо на меня поглядывающих коротконогих пуэрториканцев, выгнанных женами на лестничные клетки с сигаретой в одной руке и жестяной консервной банкой – в другой. Если бы не цвет кожи, эти работяги ничем не отличались бы от моих бывших московских соседей...

Самый странный вид открывался из окна моей комнаты на рассвете, когда с высоты десятого этажа смотришь на пустые гарлемские улицы: серая предрассветная дымка, серо-коричневые дома с наглухо задраенными железными жалюзи на первых – торговых – этажах, ветер гоняет старые газеты, обрывки бумаги и другой мусор по мостовым и тротуару... Людей нет, разве что изредка кто-то пройдет, скукожившись. Машины, хотя и стоят у тротуаров, как-то не бросаются в глаза, как будто их и нет вовсе. Казалось, что находишься в Риме времен глубокого упадка и вот-вот из-за горизонта покажутся передовые отряды варварских армий, которые наконец займут этот город. Хотя, конечно, в Римской империи бумаги не было и газеты по улицам не летали...

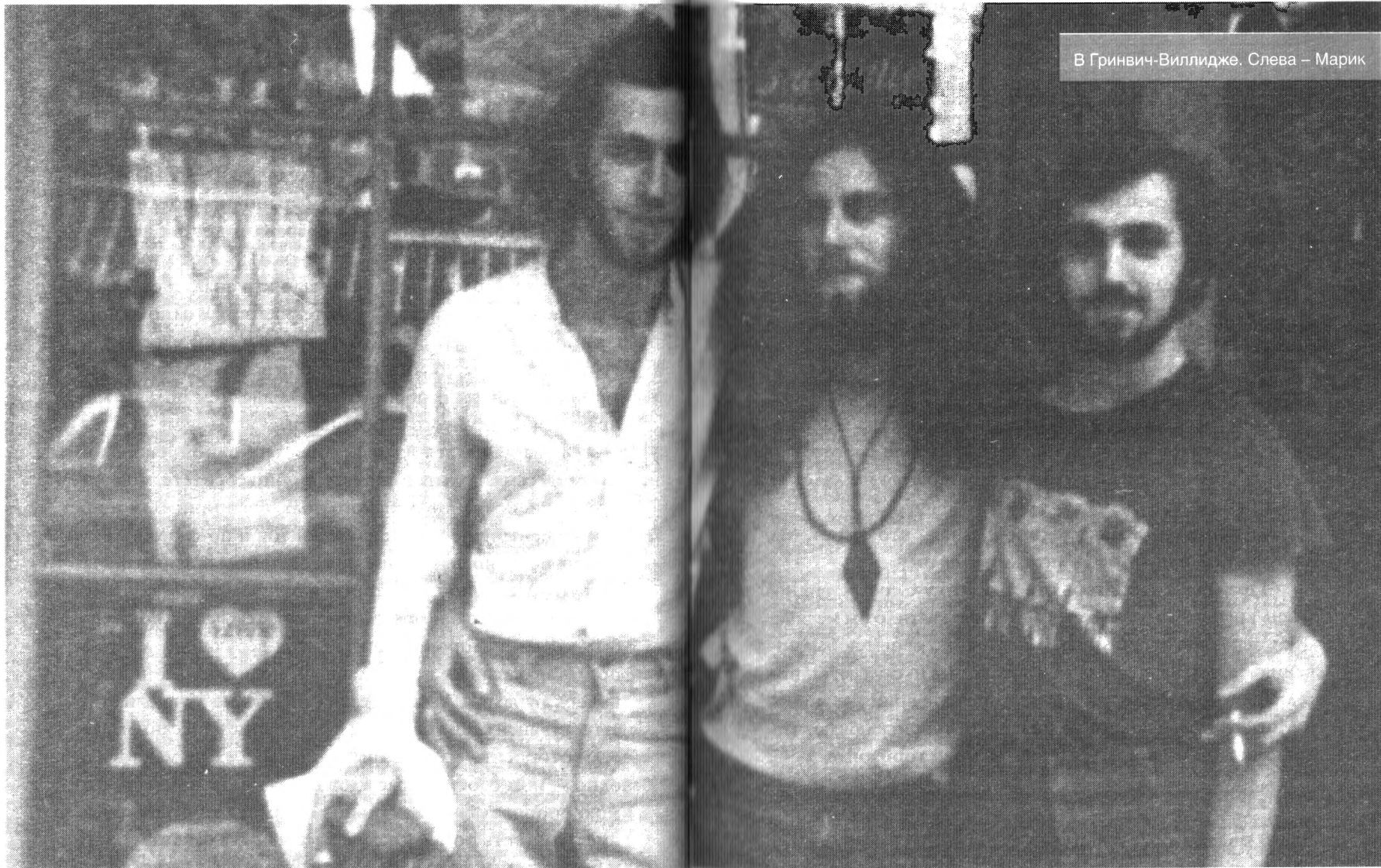
* * *

Но, должен сказать, район мой был известен многими достопримечательностями. Рядом высилась изящная неоготическая церковь середины XIX века с сохранившимся старинным кладбищем прямо за ней. Я часто ходил туда

гулять среди заметно тронутых временем могильных памятников, некоторые из которых были настоящими произведениями искусства.

А еще через квартал находился изумительный музей испанского искусства, в котором хранились подлинники Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и других великих пиренейских живописцев. Но, поскольку этот музей располагался в Гарлеме, про него мало кто знал, и он лежал вдалеке от протоптанных туристских троп. В одном дворе с ним был интереснейший этнографический музей культуры латиноамериканских индейцев, который я также любил посещать. В общем, чем дальше, тем больше мне нравился Гарлем и его окрестности.

Я наслаждался своей новообретенной свободой и вел весьма вольную жизнь. В университете мои сокурсники, особенно женского пола, воспринимали меня как эксцентричное украшение жизни, и по-своему я был весьма популярен. Но чем моя тогдашняя жизнь отличалась от Оксаниной, к которой я относился с все возрастающими ужасом и брезгливостью? Тем, что я пока еще был молод и здоров? Я считал себя верующим, друзьям представлялся как православный, носил большой крест поверх рубахи... А жил? А жил ничуть не лучше честно аттестующей себя атеисткой и богоборцем Оксаны. Ведь, если отбросить все прикрытия, главным для меня было одно – мои собственные удовольствия. И понятно, что мою проповедь – а я активно доказывал ей существование и благодать Бога – Оксана воспринимала как глупость и блажь и, значит, еще более утверждалась в своем отрицании Господа. Как слеп я был тогда! Но пока я этого не понимал вовсе, тем более что вокруг меня постепенно стал складываться кружок друзей, общение с которыми занимало мое свободное время и не давало оглядаться и серьезно задуматься о том, как мне жить дальше.



ДРУЗЬЯ-ПРИЯТЕЛИ

Первым появился петербуржец Игорь Школьник. В самом начале эмиграции наши номера в отеле «Люцерн» соседствовали друг с другом. Потом он уехал в Калифорнию – поступил в компьютерную магистратуру и теперь,

закончив ее, вернулся в Нью-Йорк и по моей рекомендации снял комнату у Оксаны. Нас объединяла любовь к литературе и кино. В Гринвич-Виллидж мы открыли для себя кинотеатр повторного фильма, где ежедневно менялся репертуар и крутили в основном мировую классику. Мы приобрели абонементы и ходили в кино, по крайней

мере, дважды в неделю, осмотрев таким образом все то, что не показывалось в советском открытом прокате.

Вновь на короткое время выплыл из небытия Сережа Ростопцев и побывал у меня несколько раз. Английского он по-прежнему не знал. Помню, как-то за обедом он попросил добавить масла себе в картошку.

– Открой холодильник, достань масло и клади в тарелку, – предложил я.

– А почему я узнаю, что это масло?

– На нем написано «butter», прочитай.

– Это я-то «прочитай»? – даже как-то схибно захотел в ответ Сергей.

Он рассказал, что работает на фабрике, на конвейере, и исполняет чрезвычайно однообразную работу: нагибается, берет деталь, потом распрямляется и кладет ее в другое место.

«Работа настолько однообразная, что через год можно стать идиотом», – пожаловался он.

Правда, на это Игорь ответил, что у Сережи, видно, очень крепкая голова – самому Игорю хватило бы месяца.

Через некоторое время Сергей, по своему обыкновению, исчез, на этот раз уже навсегда. По слухам, он поселился в Финляндии, а в перестроечное время вернулся в Москву. Больше я его не видал, хотя не исключаю, что когда-нибудь он появится вновь на моем горизонте.

* * *

Часто посещал нас в Гарлеме Тарас Кордубский, чтобы поплакаться на свою жизнь. Тарас был «лабухом» – ресторанным музыкантом. В Москве эта профессия считалась очень денежной. Но как-то он поссорился с руководителем своей группы, решил, что его недостаточно ценят, и, чтобы отомстить всем, подал документы на выезд. Жена его в последний момент уезжать отказалась, но это не остановило моего приятеля. Однако в Нью-Йорке

найти работу по своей музыкальной специальности оказалось куда сложнее, чем думалось Тарасу в Москве. В конце концов он устроился ночным сторожем в консерваторию. Но то, что казалось вполне нормальным в Москве («поколение дворников и сторожей», среди которых один был гениальным художником, другой – гениальным философом, третий – гениальным писателем, а четвертый – тоже гениальным, только пока еще неизвестно кем), в Нью-Йорке выглядело по-другому: окружавшие Тараса сторожа были всего лишь сторожами. В отличие от покинутой родины, спать на работе запрещалось (каждый час требовалось обходить всю территорию, нажимая на контрольные кнопки), отвлекаться на свои дела – тоже. Оставалось одно – думать. Но поскольку Тарас дожил до тридцати лет и ни разу не пробовал приступить к этому занятию, то попытка впервые задуматься надолго вывела его ум из равновесия. Тарас переосмыслил все свое прошлое и стал убежденным коммунистом, решив, что в СССР создано идеальное общество, настоящий рай на земле, чего он, поддавшись хитрой вражеской пропаганде, не заметил и, таким образом, совершил подлое предательство.

Бывший ресторанный музыкант люто возненавидел Америку и видел в ней только плохое. Если плохого было мало – он сам его создавал, чтобы, оглядевшись, удовлетворенно вздохнуть, как все действительно ужасно. После долгих поисков он отыскал для себя малюсенькую однокомнатную квартирку в полуподвале многоэтажного дома. Единственное окно выходило на расположенную в пятидесяти сантиметрах глухую кирпичную стену. Там мой приятель и жил, категорически отказываясь переехать в другое место. Курил он одну сигарету за другой, так что при таком скудном воздухообмене войти в его жилище без противогаза было весьма затруднительно. Но зато теперь он мог с чистой совестью всем говорить о реальных

страданиях рабочего человека в США. На самом почетном месте своей каморки Тарас повесил портрет Брежнева. Сейчас он совершенно серьезно отзывался о нем как о мудрейшем правителе и добрейшей души человеке. Книг Тарас не читал и интересовался только жизнью в СССР, о которой узнавал из советских газет и журналов, выписываемых из русского книжного магазина. Английский не учил принципиально и обходился скудным набором фраз, которых нахватался еще в московских ресторанах. Большую часть заработка он тратил на посылки со шмотками, которые отправлял жене, по всей видимости весьма довольной таким поворотом дела.

Периодически Тарас ездил в Вашингтон в советское посольство, подавал прошения о возвращении на Родину и наговаривал интервью для отечественного агитпропа про роковую ошибку, которую он совершил, о том, что ему нет прощения, и о том, что он просит только одного – чтобы ему позволили умереть на родной земле. Измученным бытом советским читателям гражданин Кордубский сообщал, что хоть в американских магазинах пятьдесят сортов колбасы, но все они химические, а вот в советских – пусть два, но зато натуральные (на самом деле за пределами Москвы и этих двух не было, да и химию в советские продукты сыпали обильно – просто не писали состава на обертках); о том, что хоть американцы получают и больше, но зато цены куда выше; что в США, в отличие от СССР, нет никакой свободы и, конечно, что простому американскому труженику приходится ютиться в тесной и темной каморке в соседстве с тараканами и крысами. Но разрешать вернуться ему не спешили, говорили, что не заслужил еще.

Мы жалели Тараса и пытались как-то его утешить. Вообще-то он был мягким, незлобивым и наивным человеком, сломанным жизнью. Сердиться на него казалось невозможным. Даже Оксана неожиданно прониклась

к нему чувствами и с удовольствием с ним беседовала. Возможно, их сближал атеизм, который Тарас проповедовал со всем жаром неопита. Ведь единственно возможным раем на земле был Советский Союз, что бы ни говорили враждебные ему религиозники. Со всеми старыми знакомыми он давно разругался, и из всего его круга у него теперь оставались только мы.

Вечерами он приходил в гости.

«Ну, что, антисоветчики, не раскаялись еще? Не поняли, что пора возвращаться на Родину?» – начинал он разговор.

Но потом быстро смягчал и с восторгом рассказывал о встрече с очередным посольским чиновником из Вашингтона. Судя по его рассказам, там работали заправские садисты.

«Такой хороший человек Петр Степанович, – вздыхал Тарас, и глаза его наполнялись слезами. – "Ну что, товарищ Кордубский, – говорит он мне. – Пока ничем не можем вас обрадовать. Надо еще подождать. Сейчас я съезжу в отпуск в Москву, может, мне там что-то новое скажут. На какой улице, говорите, вы жили? На Новослободской? Пойду, погуляю там, подышу свежим московским воздухом, пройду мимо вашего дома, погляжу на ваши окошки. Интересно, что ваша жена там делает? Может, и нашла себе кого нового, хе-хе? В общем, приезжайте опять месяца через два, расскажу вам, как я по Москве погулял". Видите, какой добрый, сердечный человек!»

А мне очень хотелось врезать в лоб этому «сердечному товарищу», с таким цинизмом измывавшемуся над бедным, повредившимся умом человеком.

Как-то Тарас привел с собой Клариссу – красивую и обаятельную негритянку, студентку консерватории по классу скрипки. Она обратила внимание на необычного сторожа, узнала, что он русский, и разговорилась с ним.

Кларисса обожала русскую музыку, Ростропович был ее кумиром, так что мой друг не мог ее не заинтересовать. Она чуть-чуть говорила по-русски, Тарас – чуть-чуть по-английски, а при таком почти тотальном лексическом дефиците и заведомо добром отношении самые банальные фразы некоторым образом приобретают неожиданно глубокий смысл. Тарас стал казаться скрипачке проповедником дзенской мудрости, аскетом и подвижником. Вскоре она в него влюбилась, прямо как у Шекспира: «Она его за муки полюбила...» Однако Тарас сразу же объявил ей, что не может разделить ее любовь, так как не имеет права наслаждаться личным счастьем вне Родины. Не знаю, насколько она смогла понять его мотивацию, но такой непонятный отказ привязал идеалистически настроенную девушку к «русскому мудрецу» еще больше. С нами Кларисса разговаривала на своем родном языке, и вскоре мы стали большими друзьями. Через некоторое время она решила, что ей лучше переехать в Оксанину квартиру, что и было сделано. Так нас стало трое. Прежние жильцы к тому моменту все расточились.

* * *

Незадолго до этого Оксана как-то подозвала меня к телефону.

«Саша, привет! – услышал я в трубке. – Это Рич Ржевский. Помнишь меня?».

С Ричардом Ржевским мы вместе учились в художественной школе на Пречистенке. Он был одним из лучших учеников нашего класса. К сожалению, школу я не закончил. Сделать это мне помешала драка с одноклассником по фамилии Рабинович. Он, будучи намного крупнее, постоянно задира и пихал меня. В какой-то момент, поняв, что терять мне все равно нечего, я бросился на него с отчаянием обреченного и несколькими нанесенными вслепую ударами неожиданно для самого себя поверг обидчика на

землю. По закону подлости, в этот момент в класс зашел директор. В школу вызвали маму. Заплавав, она сказала, что, видно, мало ей неприятностей в обычной школе и я решил добавить к ним проблемы в художественной, где я вроде бы должен учиться по призванию. Я обиделся и перестал ездить на Пречистенку. Так прервались связи с моими одноклассниками. Ричик завершил обучение в школе, потом поступил в какой-то художественный вуз, закончил и его, а вот теперь с родителями и старшей сестрой Ровенной приехал в Нью-Йорк.

Ричард привел в Оксанину квартиру и своего друга – Юру Богословского, веселого, разбитного парня, авантюриста с сильной предпринимательской жилкой. Они были почти неразлучны – невысокий, плотный брюнет Ричик и длинный, нескладный, с короткими каштановыми волосами, очкарик Юра. Обычно они приходили с грузом спиртного. Так что почти ежевечерне у нас собиралась веселая компания. Пока хозяйка не возражала. Пока.

Именно с Ричем и с Юрой и произошла история, которая доказала нам, что слухи об опасности для белого человека появиться в Гарлеме по меньшей мере сильно преувеличены. Началось все со свадьбы красавицы Ровенны – сестры Ричика. Она вышла замуж за профессора социологии Колумбийского университета. Прием после бракосочетания проходил в преподавательском ресторане на месте работы новоиспеченного мужа. Присутствовали на нем и оба моих друга, одетые по такому поводу в арендованные смокинги, как то и полагается на американских свадьбах. Уже поздно ночью, изрядно навеселившись, они решили навестить меня и, прихватив с праздничного стола четыре бутылки французского коньяка – по одной в каждую руку, вышли на темную улицу. Погода стояла прекрасная, и гуляки решили дойти до моего дома пешком. Колумбийский университет

находится за несколько кварталов от южной границы Гарлема, а я жил близ северной. Путь им предстоял не такой большой – около пяти километров, но зато – через всю протяженность опасного района. Оба были пьяны и весьма вызывающе одеты – в смокинги с видневшейся издали белой грудью. Да и время было самое разбойничье – часа два ночи. Тем не менее дошли они без каких-либо приключений. Шагали не спеша, частенько отпивая из коньячной бутылки. Когда добрались до моего дома, из четырех сосудов оставалось уже три.

Комнаты жильцов находились дальше всего от входных дверей, так что тихого сигнала домофона никто из нас не услышал. Оксана все еще не вернулась со своей ночной охоты, так что отпереть дверь приятелям было некому. Часы показывали полчетвертого утра.

После недолгого размышления Ричик решил залезть ко мне в окно по пожарной лестнице. Юра подсадил его (нижняя перекладина не доставала до земли метра два) и остался ждать внизу, охраняя коньячное сокровище.

Где-то на середине подъема Рич нос к носу столкнулся с пуэрториканцем, который как раз подошел к окну и удивленно застыл на месте при виде столь странного альпиниста. Напомним, мой друг был в смокинге, лакированных туфлях и в белом галстук-бабочке.

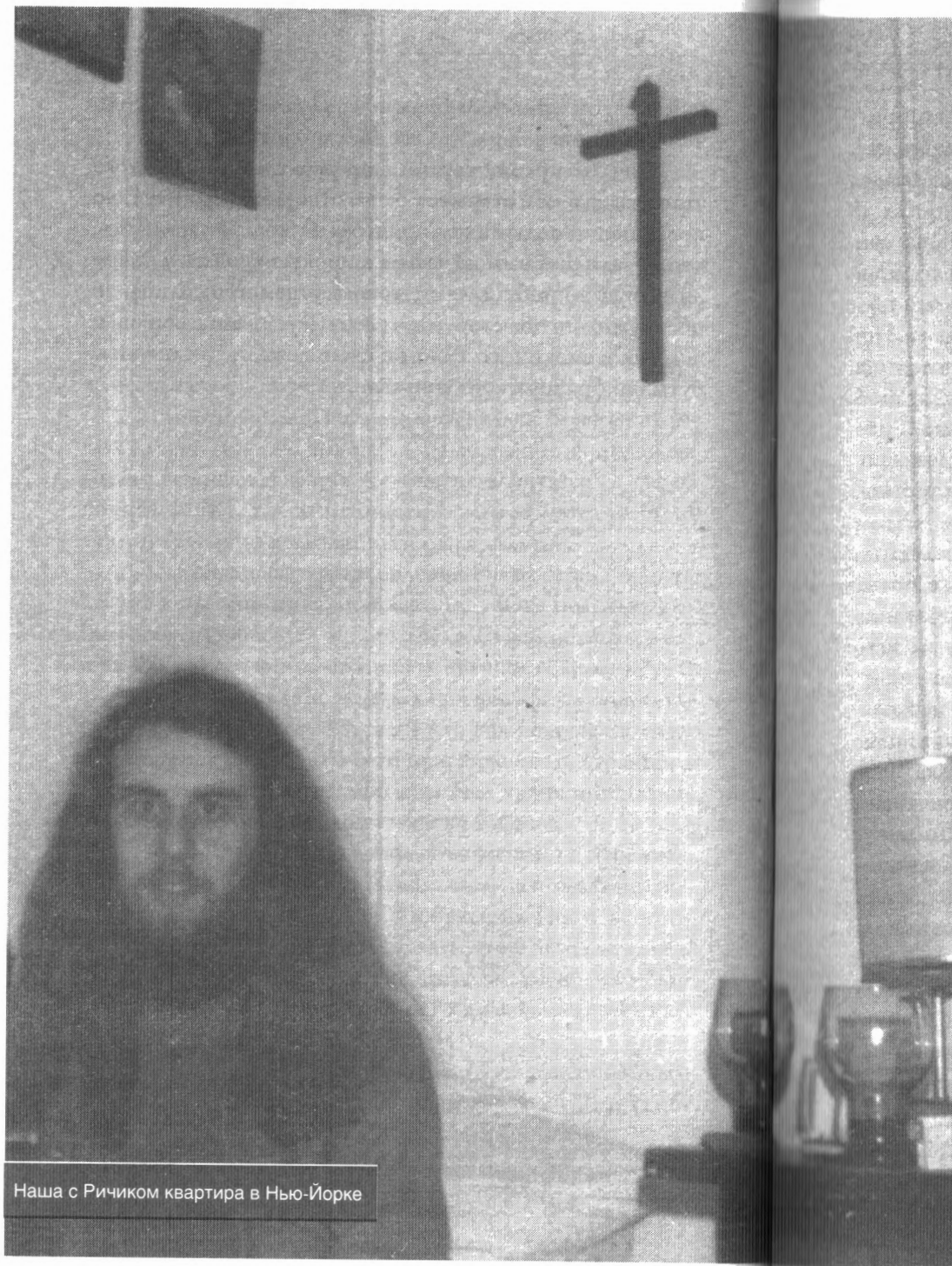
Ричард почувствовал, что объяснений не избежать. Но английского тогда он почти не знал, да и хмель не способствовал лингвистическому творчеству. После некоторого раздумья Ричик решил сказать, что у него сломалась дверь, но слово это, как назло, забыл и заменил его ближайшим по смыслу. Вот что у него получилось: «Исключи, сомсинг хеппен виз май виндов*».

На его счастье пуэрториканец оказался спокойным нескандальным человеком. Кивнув ему головой и улыб-

нувшись, он отошел от окна и лег в свою постель. Впрочем, может, он решил, что все это ему снится.

Рич беспрепятственно докарабкался до десятого этажа, влез в мое открытое окно, отворил дверь Юре, но после такого подвига оба приятеля настолько утомились, что повалились на мою весьма широкую кровать и заснули. Когда я пробудился от яркого утреннего солнца, то обнаружил по обе стороны от себя двух громко сопящих человек в смокингах. Рядом с ними лежали три початые бутылки французского коньяка.

* Извините, что-то случилось с моим окном (искаж. англ.).



Наша с Ричиком квартира в Нью-Йорке

ВЫБОР

Все это время я продолжал тесно общаться с Гроднером и вяло занимался поисками священника, который мог бы меня крестить. Подошло время Великого поста, и я, к удивлению всех своих приятелей, решил его соблюдать. Как по-настоящему нужно держать пост, я, конечно, не знал. В церковь не то что не ходил, но даже и не заглядывал. Зато полностью исключил из своего рациона мясное, молочное и яичное. Рыбы мой самозапрет не коснулся – я где-то слышал, что постом ее можно есть. Аркадий, которому я поспешил сообщить о своем намерении, только плечами пожал и сказал, что хотя попоститься, конечно, неплохо, но ведь все телесное – вторично, а главное – духовное. Когда-нибудь я должен прийти к этой ступени понимания, но пока, если хочу все еще оставаться на низшем уровне, могу пособлюдать этот примитивный обычай.

«И вообще, Саша, то, что вы своим умом дошли до Православия, – это хорошо и похвально. Но нельзя же вечно задерживаться на христианстве! Нужно духовно развиваться и расти. Так что шагайте же дальше!»

Но дальше шагать как-то не хотелось, скепсис его меня не остановил, и я продолжил свое пищевое воздержание. Всем – знакомым и не очень знакомым – с гордостью сообщал, что теперь у нас – православных – Великий пост, так что вот как я пощусь. Собеседники вежливо удивлялись

строгости православных правил и моей решимости, приятели посмеивались и пытались соблазнить меня кусками жареного мяса, но чем дольше я держался, тем больше прейсполнялся гордости за себя.

Лишь ближе к концу поста стали появляться сомнения, правильно ли я делаю и для чего нужны все мои усилия. Понемножечку до меня стало доходить, что постом, наверное, следует хоть иногда ходить в церковь. Но с этим все как-то не складывалось. И вот уже в последние дни перед Пасхой я размышлял на эту тему, идя с работы в университет. Вдруг мне стало так стыдно, что я решил немедленно зайти в церковь и помолиться. Неважно в какую – в первую же церковь, которая только встретит на моем пути.

То, что произошло дальше, рационально объяснить не могу. Я проделывал этот путь ежедневно уже больше года, знал каждое здание, мимо которого проходил, и каждую рытвину на асфальте. Но тут почему-то знакомство с местностью не помогло. Очнувшись от своих размышлений, я увидел перед собой похожее на церковь здание и сразу же шагнул в него, откинул капюшон, размашисто перекрестился и между двух рядов стандартных скамеек направился вперед, туда, где у каждой христианской церкви должен быть престол или то, что его заменяет. Остановили меня взгляды окружающих – от недоуменных до явно враждебных. Я резко затормозил, огляделся и вспомнил! Я зашел в Центральную синагогу. Ведь каждый день я проходил мимо нее и прекрасно знал, где она находится. Но сегодня произошло какое-то затмение. Развернувшись, я бросился прочь. Что же случилось? Как я мог так ошибиться? Значит, без Божией помощи я не могу ничего, даже прийти в церковь. Это мне было ясно продемонстрировано. Я понял, что креститься нужно – и чем раньше, тем лучше: больше ждать нельзя.

* * *

Но уже приближалась Пасха, и я решил отправиться на службу в тот самый храм, где год назад я почувствовал присутствие Бога. Почему-то мне показалось, что Великая Суббота должна быть самым строгим постным днем и, хорошенько наевшись рыбными бутербродами в Великую Пятницу, весь субботний день я провел без еды и без питья. Аркадий еще раз высказал недоумение, подчеркнув, что увлечение телесной аскезой – удел несовершенных людей, далеких от подлинного понимания духовности, но я все же поступил по-своему.

Вечером мой учитель сказал, что у него болит голова, и мы отправились в церковь с его женой, которая, в отличие от него, все же была крещена в детстве. Не могу сказать, что на этой второй Пасхе моей жизни я пережил то же самое, что и на первой. Да, конечно, я ощущал подъем и радость праздника, но все же много отвлекался, местами мне было тяжело, и к середине службы я довольно сильно устал, но все же понудил себя дотянуть до конца.

Когда я довел жену своего учителя до дома, Аркадий еще не спал, но вид у него был весьма кислым. Мы сели было за стол, но он почти сразу же ушел к себе в спальню, сказав, что не видит повода для веселья, особенно так поздно ночью, и вообще считает пасхальную трапезу чрезвычайно вульгарным обычаем, придуманным для профанов. Настроение у всех, разумеется, испортилось, и я отправился к себе в Гарлем на ночном метро. Оксана еще не вернулась с помоечной охоты, остальные спали. Пришлось и мне ложиться.

* * *

Утром я проснулся с той же мыслью, что и вечером предыдущего дня: нужно креститься, и чем скорее, тем лучше. Но где? До этого момента я спрашивал у Аркадия о четырех или пяти священниках, но он забраковывал каждого

из них, приводя причины весьма для меня убедительные. Подумав, я дал себе слово, что крещусь у первого встретившегося мне православного священника, не важно, понравится он мне или нет. После этого я позвонил своей православной знакомой, послевоенной эмигрантке, и попросил ее рекомендовать мне какого-нибудь батюшку. Через несколько дней она посоветовала мне обратиться к отцу Иакову из храма Христа Спасителя на восточной стороне 71-й улицы, между Первой и Второй авеню. Фамилия у священника была диковинной – Филиппов-Мендельсон, и, как мне сказали, он тоже недавно приехал из СССР.

Удивительно, но меня направили в тот самый храм, в котором я уже дважды отстоял пасхальную службу. Позже я узнал, что община была основана русскими эмигрантами в ответ на взрыв храма Христа Спасителя в Москве. В 30-е годы им даже удалось приобрести на аукционе на престольное Евангелие из взорванного московского храма. Первоначально новосозданная община переоборудовала под православное богослужение здание бывшего костела в районе сотых улиц на востоке Манхэттена, но потом район испортился и стал частью Восточного Гарлема. Здание пришлось продать задешево и купить маленький двухэтажный дом на тридцать улиц южнее. Там и был оборудован новый храм.

Выбрав свободное время, я отправился туда. Лысоватый и полноватый, несмотря на сравнительно молодой возраст, священник энергично потер руки.

«Ну-с, – совсем как доктор, спросил он. – Чем я могу быть вам полезен?»

Я ответил, что хотел бы креститься.

Расспросив меня о причинах моего решения и моей биографии, священник сказал, что перед крещением он будет со мною заниматься, чтобы подготовить меня к таинству, а пока я должен начинать ходить в церковь. Отец

Иаков резко мне не понравился. Идея ходить в храм воскресным утром, в которое я привык отсыпаться за всю неделю, понравилась еще меньше, и хотя служба начиналась в десять утра, это значило, что вставать мне придется в невозможное время – без двадцати девять! Если, конечно, являться туда вовремя. И вообще, я не рассчитывал на еженедельное хождение на долгие, скучные службы. Я думал, что священник, узнав о моем желании, просияет от радости, немедленно крестит меня и, наверное, даже торжественно вручит мне какой-нибудь очень ценный подарок. Вместо этого он, оказывается, захотел меня эксплуатировать: надо ходить к нему на занятия и, что еще хуже, тратить время самого сладкого и самого драгоценного воскресного утреннего сна на походы в его храм!

Но ведь я уже пообещал себе, что от следующего священника не уйду, так что оставалось только держать слово. Я решил, что придется мне принести такую жертву и походить к нему на службы, а вот после крещения – только он меня и видел!

Разумеется, первым делом я сообщил Аркадию о своем новом знакомом и связанном с ним решении. Оказалось, мой учитель знал и этого священника и не думал о нем ничего хорошего. Выслушав аргументы, я сказал, что хотя полностью разделяю его мнение об этом человеке, который, как я уже говорил, мне тоже не понравился, решения своего не изменю.

«Хорошо, – сказал Гроднер, – тогда вам придется сделать выбор: либо я, либо церковь. Если вы будете ходить в церковь, то не сможете больше видаться со мной».

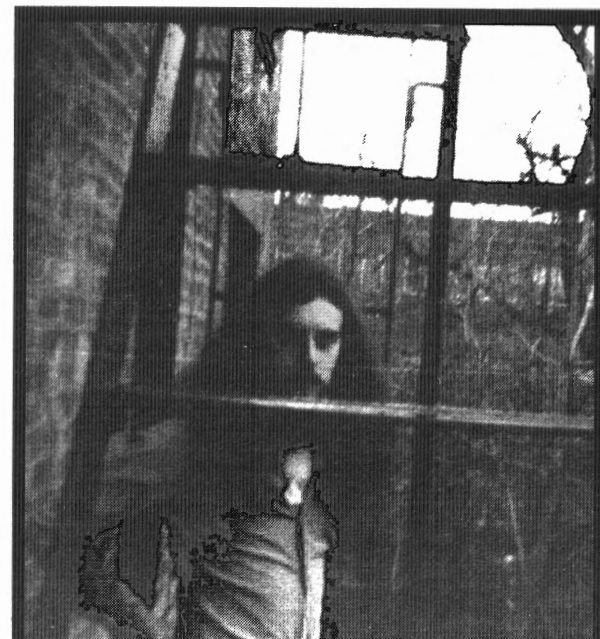
Выбор казался тяжелым и жестоким. Аркадий значил для меня чрезвычайно много. Я очень был к нему привязан и считал его не только своим учителем, но и самым лучшим другом. Его дом стал для меня почти родным, а семья – образцом и идеалом личной жизни. В самые

трудные минуты прошедшего года он поддерживал меня, давал читать мудрые книги и обещал блестящее будущее среди элиты человечества. Со всем этим мне предстояло проститься и опять остаться одному. Но инстинктивно я чувствовал, что есть более важные вещи, чем дружба, учеба, карьера, семья и все, что с этим связано. По всей видимости, крещение и было как раз такой самой важной вещью. И поэтому я сказал Аркадию, что выбираю крещение.

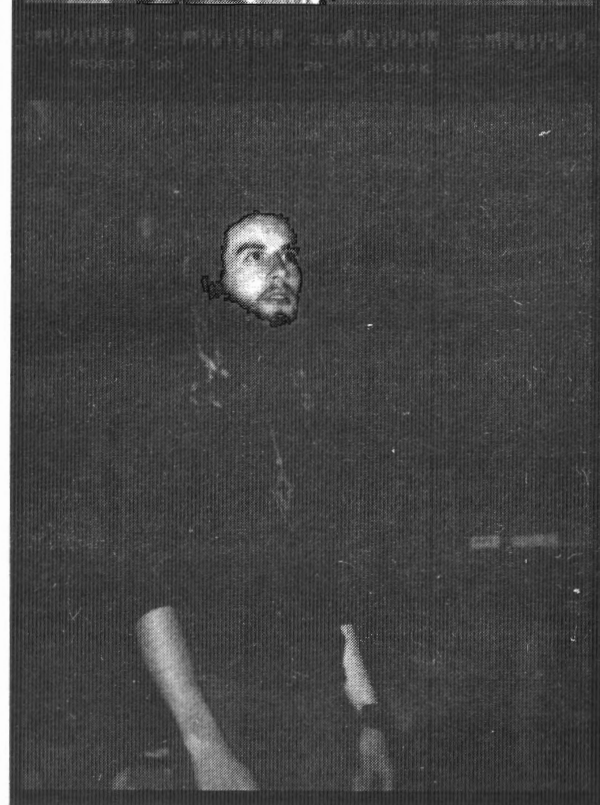
«Ну что же, — холодно ответил мой учитель, — значит, вы приняли решение. Оно несовместимо с моим жизненным направлением: наши поезда разошлись и отравились по разным путям. Теперь каждый пойдет своим курсом. Прощайте!»

Я вышел из его дома и побрел к метро. Вечерело. Сгущались сумерки. Я чувствовал себя одиноким и потерянным. Но не совершенно. В каком-то смысле я также ощущал облегчение и свободу. Старое было отсечено и осталось позади. Внутри зарождалось и крепло ощущение, что начинается новый, самый важный этап моей жизни.

На пожарной лестнице
квартиры перед пере-
ездом в Тарлем



В лагере я впервые
начал носить крест



ОТЕЦ ИАКОВ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Так начались мои воскресные мучения. Я просыпал, опаздывал, пропускал воскресные литургии. Но все же Церковь не бросал: необъяснимым внутренним чувством я понимал, что должен креститься во что бы то ни стало.



Занятия с отцом Иаковом нравились мне больше церковных служб. Мы разбирали Символ веры, который мне было задано выучить наизусть. Вначале я возмутился: ведь невозможно запомнить такой длинный прозаический текст, да еще и на славянском языке, но он на удивление просто и без усилий лег в мою память.



Центральная синагога Нью-Йорка

На этих занятиях я легко и безболезненно расстался с теми немногими оккультными представлениями, которые почерпнул за год общения с Гроднером. Отец Иаков убедительно объяснил некорректность кажущихся ссылок на реинкарнацию в Священном Писании, абсолютную историческую несостоятельность теософских баек о путешествии Христа в Индию и прочих оккультных представлений. Помню, как он одной фразой наповал опрокинул расхожую оккультную фальшивку о том, что, дескать, Священное Писание признает переселение душ, так как называет Иоанна Крестителя пророком Ильей, то есть его реинкарнацией.

«Так ведь пророк Илья не умирал, а был в своем теле взят на небо в огненной колеснице! – воскликнул отец Иаков. – Его душа не покидала тела, а значит, и не могла переселяться. Новым Ильей Иоанна называли «в духе» и ни в каком другом смысле. Идея реинкарнации была абсолютно чуждой в контексте религии иудеев!»

Во многом мне помогли определиться книги отца Александра Меня (его пятитомник по истории религии): отец Иаков был духовным чадом и горячим поклонником известного протоиерея. Хотя, должен сказать, что и тогда, будучи даже еще не новоначальным, я ощущал в книгах подмосковного священника какие-то моменты, которые никак не мог принять, пока еще только на инстинктивном уровне. Но, несомненно, вся его антипозитивистская аргументация, сейчас уже безнадежно устаревшая, в те годы могла оказаться чрезвычайно полезной для человека, получившего советское атеистическое воспитание. Впрочем, на таковых она и была рассчитана.

Но зато совсем по-другому я воспринял книгу дневниковых записей отца Александра Ельчанинова, которую тоже мне дал отец Иаков. Как-то я спросил его о книге со странным названием «Добротолюбие», о которой сообщил мне уже ставший послушником Алеша: я с ним

изредка общался по телефону. Священник сказал, что «Добротолюбие» читать мне, пожалуй, рановато, а вот записки отца Александра смогут подготовить меня к грядущему знакомству с этим трудом. Небольшую книгу парижского пастыря я читал и перечитывал. Ее искренность, мудрость и глубина, при кажущейся простоте и безыскусности, совершенно покорили мое сердце. С ее страниц я впитывал чистое золото Православия, православной веры, православной духовной жизни. В каком-то смысле записки отца Александра Ельчанинова были продолжением тех трудов Розанова и Шестова, которые я читал ранее. Но, в отличие от них, «Дневник» давал ответы на все вопросы, над которыми бились философы. И ответы не теоретические, а пропущенные через разум, душу и сердце отца Александра – их современника, ставшего православным священником и реализовавшего их в своей жизни.

* * *

Постепенно я сблизился с отцом Иаковым и его женой – молодой (года на четыре моложе меня) и весьма эксцентричной матушкой Аней. Несмотря на свою юность (ей тогда было не больше двадцати лет), к себе она относилась чрезвычайно серьезно и всегда представлялась только как «матушка Анна», даже если собеседник годился ей в деды. Полноватая и неуклюжая, она сохранила повадки экзальтированной московской девицы, но при этом считала себя большим экспертом в Православии и постоянно учила окружающих, как следует поступать в том или ином случае. Поначалу я доверял ее опыту и, хотя со многими изреченными ею указаниями не был согласен, все же учитывал ее советы. Ведь она была крещена целых четыре года назад, а теперь даже пела на клиросе! Однако мне инстинктивно многое не нравилось, в первую очередь ее иудеохристианские идеи. Аня с семьей эмигрировала

из Москвы в Израиль, будучи еще младшеклассницей, и в этой стране прониклась еврейским национализмом (кстати, это один из тех моментов, которые я не мог принять в творчестве протоиерея Александра Меня). Отец Иаков познакомился с будущей женой в Иерусалиме. Она согласилась выйти за него замуж и поехать в Америку только с тем, чтобы его там рукоположили, а затем они должны были вернуться в Израиль и создать там самобытную еврейскую церковь. Нужно сказать, что сам отец Иаков относился к идеям своей жены без ярко выраженного энтузиазма, но открыто с ней не спорил. Внешне он старался во всем ей уступать. Помню такой пример: сидя в зале, где прихожане пили кофе после литургии, она зачастую громогласно приветствовала отца Иакова, входящего после потребления Даров, словами: «Мендельсон, принеси-ка мне чашку кофе, и побыстрее!»

И священник смиренно исполнял приказание своей жены.

Старше меня лет на десять, он эмигрировал в Америку из Москвы за несколько лет до меня. Учился в Свято-Владимирской академии, потом, не закончив ее, уехал учить иврит в Израиль, откуда вернулся в Нью-Йорк с молодой женой. Религиозный диссидент, он сохранил всю горячность и бескомпромиссность московских полуночных кухонных споров. Часто это отражалось в его проповедях. Как сейчас, помню его слово в день апостола Фомы, начало которого звучало примерно так: «Апостолы пришли к Фоме со словами: "Мы видели воскресшего Господа, Он явился нам!" – "Нет уж, дудки!" – ответил им Фома».

В другой проповеди, описывая то, что Спаситель все время был окружен народом, священник выразился весьма неожиданно: «Вот если взглянуть на передвижение Христа по местности с вертолета, мы увидим Его в клубке из человеческих тел...»

О хиппи, к которым я все еще причислял себя (впрочем, скорее по привычке), отец Иаков имел весьма приблизительное представление, однако со мною он избрал самую правильную тактику: дисциплина и ожидание. Я же, полный решимости дожидаться крещения во что бы то ни стало, готов был терпеть и подчиняться. Должен сказать, что политизированные диссидентские манеры священника продолжали отпугивать меня, и наши приятельские отношения так и не переросли в близкую дружбу или в отношения учитель – ученик, которые сложились у меня с Аркадием Гроднером. Но тем не менее постепенно я проникся уважением к его знаниям и авторитету. Рукоположен он был совсем недавно, и я оказался первым взрослым человеком, обратившимся к нему с просьбой о крещении. И он решил сделать все правильно. Несомненно, в этом мне повезло, или, вернее, так через него действовал неисповедимый Промысл Божий, направленный ко благу каждого из нас.

* * *

Однако еврейский вопрос был тем пунктом преткновения, который с самого начала разделял меня с отцом Иаковым и особенно – с его женой. К тому моменту я уже разрешил его для себя и совершенно не желал к нему возвращаться.

Еще в начальных классах школы я узнал, что чем-то отличаюсь от окружающих меня одноклассников: они были русские, а я – еврей. В чем это отличие, я долго не мог понять: мы говорили на одном языке, читали одни и те же книги, росли в одном городе, считали своей родиной одну и ту же страну... И все же они были свои, а я – отчасти чужой. Позже я понял, что этот водораздел между «своим» и «чужим» проходит по пресловутой графе «национальность» в паспорте. Я принял это мнение на веру и действительно стал считать, что чем-то отличаюсь от своего окружения. Таким образом, еще с детства

я привык воспринимать себя частью инородного меньшинства. Хотя единственным языком, звучащим в моей семье, был русский, предки мои отошли от своих еврейских корней три поколения назад, а я до юношеских лет не встречал ни одного носителя еврейского языка и культуры, не говоря уже про верующих иудеев.

Впервые задумался на эту тему я только в США. Тут меня все считали русским, а знакомство с нью-йоркскими евреями мгновенно доказало, что я не имею с ними ничего общего. Так что же во мне было еврейского? Этническое происхождение? Но в той же Америке жили люди самого разного этнического происхождения, и это не мешало им считать себя полноправными американцами, преданными своей стране. А ведь так было и в дореволюционной России! Туда приезжали выходцы из самых разных стран, и уже через поколение совершенно обрусевали, чувствовали себя и воспринимались своим окружением как русские. Ведь сколько мы знаем русских дворян, купцов, мещан с иностранными фамилиями и иностранными корнями! Почему же Россия — точно так же, как она усыновила немцев и французов, татар и китайцев, итальянцев и финнов, поляков и шведов, шотландцев и испанцев, башкир и коми-пермяков и многих других, — не может усыновить и евреев?

По естественному человеческому закону усыновленный ребенок вписывается во всю историю семьи, воспринимает ее предков от начала как своих и все события ее жизни — как имеющие непосредственное отношение к нему лично. Новый член семьи, даже инородческого происхождения, делается в ней родным. Мы знаем это из библейской истории: праматерь Христа по плоти Руфь была моавитянского происхождения, но после сознательного решения влилась в новый для нее народ и была воспринята им как своя — настолько, что даже вошла в родословную Спасителя.

Русский народ всегда отличался неслыханной для Европы открытостью и с самого своего начала принимал и вбирал в себя всех желающих разделить его судьбу, ассимилируя их и создавая с ними единый язык, единую культуру, единую государственность и единое самосознание.

А из чего оно состоит; это национальное самосознание? Из чувства малой родины. Из языка и культуры. Из религиозной принадлежности. До революции так и было: когда инородец принимал Православие, его начинали считать русским. Даже первый словарь русского языка был написан Владимиром Далем — датчанином по происхождению и лютеранином по рождению, лишь на склоне своих лет принявшим Православие.

Графу о религиозной принадлежности в СССР убрали. А именно она значилась в дореволюционном российском паспорте. Вместо нее ввели графу «национальность». Мне кажется, это было не менее страшным большевистским преступлением против российской государственности, чем разделение унитарной Российской империи на новоизобретенные «союзные республики», с роковой неизбежностью приведшее к распаду единой и уникальной державы. Пресловутая «пятая графа» в паспорте еще усугубила это размежевание. Теперь, вместо единой — российской (вне зависимости от этнического происхождения) — принадлежности, люди оказались разделены на «национальности». Если раньше в каждой семье люди просто знали историю своих корней, то теперь разделение по национальному признаку стало официальным.

И оно сформировало чувство национальной принадлежности, присущее теперь каждому жителю СССР и, чуть ли не в большей степени, тем русским, которых по старой памяти продолжали отмечать в паспортах как евреев, сознательно культивируя в них инородческое сознание. И даже когда путем разных ухищрений в «пятой графе»

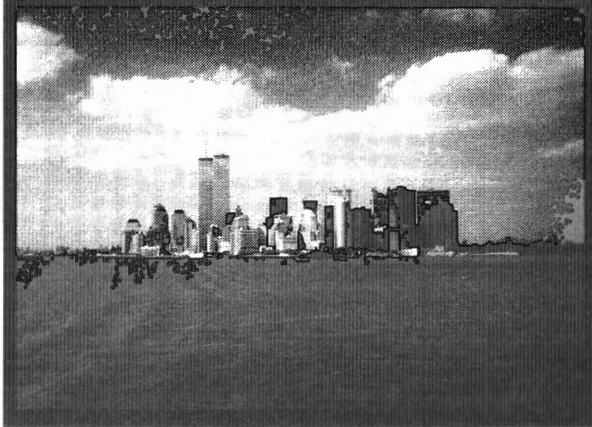
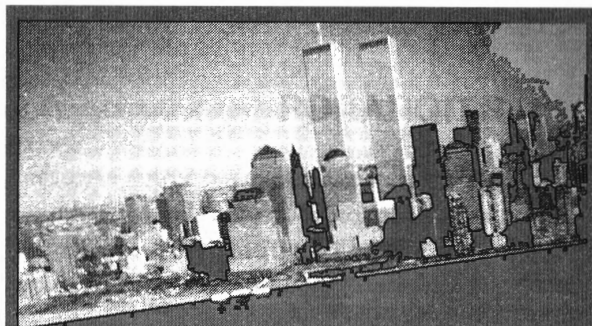
в конце концов удавалось написать что-либо другое, это привитое сверху самосознание не исчезало. Интересно, что те люди, которые сегодня требуют вернуть отметку о национальности в паспорта, вольно или невольно работают на разделение нашего народа: ведь им важно не только и не столько, чтобы все видели их русскость, как то, чтобы русскими не назывались те, кто, по их мнению, этого из-за своего происхождения не заслужил.

Отвергая большевизм, я должен был отказаться и от этого его ядовитого пережитка. Я, русский по языку, культуре и самосознанию и православный по исповеданию, отвергал ложь пятой графы и, несмотря на то что отец Иаков с матушкой Аней, к сожалению, ее разделяли, не собирался возвращаться к ней. И этот выбор я уже сделал раз и навсегда.

Нью-Йоркский даун-
тайн с вертолета

Нью-Йоркский мид-
тайн с вертолета

Отплываешь от Нью-
Йорка, а его небо-
скребы по-прежнему
доминируют на гори-
зонте

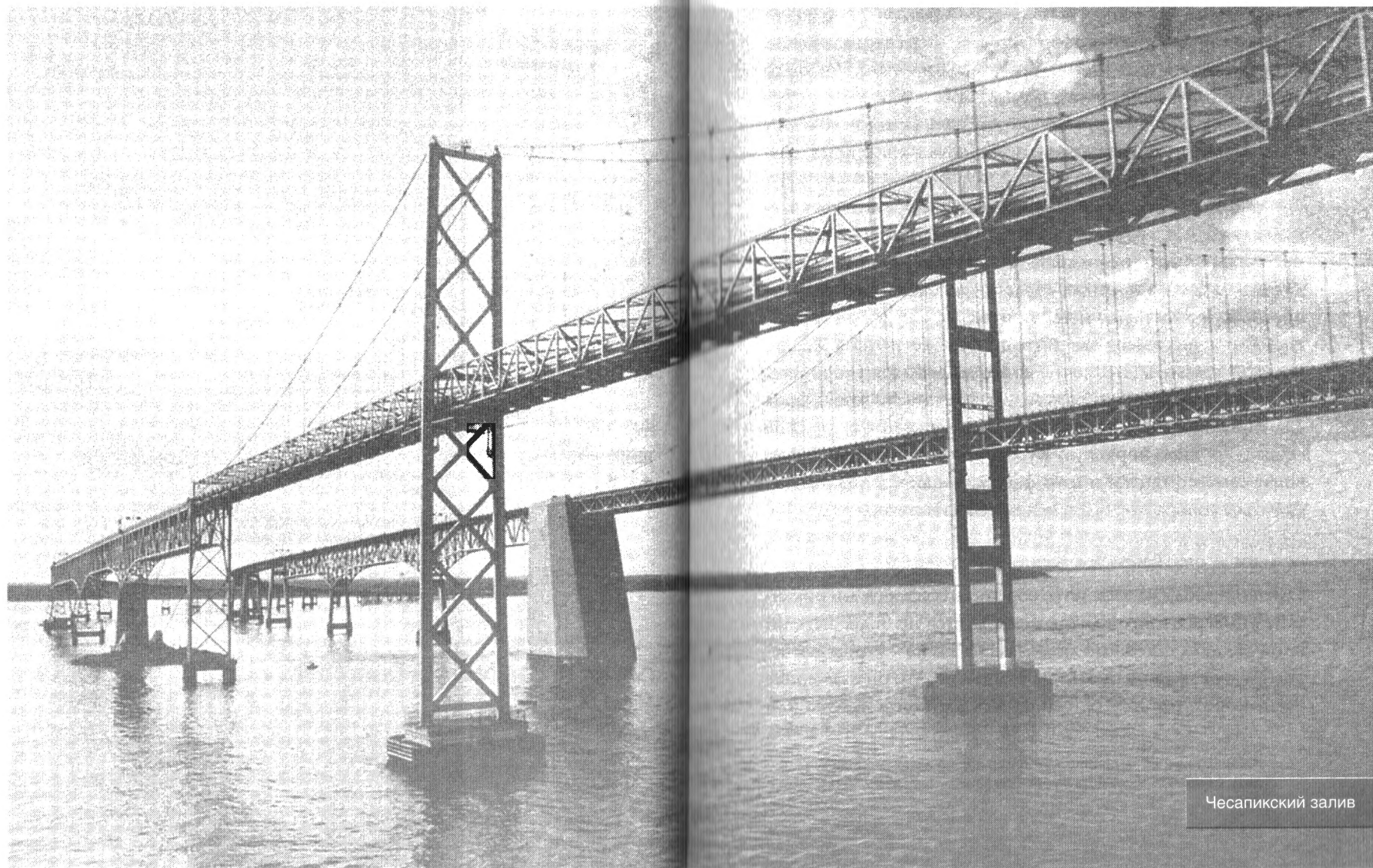


Я ПОПАЛСЯ

Впрочем, тогда это было моим единственным серьезным расхождением с отцом Иаковом. И, должен повторить, в отличие от своей молодой и фанатичной жены, он эту тему не слишком педалировал. Во всяком случае, со мною.

Позже у нас стали выявляться и другие разногласия. Но об этом – в свое время.

Пока же моя подготовка к крещению шла своим чередом. В неофитском увлечении я все еще пытался убедить Оксану в необходимости уверовать в Бога. Разговаривала со мною она с удовольствием (она любила поболтать), но



Чесапикский залив

аргументов не слушала совершенно. Теперь я понимаю, что, если бы она увидела, что моя жизнь хоть чуть-чуть отличается от ее, может быть, у нее появился бы повод задуматься. Но этого повода я ей не предоставил. Я решил пригласить отца Иакова с супругой в свое жилище, к Оксане, но, несмотря на долгий разговор, даже священнику не удалось ее переубедить. Она оставалась упертой в своем антиморальном богоборчестве. Мы беседовали, сидя на полу, на мягком ковре. Отцу Иакову это явно было не слишком удобно, но он по-пастырски терпел, как терпел (хотя и морщился) мою рок-музыку (к тому моменту у меня собралась уже довольно большая коллекция дисков) и сигаретный дым.

Но как все же приучить меня не пропускать воскресную службу? И тут священник сделал гениальный ход: он предложил мне преподавать русский язык приходским детям – ведь я как-никак студент-филолог? Так, хитрым образом, он заставил меня приходить каждое воскресенье. Я почувствовал ответственность: дети меня ждали, и я вынужден был, несмотря на желание поспать, сползая с постели и являться в храм. А для надежности отец Иаков дал объявление об уроках для детей в «Новое русское слово»^{*} – нью-йоркскую русскоязычную газету. В том числе там упомянули и мою фамилию как преподавателя. Деваться теперь мне было некуда. Занятия начались.

* * *

Однако приближалось лето, короткая сессия (в американских университетах все экзамены длятся не более недели: иной раз даже сдаешь по два экзамена в день – утром и вечером) и долгожданный отпуск. Напомню, что он в Америке очень короткий. Ежегодный отпуск длиной в неделю или

* Американцы, не читавшие на кириллице, но замечавшие эту газету в киосках, называли ее «Новое News», т. е. «Бомжовые новости».

в десять дней – в порядке вещей. Две недели – стандартный размер отпуска. Ну а три недели – это уже роскошь. Помню, как-то я видел футболку с характерной надписью: «Three reasons to be a teacher: 1 June; 2 July; 3 August»^{*}.

Мой первый отпуск составлял две недели. Я решил провести его у старого знакомого фермера Тима в Пенсильвании. Он с радостью согласился принять меня после двухлетнего отсутствия. Общаться с ним и с его подросшими детьми теперь мне было намного легче – все же по-английски я уже говорил совсем свободно. Тим обрадовался, что я теперь верующий и собираюсь креститься, а я с неофитским жаром докладывал ему, чем Православие лучше католичества. Он слушал внимательно и не возражал. Но вот наступило воскресенье, и я знал, что теперь у меня есть сверхважательная причина не ходить в церковь в этот день: до Нью-Йорка было не добраться, а найти в Пенсильвании другой православный храм в голову не приходило. Я долго спал, а потом, проснувшись, не спеша пошел завтракать. По какой-то причине Тим в свою католическую церковь тоже не пошел. Но вот что странно: уже во время завтрака я стал ощущать какое-то внутреннее беспокойство. Что-то было не так. День казался неполным, чего-то в нем не хватало. Очень скоро стало ясно: не хватало церкви. Осознав это, я понял, что попался. Церковь успела стать неотъемлемой частью моей жизни. И с этим уже ничего нельзя было поделать.

В понедельник Тим повез все семейство и меня на Чесапикский залив: незадолго до этого он купил и почти закончил ремонтировать старый парусный корабль. Согласно его плану, мы, закончив ремонтные работы за два дня, сможем пройти под парусом весь залив и выйти в открытый океан, где ходят огромные лайнеры. Но для начала требовалось еще потрудиться.

* Три причины быть учителем: 1. Июнь. 2. Июль. 3. Август (англ.).

Корабельная романтика мне не понравилась. При покраске корабля мы все вымазались краской и с большим трудом отмывающейся водонепроницаемой смолой, которой покрывали судно, и обгорели на солнце до пузырей.

Спать в каюте было жарко, душно и жестко, болела обгоревшая кожа, зверски кусали неистребимые комары. Мне страшно захотелось домой, но деваться было некуда. Правда, Тим уверял, что, когда корабль будет на ходу, станет прохладнее, а комары исчезнут. И вот мы наконец подняли паруса и отправились в плавание. Но оказалось, что вести судно не умеет никто. Все знания нашего капитана Тима пока что были чисто теоретическими. Паруса хлопали, корабль угрожающе раскачивался, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы мы не сели на мель. Впрочем, это оказалось еще хуже: до позднего вечера пришлось торчать на солнцепеке, дожидаясь прилива. С мели мы смогли сняться только поздно ночью, так что спать пришлось мало. Управляться с парусами оказалось очень тяжелой работой. Руки я ободрал до крови, но хватать канаты приходилось все равно.

Тут я понял всю абсурдность нашей затеи: зачем выходить в открытый океан и смотреть на большие корабли? Мы их и так видели сколько угодно у пристани! Просто, чтобы помахать рукой? Но разве такой мизерный результат стоит всех усилий, которые мы положили? Но как я ни уговаривал моих спутников поскорее вернуться назад и поехать домой, меня не послушал никто.

На пенсильванскую ферму Тима мы вернулись только через два дня, смертельно уставшие. Впереди было воскресенье и возможность наконец-то выспаться перед возвращением домой и началом рабочей недели — долгожданный двухнедельный отпуск заканчивался.

Но это значило в еще одно воскресенье пропустить службу, что казалось невыносимым. Я простился с Тимом

и его семьей и выехал домой сразу же. В субботу вечером я добрался до своей гарлемской квартиры, а в воскресенье, к великому удивлению отца Иакова, прибыл в храм за десять минут до начала службы.

* * *

Так случилось, что до конца лета я почти ни с кем не общался: Игорь только что обзавелся новой польской подругой и все время проводил с ней, Ричик уехал на летние подработки, Тарас перешел к совершенно уединенному образу жизни, практически разорвав все внешние контакты, Кларисса на каникулах гостила у матери, Юра устроился таксистом и сутками крутил баранку. Я решил, что должен наконец-то прочесть всю Библию, от начала и до конца (хотя отец Иаков настоятельно советовал начинать с Нового Завета). Мир, открывшийся передо мной, был прекрасным и удивительным. Никакие оккультные сочинения, которые я получал от Гроднера, никакие Штайнер и Блаватская, никакой П. Д. Успенский, пишущий о своих встречах с загадочным Гурджиевым, не предлагали такого удивительного парения духа и просторов мысли. Все, что я раньше чувствовал инстинктивно, получало обоснованное и серьезное подтверждение. Никогда до этого я не подозревал, что моя вера настолько исторична и настолько документирована. Я столкнулся с вереницей свидетелей — реальных, куда более живых, чем герои любого, даже самого лучшего романа. Их жизнью, их упованием, их страданиями, падениями и невероятными взлетами пренебречь было нельзя. Это была сама истина, которая разворачивалась предо мною и находила свое воплощение в Личности Христа — Истине, пришедшей на землю и жившей среди людей. Людей, отказавшихся ее признать и подвергших ее мучительной смерти. Но она восторжествовала над смертью и над тлением. Иначе и быть не могло. Все остальное по сравнению с этим было вторичным

и производным. Тот библейский август по-настоящему перевернул мою жизнь.

И все же. Удивительное дело, но при этом подъеме и вдохновении, я тем не менее не думал о моральной составляющей христианства. По всем внешним показателям жизнь моя продолжалась по-прежнему. Я во всеулышание называл себя православным, носил крест, по воскресеньям ходил в церковь, но жил в пучине греха, по инерции считая это нормой. Хотя, конечно, сказать, что я совсем об этом не думал, было бы неправдой. Опять же инстинктивно я ощущал, что, наверное, что-то менять придется, и очень боялся этого. Но ведь жизнь тех немногих крещеных людей из моего прежнего окружения, с которыми я общался, ничем не отличалась от моей? Значит, я могу оставаться тем же? Поэтому я ни о чем не спрашивал у отца Иакова, а он сам не начинал разговора на эту тему, тактично ожидая инициативы с моей стороны.

* * *

В самом начале августа — душного и жаркого нью-йоркского августа — произошла моя встреча с Флоровским. Его я уже знал заочно, но не как знаменитого богослова, а как священника, год назад спустившего Гроднера с лестницы. Придя одним воскресным утром в церковь, я увидел очень худого согбенного священника с редкой седой бородой. Он был настолько слаб, что с трудом стоял.

— Кто это? — спросил я.

— Ты что, это великий богослов, отец Георгий Флоровский, — ответила Аня.

Отец Георгий служил литургию вместе с отцом Иаковом. После евангельского чтения он вышел на амвон для проповеди. Говорил старый священник очень тихо, так что все подошли поближе. Тем не менее почти ничего разобрать я не смог. Помню только, что самым повторяющимся словом в проповеди великого богослова было

слово «любовь». После службы его вывели в зал, где все пили кофе, и посадили на стул. Меня подвели к нему и представили, сообщив, что я готовлюсь к крещению. Он сказал что-то ободряющее, осенил меня крестным знаменем, а я поцеловал его узкую худую руку.

Через две недели отец Георгий скончался. Литургия в храме Христа Спасителя оказалась последней, которую он служил.

* * *

Тем временем лето подошло к концу. Вернулся с заработков Рич и также поселился у Оксаны. Теперь у нее обитали только четверо наших. Других жильцов не оставалось. Тогда мы уже выяснили, что арендная плата за квартиру составляла всего триста долларов в месяц (напомню, что каждую комнату наша хозяйка сдавала за половину этой суммы). Выяснили мы и то, что сама Оксана не была квартиросъемщиком, а переснимала жилье у какой-то безной лсбиянки, проживавшей со своей «подругой» в Нью-Джерси. Поскольку наша хозяйка продолжала собираться к дочери в Техас, то дело было за малым: дождаться ее отъезда, выяснить адрес квартиросъемщицы, связаться с ней, договориться и остаться жить веселой коммуной в самой роскошной квартире нашей жизни. Главное, необходимо было оставаться в ней. Как только квартира освободилась бы от жильцов, она бы исчезла: поскольку сдать такую большую площадь за соответствующую ей цену в Гарлеме было нереально (да и закон не позволял многократное повышение арендной платы), хозяин просто разделит бы ее на две или три и сдал бы каждую — уже как новое жилье по рыночным расценкам. Поэтому выезжать мы не собирались ни при каких обстоятельствах.

План был всем хорош, но жизнь стала вносить свои коррективы. К сожалению, неизбежно повторился

сценарий отношений Оксаны с другими жильцами: она за что-то на нас обиделась и потребовала выселения. Оставить у себя она соглашалась только Клариссу, к которой пока еще благоволила. Наученные горьким опытом, мы стали держать круговую оборону: как минимум, кто-то один из четырех постоянно дежурил дома, благо наши графики позволяли это делать. Иногда помогал Юра, приходивший в комнату Ричика отсыпаться после своих таксистских смен. Таким образом, менять замок Оксане не имело смысла: все равно один из нас открыл бы другим дверь изнутри. Но постепенно такая оборона делалась все обременительнее. Потом Игорь нашел новую компьютерную работу в Бостоне и уехал туда. Нас осталось только трое. Тарас – единственный человек, который мог как-то утихомирить Оксану, – почти совсем перестал появляться: он делался все менее вменяемым.

* * *

И тут я вновь встретился с Тасей. Так звали болезненно полную и чрезвычайно словоохотливую натурщицу, которую я знал по прежней работе в московском Училище имени 1905 года. Говорила она без умолку, в основном жалуясь на жизнь, поэтому обычно под вежливым предлогом я старался побыстрее от нее сбежать. Бывало и так, что она загораживала выход своим массивным телом: деваться было некуда, и я вынужден был выслушивать ее бесконечные путанные истории. И вдруг в одно из воскресений я увидел ее в храме. Тася сказала, что недавно приехала в Нью-Йорк, прочитала мое имя в газетном объявлении об уроках русского языка, которые я вел в церкви, и пришла пообщаться со мною. Я беспокоился заерзал, но увернуться не удалось: долгий и занудный разговор начался. Тася опять жаловалась на жизнь и хотела знать, могут ли ей в храме выделить пособие на проживание:

ведь она мать-одиночка, растящая шестнадцатилетнего сына, между прочим талантливого резчика по дереву. Впрочем, определенную пользу из этого разговора я вынес: Тася упомянула, что снимает квартиру в Вашингтон-Хайтс, на самом севере Манхэттена (еще выше Гарлема), и что в ее доме есть свободное жилье. Посоветовавшись с Ричиком, мы решили, что, если положение с Оксаной не изменится, мы рассмотрим эту возможность.

Но зато мы познакомились с Тасиным сыном Пашей. Высокий, худощавый и немногословный, он совсем не походил на свою мать. Вырезал он действительно здорово и, несмотря на еще подростковый возраст, мог сделать из дерева все – от мебели до художественных панелей. Паша зачастил к нам в гости и сразу же заинтересовался моим движением к Православию, хотя, как сам он тогда говорил, чисто теоретически. Но все же для такого «чисто теоретического» интереса он проявлял слишком много внимания. Он начал иногда заглядывать в церковь. Уже позже, когда Паша стал чаще ходить в храм, отец Иаков предложил ему заниматься резьбой с малышами. Но пока до этого было еще далеко...

Тем временем матушка Аня категорически заявила, что раз теперь я хожу в церковь сознательно, то, будучи оглашенным, должен покидать храм при возгласе «Оглашенные, изыдите!»

Тут я в первый раз запротестовал, сказав, что шататься сорок минут по улице глупо, а уходить домой я не могу, так как после службы у меня занятия с детьми. Отец Иаков поддержал меня. Ане пришлось признать бессмысленность своего требования и отступить.

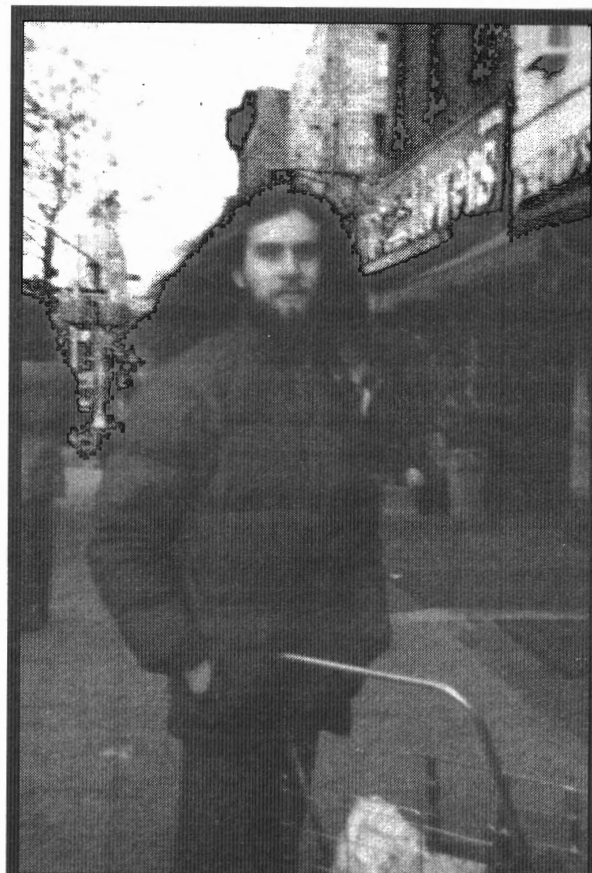
А я все же наконец-то созрел, чтобы задать отцу Иакову главный для меня на тот момент вопрос: может ли православный христианин вступать в плотские отношения с женщинами? Ответ, как я и подозревал, был весьма неутешительным для меня: вне брака не может.

«Но ведь это невозможно? – недоумевал я. – Неизвестно, когда я смогу жениться – может быть, еще через несколько лет, а ведь полный сил мужчина вообще такое длительное время не может воздерживаться. И для здоровья это вредно!»

Отец Иаков заверил меня, что это не так, и добавил, что если я хочу быть христианином, то должен стремиться исполнять заповеди. А они именно таковы. Длинный и подробный разговор оставил меня совершенно неудовлетворенным, но делать было нечего. Оказалось, условия для крещения не ограничивались еженедельными походами в церковь. Их было гораздо больше! Но, раз я уже это узнал, приходилось подчиняться новому правилу.

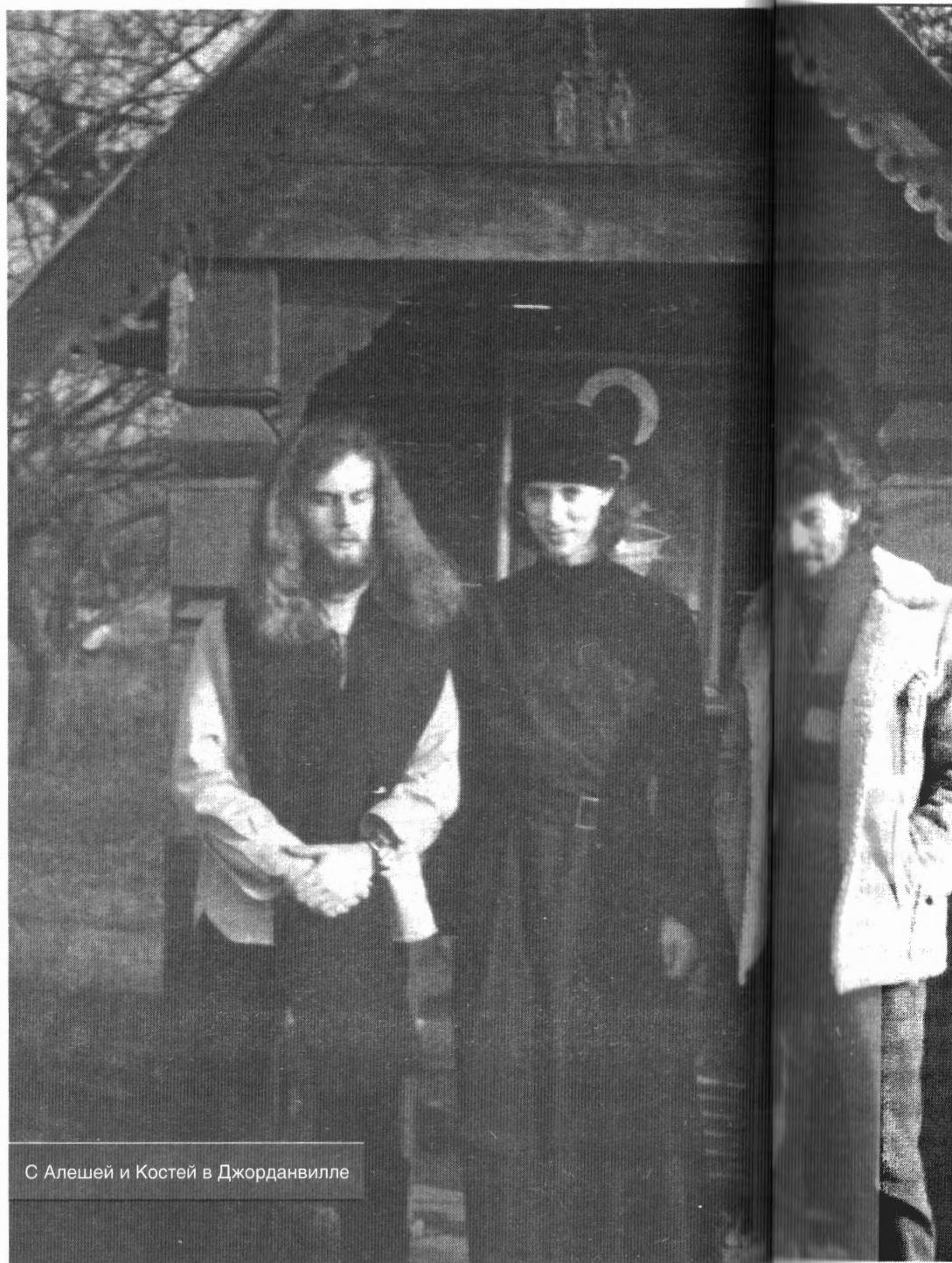
Эх, лучше бы я задал свой вопрос хоть чуть-чуть попозже! Буквально через несколько дней после этого Тарас объявил, что более не желает со всем нами – предателями Родины – общаться и разрывает отношения. Каким-то образом в число предателей Родины попала даже американка Кларисса. На красавицу-креолку я давно уже заглядывался. Теперь она стала официально свободной, и я мог бы приударить за ней, не отбивая ее у приятеля. Но зато несвободным стал я! И хотя Кларисса посылала мне некоторые знаки заинтересованности, мне приходилось скрепя сердце их «не замечать».

В Гарлеме и
Оксаниной тележки



Мирка с котятками





С Алешей и Костей в Джорданвилле

АМЕРИКАНСКАЯ ИЛИ ЗАРУБЕЖНАЯ?

Приблизительно в это время неожиданно позвонил Костя, с которым я не виделся после болезненного разрыва из-за моей (нашей?) бывшей подруги Бобби. Он рассказал, что недавно крестился в Православной Церкви, хочет попросить у меня прощения и восстановить нашу дружбу. Каково же было его удивление, когда я сообщил ему, что и сам готовлюсь к крещению! Но была одна загвоздка, и очень серьезная: Костя стал членом Синодальной (или Зарубежной Церкви), а я ходил в так называемую «Американскую» (ОСА* – Православная Церковь в Америке – ПЦА). А ведь между этими Церквями в тот момент не было никаких отношений, не говоря уже о духовном общении! Мой бывший учитель Аркадий Гроднер называл первую из них «фашистской», а вторую «советской». Таково было расхожее мнение, конечно, совсем не соответствовавшее действительности.

* * *

Моя Церковь была основана на Аляске в конце XVIII века русскими миссионерами с Валаама. Постепенно она распространилась на всю территорию США и Канады. В начале XX века ее возглавлял архиепископ Тихон (Беллавин) – будущий исповедник

* Orthodox Church in America – Православная Церковь в Америке (англ.).

патриарх Московский и вся Русь. Тогда она объединяла все православные приходы этих двух стран – русские, греческие, сербские, арабские, румынские, болгарские и другие. После революции, лишившись поддержки империи, Церковь попала в очень тяжелое материальное положение, и национальные приходы стали разбегаться по своим «юрисдикциям». Начало процессу положил Константинопольский Патриархат, который давно мечтал о расширении своего влияния за пределы турецкой территории и, в нарушение всех правил, послал в Америку епископа для окормления грекоязычных приходов, изначально входивших в русскую Архиепископию (затем Митрополию). За ним последовали остальные диаспоры. Вскоре русская Митрополия стала распространяться только на русскоязычные приходы, состоявшие по большей части из прибывших из Австро-Венгрии в конце XIX века карпатороссов (русинов) и немногочисленных русских белоэмигрантов. После Второй Мировой войны в США стали приезжать большие партии DP* (Ди-Пи): Так называли советских граждан, в ходе войны оставшихся на Западе и отказавшихся возвращаться в сталинский СССР. Некоторые из них действительно сотрудничали с нацистами (например, состояли в армии Власова), но большинство были простыми людьми, угнанными на работу в Германию и теперь опасавшимися стать «врагами народа» на своей родине. В лагерях для «перемещенных лиц» их окормляла Зарубежная Церковь (Русская Православная Церковь за рубежом – РПЦЗ), которая по распоряжению Гитлера стала единственной православной юрисдикцией на территории Третьего рейха и сохранила приходы в Германии после войны. Переезжая в США, эти люди брали с собой священников, а затем и епископов. Уже тогда отношения между Американской

* От англ. Displaced Persons – перемещенные лица.

Митрополией и Парижским экзархатом, с одной стороны, и Зарубежной Церковью – с другой, были далеко не лучшими, и «синодалы», прибывая в США, не влились в существующую Русскую Церковь, а основали свою «юрисдикцию». Таким образом, в Америке оказалось целых три русских Церкви: ПЦА (самая многочисленная), Зарубежная Церковь и небольшое количество приходов, находящихся под прямым управлением РПЦ.

В 1970 году Митрополия получила автокефалию (церковную независимость) от РПЦ. Ключевую роль в этом процессе сыграли два протопресвитера: отец Александр Шмеман и отец Иоанн Мейендорф, пытавшиеся покончить со скандалом православного разделения в США. Действительно, в Церкви действует древнее апостольское правило: в одном городе может быть только один епископ. Иными словами, принцип устройства Церкви – территориальный, а не какой-либо другой (например, точно не национальный). Общее количество православных в США превышает шесть миллионов человек, а если добавить и Канаду, то наберется еще миллион. Итого – семь. Вполне достаточное количество для создания Поместной Православной Церкви: во многих Поместных Церквях (таких, например, как Иерусалимская, Кипрская, Александрийская) паствы куда меньше. Русская Мать-Церковь согласилась с этой идеей и даровала автокефалию своей американской митрополии. Так появилась ПЦА (ОСА). К ней присоединились албанцы, часть болгар и часть румын. Но это было все. Остальные американские православные юрисдикции отказались признавать Церковь в новом качестве (ведь тогда их патриархи утратили бы значительную часть доходов от своих диаспор и, что еще важнее, политическое влияние). Резче всех о новом качестве ПЦА отзывалась Зарубежная Церковь. Она заявила, что Митрополия пошла на сговор с Советами, была ими порабощена и теперь выполняет их политический заказ.

Отношения, и так далеко не безоблачные, испортились совсем. Евхаристическое общение, и без того практически отмененное, теперь было разорвано окончательно. Но если раньше Митрополию обвиняли в экуменизме, то теперь – в предательстве и капитуляции перед советской Церковью, то есть в конечном счете перед правительством СССР.

* * *

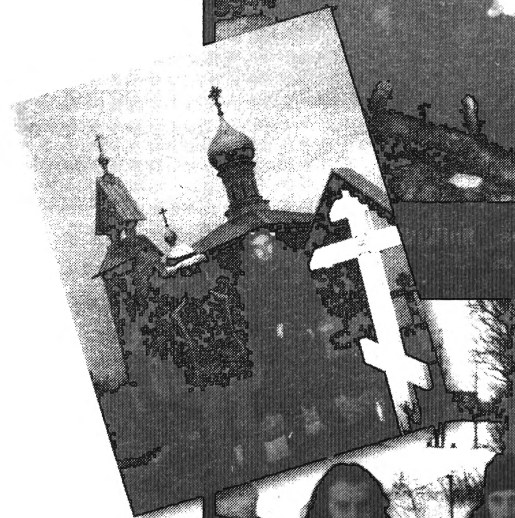
Так что Костя, горевший желанием неопита привести меня в свою Церковь, был разочарован. Наша принадлежность к разным юрисдикциям могла серьезно осложнить еще не успевшие полностью восстановиться отношения. Сразу возникла некая взаимная неловкость. Однако мы оба понимали, что это неправильно, и старались не показывать ее.

При следующей встрече Костя сообщил, что в ближайшие субботу-воскресенье хочет съездить в Джорданвилльский монастырь, для чего уже раздобыл машину, и предложил мне отправиться туда вместе с ним. Я сразу согласился – ведь в Джорданвилле жил мой старый друг Алеша. Нужно было только позвонить отцу Иакову и сообщить, что в следующее воскресенье я буду отсутствовать по уважительной причине. Трубку взяла матушка Аня. Узнав о поводе моего звонка, она забеспокоилась. «Зачем тебе туда ехать? – начала допрашивать меня она. – Все равно ничего интересного там нет. Там одни мракобесы, фанатики и антисемиты».

Этот допрос с элементами психологического давления тянулся довольно долго, пока я не сказал, что не вижу смысла в ее попытке ограничить свободу моего передвижения и не позволить навестить друга. Тогда она замолкла, но все же попросила пообещать, что я не перейду к «синодалам».

Я ответил, что решений своих не меняю, но обещающий по такому странному поводу точно давать не буду,

С Алешей в Джорданвилле перед крещением



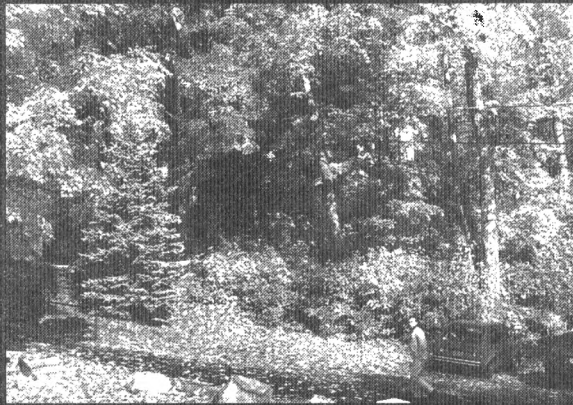
Там же с Костей



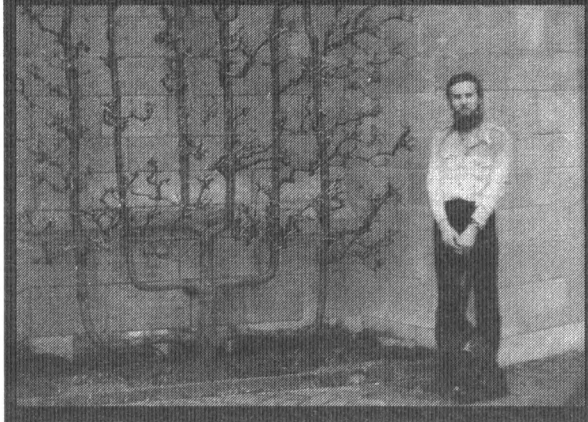
...и во время приезда из академии



В лагере:
экскурсия в лес



Нью-Йоркская
осень



В одном из фойе
музея «Клойстерс»

и, кроме того, если синодалы хотя бы вполнину такие плохие, как она говорит, то почему она так боится, что я сбегу к ним? Я ведь не мазохист.

Аня с раздражением бросила трубку.

* * *

В субботу утром мы с Костей выехали из Нью-Йорка на север. Приближался конец ноября, но в городе погода была еще вполне теплой. По мере нашего продвижения (и удаления от океана) заметно холодало. В Нью-Йорке на деревьях еще оставалось довольно много разноцветной листвы, но километров через пятьдесят лес стоял уже совсем голый. После обеда мы подъехали к монастырю, располагавшемуся в сельской местности, среди распаханых полей, в нескольких милях от крохотного городка Джорданвилль в центральной части обширного штата Нью-Йорк (одноименный штату город находится в самой южной его части, клином сходящейся к Атлантическому океану и к острову Лонг-Айленд, а на севере он доходит до Ниагарского водопада и граничит с Канадой). Температура была близка к отрицательной. В воздухе кружились первые редкие снежинки.

Золотые луковичные купола на зеленом шатре храма были заметны издали. Впрочем, на Россию аккуратные монастырские корпуса не походили вовсе. Скорее, они напоминали декорацию из голливудского фильма. Зато настоящим был Алеша: спокойный, умиротворенный, приветливый, но чуть-чуть снисходительный. Еще бы: ведь он теперь был уже послушником, ходил в подряснике и скуфейке и учился в семинарии. Он также несколько сник, когда узнал, что я попал «не в ту Церковь», но попытался не выдать перемены своего настроения, хотя и сказал, что в ПЦА Православие, конечно, не то чтобы не настоящее, но все же не совсем то, что надо. И вообще, в Свято-Владимирской академии ПЦА все изучают

высокое богословие по книгам, а вот в его Троицком монастыре пойдешь в храм, увидишь, как монах заплакал, и сразу поймешь куда больше. Этот аргумент я и потом слышал неоднократно, только никак не понимал, чем один способ познания мешает другому, да и вообще, не значит ли он, что учиться не стоит вовсе, только знай себе разглядывай плачущих монахов!

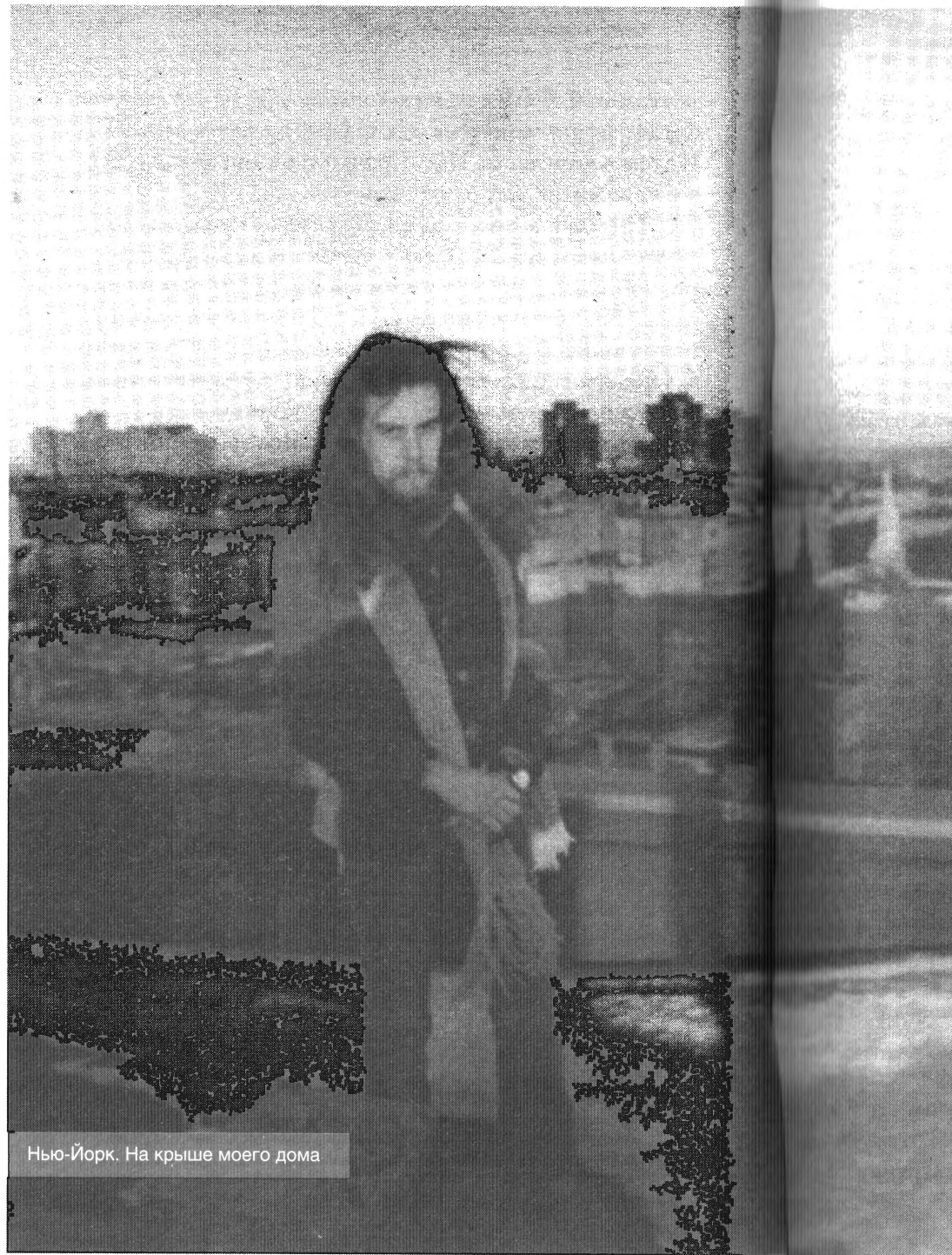
Алеша устроил нас на ночь в кельи и предупредил, что я могу столкнуться с не очень дружелюбным приемом – ПЦА тут не любят. Все это мне мало нравилось, но что было делать? Пришлось на двое суток смириться и влезть в шкуру гражданина второго сорта. Но во всяком случае, опасения матушки Ани, что я вдруг захочу перейти к синодалам, оказались явно беспочвенными. Те миссионерские усилия, которые они направляли на меня, явно были контрпродуктивными. Про мою принадлежность к «неправильной» Церкви сразу же узнавали все люди, с которыми мне пришлось общаться, и каждый из них так или иначе высказывал что-нибудь неодобрительное. Отношение ко мне было сдержанно-вежливое, но при этом напряженно-снисходительное, даже несколько насмешливое.

Но перемены, происшедшие с Алешей, были разительны. Куда девался прежний расхлябанный и неуправляемый хиппи? Тогда, в Италии, мне порой даже казалось, что у него развился своего рода паралич воли, из-за которого он стал неспособным к каким-либо осмысленным усилиям. За что бы он ни брался, он бросал на половине. Во время наших приключений в Италии мне с трудом удавалось заставить его даже помыть почерневшие от грязи ноги (все-таки мы жили в одной комнате) или немного прибрать в его углу. Теперь он являл собою верх дисциплированности и организованности. Алеша учился, и вроде вполне успешно. В его аскетически холодной келье царил идеальный порядок. Спал он на доске,

застеленной серым солдатским одеялом, и, по его словам, сам отключил отопление, так как ему нравится свежесть. И это в центре штата Нью-Йорк с суровыми зимами! Все это не могло не впечатлять.

Но в остальном монастырь, да и синодалы в целом, не выглядели для меня сколько-нибудь вдохновляющими. Во-первых, весь антураж оставлял впечатление искусственности. Стилизованные постройки посреди какого-то очень нерусского пейзажа, яркие акриловые росписи внутри храма, с трудом говорящие по-русски семинаристы* да и вся, в общем, не слишком дружелюбная атмосфера скорее отталкивали, чем привлекали. Самым подлинным в этом месте мне показался Алеша и та перемена, которая с ним произошла. Но все же, вместо разговоров о Христе и христианской жизни, за которыми я ехал в монастырь, мой друг и его окружение почти все время прямо или косвенно обсуждали со мною вопрос «юрисдикций». Матушке Ане нечего было бояться: переходить к синодалам я не захотел.

* Как-то я услышал от них некоторые странные слова и поинтересовался этим у Алеши. В ответ он пояснил, что для скорейшего обрусения они договорились ругаться по-русски. Правда, они употребляли различные русские непечатные слова неправильно, не к месту и с неверными ударениями, но зато часто и громко.



Нью-Йорк. На крыше моего дома

НОВЫЙ ПЕРЕЕЗД

Дома я застал открыто враждебную Оксану, встретившую меня грязными ругательствами. Я закрылся в своей комнате и достал книги. Хозяйка ходила под дверь, высказывая все, что она про меня думает. Дальше так продолжаться не могло. Гори они синим пламенем, все мои надежды на большую квартиру! Утром я вышел из дому и, сев в метро, поехал к жилищу Таси. Находилось оно всего в милях полутора от моего нынешнего района. При желании можно было легко дойти пешком. Четырехэтажный кирпичный дом южной стороной выходил на маленький дворик, а северной – на высокий обрыв. Свободная двухкомнатная квартира на втором этаже тоже выходила на две стороны: маленькая комната и кухня – на юг, а большая комната с двумя окнами – на север. Вид на северный конец острова и далее на Бронкс простирался до самого горизонта. За окном была площадка пожарной лестницы, которую можно было использовать под балкон. Ричику, как художнику, больше подходила северная сторона с ровным светом и видом вдаль, а я вполне удовлетворился маленькой комнатой. Арендная плата составляла всего двести долларов в месяц, то есть за отдельную квартиру с нас причиталось в полтора раза дешевле, чем за комнаты в Оксаниной коммуналке!

Мы подписали договор и через сутки въехали в новое жилище. Единственной Оксаниной квартиранткой осталась

Кларисса. На следующий день после нашего переезда Ричик уехал в загородный отель, куда он устроился работать официантом. В течение следующих трех месяцев он будет приезжать только на уикенды, да и то далеко не каждую неделю.

Так, впервые за все время заграничной жизни, я стал жить в собственном жилье. В кухне стоял холодильник, стол и две табуретки. Больше мебели в квартире не было. Мы раздобыли у знакомых два матраса и немного кухонной посуды. Для начала этого было достаточно. Мурка сразу же обжилась в новом месте и почувствовала себя как дома. Гулять она ходила на наш импровизированный балкон и готова была часами сидеть там и созерцать далекий вид. На свое имя она откликалась сразу, и стоило мне позвать ее, бежала ко мне из самого дальнего угла квартиры. Таинственным образом она умела распознавать звон моих ключей, и, когда я, подходя к подъезду, доставал связку, она вспрыгивала на окно моей комнаты и смотрела вниз, а затем встречала меня возле дверей квартиры. Я много раз проверял: когда другие люди, подходя к дверям дома, звенели ключами, Мурки в окне не появлялось.

* * *

Итак, я начал обживаться на новом месте. Через два дня после нашего переезда со мною связалась Кларисса и сообщила, что Оксана неожиданно уехала в Техас к дочери и она осталась к большой квартире одна. Теперь предстояло выяснить адрес реальной съемщицы и договориться с ней. Я, грешным делом, позавидовал Клариссе – вот уж повезло так повезло! В какой квартире жить будет!

Но еще через день Кларисса позвонила мне опять: ей срочно требовалась помощь. Оказалось, Оксана все-таки подложила всем прощальную свинью. Дата ее отъезда была выбрана далеко не случайно: теперь в квартиру

явились маршалы (так в США называются судебные исполнители) и сообщили ничего не подозревающей скрипачке, что за квартиру не платили уже три года и что по судебному ордеру она должна за сутки освободить помещение. И это накануне ответственной зимней сессии! Но переезжать ей было некуда.

Поскольку Ричард все равно был в отъезде, я предложил Клариссе пока пожить у меня и поехал помогать ей паковать. Она арендовала целый крытый фургон, а так как вещей у нее было мало, то я, воспользовавшись случаем, собрал в Оксаниной квартире необходимую для новой жизни мебель и утварь: все равно завтра все это будет выкинуто на улицу, а Оксана так и не вернула ни мне, ни Ричику (ни, разумеется, Клариссе) наши задатки. Так наша новая квартира сразу стала обжитой и уютной: у нас появились кровати, столы и стулья, книжные шкафы, тумбочки и кухонная посуда.

...Много позже я узнал, что Оксанина жизнь закончилась трагически. Она добралась до Техаса и поселилась у дочери. Однако ужиться с ней она, разумеется, не смогла. Скандал следовал за скандалом. Потом болезнь все же взяла свое, и наша бывшая хозяйка слегла: от рака кости ее стали чрезвычайно хрупкими и все время ломались, так что ходить она более не могла. Синдром развивался, и вскоре кости стали ломаться под тяжестью ее собственного тела, даже когда она просто лежала. Дочь приводила к ней священника, но Оксана отказалась даже впустить его к себе. В конце концов она покончила с собой, выпив несколько пузырьков со снотворными и болеутоляющими таблетками. Страшный конец страшной жизни!

Кларисса прожила у меня три недели и съехала перед западным Рождеством (25 декабря), которое она отмечала, как и все американцы, с родителями и всей большой семьей. Хотя я воспринимал Клариссу как приятельницу и старался не переходить черту (к некоторому

недоумению моей гостыи), все же за это время пришлось пережить несколько весьма искусительных моментов. Но я держался. В самые напряженные минуты уходил в свою комнату и начинал читать Библию. Строчки прыгали у меня перед глазами, буквы расплывались, но, с Божьей помощью, мне удавалось справиться с искушением. Да, я принял решение о воздержании, не очень пока еще понимая его смысл и рассматривая его лишь как послушание. С другой стороны, я чувствовал, что не имею морального права проявлять к Клариссе знаки внимания, пользуясь ее зависимым положением, ведь я оказывал ей услугу, она чувствовала себя обязанной и была некоторым образом в моей власти (жить-то ей пока было негде).

Когда Кларисса наконец съехала, а Ричик явился на новогодние праздники, он потребовал от меня подробного отчета о том, как мы с красоткой-гостьей весело проводили время. Поначалу он просто не поверил, что я отказался воспользоваться такой возможностью. Помню, как Рич в лицах изображал соблазняющую меня Клариссу и мою оборону с Евангелием в руках. Делал он это очень смешно, и я хохотал вместе с остальными, пришедшими к нам в гости приятелями.

Я понимал, что, с точки зрения всей моей предыдущей жизни, отказ воспользоваться такой возможностью выглядел несусветной глупостью. Но в моей жизни уже появилось что-то иное — гораздо более важное, чем все правила моего тогдашнего окружения, да и всего внехристианского мира. И за это новое не жалко было стать посмешищем. За него не жалко было и умереть.

26 декабря мы пошли за елкой. Американцы покупают Christmas Tree* на Рождество, а на следующий день елочные базары сворачиваются, но еще пару дней стоят открытыми, и можно выбирать любой образец. Мы наш-

* Рождественское дерево (англ.).

ли себе роскошное дерево и потащили его домой. С наряженной елкой квартира приобрела совсем уже обжитой и уютный вид.

Рождественский пост я пока еще не соблюдал, а отец Иаков предпочитал не форсировать события. Мы весело отметили Новый год, и я стал готовиться к Рождеству.



«Св. Николай» посещает приходских детей

НОВЫЕ И СТАРЫЕ ПРИХОЖАНЕ

Староста храма – старый казак, участник Белого движения Борис Григорьевич – привлек меня и еще нескольких русских прихожан к предпраздничному оформлению храма. Теперь я в приходе уже не чувствовал себя одиноким и перезнакомился почти со всеми. Борис Григорьевич всей душой радовался появлению в храме русской молодежи, пусть пока еще и немногочисленной. Он приехал в Америку совсем еще молодым человеком в начале 20-х годов и был в числе основателей нашего храма. В те годы он оставался последним его стражем и очень горевал, что жизнь русского прихода подходила к концу. В нас он увидел новую надежду и теперь сознавал, что сможет спокойно умереть, зная, что славянское богослужение в его родном храме продолжится.

* * *

Как оказалось, несколько наших прихожан жили в моем новом районе, и мы стали ходить друг к другу в гости. Старого поэта Глеба Глинку я как-то видел у Гроднера. Впрочем, посиделки у эзотерика он посетил всего один раз и больше к нему не являлся. Зато очень обрадовался, увидев меня в храме, к прихожанам которого причислял себя. Глинка, потомок великого композитора, начинал как поэт еще в довоенном СССР, где опубликовал один или

два сборника. С началом войны был отправлен на фронт офицером, попал в плен, прошел концлагеря и в конце концов оказался в США. Поначалу работал на фабриках, потом пристроился на четверть ставки в Нью-Йоркский университет, где благополучно преподавал до пенсии русскую литературу. Основной доход в семью приносила его жена. Глеб Александрович писал стихи, участвовал в эмигрантских литературных посиделках и заседаниях, входил в редколлегия двух русскоязычных журналов. Английскому он так никогда хорошо и не научился. Американские студентки-славистки его обожали, и он всегда был окружен их щебечущей стайкой. В эмиграции Глеб Глинка, несомненно, считался мэтром. Конечно, он был вполне профессиональным поэтом, но, увы, не слишком выдающимся. Однако пара-тройка его стихотворений все же затрагивала душу.

Благородной внешности, с холеными усами и белоснежной профессорской бородкой, Глеб Александрович был завидным украшением любых заседаний и банкетов. Теперь я понимаю, что он так и не стал по-настоящему церковным человеком, да и личная жизнь его была далеко не безупречной, но ко мне он отнесся очень сердечно и помог мне сделать первые шаги в Церкви. Ведь тогда я воспринимал его как настоящего учителя веры: в отличие от претендовавшей на эту роль Ани, он был весьма сведущим носителем бытового Православия – гораздо в большей степени, чем отец Иаков и тем более его молодая матушка. Того самого бытового Православия, которого мы были напрочь лишены в СССР. Так что мне многое удалось от него почерпнуть. После моего поступления в Свято-Владимирскую академию Глинка сделал мне очень дорогой подарок: свою старую русскоязычную печатную машинку, которую он приобрел еще в конце сороковых. «Стихов я больше не пишу, – вздохнув, сказал он, – и вам она теперь будет куда нужнее, чем мне. Берите!»

Тяжелая и громоздкая, эта машинка прожила со мною всю докомпьютерную эпоху. На ней я написал многие курсовики, кандидатскую работу и бесчисленное количество писем маме и разным моим друзьям. Расстался с машинкой я только перед возвращением в Москву, куда ехал со своим первым компьютером.

До сих пор на моей книжной полке стоят два поэтических сборника давно уже покойного Глеба Александровича, которые он подарил на мое крещение, с теплой надписью: «Новоявленному братишке во Христе». Как поэт он давно уже забыт, но я стараюсь ежедневно помнить его в своих молитвах.

* * *

Было в приходе и несколько художников. Московский абстракционист Игорь Синявин казался мне эталоном Православия. Он носил окладистую русую бороду и стриженные в кружок волосы. Мне очень нравилась его семья – жена и сын. Жена была настоящей русской красавицей, а сын-подросток выглядел копией отрока Варфоломея с картины Нестерова. Они были очень правильными православными: носили правильную одежду, правильно крестились, правильно ставили свечи. Я бывал у них в гостях. Синявин много рассказывал об отце Димитрии Дудко, чадом которого он себя называл, и даже подарил мне изданный им в Нью-Йорке сборник проповедей московского пастыря.

Петербургский художник Юра Терлецкий появился в храме несколькими месяцами позже меня и тоже начал готовиться к крещению. Его положение осложнялось тем, что жена его резко выступала против крещения и не позволяла крестить их маленького сына. Поэтому Юриной задачей было не только подготовиться самому, но и убедить жену.

В СССР Юра считался «авангардистом». Так называли художников, не входящих в официальные союзы и работающих вне единственного признанного стиля – соцреализма. Юра был настоящим художником и работал на высоком профессиональном уровне. Еще один из «поколения дворников и сторожей», он в конце концов решил эмигрировать, чтобы беспрепятственно заниматься искусством. Но, несмотря на то что в новой стране он не испытывал каких-либо гонений, зарабатывать искусством без известного имени и сложившейся репутации оказалось весьма сложно. Да и жена, хорошенькая молодая женщина, вышедшая в Питере замуж за известного в определенных кругах художника, окутанного романтическим флером, в Нью-Йорке оказалась женой неудачника, едва сводящего концы с концами. К тому же соблазнов (то есть всего, что можно приобрести за деньги) тут было несравненно больше, чем дома. Галина обучилась на курсах бухгалтеров, устроилась в фирму и сразу стала зарабатывать куда больше, чем ее муж. Кроме того, неизбежно возникала мысль, что с ее внешними данными она могла бы куда удачнее выйти замуж, оставить скучную работу, не ютиться в тесной квартирке, лучше одеваться, не заниматься домашним хозяйством и так далее. В общем, семейная жизнь Терлецких трещала по швам.

Должен сказать, что Юрина ситуация была типичной для многих эмигрантов «третьей волны». У новоприехавших в США быстро происходила переоценка ценностей, и часто она оказывалась роковой для их семей. Дело в том, что в новой стране ценились совсем иные качества, чем на Родине. Скажем, как я уже писал, обязательным свойством советского интеллигента (а большинство эмиграции составляла научно-техническая интеллигенция) считалась любовь к чтению. Полагалось быть в курсе книжных новинок, доставать и прочитывать дефицитные издания, которые потом жарко обсуждались

дома на кухнях и за рабочим кульманом. Полагалось пренебрегать материальным (поскольку покупательные возможности были весьма ограничены и жили все примерно одинаково, то и пренебрегать бытом было легко). Даже и меню на торжествах у всех всегда было одно и то же: салат «оливье», винегрет, колбаса (предел мечтаний – сырокопченая), российский или голландский сыр, латвийские шпроты (или эстонские кильки), на горячее – мясо с картошкой и чай с кремовым тортом. Различались только частности. Запивать это разнообразие можно было советским шампанским (для дам) и водкой (для сильной половины человечества). Самые успешные заменяли водку армянским коньяком. Пили тоже все организованно, только под тосты.

Даже одевались все одинаково – в зависимости от скудного ассортимента местных магазинов или ограниченного запаса выкроек в портняжных ателье. Когда появились джинсы, все стали копить на них деньги, и постепенно вся советская интеллигенция поголовно стала джинсовой. Это был знак статуса (и качества).

В общем, и внешний облик, и стиль жизни, и манера поведения были изначально заданы. В Америке же все оказалось наоборот. Обилие стилей, разнообразие кухонь, величина жилья, престижность районов и многое другое – все поражало почти что бесконечным количеством вариантов. В СССР большинство населения знало, что есть некая социальная крыша, выше которой, при всем старании, прыгнуть невозможно. В Америке она отсутствовала: хотя бы теоретически добиться можно было чего угодно. Но для достижения любой цели нужны были деньги! И больше всего стали цениться именно те качества, которые эти деньги приносили, а вовсе не умение красиво рассуждать на кухне, писать никому не нужные стихи или рисовать непродávающиеся картины. Многие впервые обнаруживали, что их совсем не интересует

литература, и с радостью переставали читать. Никакого давления среды больше не существовало. Дефицитных выставок и концертов тоже не было: при наличии денег билет можно было приобрести на любое мероприятие. Если, конечно, оно тебя интересовало. Люди изменялись очень быстро, впервые становясь тем, кем они были на самом деле. То социальное давление, которое, разумеется, тоже существовало в американском обществе (и не менее жестко, чем в советском), их пока не затрагивало, и большинство эмигрантов начинали вести себя, повинаясь лишь своим глубинным инстинктам. Я имел возможность наблюдать это в кружке литераторов, живших в моем районе, полностью окунувшихся в гастрономическое и сексуальное изобретательство. Лидерами этого «экспериментаторского» кружка стали два известных публициста, приехавших в Нью-Йорк из Риги. Казалось, они поставили себе целью «отработать» на себе все то, что в их прежней стране считалось непристойным или неприличным. Другие индивидуумы находили другие увлечения.

Для многих семей это становилось непосильным испытанием, которого они не выдерживали. В первую очередь, это коснулось жен представителей артистической, богемной среды. Ведь годы шли, а женский век короток: еще несколько лет, и уже никогда не сможешь урвать от жизни массу недоданных мужем-неудачником удовольствий и развлечений. Жены бросали своих не приносящих достаточного дохода мужей, либо начиная зарабатывать самостоятельно и — тем самым — становясь независимыми, либо уходя к более денежным соперникам (например, к ранее презираемым «технарям» или «фарцовщикам»). Высшей удачей считалось найти себе состоятельного американца.

* * *

В качестве примера приведу историю одного моего дальнего знакомого. Назовем его Вениамин Шифрин. Вначале он приехал в Нью-Йорк один, но вскоре выписал невесту — молоденькую, модельной внешности девушку из Москвы по имени Нина. Сам он был опытным человеком, лет под тридцать, и считал, что хорошо знает жизнь. Свадьбу решил устраивать в синагоге, сказавшись верующим евреем, бежавшим от советского антисемитизма. Для этого заставил Нину официально принять иудаизм. Расчет был на то, что он получит много подарков (по преимуществу в долларовом эквиваленте), которые помогут ему безбедно начать семейную жизнь. Подарки ему вручили, но довольно однообразные: сердобольные прихожане синагоги подходили по одному и вручали пострадавшему от гонений собрату аккуратно завернутые коробочки. Когда Вениамин дома открыл их, то оказался счастливым обладателем восемнадцати тостеров (в ближайшем к синагоге магазине шла распродажа этих агрегатов). На этом его контакт с иудаизмом завершился. Потом Веня долго ходил по всем знакомым и предлагал купить тостер по дешевке. Молодая жена смотрела ему в рот и исполняла каждую его прихоть. Однако постоянного источника дохода у них так и не появилось, и Вениамин решил послать ее на компьютерные курсы.

Уже когда я поступил в академию, Веня появился в храме отца Иакова и заявил, что хочет принять крещение. Крестили его через несколько лет после меня. К тому времени жена его, проявив небывалые способности в компьютерном деле, уже успела сделать карьеру и получала высокое жалование. Шифрин жил припеваючи. Он подружился почти со всеми прихожанами и, как выяснилось позже, одолжил у многих из них значительные суммы денег, после чего уехал с Ниной в Японию, куда ее послали представлять интересы фирмы. Одолженные деньги улетели вместе с Веней.

Вернулся в Нью-Йорк он несколько лет спустя. Нина стала уже владелицей фирмы. Состояние ее исчислялось десятками миллионов долларов. Семья Шифриных вселилась в новую громадную квартиру в престижном Аппер-Ист-Сайде, куда Веня любил приглашать знакомых и рассказывать про японскую жизнь. Нина в это время ездила по командировкам, развивая обороты своей фирмы. Шифрин так и не начал работать и чем дальше, тем больше опускался. Кончилось все плачевно: все еще молодая и привлекательная Нина влюбилась в какого-то американского компьютерщика и исчезла из Вениной жизни, оставив ему, правда, ту самую роскошную квартиру, которой он столь гордился. В конце концов ее пришлось продать. Вениамин исчез с нашего горизонта вместе с ней.

Впрочем, многие подобные истории блестяще отражены в произведениях Довлатова, детально описавшего жизнь «новых американцев». Многих из героев его повестей и рассказов я знал лично.

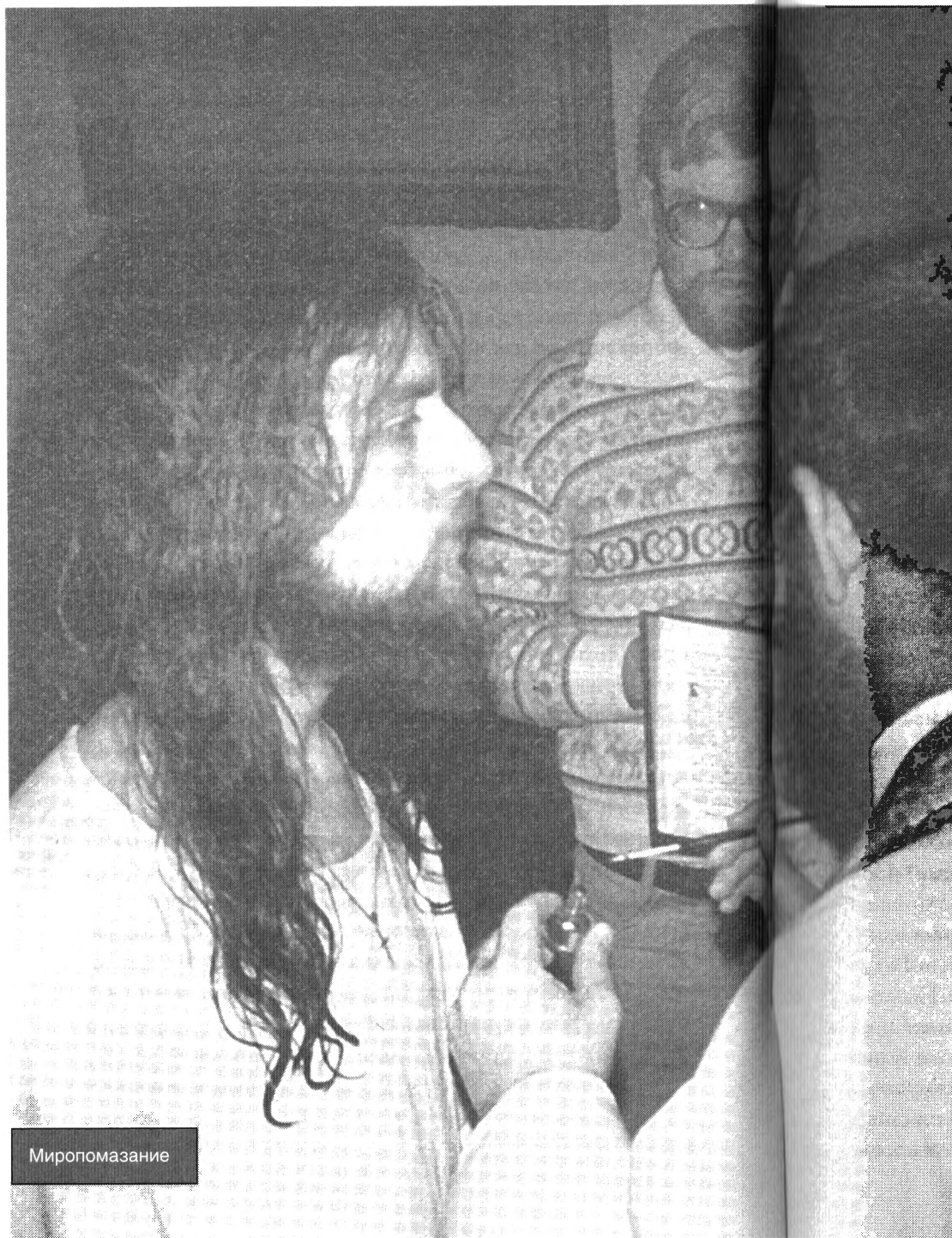
Наверное, эмиграция сбрасывала все условные ограничения и выявляла подлинную сущность человека, наконец-то начинавшего жить той жизнью, к которой подсознательно стремился всегда. Забегая вперед, можно сказать, что этот феномен объясняет и ту перемену, которая произошла с жителями одной шестой части суши после падения СССР. Своего рода вынужденную эмиграцию прошел весь советский народ, который заснул в одной стране, а проснулся – в другой. Точнее даже – в других. Все старые сдерживающие факторы обрушились (к тому же в последние годы СССР они существовали не более, чем условно), остался один инстинкт выживания. Отсюда тот «дикий капитализм» девяностых с его преступностью, моральным распадом и общим одичанием, последствия которого мы еще долго будем ощущать.

* * *

Семья Терлецких пока держалась, но с трудом. Мы общались с Юрой в храме. Потом сын его оставался на мои занятия, после которых мы вместе ехали домой. Вечерами Юра часто приходил ко мне, мы зажигали свечи, читали Евангелие и молились. Теплым желтым огнем свечи освещали висевшие в моей комнате иконы и придавали особую значимость взгляду Христа, Его Матери и святых, вззирающих на нас. Очень хорошо помню тогдашнее неповторимое ощущение от вечерней молитвы, от совершенно особых евангельских слов, которые мы читали по очереди, и от чувства приближающегося таинственного события Рождества Христова, праздника явления в мир Бога Слова. Ведь это станет первым Рождеством, которое я буду отмечать сознательно. Первая моя рождественская елка мигала разноцветными огоньками. Проводящий каникулы дома Ричик посмеивался над нами, но все же часто заходил ко мне в комнату, чтобы задать тот или иной вопрос. Похоже, он начал серьезно задумываться.

Приезжал на наши вечерние посиделки и Сергей – еще один художник-нонконформист, бывший москвич. Сергей был воцерковленным человеком и алтарничал в православном храме в Бруклине, о чем с удовольствием и многими живописными подробностями рассказывал. Именно от него я получил начальные знания о богослужении.

Спускался в нашу квартиру и Паша – сын Таси с четвертого этажа, к тому времени с нами подружившийся. Именно тогда он начал изредка заходить в храм, как он говорил, лишь из чисто культурного интереса. Ну что же, пусть так. Я не форсировал события...



Миропомазание

КРЕЩЕНИЕ

После праздника отец Иаков велел мне готовиться к крещению: наконец мое время пришло. Самое важное событие моей жизни назначили на праздник Крещения Господня, 19 января 1980 года. Предстояло выбрать крестных. Я хотел было попросить стать своей восприемницей одну пожилую, но весьма энергичную эмигрантку еще из первой, послереволюционной волны – княгиню Екатерину Аполлинарьевну Львову. Высокая, сутуловатая и худая, тетя Катя (она предпочитала, чтобы ее называли именно так), при внешней резкости и даже некой нарочитой грубости, была очень сердечной и самоотверженной женщиной. У меня (да и не только у меня) она вызывала восхищение. Но, как только отец Иаков сказал мне о дате крещения, матушка Аня безапелляционно заявила, что моей крестной будет она сама. Я вновь решил смириться и не возражать. Крестным попросили стать прихожанина по имени Николай – из нашей, третьей волны эмиграции. Уже потом я узнал, что при крещении взрослого человека требуется всего один восприемник того же пола, что он сам. Так что Аня на моих крестинах играла не более чем декоративную роль и моей крестной матерью называться никак не могла.

На вечер накануне крещения была назначена генеральная исповедь за всю мою жизнь. К ней я хотел подготовиться заранее, чтобы не забыть ничего из того множества

грехов, которые я успел совершить за свои двадцать четыре года. Бог послал мне такую возможность: я подхватил какой-то очень зловредный вирус и на неделю слег в постель. Я молился, читал Писание и вспоминал свои грехи. И вдруг именно в эти дни мне пришло большое (страниц на пятнадцать) письмо от моего дедушки, который выражал беспокойство тем, что я решил креститься, и уговаривал меня отказаться от этого шага. Письмо было написано с позиций атеизма. Дед приводил расхожие доказательства ненаучности веры в Бога, противоречий в Библии и прочее, а в конце с горечью заявлял, что, как он надеялся, его внук, которого он воспитывал в свободомыслии и независимости и который, как ему казалось, реализовал мечту всей его жизни и выбрал свободу, теперь отдаст себя в рабство, делается верующим и готовится к крещению, отказываясь от свободы ради тотального религиозного порабощения.

Тут же, лежа в постели, я начал писать ответ. Он вышел большим – на восемнадцать страниц. Я легко опровергал аргументы своего деду и приводил свои, куда более логичные и стройные. Бедный дедушка: такие простые ответы были закрыты от него – настолько он был загипнотизирован позитивистской пропагандой начала XX века, под влиянием которой сложились его убеждения. Но, с другой стороны, каким образом в условиях советского диктата он мог познакомиться с ними? Но главное, я объяснял, что без Бога истинная, подлинная свобода невозможна. Крещение, писал я, – это продуманный шаг, и я выбираю именно свободу, ведь к вере и Богу я пришел благодаря воспитанию в свободолюбии. Поэтому мое обращение к Богу и Его Церкви и есть реализация стремления моего деду к свободе, даже если он сам и не понимает этого. Дедушку мои аргументы, к сожалению, не убедили, но произвели на него впечатление, и он смирился с моим выбором. Но, возможно, они убедили кого-

то другого: когда письмо дошло до Москвы, мама дала его почитать своим подругам, а те перепечатали текст и запустили его в самиздат. Так появилась на свет моя первая апологетическая публикация.

Я много думал о прожитых годах своей запутанной и грешной жизни и о самом движении хиппи, к которому, как мне казалось, я принадлежал. Начиная с семнадцати лет это слово стало моей главной самоидентификацией. Теперь мне уже двадцать четыре. Целых семь лет. Практически вся моя взрослая жизнь... Главным смыслом отъезда в эмиграцию для меня виделось соединение со своими хипповыми братьями. Но их в Америке уже почти не оставалось, а те, кто все же встречались мне, никак не выглядели сколько-нибудь привлекательными или интересными. Нет более грустного зрелища, чем постаревший хиппи, стремящийся изображать детскую непосредственность и отказывающийся нести ответственность за что-либо. В России мы стеснялись вслух называть себя хиппи: это высокое звание еще следовало заслужить. Себя мы считали жалкими эпигонами тех настоящих хиппи, которые, как мы думали, проживают на Западе. Теперь я понял, что, возможно, мы и были единственными настоящими хиппи. Да, на Западе к этому движению принадлежали очень многие. Но большинство хипповали пару месяцев (или лет), а потом шли дальше учиться в университеты. Никакого влияния на их дальнейшую жизнь этот поступок не оказывал. Мы же, как и положено русским мальчикам, о которых писал еще Достоевский, ко всему относились слишком серьезно и, вступив в эту игру, рисковали многим: куда большим, чем наши западные единомышленники. Однажды принятое участие в протестном движении означало клеймо на всю жизнь, конец любой карьеры, угрозу психушки, тюремного заключения, а может быть даже, и преждевременную смерть. Лишь немногим из нас удалось уехать за границу и начать все сначала. Из тех, кто

остался, бо́льшая часть уже давно в могиле. Живы за несколькими исключениями только те, кто обратился к Богу и стал православным, начав таким образом новую жизнь.

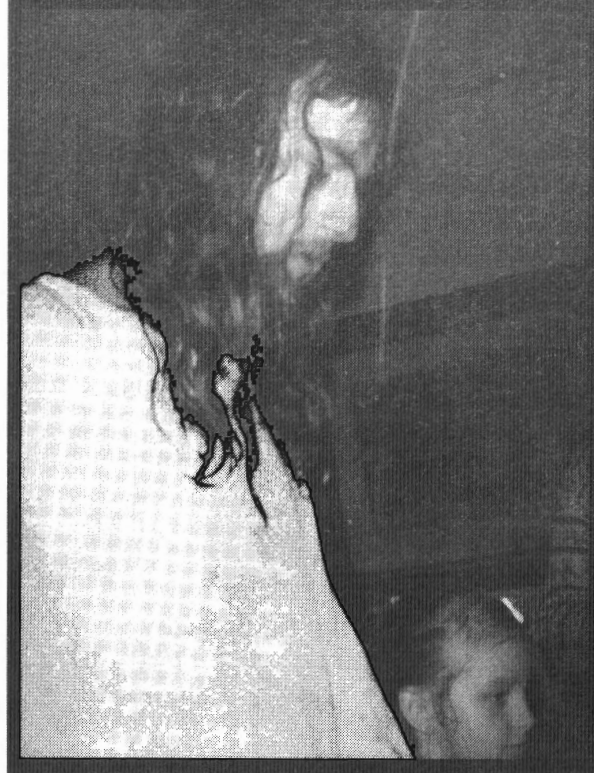
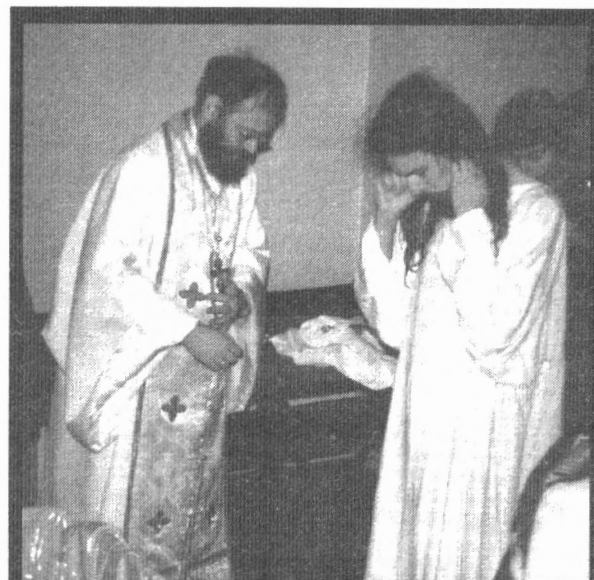
Но если мы и были практически единственными настоящими хиппи и я тем не менее глубоко разочаровался в этом образе жизни и в той идеологии, которая за ним стояла, если я увидел всю ее тщетность и в конечном итоге гибельность, то имело ли смысл мне по-прежнему причислять себя к этому движению? Свобода, которую оно обещало, оказалась не меньшим порабощением, чем то, которого мы стремились избежать. И вот наконец Бог привел меня к настоящей свободе, единственно возможной в этом мире. Привел, несмотря на все мои страшные грехи! Да еще и дарует мне возможность навсегда изгладить их... Привел не по моим заслугам, но по Своей неизреченной милости. Теперь главная моя задача – удержаться в этой свободе, оказаться хоть иногда, хоть отчасти достойным ее.

Я сознательно перестал быть хиппи и готовился стать христианином. Мое время пришло:

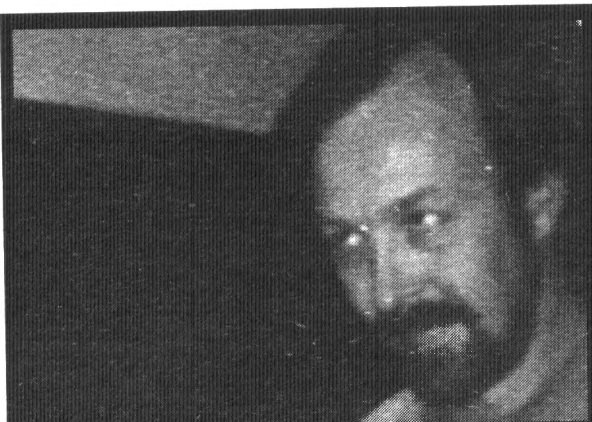
* * *

Но это – теоретически. Практически же я был настолько болен, что не представлял себе, как я смогу встать, выйти из дома, ехать на метро, не говоря уже о самом крещении. Температура не спадала, сил не было совершенно. Вечером накануне я все же доплелся до храма и исповедался за всю жизнь. Отец Иаков сказал, что разрешительную молитву он пока прочесть не может, но что все мои грехи будут смыты с меня водами крещения.

Дома мне стало еще хуже. Ночь я не спал: кости ломало, из носа текло, грудь была заложена. Впору было отменять крещение. Но уж слишком долго я ждал этого дня, чтобы вновь его откладывать! Я выполз из постели и поковылял в храм.



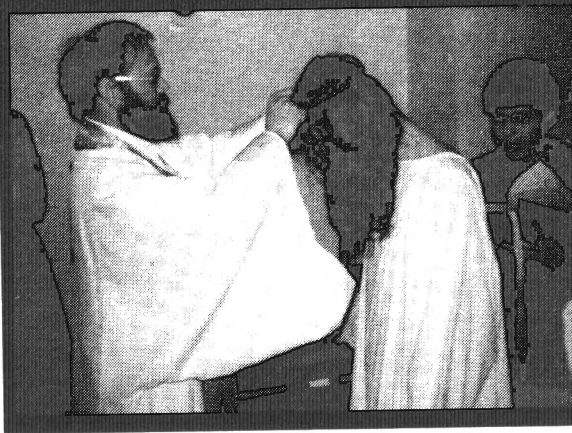
Мое крещение



Николай —
мой крестный



Мое крещение



Надевают
крещальный крест

Крещение было назначено на утро перед литургией. Купели для взрослых в храме тогда не было, и отец Иаков изобрел оригинальный способ сотворить одноразовый баптистерий. Из маленького церковного садика, находящегося за домом, были взяты четыре дощатые загородки высотой примерно в метр двадцать и поставлены посреди трапезной квадратом. Углы надежно закрепили. Внутрь это сооружение выстлали большим (четыре на четыре) пластиковым полотном. Купель была готова — можно было заливать воду!

В храме собрались мои друзья, даже Ричик с Юрой пришли. Я по лесенке перелез в купель и, присев, три раза погрузился в крещальные воды. Когда я восстал, то почувствовал себя совершенно новым человеком. Как будто бы кто-то снял пелену со всех моих органов чувств, и я увидел весь мир заново. Я ощущал свое тело абсолютно прозрачным: мне казалось, я видел, как кровь струится по моим жилам, как бьется сердце, как дышат легкие. После миропомазания я пережил невероятную радость духа. Потом началась литургия. Всю службу я стоял в белой рубахе новокрещеного и снял ее только после своего первого Причастия.

Кстати сказать, о моей болезни я вспомнил только вечером. Она ушла, как будто ее не было вовсе.

После литургии все сели за праздничную трапезу в той самой комнате, где меня только что крестили и откуда уже успели вынести мою купель. Начиная с десятого класса я был заядлым курильщиком. Последнее время я бросил курить покупные сигареты и перешел на самокрутки, для которых специально покупал табак и особую бумагу. Так выходило дешевле, а кроме того, курить я стал меньше: одно дело доставать готовую сигарету, а другое — скручивать ее. Это делалось только тогда, когда по-настоящему захочешь покурить. Но покупной табак мне и нравился больше. Вскоре я уже не мог выносить

запах сигарет и недоумевал, как мог так долго потреблять столь вонючий продукт. Но о том, чтобы бросить курить совсем, вопрос не стоял. Я даже не думал про это.

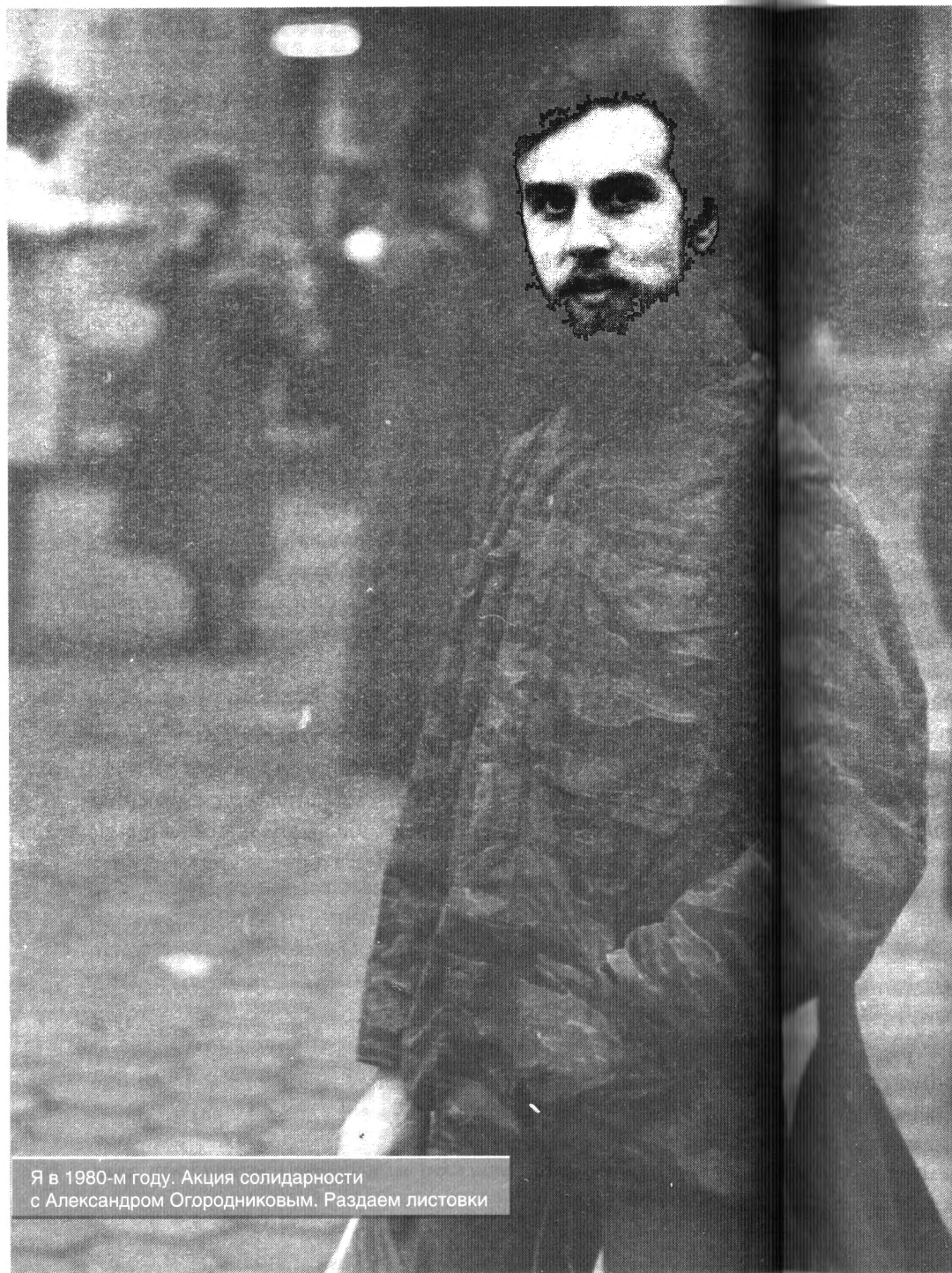
И вот теперь я изготовил самокрутку и вышел на улицу покурить. Я даже щелкнул было зажигалкой, поднес ее к сигарете... и вдруг практически явственно увидел, сколько копоти теперь оседет на мою новообетенную прозрачность. Я достал самокрутку изо рта, бросил ее в урну и спрятал зажигалку в карман. Так я бросил курить. К удивлению, это оказалось совсем не сложным делом – к сему занятию меня больше совсем не тянуло. Может, конечно, тут сыграло роль и то, что, как я уже писал, дым сигарет, обильно распространяемый моими приятелями, не привлекал меня совершенно, а людей, курящих самокрутки, встретить можно было весьма и весьма редко. Но, наверное, главным все же была Божия благодать, дарованная новокрещеному.

И, как я вижу теперь, мои первоначальные ожидания ценного подарка, который мог бы в честь крещения мне дать отец Иаков, оказались не совсем беспочвенными. Просто этот подарок был намного ценнее, чем все, что я мог себе представить: им стала церковная жизнь, к которой он меня приучил и которой я живу вот уже более тридцати лет. И в этом, конечно, тоже действие Промысла Божьего.

Разумеется, те первые ощущения благодатной новой жизни скоро ушли – так бывает всегда. Господь приучает человека к самостоятельности. Так мы и живем – методом проб и ошибок, падений и подъемов, провалов и новых стартов...

Было бы вопиющей неправдой сказать, что после крещения я стал совершенно другим человеком, безгрешным и святым. Да, я заново родился во Христе, но мой ветхий человек пока еще никуда не делся, а новая жизнь лишь начала пробиваться тоненьким ростком. За ее выживание

пришлось вступить в борьбу, в которой, увы, бывают не только победы, но и поражения. Но по крайней мере я знал, куда иду, и имел хоть немного мужества и терпения (наверное, прежде всего упрямства) подниматься после каждого падения и провала. Наверное, из этих подъемов и с помощью Божьей обновлений прерванного пути и состоит христианская жизнь.



Я в 1980-м году. Акция солидарности
с Александром Огородниковым. Раздаем листовки

НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

Вскоре после крещения отец Иаков ввел меня в алтарь и стал приучать к прислуживанию и чтению в храме. У нас в штате состояло два священника, но каждый был ответственен за свою общину: отец Иаков – за русскоязычную, а отец Стивен Пламли – за американскую. По воскресеньям служилось две литургии: ранняя (на приставном престоле) – по-английски и поздняя – по-славянски. Всенощная была одна – на двух языках. Большие праздники тоже совершались совместно и двуязычно. Так постепенно я знакомился с английским богослужением. Но в целом американцы держались обособленно, и большинство из них я знал только в лицо. Многие казались мне довольно странными и желания общаться не вызывали. Впоследствии эта странность нашла объяснение. Но пока мне было непонятно несколько даже заискивающее отношение отца Иакова и Ани к американцам. Аня эмоционально возмущалась какой-то толстой, неповоротливой и весьма неприветливой Сарой и при встрече, картинно распростерши руки, бежала ее лобызать. Сара, глядя сквозь толстые стекла очков, что-то буркала в ответ. Познакомили меня и с Сариним женихом Стивеном – неряшливо одетым, взлохмаченным очкариком, как казалось, с постоянно рассеянным вниманием. В общем, поначалу мое впечатление от американского Православия оставляло желать

лучшего. Даже отец Стивен Пламли и его жена Каролина – пожилая американская пара с намертво приклеенными к лицу фальшивыми улыбками – не вызывали особого доверия. Однако, когда я поделился этим своим наблюдением с отцом Иаковом, он страшно рассердился и накричал на меня, обвинив в снобизме. Я со стыдом повинился, но, как ни старался пересилить себя, так и не смог установить более близкие отношения ни с кем из приходских американцев.

* * *

Впрочем, и среди тех, кто имел отношение к русской общине, попадались весьма странные люди. Помню супружескую чету заслуженных московских диссидентов – Бориса Шпагина и его супругу Наталью с диковинной фамилией Гоморрская. Аня звала их «Борька» и «Наташка» и нахваливала как очень хороших людей. Странновато было слышать такие обращения из уст двадцатилетней особы, да еще по отношению к весьма пожилому низенькому толстячку с ореолом рыжеватых волос вокруг розовой лысины и крупной, рыхлой даме лет за пятьдесят с неряшливо подведенными губами и растрепанными волосами, крашенными в какой-то невообразимый медный цвет. «Наташка» считалась православной и даже изредка приходила на службы, а «Борька», несмотря на свою давнюю дружбу с отцом Иаковом, оставался непримиримым воинствующим атеистом. В храм он не заходил никогда, но появлялся после окончания службы и встречал жену в комнате, где мы пили кофе после литургии. Однажды он явился пораньше. Мы вышли из храма и застали его тихо сидящим в уголке. Как и положено, перед началом трапезы начали петь «Отче наш». Вдруг я услышал грохот падающего стула и, обернувшись, успел заметить Шпагина, пулей вылетающего на улицу. Допев молитву, я вышел за ним. «Борька» нервно курил сигарету.

– Что-то случилось? – спросил я его.

– Не могу слышать этих слов, – надрывно прохрипел диссидент. – Почему вы, верующие, всегда меня ими мучаете?

Я не знал, что ответить на такую странную претензию, и вернулся в трапезную пить кофе. «Борька» со своими сигаретами и оскорбленными чувствами остался на улице.

* * *

В университете начался последний семестр учебы. Нужно было думать о том, что делать дальше. Несколько моих профессоров рекомендовали меня в магистратуру Колумбийского университета, и я подал документы на кафедру классической русской литературы: я собирался специализироваться по Серебряному веку, вероятнее всего по Владиславу Ходасевичу, которым тогда зачитывался. Но тут в моей жизни произошла еще одна важная встреча.

Дело было Великим постом. Отец Иаков позвонил мне и сообщил, что завтра на всенощной в храме будет присутствовать очень известный человек – выдающийся историк, диссидент и исповедник Анатолий Краснов-Левитин. Тогда я этого имени ни разу не слышал, и для меня оно ничего не значило, но авторитет пострадавшего за веру христианина из России, да еще с таким стажем, не мог не вызывать трепетного уважения. Позже я узнал, что Краснов-Левитин в 30-е годы уклонялся в обновленческий раскол, был очень близок к лидеру обновленцев Александру Введенскому и даже служил у него диаконом. Потом он покаялся, занимался диссидентской деятельностью и написал весьма объемную, хотя и сильно беллетризованную «Историю обновленческого раскола». Это сочинение, в большей степени мемуарного, чем исторического, характера, тем не менее представляет собой чрезвычайно интересный и часто незаменимый документ.

Но, как и к любому личному свидетельству, к ней нужно относиться с определенной осторожностью.

В тот вечер что-то меня задержало, и я немного опоздал к началу богослужения. Первое, что я заметил, войдя в храм, это чрезвычайно странное чтение. Не могу даже воспроизвести его, но никогда более за всю свою церковную жизнь такого чтения я не слышал. Чтеца не было видно. Я вошел в алтарь и выглянул на клирос. Там с книгой стоял маленький, толстенький, стриженный «под бобрик» человек со смешными чертами лица и носом картошкой. Это и был великий церковный деятель.

После всенощной отец Иаков подвел меня к нему. «Как вас зовут? – высоким резким голосом спросил меня старик. – Александр? А почему вы до сих пор не учитесь в Свято-Владимирской академии?»

Вопрос меня потряс. Вообще-то, я несколько раз думал об учебе в академии, но чисто теоретически. Этими своими мыслями я не делился даже с отцом Иаковом. Мне казалось, что для меня еще рано даже мечтать об изучении богословия: ведь я только что крестился и был еще совсем новичком в Церкви.

Но то, что Краснов-Левитин с первого взгляда угадал мои сокровенные мысли, очевидно, было неспроста. Я воспринял его слова как указание свыше, и в следующий же уикенд, испросив благословение у отца Иакова, отправился в академию для первого знакомства.

* * *

Православное учебное заведение располагалось за городом, в северном предместье Нью-Йорка, застроенном дорогими особняками, стоявшими на больших ухоженных участках земли. От станции до места я прошел минут за пятнадцать. На сравнительно небольшой территории, занимавшей покатую сторону холма с озерцом на вершине, просторно размещалось несколько зданий. Одно из них

было крошечным академическим храмом (уже при мне его снесут и построят большой храм, сразу бросающийся в глаза). Через всю территорию протекал ручей, который водопадом скатывался из озера, образуя небольшую заводь. Все было компактно, уютно и красиво. Я провел в академии целый день, общался со студентами, пообедал с ними и остался на всенощную. К сожалению, ректор – отец Александр Шмеман – был в отъезде, и мне не удалось тогда познакомиться с ним. Зато я впервые встретился с отцом Иоанном Мейендорфом, который после всенощной пригласил меня к себе на чай: он жил в пяти минутах ходьбы от академии. Принимала нас его жена – Мария Алексеевна. По-моему, на чаепитии присутствовали и две его дочери, но их в тот вечер я совсем не запомнил. В общем, домой я ехал с твердым намерением поступать в академию.

Но были два обстоятельства, смущавших меня. Одно из них – боязнь общежитской жизни, которая выработалась у меня еще с отрочества. Ничего общинного я на дух не выносил. Как я переживу отсутствие личного пространства – я себе даже представить не мог. Да и что было делать с моей Муркой? Но учеба в академии другого выбора не предполагала, так что приходилось смиряться и думать, как приспособиться.

Если, конечно, я поеду в академию. Повод для сомнений появился почти сразу. В понедельник в почтовом ящике я нашел письмо из Колумбийского университета, в котором сообщалось, что меня принимают в магистратуру на весьма выгодных условиях и предоставляют вполне приличную стипендию. О Колумбийском университете я давно мечтал: серые, увитые плющом неоготические корпуса, зеленые лужайки, на которых с книгами лежали учащиеся там счастливчики, громадная солнечная библиотека – все это представляло для меня образ идеального учебного заведения. По моей специальности

кафедра, на которую меня принимали, была одной из лучших в США. Я остался бы в почти ставшем мне родным городе, жил бы в своей старой квартире с Муркой, среди старых друзей. А в академию можно поступить и попозже? После магистратуры. Это всего два года. Академия ведь никуда не убежит?

К тому времени я уже привык к своему новому району. В нем оказалось много преимуществ. Расположенный на самом севере Манхэттена, в самой высокой его части (в небольшом парке через дорогу от моего дома возвышался камень, к которому была прикручена медная табличка с обозначением, что это вершина острова), он был и самым экологически чистым. Население было смешанное – скандинавско-немецко-еврейское, и даже архитектура отчасти напоминала средневропейскую.

На севере района – в десяти минутах ходьбы от моего дома – располагался прекрасный парк, а в глубине его – музей средневекового искусства Клойстерс, филиал знаменитого Метрополитена. Когда-то парк принадлежал Рокфеллеру, но в 20-е годы миллиардер передал его вместе со своим личным музеем в дар городу. Клойстерс размещался в здании, почти целиком построенном из привезенных из Европы камней: еще в начале XX века Рокфеллер купил три или четыре средневековых монастыря (во Франции, Испании, Англии и Италии), разобрал, вывез их в Нью-Йорк, где восстановил здания, соединив в единую структуру. Получилось сооружение с четырьмя крыльями вокруг центральной башни и множеством внутренних двориков, окруженных крытыми галереями, – собственно клойстеров, что и дало название всему музею*. Их заполнили предметами средневекового искус-

* Английское слово cloister означает и монастырь, и крытую аркаду вокруг внутреннего дворика – типичную архитектурную деталь средневековых западноевропейских монастырей.

ства, залы обставили мебелью, похожей на ту, что изображена на картинах, а в садах посадили соответствующие той эпохе цветы, ароматные травы и деревья. В помещениях музея приглушенно играет средневековая музыка.

В общем, Клойстерс стал одним из моих самых любимых музеев города. Я часто посещал его, а после зимы, когда открыли внутренние дворики, стал приходить в музей с книгами и проводить там часы, готовясь к занятиям в тихой, располагающей атмосфере. За вход в музей Метрополитен (а Клойстерс был его филиалом) не было фиксированной платы – требовалось передать кассиру любое пожертвование. Я давал обычно десять-двадцать центов и получал жетон на вход, годный целый день. Расположенный на холмах парк вокруг музея был чрезвычайно живописен и по будням практически безлюден. По дорожкам гуляли немногочисленные мамы с колясками, а обширные зеленые газоны и рощицы совсем пустовали. Мы часто проводили там время с друзьями.

Стоило ли оставлять все это ради академии?

Было и еще второе, наверное, самое уязвимое для меня, обстоятельство. В правилах, обязательных для студентов академии, выданных мне для ознакомления, я прочел, что длинные волосы для студентов не допускаются. Отец Иаков пояснил, что это правило было введено в начале 70-х годов чтобы семинаристов не принимали за хиппи и не относились бы к ним соответственно. Мои волосы в то время отросли уже до середины спины и давно стали частью моего имиджа. Отрезать их было чрезвычайно жалко. В Колумбийском университете, разумеется, такого правила не было.

И тут я опять вспомнил данное себе слово и решил, что надо быть верным ему. Да и коль скоро я осознал, что более не считаю себя хиппи, значит, и отращивание волос утратило всякий смысл. Оставалось только доказать это самому себе. Я принял решение.

Как ни сложно было отказаться от заманчивого предложения Колумбийского университета, но я написал им письмо с сообщением о том, что у меня изменились жизненные обстоятельства и я забираю свои документы. Так я поступил в Православную Свято-Владимирскую богословскую академию (таково ее официальное название) и до сих пор не жалею об этом. Благодаря своему решению я успел поучиться у отца Александра Шмемана и застать лучшие годы этого уникального учебного заведения.

* * *

Но пока до отъезда было еще далеко. Моя обычная жизнь продолжалась. Работа – университет, университет – работа. Ричард окончательно вернулся в Нью-Йорк и тоже поступил учиться – в Художественную академию. Хотя в Москве он закончил Полиграфический институт по специальности книжная графика, он понял, что для карьеры в этой области необходимы связи, а их можно обрести, только покрутившись в профессиональных кругах. Подрабатывать он устроился помощником официанта в один из самых роскошных ресторанов Нью-Йорка – Russian Tea Room*. По словам моего друга, там не было ничего особенно русского, но название осталось от 20-х годов, когда заведение было основано белыми эмигрантами.

В марте разразилась забастовка метро. Город встал. Я добирался до работы автостопом (в эти дни нью-йоркские автомобилисты проявляли чувство братского локтя и охотно подвозили незнакомцев), а Ричик купил велосипед и решил тряхнуть стариной. В первый же вечер он вернулся едва дыша и, заявив, что не подозревал о том, насколько сигареты уже покалечили его, с того самого дня бросил курить. Так наша квартира превратилась в некурящую.

* Русская чайная комната (англ.).

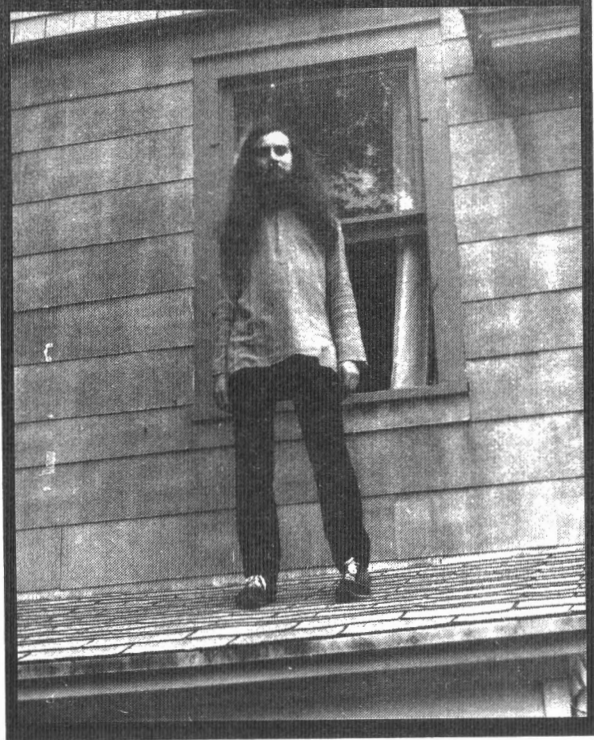
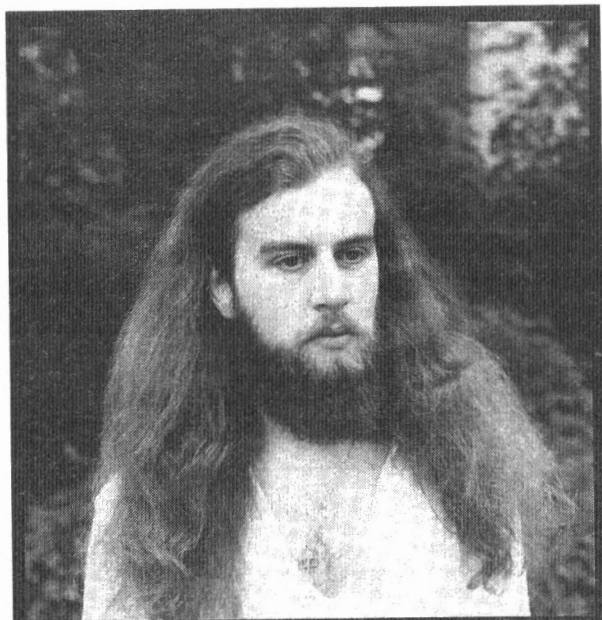
Мама на работе



Мой гег



Мама шлет мне привет из Москвы



Через неделю я
поеду в академию

Снова в музее
«Клоистерс»



В Бостоне



Первое Рождество
в новой квартире



Дети фермера Тима

Мой друг,
Юра-художник

Трезори Темфора

А еще через пару недель Ричик сказал, что хочет пойти со мною на воскресную службу, а потом поговорить с отцом Иаковом. Так он тоже стал оглашенным и начал посещать беседы вместе с Юрой Терлецким, жена которого все еще не давала разрешения на крещение сына. Паша тоже регулярно ходил в храм, хотя и говорил, что делает это исключительно из познавательных интересов. Из всей нашей компании совершенно вне церковной жизни оставался лишь Юра Богословский. Пока он держался в стороне и, приходя, мог довольно язвительно над нами подшучивать. При всем его устроении, нацеленном прежде всего на предпринимательскую деятельность, казалось, что религиозные чувства вряд ли когда-нибудь проснутся в нем.

Но, оказалось, мы ошибались. Как-то поздно вечером к нам появился Юра, сильно «под градусом». Поговорив о том о сем, он неожиданно заявил: «Думаешь, я пьяный? Может, я и пьяный, но скажу тебе такую вещь, какую трезвый я, может быть, не сказал бы ни за что. Не исключено, что я как-нибудь приду трезвый и попрошу, чтобы ты меня отвел к отцу Иакову! Вот увидишь!»

Мы стали ждать. Несколько недель Юра не возобновлял разговора о Церкви, разве что продолжал подшучивать над нашим «фанатизмом». Вернулся он к этой теме после очередных активных посиделок за столом. Я уже стал бояться, что мы получим повторение истории забывчивого богача из классического фильма Чарли Чаплина, который узнавал спасшего его бродягу лишь будучи пьяным, а протрезвев, выпихивал его из дома. Но в конце концов оказалось, что Юра все же помнил о Церкви и в нормальном состоянии, так как однажды, действительно, попросился пойти с нами в храм. Так количество оглашенных в общине храма Христа Спасителя прибавилось.

* * *

В скором времени я получил официальный ответ из академии о том, что меня приняли на первый курс. Среди бумаг, которые необходимо было собрать перед началом учебы, числилась справка от врача, что я здоров и гожиусь для жизни в общежитии. Бланк для нее с шапкой академии тут же прилагался.

Мне сказали, что в нашем районе есть очень старый доктор, еврей (впрочем, в Нью-Йорке «доктор» и «еврей» – почти что синонимы), очень хороший человек. Эмигрантов он принимает бесплатно либо почти бесплатно – за минимальную цену. Так что за справкой лучше идти к нему. Я так и сделал.

В прихожей у доктора сидела секретарша – совсем еще молодая черноволосая девушка в белом халате. Я особенно не обратил на нее внимания – просто подал ей бумаги из Духовной академии, а она попросила меня подождать. Через несколько минут девушка вызвала меня к доктору, который, задав несколько дежурных вопросов, заполнил анкету, сказал, какие анализы мне нужно сдать, и выписал направления. Плату за посещение он с меня не взял, нужно было только оплатить анализы. Когда я выходил из офиса, секретарша вдруг сунула мне в руку записку, в которой по-русски были написаны ее телефон и имя – Римма, а также просьба связаться с ней. В тот же вечер я позвонил. Оказалось, что Римма родом из Киева, эмигрантка, верующая иудейка. Начинала учиться в иешиве, но разочаровалась и стала задумываться о Православии. Когда она, прочитав запрос, увидела, что я будущий семинарист, то сразу усмотрела в моем появлении знак свыше. Так к нашему христианскому кружку добавился еще один человек. Вскоре Римма тоже стала ходить в церковь и готовиться к крещению.

Этим же летом я познакомился с девушкой Катей из Питера, которая согласилась взять к себе мою Мурку.

Жила она в Квинсе с родителями. Катя также стала посещать наши вечерние посиделки, а потом и ходить в храм.

Так что, уезжая в академию, я оставлял в своей квартире сплоченный православный кружок, к которому подтягивались все новые члены.

* * *

Весной мне удалось поближе пообщаться с несколькими семинаристами: в одну из суббот в мае 1980 года проводилась акция христианской солидарности в связи с арестом Александра Огородникова в СССР. Это была суточная голодовка и молитвенное стояние возле здания ООН. На ней я вновь встретился с семинаристом Грегори Тетфордом – техасским православным, изучавшим русский язык и увлекавшимся всем русским. Он даже предпочитал, чтобы его называли Гришей. Все мои годы в академии мы с ним дружили. Правда, потом он увлекся Грецией и всем греческим, перестал изучать русский язык и «усыновился» в элладскую культуру, но наши теплые отношения сохранились надолго. Кончив академию, Грегори женился на дочери отца Фомы Хопко (внучке отца Александра Шмемана), уехал в Огайо и приобрел там светскую профессию. Кроме него, в нашей акции принимали участие еще двое: трое студентов академии. Разумеется, присутствовали несколько русских диссидентов, перебравшихся в США. Подтянулись и мои друзья. Мы читали акафисты и раздавали немногочисленным прохожим листовки с молитвой о гонимых христианах СССР. На ночь нас осталось всего человек восемь. Мы пили воду и болтали на разные темы. Иногда вспоминали о молитве, но вскоре снова возвращались к обычному общению. Подходил отец Иаков, но потом уехал – готовиться к литургии. Мы разошлись утром – каждый направился в свой храм на службу.

Должен сказать, что эта акция оставила у меня некоторое чувство разочарования: уж слишком несоизмеримо

было заточение в лагерь, с одной стороны, и наша игрушечная голодовка – с другой. Да и уж как-то совсем незамеченным прошло наше мероприятие. Но все же оно рождало чувство причастности к чему-то большему.

* * *

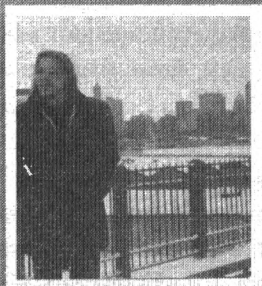
За это лето я успел съездить и в Бостон, где навестил старого друга Игоря, увы, пока не поддававшегося моей христианской проповеди, а потом отбыл в Мичиган, в Анн-Арборский университет, где теперь преподавал прославленный профессор сравнительного языкознания Шеворошкин, жена которого – Галина Барина – была старинной подружкой моей мамы. Она интересовалась христианством и воспринимала мою неофитскую проповедь с большим вниманием. Сам Виталий Шеворошкин, читавший в университете курс хеттоведения, был слишком погружен в свои лингвистические штудии, чтобы интересоваться еще чем-нибудь, кроме них. Высокий, седобородый, с белоснежной гривой волос, он знал не менее двух десятков языков и все время учил новые. Помню, какой-то мой вопрос по языкознанию он воспринял с искренним недоумением: «Ведь ответ же очевиден! Возьмите грузинско-амхарский словарь и сравните значение этого слова по тайско-португальскому словарю. Видите, как просто!»

Шеворошкин буквально жил в этих языках и все время раскладывал по полу своего кабинета карточки со словами. Тогда он занимался языками индейцев Северной Америки и с энтузиазмом рассказывал мне про разработанную им систему доказательств того, что они также восходят к единому праязыку, от которого и произошло все наше лингвистическое разнообразие. Меня же его открытие даже особенно не удивило: я и так знал это из Библии.

* * *

В конце августа я уволился с работы. На мое место наняли настоящего завхоза – очень профессионально выглядящего пожилого человека в синем комбинезоне с торчащей из кармана рулеткой. Я простился с секретарем и старушкой-библиотекарем и пожелал удачи своему преемнику.

Потом я отвез Мурку в Квинс, где ее, как дорогую гостью, встречала вся Катина семья, вернулся в опустевшую квартиру, упаковал вещи и поехал в академию. Вез меня Юра на своем такси, куда едва влезли все мои пожитки. Ведь, в отличие от других студентов, приезжавших из дома, у меня своего родового гнезда, где можно было бы оставить большую часть имущества, не было. Все ненужное я попросту выкинул. В том числе – и мою старую московскую хипповую одежду. Мне она больше не была нужна. Начинался новый этап моей жизни.



СЕРГЕЙ



ТАМАРА



ЮГА - ХИДОЖНИК



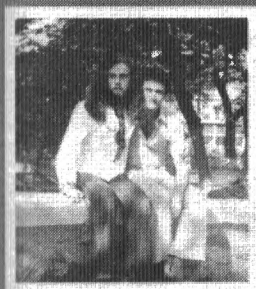
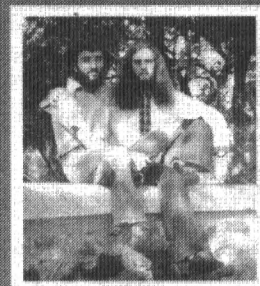
С АЛЕШЕЙ

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ

Иных уж нет, а те далече...

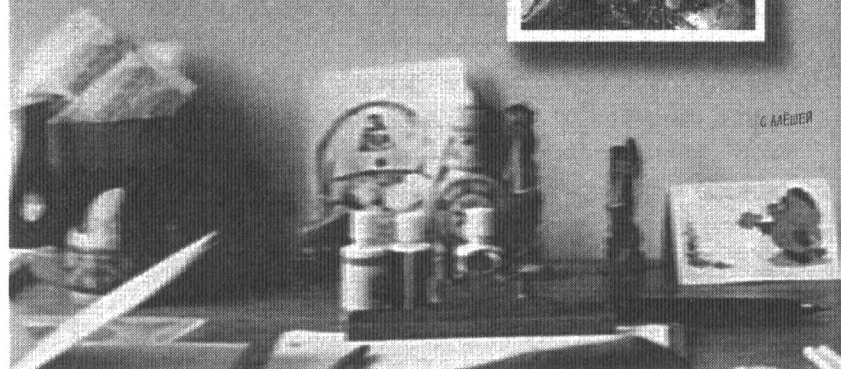
Пушкин

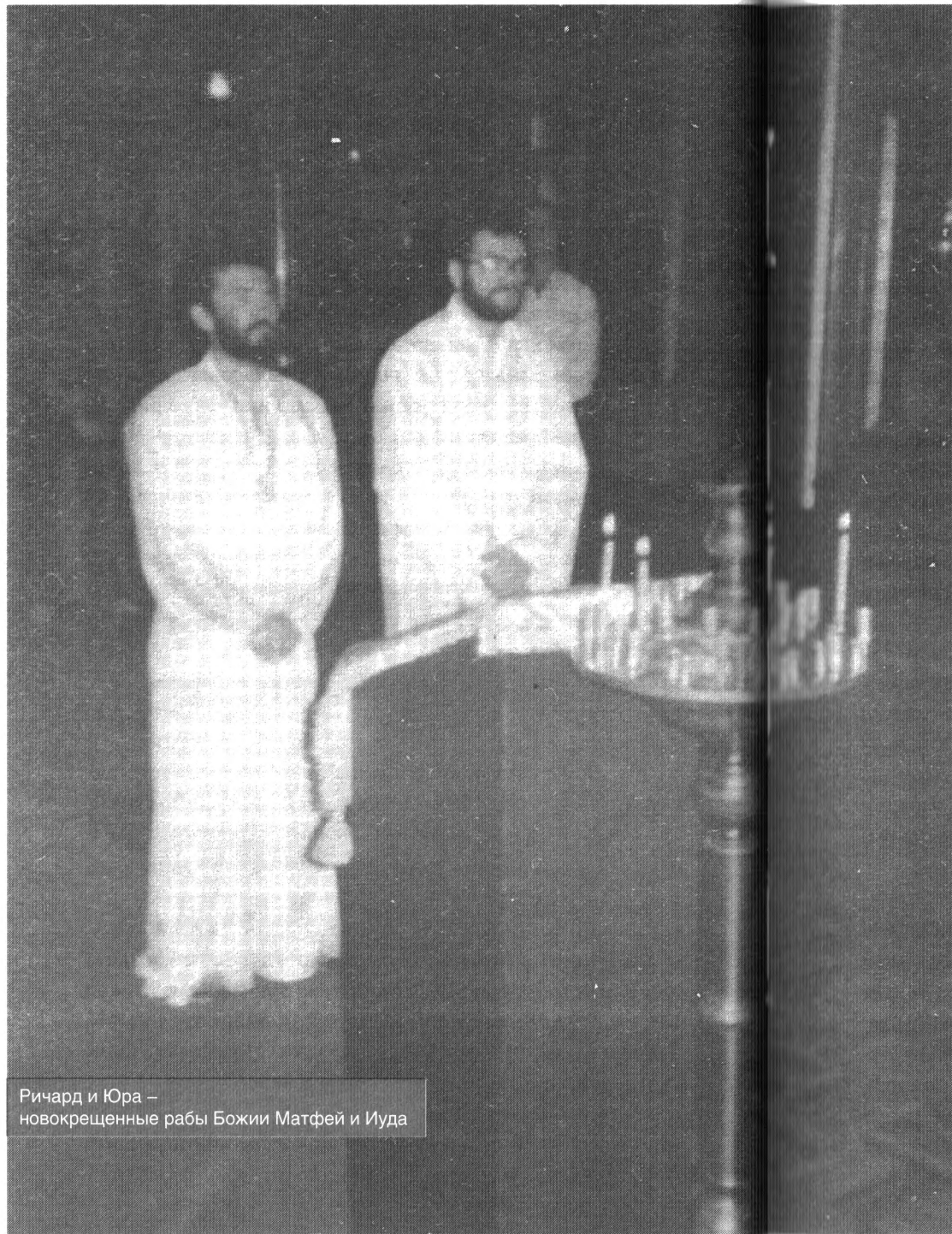
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИН



В ГАЛЕРЕЕ С ГИРИ

ЭПИЛОГ I





Ричард и Юра —
новокрещенные рабы Божии Матфей и Иуда

БЕС В ХРАМЕ

Прежде чем переходить к новому периоду моей жизни, осталось только рассказать, что случилось с моими друзьями.

Юра Терлецкий в конце концов крестился вместе со своим сыном. Но семья его, к сожалению, распалась. Он уехал из Нью-Йорка, и я потерял его из виду. Слышал, что он отошел от светской живописи, пишет иконы. Впрочем, иконы он начал писать еще при мне, и я даже, чтобы поддержать друга, купил у него за сто долларов первую написанную им икону. Она до сих пор висит в моем доме в красном углу. Недавно я узнал, что Юра тоже вернулся в Россию. Судя по интернетным сообщениям, сейчас он опять занимается живописью. Живет в Петербурге, часто выставляется.

У Ричарда тоже начались свои сложности. Родители неожиданно выразили категорический протест против его крещения. Скандалы следовали за скандалами. Впрочем, это, можно сказать, «нормальная» ситуация. Обычно почти у каждого человека перед крещением возникают страшные искушения, как кажется в тот момент, делающие совершение таинства невозможным. Тут главное — сжать зубы и перетерпеть. После крещения обычно все сразу проходит. Но Ричику его путь в Церковь достался особенно тяжело. Родители вдруг вспомнили о своих еврейских корнях и вообразили, что теперь они навсегда потеряют единственного сына. Никакие рациональные аргументы не действовали.

При любом подозрении, что их сын идет в храм, у них начиналась истерика, переходящая в сердечный приступ и прединфарктное состояние. Каждое воскресное утро мать Ричарда телефонным звонком проверяла, дома ли он, и со скандалом требовала, чтобы он навещал родителей именно в это время. Чтобы избежать непрерывных скандалов, моему другу приходилось хитрить, изворачиваться. Несколько воскресений он провел с родителями, и, когда давление несколько ослабело, возобновил посещения храма. К счастью, никто из его семьи не знал ни названия храма, ни его адреса.

Отец Иаков назначил день крещения Ричику и Юре на октябрь, но решил заранее провести чин оглашения, чтобы они пожили некоторое время в качестве катехуменов*. Служба, на которую я прибыл из академии, проходила ранним вечером. Когда короткий чин уже завершался, я боковым зрением заметил, что в храм зашла какая-то женщина.

Как оказалось, то была сестра Ричарда Ровенна. Но она стояла сзади, и никто не обратил на нее внимания. И вдруг, когда отец Иаков поднял руку, чтобы в последний раз благословить новых оглашенных, эта молодая и привлекательная женщина завопила страшным, совсем не своим, низким и хриплым голосом и упала на пол, изрыгая страшные матерные проклятия. Ее корчило, а губы покрылись обильной белой пеной. Мы все бросились к ней.

В храме она оказалась вроде бы совершенно случайно. Но, как мы знаем, для верующего человека случайностей не бывает. Ровенна, направляясь по каким-то своим делам, проезжала 71-ю улицу на машине и вдруг увидела наш храм. Вообще-то заметить его было весьма затруднительно: обычное двухэтажное здание, зажатое между

двумя другими. Единственное, что выдает церковь – это козырек над входом с проволочным куполком и небольшая табличка с надписью возле двери «Храм Христа Спасителя» – по-русски и по-английски. Однако, проезжая мимо на машине, прочитать надпись почти невозможно. Но Ровенне каким-то образом это удалось, и она, вспомнив, что брат ходит в какую-то церковь в Манхэттене, решила зайти и посмотреть. Еще одно чудо, для Нью-Йорка невероятное: рядом с храмом зияло свободное место для парковки. Ровенна поставила машину, зашла внутрь и вдруг... увидела своего брата, над которым совершался какой-то странный и, наверно, страшный обряд!

До сих пор вспоминаю этот момент с ужасом: Ровенна была красивой женщиной, томной, тихой и благовоспитанной. В тот же момент черты ее лица исказились до неузнаваемости, хрупкая и деликатная дама билась о пол так, что мы все вместе не могли ее удержать, вопила совершенно не своим голосом, причем такие страшные проклятия и ругательства, которые вряд ли можно представить себе в устах даже какого-нибудь матерого уголовника, но уж точно – не женщины из интеллигентной московской семьи. Так я впервые лицом к лицу столкнулся с реальностью существования дьявола. В том, что все это было подстроено и срежиссировано им, – сомнений ни у кого из присутствующих не возникало.

Но все же, как и планировалось, в октябре состоялось крещение Ричарда и Юры – первого с именем Матфея, а второго – Иуды (в честь брата Господня). Я стал их восприемником, и они оказались моими первыми крестниками. Крестной у них вызвалась быть, разумеется, вездесущая матушка Аня. И, как и следовало ожидать, сразу же после крещения родители Ричарда совершенно успокоились. В семье царили мир и согласие, и даже Ровенна не понимала, что с ней тогда произошло. Впрочем, все старались этого больше не вспоминать.

* Оглашенных, т. е. людей, получивших благословение на крещение и усиленно готовящихся к таинству.

КАК Я ПОССОРИЛСЯ С ДОВЛАТОВЫМ

Фотографировал таинство Паша, который тогда уже подружился с моим новым знакомым по академии – отцом Андреем Трегубовым. Отец Андрей, эмигрант из Москвы, недавно рукоположенный во иерея, служил на приходе в штате Нью-Хемпшир. Его храм находился на самой границе со штатом Вермонт, недалеко от городка, близ которого проживал со своей семьей Александр Солженицын. Вот так и получилось, что отец Андрей стал приходским священником современного классика. Батюшка увлекался резьбой по дереву, и с Пашей они быстро нашли общий язык: парень стал ездить к нему и работать в его мастерской. Вот тут и произошла новая история, для меня связанная с именем отца Александра Шмемана.

Как-то отец Александр, вернувшись с Радио «Свобода», где он еженедельно начитывал свои религиозные передачи, вызвал меня, тогда еще первокурсника, к себе в кабинет и вручил мне номер недавно появившейся русскоязычной газеты «Новый американец». Главным редактором издания значился писатель Сергей Довлатов. Тогда я был совершенно не знаком с его творчеством и знал только, что о его приезде в США не так давно писала вся русскоязычная пресса. Газета имела ярко выраженную еврейскую направленность и показалась мне малоинтересной. Я с удивлением взял номер из рук отца Александра. «Садитесь и почитайте, – предложил он мне, – тут статья про вас». Тогда я, мягко говоря, не был избалован вниманием прессы (свое имя я видел в печати всего пару раз), а статей про меня вообще еще не писали. То, что я увидел, было зубодробительным разносом. В статье – в лучших традициях газеты «Правда» – живописалось обо мне как о главе православной секты, занимающейся насильственным крещением евреев. Мне приписывались похищения еврейских детей, избиения до полусмерти их матерей и прочая чушь.

В частности, рассказывалось, что в редакцию явилась несчастная мать по имени Таисия и рассказала, что живущие в ее доме миссионеры похитили ее единственного сына, талантливого резчика по дереву. Паша стал пропадать в квартире Дворкина, мать как-то спустилась за ним – и что она увидела? В полумраке горели свечи, повсюду висели кресты и иконы, на стенах приклеены фотографии обряда крещения евреев (интересно, чем евреи при крещении отличаются от других людей?). Таисия якобы пришла в ужас и потребовала вернуть ей сына. В ответ на законную просьбу матери новоиспеченные христианские братья накинулись на нее, избили до крови и выкинули на улицу, откуда ее забрала «скорая». После этого Пашу увезли в Вермонт, где держат взаперти и не возвращают матери, умоляющей вернуть ей сына. В настоящее время, писала газета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, с тем чтобы насильники были призваны к ответу.

А заканчивалась статья призывом «крепко дать по кровавым рукам платным эмиссарам антисемитской клики в их многовековой борьбе против еврейского народа».

На самом деле, Тася просто побаивалась, что если о Пашиных походах в храм узнают, ее лишат какого-то еврейского пособия. Она поделилась опасениями со своими знакомыми, а те распространили известия так, что в конце концов они докатились до хозяев «Нового американца» – ортодоксальных американских иудеев. Те потребовали принять меры – так Пашина история превратилась в столь кровавый триллер.

Я взялся было объяснять своему ректору и духовнику, что все это неправда, но он решительно прервал меня. «Я и сам вижу, что все это откровенный и злобный бред, – сказал он, – но, думаю, вы должны радоваться. Это – первая высокая награда в вашем послужном списке. И, как мне кажется, далеко не последняя». Когда сегодня

в СМИ появляются все новые и новые клеветнические материалы в мой адрес, я часто вспоминаю оказавшиеся пророческими слова отца Александра.

Необходимо завершить эту историю. После публикации статьи Паша пришел в редакцию «Нового американца» и предъявил себя, доказав, что его не похищали, а маму не избивали и, окровавленную, на улицу не выбрасывали, не говоря уже о том, что во время описываемых «событий» меня вообще не было в Нью-Йорке. Выказав все это «новым американцам», юноша потребовал опубликовать опровержение. Но его просто прогнали вон. Ни опровержения, ни извинений мы не дождались.

После этой истории я долго из принципа не читал Довлатова. Впервые познакомился с его книгами я уже по возвращении в Россию и пожалел, что не читал их раньше. Так я простил ему ту позорную историю с неприличной газетой «Новый американец», которая, кстати говоря, просуществовала недолго. Вырезка из того самого номера у меня до сих пор где-то хранится.

Паша же крестился примерно через полгода после этих событий, когда ему исполнилось восемнадцать лет. Сейчас он – известный в православной Америке церковный резчик. Тася стала счастливой бабушкой нескольких внуков.

СУДЬБЫ СКРЕЩЕНИЯ

Римма крестилась зимой, а летом вышла замуж за Ричарда. Сейчас Ричард – весьма успешный художник, книжный иллюстратор, отец большого семейства.

Игоря Синявина за годы учебы в академии я потерял из виду. Много лет спустя, уже живя в Москве, я узнал, что он тоже вернулся в Россию, где отпал от Православия и стал одним из лидеров небольшой неоязыческой нативистской секты. Недавно он скончался. Что случилось с его женой и сыном – не знаю.

Тарасу Кордубскому все же позволили вернуться в СССР за несколько лет до начала перестройки. То ли в «Правде», то ли в «Известиях» опубликовали интервью с ним. Говорил он свои обычные вещи: о том, как плохо в Америке и как хорошо в СССР – стране свободы и изобилия. После этого он совершенно исчез с горизонта. Говорили, что жена, которой он все время посылал из Нью-Йорка шмотки и деньги, прогнала его, сказав, что в Америке он был ей нужнее, – на них она могла безбедно жить и не стеснять себя супружеской верностью. Где он сейчас и что с ним происходит – не знаю.

Гроднер вернулся в Москву в конце 90-х. Мой бывший учитель так и не крестился. Сейчас он широко известен в узких оккультных кругах и считается уважаемым мэтром эзотерики. Он преподает в одном из либеральных гуманитарных вузов Москвы что-то вроде раннехристианской письменности (!) и, конечно, введение в эзотерическую мысль. Жена его умерла, и он сочетался новым браком с молодой некрасивой восторженной оккультисткой. Выглядит он сильно постаревшим. Один раз я, столкнувшись с ним в парке и поздоровавшись, сказал, что наши с ним занятия все же пригодились мне: сейчас в основанном мною Центре св. Ириния Лионского мы противостоям сектам и оккультным учениям. «Да, помню Ириния Лионского, – злобно произнес Гроднер, – был такой еретик». Теперь, завидев меня на улице (такое случилось раза три), он спешит перейти на другую сторону.

Костя вскоре после моего поступления в академию женился, но что-то произошло между ним и его женой, и буквально через несколько дней после венчания он исчез. Обнаружился лишь год спустя на Афоне, куда уехал вдвоем с иеромонахом Давидом – американцем русского происхождения, исполнявшим обязанности повара в трапезной Зарубежного Синода. Был этот иеромонах лет на восемь старше нас, то есть тогда ему лишь немного

перевалило за тридцать. Вскоре он постриг Костю в малую схиму с именем Иосиф (подозреваю, что в честь Иосифа Прекрасного, бежавшего от женских прелестей). С тех пор оба они живут на Афоне в маленьком скиту, где я их в свое время навещал.

Алешина история закончилась полной противоположностью. Он долго жил в Джорданвилльском монастыре, принял постриг, закончил семинарию и даже начал преподавать там церковную историю. Однако несколько лет назад он позвонил мне в Москву. Сообщил, что понял свое несоответствие монашескому идеалу и посему покинул монастырь и женился. Теперь они с женой начинают новую жизнь в одном из штатов на севере США. Надеюсь, у них все сложится хорошо.

ПСИХОАНАЛИЗ В ЦЕРКВИ

Последнее, о чем осталось здесь рассказать – это о не красивой истории, уже после моего отъезда случившейся в нашем приходе – в храме Христа Спасителя. Как я узнал уже в академии, настоятелем храма официально считался отец Иоанн Мейендорф. Но он в храме появлялся весьма редко, и я его ни разу там не встречал. Настоятелем его назначили в виде компромисса: отец Стивен (Стефан) Пламли был старше отца Иакова по возрасту и по хиротонии, но приходской совет, целиком состоявший из старых эмигрантов, был категорически против настоятеля-американца. Так было принято соломоново решение – настоятелем назначили отца Иоанна Мейендорфа, но роль его ограничивалась председательством на ежегодном приходском совете. Служил в храме Христа Спасителя он не чаще двух-трех раз в год.

Но именно ему как настоятелю пришлось разруливать разразившийся скандал. Случился он примерно год спустя после начала моей учебы в академии. Дело в том, что отец Стивен был профессиональным психотерапев-

том, сохранившим свою практику и после рукоположения. Личные психотерапевты (или «шринки»*) – это неотъемлемая составляющая американского общества. Можно сказать, что интеллигентским семьям положено иметь своего «шринка», который фактически играет роль духовного отца. Психотерапия не только заменяет для многих американцев религию, но и, на мой взгляд, сама является своего рода религией. Разумеется, совершенно несовместимой с Православием.

Однако священник Стивен Пламли все же в своей голове (и в своей пастырской деятельности) эти две религии совмещал. Выглядело это так. Часто во время исповеди он говорил кающемуся: «В этом деле в качестве священника помочь вам я не могу. Но могу – в качестве психотерапевта. Я принимаю по такому-то адресу в такие-то часы. Для прихожан нашего храма предоставляется скидка. Платить можно кредитной картой и в рассрочку».

Так как большая часть членов американской общины состояла из его клиентов, долгое время об этой особенности пастырской деятельности Стивена Пламли никто не знал. Лишь через несколько лет факты стали выплывать наружу. Началось разбирательство, на время которого священника отстранили от служения. Но это вызвало еще большие проблемы. Группа прихожан написала открытое письмо митрополиту с требованием немедленно вернуть их духовного отца в храм, а заодно – пересмотреть положение геев в Церкви, признать гомосексуальную любовь нормой и начать регистрировать однополые браки! Оказалось, что у американской части нашего прихода уже давно была репутация известного гомосексуального сообщества. Протоиерей Стивен все

* От англ. shrink – сжимать.

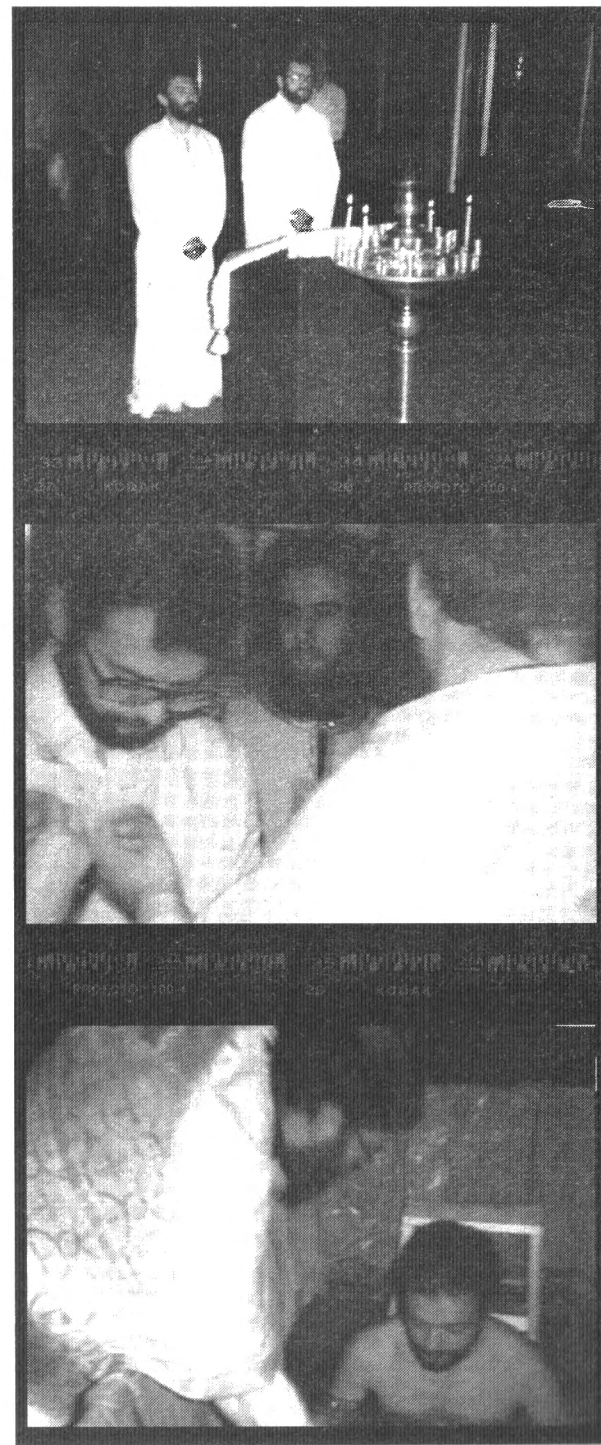
это поощрял и поддерживал, а нью-йоркские геи очень любили захаживать к нему на службу, петь «мистические мелодии» на клиросе и даже подходить к Чаше с Причастием!

Тут уже ждать было невозможно. Священника-психотерапевта почислили за штат и отправили на покой, а американскую общину сильно почистили. Уже в обновленном составе она переехала в арендованное помещение близ Колумбийского университета и получила статус миссионерской. Возглавил ее Стивен Моррис – тезка священника-психотерапевта и муж той самой хмурой, некрасивой Сары. Он поступил в академию через год после меня и еще через год был рукоположен во иерея. Выглядел он по-прежнему растерянным интеллигентом, всклокоченным и неопрятным, взирающим на мир через толстые стекла очков. Тем не менее брак их с Сарой оказался весьма плодородным, и за несколько лет они стали многодетными родителями.

Но, увы, и эта история имеет весьма грустное продолжение: года через четыре после начала своего священнического служения Стивен вдруг исчез. Несколько месяцев спустя на имя митрополита пришло письмо от Морриса, в котором он сообщал, что давно уже осознал себя гомосексуалистом и честно пытался бороться со своим влечением. Теперь он понял, что больше не в силах этого делать, так как именно в таком образе жизни заключается его счастье и призвание. Посему он слагает с себя сан, исчезает и просит более его не искать. Вместе с ним расточилось более половины той общины.

Сейчас ее остатки возглавляет другой священник. Но она все еще остается крайне малочисленной. Трудно вести миссию в Нью-Йорке.

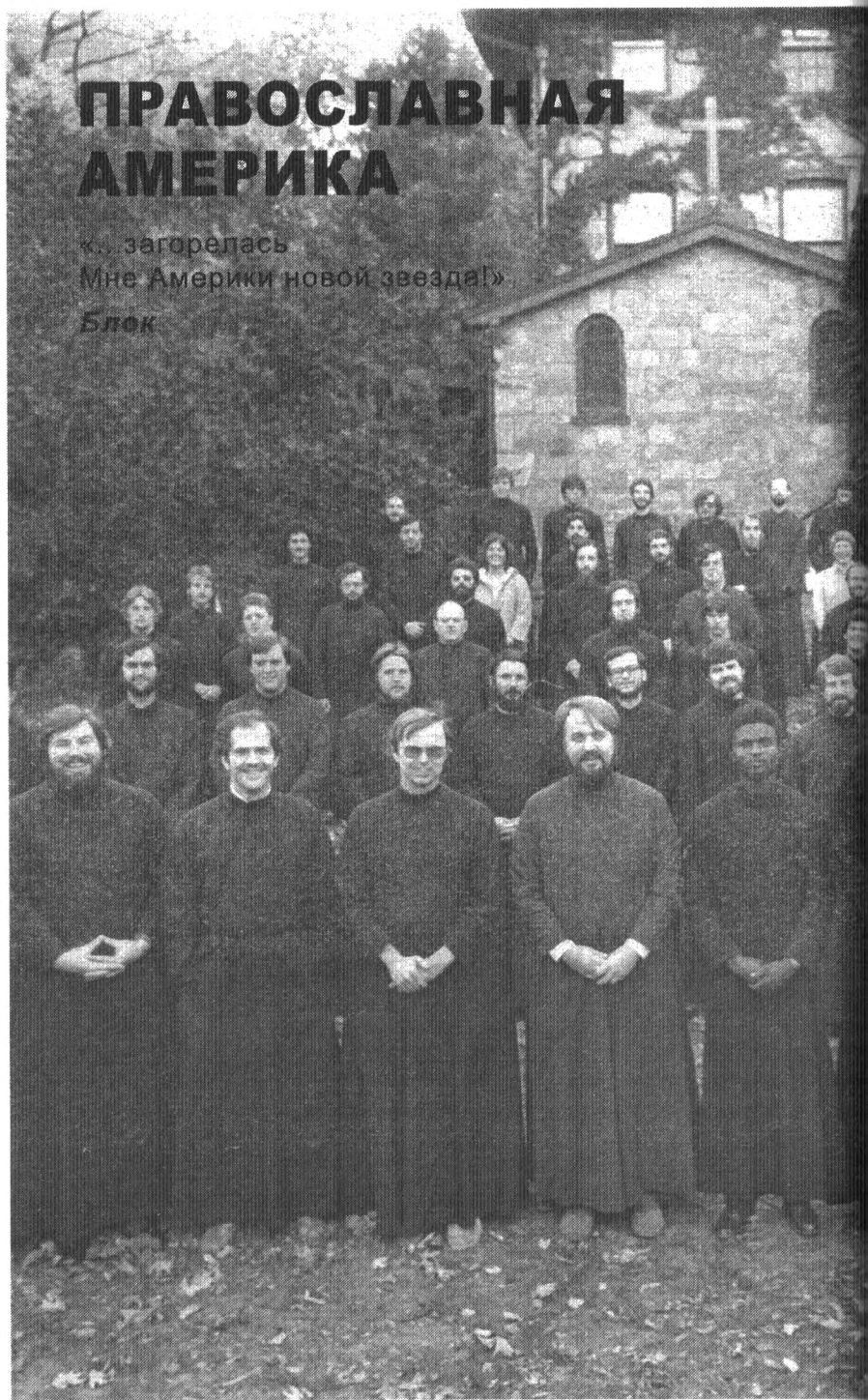
Крещение
Ринарда и Юры



ПРАВОСЛАВНАЯ АМЕРИКА

«...загорелась
Мне Америки новой звезда!»

Блек



КНИГА 2^я



АКАДЕМИЯ: ИСТОРИЯ И ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ

В начале сентября 1980 года я переехал в общежитие Свято-Владимирской православной духовной академии. По-английски она называется St. Vladimir's Orthodox Theo-

logical Seminary, отчего название ее иногда переводят на русский как «семинария». Однако словом seminary на английском называются все богословские школы, вне зависимости от их уровня. Поэтому это слово можно перевести и как «духовное училище», и как «семинария», и как «академия», в зависимости от уровня каждого конкретного



1983 год. Начало Пасхальной заутрени.
Плащаницу кадит о. Иоанн Мейендорф

духовного учебного заведения. Термин *Academy* (академия) в американском словоупотреблении обычно используется в наименовании либо рассчитанных на домохозяек самостоятельных коммерческих курсов (какая-нибудь Академия флористики или Академия йоги), либо заведений типа ПТУ (Академия парикмахерского искусства, Академия слесарного мастерства). Теперь можно немного рассказать о Свято-Владимирской Академии.

* * *

Академия была основана в 1938 году, но настоящая ее жизнь началась лишь в послевоенное время, когда возглавить ее пригласили отца Георгия Флоровского. Так получилось, что в своем родном Парижском Свято-Сергиевском институте прославленный богослов оказался не у дел. Война застала его в Белграде, откуда он смог выбраться лишь после ее окончания. К тому времени его место-профессора патрологии – оказалось занятым. Ему смогли предложить лишь один курс по нравственному богословию. По словам отца Иоанна Мейендорфа, Флоровский воспринял это весьма болезненно. Свой новый предмет он начал такими словами: «Всем известно, что в Православной Церкви нет учения о нравственности. Есть лишь учение о святости. Именно о нем мы с вами и будем говорить».

После этого преподаватель перешел к своему обычному курсу святоотеческого богословия.

Поэтому, когда отцу Георгию предложили возглавить православное учебное заведение в США и перестроить его согласно своим идеям, он с готовностью ухватился за эту возможность. Флоровский сразу же задал высокий академический стандарт: он потребовал, чтобы в возглавленную им академию принимали только с полным семинарским или высшим гуманитарным образованием, то есть минимум со степенью бакалавра. Разработанная им трехлетняя программа была чрезвычайно интенсивной и включала в себя полный курс академического богословия. В конце курса представлялась на защиту кандидатская работа, и, в случае успешного ее прохождения, выпускнику присваивалась степень кандидата богословия (*Master of Divinity*). Желающие могли продолжить обучение по следующей программе, длившейся два года, и после защиты новой диссертации получали степень магистра богословия (*Master of Theology*). Для присваивания докторской степени у академии, согласно американским законам об образовании, не было достаточ-

но ресурсов, так что желающие могли продолжить образование до степени доктора философии (PhD) или доктора богословия (ThD) либо в светском, либо в инославном теологическом учебном заведении.

* * *

Флоровский заложил основу академической жизни. В отличие от американской учебной системы, подразумевающей значительную свободу и вариативность выбора, практически вся наша учебная программа была фиксированной: лишь на втором и третьем курсах позволялось по одному факультативу в семестр. Созданный Флоровским curriculum^{*} практически без изменений продержался до начала 1990-х годов, когда после отставки отца Иоанна Мейендорфа новым ректором стал отец Фома Хопко – первый на этом посту представитель «родного» американского Православия.

Разработанный отцом Георгием богослужебный круг^{*} для студентов держится до сих пор. Службы в академическом храме, кроме особо оговоренных, обязательны для всех. День начинается с утрени. Чин ее сильно сокращен. Самое заметное сокращение – отсутствие канона, от которого остался только *Мagneфикат* – Песнь Богородицы. Зато после *Трисвятого* читается Евангелие, взятое из чинопоследования третьего часа. По окончании службы студенты произносят учебные проповеди: рукопоставленные чтецы – после Евангелия, остальные – после отпуста. Проповедь не должна превышать трех минут. В пять часов вечера – вечерня, которую служат практически полным чином. В субботу вечером – всенощная, в воскресенье – литургия. Если на неделю не выпадает двенадцатого или еще какого-либо великого праздника, который отмечают по уставу, то раз в неделю, в день наиболее чтимого святого, служит ранняя литургия.

Рождественским и Великим постами к этому кругу добавляется еще малое повечерие, которое служат в десять вечера. Кроме того, Великим постом по средам служит литургия Преждеосвященных Даров. Начинают ее в пять вечера, и причастники (а это почти все) проводят весь день в абсолютном посте. По пятницам в академическом храме «Преждеосвященную» не служат, предоставляя возможность студентам помолиться в нью-йоркских приходах, помогающих многим из них во время учебы.

Первые три дня Великого поста все занятия отменяются. В храме служит полный уставный круг богослужений – каждое

* Учебная программа.

в свое время. В промежутках между службами специально приглашенный проповедник поучает всех присутствующих. В эти три дня полагается соблюдать полное безмолвие и проводить их в сосредоточенной молитве, не отвлекаясь ни на какие разговоры. Этот период заканчивается общей трапезой после вечерней литургии Преждеосвященных Даров в среду – первой горячей трапезой с начала поста. В четверг возобновляются академические занятия.

* * *

До сих пор вспоминаю удивительные ощущения от тех постов. Они наступали неотвратимо, день за днем приближали нас к их началу. Вот и масленица, когда все объедались блинами, потом Прощеное воскресенье, вечерня с умиленным чином прощения, потом последняя обильная трапеза, и вот просыпаешься утром совсем в другом мире. Долгие службы с промежутками минут в сорок-пятьдесят, за которые я с кряхтением клал триста поклонов – свою ежедневную постную норму, чтобы вновь приплестись в храм на подгибающихся ногах, непривычные безмолвие и тишина, пустые столы в трапезной, где подавали лишь холодную картошку в мундире и хлеб, серьезные лица студентов. Вечерние «Преждеосвященные» литургии, когда читаешь на клиросе, а пересохший от голода и жажды, почти наждачный язык едва ворочается во рту и физически начинаешь ощущать, что значат слова Псалмопевца: «Душа моя яко земля безводная к Тебе». А вот и середина поста – поклоны уже совсем не так обременительны, тело ощущается тонким, звонким и прозрачным, пружинящие ноги сами собой несут тебя в храм, в воздухе разливается пьянящий свободой запах весны. Ну и, конечно, незабываемая Страстная седмица, опять полный круг богослужения – и утром и днем и поздно вечером... В пятницу вечером особое, ни на что не похожее чтение Иезекиилюва пророчества и утром светлая, наполненная тихой радостью служба Великой субботы с ее пятнадцатью паремиями

(до сих пор – моя любимая служба года), вкушение сушеных смокв и фиников после абсолютного пятничного поста, а затем почти безмолвный, как бы застывший и невозможно длинный день ожидания бурного пасхального веселья. Только немного грустно, оттого что кончается пост, кончается усилие, и вскоре мы вновь отяжелемся утучняющими яствами. Но на самой Пасхальной службе эта грусть мгновенно забывается и переполняющая радость льется через край.

В академии я впервые вжился в полный круг богослужбной жизни Церкви, и, поскольку службы велись по-английски (из-за самого разнообразного происхождения студентов это был их единственный общий язык), так получилось, что английский в какой-то степени стал моим первым (и почти родным) богослужбным языком. Я всегда брал славянские тексты в храм, чтобы, слушая службу по-английски, следить за ее ходом по-славянски. И тем не менее сейчас я, как это ни парадоксально, скачаю по английскому богослужению, и в тех редких случаях, когда я его слышу, меня переполняет ностальгическое чувство.

Богослужбный английский несколько отличается от разговорного, но, конечно, меньше, чем славянский от русского. Хотя переводы есть разные – так сказать, разные школы переводов. Некоторые считают, что язык должен быть более современным, но в академии, как правило, придерживались золотой середины, используя язык, близкий Библии короля Якова, созданной в XVII веке. И все равно, до сих пор английский перевод все еще находится в рабочей стадии. Многие из версий вообще не были опубликованы, и приходилось служить по машинописным распечаткам (компьютеры тогда еще только-только появлялись). Все это разрабатывается и публикуется постепенно, и, я думаю, настоящий перевод будет долгие годы еще выкристаллизовываться.

* * *

Итак, если Флоровский заложил фундамент будущей академической жизни, то строить на нем довелось уже другим. Он создал теоретическую базу, а вот для ее практического воплощения в жизнь нужны были совсем иные дарования. К сожалению, отец Георгий был совершенно непрактичным человеком, к тому же – с чрезвычайно сложным характером. А для успешного функционирования учебного заведения требовались деньги, которые можно было получить только от спонсоров. Пользуясь екуменическими связями Флоровского, пока удавалось раздобыть небольшие средства от римо-католиков и протестантов, но вечно это продолжаться не могло: православная академия должна была существовать на средства самих православных. Но как это осуществить?

Отцу Георгию требовалась своя команда. И он ее создал. В самом начале 50-х годов он выписал из Парижа молодого, но уже довольно известного священника отца Александра Шмемана и профессора-догматиста Сергея Сергеевича Верховского. Через несколько лет в академию прибыл и отец Иоанн Мейендорф. Так сложился костяк ее профессорско-преподавательской корпорации, который я застал почти целиком. Увы, кроме самого отца Георгия Флоровского, который еще в 50-е годы из-за серьезного конфликта с попечительским советом покинул академию и переехал в Принстонский университет, где и преподавал до конца жизни, окруженный славой, почетом и восторженно внимающими великому человеку студентами. В предыдущей книге я описал последнюю отслуженную отцом Георгием литургию, на которой мне выпало счастье присутствовать и молиться.

Новый ректор отец Александр Шмеман создал материальную базу для существования академии и приобрел для нее территорию бывшего женского католического монастыря к северу от города. Так академия впервые обзавелась собственными помещениями. Сейчас от монастырских корпусов осталось только облицованное серым гранитом центральное здание, а вокруг стоят органично вписанные в ландшафт новостройки. В мое время их было куда меньше, и центральное здание доминировало над всей территорией. Я еще застал переделанный из католической часовни старый академический храм – маленький, уютный, намоленный и очень тесный. За время моей учебы построили новый – более просторный и более представительный храм.

* * *

Студентов в академии обучалось немного – всего около ста человек или чуть меньше. Большая часть жила в общежитиях – двух мужских и женском. Семейным приходилось снимать квартиры неподалеку. Сейчас на территории уже выстроены общежития квартирного типа для женатых студентов. Тогда же таких квартир было только две, и их отводили самым многодетным. Преподаватели жили в домиках на территории и в еще нескольких, расположенных в пешеходной досягаемости от академии.

Возраст студентов был самым разным. На наш курс (набор 1980 года) почти все пришли не сразу после университета, а уже успели хотя бы немножко почувствовать жизнь, поработать и приобрести определенный опыт. Поэтому я оказался там далеко не самым старшим, хотя мне уже исполнилось 25 лет. Были студенты 27–28 лет, были мои ровесники и лишь несколько человек моложе меня.

Большинство студентов обучалось по основной программе – на кандидата богословия. Несколько человек продолжали свое образование по магистерской программе. Девушки, как правило, поступали на регентские курсы. Кроме того, была и совсем зеленая еще молодежь – ребята, захотевшие получать богословское образование сразу после школы. Специально для них был заключен договор с двумя близлежащими университетами, в которые они могли поступить по выбору. Жили они в академическом общежитии и даже проходили у нас некоторые богословские дисциплины, которые засчитывались им в их учебных заведениях. По получении степени бакалавра они автоматически переходили на академическую магистерскую программу.

Обучение и проживание в академии было платным (как и во всех учебных заведениях США), но очень дешевым. Если память мне не изменяет, в начале 1980-х годов эта сумма составляла около трех тысяч долларов

в год. Но зато большую часть хозяйственных работ приходилось выполнять самим студентам. Каждому назначалось послушание, которое должно было занимать не более шести часов в неделю. Это могла быть и работа на кухне: штатный повар у нас имелся, а вот помогали ему студенты. В субботу–воскресенье повар отдыхал, и на всех готовил специально назначенный студент. В послушания входили уборка территории, работа в библиотеке и книжном магазине (весьма значительном источнике доходов для академии) и – самое почетное – алтарное служение. Чистота и порядок в общежитиях поддерживались самими студентами.

Еще один способ заработка академией денег назывался «Октет». В начале лета восемь лучших голосов нашего хора на микроавтобусе с прицепом отправлялись в путешествие по Америке. Каждый вечер они давали концерты в православных храмах, пели за богослужением, продавали книги и отправлялись дальше. И так три месяца... Помимо финансового дохода это путешествие играло важную роль: люди знакомились с семинаристами и проникались идеей важности качественного богословского образования. Таким образом, друзей у академии становилось все больше.

Этой же цели служил День православного образования. В первую субботу октября на территории академии ставили громадные тенты. В одном из них – самом большом – служили литургию, которую возглавлял митрополит всея Америки и Канады (он занимал должность президента академии). В других были книжные и иконные лавки, лотки с сувенирами и прилавки с блюдами разных православных народов: сербскими, греческими, русскими, украинскими, румынскими, арабскими и прочими. Все это готовилось и обслуживалось силами студентов, выпускников и добровольных помощников из православных приходов города и приносило весьма солидный доход в академический бюджет. Но поработать

для подготовки и проведения этого дня, а потом на уборке приходилось изрядно...

* * *

Итак, богослужебная жизнь, послушания... Но при этом академическая нагрузка была весьма и весьма плотной: за три года нужно было овладеть программой, которую в России проходили за восемь (четыре семинарских года и четыре академических), и защитить диссертацию. Американская система обучения подразумевает большое количество курсовых – по каждому изучаемому студентом курсу, каждый семестр. То есть четыре курса – четыре курсовика, страниц по двадцать каждый. Во всех комнатах постоянно трещали электрические пишущие машинки, лишь через пару лет начали появляться компьютеры, но принтеры тогда были только матричные, и они трещали еще громче машинок. Студенты все время писали.

Экзамены сдаются дважды: в середине семестра и в конце. Все испытания (кроме языковых) – письменные. Итоговая оценка складывается из четырех компонентов: курсовик, два экзамена и работа на занятиях. В общем, система потогонная. Но в первом семестре имелась еще одна особенность: в его середине все мы должны были сдать экзамен по содержанию Библии – Ветхого и Нового Завета. Провалившим его предоставлялась возможность одной пересдачи – через год. После провала второй попытки следовало отчисление.

Преподавателем Ветхого Завета был коренной палестинец (то есть человек с настоящим семитским мышлением), протоиерей Павел Тарази. В первый же день он, со своим ярко выраженным акцентом, сообщил нам, чтобы мы забыли о всяком богословии. «На моих занятиях, – добавил он грозно, – никакого богословия я не потерплю! Богословие начнется только тогда, когда вы будете знать Текст!»

И он ткнул пальцем в раскрытую Библию, которую держал на ладони.

Отец Павел предупредил, что в день страшного испытания он напишет на доске названия любых трех библейских книг, и мы должны будем по главам изложить их содержание. Экзамен по Новому Завету (этот предмет читал тишайший и вежливейший профессор-серб Веселин Кесич, оказавшийся, впрочем, очень въедливым экзаменатором) несколько отличался: нам обещали выдать листки с ключевыми терминами, фразами, именами и географическими названиями, по которым нужно восстановить их контекст. Кроме того, нас могли попросить сопоставить повествования о Страстях Христовых в разных Евангелиях или идентифицировать те или иные притчи Спасителя, отнеся их к нужному Евангелию.

Все это нам сообщили в первые дни. Так что готовиться надлежало начинать сразу же.

* * *

Занятия, как и богослужения, велись на английском. Единственное, что мне позволялось – это писать курсовики на русском языке – естественно, в том случае, если преподаватель его знал. Но это само собой разумелось: было бы довольно странно писать по-английски для отца Александра Шмемана или отца Иоанна Мейендорфа.

Интернациональность была особым достоинством академии, ибо она ощутимо давала почувствовать, что Православие – это не этническая русская, греческая, сербская, румынская вера, но вселенская религия со вселенской миссией. Невозможно забыть удивительные академические Пасхи, когда мы пели тропарь по очереди на самых разных языках. Студенты знали, как сказать «Христос Воскресе! Воистину Воскрес» на всевозможных наречиях, и все друг друга поздравляли. И чем экзотичнее новый язык,

тем больше радовались и тем скорее разучивали. Это отражалось даже на нашей семинарской трапезе, потому что повар всегда старался готовить пищу разных православных народов – сербские, греческие, арабские, русские блюда...

Напряжения академической жизни добавляло и то, что мы сразу были поставлены в очень жесткие рамки, которым требовалось соответствовать. Затем порядок немного смягчился, но мы застали еще прежние времена и удивительный состав преподавателей, делавших академию очевидной преемницей парижского Свято-Сергиевского института, а через нее – русских дореволюционных школ. Сейчас, после смены двух поколений преподавателей, академия этого лишилась.

В чрезвычайно плотный график обучения втискивали солидный список предметов, на каждый из которых (кроме языковых) отводилось два часа в неделю. Остальное время – самоподготовка, громадный список книг для чтения, бесконечные курсовые. И все нужно успевать – читать, писать...

...И выполнять послушания. Первый год я работал в обеденной команде, где пять дней в неделю нужно было накрывать на стол, а после трапезы убирать и мыть посуду. Второй год я поддерживал порядок на территории (занимался в основном садовыми работами), а на третий меня назначили на самое престижное в академической общине послушание – помощником в алтаре. Потом, когда я уже поступил в докторантуру, но оставался жить в академии, я стал старшим алтарником и передавал знания своему преемнику.

В самом начале второго года обучения, 14 сентября 1981 года, митрополит всея Америки и Канады Феодосий произвел мое пострижение и хиротесию (рукопоставление) в чтецы. В тот год академия жила без своего храма: старый был разрушен, а новый строился. Ежедневные богослужения проходили на крытой веранде основного

здания, а воскресные и праздничные – в крипте католического костела напротив. Там, в крипте, митрополит и произвел меня в чтецы. Положенный текст я читал по-славянски, запинаясь от волнения. В ранней Церкви служение чтеца было учительским, что отражено в молитве на поставление в этот церковный чин, где испрашивается помощь Божия на чтение и толкование Писания. Вот так и вышло, что вся моя дальнейшая жизнь оказалась связанной с учительством и преподаванием – или, коротко, – со служением слова.

Алтарное послушание дало мне еще один навык – иподиаконское служение. В академический храм часто приезжал митрополит Феодосий, посещали его и другие иерархи. В лучшем случае они привозили с собой одного иподиакона, а то и вовсе прибывали без них, зная, что в академии есть мы. Была у нас и другая функция: когда Нью-Йоркский архиепископ Петр выезжал с визитами на приходы епархии, настоятели звонили в академию и «одалживали» нас. Мы помогали в архиерейском служении, присутствовали на приеме в честь архиерея, а потом возвращались домой. Так удавалось еще и немного подработать (настоятель обычно выдавал нам конвертик с «благодарностью»).

Мне повезло: у меня были замечательные учителя-алтарники. Главным из них стал Мирко Добриевич – американец сербского происхождения. Он был идеальным алтарником: все службы знал наизусть, дневал и ночевал в алтаре, сам чинил и гладил облачения и составлял подробные письменные подсказки для алтарников и священников. Мирко был высоким красивым парнем и даже думал о вступлении в брак, но у него никак не получалось завязать знакомство с девушкой, потому что говорить он мог только о богослужениях. А если он хотел развлечь девушку забавной историей, то рассказывал, как, например, такой-то архиерей, забывшись, на *Трисвятом* взял

дикирий и трикирий вместо дикирия и креста: «Представляете себе, как смешно?»

Неудивительно, что после получаса таких разговоров его собеседники извинялись и вспоминали о каких-то неотложных делах, требующих их присутствия в другом месте. Так Мирко и не удалось жениться. Может, это и к лучшему, ибо теперь он служит своей родной Сербской Церкви в епископском сане в далекой Австралии. Уверен, что его богослужения проходят идеально.

* * *

Дисциплина в академии (все-таки она была закрытым учебным заведением) для американских студентов казалась неслыханной по строгости, хотя воспитанники русских духовных школ сочли бы ее чрезвычайно либеральной. За грубые нарушения дисциплины, равно как и за вопиющие проступки против нравственности, полагалось отчисление, и это было не пустой угрозой: каждый год обычно исключали двух-трех человек. Алкоголь на территории, кроме тех случаев, когда его подавали в общей трапезной (по большим праздникам), запрещался. Женское общежитие было закрыто для студентов мужского пола, а мужские – для женского. Для выхода за территорию академии требовалось благословение. Позже одиннадцати вечера, если не было каких-то особых обстоятельств, позволялось находиться либо в своей комнате, либо в библиотеке. Но в богатой академической библиотеке можно было сидеть хоть всю ночь. Хотя, кроме справочной литературы, которая не выдавалась на руки, все остальное мы брали в комнаты и занимались там (если, конечно, это не мешало спать соседу).

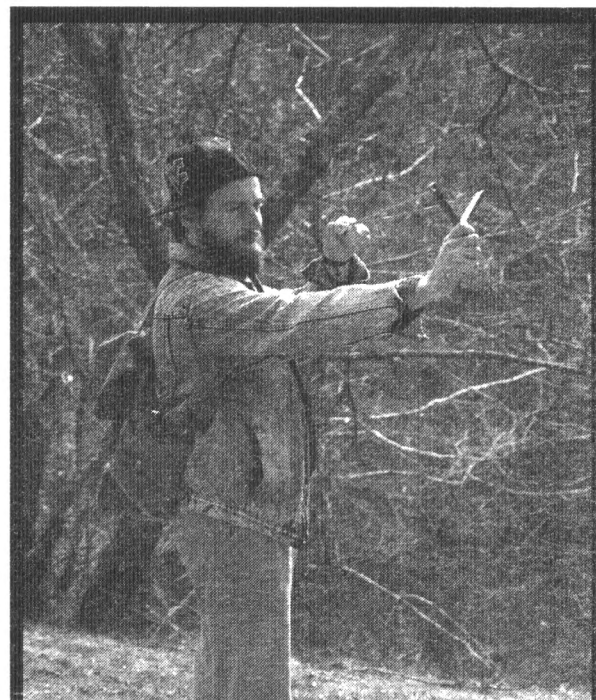
Занятия проходили либо с утра, либо вечером, уже после ужина. Остальное время отводилось на самостоятельную учебу. В субботу и воскресенье занятий не было,

так что в эти дни нужно было найти время, чтобы написать очередной курсовик.

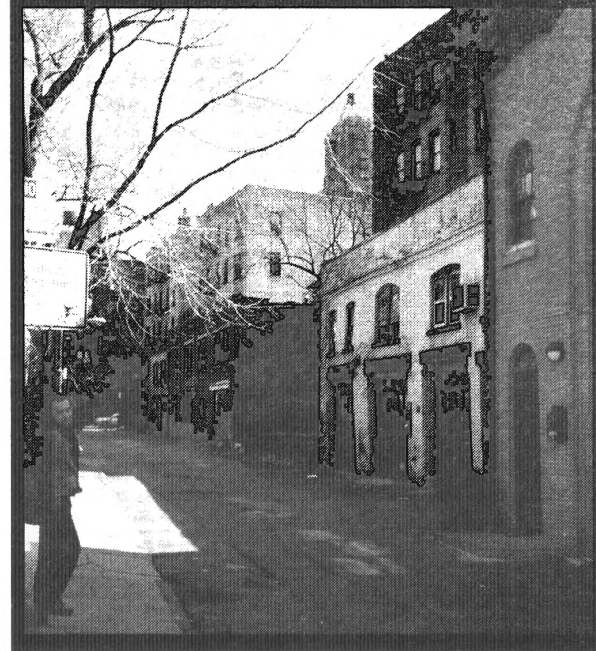
Напряженная академическая жизнь продолжалась и в общении: у нас возникали богословские дискуссии, что, впрочем, было естественно, поскольку мы открывали для себя целый неведомый и чрезвычайно интересный мир. Например, на протяжении нескольких месяцев студенты бурно обсуждали проблему авторства Корпуса Псевдо-Дионисия Ареопагита, потом жаркие дебаты велись об афтартодокетизме. Некоторые споры затягивались на всю ночь – до четырех-пяти утра. В результате, по просьбе студентов, было проведено несколько формальных диспутов в академических аудиториях, где арбитром выступал отец Фома Хопко. Впрочем, в роли беспристрастного судьи он не удержался и сам принял деятельное участие в споре, примкнув к одной из сторон, позволяя возражать себе и даже подавлять себя на слове...

Раз в месяц группа желающих отправлялась на экуменическую дискуссию. Мы собирались поочередно в одной из богословских семинарий Нью-Йорка и обсуждали заранее оговоренную тему. Помимо православных, присутствовали семинаристы-католики, пресвитериане, епископалы, лютеране и баптисты, а иногда кто-то еще, например иудеи-реформаты. Я съездил на эти дискуссии пару раз и больше не стал: все оказалось скучным и однообразным. Независимо от предварительно заявленной темы, обсуждение неизменно скатывалось на два предмета: причастие гомосексуалистов (о браках между ними тогда еще речи почти не шло) и женское священство. При этом дискуссия проходила в виде нападков на православных, против которых объединялись почти все присутствующие. Весь вечер нам приходилось отбиваться от все более агрессивных прогрессистов. Католики, довольные тем, что, благодаря нам, их присутствие остается незамеченным, тихо отсиживались в сторонке, предпочитая не вступать в скользкую дискуссию.

В национальном парке
в Западной Вирджинии



Улицы
Тринити-Виллидж





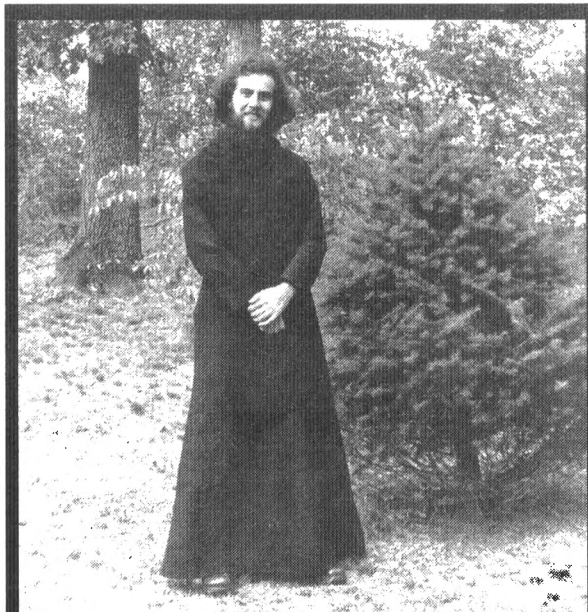
Семинаристы
(слева — инспектор
отец Павел Лазор)



Училище
в моей комнате.
Слева от меня
Джефф Макдональд
и Даниил Струве



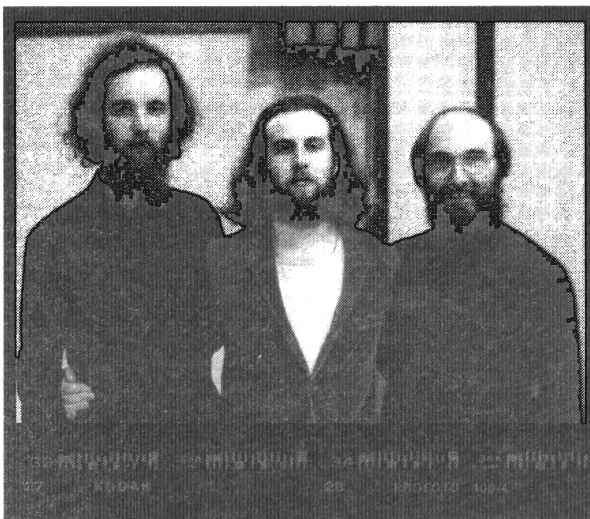
Однокурсники
в академии



Я — семинарист



и временной звонницы



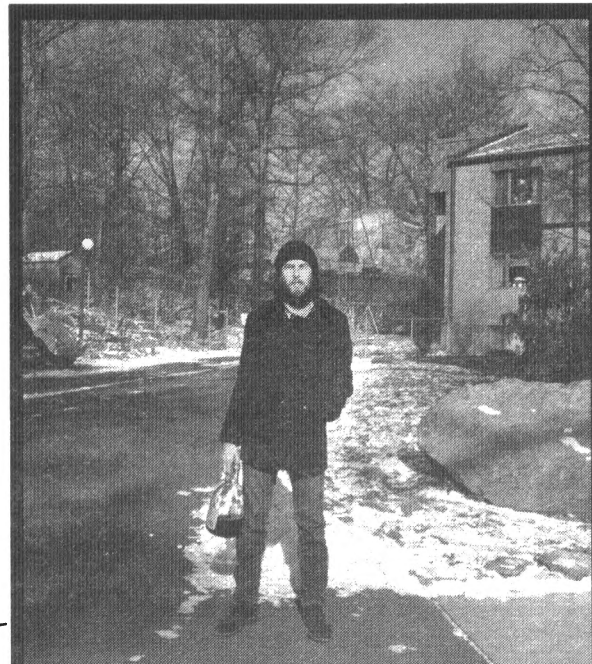
Перед нашим путеше-
ствием на Афон.
Джеффри слева



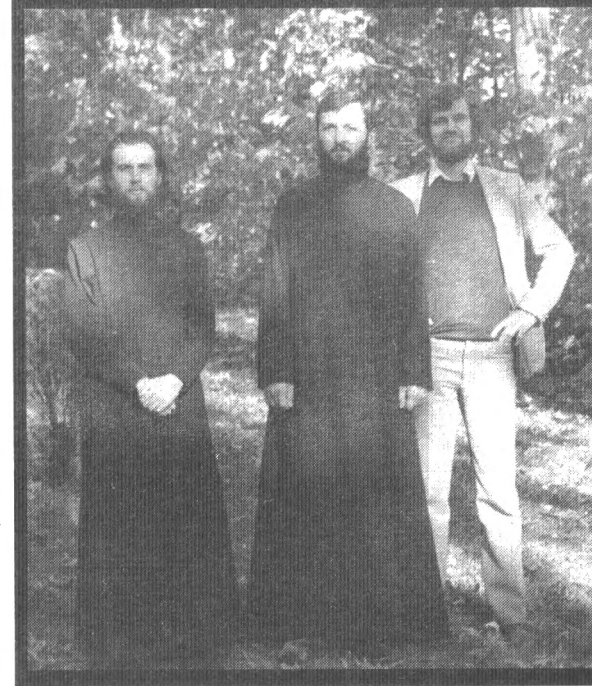
Отец Фома Хонко
(слева)



Алтарники:
подготовка к Пасхе



Зима. Перед обще-
житием



С соучениками.
Справа —
Йосст ван Россум

В общем, мы жили очень интересной и напряженной христианской жизнью.

* * *

Замкнутость и малочисленность коллектива — менее ста пятидесяти студентов, преподавателей и сотрудников академии (большая часть которых жила либо тут же — на территории, либо в непосредственной близости от нее) — создавали особую семейную атмосферу небольшого поселка. Преподаватели часто приглашали студентов в гости. Были и традиционные посещения. Например, выпускная группа ежегодно ужинала у ректора, а великопостными средами, после вечерней Преждеосвященной литургии, все студенты по очереди вкушали спагетти с мидиями у отца инспектора. Студенты бывали у преподавателей на масленичных блинах, на Пасху, Рождество и Крещение. Последний праздник, правда, приходился на зимние каникулы, когда в академии оставалось совсем мало учащихся (почти все разъезжались на две недели по домам). Мы, оставшиеся, ходили со священниками по преподавательским жилищам, пели тропарь, священник совершал кропление, а хозяева угощали гостей (и наливали им чего-нибудь согревательного), так что к концу хор звучал уже не слишком стройно. Один раз после такого похода мой однокурсник уронил свою машину в водопад. Накануне он вышел из нее весьма навеселе, забыв поставить ее на ручной тормоз, и она задним ходом скатилась в разбухший от зимних дождей ручей, который принес ее к водопаду. Проснувшись утром, мы увидели автомобиль, который висел задними колесами над бездной и каким-то чудом ухитрялся сохранять равновесие и не рухнуть вниз. Его извлекали при помощи подъемного крана...

Общинная жизнь, в которой все были вместе — студенты, преподаватели, где каждый день начинался сутрени, заканчивался вечерней, с общим участием в Евхаристии,



Звонница



Освящение воды
на Богоявление.
Внизу Павлик Лазор.
С крестом —
о. Иоанн Мейендорф

общим Причастием, давала нам очень многое. Конечно, в такой небольшой закрытой общине неизбежны и теневые стороны – мелкие ссоры, которые на месте кажутся очень большими, слухи, сплетни, когда все про всех все знают, – увь, это неизбежно. Но все это в конце концов оказывалось неважным, несущественным, потому что главное – ощущение, что мы все принадлежим к единой Церкви, единой христианской семье, занимаемся очень важным делом. Конечно, то, что я сейчас напишу, будет большим преувеличением, но все же... В чем-то нашу тогдашнюю жизнь можно сравнить с тем, как Григорий Богослов описывает свою юность, повествуя, как они вместе с Василием Великим учились в Афинском университете и знали только две дороги – в храм и в библиотеку. Но то было посреди большого языческого города, с его соблазнами и искушениями. У нас же все было проще – мы жили на маленьком очень красивом клочке земли, со своим водопадом и ручьем, и все пути пролегали между библиотекой, занятиями и церковью. Большой языческий город находился на некотором отдалении, и чтобы попасть в него, требовалось определенное усилие.

Академия находилась в северном пригороде Нью-Йорка. При желании до города было несложно добраться. Но все-таки для этого нужно было дойти до станции (минут десять) и сесть на электричку или ехать на автобусе (кстати, самый дешевый способ) до конечной станции метро на севере Бронкса. Таким образом, часа за два можно было добраться до нужного места в городе. Но все же такое путешествие занимало как минимум полдня, а vykpoить их в плотном графике было весьма сложно.

Графство Вестчестер, к которому административно принадлежала академия, было одним из самых богатых графств США (по уровню доходов населения оно всегда

Хиротесия в итецы.
Сзади о. Александр
Шмеман

Крестовоздвижение
1981. Пострижение
в итецы

С Митрополитом
всех Америки
и Канады Феодосием





Однокурсники



1984 г. Мой письменный стол с «Братством кольца» Дж.Р. Толкиена



Я в своей комнате в общежитии. Такие фотографии я посылал маме, чтобы она представляла себе мой быт

входило в первую пятерку). Собственно, академия попала туда случайно: в момент приобретения собственности земля в графстве стоила еще довольно дешево. Потом она резко подорожала: жить в Вестчестере стало престижно. Вокруг стояли роскошные особняки – почти что замки. Выходя вечерами на прогулку, я наблюдал невероятно скучную жизнь американского «upper middle class». Впрочем, я писал о ней в прологе.

Озверевшие от безделья и вседозволенности банды подростков шатались по окрестностям. Любимым развлечением недорослей было угонять машины и, разогнав их, запускать в озеро, успевая при этом выпрыгнуть на ходу. Периодически из озера вытаскивали эти машины. Напомню, что, живя в Гарлеме, я никогда не боялся гулять по своему району. Но когда вечером, возвращаясь через перелесок от электрички в академию, я встречал группу развязных белых отмороzków, мне становилось не по себе.

* * *

За несколько десятилетий до моего появления в академии здесь шумел густой лес. Постепенно строились дома, зеленый массив сужался и для лесного зверья оставалось все меньше места. Постепенно животные приспособились жить вблизи человека: начали попрошайничать, залезать в помойки и подворовывать пищу с магазинных складов.

На нашей небольшой территории, помимо вездесущих в Америке белок, встречалось довольно много зверей: бродили по ночам скунсы, еноты и опоссумы, вылезали из нор сурки. Пару раз я даже видел дикобразов.

Помню, жена нашего протодиакона, разбившая за семейным общежитием огороδικ, жаловалась, что помидоры не успеют вызреть, как их кто-то подьедает. Однажды из своего окна я увидел этого «кого-то»: крупный толстый сурок, не спеша, приковылял на грядки, уселся и стал объедать помидорный куст, выбирая самые спелые плоды.

Красивые пушистые черно-белые скунсы свободно бродили по окрестностям. И люди и звери их боялись и обходили стороной, ведь, по слухам, они могут выстреливать своей вонючей жидкостью на расстояние до десяти метров. Скунсы неагрессивны и «стреляют» неохотно, если, конечно, их не испугать. Однажды мой однокашник вышел из дверей общежития рано утром и... наступил на развалившегося под дверью скунса. Всю его одежду пришлось выкидывать, а сам он в течение следующей недели отлеживался в ванне с томатным соком. Подойти к бедному парню мы смогли только дней через десять.

Как-то я вызвался переночевать на нашей зеленой лужайке, чтобы посторожить установленные перед Днем православного образования палатки: местная шпана могла запросто перерезать шпагаты. Ночью я проснулся от подозрительного шороха, выглянул из своего спального мешка и вдруг в метре от себя увидел копошащегося скунса! Меня прошиб холодный пот, я застыл на месте, а наглый зверь не меньше получаса выгуливался вокруг меня, обнюхивая окрестности. Лишь когда он удалился, я вздохнул с облегчением, но долго еще не мог заснуть.

Однажды утром мы увидели в мусорном контейнере молодого енота: ночью он, видно, прыгнул туда, но выбраться уже не сумел. Услышав голоса приближающихся людей, зверек упал на спину и притворился мертвым. Однако он не мог совладать с любопытством и один глаз оставил открытым: им-то он и поглядывал на нас. Мы опустили в контейнер толстый сук и отошли в сторонку. Почувствовав себя в безопасности, енотенок быстро вылез из западни.

А один взрослый енот, которого я называл Петькой, даже научился поджидать меня каждый день после ужина у выхода из трапезной. Я выносил ему что-нибудь поесть, и он с благодарностью принимал мои гостинцы. Летом я уехал на каникулы, а осенью уже не нашел его —

видно, не дождавшись меня, Петька отыскал себе нового покровителя

Из окна своей комнаты я видел потрясающих своей вычурной красотой синих узорных соек и пламенно красных кардиналов, голосистых пересмешников и многих других певчих птиц, чьих названий я не знал. По утрам можно было заслушаться их концертами.

Но была в американской природе одна ловушка. Это poison ivy — ядовитый плющ. Совсем незаметное маленькое растение, он встречается повсюду, и если его не знать, можно нарваться на страшные проблемы. Дело в том, что плющ — очень мощный аллерген, действующий на любого человека (кроме индейцев, у которых к нему иммунитет: у американцев существует поверье, что индейцы прокляли природу, чтобы она вредила бледнолицым). Достаточно дотронуться до него или даже погладить задевшую его собаку (на животных он не действует), как через два-три дня на коже появляются большие волдыри и начинается мучительный зуд. Потом они лопаются, и там, куда попадает вытекшая жидкость, появляются новые волдыри, которые чешутся не меньше прежних. Все это длится не менее двух недель. Если плющ случайно попадет в костер и кто-то вдохнет дым от него, пузыри появляются в легких, а это может привести даже к смертельному исходу.

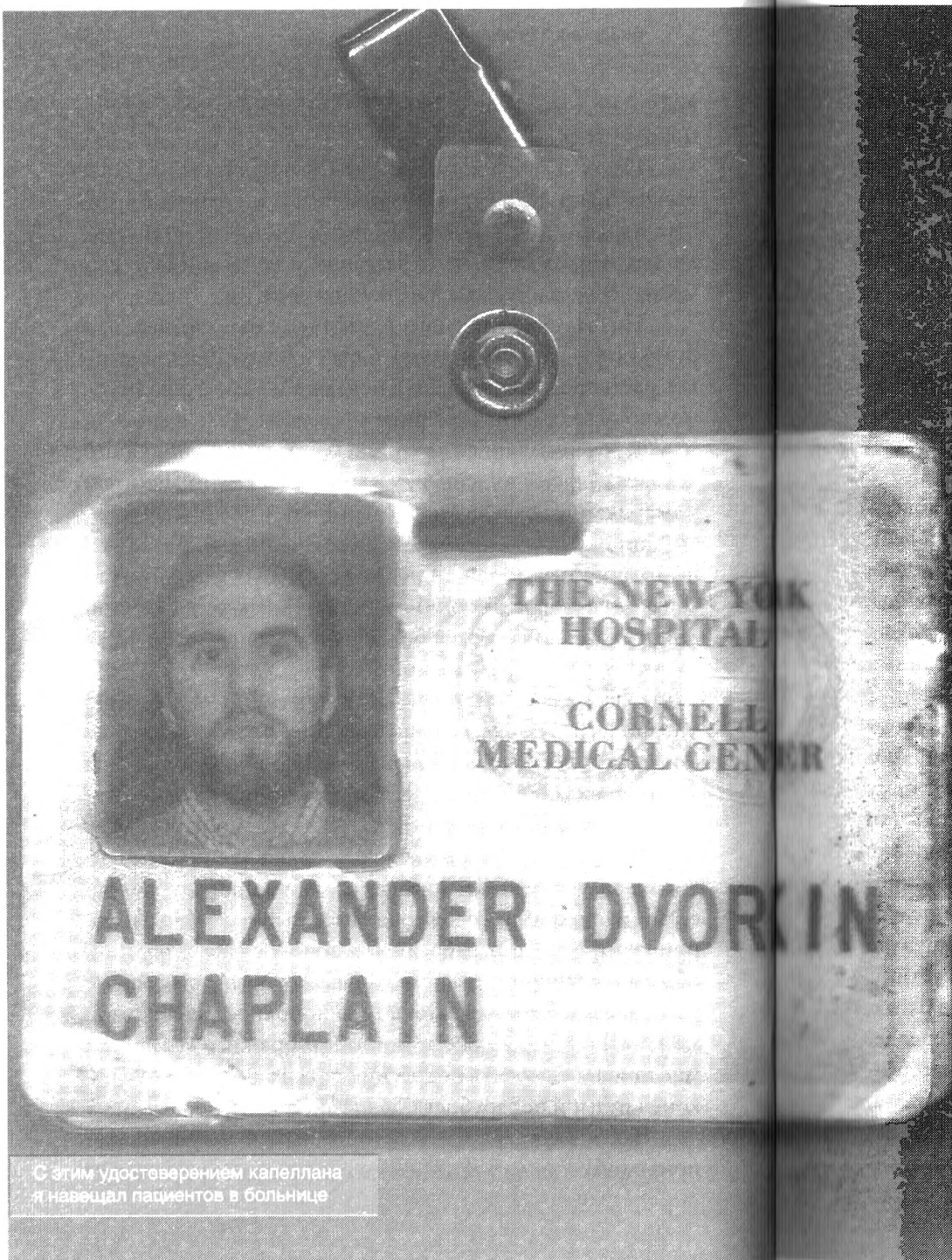
Я долго не верил в ядовитый плющ, считая, что это американская легенда: они-де не любят природу, боятся ее, вот и придумывают невероятные страшилки. Но на втором курсе академии, работая на газонокосилке, я, видимо, обрызгался соком ядовитого плюща, который тогда еще не распознавал. Через два дня волдыри полностью покрыли мои ноги так, что я даже не мог надеть брюки, и две недели мне пришлось носить подрясник поверх шорт, пока наконец пузыри не зарубцевались, а зуд не успокоился.

Так я научился быть осторожным с американской природой!

ГАС-ПОГОРЕЛЕЦ И ДРУГИЕ

Помимо напряженного академического цикла обучения, в программу входили еще и практические занятия. На третьем курсе нас обязывали пройти пастырскую практику по одному главному направлению и трем побочным. Выбор состоял из служений в больнице, в тюрьме, в старческом доме, в военной академии, в церковноприходской школе и так далее. По каждому – основному и побочным направлениям – требовалось набрать определенное количество часов. Я начал с больничного служения. Раз в неделю ездил в город, где проводил полдня в громадном госпитале, с которым у академии был договор. В регистратуре мне давали список больных. Дело в том, что при поступлении в больницу пациенты (по желанию) указывают свое вероисповедание и отмечают, хотят ли они, чтобы их посетил капеллан. Затем я шел к своим больным (обычно их оказывалось человек пять-шесть). С каждым я беседовал, предлагал помолиться вместе и спрашивал, желают ли они исповедаться и причаститься. Их имена я в тот же день передавал ответственному за наше служение священнику, и на следующее утро он приходил в больницу со Святыми Дарами.

Нескольких моих больных я вспоминаю до сих пор. Одна пожилая дама (назовем ее Мария), лежавшая после операции на сердце в реанимации, происходила из известной русской дворянской семьи



С этим удостоверением капеллана я навещал пациентов в больнице

Трубецких, и мы с ней даже нашли нескольких общих знакомых. Она была спокойна и очень собрана. Моему визиту Мария обрадовалась, тем более что никак не ожидала, что капеллан будет русскоязычным. Мы с ней побеседовали, помолились, и я обещал, что завтра с утра к ней придет священник. После моего ухода больную посетила сестра, та рассказала ей о моем визите, они пообщались, но вдруг Марии резко стало хуже, и она, несмотря на активные усилия врачей, скончалась. В тот же день сестра позвонила мне и рассказала о ее смерти, попросив молиться об упокоении ее души. Так вышло, что наша совместная молитва и стала ее последним разговором с Богом в этой жизни и подготовила ее к переходу в вечность.

Второй запомнившийся мне пациент был совсем другим. Этот молодой (лет тридцати) грек лежал в ожоговом отделении. При входе меня заставили раздеться и облачили во все стерильное: рубаху, штаны, бахилы, шапочку на голову и маску на лицо. Страдалец лежал на кровати голый, если не считать обильно смазанных какой-то желтой мазью марлевых повязок, покрывавших большую часть его кожи. Видно было, что он очень мучается. Говорил с трудом, закатывая глаза от боли, лицо его подергивалось. Очень просил поскорее привести к нему священника для исповеди и Причастия. Звали его Гас (то есть Густав), что можно было расценить как сокращение от Августина. Под таким именем я его записал в синодик и начал поминать в молитвах. На следующей неделе я почему-то приехать не смог и, прибыв в больницу еще через неделю, сразу же направился к бедному Августину. Его уже перевели в палату для менее тяжелых больных, что я понял сразу же по приходе в отделение. Переодеваться меня больше не заставили, лишь выдали матерчатые бахилы на ноги. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я шагнул внутрь, — это обложка журнала «Плейбой» в руках лежащего на постели человека, который

внимательно разглядывал его страницы. Лица человека не было видно. Он был так увлечен своим занятием, что даже не заметил моего присутствия. Я деликатно кашлянул, и Гас (это оказался именно он), густо покраснев, стал запихивать журнал под подушку. Я задал несколько дежурных вопросов и вышел. Видно было, что Августин начал поправляться...

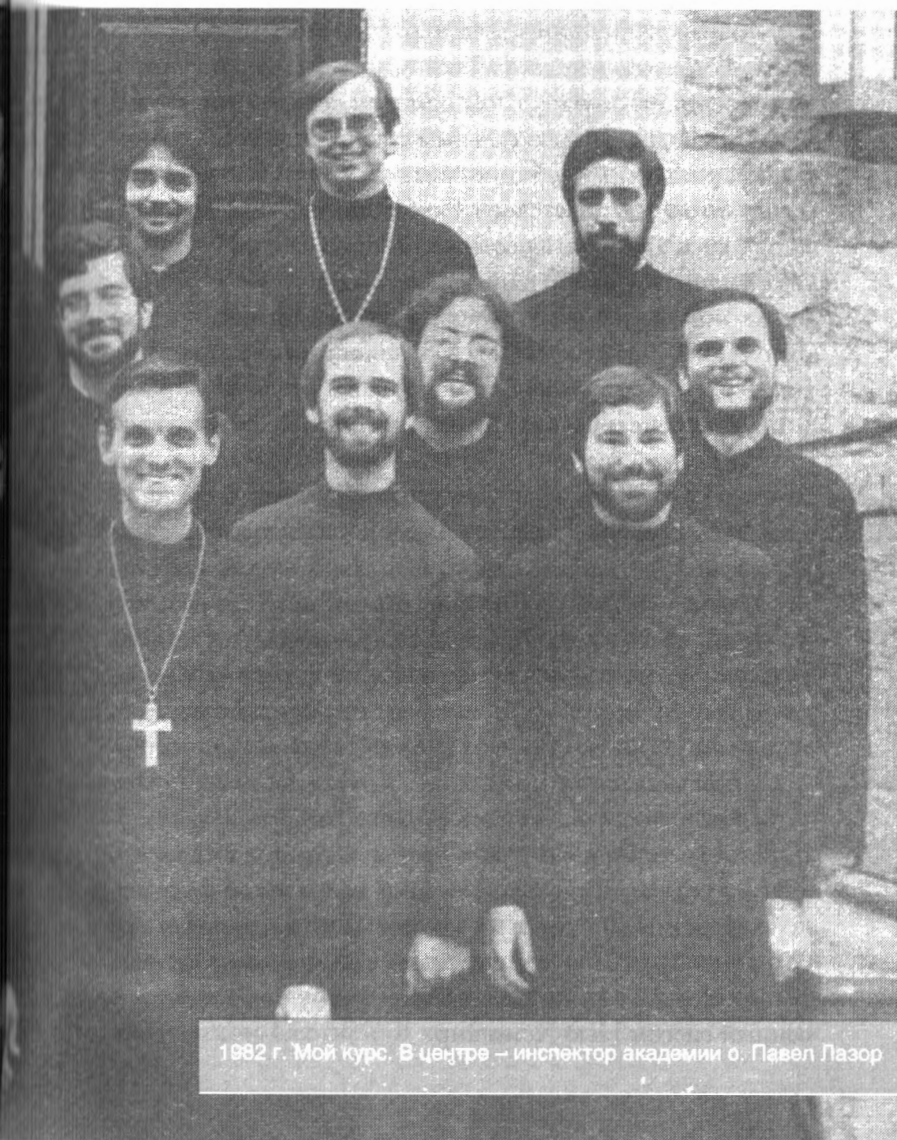
СЕМИНАРИСТЫ

РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ

Но вернемся к моей жизни в академии. Первоначально студенты ютились по пять-шесть человек в комнатках на



верхних этажах главного корпуса. За два года до моего поступления наконец-то построили новое общежитие, и жизнь стала вполне комфортной. Все комнаты были для одного и двух человек. Обычно по одному жили студенты третьего курса и магистранты. Остальные, как правило, жили по двое.



1982 г. Мой курс. В центре – инспектор академии о. Павел Лазор

С общежитием, которого я больше всего боялся, мне сразу же повезло. Оказалось, что соседом моим назначили отца Андрея Трегубова – уже упомянутого мною приходского священника Солженицына. Его рукоположили пару лет назад еще до окончания им академического курса. Из-за приходской занятости батюшка смог продолжать образование лишь в четверть нагрузки и приезжал всего на два дня в неделю. Таким образом, я практически стал хозяином двухместной комнаты, а один вечер в неделю проводил с увлекательным собеседником.

Так получилось, что я оказался третьим студентом-эмигрантом из Советского Союза, но первым, который окончил академию. Крестивший меня отец Иаков поступил учиться много раньше, но кандидатку свою он написал и защитил лишь через несколько лет после моего выпуска. Отец Андрей Трегубов поступил вторым, но после рукоположения уехал на приход в Нью-Хемпшир, и обучение прервалось. Городок, в котором он служил, стоял на самой границе с Вермонтом, где и располагалось поместье Солженицына. Сам писатель в храм никогда не ходил (говоря, что, если он придет, все будут смотреть на него, а не молиться), но семья его посещала богослужения регулярно. Зато на территории самого поместья имелся домовый храм. Отец Андрей служил там два-три раза в год, и еще несколько раз служили посещавшие Солженицына отец Александр Шмеман и Аляскинский епископ Григорий (Афонский). Эти службы Солженицын отстаивал и причащался за ними.

В год моего поступления отец Андрей решил попытаться возобновить учебу, чтобы мало-помалу довести дело до конца. Насколько я помню, надолго его не хватило и академию он так и не закончил, но зато стал моим соседом. Дружба с отцом Андреем мне многое дала. В свои первые каникулы я поехал к нему в гости в занесенный снегом Нью-Хемпшир.

Второе, с чем мне повезло, – это с однокурсниками. Наш курс оказался чрезвычайно интересным, в некотором роде – даже уникальным. На церемонии нашего окончания академии оказалось, что не менее восьмидесяти процентов от общего числа выпускников получили дипломы с отличием. В американской системе образования предусмотрены три степени отличия: простое (средняя оценка не ниже 4+), особое (не ниже 5–) и «круглое» (не ниже 5). Так вот, даже круглых отличников у нас набралось три человека. Почти все остальные выпускники были отмечены простым или особым отличиями. Еще предусматривалась четвертая форма поощрения: отметка об отличной кандидатке, то есть не просто защита, но отличная защита. Но в нашем случае решили об отличной защите даже не говорить, потому что отличников и так было слишком много. Такое обилие способных и мыслящих людей – причем самого разного происхождения и с самым разным жизненным опытом – способствовало созданию удивительной атмосферы нашей студенческой жизни.

Если не считать отца Андрея, я тогда был единственным среди студентов, рожденным в России (кроме вольнослушательницы Ларисы Волохонской – сестры петербургского авангардного поэта). Кроме нас, во всей академии училось всего два свободно говорящих по-русски студента: один – курсом старше меня и другой, не проживавший в общежитии, – на магистерской программе. Оба они были местными уроженцами, происходящими из эмигрантских семей.

Первый – Александр Гарклавс – был сыном известного чикагского протоиерея Сергия Гарклавса – приемного сына архиепископа Иоанна (Гарклавса), эмигрировавшего из Латвии в послевоенное время. В одном из лагерей для перемещенных лиц тогдашний епископ подобрал и усыновил беспризорного мальчишку, впоследствии ставшего отцом Сергием. В их семье хранилась чудотворная

Тихвинская икона Божией Матери, увезенная епископом от поругания и недавно возвращенная на Родину его сыном. Сейчас внук архиерея – мой бывший однокашник Александр Гарклавс – протоиерей. Он несколько лет исполнял послушание Управляющего делами Православной Церкви в Америке.

Другой русскоязычный студент – Алексей Либеровский – происходил из семьи потомков первой, белогвардейской, волны эмиграции и принадлежал к третьему поколению, живущему вне России. Его отец и мать родились в Югославии, а он – уже в Канаде. С Алешей я познакомился в свой первый день в академии и дружу до сих пор. После Мирко Добриевича он стал моим вторым учителем по алтарному и иподиаконскому служению.

Первый раз я присутствовал в алтаре при архиерейской литургии в своем родном храме Христа Спасителя: там служил тогдашний епископ Нью-Йоркский и Нью-Джерсийский Петр, и Алеша привез меня из академии помогать. Службу я тогда знал плохо и поэтому не могу сказать, в какой ее части произошло это событие.

Владыка попросил иподиакона Алешу передать ему митру, на что тот, ничтоже сумняшеся, отказал, сказав, что в этот момент надевать ее не полагается.

– Да нет, сейчас я должен ее надеть, – смиренно возразил архиерей.

– А я говорю, что сейчас вы ее не наденете! – парировал властный иподиакон.

– Но я же – епископ, и это – моя митра, – попытался владыка зайти с другой стороны.

– Вот – порядок архиерейского служения. Сейчас вы служите с непокрытой головой!

– Знаете, – все еще мягко, но уже с некоторым раздражением произнес епископ, – сейчас я приказываю вам – передайте мне мою митру!

Алеша нехотя повиновался, но до конца службы негодуяще разводил руками и бросал гневные взоры на владыку.

Так я и не знаю, кто из них был прав в этом литургическом споре, но до сих пор поминаю архиепископа Петра (Л'Юилье) и его небывалое смирение.

А мой друг Алексей Павлович Либеровский сейчас служит главным архивистом Православной Церкви в Америке.

«КОНВЕРТЫ»

Среди моих соучеников были самые разные люди. Несмотря на корни нашей академии, русские среди них составляли явное меньшинство. Помимо уже упомянутых мною, несколько человек были американцами русского происхождения с разной степенью владения русским языком. Но самая крупная этническая группа в академии состояла из местных уроженцев карпаторосского происхождения, чьи предки приехали в США в конце XIX века из Австро-Венгрии. Их родным языком был смешанный русско-украинско-польско-венгерский диалект, который они называли «по-нашому» (Does he speak po-nashomu?). Поколение моих ровесников уже в основном не говорило на диалекте и владело только английским.

Кроме них, со мной учились студенты арабского (у них была некоторая автономия, и несколько раз в неделю они собирались дополнительно для занятий по их литургике, арабскому языку и богослужебному пению), греческого, сербского, болгарского и румынского происхождения. Были и единичные иностранцы: финны, японцы, поляки, венгры, румыны, французы и даже один

* Он говорит по-нашему? (англ.)

жужноафриканец. Училось у нас и несколько представителей монофизитских церквей: Эфиопской с Ямайки, Малабарской из Индии и прочие. Но больше всего (не менее 50%) насчитывалось обращенных в Православие так называемых «конвертов» – то есть американцев самого разного происхождения, обретших истину в Церкви.

* * *

Одним из самых моих близких друзей стал Джефффри Макдональд – американец шотландского происхождения, из старинного клана Макдональдов. По рождению он, разумеется, принадлежал к пресвитерианской церкви – национальной церкви Шотландии. Родители его были не слишком церковными, но все же по воскресеньям водили детей на службу и в приходскую школу. Джефффри с детства отличался от всей своей родни. Отец его считался весьма успешным менеджером, и в семье была сильна предпринимательская жилка. А старший сын – тихий, книжный мальчик – главным смыслом жизни видел служение Богу. В пятнадцать лет Джефффри обратился в баптизм, увидев там искренне и горячо верующих людей. Он ничего не делал наполовину и, окончив школу, поступил в самый известный баптистский библейский университет, где решил специализироваться на новозаветной археологии.

После второго курса Джефффри поехал в Палестину, где все лето работал на раскопках. И тогда он впервые задался вопросом: а когда же началось отпадение верующих от библейских принципов, о котором говорили его учителя? Он решил провести собственное исследование. Каким было первое поколение христиан после написания Нового Завета? Так Джефффри познакомился с посланиями ученика святого Иоанна Евангелиста – священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского – одного из первых христианских богословов, принявшего мученическую кончину в царствование императора Трая-

на (107 г.). Епископа Игнатия арестовали в его родном городе, когда он был уже в весьма преклонном возрасте, и в узах повлекли в Рим, чтобы бросить на растерзание львам на арене цирка. По пути святой Игнатий писал послания церквям в тех городах, через которые его проводили.

Джефффри придирчиво проштудировал эти письма и убедился, что по духу они ничем не отличаются от библейских текстов. Он перешел к следующему поколению и стал читать писания священномученика Поликарпа, епископа Смирнского, младшего современника святого Игнатия, также казненного римскими властями на арене цирка в его родном городе Смирне в 155–156 годах в возрасте 86 лет. Проконсул предложил ему похвалить Христа и идти с миром. «Восемьдесят шесть лет я служу Ему, – отвечал Поликарп, – и никакой обиды не претерпел от Него. Как же я могу похвалить Царя моего, Который меня спас?» И в его писаниях даже самому взыскательному взгляду придаться было не к чему – мученик Поликарп ни в чем не отходил от библейского духа.

Джефффри познакомился с трудами святого Иустина Мученика – первого христианского философа, интеллигента, который, получив блестящее образование, искал высшую мудрость по всему свету и нашел ее в христианстве. Он был казнен в Риме при императоре-философе Марке Аврелии между 162 и 168 годами. Далее мой друг стал читать труды священномученика Иринея Лионского – малоазийского грека, ученика святого Поликарпа, уехавшего в далекую Галлию и ставшего там епископом, миссионером и богословом. Он принял мученическую кончину в 202 году. И опять все эти писания были образцами библейской мысли, библейской веры и библейского духа.

Так, шаг за шагом, молодой баптист дошел до сегодняшнего дня, до писаний святителей Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника и современных православных

богословов, и убедился, что библейская традиция, Предание никогда не прерывались и живут в единой и единственной исторической Церкви Христовой. Так он стал православным, наконец завершив свои поиски Церкви, в которой истинно служат Богу. Когда его принимали в Церковь, ему нарекли имя Серафим – в честь преподобного Серафима Саровского.

Нужно сказать, что у Джеффри-Серафима на всю жизнь сохранились характерные для искренних баптистов честность и щепетильность – качества, к которым мы, православные, зачастую относимся, увы, весьма небрежно.

По обращении в Православие ему оставалось доучиться еще год в его баптистском университете. Ситуация осложнялась тем, что все студенты при поступлении давали обязательство на все время обучения отказаться от употребления спиртного под угрозой изгнания из университета. Но в американских православных церквях заправка после Причастия всегда состоит из вина с кипятком, и, принимая ее, он нарушал свое обещание. Поэтому Джеффри направился к ректору и подал ему докладную о том, что в силу изменившихся обстоятельств его жизни он не может более исполнять обязательства в данном пункте, о чем формально ставит ректора в известность и оставляет дело на его усмотрение. К чести ректора нужно сказать, что он позволил Джеффри закончить курс, а тот за оставшийся год в университете обратил в Православие нескольких своих однокурсников.

Сейчас он живет в маленьком городке в Техасе с женой (обратившейся в Православие нью-йоркской еврейкой, кстати сказать, смешанного белорусско-румынского происхождения) и пятью детьми, воспитывая их дома без телевизора и школы. Родители обучают детей по специально разработанной ими программе, с большим охватом знаний, чем в обычной американской школе, но зато без всепроникающей идеологии политкорректности,

разврата и консюмеристского американизма. И растут маленькие Макдональды несравненно более развитыми и воспитанными и, главное, целомудренными, чем их американские сверстники. Разумеется, они не мыслят своей жизни без Церкви, хотя ездить до ближайшего храма приходится 70 миль (примерно 110 км). Тем не менее они проделывают этот путь каждую неделю – на всенощную и на литургию, после которой Джеффри преподает в миссионерской воскресной школе для взрослых.

Несмотря на такую «неамериканскую» жизнь, мой друг – патриот своей страны, любит ее и желает ей добра. Дети прекрасно знают американскую историю, историю своей семьи на протяжении многих поколений, а что касается краеведения, то они дадут фору любому местному специалисту, ибо объездили и облазили в округе все, что только представляет хоть малейший интерес. Именно благодаря своему патриотизму Джеффри так переживает из-за происходящих в Америке перемен, превращающих ее из страны, основанной на христианских принципах, в антихристианский таран современной глобалистской цивилизации.

Чтобы противостоять этой всепроникающей тенденции, особый упор в обучении детей мой друг делает на гуманитарных науках: дети углубленно изучают литературу и историю, современные и древние языки. Занимаются музыкой с преподавателями и спортом в районном спортивном клубе. Для лучшего восприятия истории Джеффри подбирает для них исторические романы по разным эпохам (оказывается, в XIX веке в Англии их писалось множество), и таким образом исторические персонажи для детей оживают.

Существуют они по американским меркам очень скромно, в довольно старом дощатом домике, без особых технических приспособлений, но зато с множеством книг, которые активно задействованы в жизни семьи.

Как сейчас помню удивительную для Америки (да и для современной России) картину в доме моего друга, которую застал, навещая его несколько лет назад. Проснувшись рано утром, я вышел в гостиную. Джеффри с женой еще спали. Грудная малышка тоже спала в колыбельке в их комнате. В гостиной на диване сидели двое старших детей пятнадцати и двенадцати лет, уткнувшись каждый в свою книгу, а двое младших (шесть лет и четыре года) под их присмотром тихо (чтобы не будить родителей) играли на полу.

Устраивает Джеффри семейные конкурсы, викторины и даже конференции. Раз в год проводит толкиеновские чтения: книги английского сказочника – одни из самых любимых в семье.

В связи с этим вспоминаю еще одну весьма характерную историю про своего друга, также демонстрирующую удивительные черты его натуры. Была у него пленка с записью чтения Толкиеном одной из глав его «Хоббита». Как-то уже в Москве, году в 93-м, я вспомнил об этом и написал ему с просьбой выслать мне копию. Но тут Джеффри, обычно столь обязательный, замолчал (напоминаю, что это было еще в «доинтернетную» эпоху). Бандероль с кассетой пришла только через полгода. В сопроводительном письме Джеффри сообщил, что пытался купить мне кассету, но не смог ее достать, так как она была издана много лет назад и давно уже разошлась. Тогда он связался с фирмой-производителем и попросил позволить ему скопировать пленку в одном экземпляре для друга из России, гарантируя, что я не буду использовать ее в коммерческих целях.

Многие ли из нас обратили бы внимание на такую мелочь? Но жизнь состоит из мелочей, и Джеффри во всем старался отвечать за себя и свои слова. Не о таких ли людях сказал Господь: «Добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего!» (Мф. 25:21)?

* * *

Голландец Йоост Ван Россум закончил академию (магистерскую программу) несколько лет назад и уехал преподавать в семинарию на Аляску. Во время моей учебы он поступил на докторскую программу в иезуитский университет Фордхэм, на севере нью-йоркского района Бронкса, недалеко от границы с графством Вестчестер, где находилась академия. Ректор, отец Александр Шмеман, позволил Йоосту на время обучения жить в нашем общежитии и питаться в общей трапезной (через два года я воспользуюсь этим прецедентом и также останусь жить в академии на время прохождения докторской программы в Фордхэме).

Йоост был сыном кальвинистского пастора из города Гааги. С детства он помогал отцу, играл на органе в его кирхе. Когда мальчику было около пятнадцати лет, он впервые поехал в Париж. Гуляя по улицам французской столицы, он заметил необычное церковное здание, зашел туда и оказался в русском православном храме. Службы не было. На скамеечке сидел седобородый старец в черной рясе, который ласково поздоровался с юным голландцем. Так Йоост познакомился с замечательным русским архиереем – епископом Александром (Семеновым-Тянь-Шанским), кстати сказать, сыном знаменитого путешественника и первооткрывателя. Вскоре Йоост принял Православие с именем Иоанн (в честь святого евангелиста Иоанна Богослова) и стал духовным чадом владыки.

Отец, хоть и был недоволен выбором сына, не стал ему препятствовать (знаменитая голландская терпимость!), и Йоост, закончив университет, дальнейшее образование получал уже православное (в Свято-Владимирской духовной академии, аспирантуре, докторантуре).

С отцом моего друга я познакомился много позже, когда Йоост заканчивал докторантуру в США (диссер-

тацию он писал о преподобном Симеоне Новом Бого-слове), а я проезжал через Голландию по пути в какую-то из Балканских стран. Йоост, проводивший каникулы на родине, пригласил меня переночевать у них.

На пороге дома меня встретил бодрый и улыбчивый старичок, который, пожимая мне руку, спросил по-английски с сильным голландским акцентом: «Скажите, а вы тоже тринитарий?» Поскольку это был первый вопрос, после того как Йоост представил меня, а также и из-за его акцента я сразу, что называется, «не въехал» и переспросил, что он имеет в виду.

– Вы тоже верите в божество Христа? – перефразировал свой вопрос старичок.

– Да, конечно, я тринитарий, – отвечивал я.

– Вот и мой сын такой же, – широко улыбаясь, сообщил мне пастор, – а я – унитарий. Забавно, правда?

Тут мой ум вновь отказался регистрировать его слова, и я, решив, что ослышался, опять попросил его повторить. «Я не верю в божество Христа», – громко и как-то радостно информировал меня отец моего друга.

Действительно, в доме его не было ничего, что напоминало бы о профессии хозяина – все-таки пастор как-никак! Ни креста, ни картины на библейскую тему – ничего! Только на лестнице в узком витражном окне переливалась всеми цветами радуги шестиконечная еврейская звезда.

Тут я понял ту готовность, с которой Йоост обратился в Православие: именно в Православии сын пастора впервые познакомился с настоящим христианством.

Сейчас он профессор в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже.

* * *

Еще один из наших студентов – ныне известный в США православный блоггер Марк С. (американец норвежско-

го происхождения) – впервые столкнулся с Православием на своей родине, в США, в городе Сиэтле.

Как-то он заметил на улице здание весьма необычной архитектуры. Его шпили почему-то были увенчаны куполами странной луковичной формы. На фасаде он прочитал, что это православная церковь – деноминация, о которой он до этого ровно ничего не слышал. Из любопытства он зашел внутрь и понял, что попал на службу. Внутреннее убранство этой церкви поразило его своей необычностью. Все пространство посередине было пустым – столь привычные скамейки отсутствовали. Впереди мерцало тусклое золото стены из священных изображений. Они виднелись повсюду – на стенах, на специальных подставках, – но стиль их был Марку совершенно непривычен. Молящихся в храме он вообще не заметил – может быть, там и было несколько человек, но они не запечатлелись в его памяти. Невидимый хор (очевидно, он размещался наверху) пел странные, совершенно неземные мелодии. Прошел бородатый священнослужитель в странной парчовой накидке, кадя весь храм по окружности. Но несмотря на эту пустоту, мой знакомый явно ощутил Божественное присутствие в этом храме. Так он стоял, не зная, где он находится – на небе или на земле, как вдруг увидел древнюю старушку. Тяжело опираясь на свою палочку, она зашла в храм и направилась к иконам. Поцеловав ту, которая была помещена на центральном столике со скошенной крышкой, старушка стала прикладываться к изображениям, висевшим на стенах храма. Видно было, что ходить ей трудно, но она продолжала свой многосложный паломнический путь. Обойдя все иконы, старушка направилась прямо к моему знакомому, одиноко стоявшему посреди пустого храма. Когда она подошла вплотную к молодому человеку, тот широко улыбнулся ей и хотел было поздороваться, но она довольно ощутимо ударила его своей клюкой по ногам и сказала с резким русским акцентом: «Это мое место!»

Таково было первое знакомство Марка с Православием. Несмотря на столь «неудачное» начало, оно имело свое продолжение и закончилось весьма благополучно: через пару лет он принял церковное крещение.

* * *

Американец болгарского происхождения Стивен Костов обратился в Православие через чтение Достоевского, который полностью перевернул его жизнь, а католик Джоэль О'Хара – через изучение отцов Церкви. Канадский кальвинист Эндрю Морби поступил в академию, еще не будучи православным, и был принят в Церковь на праздник Введения Богородицы во храм в наш первый год обучения. Я стал его крестным отцом. Сейчас он – маститый протоиерей ПЦА. Сын лютеранского пастора Стивен Старенко, только став православным, узнал, что он украинского происхождения: до этого он считал свою фамилию немецкой.

История еще одного моего однокашника весьма драматична. Тим Перри родился в Калифорнии в семье португальца и итальянки. После окончания университета он решил в корне изменить жизнь, уехал на один из Карибских островов и открыл там школу подводного плавания. За несколько лет его бизнес достиг процветания. Тим был вполне доволен жизнью и не желал для себя ничего лучшего. Как-то он решил отдохнуть в совершенно новой обстановке и отправился в отпуск на Аляску. Суровая северная природа этого края настолько его поразила, что он захотел остаться там на некоторое время. «Немного» растянулось на семь лет, в течение которых он вел полную приключений жизнь, внешне вполне в духе произведений Джека Лондона. Принципиальная разница состояла в том, что герои американского писателя стремились к земному обогащению, а Тим искал духовного. Ищущий обрящет, и мой знакомый нашел драгоценное сокровище

в Православии. Чтобы лучше узнать его, он прибыл в Свято-Владимирскую академию. Во время обучения Тим познакомился с девушкой из семьи нью-йоркских греков, женился на ней и увез ее с собой на Аляску. Сейчас он священник на острове Уналашка в Алеутской гряде. А вещи его так и остались на Карибском острове. Никогда он не выберется съездить и забрать их...

Один из моих обратившихся в Православие однокашников недавно был избран митрополитом всей Америки и Канады.

Иные люди приходили к Церкви совсем необычными путями. Так, один из моих однокашников узнал о Православии через партнеров по македонским народным танцам, которыми он увлекался. Правда, он надолго в академии не задержался.

Другой, звали его Том Джонс, вначале обратился в католичество через знакомых поляков, а затем через изучение польского языка столкнулся с русским и так заинтересовался Православием. Помню забавную историю из его «польского» прошлого. Как-то Тома пригласили на торжественный банкет в честь какой-то важной годовщины. Вход был по приглашениям: прибывающие гости называли свои фамилии охраннику у дверей, который сверял их с имеющимся у него списком. Фамилии звучали самые странные для американского уха: Пшебышмышльский, Равзиенклопшскиевич, Кшепшонкальшский... Их и выговорить было невозможно. Тем не менее охранник прекрасно воспринимал невозможные сочетания звуков на слух, мгновенно находил их в списке и приглашал проходить. Наконец дошла очередь до моего друга.

– Ваша фамилия?

– Джонс.

На лице охранника изобразилось замешательство:

– Как вы сказали? Не понял. Будьте любезны, продиктуйте вашу фамилию по буквам!

* * *

Французский студент философии Жак-Ксавье Монтисель открыл для себя истины Православия через чтение трудов древних мыслителей. Закончив университет в Париже, он приехал в академию, чтобы поучиться у отца Иоанна Мейендорфа. Спорщик и парадоксалист, Жак-Ксавье был увлекательнейшим собеседником. Но имелась одна проблема – его выговор. Английский он знал хорошо, но говорил со столь сильным французским акцентом, что к его речи требовалось долго привыкать.

Сам же Жак-Ксавье считал, что американцы отказываются его понимать нарочно – из-за империалистического снобизма и европофобии, и очень по этому поводу переживал.

Как и многие французы, он был отменным кулинаром, и ему назначили послушание быть воскресным поваром. Помню, в один из воскресных вечеров он приготовил говядину по-бургундски. Мы сидели за столом и хваливали вкусное блюдо довольному повару, который ужинал вместе с нами.

Там же присутствовала девушка из какого-то драматического южного штата, приехавшая в академию погостить на несколько дней. Она спросила о рецепте этого блюда, и Жак-Ксавье подробно рассказал, что, в какой момент и в какой последовательности нужно класть в кастрюлю.

На лице девушке отобразилось замешательство и недоумение.

– А не могли бы вы повторить то же самое, – вежливо обратилась она к французу, – только на этот раз по-английски?

Надо было видеть красноречивый страдальческий взгляд Жака-Ксавье, обращенный ко мне.

– Вот видишь, – читалось в нем, – я же тебе говорил про ненависть американцев ко всему европейскому!

Никакие доводы о том, что девушка, наверное, вообще в первый раз в своей жизни видела иностранца и что она не только его, но и нью-йоркцев понимала с трудом, на моего приятеля не действовали. Он остался при своем мнении.

* * *

Конечно, для многих из этих людей православная жизнь оказалась тяжелым культурным шоком, ведь приходилось вживаться в совсем иную реальность. Сложные богослужения, иной строй пения, невероятные сложнопроизносимые имена... Много раз я наблюдал, как новорукоположенные священники из коренных американцев спотыкались на отпустах, зачитывая по календарю списки поминаемых в тот день святых. Один только Onuphrius (Онуфрий) чего стоит! А ведь есть еще и Ephrosinius (Ефросиний), и Epistemia of Emessa (Епистимия Эмесская), и Synkliteki of Naegraneon (Синклитикия Негранская), и Sosepatras of Ikonium (Сосипатр Иконийский), и Protoleonas of Nikomedia (Протолеон Никомидийский), Evpsechius (Евпсихий), Nearchos (Неарх) и многие другие.

Помню, как один простой парень из Пенсильвании впервые был поставлен читать в храме за вечерней (все студенты должны были по очереди читать на богослужениях). Сложные слова ему давались с трудом, и всякий раз, когда он сбивался, у него непроизвольно вырывалось привычное «упс!». Чем больше он сбивался, тем больше волновался, и все чаще замедленное чтение прерывалось смешным междометием. В конце концов перед каким-то особенно трудным словом он споткнулся окончательно, на несколько секунд замолк, а затем ошеломленно, с присвистом, произнес распространенное в англоязычном мире четырехбуквенное ругательство (переводящееся, скажем, как «дерьмо»). Тут незадачливого чтеца наконец-то сменили, хотя служба уже и так

была практически сорвана, все присутствующие буквально катались от смеха. Впрочем, парень этот учился лишь в колледже, да и тот закончить не смог, будучи отчислен после следующего семестра.

* * *

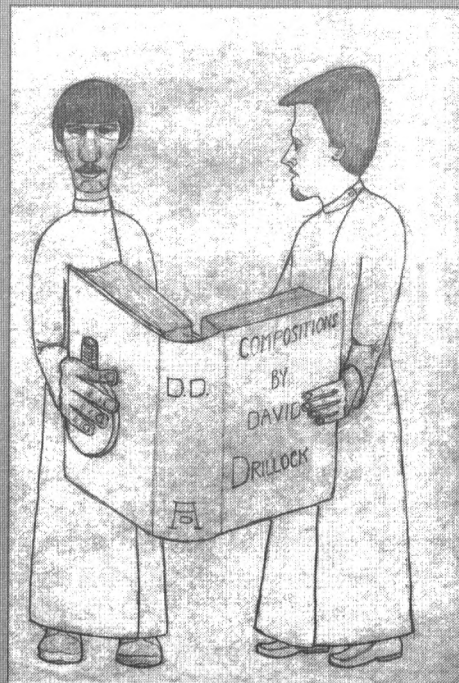
Иной раз среди «конвертов» попадались люди не совсем психически стабильные. Правда, постепенно они отсеивались. Помню анекдотичную историю, случившуюся с одним из них. По паспорту его звали очень для американца типично – Кевин Смит. Приняв Православие, он сменил себе имя и стал Варсонофием. Для американского уха Varsonotheus Smith звучит еще комичнее, чем какой-нибудь Раймунд Терентьевич Тухленко – для русского.

Варсонофий был прилежным студентом, немного, правда, странноватым. Лицо его поросло реденькой бородкой, более похожей на пух, на носу кривовато сидели роговые очки с толстенными стеклами, волосы торчали в разные стороны. Общался с сокурсниками он мало, говорил кратко и отрывисто и всюду искал свидетельства мировой апостасии*. Русского языка он не знал, но считал, что богослужения должны проводиться только по-церковнославянски. То, что в академии службы шли по-английски, он считал уступкой миру сему. Постепенно таких «уступок» в его мысленной копилке набралось великое множество. Канон на утрене сокращали, по средам и пятницам в трапезной обычно подавали рыбу, семинаристы в свободное время ходили без подрясников и тому подобное. Варсонофий стал крепко задумываться, так ли уж православна Свято-Владимирская академия и не попал ли он в логово той самой апостасии, которой столь опасался.

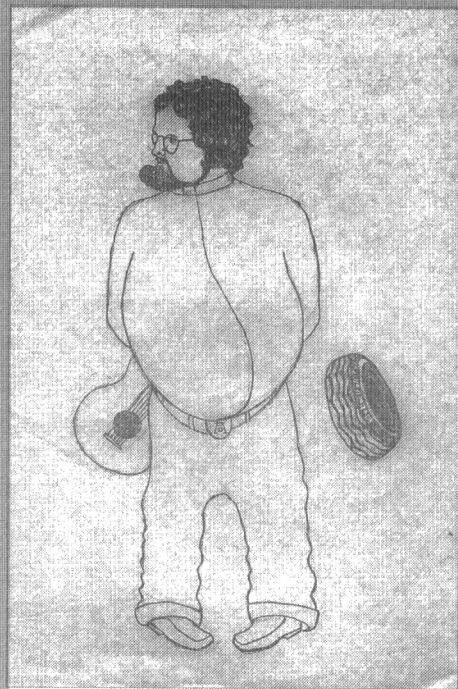
* Отступничество от истинной веры.



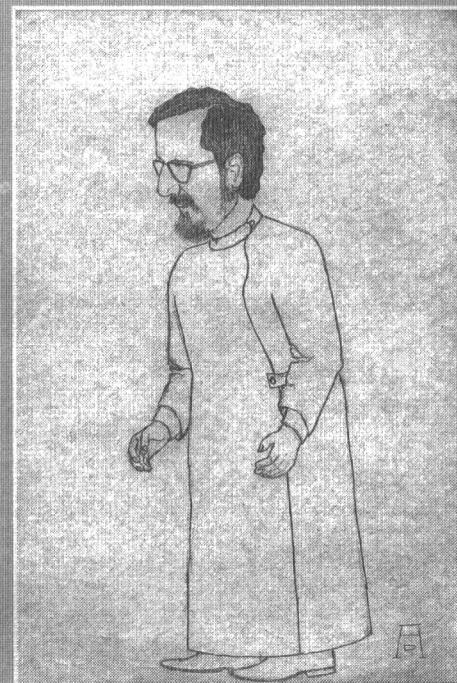
«Свято-Владимирские лица». В конце 1982 г. я устроил выставку своих дружеских шаржей на однокашников, которые рисовал перед этим несколько месяцев. Ни один из рисунков не был подписан – все персонажи узнавались сразу же.



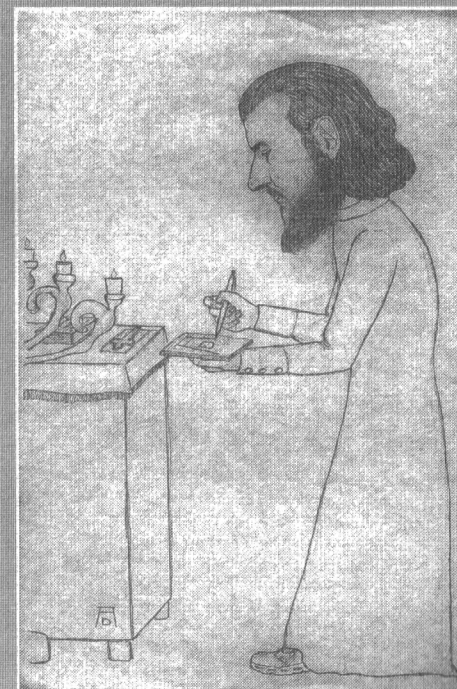
1. Два хориста – бас и тенор. Оба – пенсильванские карпатороссы. Бас незадолго перед этим выиграл первенство академии по пинг-понгу.



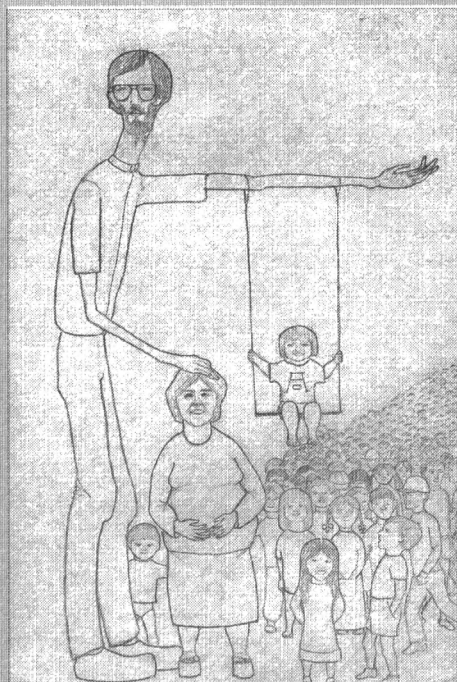
2. Мой однокурсник Дэнни Бак, по профессии джазовый музыкант. Это его автомобиль упал в водопад.



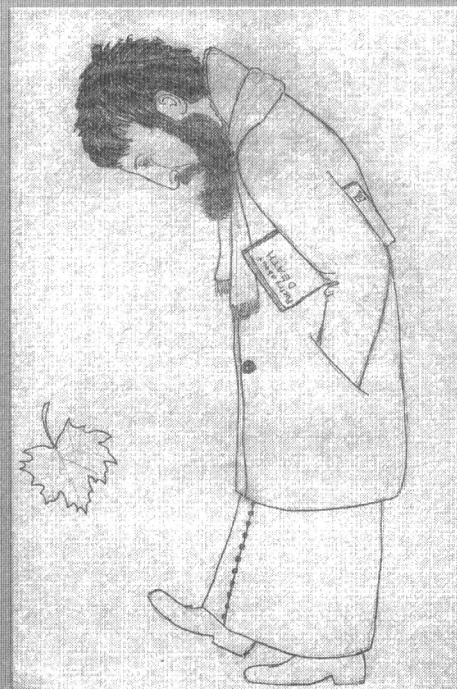
3. Варсонофий.



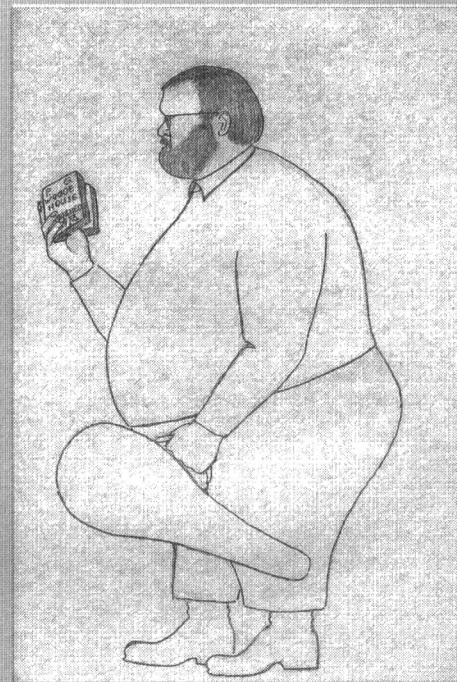
4. Автопортрет. В тот год я начал исполнять алтарное послушание и стал помощником главного алтарника.



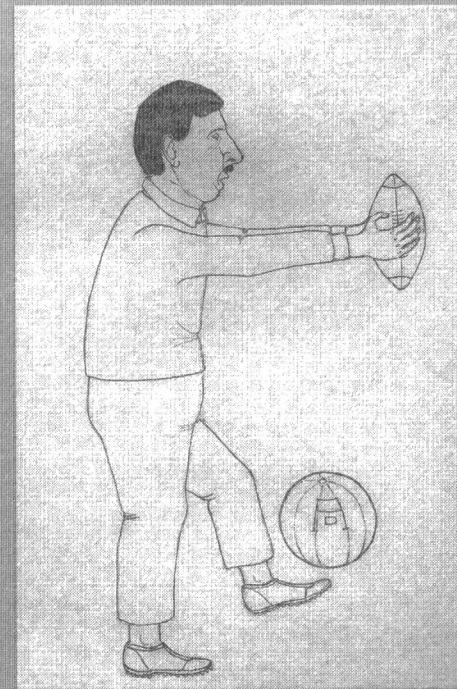
5. Бывший протестант, многодетный отец Скотт Лоу. Он был одним из немногих женатых студентов, живших с семьей на территории академии и мы часто навещали к ним в гости.



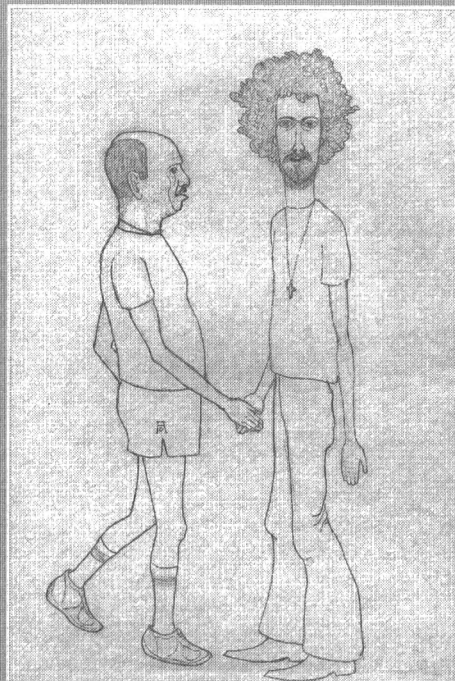
6. Беженец из Румынии поэт Марин Михалаке. Он часто пребывал в задумчивости и грусти.



7. Мой однокурсник итальянского происхождения Джон Феранойло. Несмотря на свою внушительную комплекцию, он обладал тонкой, чувствительной душой, прекрасно играл на альте, самозабвенно любил итальянскую оперу и писателя П. Дж. Вудхауза.



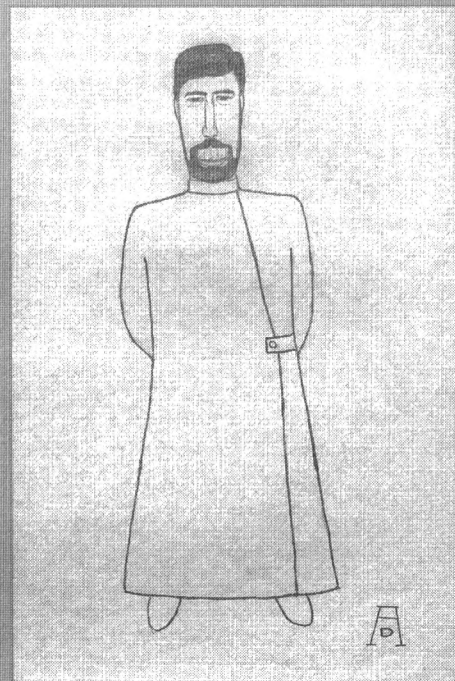
8. Бывший униат, незадолго до поступления обратившийся в Православие. Как очевидно из рисунка, не пропускал ни одной телетрансляции баскетбола и американского футбола.



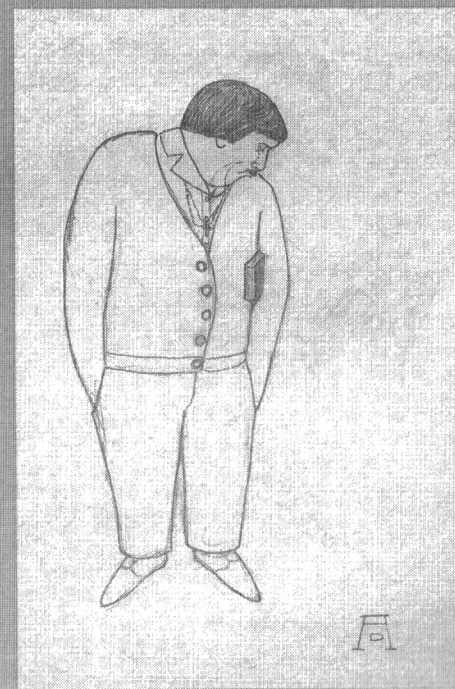
9. Эти два студента попали на один рисунок, т. к. оба они приехали из Калифорнии и, в некотором роде, были типичными представителями своего штата. Пожилой – фанатик спорта и здорового образа жизни, а молодой – вечно восторженный, увлеченный всем новым чудак.



10. Пенсильванский карлаторосс по прозвищу Крэш. Исполнял обязанности фотолетописца академической жизни.



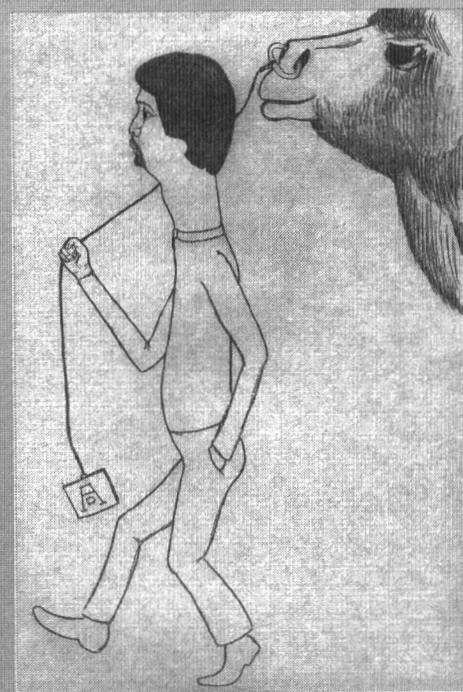
11. Еще один мой однокурсник Билл Зебрун.



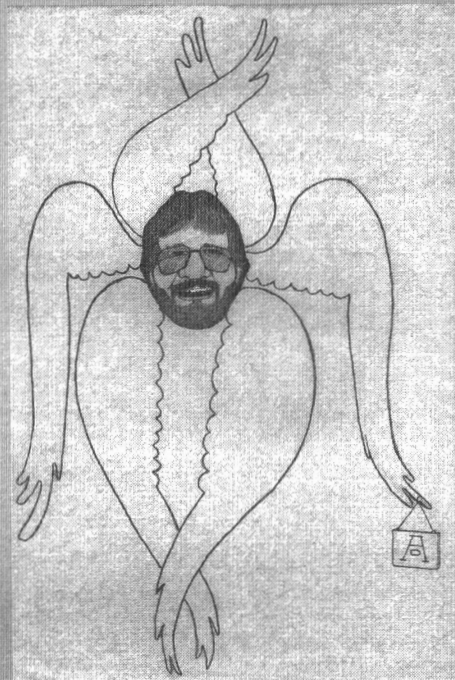
12. Недавно обратившийся южный баптист-фундаменталист, по привычке все соотносивший со «Словом Божиим», с которым не расставался никогда.



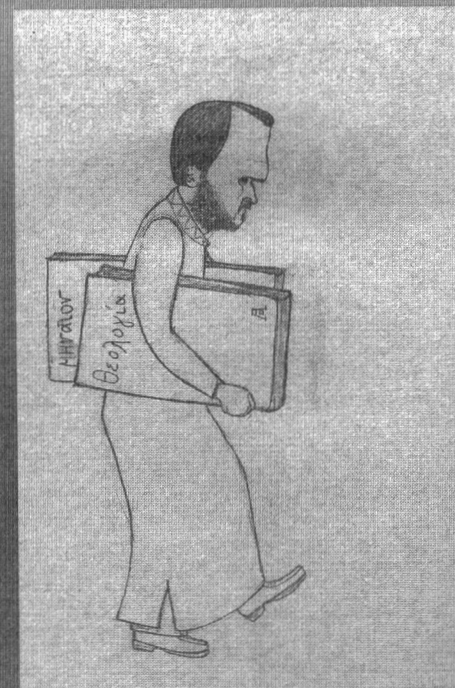
13. Один из женатых студентов, снимавший квартиру неподалеку. На занятия всегда приезжал с горячим домашним обедом.



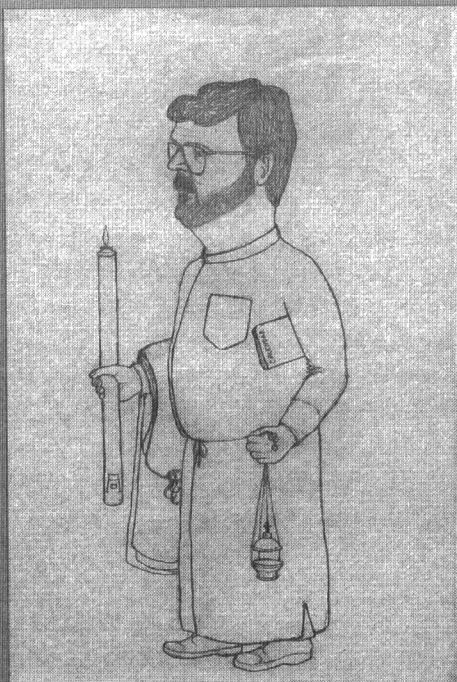
14. Арабский студент.



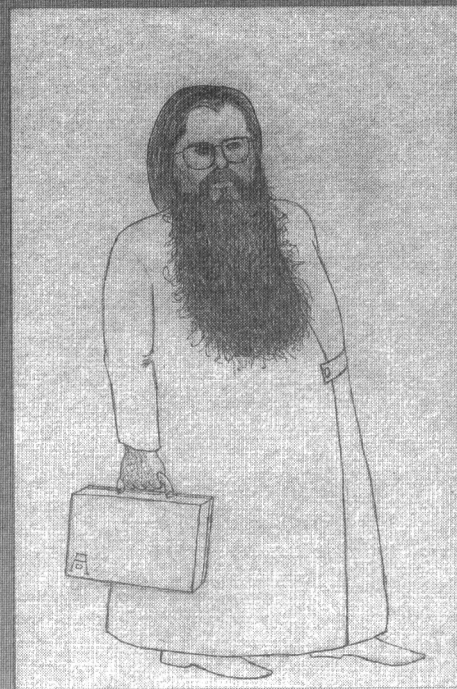
15. Студент из Бостона, еврейского происхождения. В крещении его имя, как можно догадаться, – Серафим.



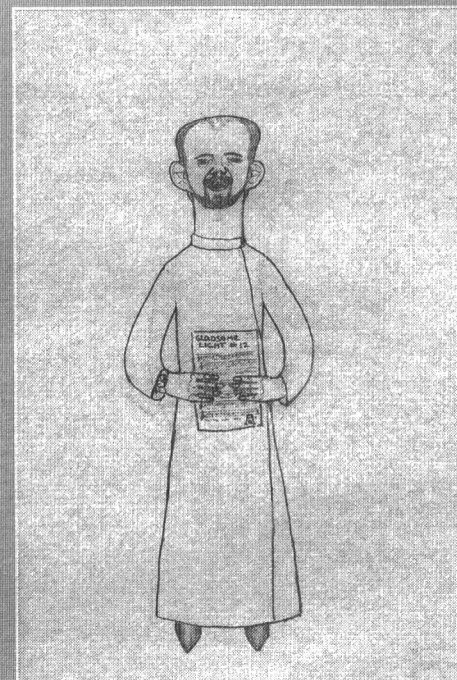
16. Мой друг – кипрский грек Костас Сарантидис. Был одним из самых многообщающих богословов на нашем курсе.



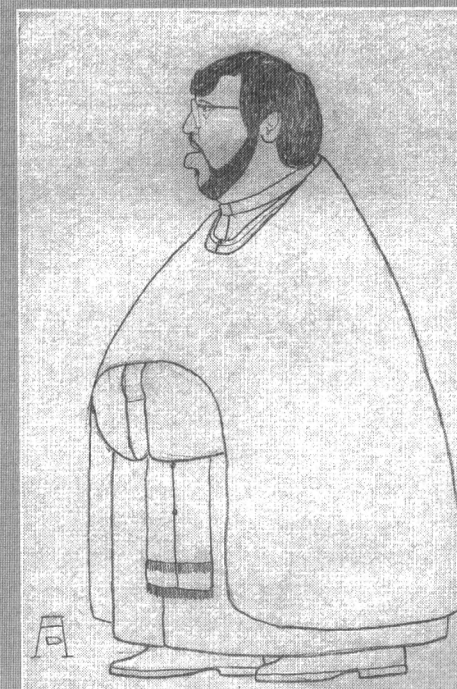
17. В том году
главным алтарником
Академии был Марк
Лоуэри – ученик
великого алтарника
Мирко Добриевича.



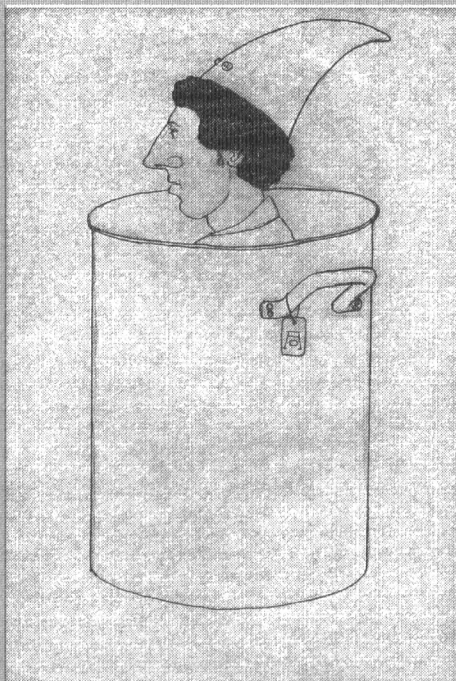
18. Мой крестник
канадец Эндрю Морби.



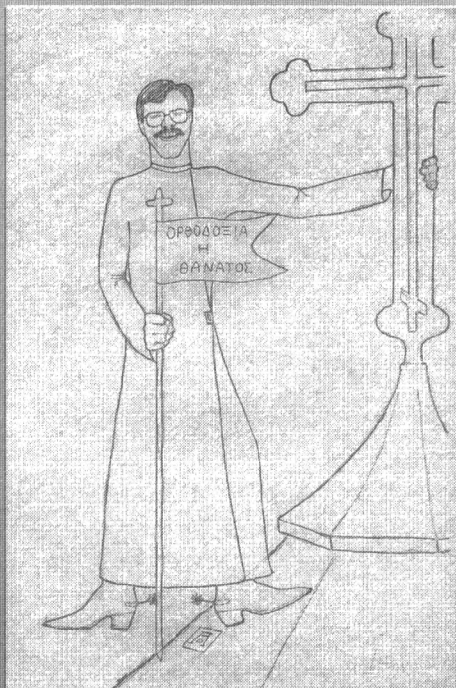
19. Хорист –
мой однокурсник
из Техаса.



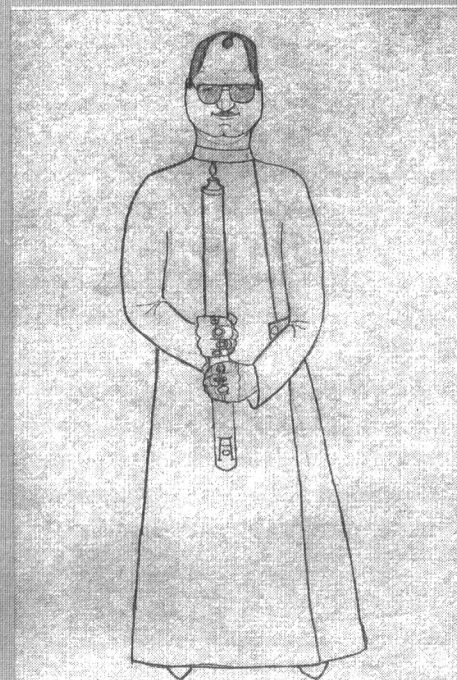
20. Тот самый «толстый
арабский студент» (см.
истории про украинцев).



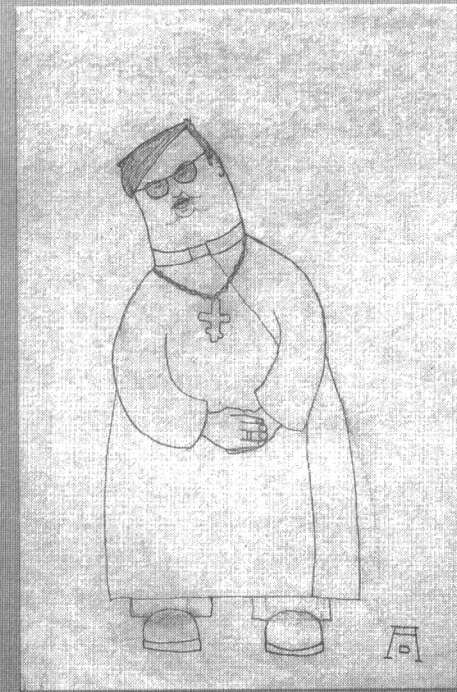
21. Еще один арабский студент – заведовавший кухонным послушанием.



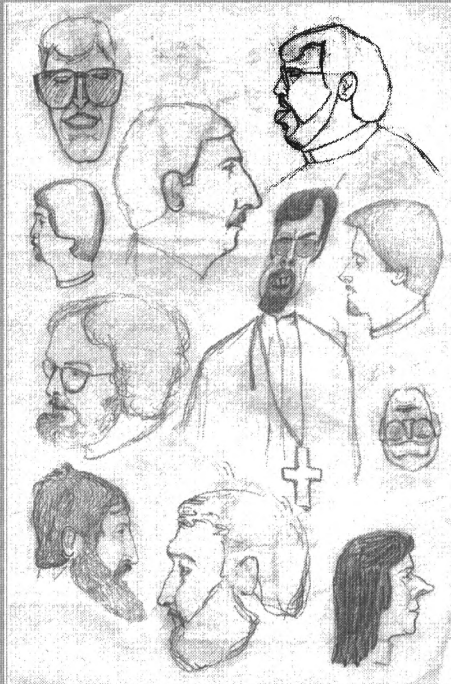
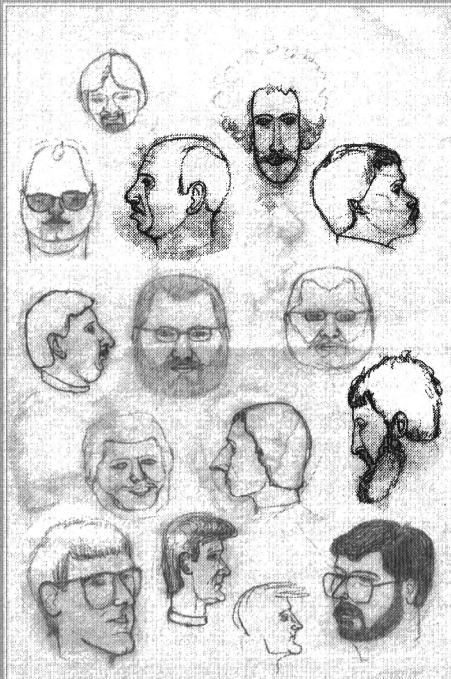
22. Техасец Грегори Тетфорд. В том году строился новый храм, и он много помогал на стройке: На флаге написано: «Православие или смерть».



23. Этот студент, как очевидно, весьма увлекался именными перстнями. У американцев бывает такое увлечение.



24. Еще один бывший южный баптист, только что рукоположенный в священный сан. Его я нарисовал первым, и этот рисунок вдохновил меня на всю серию.



Вот такие наброски
постепенно пере-
растали в завер-
шенные шаржи.

Пришло время зимней, первой для него сессии, и Смит стал усердно готовиться к экзаменам. Занимался он и по ночам и, чтобы не беспокоить своего соседа по комнате, выходил с учебными материалами на лестничную площадку. Чудак изобрел отличный способ, как не заснуть за книжкой: надо читать ее на ходу, медленно поднимаясь и спускаясь по ступенькам: подняться с третьего этажа, на котором он жил, на четвертый, потом спуститься на первый и назад вверх! Примерно на третью ночь таких экзерсисов, часа в четыре утра он, решив наконец пойти отдохнуть, перепутал этаж и зашел случайно в чужую комнату.

Мебель во всех общежитских комнатах стандартная, да и расположена примерно одинаково. К тому же в темноте разглядеть что-либо было сложно. Варсонофий тихо-нечко, чтобы не разбудить соседа, пробрался к своей кровати, разделся, снял очки и собрался было лечь, но вдруг в его постели что-то зашевелилось и грозно зарычало. В той комнате жил студент арабского происхождения по имени Томми Джозеф. Был он совсем маленького роста, очень смуглый, с большой черной бородой и лысиной во всю голову. Кроме того, Томми обладал невероятно зычным басом. Даже удивительно было, как в таком маленьком человечке помещалось так много голоса. В момент, когда Варсонофий подошел к постели, Томми повернулся на другой бок и захрапел.

Несчастный полуслепой Смит, увидев в своей постели черное рычащее существо, решил, что апостасия принесла свои плоды: в академии завелись бесы, которые теперь будут устраивать страхования единственному истинному православному студенту. Душа его ушла в пятки, но он мужественно бросился класть земные поклоны, выкрикивая при этом Иисусову молитву. Томми Джозеф, разумеется, от таких воплей проснулся и, не понимая, что происходит, с перепуга громко завопил своим мощным басом, призывая на помощь. Тут уже на шум сбежались

все мы и, щелкнув выключателем, увидели умопомрачительную картину: два раздетых человека громко орут, но один из них сидит на кровати, а другой непрестанно падает на колени и, осеняя себя крестным знаменем, бьется головой об пол! Удержаться от хохота не смог никто.

Варсонофий, не вынеся такого испытания, перевелся в Джорданвилльскую семинарию Зарубежной Церкви, которая, по его расчетам, гораздо более стойко держала оборону против мировой апостасии. Правда, и там он не задержался: как нам сообщили, за год, так и не выучив русского, на котором велось обучение, он успел рассориться со всеми и уехал куда-то еще. А Томми Джозеф через много лет после этой истории стал епископом

УКРАИНЦЫ

А вот украинцев у нас почти не было. Малоросская диаспора в Новом Свете отличается столь пылким национализмом, что предпочитает все делать отдельно от «москалей» или тех, кого она считает связанными с ними. Есть у них и свои духовные учебные заведения. Беда в том, что в церковном отношении украинцы разделены между собой. Не говоря уже об украинцах-католиках и украинцах-униатах, в стране существуют две крупные православные украинские юрисдикции и несколько мелких – совсем уж самостийных. Одна из них – каноническая – находится под омофором Вселенского патриарха. Другая, заметно крупнее первой, гордо именуемая себя Автокефальной украинской церковью, более известна под названием «самосвяты», или «мертвороучники» (поскольку ее родоначальник был рукоположен в начале 20-х годов в Киеве при помощи руки мертвого епископа, за неимением живого). Они выстроили свой церковно-культурный центр в городке Саут-Баунд-Бамбрук (South Bound Bambrook) в штате Нью-Джерси недалеко от Нью-Йорка, объявив, что возвели точную копию киевской Святой Софии. Но то ли

потому, что у них не хватило денег, то ли потому, что не на ту фотографию посмотрели, получилось у них всего лишь довольно приблизительное подобие колокольни Святой Софии, да и то с нарушенными пропорциями. Храм в таком здании получился совсем малюсеньким, хотя и с очень высоким потолком, что создавало впечатление дна колодца. Рядом, в большом культурном центре располагались сувенирный магазин, ресторан и семинария.

С церковным украинским национализмом я впервые столкнулся лишь в академии – благодаря двум украинским студентам, учившимся у нас. Продержались они недолго, и после них при мне ни одного украинца больше в академию не поступало.

* * *

Первого из них звали Максим Лысьяк. Максим родом был из Канады. Он принадлежал к канонической Украинской епархии Вселенского Патриархата, которую возглавлял тогда епископ Ондрий. Максим – тихий, скромный молодой человек, с тонкой чувствительной душой, но при этом с резко обостренным чувством собственной национальной принадлежности – поступил в академию одновременно со мною, и мы с ним даже подружились. Я, вспомнив детство и летние месяцы, проведенные в украинском селе, старался говорить с ним на его родном языке, что весьма его радовало, и он даже не ставил мне в вину мое «москальство».

Однако с другими студентами ужиться ему оказалось весьма трудно. Почти каждый день он жаловался мне, что все они желают его обидеть: никто не называет его правильного имени, а употребляют русифицированную форму «Максим Лисяк», в то время как нужно говорить «Максим Лысьяк». Происходит это якобы из-за русского великодержавного шовинизма, которым пропитана Свято-Владимирская академия. Я объяснял ему, что для

американца это малоуловимая разница, которая в произношении не существенна: говорят как могут, и все тут. Более того, поскольку во всей академии я был единственным русским, а кроме меня, на русское происхождение могли претендовать всего лишь два-три студента, шовинизму взяться было совсем неоткуда. Однако Максим лишь печально качал головой и уверял, что я не понимаю этих вещей.

Однажды мой приятель пришел ко мне с дрожащими губами, глазами, полными слез, и сообщил, что его вновь ужасно оскорбили. Я спросил, каким образом. И он поведал мне новую трагедию. Один из наших однокурсников наткнулся на него в коридоре общежития. Это был очень толстый и очень добродушный араб, правда не обремененный чрезмерными академическими способностями. Когда мой приятель попытался его обойти, тот, слегка придержав его за рукав, задумчиво сказал: «Знаешь, Максим, я подумал, ты у нас на этаже единственный русский студент! Хорошо, что у нас есть русские!»

Как я ни заверял Максима, что большинство американцев не видят никакой разницы между русскими и украинцами, считая русскими всех, кто проживает (или проживал) на территории СССР – будь они хоть узбеками, хоть азербайджанцами, мой друг мне не поверил. Он был убежден, что все делалось нарочно, чтобы оскорбить его чувствительную душу. В конце концов он не выдержал такого «издевательства» и уехал в какое-то маленькое украинское учебное заведение, затерянное в прериях Канады.

* * *

На сем хорошо было бы завершить эту историю, но она имеет продолжение. Через пару лет Максим позвонил мне и сообщил, что приехал в Нью-Йорк на свое рукоположение в диаконский сан и приглашает меня быть иподиаконом на его хиротонии. Я, конечно, согласился, и так воскресным утром оказался в маленьком украинском

храме где-то в глубинах Квинса. Служил первоиерарх этой миниатюрной юрисдикции, епископ Ондрий. Ему сослужил всего лишь один священник, а помогали два иподиакона – я и виновник торжества Максим. Даже для американских скромных богослужений это выглядело как-то уж слишком малочисленным. Да и в храме, заставленном массивными скамьями со спинками, народу было совсем немного – не более десяти человек.

Служба шла на украинском языке, а к ектениям добавлялось особое прошение, что-то вроде: «Еще молимось за нашу мати рідну Україну, от клятих москалей порабощенную». Не очень-то уютно мне было слушать это, но ради чувствительной души Максима приходилось смиряться.

Священник, оказавшийся заслуженным протоиереем, совершенно не знал службы и делал комические ошибки. Кадил он так, как будто впервые держал в руках кадило. Несмотря на то что украинцы входили в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, имя патриарха не поминалось.

Еще более поразило меня, что епископ после освящения Даров поинтересовался у протоиерея, намерен ли он сегодня причащаться. Дело в том, что по канонам Церкви служащие священники и диаконы обязаны причащаться. Священник глубоко задумался и через несколько минут сказал, что, пожалуй, все же причастится. Потом архиерей задал тот же вопрос новорукоположенному диакону Максиму и, получив утвердительный ответ, с этим же обратился ко мне.

После этого он причастил меня как священника – двумя Видами раздельно, прямо у Престола! Такое со мной случилось только раз в жизни.

По окончании службы я вышел в храм. Прихожанин, сидевший всю литургию на передней скамье, подошел поближе.

– Скажите, а что тут сегодня было? – поинтересовался он по-английски с сильным славянским акцентом.

– Как? Служил ваш епископ, рукоположил нового диакона.

– Которого? – задал вопрос прихожанин, как будто его и не было в храме и он не видел происходившего.

Я указал ему на Максима.

– Понятно... А вы кто будете?

Мне очень захотелось сказать ему, что я и есть тот самый «клятый москаль», об избавлении от которых он молился всю литургию, но я решил не портить торжество своего друга и ответил что-то нейтральное.

Вот это и был действительно последний раз, когда я видел Максима.

* * *

Во второй год обучения у меня появился сосед по комнате, поступивший на первый курс. Ему было не больше двадцати одного года, и он только-только окончил университет. Очень высокого роста (не меньше двух метров), статный, с орлиным профилем, огненным взглядом карих глаз, великолепной шевелюрой из вьющихся темных волос и аккуратно подстриженной бородкой, он сразу обращал на себя внимание. Звали его Григорий Телепнев.

– Можетэ сват меня Гришей, – сообщил он мне по-русски в первые минуты знакомства.

Новый сосед был отдаленного украинского происхождения. Его прадеды с обеих сторон приехали в Америку из Российской империи еще молодыми людьми, так что деды родились уже здесь. Фамилия предков Григория была Телепневские. Когда в начале XX века они приехали в Америку, им, как и всем эмигрантам, пришлось проходить карантин на острове Эллис-Айленд в бухте Нью-Йорка. При оформлении документов, записывая сложные иностранные фамилии, чиновники часто ошибались,

а иногда даже сознательно переименовывали новых эмигрантов. В случае с предками моего соседа они решили, что такую длинную фамилию, как *Telepnyoffski* никто не сможет произнести, и записали просто *Telep*.

Дети эмигрантов с обрезанной фамилией выросли американцами, и только их правнук Григори вспомнил о родных корнях. Поскольку родиной его предков была Российская империя, он заинтересовался Россией, начал изучать в университете русский язык и ощутил себя настоящим русским патриотом. Он настолько проникся своей новой идентичностью, что решил нарастить свою фамилию, но не до конца, а просто придав ей русское звучание. Так он стал Григорием Телепневым. Русскость подразумевала Православие, и он воспринял отеческую веру со всем жаром неофита.

В академию Гриша прибыл с подвижническим настроением: он намеревался лишь молиться и учиться, не тратя драгоценного времени ни на что другое. Где-то он прочитал, что для сна достаточно трех с половиной часов в сутки, и решил проверить это на практике. Поэтому по ночам он не спал, а занимался, а затем вычитывал весь суточный круг богослужения на церковнославянском языке (он, как и Варсонофий за год до него, был крайне разочарован использованием английского языка в академическом храме). И хотя по-славянски Григорий почти ничего не понимал (даже русский его был весьма далек от совершенства), но молитву он признавал только в таком виде. Ежедневно я засыпал под его мерное бормотание.

В семь часов я просыпался, и мы шли на утреню, отсюда – на завтрак, а затем на занятия, во время которых Гриша мирно спал, склонив кудрявую голову на парту. После обеда мы приходили в комнату, я садился заниматься, а мой сосед ставил будильник на три с половиной часа вперед и засыпал снова. Когда в положенное время включался сигнал, Гриша, не просыпаясь, протягивал свою

длинную-предлинную руку к прибору и щелкал кнопкой. Через десять минут будильник пищал вновь, Гриша опять протягивал руку, опять щелкал и опять отключался. Вечерню он обычно просыпал, равно как и следовавший за нею ужин. Так продолжалось до вечера, когда мой сосед, полный сил и энергии, поднимался и, прокравшись на кухню и поужинав остатками вечерней трапезы, приступал к своему ночному бдению. Через несколько дней я понял, что так дело не пойдет, и когда Гриша ложился спать, совсем выключал его будильник, чтобы не слышать пиканья каждые десять минут.

Так мы прожили целый семестр, в конце которого, к моему счастью, сосед подружился с новообращенным молодым калифорнийцем – улыбчивым, дружелюбным, немного экзальтированным толстяком – и переехал в его комнату, которая находилась прямо над моей. Я остался один. Но покоя мне все равно не было: вскоре начался Великий пост, и оба моих соседа сверху стали по ночам класть земные поклоны. Это было весьма «сотрясательно», причем слышны были как тяжелые падения грузного калифорнийца, так и протяженно-сложенные коленопреклонения длинного Гриши. Под эти звуки и я сам клал свои поклоны, стараясь делать это как можно более бесшумно.

Вдруг в середине поста Григорий картинно обмотал свое горло шарфом и замолчал. Когда ему задавали вопросы, он долго-долго доставал из кармана блокнот, потом вытаскивал ручку и писал, что у него заболело горло и врачи запретили ему говорить. Так промолчал он до конца поста. А к Пасхе Гриша вдруг сбрил бороду, оставив лишь длинные висячие усы. Когда я спросил его о причинах такой перемены во внешности, он вдруг велел, чтобы я больше не называл его Гришей, потому что правильное его имя Грицько. И вообще, он наконец-то понял, что все зло в мире происходит от москалей. Так он

вторично открыл свои национальные корни – теперь уже украинские.

Новоиспеченный Грицько еле-еле дотянул до конца семестра и, сдав сессию, перевелся в украинскую семинарию самосвятской церкви – ту самую в South Bound Brook. Уезжая, он сообщил мне, что опять поменяет свою фамилию, но уже на полную версию. Как я узнал позже, он женился на вдовой украинской матушке. На этом следы его для меня затерялись навсегда.

А вот его сосед по комнате относился к своей вере гораздо глубже. По окончании академии он принял монашество и впоследствии стал видным иерархом ПЦА.

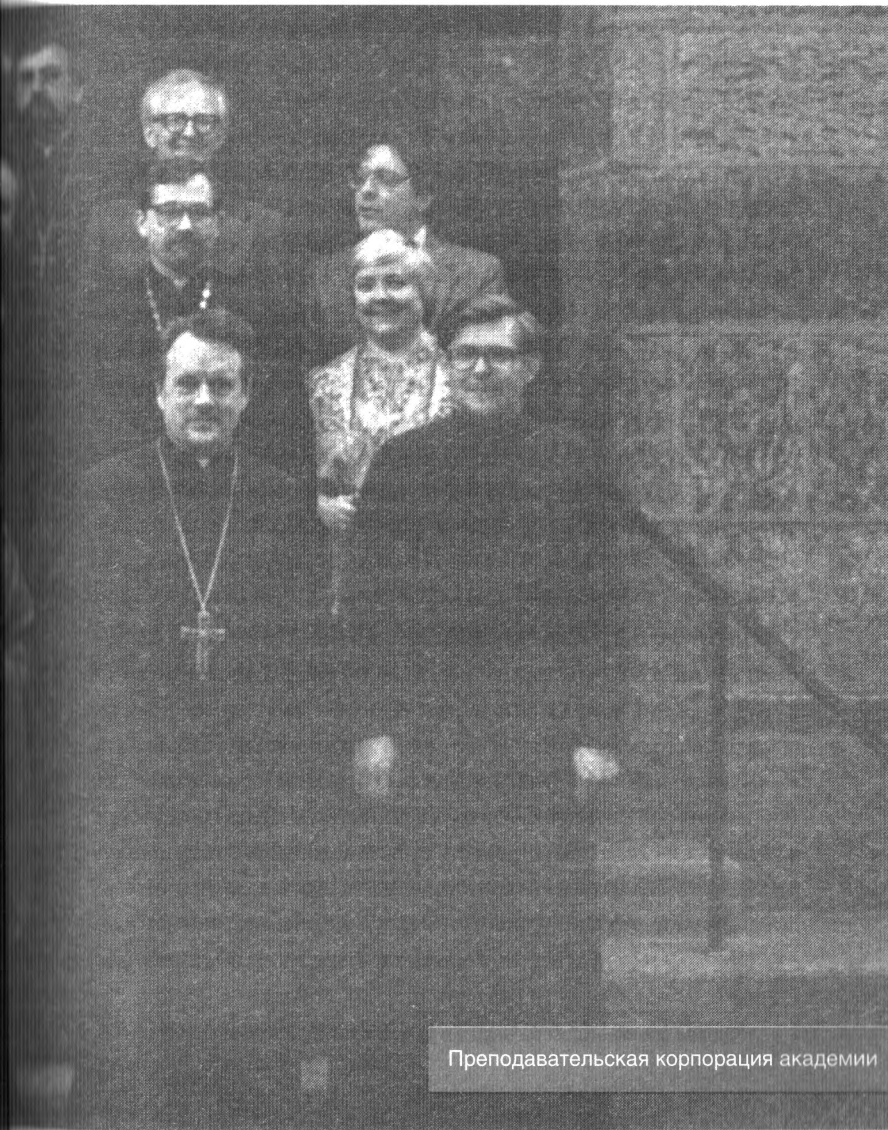
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Конечно, повествование о преподавательской корпорации академии необходимо начать с двух священников, имена которых неразрывно связаны с ней, – с отцов Александра Шмемана и Иоанна Мейендорфа.



ОТЕЦ АЛЕКСАНДР ШМЕМАН

На моем дипломе об окончании Свято-Владимирской академии и присвоении мне степени кандидата богословия стоит подпись протопресвитера Александра Шмемана. Наш выпуск стал последним, закончившим академию при его ректорстве и его жизни.



Преподавательская корпорация академии

Нам также посчастливилось прослушать полный трехгодичный цикл лекций отца Александра, хотя в последний год он боролся с тяжелой болезнью и вынужден был пропускать многие занятия. Кроме того, в этот же последний год я нес послушание заместителя главного алтарника академического храма и присутствовал в алтаре на всех совершаемых отцом Александром богослужениях, помогал ему облачаться, слышал его вопросы и комментарии к богослужению. И наконец, до середины третьего, выпускного, курса академии я исповедовался у отца Александра. Когда болезнь его начала быстро прогрессировать, мне стало неловко утруждать его, и я взял у него благословение ходить на исповедь к отцу Иоанну Мейендорфу. По окончании академии я поступил в докторантуру Фордхэмского университета и, получив благословение ректора, остался жить там же. Назначили мне и послушание – на сей раз старшего алтарника академического храма. В этом качестве я пробыл в алтаре последние полгода жизни отца Александра, а кроме того, отвечал за порядок богослужения во время отпевания нашего почившего ректора.

* * *

Отец Александр был человеком выдающимся во всех отношениях. Уже при жизни он слыл легендой, и отношение к нему было всегда восторженно-почтительное. Рядом с ним хотелось отряхнуть одежду, прокашляться, встать навтыжку... Даже внешне это было заметно: ощущалось то, что по-английски обозначается выражением: «He had a presence»*. В его присутствии всегда хотелось сделаться лучше, и в людях, общавшихся с ним, проявлялись самые хорошие качества. Думаю, поэтому в его воспоминаниях так много высоких оценок самых разных людей, в разные

* Одним своим видом он внушал уважение к себе (англ.).

времена проявлявших себя по-разному. Рядом с ним раскрывалась их подлинная сущность. Думаю, отец Александр это понимал, умел прозревать и ценить эту сущность.

Не помню, когда именно я вместе с другими первокурсниками увидел его впервые – на утрене первого дня занятий или после завтрака в тот же день – на традиционно проводимой ректором orientation session* для новых студентов. Выглядел он внушительно: стройная статная фигура в белом подряснике, зачесанные назад седые волосы, лежащие в безукоризненном порядке, благородное (можно даже сказать, породистое) красивое лицо, окаймленное седой, коротко постриженной бородкой. Однако, когда он улыбался, глаза его слегка прищуривались, и выражение лица становилось задорным, даже немного озорным. Сразу представлялось, что в юные годы он не был чужд шалостей и проказ. Да и не только прическа, весь вид его был безукоризнен – аккуратен, подтянут, свеж. Свою царственную осанку он сохранил до последних дней жизни – несмотря на тяжелую болезнь (позже я узнал, что приобрел он эту выправку в эмигрантском кадетском корпусе, в котором учился в детстве). Голос его был низким, слегка хриловатым. По-английски он говорил с несильным, но явственным русским акцентом, хотя язык знал безупречно.

* * *

Почти все, кто встречался с отцом Александром, рассказывают о личной дружбе, которая их связывала. При огромном количестве таких свидетельств (я лично слышал не менее ста) очевидно, что это вряд ли возможно, даже зная весьма общительный характер отца Александра. Дело, думаю, вот в чем. Отец Александр обладал

* Вступительная беседа (англ.).

удивительным даром: он мог сказать человеку лишь несколько слов, но эти слова оставляли впечатление реальной личной заинтересованности, общения на самом глубоком, даже глубинном уровне. Даже при самой краткой встрече отец Александр умел говорить с человеком так, что тот ощущал, насколько он для него важен и ценен. А какие-нибудь час-полтора, проведенные в личном общении с ним, оставляли впечатление на всю жизнь. Отчасти этот дар объяснялся воспитанием русского дворянина: отец Александр происходил из аристократической семьи, получил великолепное светское воспитание – светское в хорошем смысле этого слова. Но главное все же – то, что отцу Александру было действительно интересно и дорог каждый встреченный им человек и он отдавался общению – даже самому мимолетному – полностью и целиком, без остатка.

Понимая это, я не могу сказать об особых своих отношениях с отцом Александром. Я прекрасно сознавал всю разницу наших положений – студента и ректора: его чудовищная занятость усугублялась точащей его изнутри болезнью, которая началась, несомненно, куда раньше, чем ее диагностировали. В его доме я был всего один раз и то достаточно кратко. Но вместе с тем, тот факт, что я был русским и мог говорить с отцом Александром на нашем родном языке, позволяет мне утверждать, что Господь благословил меня большей возможностью общения с отцом Александром, чем многих других его студентов. И я безмерно благодарен Господу за это.

* * *

Когда я писал воспоминания об отце Иоанне Мейендорфе, я отметил, что его часто сравнивают с отцом Александром Шмеманом – даже имена их постоянно перечисляются подряд, на одном дыхании (язвительные студенты Свято-Владимирской академии придумали термин для

таких перечислений: «Шмемандорф»^{*}). Наверное, и в этих воспоминаниях невозможно начать писать об одном, никак не упоминая другого. Действительно, оба священника были единомышленниками, друзьями; оба происходили из русских аристократических семей, оба носили немецкие фамилии, оба выросли в эмиграции в Париже и знали друг друга с детства, хотя отец Иоанн был на несколько лет моложе. В детстве они оба прислуживали в парижском Александро-Невском соборе (отец Александр отмечал, что именно он учил молодого Ивана Мейендорфа алтарничать) и оба учились на Свято-Сергиевском подворье. И они помнили своего ректора протоиерея Сергия Булгакова, и профессора Карташева, и Бердяева, который туда периодически приходил, хотя сам был прихожанином Московской Патриархии. Им преподавали и архимандрит Киприан (Керн), и протоиерей Василий Зеньковский, и протоиерей Николай Афанасьев, и епископ Кассиан (Безобразов), да и все великие личности той, парижской эмиграции.

Когда отец Александр переехал в Америку, он пригласил туда из Парижа отца Иоанна, и их дальнейшая жизнь навсегда сплелась со Свято-Владимирской академией. Студенты очень любили их обоих. Письменные экзамены (в США большинство экзаменов – письменные) у них обычно проходили без особых потрясений. Оба профессора отличались снисходительностью и двойки почти никогда не ставили. Для этого надо было очень постараться. Тройки и четверки они раздавали легко, но вот ради пятерки приходилось попотеть.

Но вместе с тем они были совершенно разными людьми – с разными взглядами и очень разными подходами к жизни. Отец Александр – более артистичный,

* Таким же словом (шмемандорфка) мы называли короткую бородку, которую носили оба отца протопресвитера.

харизматический, поэтического склада человек, экстраверт. Отец Иоанн — ученый, академичный, психологичный, интроверт. Отец Александр — непревзойденный оратор, проповедник. Отец Иоанн — педагог. Они даже слегка иронизировали друг над другом, находясь в некой заочной полемике. Например, на одной из лекций, когда отец Иоанн говорил о Хомякове, он назвал его «джентльменом-фермером» (есть такое английское выражение), то есть гениальным дилетантом. «Ну, например, как наш отец Александр», — сказал он. Правда, тут же добавил, что это очень лестное сравнение, и пояснил, что речь идет о человеке с одной главной идеей, базирующейся на великом прозрении, который не обращает внимания на малосущественные неточности или даже досадные ошибки в мелочах. А отец Александр, в свою очередь, любил иронизировать по поводу «немцев», которые слова не могут написать, чтобы не снабдить его сноской или примечанием. Намек был, в частности, и на отца Иоанна. Это нас даже смешило, потому что Шмеман — фамилия столь же немецкая, как и Мейендорф. Но несмотря на это, он был совершенно русским человеком, просто очень давнего немецкого происхождения, от которого у него ничего, кроме фамилии, не осталось (так же, как и у отца Иоанна). Шмеманы — служилый дворянский род, происходивший от остзейских немцев. По матери отец Александр принадлежал к роду Шишковых — того самого адмирала Шишкова, который в пушкинское время основал общество «Беседы о русской словесности». Так что отцу Александру было от кого унаследовать любовь к русской словесности.

Другое дело, что оба они, несмотря на свои немецкие фамилии, были совершенно русскими людьми и, по провидческому слову Достоевского, как настоящие русские — самыми подлинными европейцами. Оба они ощущали себя своими в нескольких культурах: отец

Александр свободно владел тремя языками, а отец Иоанн — четырем и читал еще на полудюжине (при этом оба они подчеркивали, что не знают немецкого, хотя, судя по всему, в значительной степени владели и им). Но родным языком оба они считали один — русский, который знали с младенчества. Французский был их вторым языком — на нем они получали образование и говорили без акцента, как на русском. А английский стал уже третьим, рабочим. Им оба владели в совершенстве, но легкий акцент у них все же чувствовался.

* * *

Отец Александр родился в 1921 году в независимой от СССР Эстонии. Крестили его в таллинском соборе Александра Невского. Шмеманы переехали в Париж, когда близнецы — Андрюша и Саша — были еще дошкольниками, и вся дальнейшая их жизнь протекала в этом городе, который отец Александр считал родным и любил, как никакое другое место на свете.

Русский до мозга костей, отец Александр никогда не был в России. Он говорил, что ни разу его нога не ступит в пределы железного занавеса. Один раз, правда, он посетил Югославию, но эта страна все же находилась вне непосредственной зоны советского влияния. Об этом визите у него остались смешанные впечатления, прежде всего — из-за того унижения Церкви, которое он там видел.

Что же касается посещения родины его предков, он в первую очередь боялся разочарований. Ведь очень многие эмигранты хранили в памяти определенный образ России — они либо помнили ее с детства, либо знали по рассказам родителей. И они не желали разрушать этот любимый ими образ. Отец Александр не выносил поработившего его Родину коммунизма, в том числе и за тот дух официальщины, казенщины, тяжелой бюрократии, который он повсюду множил, да за то чисто внешнее уродство,

которое клеймом ложилось на все, к чему он прикасался. Это — в том числе и эстетическое — неприятие коммунизма роднило его с Набоковым, да и со многими другими эмигрантскими (и не только) писателями.

У Шмеманов было трое детей. Сын Сергей — корреспондент «Нью-Йорк Таймс», одно время был главой московского бюро своей газеты. Потом он работал в Иерусалиме и затем вернулся в нью-йоркскую редакцию. Сейчас он живет в Париже. Две дочери отца Александра замужем за священниками. Муж старшей — Анны — протопресвитер Фома Хопко, профессор догматического богословия, ставший ректором Свято-Владимирской академии после кончины отца Иоанна Мейендорфа.

* * *

Отец Александр был, наверное, одним из лучших проповедников и ораторов, которых я когда-либо слышал. Он мог без подготовки говорить на любую тему. Он прекрасно знал русскую поэзию, литературу — и не только русскую, но и французскую и английскую. Он читал постоянно, проглатывал массу книг и при этом абсолютно все помнил, вспоминал даже какие-то неожиданные вещи, иногда очень смешные. Однажды я спросил его совета о чем-то, и вдруг отец Александр говорит: «Получается, как в стихотворении Евтушенко: "Постель была расстелена, а я была растеряна и спрашивала шепотом: а что потом? А что потом?"» Я был потрясен, что он мог помнить даже какого-то Евтушенко...

За пару месяцев до его кончины, когда он уже был тяжело болен, у нас зашел разговор о Блоке: я тогда перечитывал его стихи параллельно с монографией Мочульского о нем. От непрерывного чтения Блока стихи буквально переполняли меня, строчки крутились в голове и постоянно срывались с языка. Так вот, любое стихотворение, которое я начинал декламировать, отец Алек-

сандр подхватывал с полуслова и продолжал. Но я-то все время перечитывал эти строки, а он просто помнил их все.

* * *

При всей очевидной публичности своего служения, отец Александр был, в сущности, домашним человеком. Семья для него значила очень много, и он большую часть себя отдавал своей семье — ближней и дальней: жене, детям, внукам, племянникам, брату-близнецу и матери в Париже, расширенному кругу — друзьям детства, их семьям и так далее.

И во всех этих концентрических кругах отец Александр являлся центром, средоточием и, несомненно, главой. Он был ярко выраженным лидером, и это лидерство проявлялось во всем. Вокруг него собрался круг единомышленников (людей, принимающих его лидерство и полностью разделяющих его идеи), «команда», которую он очень ценил. С ними ему было интересно, с ними он делился своими идеями, на них оттачивал свои лекции и публикации. Их преданность и верность он помнил всегда и очень ими дорожил. Разумеется, речь идет о богословском общении и церковной деятельности. В области общения культурного, литературного, общественной деятельности ситуация была иной: там отец Александр стоял особняком и занимал позицию посредника и миротворца между многими конфликтующими сторонами. Но в его богословский, церковный «ближний круг» не входили личности, равные ему по масштабу или хотя бы сопоставимые с ним: такие люди никогда не могли быть членами его команды и безоговорочно принимать его водительство. Мне кажется, это ясно отражается в «Дневниках» (не только в написанном, но и в весьма красноречивых умолчаниях), равно как и то, что отец Александр неожиданно высоко ценил похвалы себе и своей деятельности,

которых, очевидно, ему часто не хватало. Это выявляет определенную «детскость» его характера, которая в полной мере открылась позже – уже во время его последней, смертельной болезни.

Занятость его была феноменальной, так же как и работоспособность. Это всегда ощущалось нами в академии – большую часть времени отец ректор отсутствовал, а стоило ему появиться, как к нему выстраивалась очередь – на прием, на консультацию, на исповедь. Зная это, я всегда старался не обременять его моими проблемами и вопросами. Но не реже раза в месяц, по академическим правилам, я должен был исповедоваться, а духовником моим как раз являлся отец ректор.

Всякий раз, идя на исповедь, я чувствовал некое неудобство из-за того, что мне придется своими мелкими проблемами загружать столь занятого человека, как отец Александр. Но когда начинался разговор, все забывалось, потому что он занимался мной столько, сколько было нужно, ни разу не давая понять, что он спешит, или что у него могут быть другие дела. Он беседовал со мной, расспрашивал меня и выслушивал мою исповедь так, как будто это было самое важное и самое нужное для него дело. И, кстати, он был очень великодушным исповедником. Бывало, расскажешь ему о том, что тебе кажется самым ужасным, стоишь, ждешь приговора... А он обнимет тебя тепло за плечи и скажет:

- Да, раб Божий, ну а в главном как?
- Что – в главном? – переспросишь.
- Ну, как, в Бога вы еще веруете?
- Ну да, конечно, а как же, – отвечаешь.
- Вот видите, уже как хорошо, – утешает отец Александр.

Помню, как-то я прибежал к нему, уже тяжело больному, после скандала с одним из наших преподавателей, которого (ужасно стыдно теперь вспоминать) публично

на лекции обличил в невежестве, а тот на меня сорвался. Рассказал я все отцу Александру (еще более стыдно сейчас думать, как я мог ему, уже тогда тяжело больному, этим докучать), и батюшка стал буквально умолять меня смириться и простить преподавателя. «Думаете, я не знаю, что он – напыщенный дурак, – продолжал отец Александр. – Но что же делать? Я вынужден терпеть его в академии по политическим причинам – от этого зависит большая дотация, которую нам начисляет его юрисдикция. Не спорьте больше с ним, а я также велю ему к вам не придирайтесь и поставить вам хорошую оценку».

Кстати сказать, года через два после кончины отца Александра преподаватель этот стал центром громкого и весьма некрасивого скандала, и ректор академии – отец Иоанн Мейендорф – настоял на его немедленном увольнении.

* * *

Уже прочтя дневники отца Александра, я заново оценил один маленький эпизод нашего общения с ним. В дневниках он неоднократно жалуется на огромную гору неотвеченных писем, скопившихся на его столе в кабинете, и на то, как ему тягостно, при катастрофической нехватке времени, разгребать ее и отвечать на них. К одному из таких «ответов» я имею непосредственное отношение.

После первого года в академии я отправился в паломническую поездку на Святую Землю и в Грецию. Довелось впервые побывать и на Афоне, откуда я привез в академию драгоценный дар одного из тогдашних насельников Пантелеимонова монастыря (сейчас он – известный во всей России старец) – уникальные по красоте покровцы и воздух работы XVIII века. Я передал их отцу Александру, который был очень тронут этим знаком внимания нашей академии со стороны афонского русского монаха, отца И. (так звали дарителя), и обещал,

что напишет ему благодарственное письмо, отправить которое на Афон поручит мне. Проходит неделя, другая, письма нет. При встрече я напомнил отцу Александру о его обещании. Он, смутившись, сказал, что совсем замотался и забыл, но письмо скоро напишет. Тем не менее письма все не было и не было. Я напоминал ему несколько раз и в конце концов довольно раздраженно объяснил, как это неудобно перед человеком, который до сих пор даже не получил подтверждения, что его дар «доехал» до адресата. Потрясающе, но отец ректор даже как бы немного растерянно воспринял мою нахрапистость, еще раз извинился и обещал, что всенепременнейше даст мне письмо до конца дня (сегодня я с ужасом вспоминаю свое тогдашнее поведение и не перестаю поражаться смирению отца Александра). И действительно, через несколько часов меня пригласили в кабинет ректора, и отец Александр передал мне исписанный мелким каллиграфическим почерком листок, где очень сердечно благодарил отца И. за его внимание и любовь. Кстати, по-русски отец Александр писал, пользуясь старой орфографией (мне он говорил, что по-другому не умеет).

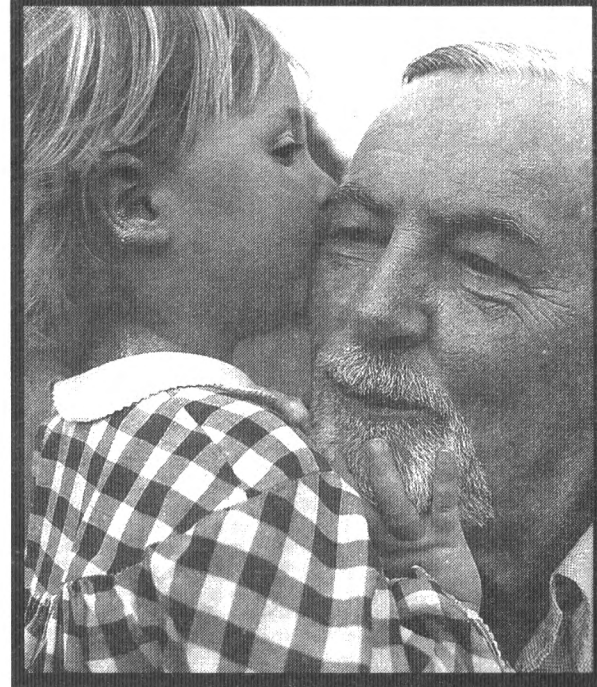
Покровцы эти батюшка очень любил и служил с-ними по большим праздникам. Одна из лучших его фотографий, со Святыми Дарами в руках, сделана в его предпоследнюю Пасху 1982 года. Дары покрыты именно этими покровцами.

На Афоне многие ценили и любили отца Александра. Когда он скончался, на адрес академии пришла посылка из Ставроникитского монастыря от игумена Василия с братией. В посылке был ларец с драгоценным фиомином редкого благоухания – на помин души отца Александра (так было сказано в сопроводительном письме с соболезнованиями).

Отец Александр
с матушкой Улья-
ной. Таковыми я их и
увидел в 1980 году



С внучкой
Наташей





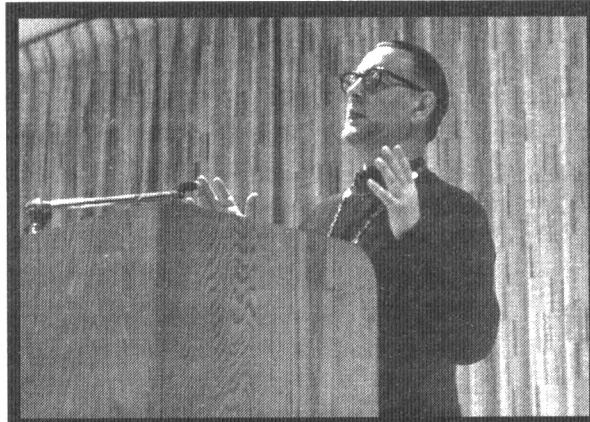
С матушкой



Отец Александр
с внуками



Отец Александр
и его зятья—священники
Иоанн Ткачук и
Феофан Хопко



Великий братер



Выступление
о. Александра. Сзади —
сп. Василий (Родзянко)



С профессором
С. С. Верховским

* * *

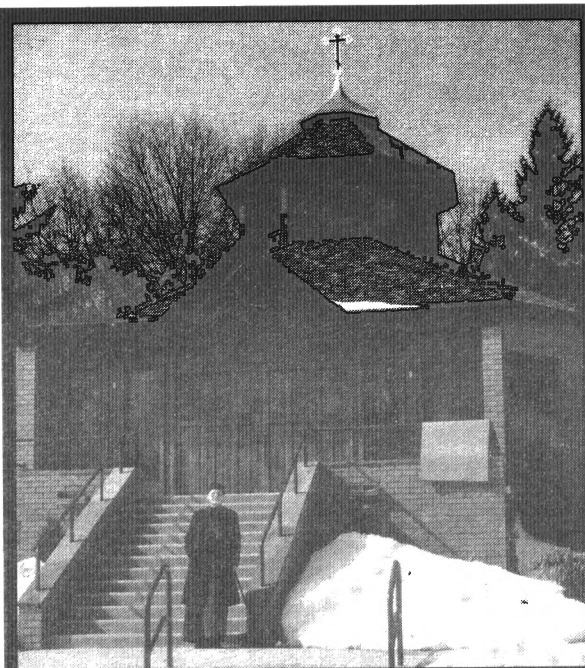
В первую очередь, высокое священническое призвание отца Александра выражалось в том, как он совершал богослужение. Литургисал отец протопресвитер царственно. Другого слова не подберешь. По-царски перемещался по храму, царским был его каждый шаг, кажение, возгласы, жесты. Интересно, что, хотя в академии служба шла по-английски, он всегда имел при себе славянский служебник, и если не возглавлял богослужение, то пользовался только им.

В связи с этим нужно сказать следующее. Сегодня в Москве действует одна радикально реформистская община, руководитель и члены которой во всеуслышание заявляют, что продолжают дело отца Александра. В результате своих «реформ» они восстановили против себя всю Русскую Православную Церковь и приобрели очевидный сектантский менталитет. Я прослушал полный курс лекций отца Александра и видел, насколько он огорчался, когда то, что он говорил, воспринималось в качестве руководства к немедленному действию.

Главный курс, который читал отец Александр, назывался «литургическое богословие». По-моему, название это он сам и изобрел. То был особый предмет — авторский курс самого отца Александра Шмемана, в котором он преподносил нам Православие в собственном видении.

Я уже говорил, что отца Александра знали как непревзойденного лектора, обладавшего потрясающим даром слова. Сотрудники радиостанции «Свобода», где он записывал свои передачи, рассказывали, что он обладал идеальным чувством времени: говорил ровно заданный срок и мог выстроить под него все свое выступление: введение, основную часть, выводы.

Конечно, и у него случались неудачные лекции, но весьма редко. Но главное, во время своих выступлений он творил, и видно было, как свершается это творчество.



Отец Александр
и нового академи-
ческого храма.
Через несколько
месяцев в нем его
будут отпевать



Проповедь

Это было, наверное, самым захватывающим в его лекциях, проповедях, речах. Но, как и любой творец, отец Александр во время лекций, прежде всего, говорил с собой, отвечал на собственные вопросы, разрешал собственные недоумения, открывал собственные упования. Неизбежно, некоторые слушатели могли не так его понять и не так интерпретировать. Отец Александр осознавал это и очень переживал по этому поводу.

Сам он вырос в бытовой православной культуре, в традиционном православном благочестии, с которым он спорил, против которого возражал, но которое он очень любил, ведь с младенчества оно являлось его родной стихией. Смыслом ведомого им спора, его ядром была расстановка приоритетов, но не уничтожение сложившихся форм. Менее всего он хотел скандализировать кого-либо и в жизни с большим терпением и снисхождением относился к людям, соблюдавшим те обычаи, которые он критиковал в своих книгах и лекциях. Например, он сколько угодно мог порицать то, что в Русской Церкви награждают священника митрами, говоря, что это поздний обычай, принесенный в Россию только в XVIII веке, что в других поместных Церквях такого не знают, что митры — это часть облачения епископа и прочее. (Помню, как-то он говорил, что, по его мнению, хорошо только что рукоположенного иерея наградить сразу всеми наградами, а затем отбирать их по одной, чтобы к концу жизни он подошел бы просто обычным священником). Но при этом сам он очень любил свою митру и по большим праздникам всегда служил в ней.

Он не видел в этом противоречия: все нормально и естественно уживалось в нем, и в этом проявлялась широта его личности, его восприятия действительности. Отец Александр был гармоничным человеком, принимающим жизнь во всей ее полноте и умеющим радоваться ей. Он был пастырем Церкви Христовой по

призванию, любящим Православие со всей его целокупностью и не мыслящим без него своей жизни. В общении с людьми он проявлял себя как истинный пастырь, стараясь никого не соблазнить, никого не смутить. Он никогда не стремился что-то менять, что-либо перестраивать, что-нибудь рушить и с ужасом воспринимал подобных «реформаторов». Прежде всего он стремился научить отличать главное в Православии от второстепенного, призывал к правильной расстановке акцентов и верному соотношению вещей друг с другом. Иными словами, главным он считал умение «различать духов», о котором говорил апостол Иоанн. Именно к этому он призывал, а не к ломке и разрушению — то, чем занимаются наши горе-реформаторы.

Безусловно, подобные им «новаторы от Православия» имелись и в Америке во время отца Александра. Например, некоторые студенты, недавно пришедшие в Церковь, которые не имели его поликультурного опыта, не жили в православной среде, воспринимали писания и лекции отца ректора как некую идеологию, как руководство к действию. Потом их рукополагали, они отправлялись на приходы и начинали там все крушить. Отец Александр приходил в ужас от этого. Я помню фразу, которую он неоднократно с горечью повторял в последние годы жизни: «Православная Церковь пережила гностиков, ариан, монофизитов, арабов, иконоборцев и турок, она пережила гонения от римо-католиков и коммунистов, но совсем не уверен, переживет ли она конвертов (новообращенных американцев)». Говорил он это с искренней болью.

Тут нужно привести две истории отца Александра, характеризующие его отношение к богослужению. Как-то он рассказал, что в кулуарах одной межконфессиональной конференции пожаловался католическим ксендзам, как часто раздражается и страдает из-за бесконечных нарушений порядка богослужений в академическом храме:

новорукоположенные диаконы и священники ошибаются, выходят на солею не вовремя, кадят неумело, ектеньи говорят не те и т. д. Собеседники посочувствовали ему и предложили решение: «А вы тогда совершайте частную мессу, для себя только. Придите в храм с утра пораньше, о службе никому не объявляйте и служите себе в свое удовольствие!» Комментарии, как говорится, излишни. Этот пример о. Александр использовал, чтобы проиллюстрировать разницу католиков и православных в отношении к Литургии.

Другая история связана с бесконечными вопросами, которые протестантские посетители все время задают в православных храмах: «А зачем вам эти иконы, эта позолота, эти облачения, эти кадила, иконостасы и т. д.? Неужели без этого нельзя?». Однажды о. Александр ответил таким вопрошателям: «Я мог бы прочитать вам трехчасовую лекцию об истории православного богослужения. Мог бы даже предложить прослушать годовой курс, который показывает укорененность нашего богослужения в предании Ранней Церкви. Но я скажу проще: у нас все это есть, потому что это нравится детям!»

* * *

Но, наверное, самому важному профессор и священник Александр Шмеман научил нас примером последнего года своей жизни, тогда, когда он преподавал меньше всего, да и служил реже, чем обычно — года, прошедшего под знаком его болезни и завершившегося его кончиной. Главный урок, который он нам преподавал, — это урок своей смерти.

На моем втором году в академии, в последний год, когда отец Александр ощущал себя более или менее сносно, хотя, я уверен, болезнь уже точила его изнутри, он прочел факультативный курс, который назывался «Литургия смерти». Он давно готовился к этим лекциям, давно хотел разделить это знание с нами, и вот наконец время пришло.

Курс был посвящен христианскому отношению к смерти, его эволюции во времени на Западе и на Востоке и тому, как рассматриваемый процесс выражался в богослужении Церкви. Все это в преломлении отца Александра, в его изложении, в его видении оказалось потрясающе интересным. Многие вещи запомнились на всю жизнь.

А уже в конце семестра, завершая курс, отец Александр рассказал о том, какой смертью он хотел бы умереть сам.

Этому предшествовало описание отношения к смерти, которое господствует в сегодняшней Америке, — то, что отец Александр назвал «стерилизованной смертью». Смерть вытеснена из жизни, человек живет, как будто ее нет, и ничто не должно напоминать ему о ней. Даже когда она уже рядом, делается все, чтобы больной до последнего не знал, что он умирает. Его все время уверяют: «С вами все нормально, у вас ничего страшного, вы прекрасно выглядите, у вас лишь небольшое недомогание, которое скоро пройдет. Вот примите еще такое лекарство, и у вас все будет хорошо». Умирание переносится в больничные стены, где живущего последние дни человека загружают наркотиками, транквилизаторами, антидепрессантами — чем угодно, только бы он не пребывал в полном сознании, не устроил бы никаких истерик или незапланированных выходов, чтобы его самого не мучили страхи и чтобы он в таком полубессознательном состоянии отошел в мир иной. Итак, главное событие жизни, главный переход свершается в стерильном безличном больничном окружении, среди сиделок, врачей и сестер, вдали от дома, домашних, близких, вдали от осознания важности того, что происходит.

Отец Александр подчеркивал, что смерть — это важнейший момент, окончательный итог жизни, к которому мы готовимся на протяжении всех прожитых лет и который очень важно встречать в полном сознании, отдавая себе отчет в происходящем. И сам он хотел умереть

в полном сознании, не в больнице, а дома, среди своих близких, которые сознавали бы всю важность того, что с ним происходит, и помогали бы ему молитвой, любовью и сопереживанием. Смерть — это таинство, подчеркивал отец Александр, в котором призваны участвовать все близкие уходящего человека.

Собственно, так и вышло. Милосердный Господь исполнил пожелание отца Александра, но произошло все это гораздо раньше, чем мы все могли предполагать. Начало следующего учебного года ознаменовалось болезнью отца Александра. Был поставлен беспощадный диагноз: рак, метастазы по всему телу, операцию делать слишком поздно. Началась химиотерапия, лучевая терапия, которые переносятся чрезвычайно тяжело. Внешне отец Александр изменился очень быстро: энергичный, сильный, молодежавший человек за несколько недель превратился в дряхлого старика. Сил у него оставалось очень мало. Но тем не менее до последнего момента он трудился: дописывал свою книгу о Евхаристии — главную книгу его жизни, над которой он работал уже долгие годы, если не десятилетия. Многие части ее мы, студенты, слышали на его лекциях, наблюдая за его творческим процессом и поси́льно соучаствуя в нем.

По дневникам его видно, с каким трудом и мучениями давалась ему эта книга. Я помню отца Александра, в этот последний год приходящего в алтарь академического храма, где я помогал ему облачаться, а он говорил: «Только бы Господь дал мне время завершить "Евхаристию". Только бы успеть...». Господь дал ему это время. За две недели до своей кончины отец Александр пришел на всенощную и, облачаясь в пономарке, сказал мне: «Слава Богу, книгу я написал, поставил последнюю точку».

Он успел. Книга написана и опубликована. Конечно, она немного не доведена до окончательной формы, конечно, с текстом можно было бы еще поработать, но все же

точка поставлена, и труд жизни завершен. И, может быть, в этой легкой недоработанности, в небольшой рассогласованности текста есть свой смысл — это непосредственное слово великого священника и пастыря, не отдаленное от читателя авторской правкой и выглаживанием формы.

Нельзя не сказать о той трансформации, которая произошла с отцом Александром за время его болезни. Отец Александр был лидером, по-своему властным человеком, характер у него был горячий, он мог сорваться, мог резко сказать, иногда мог и повысить голос (студенты с нескрываемым «священным трепетом» передавали друг другу историю, как во время последнего академического кризиса, случившегося за год до моего поступления, после исключения нескольких зачинщиков отец ректор на общем собрании кричал: «Я не потерплю, чтобы академия превратилась в притон для наркоманов и гомосексуалистов!»). Его внутренняя сила выражалась, в том числе, в самостоятельности: он делал все сам и весьма ценил и оберегал свое личное пространство, пространство его личной жизни и личной неприкосновенности. И вот его постигла смертельная болезнь и изматывающее лечение, приносящее тяжелые физические страдания и резкий упадок сил. Без помощи, даже банальной физической поддержки других людей он уже не мог обойтись. Но сколько бы я ни видел его и ни говорил с ним, он никогда не жаловался на страдания, боли или потерю сил. Все постигшее его он переносил спокойно и стойко. К концу этого года все, что в нем было несвятого, выгорело, исчезло, испарилось. Осталась лишь чистая и лучезарная радостная детскость.

Казалось бы, он мог стесняться своей слабости, переживать или раздражаться, что теперь его нужно было поддерживать под руку во время богослужения, когда он понимался на амвон или спускался с него. Но он относился к своей немо́щи с иронией и с огромной благодарностью

реагировал на любую помощь, на протянутую руку, на поданную фелонь, на зашнурованные поручи и так далее. Он весело смеялся над тем, что теперь не может сам совершать эти действия, подшучивал над собой и своим бессилием. Да, выглядел он дряхлым стариком, но глаза у него стали совершенно детскими – чистыми, искренними и широко открытыми миру. Дар радости и благодарности, о котором он постоянно писал в своих дневниках, в этот период проявился у него в полной мере. Как ребенок, он стал зависеть от других людей, от их помощи и поддержки и с радостью, доверием и благодарностью принимал эту помощь. Он был готов к встрече со Христом.

Человек, посетивший дом отца Александра за сутки до его смерти, подробно описал мне увиденное. Отец Александр был уже очень слаб и из комнаты своей не выходил. До этого он несколько дней провел в больнице, но попросился домой. Все его близкие были в сборе: жена, дети и внуки. Все они понимали, что время пришло. Отец Александр в белом подряснике сидел на стуле в своей спальне, сидел абсолютно прямо, до конца сохраняя свою царственную выправку. Рядом сидела его жена, она держала его за левую руку. Время от времени он поднимал правую руку, чтобы перекреститься, и насколько ему хватало сил, творил крестное знамение. Дома царила напряженная, но вместе с тем спокойная трезвенная атмосфера, все молились и ждали этого важного события – перехода их мужа, отца, бабушки в мир иной, из временной жизни в жизнь вечную. Через час или два отец Александр потерял сознание. В коме он пробыл менее суток и спокойно скончался. У него оказалось очень крепкое сердце, продолжавшее биться даже тогда, когда организм полностью выработал свой ресурс.

За несколько часов до смерти ректора академии все наше духовенство собралось у его одра, чтобы отслужить последнее соборование (несколько соборований уже про-

водилось). Отец Александр пребывал в беспамятстве. Но вдруг, когда прозвучало заключительное слово службы – «Аминь», он открыл глаза и произнес: «Аминь, аминь, аминь!» Эти слова оказались последними, больше в себя он уже не приходил. Так евхаристическая жизнь отца Александра завершилась евхаристической смертью. Ведь это самое троекратное «Аминь» по окончании Евхаристического канона произносит вместе все духовенство, а раньше произносила и вся церковь.

В ночь его кончины разразилась страшная буря. Мы почувствовали, что что-то должно произойти. Но утром, когда, проснувшись, мы узнали печальную новость, несмотря на позднюю осень, на безоблачном небе сияло яркое солнце.

Потом начались незабываемые трое суток, когда гроб стоял в церкви. Служились панихиды, чтения Евангелия не прекращались ни на минуту. Поскольку я был старшим алтарником, мне пришлось всем этим руководить, составлять графики чтений и панихид, замещать опоздавших, заполнять непредвиденные паузы. Все эти три дня я почти что не выходил из храма, спал по несколько часов в день урывками, но усталости не чувствовал: даже спать практически не хотелось. Меня, да и не только меня, вело особое ощущение светлой, пасхальной грусти. Грусти, смешанной с пасхальной радостью. Это было особое и редкое ощущение, ощущение особого Присутствия, посещения Божьего, итога, свершения, победы, причастность к которым, по милости Божией, довелось хотя бы немного пережить. Гроб стоял в храме, я разговаривал с отцом Александром, обращался к нему, молился за него, просил его помощи и поддержки. И не было никаких сомнений, что он тут, рядом, слышит меня и отвечает мне. Так продолжалось три дня, потом было отпевание в переполненном храме и литургия на следующее утро, после которой мы все поехали на кладбище

при Свято-Тихоновском монастыре в Пенсильвании, где похоронили отца Александра.

Все это навсегда осталось в моей памяти, и я могу лишь молиться и надеяться, что и мне Господь пошлет такую же христианскую кончину: честную, непостыдную и мирную, которой удостоился мой духовник и учитель отец Александр Шмеман.

ОТЕЦ ИОАНН МЕЙЕНДОРФ

Я знал отца Иоанна немногим более одиннадцати лет – уже гораздо дольше мы живем без него. Казалось, он будет с нами еще очень долго, и мы всегда можем рассчитывать на его мудрость, знания, авторитет, можем обращаться к нему за пастырским окормлением. Вышло совсем иначе: он ушел в тот момент, когда его талант, опыт и авторитет, казалось бы, будут больше всего востребованы. Ушел, передав эстафету тем, кто трудится в России – его родине, которую он очень любил и пожить на которой ему так и не довелось. И в этом тоже – глубокий символизм его судьбы. Его книги только сейчас начали выходить на русском языке (еще несколько лет назад русскому читателю он был известен всего лишь одним сборником статей и конспектами его лекций по святоотеческому богословию). Теперь это, слава Богу, уже не так, и любой желающий может сам открыть для себя творчество замечательного патролога, историка, богослова нашего времени. Его книги дают некоторое представление и об авторе – его научной методологии, богословских воззрениях, его литературном стиле, эрудиции и чувстве юмора. Но в своих трудах, как и в жизни, сам отец Иоанн стремился быть как можно менее заметным, чтобы читатель самостоятельно делал выводы из предоставляемых ему фактов. Надеюсь, что эти разрозненные заметки о моем духовном отце позволят хоть немного познакомиться с его светлой личностью.

* * *

Отец Иоанн происходил из очень древнего рода. Когда в 1982 году я первый раз был в Германии, то специально заехал в город Бамберг, в числе прочих красот знаменитый величественным собором романской архитектуры. В алтаре этого собора похоронен Римский папа Климент II фон Майендорф. Это второй немец в истории папства, краткий понтификат которого пришелся на 1046–1047 годы. Происходил папа Климент II из Бамберга, но по своему избранию, естественно, вынужден был переехать в Рим. Однако в Италии ему очень не понравилось, и тогда он поехал домой, в Бамберг, решив перевести папство туда. Как рассказывал отец Иоанн, кардиналы, весьма недовольные такой перспективой, отравили его по пути (отец Иоанн не исключал, что яд был подсыпан несчастному в евхаристическую Чашу), и, едва доехав до Бамберга, он скончался. Бамбергцы до сих пор гордятся, что уроженец их города был Римским понтификом.

Ко времени Климента II род Майендорфов был уже известным и влиятельным. Потом одна из ветвей этого рода отправилась в крестовый поход в Балтийские земли. Там Майендорфы осели, а в XVI веке вместе со всей немецкой аристократией Балтии приняли лютеранство. После петровских войн Рига вошла в состав Российской империи, и предки отца Иоанна стали служить новому государю.

Известны две ветви рода баронов Майендорфов (такое русифицированное произношение этой фамилии). Так сложилось, что представители одной из них больше подвизались на дипломатической службе, а другой – на военной. Дипломатическая ветвь рода упоминается в письмах различных русских писателей, в частности Алексея Константиновича Толстого. Один из них стал близким знакомым небезызвестной Елены Блаватской (правда, когда она была еще весьма молодой, экзальтированной, мистически настроенной провинциалкой). Прадед отца

Иоанна, генерал русской службы, был набожным лютеранином, но женился он на православной девушке. По закону Российской империи дети от смешанных браков должны были стать православными. Отец Иоанн рассказывал, что прадед, весьма огорченный таким поворотом событий, возвел в Риге памятник Лютеру. Пару лет назад я был в Риге и пытался этот памятник отыскать. К сожалению, он не сохранился. Как бы то ни было, но именно таким образом предки отца Иоанна стали православными.

Дед отца Иоанна (сын последнего лютеранина в роду) служил начальником охраны Зимнего дворца. Он был многодетным отцом тринадцати чад.

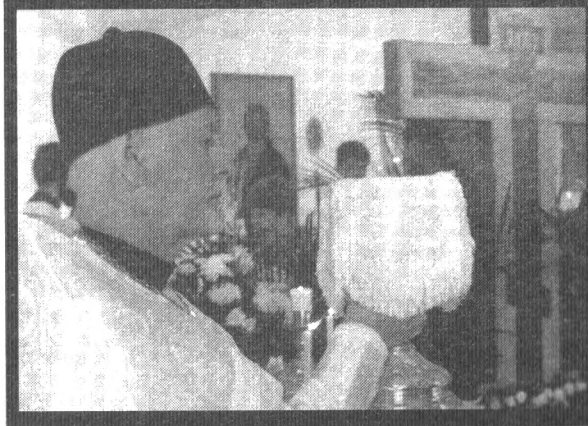
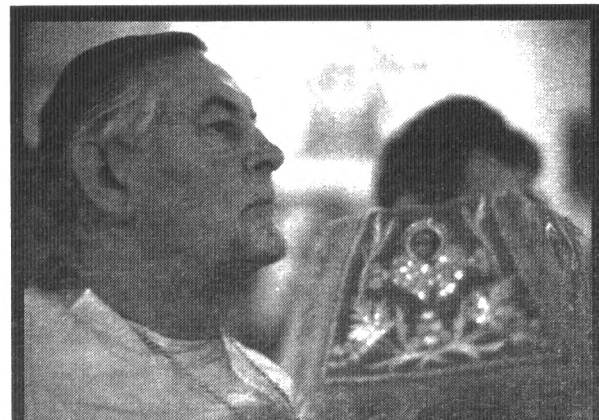
После революции все многочисленное семейство Мейендорфов рассеялось по свету. Отец моего будущего духовника – седьмой по счету ребенок, с редким именем Феофил – был женат на представительнице старого дворянского рода Шидловских. Он обосновался в Париже, где ему пришлось освоить новую профессию – художника-миниатюриста. Портреты всех российских государей, выполненные им для какого-то печатного издания, украшали гостиную крествудского дома Мейендорфов. Там же висели портреты-миниатюры, изображавшие самого отца Иоанна ребенком и молодым человеком, и портрет юной темноволосой красавицы в свадебном платье – его супруги.

По рассказам, Иван Мейендорф в детстве был тихим, ученым мальчиком, очень вдумчивым и рассудительным. Его выдающиеся способности отмечали все, кто его знал. Семья была религиозной, и отец Иоанн с раннего возраста прислуживал в кафедральном соборе святого Александра Невского на рю Дарю, затем стал чтецом и иподиаконом. Нельзя сказать, что он был замкнутым нелюдимом: например, он любил бальные танцы и прекрасно танцевал. Но при этом он всегда помнил о главном: о вере, которая была для него неотделима от знания, от истории и от Предания, передававшегося от поколения

Отец Александр
Штеман с афонскими
покрывцами. 1982 г.

1983 г. Последняя
земная Пасха
о. Александра

1983 г.
Великая суббота





Прощальный снимок
о. Александра

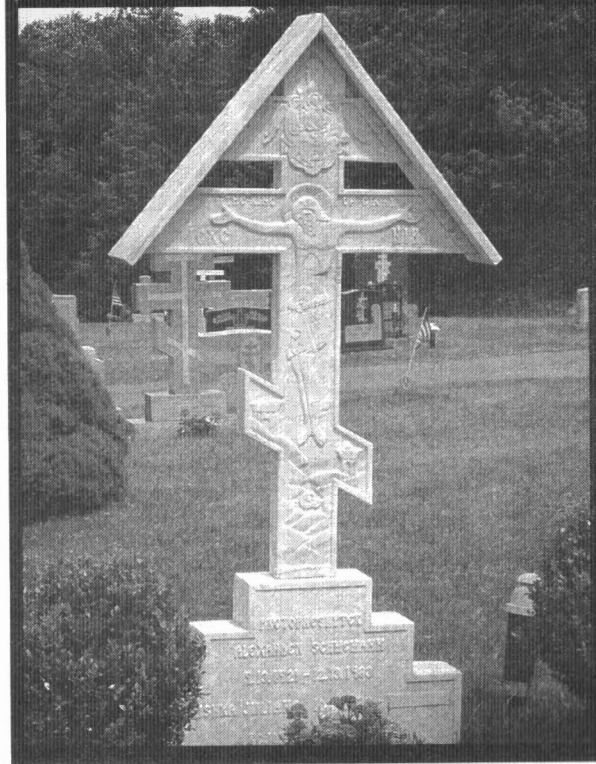


Чтение у гроба



Отпевание

Вынос тела
о. Александра из семи-
нарского храма



Могила
о. Александра



Пасха:
с Мейендорфами
на фоне их дома



...и академического
храма



С о. Иоанном и
матчишкой
Марией Алексеевны

к поколению с самого начала Церкви – то есть от Самого Христа. Отец Иоанн был убежден в истинности православного учения не просто как верующий – он мог доказать ее как глубоко знающий свой предмет ученый, видящий непрерывность Предания – основы Православной Церкви, которую он безоговорочно воспринимал как единственную подлинную Церковь – святую, соборную и апостольскую. Помню, как на одной из лекций он сказал, что одна из проблем римо-католичества – это наличие в его истории огромной массы человеческих наслоений, ошибочно объявленных догмой церкви, обязательной для всех верующих. Католические догмы и предания оставляют слишком мало пространства для свободной человеческой мысли и богословского творчества и зачастую противоречат друг другу. «Я не знаю ни одного римо-католика, – добавил он, – который верил бы во все, во что он обязан верить как член своей церкви. А вот я в любой момент готов лично подписаться под каждым вероучительным документом, обязательным для всей Православной Церкви, ибо абсолютно убежден в истинности каждого из них и готов ее доказать».

В январе 1950 года, по окончании Свято-Сергиевского Богословского института, Иван Мейендорф женился на Марии Можайской – правнучатой племяннице конструктора первого самолета. В свадебное путешествие молодожены поехали в Рим. Потом приятели рассказывали, что, когда Мейендорфы вернулись и Ивана стали спрашивать, как все прошло, он отвечал: «Правду говорят про Рим, что это вечный город!» Таково было главное впечатление историка и патролога от свадебного путешествия. Впрочем, нужно добавить, что отец Иоанн был очень сдержанным человеком и никогда не любил публично выражать свои чувства.

В Марии Алексеевне отец Иоанн нашел верную спутницу жизни. У них было четверо детей. Молодой семье

пришлось пережить самые разные времена, в том числе и крайнюю бедность, и стеснения, и приспособление к новой жизни за океаном, и многое другое. Помню, отец Иоанн рассказывал об этом времени: он преподавал в Богословском институте в Париже и одновременно писал докторскую диссертацию в Сорбонне. Студенты очень любили своего молодого преподавателя и помогали ему чем могли. Например, один студент, снимавший квартиру в том же доме, что и отец Иоанн, частенько сидел с его детьми. Это был будущий патриарх Антиохийский Игнатий.

Но даже в самых стесненных обстоятельствах Мария Алексеевна умела сделать их дом уютным и теплым. При ее постоянной занятости – четверо детей, домашнее хозяйство, помощь отцу Иоанну, кройка, шитье (ей пришлось этому научиться, так как покупать одежду поначалу было не на что), она всегда находила время на благотворительную деятельность и бескорыстную помощь ближним. Ее неутомимость и работоспособность поражают меня до сих пор. И при этом она даже сейчас прекрасно выглядит и безукоризненно одевается.

* * *

Давно уже стало общим местом утверждение, что отец Иоанн был крупнейшим ученым, совершившим настоящий подвиг: по сути, он вернул в научный оборот и породил для православной духовности учение Григория Паламы, которое к тому времени было практически забыто. Это сегодня знают все.

Но отец Иоанн был не только одним из крупнейших патрологов XX века, ученым с мировым именем. Он был исключительным, редким пастырем, душу свою полагавшим за своих овец. Для меня он был в некотором роде эталоном Православия. Он всегда придерживался, как сам это называл, «срединного золотого пути», то есть никогда не уклонялся ни в размытое экуменическое

богословие, ни в сектантство, ни в бездумное охранительство, ни в безудержный либерализм, но всегда призывал к трезвению и рассуждению. Это и были главные черты его напряженной духовной жизни. И при всей своей мягкости и деликатности, на главном отец Иоанн стоял очень твердо и в вопросах принципиальных не уступал никогда. Он всегда был ровным и спокойно-доброжелательным. Раздраженным я видел его лишь несколько раз. И всякий раз его раздражение было вызвано столкновением с ханжеством и лицемерием, которые он действительно не мог выносить.

Думаю, именно этой чертой его характера объяснялось органическое неприятие им религиозного притворства и духовного маскарада – унии, интеркоммуниона разных сортов, участия православных в инославных богослужениях и прочих «экуменических двусмысленностей». Но при этом он всегда подчеркивал важность быть открытым ко всему доброму, что можно увидеть в других христианских традициях и необходимость православного свидетельства перед инославными. В этой связи характерно его определение сектантства, которым он однажды со мной поделился: «Секта – это сравнительно небольшая замкнутая группа людей, которые считают, что только они одни спасутся, а остальные погибнут, и которые получают глубокое удовлетворение от осознания этого».

* * *

Впервые я встретился с отцом Иоанном, когда, еще будучи студентом Нью-Йоркского университета, приехал в Свято-Владимирскую академию, чтобы окончательно решить вопрос, поступать ли мне туда. Меня тогда принял отец Иоанн, тогда же я впервые побывал в его доме. При всем уважении к знаменитому богослову и несмотря на некоторое замешательство перед ним, мне сразу стало очень легко и приятно общаться с этим высоким и статным, слегка полнеющим человеком с аккуратной подстриженной

бородкой и внимательным добрым взглядом окруженных морщинками глаз.

Когда через полгода я начал учиться в академии, мой нью-йоркский духовник благословил меня ходить на исповедь к отцу Александру Шмеману (в академии было правило, что все студенты на время обучения должны были избирать себе духовника из числа преподавателей). Отца Иоанна в тот год в академии почти не было (у него был sabbatical*, который он провел в Дамбартон-Оуксе), и даже лекции его читались другими преподавателями. Поэтому наше знакомство продолжилось лишь через год: я начал слушать его лекции, писать курсовые, беседовать с ним об истории. Отец Иоанн приглашал меня в свой дом, и я близко познакомился с его домашними. Несколько раз во время его отъездов он просил меня ночевать в его доме, чтобы присматривать за порядком и гулять с собакой.

Я уже говорил о том, что последние несколько месяцев своей жизни отец Александр Шмеман был тяжело болен и ему уже стало трудно принимать исповедь у своих многочисленных чад. Мне не хотелось его обременять, и, попросив его благословения, я стал исповедоваться у отца Иоанна. С тех пор он сделался моим духовником. Скажу больше: поскольку мои родители развелись, когда я был совсем маленьким, я фактически вырос без отца. В отношениях с отцом Иоанном я впервые узнал, что значит настоящее отцовство. Я мог к нему обратиться с любым своим делом, а дом его во многом стал для меня – бездомного студента, жившего в общежитии и не имевшего, куда поехать на каникулы, – родным. Я помню ежегодные масленичные блины у отца Иоанна, пасхальные трапезы, посиделки при свечах у рождественской елки, да и просто обычные тихие вечера в его доме. И отец Иоанн, и Мария

* Творческий годичный отпуск, предоставляемый преподавателям американских университетов каждый седьмой год. – *Примеч. ред.*

Алексеевна помогали мне постоянно – не только советами, но и делом. Мария Алексеевна, например, учила меня французскому языку, когда я готовился к сдаче экзаменов на «докторский минимум». Когда я отъезжал из Нью-Йорка или из Америки, я писал письма отцу Иоанну и всегда быстро получал от него ответы – лаконичные, но исчерпывающие, написанные его характерным мелким, но очень четким почерком.

Жизнь священника и богослова отца Иоанна Мейендорфа была подчинена служению Богу и Его Церкви. Это было тем, что наполняло его бытие смыслом. Все остальное подчинялось главному. Я вспоминаю одну историю, которая показывает удивительную скромность и смирение отца Иоанна. В его жизни могло произойти одно событие, которое стало бы венцом его научной карьеры. В 1981 году профессора Мейендорфа пригласили на должность директора в Дамбартон-Оукс – Научный центр византийских исследований в Вашингтоне. Это один из наиболее крупных и авторитетных научных центров во всем мире, к тому же сказочно богатый частный институт, обладающий огромными фондами. По завещанию его основателя, мультимиллионера, все эти деньги были оставлены на византийские исследования. И вот отца Иоанна пригласили стать директором этого Института... Во-первых, это почетная должность, а во-вторых, она сулила материальное положение, несравнимое с полупенсийским по американским стандартам жалованьем профессора Свято-Владимирской академии. Казалось бы, то, о чем любой ученый мог только мечтать, – стать во главе такого учреждения и с головой, не отвлекаясь ни на что, погрузиться в предмет своих исследований... Тем не менее отец Иоанн отказался. Он считал, что его место в академии, в Церкви. Когда я его спрашивал, почему он отказался, он всегда очень скромно отвечал: «А зачем? Мне это неинтересно, это какие-то административные

обязанности, которые мне не нужны...» – настолько естественно для него было оставаться просто священником и служить Церкви. Я помню, в старых эмигрантских журналах я находил статьи, написанные отцом Иоанном еще до принятия священства. Эти статьи были подписаны «барон Иван Мейендорф». Но после принятия священства все титулы отменяются. Точно так же и все многочисленные научные титулы и звания для отца Иоанна были вторичны по сравнению с главным служением его жизни.

* * *

Отец Иоанн обладал неповторимым чувством юмора. Помню, как он едко заметил в ответ на очередное обвинение, что Свято-Владимирская академия, дескать, готовит высоколобых ученых-богословов, в то время как Церкви нужны в первую очередь служаки и пастыри (весьма распространенное мнение в православной Америке): «Каких богословов? За всю четверть века, что я здесь преподаю, из академии вышло всего три богослова!»

Он был замечательным рассказчиком. Характеристики, которые он давал людям и событиям, были точны, кратки и емки. Его знание людей и видение главного в каждом человеке было исключительным. Наверное, именно это качество помогало ему в проникновении в самую суть исторических событий: в истории для него был особенно важен «человеческий фактор», и ко всем персонажам прошлого он относился с пониманием, любовью и снисхождением, естественно вполне по-святоотечески отделяя человека от его грехов. Я очень любил рассказы отца Иоанна о его парижской молодости в годы войны и немецкой оккупации Франции, о различных эмигрантских деятелях, о детских и юношеских наблюдениях во время алтарничания в соборе на рю Дарю (как-то отец Иоанн упомянул проходившее там отпевание известного оккультиста Гурджиева: «Таких наистраннейших типов – имелись в виду

собравшиеся на похороны – я не видел больше никогда в жизни», – говорил он), о встречах с различными известными людьми прошлого (такими как митрополит Евлогий (Георгиевский), митрополит Владимир (Тихоничий), протоиерей Сергей Булгаков, архимандрит Киприан (Керн), протоиерей В. Зеньковский, А. В. Карташев, В. Н. Лосский, патриарх Афинагор, митрополит Никодим (Ротов) и другие), о поездках в Советский Союз. По его рассказам я знакомился с церковной жизнью на родине: насколько точным оказалось это представление, я убедился, когда вернулся домой из эмиграции!

Там он был несколько раз – ездил с какими-то церковными делегациями. Ему даже удалось прочитать ряд лекций в Тбилисском университете – окраины империи все же были слегка более либеральными. Отец Иоанн обладал удивительным чутьем и тактом: он очень четко чувствовал, как и что можно говорить о религии в СССР, чтобы сказать главное, донести до аудитории основное, но при этом остаться в рамках советской «легальности» и не подвести никого из своих слушателей. Хотя он никогда не жил при советской власти и, как все мы, не впитывал с молоком навыка «эзопова языка», он очень умело им пользовался. Но при этом, поскольку отец Иоанн рос свободным человеком, его лекции все же получались откровеннее: он мог сказать очень-очень многое. Отец Иоанн весьма тепло отзывался об аудитории, которая приходила на его лекции. Нужно иметь в виду, что там наверняка всюду сидели наблюдатели, которые смотрели, кто как слушает и какие вопросы задает. И тем не менее народу собиралось очень много: зал был набит битком.

Помню одну примечательную историю, которую любил рассказывать отец Иоанн. Грузинская Патриархия выделила для него машину – чтобы шофер показал ему достопримечательности Грузии и грузинского Православия. Они проезжали мимо разных храмов, многие из

которых, в отличие от России, были «действующими», и отец Иоанн, не зная, с кем имеет дело, завел осторожный дипломатичный разговор: «Вот видите, все-таки, слава Богу, хоть какие-то храмы открыты, действуют... Значит, можно существовать?» На что шофер, не разжимая губ, ответил с грузинским акцентом: «Сатанынская власт!»

А вот другая история. Отец Иоанн приехал в Москву вместе с какой-то экуменической делегацией Национального совета церквей США. В программу визита входило посещение патриаршей литургии в Елоховском соборе. Отец Иоанн, естественно, служил, а остальную делегацию, состоявшую из инославных, поставили на солею рядом с правым клиросом, откуда, как отмечал рассказчик, им ровно ничего не было видно, кроме разве что кончика носа патриарха Пимена, когда он выходил благословлять народ с дикирием и трикирием. Когда служба заканчивалась, в алтаре возник вопрос о том, как Патриарху принять делегацию. Русское духовенство предложило провести ее в алтарь. Отец Иоанн запротестовал, напомнив о том, что они все неправославные. На это ему возразили, что Патриарху выходить к ним было бы совсем неприлично, так что пусть уж лучше они сами заходят. Но среди американцев была одна дама – жена какого-то методистского епископа, весьма дородная негритянка в тесных ярко-красных брюках и с громадной шевелюрой в стиле «афро». В алтарь ее, естественно, не пригласили, и она, ранее не столь заметная среди группы своих спутников, вдруг оказалась совсем одна на солее, открытая взорам всего народа. Один из протодиаконов в алтаре спросил отца Иоанна: «Кто же это диво дивное?». «Да вот, жена епископа», – не без ехидства ответил он. «Так как же прикажете ее называть? Владычица? Тьфу!» – возмутился диакон до такой степени, что его плевок оказался совсем не символическим. «В этот момент, – улыбаясь, заметил отец Иоанн, – я понял, что православная Русь еще жива».

Также я хорошо помню рассказ отца Иоанна о двух гробницах, являвших два центра моей страны: центр безбожного СССР и центр Святой Руси. Первая – мавзолей Ленина – располагалась на Красной площади. Все было организовано крайне эффективно: синхронно вышагивающие часовые, неподвижный караул, четко функционирующая очередь, в высшей степени профессиональная охрана. И все это было абсолютно стерильным и безвозвратно мертвым. Вторая гробница располагалась всего в нескольких десятках километров от первой – рака преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой Лавре. Тут все было совершенно иначе: люди в очереди, толкающие друг друга, чтобы приложиться к мощам Преподобного, нестройный хор, не всегда обладающие хорошим слухом священники, служащие молебны, орущие кликуши, сердобольные бабушки, ищущие интеллигенты, глазающие на все вокруг туристические группы, паломники со всех концов страны, отдыхающие и закусывающие тут же на лавочках – никакой стерильности, никакого порядка, никакой четкости, никакой показухи: это была сама жизнь, жизнь жительствовавшая, жизнь, бьющая через край. Да и как же иначе: ведь люди приходили в Лавру не отдать партийный долг вежливости забальзамированному трупу вождя пролетариата – богоборцу, давно проигравшему свою безнадежную войну, но принести свои чаяния и упования живому заступнику и помощнику, ибо у Бога все живы. И это наличие второго, хотя и сокрытого от глаз многих, центра, говорил отец Иоанн, было лучшим свидетельством краха мертвенной идеологии марксизма-ленинизма и залогом будущего возрождения Православия на Руси.

В родном для него Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) при советской власти ему удалось прочесть только одну лекцию (в 1973 году), которая теперь вошла в сборник, выпущенный в свет Свято-Тихоновским богословским институтом. Тогда ее каким-то чудом удалось опубликовать

в XXIX томе «Трудов Отдела древнерусской литературы». Больше в советское время публикаций в России у него не было (за исключением коротенького предисловия к книге В. Н. Лосского «Боговидение» в восьмом сборнике «Богословских трудов» за 1972 год).

Как-то отец Иоанн показал мне только что полученную им статью из газеты «Труд» с грубыми нападками на него. Там описывался какой-то эпизод, когда отец Иоанн был в Москве и якобы принимал участие в какой-то конспиративной антисоветской сходке. Статья называлась «Крест на совести» и изобиловала выражениями типа «тонкие губы "отца Иоанна" зазмеились в усмешке» и так далее в том же роде. Естественно, после такой публикации путь в Россию отцу Иоанну был заказан. Долго его туда не пускали, и только в позднее горбачевское время он снова смог приехать на родину.

* * *

Когда по благословению и по рекомендации отца Иоанна я поступил в докторантуру Фордхэмского университета, он стал моим научным руководителем. Собственно, в Фордхэме я поступал исключительно чтобы работать с отцом Иоанном (он был там штатным профессором). В качестве научного руководителя, как и в духовном окормлении, отец Иоанн во главу угла ставил свободу человека. Он мог советовать, подсказывать, но никогда не навязывал своего мнения. Конечный выбор темы оставался за мной. Но он делал очень многое, чтобы помочь мне раскрыть тему наилучшим образом, указывал на детали, которые нельзя было не упомянуть, и тщательно вылавливал все слабые пункты моей аргументации. Но работать нужно было самостоятельно – он был лишь ментором, наставником, помогавшим мне самому прийти к поставленной цели.

Отец Иоанн был, наверное, лучшим педагогом, которого я знал. Он преподавал патрологию, историю Церкви,

историю Византии. Я прослушал несколько его курсов – в академии и в Фордхэмском университете, таким образом охватив циклы его богословских и исторических курсов, которые он читал в богословском и в светском учебных заведениях. Так вот, у него был удивительный дар: он мог любую, даже самую сложную тему раскрыть очень просто. О любом предмете – историческом, богословском – он мог рассказать удивительно ясно, вычленив главное и сделать этот предмет понятным. Более того, он не останавливался, пока не удостоверился, что каждый студент его понял и усвоил то, что отец Иоанн стремился донести до аудитории. Возможно, его лекции были лишены какого-то внешнего блеска. Говорил он по-профессорски, мог даже немножко мямлить, слегка злоупотреблять междометиями, не заканчивать фраз. Но всегда его лекции были чрезвычайно интересны, необыкновенно глубоки и содержательны. И вместе с тем все было предельно ясно. Он выступал и в университетских аудиториях, и в приходских домах и мог раскрыть суть любой проблемы, сделать ее понятной для человека любого уровня. И всегда слушатели были его соратниками, шедшими вслед за ним шаг за шагом к постижению главного.

Таковыми были и его проповеди, которые он каждый раз произносил с Евангелием в руках. Они были краткими и ясными, но очень емкими, проникающими в самую суть. Они могли показаться суховатыми, но и в этом проявлялось уважение отца Иоанна к слушателям: он всегда был сдержан и осторожен в выражении своих чувств, чтобы не навязать собеседнику своего мнения через эмоциональное давление. Главное для него было раскрыть слово Божие, чтобы оно звучало в человеке, в то время как все личное и эмоциональное могло бы быть препятствием к этому.

Впрочем, очень редко, но иногда эмоции все же пересиливали. Помню замечательную, вдохновенную проповедь, которую отец Иоанн произнес над гробом отца

Александра Шмемана. Голос его несколько раз прерывался, и он вынужден был останавливаться, чтобы овладеть собой. Все присутствующие плакали. Когда он зашел в алтарь, я, глубоко потрясенный его словом и его слезами, сам не зная, что говорю, сказал, что на этой его проповеди даже ангелы рыдали. Отец Иоанн в ужасе всплеснул руками: «Ты что! Ни в коем случае нельзя такое говорить! Больше, пожалуйста, так никогда не говори!»

Меня всегда поражало глубочайшее смирение отца Иоанна. Я никогда не видел, чтобы он отмахивался даже от самых идиотских (с моей точки зрения) вопросов, которые ему задавали (уже теперь я со стыдом вспоминаю, о чем я сам порой спрашивал у него, гордясь какими-то свежеполученными знаниями). Он готов был без конца объяснять и разъяснять, ничуть не раздражаясь, не теряя терпения. Удивительно, когда ученый с мировым именем так смиренно и кротко готов возиться с любым не самым умным и не самым способным студентом.

Отец Иоанн подходил к каждой проблеме и к каждому вопросу разносторонне и беспристрастно. Именно поэтому он был так убедителен для людей самых разных взглядов. Он не совершал насилия над слушателями, навязывая им при помощи эрудиции и авторитета свою точку зрения: он раскрывал полную картину, предоставляя человеку возможность самому делать выводы. Отец Иоанн никогда не скрывал своих убеждений, но при этом никогда не позволял допустить хотя бы малейший признак пристрастности. Помню, как он отвечал докторанту – убежденному римо-католику: «Поймите, я ничего не могу сделать, но ваши убеждения, при всем моем уважении к вам и к вашей искренней вере, не основываются на исторических фактах – таких взглядов на верховенство пап в VII веке просто не было!»

* * *

Как традиционно полагается профессору, отец Иоанн отличался рассеянностью, бывшей у всех студентов притчей во языцех. Про него рассказывали анекдоты, как он что-то перепутал, пришел не туда, куда нужно... Все его любили за эту рассеянность. Я помню, как он пришел к нам на экзамен и стал писать на доске темы экзаменационных сочинений, совершенно нам не знакомые. Мы спросили, что он пишет, он в ответ осведомился, на какой курс он пришел. Оказалось – совсем не туда и пишет совсем не те темы. «Дайте мне минуту подумать», – сказал он, и через минуту написал уже правильные темы, соответствующие нашему курсу.

Еще одна из типичных историй про него. Рассказывают, что однажды отца Иоанна подвозили на машине к Фордхэмскому университету, где он преподавал. По пути он глубоко задумался. Когда машина подъехала, его спросили: «Отец Иоанн, где вас высадить?» Он поднял глаза и отозвался: «Где-нибудь поближе к Великому входу, пожалуйста». Весьма характерная оговорка, показывающая, что умом своим он в тот момент пребывал в небесной литургии.

В храме, в алтаре, во время богослужения всякая рассеянность отца Иоанна улетучивалась. Служил он четко, сосредоточенно, ясно и очень сдержанно, скромно, воспринимая свою роль исключительно вспомогательной. Все движения его были скупы и экономны. Ничто, никакие чувства и эмоции священника не должны были стоять между богослужением (которое он очень любил и знал очень глубоко) и его участниками – православными христианами. Отец Иоанн был врагом всякой «театральности», которая, по его убеждению, глубоко чужда духу Православия. Помню, как он говорил об этом, рассказывая о вечерне Прощеного воскресенья, которая литургически открывает Великий пост. Однако и после поклонов молитвы преподобного Ефрема Сирина, и после покаянных

песнопений, и даже после чина прощения в этот вечер пост еще не начинается – Типикон предписывает братии отправиться в трапезу и принять «утешение велие». «Видишь, это сама жизнь, – говорил отец Иоанн, – это совсем не театр, где отдернули занавес и представление началось, задернули – окончилось. В настоящей жизни ничего не бывает резко, согласованно и по команде».

Его нелюбовь к театральности проявилась и в том, как он хотел быть похороненным. Как-то мы говорили с ним о пышных похоронах одного священника. Отец Иоанн сказал, что хотел бы быть похороненным очень скромно, в самом простом светлом облачении – таком, которое уже пришло в негодность из-за ветхости и более не может быть использовано для богослужения.

Смирение отца Иоанна проявлялось и в том, что, давая совет, он очень боялся, что его примут за какого-нибудь старца. Он был очень осторожен и аккуратен в своем духовном «окормлении», при том что искренне любил каждое свое чадо, сопереживал ему и молился за него. Уважая свободу человека, отец Иоанн ни в коей мере не навязывал своей точки зрения. Когда ему задавали вопросы и нужно было что-то советовать, он всегда подчеркивал, что он совсем не старец и никаких прозрений и провидений у него не бывает. «Единственное, что могу сказать, – по здравому рассуждению, скорее всего помолясь, стоило бы поступить так-то и сделать то-то, но смотрите, потому что решение – за вами». Категоричен он был только тогда, когда нужно было предостеречь человека от греха или от каких-то нехороших нечестных поступков. Во всех остальных случаях он осторожно давал совет, предварительно долго выясняя, чего сам человек хочет и каково его мнение на этот счет. Я всегда поражался, насколько правильными и справедливыми оказывались его советы, вне зависимости от того, исполнял я их или нет. К сожалению, я следовал им далеко не всегда.

Кроме всего прочего, отец Иоанн обладал таким особым душевным благородством и мужеством, которые довольно редко встречаются в наши дни. В критических случаях он никогда не боялся сказать правду и поступить по совести, даже если это грозило ему большими сложностями и неприятностями. Я был свидетелем нескольких таких эпизодов.

При том что он всегда был готов оправдать и простить другого, к себе он относился очень критически. Приведу один довольно характерный эпизод. Была в Америке одна очень богатая и весьма пожилая дама – вдова «фисташкового короля». Родом она происходила из Сирии, из православной арабской семьи. После смерти мужа дама эта много жертвовала на Церковь. Иногда удавалось уговорить ее захватить в академию, где ее все обхаживали, устраивали ей королевский прием в надежде на то, что она перечислит необходимую сумму на вечно дырявый академический бюджет. Неограниченные финансовые возможности и всеобщее заискивание сильно испортили эту совсем простую и, в сущности, добрую женщину и превратили ее во взбалмошное и капризное создание, требующее непрестанной грубой лести, в формах которой должны были постоянно состязаться друг с другом все окружающие ее люди. Помню один из таких приездов. Тогда достраивался новый академический храм, возводился новый учебный корпус, и средств, естественно, катастрофически не хватало. У ворот стоял «почетный караул» профессоров и духовенства во главе с ректором – отцом Иоанном, поджидающим приезда этой дорого и безвкусно разодетой, нелепо раскрашенной старухи в невозможной шляпке и на высоченных каблуках. Я подошел к отцу Иоанну. «Вот видишь, – со вздохом сказал он, – когда обличают советское духовенство, все ставят им в вину, что они лезут перед безбожной властью. Но они это делают ради выживания Церкви, для них – это вопрос жизни и смерти.

Кто может их за это осудить? А вот ради чего лебезим сейчас мы? Исключительно ради денег. И даже не задумываемся, правильно ли это. Можем ли мы считать себя лучше и чище?»

* * *

Когда я уже жил в Германии и начал думать о возвращении в Россию, я позвонил отцу Иоанну. Выслушав меня, он благословил меня возвращаться, сказав, что считает, что я прав – время настало. Конечно, добавил он, мне предстоят значительные материальные трудности после западной жизни. Но он знает, что это не главное для меня: я все смогу преодолеть, и, несомненно, жизнь моя будет намного интересней и наполненней. Так оно и оказалось.

После этого я смог увидеть отца Иоанна всего один раз: на следующее лето я поехал в Америку и как раз попал на прием по случаю его отставки с поста ректора академии. Как я уже говорил, после смерти отца Александра Шмемана отец Иоанн был избран ректором. Он этого не хотел, потому что этот пост значил погружение в административную, представительскую работу, к которой он не чувствовал никакого призвания. Он был ученым, пастырем, и это было главным для него. Но он взялся за ректорство из послушания и девять лет тянул эту лямку. В конце концов он принял решение уйти в отставку и заняться научной деятельностью – работать, в том числе и для помощи Православию в России. Тем более что именно тогда пал коммунизм и его родина освободилась. Отец Иоанн мечтал много ездить в Россию и работать на благо возрождающейся Русской Православной Церкви. Мы встретились тогда в Крестовде, где он служил литургию в академическом храме, затем начался прием в его честь, а вечером я был у него и рассказывал о жизни в новой России (у меня тогда накопился уже полугодовой опыт). На следующий день отец Иоанн полетел в Москву, а я

остался доделывать свои дела в Америке. Когда я приехал в Россию, отец Иоанн уже вернулся в Америку. Больше я его живым не видел.

Уже в Москве отец Иоанн почувствовал себя плохо. Когда он вернулся, самочувствие его еще больше ухудшилось, и он обратился к врачу. Вообще-то, он никогда особенно не жаловался на здоровье. Даже в пожилом возрасте особых болезней у него не было. После недолгих обследований оказалось, что у него рак поджелудочной железы, причем уже в развернутой стадии. Было сказано, что ему остается всего несколько месяцев жизни. Для всех окружающих это был шок. Как раз недавно Мейендорфы приобрели дом в Принстоне, в университетском городе, с тем чтобы там жить, работать в библиотеке, писать. Это было то, о чем отец Иоанн мечтал все годы утомительного ректорства. Но Господь рассудил иначе.

Я об этом узнал через несколько дней. Времени на прощание с отцом Иоанном оставалось совсем немного. Поехать сразу я не смог, потому что мне была назначена командировка в Грецию с отцом Глебом Каледой (я тогда работал в Отделе религиозного образования и катехизации Московской Патриархии). Я решил, что, когда мы через десять дней вернемся из Греции, я сразу полечу в Америку: в те самые два или три месяца этот план укладывался вполне. Но в Греции я испытал особый, неведомый мне ни до, ни после того опыт: я видел два удивительных и странных сна.

Первый сон приснился мне, когда мы с отцом Глебом плыли на пароме из Афин на Крит. В этом сне я приехал в академию, чтобы навестить больного отца Иоанна. Я ищу машину, чтобы поехать к нему в близлежащий госпиталь (хотя на самом деле он лежал в больнице в Канаде, но во сне было иначе), ищу и никак не могу найти. Одна машина сломана, другая уехала, третью мне просто не дают или еще что-то... И все говорят: «Что же ты приехал

так поздно?» — эта фраза в моем сне повторялась постоянно. На этом я проснулся с очень тяжелым чувством.

А через три дня мне приснился другой сон. Я стою в алтаре, отец Иоанн совершает литургию, очень радостный, светлый, сияющий. Он увидел меня, обнял, расцеловал и говорит: «Почему ты такой грустный? Что с тобой случилось?» Я говорю: «Вы же болеете...» Он отвечает: «Что ты, какая чепуха! Ты посмотри, какая радость: вот я в храме Божиим, Евхаристия... Такое счастье! Нельзя грустить!» — и я проснулся с замечательным, светлым чувством.

В тот же день я позвонил в Москву своей будущей жене. Она сказала, что отец Иоанн скончался три дня назад, то есть именно тогда, когда я видел первый сон.

...По словам очевидцев, в больнице, когда закончилось соборование, отец Иоанн указал взглядом в угол и сказал: «Икона Евхаристии». Иконографический сюжет — Христос, причащающий апостолов, — всегда был одним из его любимых. Очевидно, уже тогда ему была приоткрыта некая высшая реальность, стоящая за этим образом. Вскоре после соборования он скончался. Не знаю, в какой фелони его хоронили...

* * *

Лишь в мае 2001 года я опять — после долгого перерыва — оказался в Америке. Тогда же я впервые побывал на могиле отца Иоанна — на тенистом кладбище маленького городка Йонкерс в северном пригороде Нью-Йорка, совсем близко от академии. Я попросил Марию Алексеевну отвезти меня туда. Перед смертью отец Иоанн сказал ей, что хотел бы быть похоронен в Йонкерсе — среди других русских могил: есть на этом кладбище русский угол, примыкающий к православному храму. Отец Иоанн бывал там неоднократно, совершал отпевания, служил панихиды на могилах. Место это запомнилось его сердцу.

Сейчас там, на высоком пригорке стоит серый гранитный крест, на подножии которого слева написано по-английски: «Протопресвитер Иоанн Мейендорф (1926–1992)». Справа оставлено место еще для одной надписи: Мария Алексеевна пояснила, что оставила его для себя. Крест окружает густая зелень, и с этого места хорошо видны золотые луковичные купола, увенчанные восьмиконечными крестами. С этого места очень хорошо слышен необычный для Америки звук — благовест церковного колокола. Я поклонился отцу Иоанну, приложился к теплому полированному граниту креста и пропел пасхальный тропарь: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» Думаю, отец Иоанн пел вместе со мной.

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ВЕРХОВСКОЙ

Во время моего обучения в Свято-Владимирской академии догматическое богословие там преподавали два человека: первых три семестра — протопресвитер Фома Хопко, а вторые — профессор Сергей Сергеевич Верховской. Много лет назад отец Фома учился у Сергея Сергеевича, но взгляды на мир и методы преподавания были у них совсем разные.

Хопко — искрометный, увлекающийся, брызжущий энергией. На его лекциях пассивным оставаться было просто невозможно.

Преподавание профессора Верховского нельзя было назвать столь же живым и увлекательным. Невысокий, полноватый «Проф» (так его звали все студенты) читал их, сидя на стуле и монотонно проговаривая текст негромким голосом. Сергей Сергеевич был сторонником «юридической теории», которую он выдавал в сухой, академической манере изложения. Но предмет свой он знал блестяще и каждое слово обосновывал цитатами из отцов Церкви. Больше всего он любил святого Иоанна

Златоуста и помнил наизусть почти все его творения. Во всяком случае, он с ходу мог привести цитату своего любимого святого в ответ на любой вопрос и в применении к любому житейскому случаю.

Спорить с ним было очень сложно. Иной раз какой-нибудь студент начинал ему возражать. Профессор спокойно выслушивал его аргументы, ничего не отвечая. Спорщик, несколько обескураженный отсутствием реакции, приводил новые доводы, на которые также не следовало ответа. Студент начинал нервничать, сбиваться, путаться, пока в конце концов не совершал ту или иную догматическую ошибку. И тут Сергей Сергеевич наконец подавал голос: «Ну, мой дорогой, – говорил он со своим характерным русским акцентом, – в таком случае вы еретик!»

И возразить тут было нечего!

* * *

Сергей Верховской вырос в уральском городе Троицке, где строил железную дорогу его отец – петербургский инженер-путеец. Таким образом, большая часть детских воспоминаний о России у Сергея Сергеевича была связана с Троицком. Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, его семья уехала в эмиграцию. С тех пор в России он не был.

Школу он закончил в Праге, а университет – в Братиславе: правительство новосозданной Чехословакии приняло многих русских беженцев, помогло им трудоустроиться и давало субсидии на образование. Потом Верховской продолжил обучение в Свято-Сергиевском институте в Париже. Закончил его в 1936 году и начал там же работать над докторской диссертацией. Но не успел он защититься, как грянула война. Тем не менее и в оккупированном Париже Институт продолжал работать.

Время было голодное. Сергей Сергеевич рассказывал, как однажды его одноклассника – молодого священника – какие-то знакомые пригласили вечером в гости. Он

похвастался другим студентам, что сегодня у него будет роскошный ужин и разрешил не оставлять ему его порцию скудной вечерней институтской трапезы. Провожали его всей группой, радуясь за товарища, которому так повезло. Вернулся он поздно вечером, весьма унылый.

– Ну, как там было? – набросились на него с расспросами остальные.

– Да, оскудело благочестие, – грустно отвечал он.

Женился будущий профессор на дочери известного в эмиграции протоиерея Сергея Четверикова – Ольге Сергеевне. В конце войны получил должность в Институте, где преподавал догматику и нравственное богословие, а также богословие Римо-Католической церкви. Когда после войны в Париж вернулся отец Георгий Флоровский, Верховской уступил нравственное богословие ему.

В те годы ректором и непререкаемым лидером Института все еще был протоиерей Сергей Булгаков – создатель весьма спорного (мягко говоря) учения софиологии. Хотя Булгаков и говорил, что софиология относится к разряду теологуменов* и не разделяющие ее могут оставаться при своем мнении и учиться по традиционным учебным пособиям, но на самом деле, конечно, преподавал он только ее – как великое откровение для самых «продвинутых». И сила его авторитета в основанном им Институте была такова, что возражать ему не осмеливался практически никто. Молчал даже великий эрудит Флоровский, который на дух не переносил новомодное и далекое от святоотеческого богословия учение Булгакова. Его критика выразилась в... молчании: в своем фундаментальном труде «Пути русского богословия» протоиерей Георгий отвел Булгакову лишь несколько слов, вскользь упомянув его и не описывая его учения.

* Частное богословское мнение, официально не опровергнутое, но и не поддерживаемое Церковью.

Так вот, открыто критиковать Булгакова осмеливался лишь молодой профессор Верховской. Разумеется, это вызвало конфликт с ректором, и поэтому, когда отец Георгий Флоровский, недавно перебравшийся в США, предложил Сергею Сергеевичу последовать за ним, тот с радостью согласился.

Семья у него была большая и исключительно женская: мать, две сестры, жена, сестра жены Александра Сергеевна Четверикова (на всю жизнь оставшаяся незамужней девицей) и трое дочерей. Во всем этом женском царстве (хотя сестры потом вышли замуж и поселились отдельно) Сергей Сергеевич был единственным мужчиной, что, конечно, наложило определенный отпечаток на его характер.

Я познакомился с ним уже после кончины Ольги Сергеевны, которая, в отличие от мужа – пессимиста и интроверта, по рассказам, была очень веселой и общительной женщиной и замечательно дополняла своего Сергея Сергеевича.

* * *

После ее смерти Проф резко сдал и стал готовиться к переходу в иной мир. Именно в этом состоянии я с ним и познакомился. Он жил на втором этаже соседнего с нашим общежитием домика. Первый этаж занимала семья профессора ранней церковной истории и канонического права Джона Эриксона. Дочери Сергея Сергеевича давно были замужем и жили отдельно – в разных концах Америки. С ним оставалась лишь незамужняя сестра его жены – общительная и очень благочестивая старушка Александра Сергеевна Четверикова. Она преподавала в академии русский язык. Студенты очень ее любили и называли ласково «мисс Чет».

Они уже не справлялись с хозяйством и поэтому, когда я учился на втором курсе, мне было предложено немного подработать, помогая профессору и мисс Чет. Эти

обязанности я делил с Зиной Либеровской – женой моего друга Алексея. Через день мы дежурили у профессора, убирали и готовили для него. Благодаря этому я мог тесно общаться с Верховским последние годы его жизни.

Как я уже писал, больше всего Сергей Сергеевич любил святого Иоанна Златоуста и приводил соответствующее высказывание святого буквально по любому поводу. Мы просили его написать книгу о богословии святителя, но, к сожалению, Верховской так и не собрался этого сделать, хотя заготовки к этой книге он собирал почти всю жизнь.

Сергей Сергеевич был не самым легким человеком в общении: обидчивый и капризный, он легко замыкался и уходил в себя. Но вместе с тем в нем чувствовалось много детской непосредственности, придававшей ему неповторимое обаяние и шарм. Было у него и чувство юмора – довольно своеобразное, но точное и весьма колючее – то, что называется «не в бровь, а в глаз».

* * *

Встреча и дружба с Сергеем Сергеевичем оказались очень важными для меня еще и потому, что в общении с ним я соприкоснулся с частицей той старой России, которую мы потеряли, России, которой, в сущности, уже не было.

Есть такое правило: если какая-то этническая группа переезжает в иноязычную среду, то язык, на котором она говорит, консервируется. Проходит время, на родине уже говорят на каком-то отчасти ином наречии – язык ведь очень быстро меняется. А эта переехавшая группа по-прежнему общается на сохраненном ими языке. Так, африканские буры говорят на голландском XVII века: язык африкаанс – это доживший до наших дней староголландский. Или, например, идиш – это средневековые верхне-немецкие, верхнерейнские диалекты, которые сохранились в еврейской языковой среде. В современной России

быт, как и все атрибуты жизни, изменился. Но те люди, которые жили в дореволюционной России и помнят ее, сохранили эти быт, язык и поведение. Мне посчастливилось общаться с ними. И то, что я успел их застать, успел с ними познакомиться и поговорить, я считаю особым благословением в моей жизни. Профессор Верховской был одним из этих людей.

Думаю, возможность говорить по-русски и то, что я приехал из России, сыграли роль в том, что мы так сблизились с ним. Ведь если отец Александр Шмеман и отец Иоанн Мейендорф чувствовали себя свободно, говоря, по меньшей мере, на двух-трех языках – русском, французском и английском (французский они знали с младенчества и говорили на нем без акцента, как на русском, а английский у них был вторым, рабочим языком), то Сергей Сергеевич, несомненно, остался чисто русским человеком. Он тоже хорошо знал французский и английский, хотя говорил с забавными русицизмами и с заметным акцентом. Кроме того, он владел письменным греческим, у него было рабочее знание немецкого языка и латыни.

Он хорошо помнил старую Россию, которую покинул четырнадцатилетним подростком, и хранил ей верность всю жизнь. Именно поэтому Проф не хотел ехать в Советский Союз. Он считал, что Россия умерла, что такой страны больше нет, а есть только Советский Союз, который вовсе никакая не Россия. Это несколько пессимистичный взгляд, с ним можно не соглашаться, на него можно обижаться, но зачем? Конечно, взгляды Сергея Сергеевича были глубоко выстраданы. Эмигранты – это все-таки совсем не то, что современные русские люди. Чудовищный эксперимент семидесяти лет советской власти, в общем, удался, и мы, выросшие в этом эксперименте, очень сильно отличаемся от людей, которые никогда не жили под властью большевиков. Я прекрасно понимаю тех старых эмигрантов, которых я еще успел застать, счи-

тавших, что Россия с их поколением закончилась. Сергей Сергеевич жил, ощущая себя последним представителем той великой цивилизации, которая канула в Лету и которой больше не будет. По-своему, он был прав. Он был одним из последних русских, а так как русские, по слову Достоевского, были последними подлинными европейцами, он был одним из последних европейцев.

* * *

Общение с ним можно было сравнить со струей холодной души. Я был тогда еще только неофитом, романтиком, а Сергей Сергеевич всегда охлаждал мои порывы. Он подчеркивал, что христианство – это не романтика, не влюбленность, но серьезный жизненный труд. Он даже придумал словечко для таких неофитов, как я, называя нас «благочестивцы». Тогда я посмеивался над его прозаизмом, над его приземленностью. Сейчас же я с большой благодарностью вспоминаю все его советы.

В частности, он помог мне излечиться от увлечения Серебряным веком русской литературы, указал на темную, оккультную сторону декадентства, которую я прежде предпочитал не замечать. Например, мне пришлось признать факт, что Блок пребывал в глубокой прелести. Об этом свидетельствуют и все его оккультные увлечения, и нравственные провалы. Я же тогда был настолько очарован волшебной мелодикой его поэзии, что либо все это не замечал, либо трактовал как-то иначе. Но ведь из песни слов не выкинешь, и вот наглядный пример и итог его заблуждений: во главе банды грабителей и убийц в финале поэмы «Двенадцать» он каким-то образом увидел Христа...

Конечно, Серебряный век остается одной из вершин русской поэзии, да и вообще словесности, и к нему нельзя относиться однозначно отрицательно: наряду с глубочайшими падениями, у его героев были и величайшие прозрения и достижения, несомненно обогатившие русскую

литературу. Но Сергей Сергеевич был абсолютно прав, указывая на опасность увлечения поэзией Серебряного века, на ту ее темную сторону, которую мы привыкли игнорировать, а то и восторгаться ею. Однако холодный душ всегда полезен. И Сергей Сергеевич успешно охладил тот несколько запоздалый юношеский романтизм, которым я страдал.

Я очень привязался к нему, да и он в конце концов стал воспринимать меня как своего. Однажды он взял с меня обещание читать Псалтирь над его телом, когда он скончается. Как я уже говорил, после смерти супруги он утратил волю к жизни, постоянно думал о смерти и, хотя ему было всего немногим за семьдесят, ждал ее прихода. Он даже приготовил себе могилу – рядом с могилой супруги. На камне под крестом было выбито имя его супруги и даты ее жизни, а рядом – имя самого Сергея Сергеевича и дата его рождения, после которой стояла красноречивая черта. Дату смерти еще предстояло вписать.

После моего выпуска он перестал преподавать и начал угасать – постепенно, в течение нескольких лет. Бессознательно, вяло исполнял он предписания врачей. Общение со мной было чуть ли не последним, что его интересовало. Он тосковал по своей супруге, но вел себя спокойно, никому ничего не высказывал и не жаловался.

Скончался он летом, когда я был в одной из своих поездок. Я узнал о его смерти уже после похорон и поэтому обещания своего не исполнил. Сергей Сергеевич подписал для меня одну из своих книг – просил вспоминать о нем всякий раз, когда я буду брать ее с полки*. Я стараюсь это делать.

* Дарственная надпись на книге:
«Если заметите эту книгу на Вашей полке, вспомните обо мне.
Я же никогда не забуду ни Вас, ни Вашего исключительно доброго
отношения ко мне. С. Верховской. 20 июля, 1983 г.»

ОТЕЦ ФОМА ХОПКО И ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫЙ ФЛАГ

Протопресвитер Фома Хопко вырос в американской карпаторосской семье, предки которой эмигрировали в США еще в конце XIX века. Он принадлежал к тому поколению, которое поступило в академию уже на новом месте и сформировалось под влиянием Шмемана и Мейендорфа. По окончании академии он женился на старшей дочери отца Александра – Анне – и был рукоположен в священный сан. Его приход находился относительно недалеко от академии, и отец Фома довольно скоро начал преподавать в ней, читая дополнительные курсы догматического богословия (основной курс догматики был областью владычества профессора Сергея Сергеевича Верховского). За время моей учебы здоровье Сергея Сергеевича стало сильно сдавать, и отцу Фоме, который уже преподавал в академии на полной ставке, досталась половина его часов.

Обычно, когда слышишь о курсе догматического богословия, представляешь себе (и небезосновательно) что-то невообразимо скучное, так что даже мухи дохнут на лету: «Отчего сие важно в пятых...» и прочее. Так вот, лекции отца Фомы Хопко по догматике были не просто интересны, но захватывающе увлекательны. Преподаватель наполнял их житейскими примерами, анекдотами, историями, литературными реминисценциями. Все это делало догматы Церкви понятными и актуальными для нас. В этом уникальное достижение отца Фомы, который, кстати сказать, был одним из самых популярных проповедников в православной Америке. Правда, сам он оценивал себя достаточно скромно. Помню одно его сравнение: «Шмеман подобен шампанскому. Искрометность, творческий полет, веселье, радость. Мейендорф – как бургундское. Глубина, основательность, благородство. Ну, а я, Хопко. С чем меня можно сравнить? Не более чем с кока-колой...»

В своем взгляде на духовную жизнь наш преподаватель был предельно трезв. Помню, как он отзывался о нездоровых увлечениях некоторых людей «мистикой Православия»: «Их мистицизм, – говорил отец Фома, – абсолютно пустой. Все, что в нем есть, это *mist* (туман) и *schism* (раскол)».

* * *

Приведу несколько «хопкинских» историй.

Одна из них – про мальчика с его прихода (опыт пастырского служения у отца Фомы, служившего на приходе с 1963 года, был весьма богатый). Как-то священник заметил, что мальчик этот при пении молитвы «Отче наш» в самом конце ее крепко сжимает губы. На вопрос священника, почему он это делает, мальчик ответил, что пока не готов произносить слова «и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим», ибо очень обижен на одного своего сверстника, не хочет его прощать и боится, что Господь по его же просьбе поступит с ним так же.

«Так вот, этот мальчик, единственный из всего прихода, серьезно относился к словам молитвы», – завершил свой рассказ отец Фома.

* * *

Другой мальчик-алтарник никак не мог выучить порядок литургии и в алтаре все делал невпопад. Когда отец Фома упрекнул его в этом и спросил, почему он не видит происходящего, тот ответил словами из тайной молитвы священника на евхаристическом каноне литургии св. Василия Великого, описывающими шестикрылых серафимов, благоговейно предстоящих перед Престолом Божиим: «двумя (крыльями) они закрывают свои лица...»

Отец Фома был в восхищении от этого ответа. Ведь литургия св. Василия Великого служитя редко – всего 10 раз в году. Значит, мальчик внимательно слушал слова молитв и запоминал их!

* * *

Две другие истории трудно понять без знания особенностей американского Православия. Дело в том, что во всех протестантских и католических церквях в США на самом видном месте ставились флаги США. Так верующие выражали свой патриотизм. Карпаторосские православные приходы, желая доказать, что они тоже полноправные американцы, еще с 20-х годов XX века также внесли флаг в свои храмы и ставили его с левой стороны от алтаря, прямо за диаконскими дверями иконостаса. Выглядело это весьма неуместным, и молодой священник Фома Хопко на самом первом своем приходе попытался было убрать флаг. Однако он натолкнулся на такое мощное сопротивление прихожан (утверждавших, что раз так было при их отцах и дедах, то менять они ничего не собираются), что вынужден был отступить. После этого он стал искать способ, как все-таки очистить храм Божий от ненужного политического реквизита. И придумал. Вызвал отец Фома к себе старосту и сказал ему:

– Знаешь, Джим, что нас из-за флага могут посадить в тюрьму?

– ???

– А ты посчитай, сколько на нем звезд? Правильно, сорок восемь! Устарел ваш флаг – штатов же уже давно пятьдесят! Или ты хочешь сказать, что наш приход не признает полноправными американскими штатами Гавайи и Аляску? Ну-ка, быстро выноси этот флаг, пока никто его не увидел!

Испуганный староста немедленно вынес флаг. Новый появился далеко не сразу, а когда наконец его приобрели, то отец Фома распорядился отнести его в приходской дом и поставить в трапезной. Так кесарю было отдано кесарево, а Богу – Богово.

* * *

В начале 60-х годов в большинстве карпаторосских храмов (основной костяк Православной Церкви в Америке) служили на славянском языке, хотя выросшее после войны поколение его уже совсем не понимало: русский они, в лучшем случае, знали едва-едва, воспринимая английский как родной язык. Еще отец Георгий Флоровский категорически заявил о необходимости перехода на английское богослужение – как в миссионерских целях, так и для того, чтобы удержать в Церкви подрастающее поколение. Однако во многих приходах этот переход давался с большим трудом по тем же самым причинам: прихожане, хотя часто и не понимали ни слова по-славянски, отказывались что-либо менять, упирая на то, что такова была вера их отцов и дедов. Отец Фома начал в своем приходе служить английскую литургию раз в месяц (каждое четвертое воскресенье – после трех славянских). И вот что случилось. Когда один из давних прихожан оказался на английском богослужении, до него впервые дошел смысл, по крайней мере, некоторых песнопений. Весь горя возмущением, он сразу после службы подкатился к отцу Фоме.

– Это – подлинные слова молитв? – задыхаясь, спросил он.

– Да, ровно то же, что и по-славянски, – ответил священник.

– Так что, вы хотите сказать, что Церковь действительно во все это верит?

– Конечно, а как же иначе?

– Ну тогда ноги моей больше здесь не будет! – выпалил прихожанин и навсегда исчез.

Ну что же, говорил в заключение отец Фома, добрый «момент истины» лучше, чем бессмысленное хождение такого человека в храм собственных фантазий, не имевших ничего общего с реальной Церковью Христовой. И всякий раз, когда я читаю умилительную историю

очередного православного журналиста про русский приход в какой-нибудь далекой стране, где прихожане, давно забыв родной язык, бережно хранят славянское богослужение, я думаю, сколько из них ушло бы из Церкви, если бы узнали его реальное содержание...

* * *

А вот еще одна история, рассказанная отцом Фомой. Когда его наградили крестом с украшениями, один очень почтенный в ПЦА протоиерей прислал ему поздравительную открытку такого содержания:

«Дорогой отец Фома! От всей души поздравляю тебя с заслуженной тобою высокой наградой! Сам я человек не речистый, да и кто сможет лучше выразить весь глубокий смысл происшедшего события, чем евангелист Иоанн в своем богодухновенном Писании. Итак, посмотри: Ин. 11:35.

Твой искренний доброжелатель, прот. И.».

Отец Фома тут же открыл Писание. Ссылка была на самый короткий стих Нового Завета: «Иисус прослезился».

После кончины отца Иоанна Мейендорфа отец Фома Хопко стал новым ректором академии и пробыл на этом посту десять лет, до 2002 года, когда добровольно ушел в отставку, чтобы заниматься проповеднической и писательской деятельностью. Оказалось, что и он весьма тяготился необходимой для ректора административной деятельностью и исполнял ее лишь как послушание Церкви.

Новым ректором стал еще один мой бывший преподаватель – профессор Джон Эриксон.

ПРОФЕССОР ЭРИКСОН

Джон Эриксон был человеком совсем другого склада. Утонченный интеллект, он обратился в Православие в 1964 году вместе с группой друзей – таких же, как и он, студентов престижнейшего Йельского университета.

Двое из них, кстати, женились на двух дочерях С. С. Верховского.

Он преподавал у нас историю ранней (доконстантиновской) Церкви, каноническое право и историю западного христианства (так называемый «Christian West», который язвительные студенты переименовали в «Christian Waste» – «христианские отходы»). Многие студенты находили лекции скучными, мне же они очень нравились. Читал Эриксон, всегда сидя перед столом, на котором были разложены стопки засаленных бумажек. Говорил он четко и ясно, приводя множество интереснейших и забавных подробностей. Действительно, чтобы воспринимать его лекции, требовалась определенная эрудиция, которой иной раз не хватало простым парням из Пенсильвании и Огайо – детям маститых тамошних протоиереев. Мне очень нравилось чувство юмора Эриксона – часто парадоксальное и неожиданное, но очень острое. Иногда он цитировал забавные фразы из студенческих ответов на экзаменах. Например, мне запомнилась неудачная смешная метафора одного студента, написавшего, что Петрарка одной ногой стоял во мгле Средневековья, а другой приветствовал восходящее солнце Возрождения.

Задания у него были также весьма парадоксальными. Например, по истории западного христианства он поручил нам написать три коротких сочинения – в виде толкований на пятый стих из восьмого псалма: «Что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Первое толкование должно было быть от лица Фомы Аквинского, второе – Лютера, а третье – Шлейермахера. Это оказалось одним из самых интересных (хотя и самых сложных) заданий за все время моего пребывания в академии.

Слегка растрепанный и несобранный, Джон Эриксон был величайшим эрудитом: он знал все обо всем и читал абсолютно все. К сожалению, из-за своей неорганизован-

ности (а может, из-за перфекционизма) он так и не смог написать больших серьезных трудов и более известен как автор ряда научных статей. Но именно он привил мне любовь к истории Церкви, за что я безмерно ему благодарен.

Когда Эриксона избрали ректором, он стал первым мирянином (как и первым «конвертом»), который возглавлял академию. Он пробыл ректором пять лет – до конца 2007 учебного года. В 2006 году его рукоположили в диакона, а полгода спустя – в священника. Так получилось, что я оказался в академии на его хиротонии и поздравил его от имени Свято-Тихоновского университета. Через год после этого отец Джон ушел в отставку. Одновременно ушел в отставку и многолетний инспектор академии – протоиерей Павел Лазор. Вместе с ними завершилась целая эпоха...

ОТЕЦ ПАВЕЛ ЛАЗОР И ПРОМЫСЛ БОЖИЙ

Протоиерей Павел Лазор был первым, кто встречал новоприбывших студентов в академии. Выше двух метров ростом, молодежавый, сухощавый и подтянутый (в молодости он играл в полупрофессиональный баскетбол), с аккуратной прической и гладко выбритым лицом, он совсем не походил на традиционный образ православного священника. Студенты его недолюбливали, что неудивительно: инспекторские обязанности (а их отец Павел старался выполнять добросовестно) обычно никому не добавляют популярности. А у отца Павла еще была удивительная особенность всегда оказываться в нужное время в нужном месте (или наоборот – в зависимости от точки зрения). Помню, как-то сербские студенты вечером сели отметить «славу»* за бутылкой национального напитка –

* Сербь не празднуют дни своих именин, а вместо этого «славят славу», т. е. отмечают память святого того дня, в который их родоначальник принял православие.

сливовицы. Только они откупорили бутылку, как в дверь деликатно постучали, и вошел отец инспектор. Взгляд его сразу упал на запрещенную субстанцию. Не говоря ни слова, он забрал сливовицу и проследовал с ней до туалета, где на глазах потрясенных нарушителей вылил ее всю в унитаз. После этого, как ни в чем ни бывало, изложил то дело, за которым пришел к хозяину комнаты.

Я с ним как-то сразу подружился. Отец Павел трепетно любил Россию и все русское и неплохо говорил по-русски. Эта его симпатия перекинулась на меня, так что, грешным делом, я иногда этим пользовался, уходя от ответственности за мелкие нарушения академической дисциплины.

Но настоящего отца Павла я узнал лишь через некоторое время, когда наступил Рождественский пост. По будням каждый вечер, в десять часов у нас служили малое повечерие, которое завершалось общим пением молитвы Богородице «Царице моя преблагая». И вдруг я обратил внимание на высоченного отца Павла, по-домашнему, в подряснике без креста, самозабвенно, прекрасным мощным тенором поющего слова молитвы. Я поразился, как много детского простодушия есть в этом сильном человеке, и представил себе его маленьким мальчиком, много лет назад в небольшом карпаторосском храме в Пенсильвании, со всей силой детской веры изливающего душу Божьей Матери. И эту свою детскую веру он сохранил на всю жизнь.

* * *

Однажды отец Павел поведал мне о встрече со своей будущей женой Наташей. Она происходила из русской семьи: ее родители бежали из Сибири в Шанхай, где она и родилась.

«После войны в Китае произошла революция, – говорил отец Павел, – и Наташина семья эвакуировалась

на Филиппины. Но и там начались беспорядки, и они вынуждены были переместиться в Венесуэлу. Затем в этой стране случился военный переворот, и русские беженцы получили разрешение въехать в США. Поселились они в Калифорнии, где я как раз путешествовал с Октетом. В одно воскресенье нам довелось петь литургию в приходском храме Наташи. Там мы и познакомились. Вот я и думаю о Божественном промысле: сколько же событий должно было произойти – революции, мятежи и перевороты, чтобы мы с Наташей смогли найти друг друга!»

От их брака родилось трое детей. Старших – мальчика и девочку – я застал уже подростками, а младший, Павлик, был чрезвычайно непоседливым и хулиганистым девятилеткой. Иногда он прислуживал в алтаре. Рассказывают, что как-то он на вечерне засыпал в кадило отца попкорн, который со страшным грохотом начал взрываться во время каждения посреди храма. За это Павлик был надолго отстранен от прислуживания. В мое время его опять начали пускать в алтарь. Помню одну из его проделок, от которой пострадал уже я. Случилось это пару лет спустя, когда я стал старшим алтарником. В то время был уже построен новый просторный храм вместо старой ветхой церквушки. Справа от алтаря размещалась пономарка, из которой можно было сразу выйти на улицу. Тут же рядом стояла звонница, и перед началом богослужения мы выбегали из храма, звонили в колокол и возвращались назад. В тот раз, воскресным утром, как только я начал звонить перед самым началом литургии, хлынул проливной дождь. Быстро закончив звон, я метнулся к двери и... она оказалась запертой изнутри – шуточки Павлика. Дождь льет, внутри начинается литургия, мне нужно при словах «Благословено Царство...» зажечь свет в храме. Бежать вокруг – не успею, да и каков я буду, когда побегу через храм в мокром насквозь подряснике! Барабанить громко тоже нельзя: что за посторонние звуки во время службы?

К счастью, мой робкий стук кто-то услышал и открыл дверь. Разъяренный, я врываюсь в пономарку, чтобы надавать негодному мальчишке подзатыльников, но он с ангельским видом уже стоит далеко от меня, с другой стороны алтаря, прекрасно зная, что при открытых царских вратах и совершаемой предначинательной молитве священника я не смогу побегать за ним.

Вырос Павлик очень спокойным и рассудительным человеком и сейчас работает главой авиадиспетчерской службы одного крупного аэропорта.

* * *

Отец Павел очень хорошо знал и любил богослужение. В академии он преподавал литургику. Этот предмет отличался от литургического богословия отца Александра Шмемана. Литургика была практической, прикладной дисциплиной, посвященной структуре богослужения, умению составлять службы, облачениям, каждению и тому подобному. Кроме того, он читал пастырское богословие на последнем курсе обучения. Отец Павел долгое время служил на разных приходах и накопил богатый пастырский опыт. Его курс сопровождался многими забавными рассказами. Например, такими:

После Крещения Господня священники ПЦА традиционно объезжают дома прихожан и кропят их крещенской водой с пением тропаря и провозглашением многолетия. Обычно подобный выезд занимает от нескольких дней до нескольких недель – ведь многие прихожане живут весьма далеко от храма. Люди заранее договариваются, потом составляется график посещений священника. Обычно мужья в дневные часы бывают на работе, а батюшку принимают домохозяйки. Отец Павел тогда служил в Коннектикуте, где крещенские морозы могут быть весьма чувствительными и снег часто не тает по нескольку недель. Хотя по градуснику температура мо-

жет казаться не слишком холодной, но при повышенной влажности и сильных ветрах такая погода кажется куда холоднее наших сухих морозов.

Одна из прихожанок после кропления ее дома предложила озябшему священнику чашку горячего кофе, и когда она поставила поднос с угощением и горячими напитками на журнальный столик, отец Павел неловко оперся на него, и вся посуда опрокинулась на его ноги. К счастью, священник почти не обжегся, но подрясник и брюки были насквозь мокрыми. Выходить в таком виде на мороз было невозможно.

Хозяйка любезно предложила застирать одежду, затем за какие-нибудь полчаса высушить в стиральной машине. «А вы, батюшка, пока можете надеть халат моего мужа и посидеть у нас в спальне», – предложила она.

Делать нечего, отец Павел разделся, из-за приоткрытой двери протянул вещи хозяйке и уселся ждать. И в этот момент, как водится в комедии положений, в дверь позвонила соседка: «Нэнси, я вижу к тебе кто-то приехал?»

Так и представляю себе отца Павла, с его длинными голыми ногами, торчащими из халата, сиротливо жмущегося в хозяйской спальне...

Другой рассказ тоже весьма колоритен, но тут необходимо небольшое пояснение. В карпаторосских приходах, составлявших костяк ПЦА еще со старых времен, сохранилось много странных обычаев. Некоторые из них коренились еще в униатстве, из которого они вышли в конце XIX века, другие (вроде флага в храме) были благоприобретенными, третьи происходили из особенностей старого, еще довоенного поколения духовенства, которое в 60–70-е годы постепенно замещалось молодыми, более образованными священниками.

Кстати, многие заслуженные карпаторосские протоиереи носили весьма странно (мягко говоря) звучащие фамилии: Father Michael Psinka, Father Paul Padlo, Father

Tom Svolota и даже некий Father John Nehuy. Произносилась последняя фамилия весьма благородно: Нехью.

А теперь сама история. Одного новорукоположенного молодого священника по окончании им академии направили в старый карпаторосский приход, который недавно утратил престарелого и крайне почитаемого настоятеля, прослужившего там не менее полувека. Через некоторое время к отцу Павлу прибыла делегация из этого прихода с просьбой забрать нового настоятеля обратно, а взамен дать кого-нибудь другого.

– Чем же он вам не подходит? – удивился отец Павел. – Батюшка искренний, образованный, ревностный.

– Нет, он невероятно ленивый, – ответствовали прихожане. – Нам такого ленивого не надо!

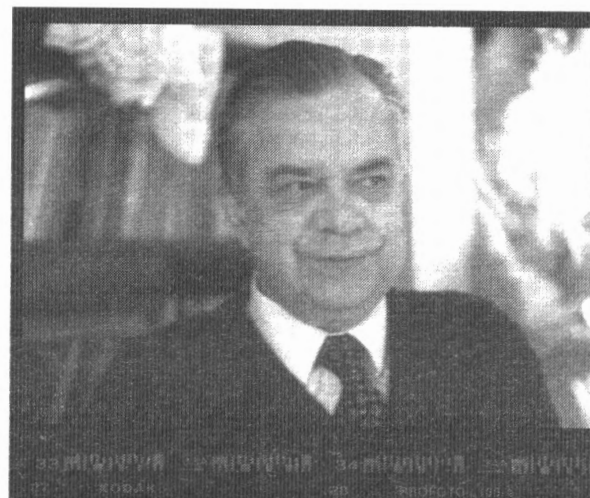
– ???

– В Великую субботу наш старый настоятель с раннего утра начинал объезжать дома прихожан и освящать пасхальные яства. Приход большой, и вот, чтобы успеть, к первым он прибывал в шесть утра. Еда у них еще не была готова, так он кропил пустую духовку, а заканчивал эти визиты поздно вечером. Вот какой был трудяга! А ваш новый – не ездит.

– Так что же он делает? – спросил отец Павел.

– Да все в храме! Службу какую-то служит, – раздраженно ответили прихожане.

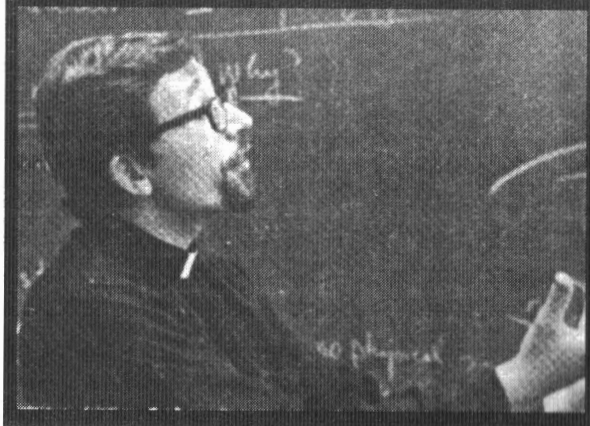
Сергей Сергеевич Верховской,
«Проф»

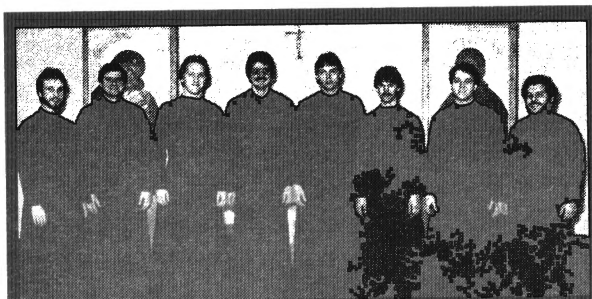


Профессор
Джон Эрикссон



Отец Фома Хойко
читает лекцию по
догматике





Очередной Октет



1983 г. Мой выпуск
в духовной академии
(в центре
о. Александр Шиметан
и Митрополит всея
Америки и Канады
Феодосий)



С друзьями. Справа —
Тим Перри

В нашем храме
епископ Климент,
митрополит Влади-
мир, протопр. Иоанн
Мейендорф



Слева направо: ипо-
диакон Алексей Либе-
ровский, митрополит
Ростовский (впосл.
Киевский) Владимир
(Сабодан), епископ
Серпуховской (впосл.
митрополит Калиж-
ский) Климент (Ка-
палин), я



Великая Суббота
в старом академиче-
ском храме



Венчание о. Александром Шмеманом
моего крестника Эндрю Морби. Я – шафер



ПРИХОДСКИЕ ИСТОРИИ

Приходские байки Американской Церкви я слышал и от многих своих однокашников, ставших священниками. Некоторые подобные истории случались и со мною лично.

Уже упомянутый мною Александр Гарклавс, рукоположенный на втором курсе академии, после ее окончания в 1982 году был назначен настоятелем в старый карпаторосский приход города Буффало, в котором только что сменился настоятель – тоже выпускник академии. Предшественник моего друга, отслужив там

несколько лет, умолил перевести его в другое место, так как не нашел общего языка с прихожанами. Проблема коренилась в том, что в их глазах он не выдерживал никакого сравнения с прежним настоятелем, скончавшимся незадолго до его назначения. Тот священник – митрофорный протоиерей Эраст, с весьма красноречивой фамилией Волкодав – служил в храме чуть ли не с 20-х годов прошлого века и дожил до весьма преклонного возраста. Особым предметом гордости прихожан было то, что Father Volkodav успел еще до революции закончить Киевскую духовную семинарию, то есть получил «самое лучшее» образование, недоступное в современном мире. Соответственно, каждый новый священник неизбежно проигрывал в их глазах по сравнению с великим предшественником.

Мой приятель со смехом рассказывал о своей первой проповеди по прибытии на место. Он совершил типичную для молодого священника ошибку, постаравшись в получасовую речь все высокие богословские знания, обретенные им за годы обучения. Несмотря на невозможную длину проповеди, прихожане, как казалось, слушали его с вниманием и интересом. По окончании службы к священнику подошел староста.

– Батюшка, спасибо за прекрасную проповедь! Она была очень ученая, и мы многое из нее поняли. Вот у меня лично остался только один вопрос, на который я никак не могу найти ответа.

– Я вас слушаю, – отозвался мой весьма польщенный приятель.

– А почему на православном кресте нижняя перекладина всегда скошенная?

Комментарии, как говорится, были излишни, но этот вопрос поставил отца Александра на место. Общий язык с прихожанами у него постепенно начал налаживаться – да и они поняли, что без конца менять настоятелей им не

удастся. Достойной замены отцу Волкодаву все равно не было, так что приходилось мириться с тем, что есть.

Хотя, конечно, сравнения были неизбежны. Например, многим прихожанам не нравилось то, как новый настоятель учил их готовиться к Причастию. «Вот при отце Волкодаве все проходило по-другому, – говаривали они. – У него каждый должен был причащаться раз в год. Чаше не требовалось, но и реже нельзя. Если, конечно, хочешь оставаться членом прихода. Помним, мужа наши приходили в день Причастия к началу службы, отмечались у отца Волкодава и шли сидеть в бар напротив, а к концу службы подходили под разрешительную молитву и причащались. Иной раз идет такой человек по центральному проходу между скамеек, так уже насиделся в баре, что пошатывается его, а в вытянутой вверх руке он держит доллар, размахивая им, как флагом. Подойдет к батюшке, положит доллар в корзинку, батюшка и покроет его епитрахилью. Добрый был отец Волкодав – всех причащал».

Через полгода я приехал навестить своего приятеля. Храм традиционной архитектуры, просторный и уютный, по американским меркам был весьма старинной постройки – примерно начала XX века. Но здание рядом с ним поражало воображение. Громадный ангар из стекла и бетона назывался «Мемориальным комплексом отца Волкодава». В нем располагалась приходская школа, трапезная, кухня, административные помещения. Всю центральную часть занимал громадный актовый зал. Я зашел в него. В самом дальнем углу, в тени вездесущего американского флага сиротливо виднелась маленькая иконка. А под высоким потолком, прикрепленный на невидимых нитях, в воздухе парил громадный портрет стриженного ежиком человека с гладко выбритым лицом. Белый клерикальный воротничок подпирал выдвинутую вперед волевую челюсть. Так я впервые увидел лицо легендарного выпускника Киевской духовной семинарии отца Эраста Волкодава.

* * *

Впрочем, в некоторых местах бытовали поверия и вовсе фантастические. Еще один мой приятель получил назначение в коннектикутский приход, также незадолго до этого оставшийся без старого настоятеля. Вскоре после окончания Святков, он заходя, исподволь начал готовить свою паству к предстоящему Великому посту. Однако все его рассказы о сорокадевятидневном пути к Пасхе натакивались на настороженное молчание прихожан. Наконец один из них решительно подошел к нему: «Батюшка, что это вы рассказываете нам какие-то неслыханные вещи, – начал он. – Мы впервые слышим о том, что до Пасхи нужно поститься целых сорок девять дней. Вы пытаетесь приучить нас к каким-то совсем не православным новшествам. Всему миру известно, что поститься нужно неделю до Пасхи и неделю после Пасхи, а вовсе не какие-то сорок девять дней!»

* * *

Еще один мой приятель, обратившийся в Православие франкоязычный канадец, после рукоположения был назначен на небольшой приход в Квебеке. Одну из своих первых проповедей он решил посвятить материнству.

«Представьте себе, как прекрасна беременная женщина! – говорил он, обращаясь к прихожанам. – У нее царственная осанка, у нее особый взгляд и удивительное выражение лица. Она прислушивается к зреющей в ней новой жизни, и это изменяет и преображает все ее существо, сияющее изнутри почти неземным светом. Как я люблю смотреть на беременных женщин! Воистину, я люблюсь ими».

Прихожане слушали внимательно, и священник все более отдавался потоку своего красноречия, пока не увлекся им до такой степени, что произнес такую завершающую проповедь фразу:

«О, если бы я только мог, я каждую из вас сделал бы беременной!»

Думаю, реакцию можно не описывать.

* * *

Сюда, наверное, стоит присовокупить и историю из французской эмигрантской жизни, рассказанную мне отцом Иоанном Мейендорфом. Она произошла в женском монастыре Бюсси, располагавшемся близ небольшого городка в живописном уголке Бургундии. Там приобрел себе домик пожилой протодиакон, еще дореволюционного российского рукоположения. Ему определено было служить в монастыре, но тамошние монахини, привыкшие к камерным службам, весьма тяготились его соборным громогласием, а он обижался на них, столь мало ценивших его исключительный диаконский талант. Постепенно отношения все более накалялись.

Приближалось Рождество, в последнее воскресенье перед которым положено на литургии читать самое начало Евангелия от Матфея с длинным родословием Христа.

Протодиакон вышел на амвон, раскрыл тяжелую книгу и на самой низкой ноте начал:

– «Книга родства Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамля. Авраам роди Исаака. Исаак же роди Иакова. Иаков же роди Иуду и братию его. Иуда же роди Фареса и Зару...»

Тут протодиакон остановился, победоносно оглянулся на сестер и грянул:

– Вот видите, дуры! Тогда без вас обходились!

* * *

Но вернемся в Америку. Не могу не вспомнить и довольно тяжелых впечатлений от посещения мною греческого монастыря в Бостоне. Старостильный Преображенский монастырь был известен в православной Америке очень

качественным ладаном, который там изготавливали в промышленных масштабах. За несколько лет до этого монастырь, возглавляемый архимандритом Пантелеимоном, перешел в юрисдикцию Зарубежной Церкви. Я слышал много отзывов о его афонском уставе, о замечательном византийском пении, о строгости жизни монахов и поэтому, когда приехал в Бостон навестить своего друга Игоря Школьника, решил посетить это место.

Окруженный белой стеной монастырь выглядел, как будто был перенесен в американский город из Греции. Небольшой, но выстроенный в каноническом архитектурном стиле храм, стенные росписи в неовизантийской манере, красиво обустроенный внутренний дворик – во всем виделась традиция, хороший вкус и немалый достаток.

В ожидании вечерни я познакомился с семьей русских прихожан монастыря – таких же, как и я, эмигрантов «третьей волны», сравнительно недавно принявших крещение в Америке. Они с восторгом рассказывали об истинном Православии, которого, несмотря на всеобщую апостасию, придерживается старец отец Пантелеимон, и о той безграничной любви ко всем и вся, которую он излучает и практикует. Конечно, им мало понравилось, что я принадлежал к ПЦА, да еще и учился в Свято-Владимирской академии. Но тем не менее они (очевидно, в надежде на мое обращение к истинной вере) предложили после вечерни пойти к ним поужинать, передохнуть пару часов и вернуться на ночную литургию. Я согласился и после отслуженной строго по уставу службы с красивым мужским хором, исполнявшим дивное византийское пение, направился к моим новым знакомым, благо жили они сразу за монастырской стеной.

Еду поставили на стол, и хозяйева, даже не перекрестившись, присели за него, жестом показав мне последовать их примеру.

Я опешил – ведь такие церковные люди! – и спросил: – А что, мы не будем молиться перед едой?

– Нам с вами не положено молиться, – буркнули приверженцы истинного Православия, не поднимая глаз от своих тарелок.

Это было уже чересчур. Я поблагодарил их за гостеприимство, сказал, что не голоден, вышел на улицу и, поймав такси (так поздно в Бостоне общественный транспорт уже не ходил), поехал ночевать к своему некрещеному другу Игорю.

Через год после этого прогремели первые скандалы, связанные с грубейшими нравственными нарушениями, которые практиковались в этом высокоэстетичном монастыре со столь любвеобильным старцем. В конце концов священноначалие За рубежной Церкви вынуждено было запретить архимандрита Пантелеимона в служении, и он тут же порвал с ней отношения, войдя в одну из микроскопических «истинноправославных» сект, которая прославилась тем, что они написали и опубликовали акафист старому календарю. Так и запевали: «Радуйся, о истинный календаре...» Что случилось с моими тогдашними знакомыми – не ведаю.

А качественный ладан блуждающий по раскольничьим группам монастырь выпускает до сих пор. Иногда этот ладан попадается мне даже в России.

* * *

Как правило, русские (и американские) православные приходы небогаты. Есть и совсем бедные. Мало кто может полностью прокормить настоятеля, не говоря о других членах клира. В большинстве же священники вынуждены подрабатывать. От прихода они получают только жилье в церковном доме (иногда и такого не бывает) и небольшую стипендию. Работы бывают самые разные. Один мой знакомый как-то попал в небольшой городок на Среднем

Западе. По его сведениям, недалеко оттуда был храм Московского Патриархата. Мой знакомый поймал такси и попросил отвезти его туда.

– А зачем вам храм? – спросил таксист.

– Хочу узнать расписание богослужений.

– Спросите у меня, – ответил водитель, – я священник этого храма.

А вот греческие православные приходы весьма состоятельные. Как-то я увидел статистические данные, согласно которым греческие православные священники по уровню доходов стоят на третьем месте среди клириков всех конфессий – после южных баптистов и кого-то еще.

Как-то на практическое занятие по пастырскому богословию к нам пригласили пожилого греческого священника из близлежащего прихода, чтобы он поделился с нами своим богатым опытом.

Его выступление шокировало всех нас. Батюшка первым делом посоветовал начинающим священникам ни в коем случае не вселяться в приходской дом (чтобы не потерять независимости), а покупать своё жилье. Далее нужно было требовать от прихода повышение жалования (чтобы оно непременно превышало жалование предшественника) и социальных гарантий.

«И вообще, – подытожил священник свое выступление, – прихожане должны материальными знаками выражать любовь к своему пастырю. Вот, к примеру, моя пресвитера* считает ниже своего достоинства надеть на себя платье дешевле трехсот долларов. Но я таких платьев ни разу ей не покупал. Прихожане дарят».

Больше этого священника к нам не приглашали.

Но, конечно, о Православии в Америке можно рассказать и совсем другие истории. Вот – несколько из них.

* Матушка – жена священника (греч.).

Иподиаконы
в СВ. – Никольском
соборе, Вашингтон

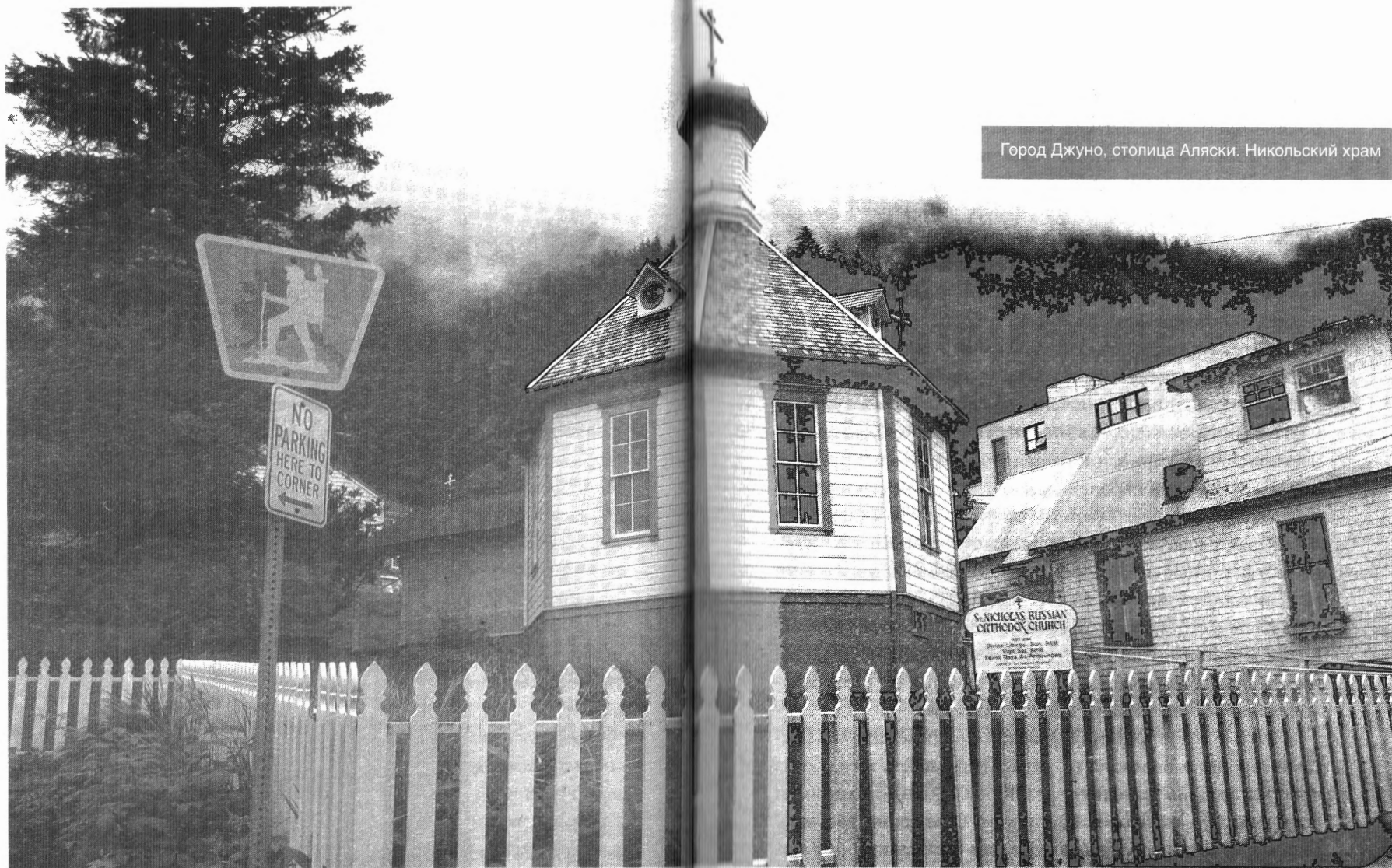


Семья Джеффри
Макдональда.
2012 г.



Отец Димитрий
Григорьев
и семья дома





Город Джуно, столица Аляски. Никольский храм

АЛЯСКА

МИССИОНЕРША

В академическом храме, справа от иконостаса размещалась особо почитаемая икона преподобного Германа Аляскинского с большой частицей его мощей. Все рядо-

вые богослужения завершались пением тропаря преподобному Герману, а на литургиях этот тропарь неизменно добавлялся к другим. Действительно, Православие на американском континенте началось на Аляске, и если за Атлантическим океаном и имелась «традиционно православная» земля, то это был самый северный штат.

А там Православие началось с валаамского монаха – преподобного Германа Аляскинского, много лет прожившего на маленьком островке под названием Еловый. Он освятил своим присутствием это место и даже называл его новым Валаамом. Отсюда и пошла первая Православная Церковь в Западном полушарии. Так что преподобного Германа можно назвать отцом всех православных американцев, не только коренных жителей Аляски, но и тех, кто обрел сокровище истинной веры долгие годы спустя.

С тех пор, как валаамский монах Герман поселился на Еловом, он сделался настоящим отцом для алеутов и эскимосов, которых просвещал, за которых заступался, о которых заботился. Для них он стал тем, кем для нас являются святой равноапостольный князь Владимир, преподобный Сергей Радонежский и преподобный Серафим Саровский вместе взятые. До сих пор Православие для коренных аляскинцев – вера святого Германа, к заступничеству и помощи которого они постоянно прибегают, а он никогда не посрамляет их надежды и упования. Благодаря ему, его живому примеру, навеки запечатленному в народной памяти, они, несмотря на сильнейшее давление всевозможных миссионеров, сохранили Православие, да и вообще выжили как народности.

После приобретения Аляски Соединенными Штатами она была поделена на несколько частей, каждую из которых отдали на откуп различным деноминациям и сектам: одну – методистам, другую – баптистам, третью – пресвитерианам и так далее. Все они отвечали за образование и просвещение «диких народностей» и все воспринимали Православие как часть языческого наследия, которое надлежало беспощадно искоренять. Детей забирали в англоязычные школы-интернаты, где образование сочеталось с религиозным прозелитизмом. Местные языки и вера объявлялись «дикими» и «отсталыми», в отличие от «продвинутых», «современных» и «циви-

лизованных» американской культуры и религии. Домой детям позволялось приезжать только на каникулы. Священников было катастрофически мало. И тем не менее православные алеуты и эскимосы держались. Главным образом – из-за своей любви к преподобному Герману и, разумеется, его ответными молитвами.

Протестантские и евангелические миссионеры работали и в поселениях местных жителей, склоняя взрослых к отказу от своей веры. Одна из таких миссионерок, баптистка, в середине XX века долго подвизалась в одном алеутском рыболовецком поселке. Умело сочетая лесть, подкуп и психологическое давление, она убедила наивных поселчан принять баптистское крещение. Событие было назначено на Страстную субботу. Не думаю, что миссионерша специально выбрала этот день, но вышло весьма символично. И вот рано утром, когда все собрались перед импровизированным бассейном, ударило цунами – знаменитое Аляскинское цунами 1964 года. Слава Богу, из людей никто не пострадал – жители успели убежать в горы, но весь поселок был смыт в океан. Не осталось ни одного дома, кроме православного храма, хотя он располагался довольно близко к воде. В тот же день баптистка была с позором отправлена восвояси, а поселчане собрались в уцелевшем храме на молебен преподобному Герману.

БОЛЬНИЧНЫЙ КАПЕЛЛАН

Сегодня на Аляске ситуация изменилась. Протестантский прозелитизм и американизация признаны ошибкой. Теперь существуют правительственные программы по возрождению местных языков и ремесел. Коренные жители Аляски получили ряд привилегий, им выплачивают особые субсидии, разрешают охоту и рыболовство даже на виды фауны, внесенные в Красную Книгу, для них построены новые школы, больницы, социальные учреждения. Но Православие опять не укладывается в эту новую

схему. Американские культуртрегеры решили, что самым лучшим для местных жителей будет возвращение к язычеству, которое на Аляске получило государственную поддержку.

Один мой знакомый священник, давно служащий на Аляске, регулярно посещал новопостроенный медицинский центр для коренных жителей в Анкоридже и окормлял православных пациентов. Недавно главный врач предложил ему оформиться на пустующую должность капеллана.

«Вы же все равно сюда постоянно приходите, — пояснил он. — А теперь вы сможете еще и получать жалование от штата. Пишите заявление — но это будет не более чем формальность, сразу вас и оформим!»

Батюшка подал документы, но когда пришел за ответом, главный врач встретил его с весьма растерянным видом.

«Ничего не понимаю, — залепетал он. — Когда мы отнесли ваши документы в штатное Агентство по здравоохранению, нам заявили, что национальной религией коренных жителей является язычество и капеллан в госпитале может быть только язычником. Они сказали, что по недосмотру до сих пор не нашли языческого жреца, но теперь непременно отыщут».

Батюшка не особо огорчился и продолжил окормление пациентов, как он и делал раньше. Язычник вскоре появился, но был изгнан пациентами, большинство из которых твердо исповедовало Православие. Так оно и продолжается — православный священник несет свое служение в госпитале, а языческий жрец появляется там лишь раз в месяц — получить деньги.

С о. Димитрием
Тригорьевым



Отец Димитрий
с матушкой



Чета Мейендорфов
с о. Димитрием
(Вашингтон)





О такой России хранили память
старые русские священники в Америке

РОЖДЕННЫЕ В РОССИИ

СТОЛЕТНИЙ СВЯЩЕННИК

Когда я проходил пастырскую практику, то несколько раз посещал православный старческий дом в самом изолированном районе Нью-Йорка – Статен-Айленде. Там я познакомился с бывшим аляскинским священником отцом Прокопием и часто беседовал с ним. Было это в 1982 году. За год до этого священнику исполнилось сто лет. Он показал мне поздравительное письмо, подписанное президентом Рональдом Рейганом. Оказывается, в США каждого человека, достигшего столетнего возраста, поздравляет лично президент.

Фамилия отца Прокопия значилась как Пауэрс, но тут же он пояснил, что изначально был Поварницыным, однако американские иммиграционные чиновники, неспособные произнести и тем более зафиксировать в письменном виде такое невозможное звуко сочетание, сократили и англифицировали его.

Родом батюшка был из Сибири, закончил Тобольскую семинарию и был рукоположен еще до революции. В 1917 году ему исполнилось уже 36 лет – то есть на десять лет больше, чем было мне, когда я с ним познакомился! Российскую катастрофу он встретил сложившимся, взрослым человеком, много лет прослужившим в священном сане.

Большевики, занявшие в разгар Гражданской войны его село, немедленно

арестовали «контрреволюционного попа» и приговорили к расстрелу. Священника заперли в пустой избе, сказав, что на рассвете жизнь его будет завершена. Ночью прокравшиеся прихожане открыли снаружи окно и уговорили батюшку бежать. Соседнее село держали отряды Колчака, и он направился туда. В тот же день белые вынуждены были начать отступление, и отец Прокопий пошел с ними. В родной дом ему более не суждено было вернуться, и семью свою – жену и двух дочерей – он утратил навсегда и более ничего не знал об их судьбе.

Он отступал с белыми, а после разгрома их отрядов совершил с ними беспрецедентный зимний переход через монгольскую пустыню Гоби в Китай. Когда священник служил воскресные и праздничные литургии, то вино замерзало в Чаше, но он не пропустил ни одной важной службы. Из Китая отец Прокопий Поварницын попал на Аляску (став по пути Пауэрсом), где и служил долгое время. Батюшка обладал абсолютным слухом и прекрасным голосом, сохранившимся даже в его столетнем возрасте. Паства его очень любила, и лишь тяжелая болезнь (туберкулез легких) заставила его переехать в более благоприятный климат на основную территорию США. Служил он в Иллинойсе и в других местах, пока возрастные немощи не вынудили его уйти на покой и поселиться в старческом доме, где мне и посчастливилось его застать.

Очень сожалею, что, понадеявшись на память, я не записал его рассказы, из которых теперь помню лишь крохотные фрагменты. Но до сих пор у меня сохраняется радостное ощущение от встречи с этим человеком – живым свидетелем давно ушедшей в безвозвратное прошлое эпохи. Умер отец Прокопий в 1985 году, в возрасте 104-х лет. Уверен, что теперь он воссоединился со своей утраченной семьей, верность которой хранил всю свою долгую жизнь.

НАСТОЯЩИЙ ЛЕВ ТРОЦКИЙ

Архимандрит Юлиан жил в крохотной келье при Покровском соборе на пересечении Второй улицы и Второй авеню в юго-восточной части Манхэттена. Собор занимал здание бывшей епископальной церкви, где было много подсобных помещений. В одной из этих комнаток и поселился старый монах, оборудовав себе иконный угол и поставив вдоль стены лавку для сна. Несмотря на то что в священном сане он состоял уже более полувека, отец Юлиан никогда не соглашался стать настоятелем собора и служил там вторым священником, безропотно и беспрекословно исполняя все послушания. Прихожане его любили и приезжали на исповедь не только с дальних концов Нью-Йорка, но даже из других городов.

Ходил батюшка всегда только в духовном платье, и его старенький подрясник с вытертой скуфейкой давно стали неотъемлемой чертой Лоуэр-Ист-Сайда. В районе обитало довольно много украинцев из той же послевоенной эмиграции, что и сам отец Юлиан. Они открывали свои рестораны, клубы и продуктовые лавки, так что, делая необходимые покупки, вполне можно было обойтись без английского, который, несмотря на свою почти сорокалетнюю жизнь в Нью-Йорке, священник знал довольно плохо. Да и покупал он в магазинах немного – хлеб, чай и гречневую крупу, составлявшие его основной рацион. Гречку батюшка заваривал крутым кипятком, а затем выдерживал ночь в кастрюле, замотанной в старую рясу. Впрочем, хорошо знали невысокого сутуловатого «father'a» не только в украинских магазинах района, где ему иногда приходилось покупать те или иные мелочи. Даже негры преклонных годов с удовольствием приветствовали его по-русски, натренированно выговаривая труднопроизносимые звуко сочетания: «Sdrastvuiti, kakpazhivaiti».

Отец Юлиан никогда не жил в СССР. Он происходил из старинного священнического рода Троцких. Ведь и известный под этим псевдонимом революционер Бронштейн заимствовал его у старого гимназического законоучителя. Скорее всего, Троцкие изначально были Троицкими, но, вследствие ошибки переписчика, фамилия утратила одну из двух «и». Отец будущего монаха служил в сельском храме на западной окраине Российской империи. Детей в семье было много, но сын — только один. Мальчик родился через несколько лет после начала XX века. Крестили младенца 18 февраля, в день памяти святителя Льва, папы Римского, и нарекли в честь этого великого святого. Вместе с Первой мировой пришла немецкая оккупация, а после революции и Гражданской войны эти земли отошли к Польше. В начале 20-х годов юноша поступил в Варшавскую православную семинарию и, закончив ее, стал насельником Онуфриевского монастыря, в котором он многократно бывал, начиная с самого раннего детства. Там он принял монашество с именем Иулиан в честь священномученика Иулиана, игумена Египетского, и был рукоположен в пресвитерский сан. Положение Церкви в Польше было тяжелым, православные подвергались страшным гонениям со стороны воинствующего костела. Отец Юлиан вместе с немногочисленной братией монастыря окормлял близлежащие села, утешал страдающий народ, отстаивал храмы от закрытия и учил свою паству прежде всего держаться святого Православия.

В 1939 году началась новая война. Польша перестала существовать. Граница между Германией и СССР прошла в нескольких километрах от монастыря. Отец Юлиан оказался на немецкой стороне, а вся его многочисленная родня — на советской. Через несколько лет иеромонаха угнали в Германию, где он стал окормлять русских военнопленных в лагерях, а после войны вместе со многими из них пересек океан и поселился в Нью-Йорке.

Он всегда помнил своих покойных родителей, на чьей могилке он не имел возможности послужить панихиду, и сестер, оставшихся в Западной Белоруссии, о которых он ничего не знал. В сталинские годы навести из-за границы справки о жителе СССР было делом весьма для него опасным. Это отец Юлиан хорошо понимал и не приступал к розыскам. Он ежедневно молился за своих родных и их семьи и на каждой литургии вынимал за них частицы.

В 1953 году умер Сталин, а еще через несколько лет началась хрущевская оттепель. Диктатура смягчалась, и вскоре стало возможным поехать в СССР в качестве туриста. Некоторые эмигранты рискнули съездить на родину, и это им удалось: все вернулись назад в целостности и сохранности. Стал собираться в путь и отец Юлиан. Вот тут и произошла история, которую я хочу изложить. Обычно ее в подробностях рассказывали алтарники Покровского собора всякому, кто интересовался отцом Юлианом. Поделились ею и со мной, когда осенью 1980 года я впервые пришел в собор на престольный праздник и на трапезе спросил их про старенького священника.

Итак, в конце 60-х годов архимандрит Юлиан собрался съездить на Родину. Однако места, где жили его близкие, были для него недоступны. Для иностранных туристов было открыто лишь несколько городов, причем приезжать позволялось только группами, программа для которых составлялась так, что времени для самостоятельных прогулок не оставалось вовсе. Теоретически можно было отказаться от экскурсий и гулять по улицам самостоятельно, но выезжать за пределы обозначенных в визе городов запрещалось категорически. Впрочем, мало кто из интуристов отваживался на такую независимость: все послушно ездил по достопримечательностям на экскурсионном автобусе.

Отец Юлиан купил турпутевку на две недели. Скорее всего, в ней значились Москва, Ленинград и Киев —

стандартная ознакомительная поездка по родине социализма. Прилетала группа в Москву и по простествии 14 дней улетала из нее же.

Американцев, среди которых был странный пожилой бородач в длинном черном «халате» и круглой «шапочке» (впрочем, тогдашним гидам уже объяснили, что в СССР обычно приезжает прогрессивное иностранное духовенство), поселили в только что отстроенной на улице Горького гостинице «Интурист» и вручили программу мероприятий. На ближайшие дни в ней значились посещение мавзолея Ленина, музея Ленина, музея Революции, обзор панорамы города с Ленинских гор, экскурсия по Выставке достижений народного хозяйства СССР и просмотр балета про попа и его работника Балду в Кремлевском Дворце съездов. Внимательно ознакомившись с расписанием, отец Юлиан сообщил гидам, что устал с дороги и хочет отдохнуть в номере. Как только группа отбыла осматривать революционные достопримечательности, нестандартный турист вышел на улицу и довольно скоро набрел на действующий храм. Там он пошептался с прихожанками и в тот же вечер исчез.

Пока пропавшего иностранца искали в Москве, он объявился в родных краях в Западной Белоруссии, где сразу нашел не только своих близких, но даже и чудом сохранившуюся могилку незабвенных родителей. Оказалось, что храм, в котором служил его приснопамятный отец, закрыт, а ближайшая действующая церковь находится на весьма значительном расстоянии, отчего многие дети оставались некрещеными, покойники – неотпетыми, а супружеские пары – невенчанными. Отец Юлиан взялся за привычное ему дело – крестил, отпевал, венчал. Чем больше он исполнял треб, тем большее количество селян обращалось к нему за помощью. Он не отказывал никому. Удивительно, что хотя он не слишком даже таился, в селе не нашлось никого, кто донес бы о нем вла-

стям. И вот, когда время пребывания батюшки в родных местах приближалось к концу, пришло известие, что его троюродная внучатая племянница в дальнем колхозе «Ленинское пламя» живет с мужем невенчанная, но из-за несданных трудовней выбраться к нему не может. На следующее утро, еще затемно, отец Юлиан отправился к ней. Водитель колхозного грузовика довез его до развилки, где ему надлежало пересест на сельский автобус. Однако автобус почему-то не прибыл, и монах отправился в пятнадцатикилометровый путь по проселку пешком.

Когда он уже подходил к пункту назначения, на горизонте показалось и стало быстро приближаться к нему грохочущее облако пыли, в клубах которой постепенно материализовывался мотоцикл с сидящим на нем дородным сельским милиционером. Рассмотрев одинокого путника, страж порядка остолбенел. Навстречу ему бодро шагал персонаж из давно забытого прошлого – длиннополый седобородый поп с котомкой за плечами! А ведь совсем еще недавно товарищ Хрущев обещал вскоре показать по телевизору последнего попа – и на тебе! Правда, с тех пор самого Хрущева уже успели снять за непонятный «волонтаризм», но обязательную антирелигиозную работу не отменял никто. Вот и он – милиционер – недавно докладывал на районном партсобрании об искоренении религиозного дурмана на его участке, и вдруг это неизвестно откуда взявшееся видение!

– Ты кто такой? – грозно спросил милиционер.

– Это большевики научили пана полицейского тыкать духовенству? – ласково осведомился отец Юлиан. – Так вести себя нельзя. Вначале обычно просят благословения.

– Ты что, старый хрыч, спятил, что ли?! Да я тебя сейчас в порошок сотру! – завопил человек в форме.

– Вам нужно немедленно перестать сквернословить. Ишь, партизан какой! – спокойно и твердо ответил священник.

Нужно отметить, что слово «партизан» было самым ругательным в лексиконе отца Юлиана, и употреблял он его, лишь когда начинал сердиться. Ничем другим он эмоции свои не выражал: голос его всегда оставался негромким и ровным.

Побагровевший милиционер почти утратил дар речи от такого необычного поведения.

– А ну, документ об это место, живо! – рявкнул он, звучно шлепнув толстым указательным пальцем правой руки по раскрытой левой ладони.

То, что он прочитал на незамедлительно поданной отцом Юлианом визе (она тогда не вклеивалась в паспорт, но выдавалась в виде отдельной книжечки с фотографией и печатью), повергло его в окончательный ступор и заставило смертельно побледнеть. Перед ним стоял не кто иной, как гражданин Соединенных Штатов Америки Лев Троцкий! Еще из школы милиционер помнил, что лютый враг революции и социализма Иудушка Троцкий был выслан в Америку, и вот на тебе – пробрался назад. Но ведь по легальной визе! И не куда-нибудь, а на его участок! Теперь одних отчетов писать – не напишешься... Кто знает, что этот Троцкий тут уже успел натворить? А спросят-то с него! Особисты на допросах ведь всю душу вымотают. Почему же ему всегда так не везет?

Решение пришло мгновенно.

– Слушай, дед! Я тебя не видел. Ты меня тоже не видел. Впереди на развилке налево не сворачивай – там можешь наткнуться на патруль. И чтоб к вечеру на моем участке тебя не было, а то по-другому буду говорить!

Взгрозившись на своего железного коня, страж порядка мгновенно расточился, яко соние. Лишь пыльный столб и зловонный запах бензинового выхлопа еще некоторое время напоминали, что он действительно тут был.

Отец Юлиан спокойно дошел до «Ленинского пламени», повенчал родственников, покрестил их деток,

а вечером на попутке вернулся в родное село. Еще через день, завершив свое апостольское пастырское служение, он отбыл в Москву. В последний вечер перед отлетом в Нью-Йорк священник, как ни в чем не бывало, сидел в своем номере в «Интуристе». Тут его и обнаружили сбившиеся с ног гиды с милиционерами.

– Где же вы были? – все расспрашивали его наперебой.

– Да пошел погулять и заблудился. Спасибо, нашлись добрые люди, приютили. И мне так у них понравилось, что остался на несколько деньков погостить. А потом они меня сюда привели.

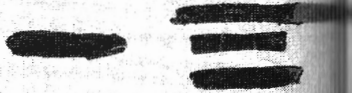
– Что за люди, где они живут? Имена, фамилии, адрес?

– Зовут Сергей да Наталья, фамилией их я не интересовался, мне она ни к чему, а где живут – не знаю. Я же в этом городе чужой, совсем не ориентируюсь. Помню, под землей на метро ехали, потом на трамвае, а затем на автобусе. Только как-то редко они у вас ходят – иной раз так долго ждать приходится. А люди очень хорошие, гостеприимные! Побольше бы таких!

Посоветовавшись, представители власти решили со странным стариком, да еще с такими провокационными именем и фамилией, не связываться – себе дороже будет. Все равно завтра ему в аэропорт, а вместе с ним исчезнут и созданные им проблемы. Отца Юлиана пожурили и оставили в покое. Наутро он улетел с чувством исполненного долга и с длинным синодиком людей, за которых он постоянно молился до самой своей смерти.

Скончался отец Юлиан в конце 1980-х годов в весьма преклонном возрасте после краткой болезни. Служил он почти до самого своего последнего дня.

NAME ALEXANDER L. DVORKIN		REGISTRATION NUMBER A 22 21 404
ADDRESS IN U. S. 575 SCARSDALE ROAD CRESTWOOD, NEW YORK 10022		
DATE OF BIRTH AUGUST 20, 1955	COUNTRY OF BIRTH RUSSIA	COUNTRY OF ORIGIN NATIONALITY STATELESS
EYES BLUE	HAIR BROWN	HEIGHT 5 FT 9 INCHES
VISIBLE SCARS AND MARKS NONE		
VALIDITY OF PERMIT		
PERMIT EXPIRES MAY 26, 1982	VALIDITY EXTENDED TO	VALIDITY EXPIRED TO
DATE AND LOCATION OF ISSUING OFFICE MAY 27, 1981 NYC	DATE AND LOCATION OF OFFICE	DATE AND LOCATION OF OFFICE
SIGNATURE DISTRICT DIRECTOR <i>John J. Deffner</i>	SIGNATURE REVALIDATING OFFICER	SIGNATURE REVALIDATING OFFICER

PHOTOGRAPH 	RESTRICTION VALID FOR ☐ ONE ENTRY ONLY ☒ MULTIPLE ENTRIES This document is not valid for return to the United States after a temporary absence which involves travel to or through any of the following countries unless this restriction is specifically waived with regard to any such country or countries by endorsement hereon:  The above restriction is waived as to the following: 
--	--

Alexander L. Dvorkin

Путевой документ беженца. С ним я отправился в свою первую поездку по святым местам

АМЕРИКАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

К концу учебы в академии передо мной встал вопрос, что же делать дальше. Жены у меня не было, да я тогда еще и не определился, хочу ли я жениться или принимать монашество. Без этого решения о рукоположении думать было рано, да я и сам сомневался, мой ли это путь – священство. Мне исполнилось двадцать восемь лет, так что время на раздумья еще имелось. Я хотел продолжить учебу, но где – пока решить не мог. Писать докторскую можно было либо в Париже – в Свято-Сергиевском подворье, либо по соседству – в Фордхэмском университете, под руководством отца Иоанна Мейендорфа.

Бумаги я подал и туда и туда. Приняли меня в оба места, а в Фордхэме еще и предложили максимально возможную стипендию (уверен, благодаря рекомендации отца Иоанна). Нужно было делать выбор. У обоих вариантов имелись свои привлекательные стороны. Решение в пользу Парижа предполагало много плюсов. Жить там значило хорошо освоить французский, которого я тогда практически не знал. Да и вообще, перемена мест предвещала новые приключения. С другой стороны, с академической точки зрения Фордхэмский университет значил гораздо больше. Да и продолжить работу с отцом Иоанном Мейендорфом – когда у меня будет еще такая возможность? Я молился, чтобы

Господь раскрыл мне Свою волю. Так и вышло: все решилось само собой.

Поначалу страсть к приключениям возобладала, и я выбрал Париж, отказавшись от Фордхэмской стипендии. Но была одна загвоздка. Дело в том, что к последнему году пребывания в академии подошел к концу «карантинный период» (пять лет проживания в США) и я мог получить американское гражданство. До этого я числился апатридом (лицом без гражданства) и имел лишь вид на жительство (так называемая «зеленая карточка») в США. Это значило, что для путешествий я получал специальный «путевой документ», на котором большими буквами было написано, что это не паспорт, а владелец его не является гражданином США. В каждую страну требовалось подавать на визу, которую лицу без гражданства предоставляли с трудом. В общем, все это создавало массу проблем.

По истечении пяти лет пребывания в США я подал бумаги на гражданство. Принимающая документы дама заверила меня, что вызов на собеседование придет не раньше, чем через полгода, и мы с Джеффом Макдональдом уехали на три месяца на Афон. Как назло, вызвали меня почти сразу, и явиться, соответственно, я не смог. Когда по возвращении домой я узнал об этом, то пошел выяснять обстоятельства. Мне сообщили, что в случае неявки бумаги заявителя кладут в самый низ стопки и вызывают, лишь когда подойдет новая очередь, а это может занять довольно долгое время. На всякий случай я подал документы опять и стал ждать. Прошел год, вызова на собеседование не приходило.

Это лето я провел в академии, помогая Сергею Сергеевичу и ожидая вызова. Безрезультатно. В Париж ехать я не мог, ибо после полугодичного отсутствия в США мой пятилетний срок пребывания в стране аннулировался бы и мне пришлось бы заново его набирать. Поэтому я решил, чтобы не терять времени, за свой счет записаться вольнослушателем на несколько курсов в Фордхэмском

университете и ждать вызова, который по всем параметрам, должен был прийти уже вот-вот.

Тем не менее почта не приносила заветного конверта. Я писал письма конгрессменам и сенаторам, просил помощи, сетовал, что срываются мои жизненные планы, их секретари слали вежливые ответы, но результата не было. Казалось, что документы мои безвозвратно потеряны и сделать ничего нельзя.

Я жил в академии, проходил там дополнительные курсы, ездил на лекции в Фордхэм и исполнял алтарное послушание. Отцу Александру Шмеману становилось все хуже, я был при нем и использовал эти последние моменты для общения. Может быть, ради этого Господь не отпускал меня из академии? В начале ноября отец Александр умер. После его похорон я решил, что, наверное, на мое обучение в Париже нет Божией воли, и вторично подал документы в Фордхэм. На стипендию я не надеялся: обычно все они раздаются к сентябрю, и к середине учебного года ничего не остается. Я рассчитывал взять заем, протянуть полгода, а там, может, к сентябрю что-нибудь опять получится. И вдруг через несколько дней мне звонят из Фордхэма и сообщают, что у них неожиданно появилась одна-единственная стипендия и что они готовы мне ее предоставить. Иначе, как чудо, воспринять это известие я не мог. После такой очевидной подсказки я не мог уже отказаться и дал свое согласие. И сразу же, буквально через день, пришло приглашение на собеседование для получения американского гражданства. Я вижу в этом особый Промысл Божий: вся эта неслыханная задержка была попущена лишь для того, чтобы я остался в Америке, простился с отцом Александром и учился в Фордхэме у отца Иоанна Мейендорфа.

Собеседование прошло очень легко: меня попросили написать простую фразу по-английски и задали два вопроса: какие три ветви власти есть в США (законодательная, исполнительная и судебная) и кто был первым

президентом страны. Тут я уже не выдержал и ответил, что Вашингтонский мост. Экзаменующие дамы хихикнули и похвалили меня за хорошее чувство юмора. Затем меня попросили принести клятву верности США, на что я ответил, что как христианин не имею права клясться. Дамы и тут оказались покладистыми, ограничившись «торжественным заверением». На этом нехитрая процедура была завершена. Еще через пару недель меня вызвали на церемонию получения гражданства, которая состоялась в одном из исторических залов на самом юге Манхэттена.

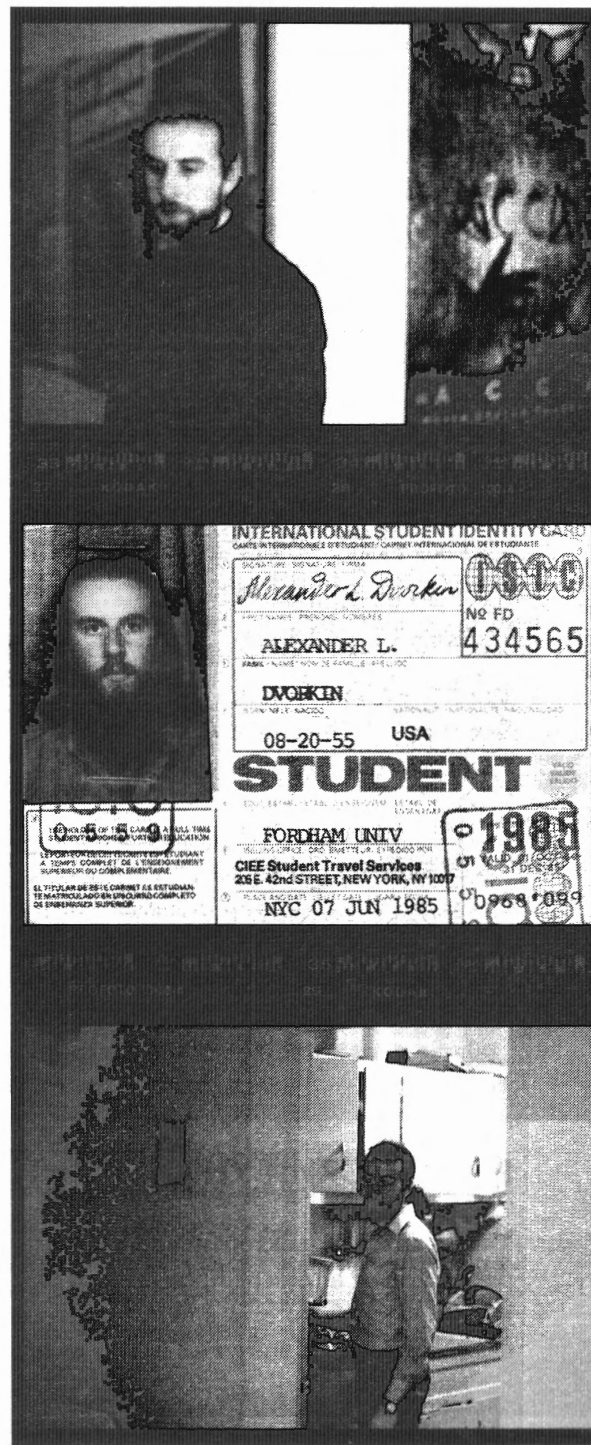
Председательствующий судья произнес несколько слов о смысле гражданства США и поздравил всю собравшуюся – весьма разношерстную – публику с началом новой жизни. По двум сторонам зала выдавали сертификаты о гражданстве, и все подошли к столам. Напоследок судья сказал, что каждый, кто хочет пожать ему руку, должен выйти через центральную дверь, где он будет стоять. Я пожалел судью, всего на церемонии присутствовало несколько сот человек – рука отвалится каждому ее пожимать, и вышел сбоку.

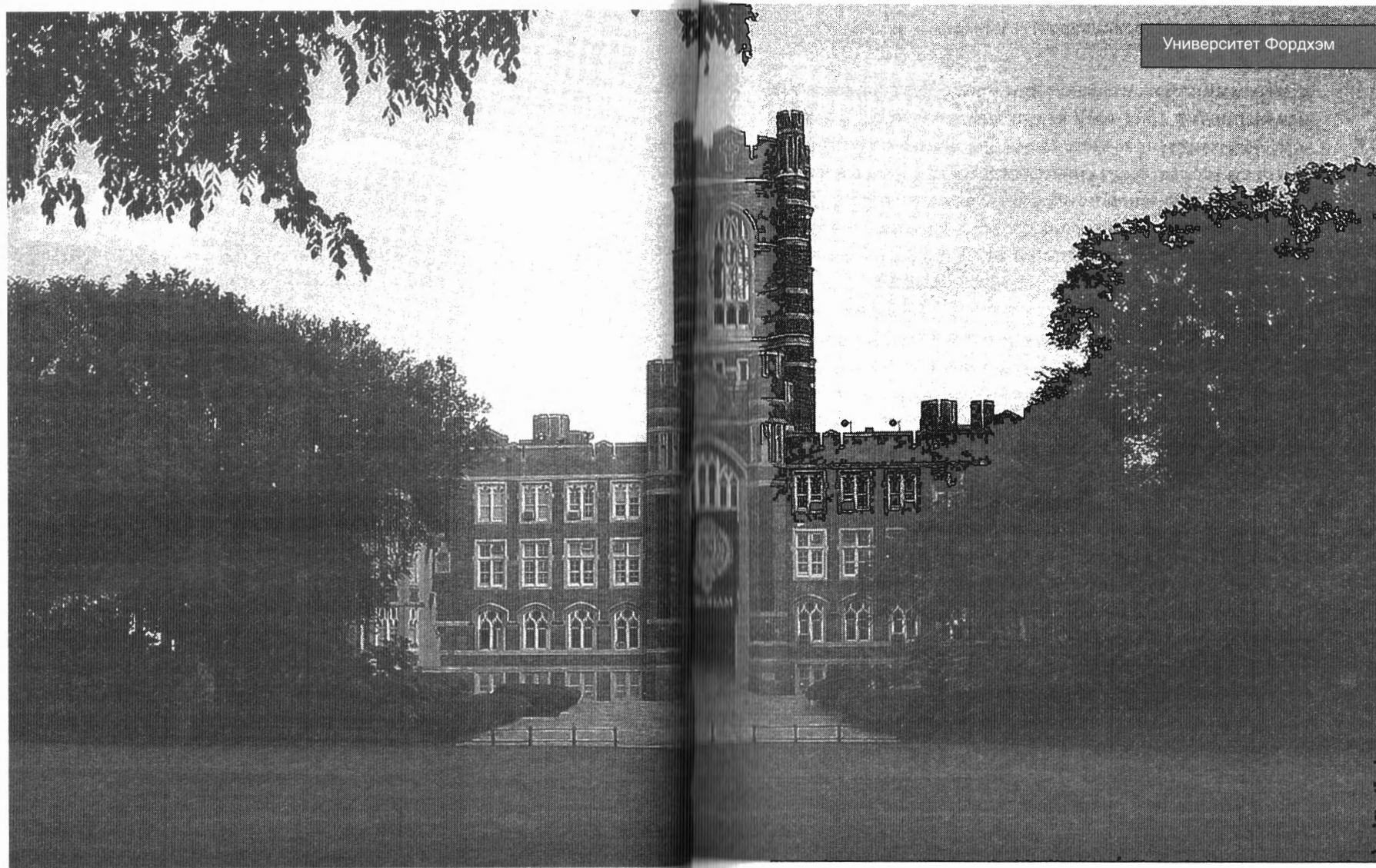
Итак, сбылась моя давняя мечта – я наконец-то стал гражданином страны, жить в которой стремился с отрочества. Но ничего не произошло и не изменилось. Обычная бюрократическая церемония, обычные люди, все спокойно и буднично. Я жил в Америке уже шесть лет и вполне привык к этой стране, ее языку и обычаям. Советский Союз остался где-то далеко позади.

Но, наверное, главным было то, что изменился я сам. Теперь я осознавал, что самое важное – это внутренняя свобода, которая не зависела от горизонтальных перемещений. И это понимание я обрел в Церкви, «гражданство» в которой получил гораздо раньше – 19 января 1980 года после гораздо более сложного экзамена. И главное, этот экзамен не является одноразовым событием. Он продолжается всю жизнь и даже после смерти – до Страшного суда.

Международный студенческий билет.
Его обладателям во время путешествий
полагались разные скидки

Дома в Вашингтоне





ИЕЗУИТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Университет, в докторантуру которого меня приняли, располагался на севере Бронкса – самого северного района Нью-Йорка, то есть в непосредственной близости от академии. Десять минут на электричке – и я выходил на

нужной остановке, от которой до ворот обширного кампуса (студенческого городка) было минут шесть-семь неспешного хода.

К Фордхэмскому университету меня подтолкнуло еще и то, что мой близкий друг по семинарии, голландец Йоост Ван Россум, тогда заканчивал докторскую

программу на богословском отделении. Университет этот, основанный в 1841 году как иезуитское учебное заведение, до сих пор управляется этим орденом. Но при этом он имеет статус светского университета, в котором ни преподаватели, ни студенты не обязаны быть католиками. Лишь богословское отделение имеет ярко выраженный католический характер (большинство преподавателей – иезуиты), но и там позволяют обучаться студентам, принадлежащим другим конфессиям. Например, Йоост Ван Россум написал и защитил там строго православную диссертацию о святом Симеоне Новом Богослове под руководством отца Иоанна Мейендорфа, который, вообще-то, числился в штате исторического отделения, но ему позволили руководить докторантом и с богословского. На других же отделениях, насколько я знаю, было (возможно, негласное, а возможно, и где-то зафиксированное) правило о присутствии некоторого процента преподавателей-католиков. На моем, историческом, отделении этот процент не достигал до половины, хотя, как отдельная группа, католики были самыми многочисленными. Среди других преподавателей имелись иудеи (правда, номинальные), протестанты и агностики. Но звездой отделения был, конечно, православный священник отец Иоанн Мейендорф.

Можно сказать, что именно он придавал историческому отделению звездный статус, и многие студенты мечтали у него учиться. Университет гордился тем, что отец Иоанн в нем преподавал: присутствие ученого такого масштаба значительно повышало престиж учебного заведения. Хотя отметим, что изучение средневековой истории в Фордхэме традиционно держалось на высоком уровне и по качеству образования в этой области мой университет занимал второе место на всем Восточном побережье США.

Я уже писал, что в американских университетах нет факультетов. Но, в отличие от колледжа, где студент по-

ступает просто в университет, магистранты и докторанты записываются на определенное отделение. Всех преподавателей также принимают на работу в соответствующее их специализации отделение. У каждого из них есть своя область исследований. Этим областям соответствует количество специализаций на отделении – по числу преподавателей.

Выбирая себе специализацию, я прежде всего исходил из преподавателя. Разумеется, возможность учиться у отца Иоанна стояла на первом месте. Именно поэтому я и остановился на Фордхэме и его историческом отделении.

* * *

В Америке нет единой докторской системы – все зависит от университета. Но чаще всего обучение на этой ступени выглядит примерно так. За два года докторант проходит определенное количество курсов, которые должны подготовить его к очень серьезным экзаменам. Испытания в разных университетах проходят по-разному, и даже на разных кафедрах одного университета их процедура может сильно различаться. На историческом отделении Фордхэмского университета, куда я поступил, устный экзамен с четырьмя профессорами продолжался четыре часа. Он проходил в виде собеседования по всему объему материала – никаких билетов и никаких случайных шансов. Каждый профессор по часу задавал вопросы по своей специальности, и я должен был на них сразу же ответить. Это были те четыре специализации (византийская история, средневековая русская история, Реформация и контр-реформация, средневековая история Испании), которые я избрал в начале обучения. Как я говорил, когда выбираешь эти специальности – выбираешь и профессоров, которым тебе предстоит сдавать экзамен. Можно, конечно, записываться на самые разные курсы в любых отделениях, но, не поучившись у профессора и не узнав

его требований, вряд ли сможешь удовлетворительно ответить на его вопросы, так что все стараются пройти как можно больше курсов у своих будущих экзаменаторов. В Фордхэме я прослушал все курсы отца Иоанна Мейендорфа, а кроме того, посещал в академии те его спецсеминары, которые не предлагались во время моей учебы. Разумеется, я записывался и на все курсы и семинары трех остальных профессоров по выбранным специальностям и написал каждому из них по четыре курсовика – итого шестнадцать обширных курсовых работ за два года обучения. Многие из них позже были опубликованы.

Кроме этого, в течение двух лет нужно было сдать еще и языковые экзамены – два современных и два древних языка. Без них к основному (четырёхчасовому) экзамену не допускали. Пришлось записаться на два языковых курса, чтобы подтянуть французский и греческий. В остальном мне оказалось проще, чем многим другим: в качестве двух других языков мне позволили сдать русский и церковнославянский. После этого экзамена я мог уже официально приступить к написанию докторской работы (материалы можно начинать собирать и раньше). Вообще, два года – срок небольшой, и очень многие в него не укладываются. Дописывают потом, в свободное от работы время. Но в этом случае стипендия больше не выдается, и докторант каждый год должен платить за то, что числится в университете.

Стипендия покрывала мое обучение, а кроме того, мне платили денежное содержание – шесть тысяч долларов в год, что, с одной стороны, по тогдашним ценам было совсем не малой суммой, но с другой – в Нью-Йорке, не имея дополнительных источников существования, на нее все же прожить было невозможно. При этом получатель стипендии не имел права подрабатывать на стороне, поэтому его материальное положение без дополнительной внешней поддержки могло оказаться довольно сложным.

Учебная нагрузка казалась почти неподъемной: каждую неделю, готовясь к семинарским занятиям, нужно прочитывать по несколько тысяч страниц. Проходили семинары в малых группах, так что отсидеться было невозможно. Кроме того, докторанту давали небольшую работу в университете (своего рода послушание) – либо ассистентом у какого-то профессора, либо преподавателем. Первый год меня «прикрепляли» по очереди к двум профессорам, а потом назначили преподавать продвинутый курс русского языка, что занимало у меня два часа в неделю. Само по себе это не очень меня обременяло, но вся нагрузка в целом практически исключала возможность серьезной подработки где-либо еще.

Однако выход нашелся: мне позволили жить в Свято-Владимирской академии, причем за чисто символическую плату. Тогда это было единственным выходом, поскольку я не имел своего жилья, равно как и внешних источников поддержки.

* * *

Поскольку я жил и питался в академии, то мне удавалось сэкономить почти тысячу долларов, на которые каждое лето я на три с половиной месяца мог отправиться в поездку по византийским местам. За вычетом стоимости авиабилетов у меня оставалось примерно по пять долларов в сутки с небольшим запасом на экстренный случай. Ездил я автостопом, потому что это самый дешевый способ передвижения. Я побывал в Италии, Греции, юге Франции, тогда еще большой Югославии, Израиле, Турции – во всех тех местах, которые изучал. По пути, в качестве отдельных экскурсий, я проехал Германию, Бельгию, Голландию, Швейцарию, север, восток и центр Франции и Австрию. О некоторых поездках я уже рассказывал в «Афонских рассказах» и в другой моей автобиографической книге «Учителя и уроки».

Интересно, что когда я подал документы на самый первый американский паспорт (в США нет обязательных для всех удостоверений личности и паспорт получают лишь те, кто хочет выехать за границу), то в графе «Место рождения» написал «Москва, Россия». Чиновница проверила по списку и развела руками:

– Простите, но в списках такой страны, как Россия, не значится. Есть только СССР.

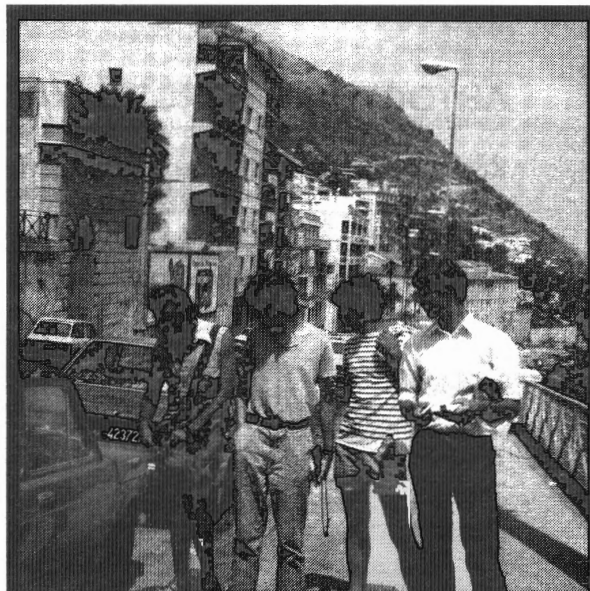
Я набрался наглости и ответил:

– А я не признаю СССР. Родился я в России. Пишите так!

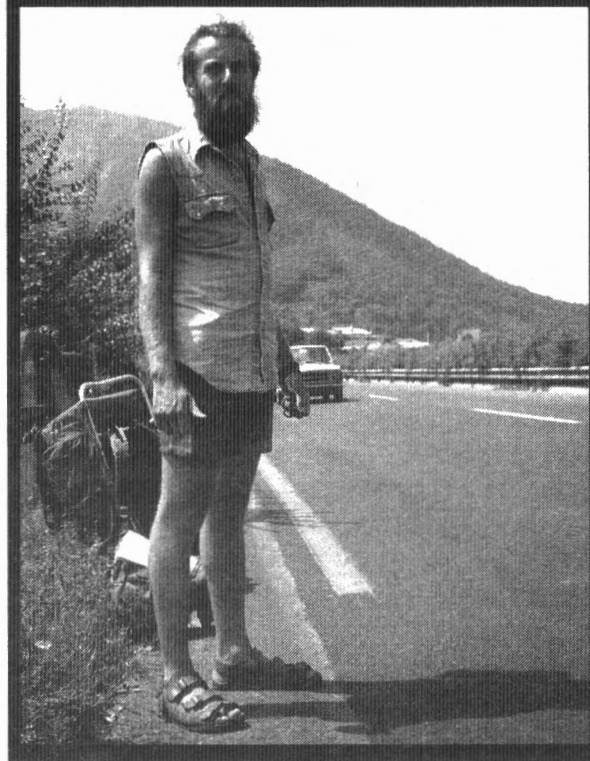
– Пожалуйста, – пожала плечами чиновница, – как хотите.

Так я и получил в своем первом паспорте надпись: «Рожденный в России».

Справа от
меня: два внука
Владимира
Лосского,
Даниила Стризе



Автомобиль на юге
Италии



АВТОСТОП В ЕВРОПЕ: КАК БЫЛО

Когда я учился во втором или в третьем классе, к нам в школу приехал престарелый маршал Буденный. Всех собрали в актовом зале, чтобы послушать выступление прославленного героя Гражданской войны. Вначале маршал

поделился со школьниками своими воспоминаниями (их я совсем не запомнил), затем прослушал самодеятельный концерт, а затем вновь поднялся на подиум, где ему повязали красный пионерский галстук и вручили букет цветов.

Каким-то образом мне удалось просочиться на сцену и подойти почти вплотную к осанистому старику



Так я перемещался из города в город

с роскошными усами. Меня больше всего интересовали его многочисленные награды, подобно сплошной броне покрывавшие его грудь и живот.

Маршал заметил меня – маленького тощего очкарика, погладил по головке и произнес: «Хороший мальчик, путешественником будет. Как Фрунзе, Пржевальский!»

Почему он причислил Фрунзе к путешественникам, я не знаю, но ведь в главном старик не ошибся! Я действительно стал путешественником и увидел многие страны и города, о посещении которых в детстве мог только мечтать.

* * *

После решения вопроса с гражданством путешествовать стало гораздо легче: можно было не думать о визах. Во время моего студенчества в Европе автостоп был все еще довольно распространен. Во всяком случае, моя персона никакого удивления у людей не вызывала. И очень часто бывало, что меня не только подвозили, но и кормили, приглашали переночевать или даже давали денег на дорогу. Всего в такие путешествия длиной в целое лето я отправлялся не менее восьми-девяти раз и, таким образом, стал считать себя почти профессиональным автостопщиком. Даже время от времени подумывал написать учебник по международному автостопу с рассказом об особенностях путешествий этим способом в разных странах. Тогда мне сложнее всего было ездить по Бельгии и по Греции: иной раз ждать, пока тебя подберут, приходилось чрезвычайно долго. В Израиле автостоп оказался просто невозможен: там подбирали только солдат, которых стояло на дорогах множество, причем постоянно подходили все новые и новые. До меня очередь не доходила никогда. А вот во Франции, которая среди автостопщиков имела чрезвычайно плохую репутацию (считалось, что французы

подвозят только молодых привлекательных девушек), у меня проблем не возникало никогда.

* * *

В первую мою поездку по Европе я отправился после первого года учебы в Духовной академии. Тогда я провел полтора месяца в Греции (в том числе десять дней на Афоне) и месяц в Израиле. Во второе путешествие я отправился следующим летом вместе с Джеффри Макдональдом. Целью нашей поездки был Афон. Мы отыскивали чрезвычайно дешевые билеты до Лондона (по-моему, полторы сотни долларов за путь в оба конца), а дальше решили ехать автостопом (за исключением, конечно, Ла-Манша, под которым еще и не начинали строить ныне действующий туннель). Заодно мы планировали осмотреть все, что можно было увидеть по пути. Туда мы ехали через Бельгию, Голландию, Германию, Австрию и Югославию, а назад, переправившись на пароме из Патр в Бриндизи, – через Италию, Швейцарию и Францию. Туда мы добирались месяц, месяц провели на Афоне и месяц ехали обратно.

Помню, как, добравшись до Центральной Италии, мы решили ехать не по автостраде, а по параллельной дороге местного значения, чтобы попасть в несколько старинных городов, и вдруг капитально застряли. В отличие от автострады, тут нас никто не подбирал. Мы проторчали на месте почти сутки, а ночевали на обочине в спальных мешках. Все это время мы не ели – боялись отойти от дороги: вдруг как раз в это время долгожданный милосердный водитель проедет мимо?

В конце концов нас, уже падающих с ног от усталости и голода, подобрал римо-католический священник. Он поинтересовался, куда едем. Мы назвали место назначения – Сан-Джиминиано.

– А в Кортону? – спросил он. – Почему вы не заедете в Кортону?

Мы сказали, что никогда не слышали о таком городе.

– Как, не слышали о Кортоне? – возмутился падре. – Это же знаменитейший, красивейший и древнейший город, одна из семи этрусских столиц!

Мы были совсем не против туда заехать. Священник привез нас в Кортону – чрезвычайно живописный городок, расположенный на крутом холме, – и провел по всем музеям, надо сказать, совсем не маленьким. Перебираясь из одного памятного места в другое, мы проходили мимо продовольственных рынков и лавок со всевозможными яствами. Одурающие запахи просто сбивали с ног, кружили голову, и, честно говоря, нам было не до ценных экспонатов древних этрусков. Правда, в конце концов мы были вознаграждены за терпение: после музеев падре нас замечательно накормил и оставил на ночлег. Он с большой радостью оказывал гостеприимство православным семинаристам, которых воспринимал как коллег. На следующее утро он отвез нас на бойкое место, откуда мы смогли уехать довольно быстро.

* * *

Расскажу еще об одной путевой истории, связанной с Италией. Но сначала о том, что ей предшествовало. Больше месяца я провел в автостопном путешествии по Турции, по окончании которого пересек греческую границу, чтобы ехать в Северную Италию – навестить своего друга Марко. Уже начинало смеркаться, и я, доехав до ближайшего греческого городка, решил в нем и остаться на ночь. Зашел в первую попавшуюся таверну, заказал себе ужин и спросил у хозяина, знает ли он, где тут можно бесплатно переночевать. Трактирщик предложил внутренний дворик своего заведения, что вполне меня устроило. Я сидел в таверне до закрытия, пил кофе, смотрел телевизор – пока не ушел последний посетитель. Мне показалось забавным, что в рекламных блоках местного теле-

видения, четыре из каждых пяти роликов превозносили достоинства различных средств от комаров. Однако особого значения этому факту я не придавал. Лишь когда я расстелил во дворике свой спальный мешок, то понял, что все это значило. Мне предстояло провести одну из самых кошмарных ночей в моей жизни. Из-за тяжелой, давящей жары находиться внутри спального мешка было невозможно, а вылезая из него, я тут же становился добычей для целой стаи озлобленных голодом комаров. Я вновь нырял в мешок, чтобы через две минуты, обливаясь потом, выбраться наружу. Утром я выковылял на дорогу, весь обглоданный этими летающими вампирами и распухший от их укусов. Ноги и руки стгибались с трудом. Глаза превратились в узкие щелочки. Южные комары вообще сильно отличаются от наших, и зудящие волдыри не проходят несколько дней.

Стоило мне шагнуть на дорогу (я не успел даже поднять руки), как возле меня резко затормозила машина. Оттуда высунулся человек и спросил, не автостопщик ли я. Я ответил утвердительно, и меня пригласили внутрь, где я познакомился с итальянской семьей – супружеской парой с ребенком, которые возвращались домой. Оказалось, что их город располагался всего в восьмидесяти километрах от того места, куда добирался я. Мы провели вместе двое с половиной суток, проехав Грецию, Югославию, Австрию и большую часть Северной Италии. За это время мы подружились и, можно сказать, породнились. Когда они меня доставили до поворота, где наши пути наконец расходились, то даже дали мне немного денег, чтобы я смог добраться до места назначения уже не автостопом, а местным транспортом, да еще и пообедать.

* * *

Швейцария – несомненно, одна из самых недружелюбных стран мира. Страна всеобщего доноительства.

Швейцарцы считают своим особым достоинством готовность постоянно «стучать» на своих ближних. Один мой знакомый англичанин рассказывал, как в Швейцарии бывал на вечеринке. Отмечали день рождения его приятеля. Присутствовали несколько английских студентов и два молодых швейцарца. Англичане вполголоса пели народные песни, общались между собой. Ровно в девять швейцарцы распрощались и ушли, а в пять минут десятого приехала полиция. Оказывается, в стране запрещено шуметь после девяти вечера, чего англичане, которые вели себя, впрочем, довольно тихо, не знали. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что полицию вызвали их швейцарские гости...

Другой мой приятель несколько месяцев прожил в Швейцарии. Ежедневно он ездил на работу на велосипеде, аккуратно объезжая вокруг большого газона. Однажды он с утра проспал и решил сэкономить пару минут, проехав не вокруг газона, а через него. Как только колеса его велосипеда зашуршали по траве, на его голову с ближайшего балкона вылилось ведро холодной воды.

Это значило, что какой-то швейцарец должен был годами сидеть со своим ведром, поджидая возможного нарушителя, и наконец с полным удовлетворением наказал его.

Помню, как я первый раз побывал в этой стране. Дело было в Базеле. Мы с Джеффри зашли посмотреть местный собор. Выходя из этого памятника архитектуры, я выбрал на стенде несколько открыток и подошел к окошку расплатиться. Достал из кармана бумажку в пять швейцарских франков и протянул ее кассирше. И вдруг эта женщина стала на меня орать. Тогда я совсем не понимал немецкого и стоял в недоумении, глядя на то, как она бережно разглаживает мою банкноту. И лишь через пару минут до меня дошло: она ругала меня за то, что я ношу деньги в кармане, в скомканном виде, таким об-

разом выказывая небрежение к этим, почти что сакральным предметам, которые нужно беречь, холить и лелеять. А хранить их нужно в расправленном виде в бумажнике. Так они не будут изнашиваться.

Но и эта страна оказалась не без добрых людей. Один подбравший меня швейцарец пригласил к себе переночевать, что для жителя этой страны просто невероятно. Правда, весь вечер после ужина я вынужден был смотреть самодельные фильмы про его хобби – горнолыжный спорт. Особенность состояла в том, что они с друзьями не пользовались подъемниками, а взбирались в горы на лыжах, ставя их «елочкой». Несколько дней поднимаются, а потом за час съезжают вниз. Смотрели эти однообразные фильмы мы довольно долго, и спать я лег поздно. О длительном отдыхе я мог не мечтать: рано утром хозяину нужно было на работу, и он, подняв меня ни свет ни заря и напоив кофе, вывез на дорогу и оставил там одного.

В этот же день меня забрали в полицию прямо на трассе. Вообще-то на автострадах заниматься автостопом запрещено. И не только в Швейцарии. В других странах, если меня замечала полиция, то мне просто сообщали, что тут останавливать машины нельзя, на что я отвечал, что не знал о таком правиле и сейчас уйду. Стражи порядка уезжали, а я продолжал делать то же самое.

Швейцарские полицейские забрали меня в участок, где попросили предъявить документы. Американский паспорт с непроизносимым именем «Alexander Leonidovich Dvorkin» и местом рождения «Russia» они восприняли с большим удивлением и долго разглядывали его, передавая из рук в руки. В результате они решили, что я не иначе как советский шпион, и стали проверять мою «легенду». Выясняли мой адрес, чем занимаюсь, потом заставили меня ждать, а сами звонили куда-то. Минут через двадцать вышел новый полицейский и спросил, говорю ли я по-русски, очевидно ожидая, что я стану отказываться.

Своим утвердительным ответом я вверг весь участок в новый двадцатиминутный ступор. Они опять долго проверяли меня по своим компьютерам, а затем спросили девичью фамилию моей матери. Я ответил, они, записав ее, удалились к себе минут на десять, после чего, извинившись, что забыли фамилию мамы, попросили ее повторить, с хитрым видом заглядывая в бумажку. И вновь были разочарованы, что все совпало. После двухчасовой проверки я не выдержал и возмутился: «Неужели вы не понимаете, что, будь я советским шпионом, я не стал бы ездить автостопом: советское правительство раскошело бы хотя бы на самый дешевый билет на поезд!»

В конце концов часа через два с половиной они меня отпустили, причем довезли ровно до того места, откуда забрали, предупредив еще раз, что машины останавливать тут нельзя. В ответ я попросил довезти меня до места, где можно, но они отказались. К счастью, минут через десять меня подобрал какой-то француз.

* * *

Кстати, о французах. В ту пору они почти не говорили на иностранных языках, так что приходилось общаться с ними на их родном, который я никогда не знал слишком хорошо. Но если провинциальные французы весьма доброжелательно относились к моим попыткам, то избалованные парижане просто отказывались понимать иностранца, владевшего их языком чуть хуже, чем в совершенстве. Но даже лингвистическую доброжелательность провинциалов, как я понял однажды, не следовало переоценивать. Произошло это так.

Я ехал автостопом через маленькую Бельгию, точнее, через ее франкоязычную часть. Я уже писал, что бельгийцы подбирают стопщиков очень плохо, так что и ехал я долго – почти целый день. Разумеется, беседовал с каждым подвозившим меня бельгийцем. Говорил на

своим, весьма примитивном французском языке с сильнейшим русским акцентом: французское произношение мне сложно дается. Но все же худо-бедно объясниться я могу. Перед каждым бельгийцем я извинялся, что так плохо говорю по-французски, на что все, как один, успокаивали меня: «Ну что вы! Замечательно говорите!»

Один добряк совсем разошелся, утверждая, что в моем французском даже акцента никакого нет.

Уже смеркалось, когда я пересек французскую границу, и меня почти сразу подобрал какой-то француз. Мы с ним ехали не меньше часа, болтали на разные темы, прекрасно понимая друг друга. Потом я спохватился и говорю:

– Простите, пожалуйста, забыл извиниться, что совсем не владею французским.

На что он ответил:

– Ну конечно, не владеете, но ничего, может, удастся еще научиться, не теряйте надежды!

Эта неліцеприятная оценка подействовала на меня весьма отрезвляюще и, думаю, принесла немалую духовную пользу.

* * *

Вспоминаю одну встречу по дороге на Афон (я ехал туда уже в третий раз). Тогда мой путь в Грецию лежал через Италию; я доехал из Рима автостопом до Бриндизи, а оттуда за ночь можно было весьма дешево доплыть до греческого порта Игуменица. Так, на паром я покупал палубные билеты, а, имея спальный мешок, на палубе можно было прекрасно выспаться – во всяком случае, гораздо лучше, чем в душных каютах третьего класса. Больше всего я любил раскладывать свой спальник на самом носу судна: во-первых, потому что там никто из других «палубников», боясь ветра, не ложился, а во-вторых, потому что, благодаря этому самому ветру, спать было совсем не жарко.

В Бриндизи я приехал в конце дня и сразу купил свой билет. До отхода парома оставалось еще несколько часов. Я зашел в продовольственный магазинчик, чтобы купить еду на пароход, и неожиданно столкнулся там с русскими моряками. В те далекие годы встретить за границей соотечественников было большой редкостью. К тому же все они ходили группами и панически боялись заговаривать с местными жителями.

Моряки, встреченные мной в Бриндизи, неожиданно оказались намного смелее обычных советских граждан за границей. Я, услышав родную речь, дождался, пока один отошел от своих спутников, и заговорил с ним. На удивление, он не спешил убегать и с большим интересом продолжил беседу. Скрытые полками от глаз его товарищей, мы говорили минут пятнадцать. Я расспросил его, кто он, откуда; сам в ответ сказал, что учусь в духовной академии. Мой собеседник был ошеломлен:

– Как? Ты действительно в Бога веришь?

Я отвечаю:

– Ну а как же? Конечно, да. А зачем еще бы я там учился?

Он с сомнением продолжил:

– Ну, бабки всякие старенькие верующие – это я понимаю. Но ты-то, молодой, как можешь верить? Я вот не верю ни в какого Бога...

Но вдруг он почувствовал какое-то неудобство и продолжил:

– Вообще-то, я не то что совсем неверующий. Я тоже верю во что-то. Например, в настоящую, чистую любовь. Хотя, честно скажу, нигде ее не встречал.

На это не ответить было невозможно. Ответ напрашивался сам собой:

– Потому и не встречал, что настоящая, чистая любовь – это Бог и вне Бога ее нет. Большевики выгнали Бога из вашей жизни, а с ним ушла и настоящая любовь.

Поэтому естественно, что ты не смог ее найти в жизни. А что касается твоего отказа от Бога, так вообще-то ты не менее верующий, чем я, только ты веришь, что Бога нет, а я верю, что Бог есть. Разница между нами в том, что моя вера осмысленная, а твоя вера слепая. Коммунисты тебе сказали, что Бога нет, и ты им поверил. Но они говорят и много чего другого. И что, ты им во всем веришь?

– Нет, – отвечает мой собеседник, – не верю.

– А что же в главном поверил? Или думаешь, если они в мелочах тебя обманывают, то в главном правду скажут? Сомневаюсь....

Так приблизительно шел наш разговор. Видно было, что парень задумался. Потом его товарищи потянулись к выходу, он сказал, что ему тоже надо уходить, а то кто-нибудь увидит, что мы с ним разговариваем, и донесет куда надо.

– Вот она, ваша чистая любовь в действии, – говорю.

Мы попрощались, и он ушел, а я занялся своими покупками. Вдруг вижу: бежит ко мне мой моряк, запыхался весь. Подбежал и выпалил:

– Саша, помолись за меня, пожалуйста, чтобы мне жена не изменяла, – и быстро-быстро назад. Что с ним было дальше, я не знаю.

* * *

Автостоп я полюбил главным образом за то, что благодаря этому способу передвижения невозможно не познакомиться со многими местными жителями, а через них гораздо лучше узнаешь страну и ее язык. Часто встречаешься с хорошими людьми, которые действительно хотят тебе помочь. Или же водитель берет автостопщика, потому что ему скучно ехать одному и он хочет пообщаться. Так что за поездку приходится расплачиваться тем, что ты или развлекаешь собеседника своими рассказами, или выслушиваешь его. При этом возможны самые

неожиданные и интересные встречи. Недостаток автостопа – одновременно его же главное достоинство. Это непредсказуемость. Никогда не можешь рассчитывать, где ты окажешься сегодня вечером и за сколько времени доедешь до нужного места.

Поэтому одно из главных автостопных правил – никогда нельзя строить планов. Все равно на деле выйдет иначе. То есть конечную цель маршрута, разумеется, определяешь заранее, но, во-первых, ее в любой момент можно изменить, а во-вторых, промежуточные остановки всегда произвольны. К тому же времени пути совершенно нельзя предугадать. Например, расстояние, на которое отводится один день, иной раз преодолевается за три, а то, на что планируешь три дня, проезжаешь за полчаса.

Конечно, во всех поездках мне очень помогало мое русское происхождение. Тогда это было еще большой экзотикой, и живого человека из России мало кто видел с близкого расстояния. Так что тема для разговоров с водителями сразу же возникала сама собой, и радушное отношение чаще всего было обеспечено.

Мне приходилось встречать путешественников из разных стран, и должен сказать, что некие национальные стереотипы так или иначе все же существуют. Итальянцы, например, любят путешествовать по удобным, обжитым местам, к тому же они очень компанейские – то есть чаще всего перемещаются по незнакомым странам более или менее большими группами. Скажем, если ты один на пустынном пляже и вдруг надумал искупаться, а в это время там появится группа итальянцев, то в твоё отсутствие, они, имея в распоряжении весь пустынный пляж, расположатся ровно рядом с тобой. Так что, вернувшись, обнаружишь рядом со своими вещами большую компанию галдящих эмоциональных итальянцев с их шумными, капризными и очень избалованными детьми. Вскоре

взрослые непременно завяжут с тобой разговор (и, кстати, нимало не удивятся и даже воспримут совершенно как должное, если ответишь им на их языке).

Англичане обычно ездят туда, где есть другие англичане, в места надежные и проверенные: они верны традициям. Дети Альбиона тоже любят скученность и до кровавых пузырей наслаждаются солнцем, которое так мало видят в своем туманном отечестве. Зато вечерами эти красные, как раки, люди в лохмотьях облезавшей кожи – самые шумные соседи: они наливаются до ноздрей пивом и начинают орать, да так, что во всех домах округи спать невозможно.

Среди немцев, напротив, очень много таких, кого я называю «аскетическими туристами». У них самые точные карты, самые удобные спальные мешки и самые эргономичные рюкзаки. Если вас как-нибудь занесет в сердце пустыни Гоби, туда, где не ступала нога человека, то, скорее всего, вы наткнетесь там на палатку какого-нибудь немца, который уже три недели живет без воды и без питания и радуется, что проводит отпуск так, как его никто еще не проводил. И об этом он непременно расскажет в Германии своим друзьям. Как-то мне довелось встретить немца, который ехал на Афон. Он рассказал, что ради духовного опыта прожил неделю на вершине горы Синай и неделю на вершине горы Олимп, а теперь хочет прожить еще неделю на вершине горы Афон. Потом, наверное, поедет на Килиманджаро...

Но самые интересные туристы – это австралийцы и новозеландцы. Наверное, в силу того что их страны находятся невероятно далеко от всего остального мира. Не могу не вспомнить разговора с одной новозеландкой, которую я встретил в Израиле. Эта девушка поведала мне, что в ее родной стране так скучно, что она переехала оттуда... в Австралию.

«Достойная замена!» – подумалось мне.

Но расстояние до Европы ее переезд уменьшил лишь на самую малость. И если австралиец накопит денег на билет в Европу, вероятность того, что ему удастся сделать это во второй раз, невелика. Поэтому, когда жители того угла света приезжают на наш континент, они не отбывают обратно, пока есть такая возможность, и набираются впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Обычно австралийцы приезжают в Европу не меньше, чем на полгода, а то и на год, два или даже три. Бомжуют по дешевым странам, а зимой устраиваются на сезонные работы куда-нибудь на консервный завод в Исландии или в израильский кибуц.

К тому времени, когда у них совсем заканчиваются деньги, они становятся уже матерыми, привыкшими к кочевому образу жизни путешественниками, обоженными солнцем разных стран, с потертыми рюкзаками, довольно износившейся одеждой и умением выживать в самых невероятных условиях. Они знают все: где можно бесплатно поесть, где очень дешево переночевать, где раздобыть немного денег. Постепенно они стягиваются в самые дешевые страны. В те годы я чаще всего встречал их в Греции, а потом в Турции, где можно было весьма сносно жить за два-три доллара в день. Зато, когда австралийцы-путешественники все-таки возвращались домой, они были обогащены жизненным опытом на много лет вперед.

* * *

За время автостопных путешествий я понял и еще одну вещь: несмотря на эти и другие различия, все люди, по сути, очень похожи. Просто мы выросли и живем в разных условиях. Если людей разных национальностей, разных культур поставить в одни и те же жизненные обстоятельства, то все они начнут вести себя примерно одинаково. За тем, пожалуй, исключением, что русские во многом все-таки гораздо более закалены, чем жители европейских стран, поэтому спокойнее будут переносить

те или иные тяготы. Конечно же, шрамы, что оставил в душе моих современников советский режим, очень заметны, сознание людей весьма и весьма серьезно покалечено советской властью. Но все же это даст и определенную закалку, иммунитет. Когда, например, советская власть была установлена в Восточной Германии, то обстановка там быстро стала еще более чудовищной, чем даже в Советском Союзе. ГДР сделалась страной с таким повальным доношением и стукачеством, которых не знал даже СССР. Отец Иоанн Мейендорф не раз говорил, что, по счастью, СССР – насквозь коррумпированная страна. Благодаря этому в ней можно выжить: ведь если соблюдать все советские правила, существование станет совершенно невозможным. ГДР являло собой тип социализма, где соблюдались все правила. И жить там могли, пожалуй, только немцы.

* * *

И вот пример, подтверждающий ту самую поговорку: «Что для русского здорово, то для немца – смерть». Когда я первый раз приехал в Турцию, то познакомился в Стамбуле с молодым голландцем, с которым мы договорились отправиться автостопом по стране вдвоем, тем более что, как выяснилось, мы хотели посетить приблизительно одни и те же места. Голландец чрезвычайно серьезно готовился к поездке в Турцию: год изучал турецкий язык, прочитал массу путеводителей и сделал все прививки. Он пришел в ужас, когда узнал, что я никакими прививками не озаботился. Однако, несмотря на все его предосторожности, через два дня у него случилось кишечное расстройство, которое так и не прошло до конца нашего пребывания в Турции, а у меня ничего подобного не возникало.

На мой взгляд, поездка проходила очень интересно. Однако всю последнюю неделю нашего путешествия

(а длилось оно почти полтора месяца) голландец стонал и говорил, что больше так не может – то есть ездить автостопом, таскать рюкзак и ночевать на улице, что, в конце концов, это его законный отпуск, а во время отпуска он имеет право отдохнуть и пожить в комфорте. Как будто кто-то заставлял его сюда ехать! Для меня же такая резкая перемена образа жизни (после целого года комфортного для тела существования) и была лучшим отдыхом.

Я даже гордился тем, что лучше всех могу находить места для самой удобной и безопасной бесплатной ночевки. Обычно автостопщики почему-то чаще всего расстилают свои спальные мешки на людных, светлых и шумных площадках. Я же всегда старался выбирать места уединенные и тихие, чтобы не потревожили грабители или полиция, причем стремился отыскать максимально ровную поверхность. На жесткой и ровной поверхности спится гораздо лучше, чем на мягкой, но при этом бугристой. Например, замечательно спать на террасе римо-католического костела: крыша над головой на случай дождя есть, а ограда защищает утром от ранних солнечных лучей.

До сих пор вспоминаю ночь, которую мы с приятелем провели на берегу горного ручья в Македонии. Спали мы на мягком вереске, над нами сияло усыпанное звездами черное небо, веял прохладный ветерок, разносящий благоухание горных трав, рядом убаюкивающе журчала вода. Утром мы мылись в ледяном кристально чистом ручье и наполняли в нем свои фляги. Жалко было уезжать с этого места.

Я очень любил ночевки в Греции, где всегда можно было замечательно расположиться на прихрамовой территории. Преступности тогда в этой стране не было вообще: я оставлял свои вещи в каком-нибудь тихом месте без присмотра, и никто их не брал. В провинциальных городках я обычно заходил в какой-нибудь дворик, оставлял рюкзак у стены, чтобы не мешал, и вечером забирал

его. Но что там провинциальные городки! Однажды я рискнул оставить рюкзак в Пирее – это порт в Афинах, самое шумное и, наверное, криминальное место Греции. Я приехал туда утром, чтобы купить билеты на критский паром. Оказалось, что отходит он только поздно вечером. На день я решил вернуться в Афины, но таскаться по жаре с рюкзаком не слишком хотелось. И тут я заметил группу девушек и молодых людей, разместившихся на газоне вокруг пальмы. Там же стояли их рюкзаки. Я подошел, прислонил к дереву среди их багажа свой рюкзак и ушел. Вечером, когда я вернулся, нашел его на прежнем месте, хотя группа давно уже уехала по своим делам.

* * *

Автостопные путешествия дают удивительное чувство легкости и свободы. У тебя нет никаких обязанностей, ничто тебя не связывает, в любой момент, с любого места можно сняться за двадцать минут и отправиться дальше в любое другое место. Все необходимые вещи при тебе, и ты легко можешь перемещаться со всем своим имуществом на спине. Всегда накатывала грусть, когда очередное путешествие подходило к концу и нужно было возвращаться к ежедневной рутине.

Однажды я столкнулся с очень большим соблазном. На французской дороге меня подобрал молодой человек – на несколько лет старше меня. Он хорошо говорил по-английски, и ехали мы вместе довольно долго, разговаривая на разные темы. Через некоторое время он сказал, что заканчивает строить яхту и собирается пуститься на ней в годовое путешествие вокруг всего Средиземного моря, для которого ищет себе партнера. Спросил, не соглашусь ли я им стать. Он метеоролог по профессии, с яхтой обращаться умеет и хорошо разбирается в погодных условиях Средиземноморья. Более того, он пригласил меня после встречи с другом, к которому я тогда ехал,

вернуться к нему в Бордо и отправиться в совместную недельную поездку на его яхте. За это время мы выяснили бы, есть ли у нас психологическая совместимость, то есть сможем ли мы в течение длительного времени уживаться в тесном пространстве.

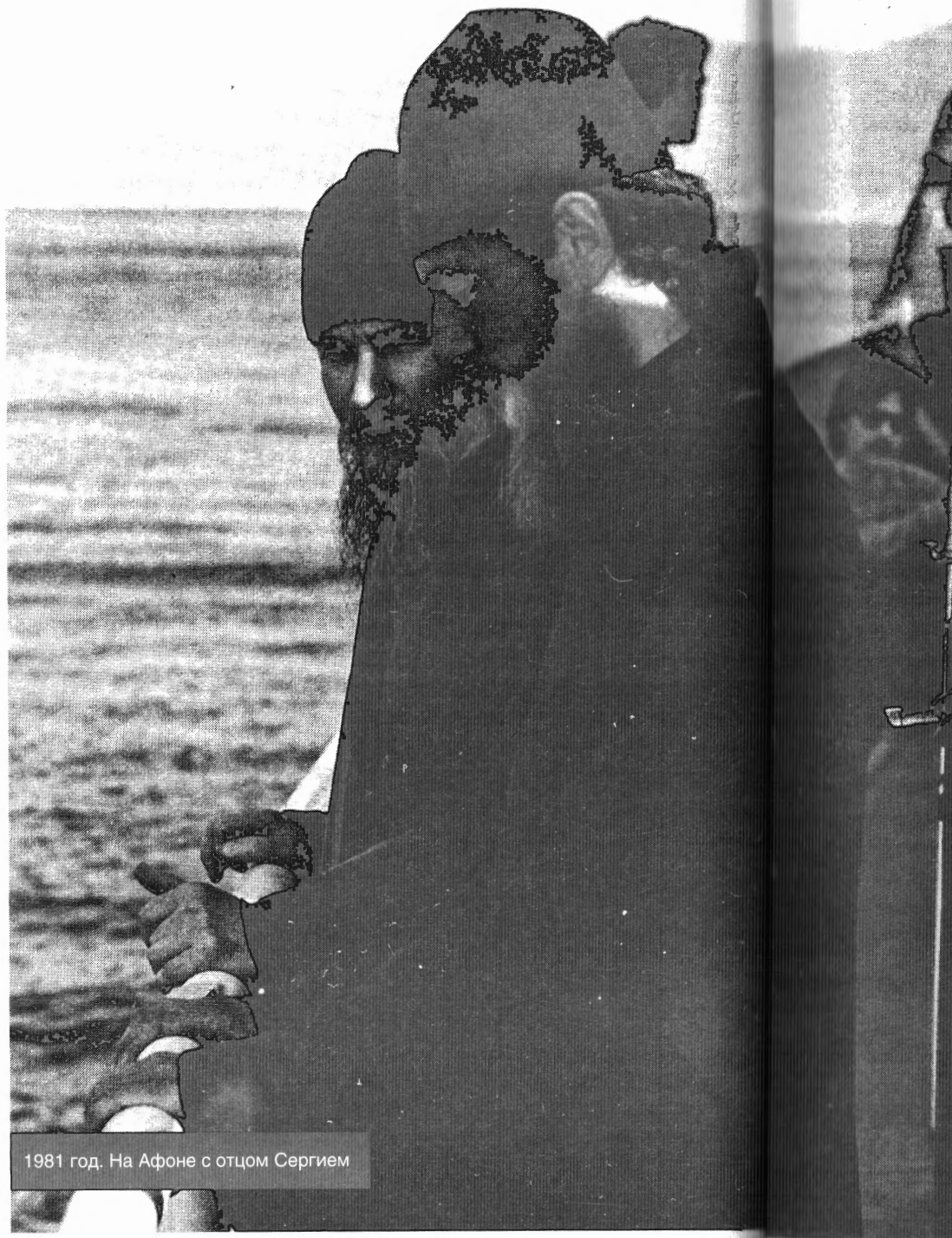
Конечно, это предложение стало для меня сильнейшим искушением, потому что такое приключение – это мечта детства, наверное, почти любого мальчишки. К тому же я хорошо переношу качку и не страдаю морской болезнью. А ощущение безграничной свободы на суденышке посреди синего моря? А радость прибытия в новый порт и знакомства с новым местом?

Конечно, в конце концов я отказался, потому что был обременен множеством других обязанностей: писал докторскую диссертацию, не мог остаться без стипендии... Но главное – я не представлял себе, как смогу так долго прожить без Церкви. Пару раз за год мне, может быть, удалось бы попасть где-нибудь в храм, но не более того. А вот это было для меня совершенно невозможным.

* * *

Наверное, главное в моих поездках – то, что я побывал в православных храмах самых разных стран. И где бы я ни был, на каком бы языке там ни служили – везде я чувствовал себя совершенно как дома. И присутствовавших людей воспринимал совершенно естественно, как своих духовных братьев и сестер. Можно сказать, что все мои маршруты пролегли от одного православного храма к другому. И сопереживание литургии с православными разных стран – редкий и незабываемый опыт. Я очень люблю слушать литургию на самых разных языках – понятно абсолютно все, а новые звуки, которыми выражаются священные слова, дарят незабываемое переживание чуда Пятидесятницы. Так через собственные ощущения приходишь к чрезвычайно важному выводу: Православие – это

не русская национальная религия: это Вселенская вера. Православная Церковь открыта для всех людей, независимо от того, к какой национальности человек принадлежит и к какой культуре себя относит. Православная вера мгновенно делается родной, в первом же поколении. В любом этносе, в любой стране, в любой культуре. Это отличительная особенность Православия, которой больше нет нигде. Потому что Истина прививается сразу, а ко лжи нужно долго приспосабливаться.



1981 год. На Афоне с отцом Сергием

ПАЛОМНИЧЕСТВА

Так получилось, что мои главные паломнические поездки проходили за пределами России. Это поездки в Грецию (и на Афон в том числе), путешествия в сербские монастыри, в древние сербско-болгарско-македонские святые места, паломничества к раннехристианским святыням Италии, Франции, Германии и других европейских стран. Это, конечно, поездки по Турции – бывшей территории Византийской империи со множеством христианских святых мест, которые, хоть и находятся в запустении, но тем не менее сохраняют свою уникальность. Ну и наконец, разумеется, это Израиль.

Я уже говорил, что самым первым моим заграничным путешествием из Америки стала поездка в Грецию и в Израиль. Когда впервые после четырех лет мне представилась возможность выехать из США, я недолго сомневался, куда я должен направиться в первый раз. Только что был завершен первый курс академии, и я мечтал вживую увидеть те места, где зародилась вера, которую я столь еще недавно обрел, – Святую Землю и Грецию. Времени у меня имелось два с половиной месяца, из которых я месяц отвел на Израиль, а остальное – на Элладу. Денег было мало, так что путешествовать я решил автостопом, ночевать либо у знакомых, либо под открытым небом, а питаться хлебом с помидорами и сыром, позволяя себе горячую

пищу (в ресторанчиках) лишь через день. Я выправил себе международный паспорт беженца, взял займы у жены Александра Гарклавса огромный оранжевый рюкзак на алюминиевой раме и спальный мешок, купил самый дешевый авиабилет до Афин и обратно и отправился в путь. Это было летом 1981 года. С самым первым в моей жизни афонским монахом я познакомился в Афинах, на следующий день после прилета.

ЩЕДРЫЙ ДАР

Итак, я прилетел в Афины. В автобусе, который вез нас из аэропорта в город, я все приставал к соседу-греку: «Скажите, а это правда Акрополь?», «Скажите, а это на нем правда Парфенон?» Приехав в город, я увидел, что с мешком расположиться негде, а знакомых у меня здесь пока еще не было. Промучившись бессонную, шумную, жаркую и душную ночь в студенческой ночлежке, я отправился на службу (день был воскресный) в русский храм, замеченный мной в центре Афин накануне вечером. За литургией я причастился, а по ее окончании подошел к настоятелю – архимандриту Тимофею (сейчас он игумен известного своей миссионерской и просветительной деятельностью Параклитского монастыря, расположенного недалеко от Афин) и попросил помощи. Отец Тимофей отвез меня в русский старческий дом и благословил там поселиться. Здесь я познакомился с замечательными старушками – эмигрантками «первой волны», уехавшими из России в первые послереволюционные годы. И хотя по происхождению они были гречанками с южных окраин империи, которых увезли в Грецию совсем молодыми, они на всю жизнь сохранили свою русскую самоидентификацию, любовь к покинутому отечеству и великолепный русский язык – плод гимназического образования. С одной из них – Рахилью, замечательной жертвенной христианкой, исполненной любви ко всем и всем служив-

шей (помяни, Господи, ее душу!), – я потом еще долго переписывался.

А вечером в старческом доме меня познакомили с отцом Сергием – афонским монахом, также остановившимся там.

Невысокого, сухонького, светловолосого иеросхимонаха Сергия привезли в Афины делать операцию: он страдал варикозной болезнью вен на ногах – профессиональным заболеванием духовенства. Весь вечер я слушал его рассказы об Афоне и о церковной России, откуда он уехал за несколько лет до меня: отец Сергей попал в первую группу монахов, которую советское правительство согласилось выпустить на Афон, а греческое правительство согласилось впустить. Вся группа была из Псково-Печерского монастыря. В 1972 году она поселилась в совсем умиравшем тогда Пантелеимоновом монастыре, таким образом сохранив преемственность в обители.

Билет в Иерусалим и обратно я купил на следующее утро: через два дня мне предстояло вылетать из Афин, а пока можно было знакомиться с этим городом. На завтра я поехал навещать отца Сергия в больнице. Он лежал в одной палате с другим монахом – греком с черной бородой и воспаленными, сухими, беспокойными (видно, он сильно страдал) черными глазами. Возле него на стуле сидел другой монах, который с трогательной нежностью ухаживал за ним. Отец Сергей обрадовался моему приходу. Я стал расспрашивать о его самочувствии, он сказал, что все в порядке и что операция назначена на завтра. Ночью он хорошо отдохнул и даже дал передохнуть греческому монаху, смотрящему за больным собратом, посидев у страдающего вместо него. «Сколько же вы спали?» – удивился я. «Более чем достаточно – часа три. Да я ведь тут целый день ничего не делаю. Это когда выполняешь тяжелую физическую работу, требуется больше сна – часа четыре или даже пять», – ответил он.

Мы проговорили около часа, а когда я стал прощаться с ним, он протянул мне несколько банкнот: «Ты на чем сюда приехал? На автобусе? Возьми, домой на такси поедешь! Провезут по всему городу. Когда я приехал сюда из Салоник, меня провезли по городу на машине – красота! Прокатись тоже!»

Я стал оказываться от денег, которых у отца Сергия явно было совсем немного, но он оставался непреклонен: «Сотвори послушание, возьми!» Тут уж противиться стало невозможно – я принял его подарок.

На самом деле этот дар меня потряс. Конечно, афонскому монаху отцу Сергию были безразличны городские виды. Но, наверное, он вспоминал свое детство и юность, когда для жителя небольшого городка, откуда он происходил, поездка на машине по центру большого города казалась неслыханным счастьем. И вот он решил подарить мне – молодому человеку, каким когда-то был он сам, – такое счастье, пожертвовав выданные ему на личные расходы деньги.

Увы, с этого щедрого дара началась и печальная история моего непослушания отцу Сергию. Возвращаться в старческий дом я не собирался: подошла только середина дня, и у меня намечено было посетить еще несколько афинских достопримечательностей. Так что часть денег отца Сергия я потратил на большую порцию мороженого, а остальное отдал нищенке...

ДЯДЯ ВАСЯ

Для въезда на Афон в 1980-х годах нужно было сначала подать прошение в Министерство Северных Территорий, отделения которого располагались в Салониках, а потом дожидаться несколько дней. До сих пор это правило сохранилось; правда, сейчас все значительно упрощено и разрешение можно получить в курортном городке Уранополисе непосредственно перед въездом на Афон.

Но тогда для иностранцев резервировалось только двадцать разрешений в день (по 10 в Афинах и в Салониках), так что некоторые ждали визы на въезд по несколько недель. В первый раз, по милости Божией, мне пришлось ждать разрешения всего три дня, зато потом я уже заранее списывался со знакомым монахом из монастыря Ставроникита, он подавал мое прошение заранее, и я приезжал практически впритык – ночевал в Салониках всего сутки или двое.

Когда я оказался в этом городе в первый раз, то отыскал русскую церковь и попросил разрешения там переночевать. Во время моих путешествий я много раз делал так в самых разных городах. В приходском доме при салоницкой русской церкви постоянно проживал старик сторож дядя Вася, который обрадовался возможности помочь русскому паломнику и принял меня очень радушно – как родного. Дядя Вася родился за пару лет до начала века и даже успел поучиться немного в духовной семинарии. Потом пришла революция, началась Гражданская война, красные расстреляли его брата, священника, и он пошел в Белую армию – сражаться за Россию. В 1920 году подразделение, в котором воевал Василий, было практически целиком уничтожено в бою под Новороссийском; он рассказывал, что из всего батальона осталась в живых лишь горстка людей, большинство из которых (включая его самого) были ранены. Их погрузили на английское судно и эвакуировали в Грецию, в Салоники, где Василий с тех пор и проживал.

Дядя Вася рассказывал о походе деникинской голодной, разутой, раздетой и почти безоружной армии, воевавшей на одном энтузиазме и дошедшей почти до Москвы. Рассказывал, как «англичанин» прислал Деникину депешу – с предложением поставок оружия и обмундирования. Тогда бедственное положение у белых дошло до крайности: последние остатки запасов подошли

к концу, и воевать было нечем совершенно, в то время как красные были вооружены, тепло одеты, сыты и пьяны. А численное превосходство и без того всегда было у красных. Взамен за английскую помощь, по словам дяди Васи, Деникину предложили подписать концессию на всю каспийскую нефть в пользу Великобритании. На это, рассказывал старый солдат, его генерал ответил, что Россия есть и Россия будет, а его никто не уполномочивал торговать ее достоянием. В результате наступление Деникина было отброшено. Начался отход, который в конце концов привел дядю Васю на новороссийский берег, а затем на чужбину.

К богословскому образованию он уже не вернулся: и шансов не представилось, но, главное, он не считал возможным думать о своем рукоположении в священный сан, после того как он воевал и стрелял в людей. Но верность Церкви Василий сохранил на всю жизнь. Он стал одним из основателей русской церковной общины в Салониках и очень много сделал для ее нормального существования и функционирования. И как только дядя Вася вышел на пенсию, он переселился в домик при храме, который он и построил и в котором надеялся умереть.

Дядя Вася никогда более не возвращался на родину, но сохранил прекрасный, сочный русский язык, который мало где услышишь. Он сохранил и старый русский выговор, и строй речи. Интересно, что слова, обозначающие те реалии, которые вошли в жизнь уже после 20-х годов и которых раньше просто не было в русском языке, так и остались не востребованными в эмигрантской среде. Вместо них эмигранты в европейских государствах употребляют слова, возникшие в языке страны их проживания. Например, автобус они называют «бас» или «бус», телевидение, скажем, «телевизьон» или «телевижн», холодильник – «фрижедер» или «рефриджерейтор» и так далее... В общем, понять их можно без особого труда.

А вот у дяди Васи все эти слова были греческими, вошедшими в его язык вместе с обозначаемыми ими предметами. Было особенно интересно дешифровать его речь, когда он говорил, например: «Вы пойдете на улицу и сядете на леофорео (то есть на автобус)», или: «Еду возьмите в псигио (т. е. в холодильнике)», или: «По тилеораси (т. е. по телевизору) показывали интересную программу».

Скромный и сердечный, дядя Вася всей жизнью своей преподавал мне очень важный урок верности, благоговения и смирения. Пребывание в его доме, общение с ним во время кратких дней ожидания было самой нужной прелюдией перед Афоном, переходом от мирской суеты к афонским неторопливости и размеренности, от мирского хаоса к афонской упорядоченности.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Когда я планировал свою первую поездку на Афон, я совсем не представлял себе, что там увижу. Я думал о нескольких монастырях, которые можно будет обойти за пару суток, и отвел для Афона самый конец своего полуторамесячного путешествия по святым местам Греции. Я рассчитывал пробыть там четыре дня. Но, конечно, все вышло иначе. Афон оказался громадным полуостровом – около восьмидесяти километров длиной и от восьми до двенадцати – шириной. Причем, это расстояние верно, лишь, если мерить линейкой по карте, а когда идешь пешком горными тропами, оно, естественно, чуть ли не удваивается. Машин тогда почти что совсем не было, так что максимум, на что можно было надеяться, – это подгадать и проплыть часть пути на катере, раз в день проходящем вдоль берега. Таких катеров курсировало два: один – в одну сторону, другой – в другую. Посетителям предлагалось арендовать мула и ездить на нем с проводником, но у меня не было ни возможности, ни желания прибегать к такому экзотическому способу передвижения.

Приезжать на Афон на три дня – это почти что не приезжать вовсе, потому что успеешь увидеть разве что самую малость. Двадцать монастырей плюс множество скитов, келлий*. Сейчас там можно проехать на машине, наняв «монашеское такси» с водителем. Тогда же машин не было, старенький автобус от пристани довозил до столицы Афона, маленького поселения Кариес, или Карея по-русски, где кончалась единственная грунтовая дорога и, соответственно, возможность для колесных средств передвижения. В Карее прибывшим выдавали специальный внутренний паспорт – диамонитирион, который на время путешествия по Афону был основным документом паломников. Дальше можно было передвигаться, как вздумается. Но в каждом монастыре, куда вы заезжали, по предъявлении диамонитириона монастырь на сутки предоставлял вам кров и питание. Можно было договориться остаться и дольше, но разрешение изначально давалось всегда на четыре дня.

Афон меня потряс. Естественно, я отказался от всех остальных своих планов и оставался там*десять дней – сколько мог.

Я просчитал все по часам: утром уезжаю на катере с Афона, потом пересаживаюсь на автобус до Салоник, оттуда ночным автобусом еду в Афины, где наутро попадаю на свой нью-йоркский рейс. В аэропорт я прибывал за два часа до отправления, то есть все сходилось до последнего мгновения.

Уезжать не хотелось страшно, но делать было нечего. Последнюю ночь я провел в Пантелеимоновом монастыре. Утром перед прибытием катера зашел попрощаться с отцом Сергием, который уже давно вернулся из Афин и даже не вспоминал о своей операции. И тут отец Сер-

* Не путать с кельей – комнатой. *Келлия* – на Афоне так называется маленький домик с храмом, в котором обычно живут и подвизаются двое-трое монахов.

гий говорит: «Ты зачем уезжаешь? Останься еще дня на четыре». Я ответил, что очень бы хотел остаться, но не могу, так как у меня на завтра билет на самолет до Нью-Йорка. Отец Сергей повторяет: «Послушай меня, оставайся на четыре дня». Я снова ответил, что не могу, хотя уезжать мне совсем не хочется, что у меня на душе кошки скребут, что он разрывает мое сердце, но что если я свой самолет пропущу, то билет – самый дешевый билет до Америки – пропадет, и вернуться мне будет не на что, а в это время начнется учебный год, и «вообще, отец Сергей, вы не понимаете, тут Афон, тут все по-другому, а там мир, там самолеты летают по расписанию, опоздавших не ждут и билетов не возвращают». Но отец Сергей со странной настойчивостью снова и снова повторял про четыре дня, на которые я должен остаться. В конце концов я не выдержал: «Ну все, отец Сергей, до свидания, вот мой катер, я пошел, надеюсь, еще вернусь и мы с вами увидимся» – и уехал. В Салониках сел на ночной автобус и после многих задержек приехал в афинский аэропорт. Весь взмыленный, с опозданием несусь к своему самолету, подбегаю к регистрационной стойке и вижу: висит большое объявление о забастовке авиадиспетчеров, в связи с чем все полеты на четыре дня отменены... Возвращаться на Афон не было ни денег, ни специального разрешения. Так что четыре дня я сидел в Афинах – пыльном, душном, жарком городе – и думал о своих грехах.

ИЗРАИЛЬ

Больше всего в том путешествии я мечтал попасть на Святую Землю и честно должен сказать, что тогда она меня совершенно разочаровала. Я не раз вспоминал святого Григория Нисского, который, побывав там и ознакомившись с обстановкой вокруг паломнических мест, сказал, что ездить в Палестину незачем. Перемена географического местонахождения ничуть не приближает нас к Богу.

Да, в свое время в Иерусалиме был распят наш Господь, то есть этот город не принял Его и отверг. Вместе с тем, у каждого из нас в душе может быть свой новый Иерусалим, и именно его нам надлежит взращивать.

Впечатления мои, довольно тяжелые, буквально наслаивались одно на другое. Я понял, что неуютно чувствую себя вне общества, построенного на христианской культуре, и не слишком люблю Восток, даже в той сравнительно небольшой дозе, в какой он присутствует в Израиле. Сама страна производила, с одной стороны, чрезвычайно провинциальное впечатление, с другой – ощущение совершенно безбожного края. У пророка Исаии есть слова, точно характеризующие самоощущение еврейского народа того времени: «будем есть и пить, ибо завтра умрем» (Ис. 22:13). На мой взгляд, это главное ощущение сегодняшнего израильского общества, тесно окруженного кольцом врагов, но вместе с тем не делающего никаких духовных выводов. Еврейское государство показалось мне чрезвычайно «плотски-телесной» страной.

Упомянутые мною провинциализм и какая-то вторичность ощущались во всем. Израиль выглядел как нечто среднее между американской глубинкой (ну, скажем, Оклахомой или Канзасом) и какой-нибудь Бухарой с ее мечетями, рынками и грязными улочками между ними. Мне же не было близко ни то ни другое.

А кроме того, в стране просто бросалось в глаза присутствие одной «руководящей и направляющей» идеи, что особенно должно было раздражать тех, кто недавно приехал из Советского Союза. Например, в центре каждого израильского города есть проспект Герцля и площадь Жаботинского (или наоборот). Это не могло не навевать определенных ассоциаций.

Неизбежно вызвало разочарование и то, что первоначальных святых мест там почти не осталось – лишь маленькие фрагменты, которые нужно вычлениать из

довольно поздних и аляповатых пристроек и перестроек. Впрочем, зная историю Святой Земли, это как раз можно было предвидеть.

Но самое тяжелое впечатление производила атмосфера торговли вокруг святынь, где братья-христиане буквально выпихивают друг друга с самых «доходных мест». При этом все они: и католики, и армяне с коптами, и роящиеся вокруг протестанты (эти опоздали к дележу основного паломнического пирога и пытаются создать свои альтернативные святые места) – выглядят не лучшим образом, но мне как православному, конечно, было обиднее всего за своих. Например, мне запомнился толстый греческий монах, стоявший при входе на место бичевания Христа. В руках он держал поднос с заламинированными образцами различных купюр: один доллар, один фунт стерлингов, десять французских франков, тысяча итальянских лир, пять швейцарских франков и так далее. Иными словами, поднос с намеком.

Может быть, все это так подействовало на меня потому, что я не путешествовал с какой-нибудь паломнической группой (я не люблю групповых туров и предпочитаю ездить один или вдвоем с кем-то из знакомых): перемещался всюду сам, никем особо не привечаемый, смотрел... В Иерусалиме я несколько раз ходил ко Гробу Господню на ночную службу и, разумеется, там причащался. Увы, запомнились и постоянно раздраженные греческие монахи, которые орали на паломников, распихивали их и чуть ли не раздавали подзатыльники... Как я ни пытался абстрагироваться от всего этого, сама обстановка не давала мне этого сделать.

* * *

Кроме того, оставляло довольно тягостное впечатление общение с эмигрантами из России – как с православными, так и с иудеями и неверующими. Все там выглядело

очень грустно, очень провинциально и очень чуждо. Христианство в государстве Израиль существовало в настоящем гетто – пусть не физическом, а нравственном, интеллектуальном, религиозном гетто. Такое положение государству весьма нравилось, и оно делало все возможное, чтобы стены гетто становились все выше и все толще.

Встретился я с несколькими духовными чадами тогда вполне здравствовавшего протоиерея Александра Меня. К моему изумлению, все они оставили Православие: либо вовсе отошли от Церкви, либо фактически стали католиками. Я спрашивал у них, как это возможно, а они отвечали, что великий отец Александр не видит разницы между двумя Церквями и позволяет причащаться и тут и там. «Что же нам делать? – говорили эти люди. – В Московскую Патриархию являться мы не можем – там сплошные агенты КГБ. К грекам тоже не выходит – у них все по-гречески, а этого языка мы не знаем. А вот зато тут есть одна католическая община, где служат на иврите. Там нам уютнее всего, нас там принимают, мы ходим туда и причащаемся там. Отец Александр нас на это благословляет. Церковь-то одна! Земные перегородки между конфессиями до неба не доходят».

Лишь один человек из встреченных мною мыслил иначе. В те дни мне довелось довольно тесно пообщаться с бывшим москвичом, православным священником отцом Ильей Шмаиным и его семьей. Меня направила к нему матушка Аня Мендельсон, которая еще во время своей израильской жизни дружила с его дочерьми. Илья Хананович эмигрировал в Израиль, уже будучи православным. Рукоположили в священный сан его в Париже, куда он специально ради этого ездил. Вернувшись в Израиль, стал служить в основном в греческих храмах (его рукоположили в Русском экзархате, находившемся в Константинопольской юрисдикции), а также в своей квартире. Он претерпевал гонения от Израильского

государства, от еврейского окружения, но держался и нес свою миссию. Вокруг священника собралась группа православной молодежи, мечтавшая о возвращении в Россию. У них даже появилась утопическая идея о том, что нужно основать русский анклав – обратиться к правительству США и попросить территорию под создание своего рода маленького русского государства в одном из штатов. Мне обрадовались и начали активно агитировать, убеждая войти в их круг и вместе с ними поселиться в будущей русской автономии. Но, во-первых, чтобы там поселиться, нужно для начала создать саму автономию, а территорию под нее никто бы не дал. Во-вторых, достаточно только представить себе, что это будет за закрытый круг со всеми замкнутыми друг на друге межличностными отношениями и, соответственно, невероятно тяжелой атмосферой – куда тяжелее, чем даже в самом Израиле. Иными словами, жители гетто мечтали выехать из него и создать новое гетто, без которого жизни себе они уже не мыслили. Ясно, что проект этот был нежизнеспособен. Как, впрочем, и идея вернуться всем вместе в Советский Союз.

В конце концов отец Илья не выдержал все ужесточающегося давления и с семьей бежал из Израиля. Несколько лет он жил под Парижем и служил там в эмигрантском приходе, а когда пал железный занавес, вернулся в Москву и до конца дней своих (+2005) служил вторым священником в одном из центральных московских храмов. Дочь его с семьей также вернулась из Франции в Москву, где вращается в меневско-кочетковских кругах (развивая бредовые идеи «богословия после Освенцима»), в которые сам отец Илья никогда не входил.

В отличие от восторженной Ани Мендельсон, отец Илья был трезвым и разумным человеком: он не строил несбыточных планов о крещении Израиля и основании поместной еврейской Церкви, а смиренно нес свое служение на том месте, где родился и к которому прикипел душой – в Москве.

* * *

До поездки в Израиль я относился с большой симпатией к арабам. Глубокое уважение к нашему профессору Ветхого Завета в академии – палестинцу отцу Павлу Тарази – в сочетании с юношеским прекраснодушием привело меня к идее выражать притесняемым арабам свою солидарность. Однако трудно сказать, кто во время пребывания там мне не понравился больше – арабы или израильтяне. Арабы оказались неимоверно меркантильными, постоянно пытались что-то продать, на чем-то обмануть, приставали, попрошайничали и даже предлагали себя для сексуальных услуг. Все это не могло не отталкивать.

Но и отношение евреев к ним ошеломляло. Помню, я встретился там со старым московским знакомым – мы вместе учились в художественной школе. Я помнил его хилым еврейским подростком, но теперь он стал типичным израильтянином: крепким молодым человеком, загорелым, спортивным, с ежиком на голове. Один вечер я провел с ним и его приятелями, и кто-то из них стал рассказывать, что как-то проезжал на велосипеде арабским кварталом, и местные дети начали строить ему рожи, смеяться над ним, кричать вслед оскорбительные слова. На что его подруга, томная девушка кошачьего вида, жеманным голосом сказала: «Дорогой, в следующий раз не забудь взять с собой автомат!»

Видимо, это было для нее, да и для всех них, совершенно естественным.

* * *

Когда путешествуешь по Греции, Италии, югу Франции, то воспринимаешь эти места как свидетельства живой истории, особенно если ты ее изучал. Благодаря античным постройкам, сохранившимся до наших дней, бывшее оживает на глазах. Что же касается Израиля, то здесь все иначе. Библейских построек практически не сохранилось. Вся

земля настолько перепахана, перестроена, перелопачена, переделана, что от Палестины времен Христа сейчас уже ничего не осталось. Тем более ничего не осталось от Палестины Ветхого Завета. Сохранилось разве что несколько фрагментов древних пейзажей, не изменившихся с тех пор, еще, может быть, какие-то старые камни, в основном – на местах археологических раскопок... Немногие выжившие раннехристианские памятники настолько капитально перестроены, что можно лишь с большим трудом представить себе их первоначальный вид. Наверное, Господь не даровал мне этого чувства – переживания Своего присутствия, наверное, я этого не заслужил, потому что, в отличие от Афона, где намоленность мест чувствовалась почти что физически и ощущение это исходило прямо из земли, в Израиле я ничего подобного не испытал.

Нужно сказать еще, что в Израиль я ехал с некоторым даже трепетом: а вдруг почувствую некий генетический «голос крови»? А вдруг во мне проснутся какие-то до сих пор неведомые мне еврейские чувства? Произошло ровно противоположное: та чуждость, чужеродность, которые я испытал там, ощущались мною постоянно и очень сильно. Я понял, что это «не мое». И может, именно там я более чем где-либо ощущал себя русским.

* * *

Тут, наверное, самое лучшее место для очень важной для меня истории.

Начинается она с банального расстройства желудка. Даже не банального, а очень сильного. К тому времени я уже больше двух недель ездил по Святой Земле, и, видно, ближневосточный климат сделал свое дело. Неделю мне было довольно плохо. Ощущение паршивого самочувствия усугублялось терзаниями по поводу бездарно затрачиваемого времени – находиться в Иерусалиме и не иметь возможности никуда выбраться из квартиры.

Поэтому, как только мне стало мало-мальски лучше, я сразу продолжил свои экскурсии. Достал карту, прикинул расстояния, чтобы совершить краткую однодневную поездку, и выбрал Хеврон, где в свое время Авраам принимал Бога Троицу и где до сих пор стоит тот самый Мамврийский дуб. Меня предупреждали, что Хеврон – это арабское мусульманское место, и притом не самое безопасное, уговаривали не рисковать и в одиночку туда не ездить. Но я как будто чувствовал, что эта поездка мне крайне необходима, и все же решился отправиться в путь.

Палестинский июль очень жаркий, и я, грешным делом, всюду ходил в шортах, а в сумке через плечо носил подрысник. Подходя к церквям и монастырям, я надевал подрысник и заходил внутрь уже в приличном виде. Так я поступил и на этот раз, когда приблизился к Хевронскому монастырю. Территория была обнесена оградой. Ворота оказались закрытыми, и я стал звонить. Монастырь этот тогда принадлежал Зарубежной Церкви, а я был членом автокефальной Православной Церкви в Америке. Отношения между Церквями были, мягко говоря, неважными, и я не знал, как меня встретят и пустят ли внутрь.

Ворота открыл пожилой монах: как я потом узнал, его звали отец Георгий. Он и провел меня внутрь, в совершенно пустой храм, где нас встретил очень древний священник – архимандрит Игнатий, которого я до сих пор поминаю в молитвах. Седобородый, согбенный отец Игнатий всегда носил на груди в специальном холщовом мешке старинную тяжелую икону Божией Матери. Встретил он меня не слишком дружелюбно и довольно сурово спросил, откуда я. Я сказал, что из Америки, из Свято-Владимирской академии Американской Церкви. Вместо ответа он достал из своего мешка икону и поднял ее передо мной. Я перекрестился и приложился к святыне. Так отец Игнатий убедился, что я православный, что

я его не обманываю, и очень обрадовался. Он сказал, что ничего не имеет против Американской Церкви, что неважно, как там исторически сложилось, раз уж русские люди принадлежат к разным юрисдикциям, но сам он не признает никакой вражды между православными. Более того, теперь он видит, что меня им Бог послал в ответ на их сугубую молитву. Дело в том, что в тот день отмечалось воспоминание труса (землетрясения), бывшего в Иерусалиме, по-моему, в 1927 году, и по местному уставу полагался крестный ход. А в монастыре проживало всего три монаха, причем третий тяжело болел и не мог вставать с кровати. Отец Игнатий с отцом Георгием за ним ухаживали. Нужно учитывать, что тогда отцу Игнатию было около девяноста лет, а отцу Георгию, которого отец Игнатий считал совсем молодым и относился к нему, как к мальчику, – под семьдесят. На службу никто не пришел, да и откуда было взяться прихожанам в этом мусульманском городе? Крест на крестном ходе нести оказалось решительно некому. Отец Игнатий сказал, что нужно не уходить из храма и молиться, чтобы Бог послал им такого человека, пока наконец не появился я, кстати, довольно скоро после того, как отошла литургия. «Так вот почему Господь именно сегодня и именно сейчас привел меня сюда», – подумалось мне.

Мы начали было готовиться к крестному ходу, но тут опять раздался звонок в дверь. Отец Георгий пошел открывать и вернулся в сопровождении нескольких человек, представив их паломниками из Югославии. Я обрадовался, что участников нашего крестного хода прибывает, но отец Игнатий не был так скор: он вновь извлек из мешка свою икону и встал перед ними. Югославы (я так и не узнал, из какой части Югославии они происходили) несколько замялись и сообщили, что они адвентисты. Отец Игнатий мгновенно, как меч в ножны, задвинул свою икону в чехол и исчез в алтаре. Адвентисты, смущенно

улыбаясь, стали говорить, что Бог, мол, один для всех и так далее. Я, не зная, как поддержать разговор и что сказать, топтался на месте. Отец Георгий тоже молчал. Вдруг царские врата распахнулись и появился отец Игнатий, уже в епитрахили и фелони. Икона по-прежнему висела на груди под облачением. В одной руке священник держал чашу со святой водой, в другой – кропило с крестом. Он стал крестообразно брызгать на адвентистов, громко возглашая: «Покайтесь, еретики, покайтесь, покуда не поздно!» Югославов как ветром сдуло. Отец Георгий запер за ними дверь. Ох, и досталось ему от отца Игнатия! «Что же это ты, Георгий, пускаешь в храм Божий кого ни попадя!» Отец Георгий оправдывался: «Ну как же, они же сказали, что из Югославии, я подумал, православные...» – «Так нужно было попросить, чтобы перекрестились! И посмотреть, православные они или нет, а то какого тут только не бывает народу!»

И вот наконец мы втроем пошли крестным ходом вокруг храма. Пожалуй, для меня это стало самым сильным религиозным впечатлением, пережитым на Святой Земле. Честно говоря, более абсурдную ситуацию трудно себе представить. В знойный палестинский полдень вокруг храма шагают три странно одетых человека. С одной стороны, согнувшись, бредет девяностолетний отец Игнатий со своей иконой на шее, в руках несет Евангелие и большую выносную свечу на тяжелом медном стояке; с другой стороны поспешает семидесятилетний отец Георгий, нагруженный кадилом и чашей святой воды с кропилом; он ухитряется подкладывать ладан в кадило и поддерживать согбенного отца Игнатия, которого качает от слабости. Впереди шествую я с огромным крестом на длинном шесте. Несмотря на жару, дует довольно сильный ветер, полы подрясника развеваются, я вынужден балансировать, одной рукой неся тяжелый крест, а другой постоянно подхватывать подрясник, чтобы не было вид-

но голых ног, потому что под подрясником у меня шорты и вид может сделаться совсем уж неприличным. По всему периметру вокруг забора стоят арабские дети и заливаются веселым смехом, показывая пальцами на эту картину. Действительно, если посмотреть на нас со стороны, зрелище более чем уморительное! Да еще на каждом углу мы останавливаемся, читаем Евангелие, вспоминаем какое-то землетрясение, которое было неизвестно когда и непонятно какое отношение имеет к нам, сегодняшним. Но большего духовного подъема мне почти никогда не доводилось испытывать. Тогда на собственном опыте я пережил слова апостола о том, что наша вера «для иудеев соблазн, а для эллинов безумие», и то, что «безумное мира избрал Господь, чтобы посрамить разумных и мудрых». Я радовался этим насмешкам и чувствовал, что с Крестом Христовым и с этой процессией готов идти до конца, даже на мучения или смерть.

Потом мы вернулись в храм, разоблачились и прошли в маленькую монастырскую трапезную, где мне выпала честь испытать гостеприимство такого замечательного отца Игнатия. Он с радостью бросился меня кормить: достал с подоконника кастрюлю с густым овощным супом на основе кислой капусты и стал ее разогревать. «Супчик свежий, вчера варили», – обрадовал он меня. Вчера варили?! А потом весь вечер, всю ночь и еще полдня он простоял на подоконнике? В палестинской жаре? Мне показалось, что он уже начал пузыриться. А ведь я только стал выздоравливать от тяжелой желудочно-кишечной инфекции и питался только сухариками!

Отец Игнатий поставил на стол тарелку с дымящимся варевом, в которое он щедро чуть ли не на палец налил оливкового масла, и придвинул ее ко мне. Что мне оставалось делать? Я перекрестился и приступил к еде с одной надеждой, что успею доехать до места своего обитания, прежде чем меня скрутит вновь. Как можно догадаться,

разумеется, ничего подобного не случилось, и живот мой до конца пребывания на Святой Земле более меня не беспокоил.

Отец Игнатий категорически отказался отпустить меня добираться домой своим ходом. «У нас очень опасно, и в одиночку христиане тут не ходят», — сказал он, заказал мне такси и оплатил его.

Он действительно был святым человеком, несмотря на свою внешнюю резкость — человеком, исполненным горячей, деятельной любви. В его поведении были черты юродства во Христе — он в простоте ходил пред Господом. Теперь уже ни его, ни отца Георгия нет на этой земле: времени с тех пор прошло достаточно — уже тридцать лет, но я не перестаю вспоминать их обоих и тот подвиг свидетельства о Христе, который они несли на своем месте в весьма нелегких обстоятельствах.

* * *

На следующий день я направился в Масаду — древнюю крепость в Иудейской пустыне близ Мертвого моря, сохранившуюся почти в первозданном виде. В этой поездке я впервые в жизни столкнулся с мормоном. И даже имел с ним продолжительный разговор. Разумеется, тогда я еще не подозревал, что буду профессионально заниматься сектоведением. О мормонах знал лишь самую малость, и рассказы этого миссионера были для меня в новинку. Он сидел рядом со мною в автобусе, и мы вскоре разговаривали. Мормон был австрийцем, а в Израиль приехал на двухгодичное миссионерское служение. Приехал только что и еще не успел приступить к работе. Вот и решил пока съездить на экскурсию. С довольным видом он сообщил, что по окончании миссионерского служения поедет в Лондон, где познакомится со своей невестой, и вскоре они сыграют свадьбу. В общем, все у него было заранее решено, а жизнь расписана.

Так как раньше мормоны мне не встречались, меня этот парень заинтересовал, и я решил воспользоваться случаем и побольше узнать о его секте, так сказать, из первых уст. Он, разумеется, пытался обратить меня в свою веру и пел сладкие песни о том, что это единственная истинная церковь, так как только у них есть двенадцать живых апостолов. Можно сказать, что тогда впервые я услышал из уст представителя американской секты изложение его собственной позиции. До этого мне доводилось кратко общаться с кришнаитами и с адептами псевдохристианских сект, но столь длительного разговора ни с кем из сектантов у меня не было.

Должен сказать, что я вполне сознательно проявлял жестокость по отношению к этому миссионеру. Дело в том, что в Масаде, в безводной Иудейской пустыне, стояла страшная жара: градусов сорок пять, не меньше. Мормон же, как ему и положено, красовался во всей своей экипировке: в пиджаке, в галстук, в рубашке, под которой, как оказалось, когда мы пришли на пляж, была еще и белая футболка (очевидно, это было то самое мормонское сакральное нижнее белье, но тогда я на это не обратил внимания). А я, только в шортах и футболке, таскал этого мормона по самым солнечным и жарким местам, где останавливался и подолгу загорал. И бедный сектант, дымясь от жары, терпеливо стоял рядом и объяснял, почему мне непременно нужно стать мормоном.

* * *

В тот раз я лишь однажды ощутил в Израиле прикосновение к древности и связь времен. Вот как это было.

Есть в Иерусалиме туннель, который сохранился до наших дней со времен пророка Исаии. Свидетельство о нем можно найти в 20-й главе Четвертой книги Царств. Во время осады города ассирийцами по этому туннелю в Иерусалим поступала вода. Собственных источников

водоснабжения в городе не было, и царь Иезекия заблаговременно распорядился прорубить скалу насквозь, чтобы обеспечить город водой на время осады. Теперь по этому туннелю можно спокойно пройти: вода сочится только по дну. Снимаешь ботинки, зажигаешь свечку (или фонарик) и шлепаешь босиком весь путь от начала до конца (всего метров восемьсот) – через толщу скальной породы.

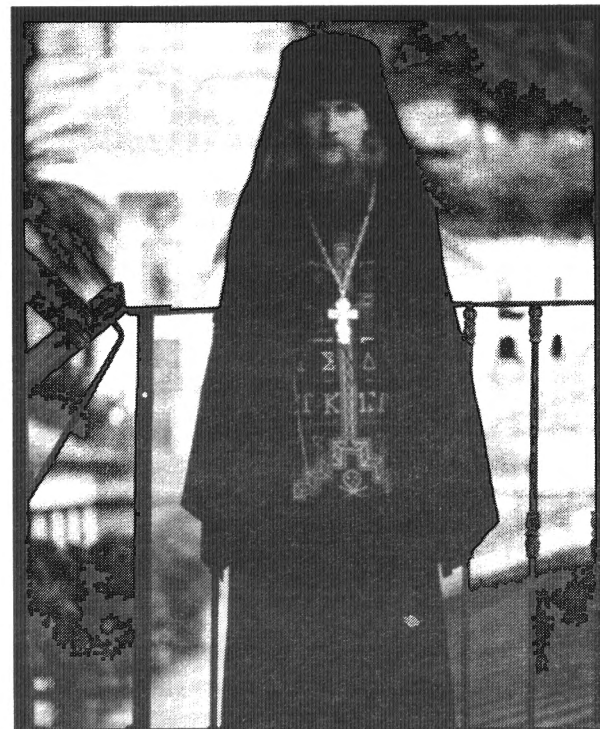
Этот туннель оставался неизменным на протяжении тысячелетий. На стенах видны следы работ подданных царя Иезекии; можно понять, как и чем они рубили – где киркой, где мотыгой. Можно вложить руку в эти углубления и почувствовать связь с человеком, который когда-то оставил эту выщербину, то есть материальную связь с современником пророка Исаии. Своего рода машина времени...

* * *

Тогда же в Израиле я встретился с большой французо-американской группой православных, в числе которых были некоторые мои знакомые из Штатов. Пару дней я даже ходил с ними по Иерусалиму. И французы, и американцы в основном были потомками русских эмигрантов «первой волны», причем наполовину эта группа состояла из собравшихся вместе родственников. Возглавлял группу сербский священник из Парижа, ныне ректор Свято-Сергиевского института, отец Николай Чернокрак. Когда несколько лет спустя я приехал в Рим – собирать материалы для докторской диссертации, то на это время я стал прихожанином храма, где служил отец Николай.

Отец Сергей.
1981 г.

Насельник «Рус-
сика» отец Ильян
(сейчас схимен
Илий). 1981 г.

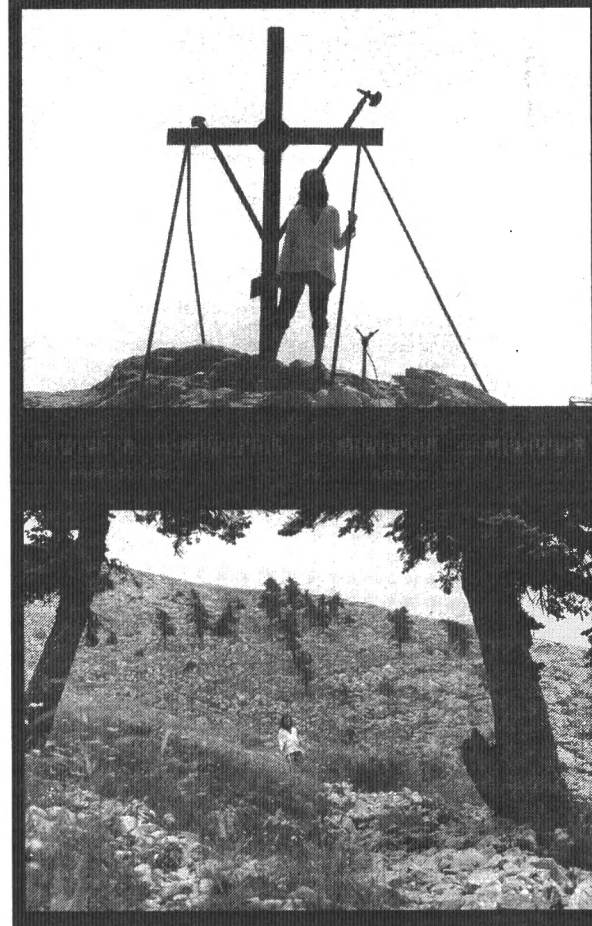




Братия Св.-Пан-
телеимоновского
монастыря.
В центре игумен
Иеремия. 1981 г.



У монастыря Симоно-
петра. Справа -
Джеффри Макдональд
1981 г.



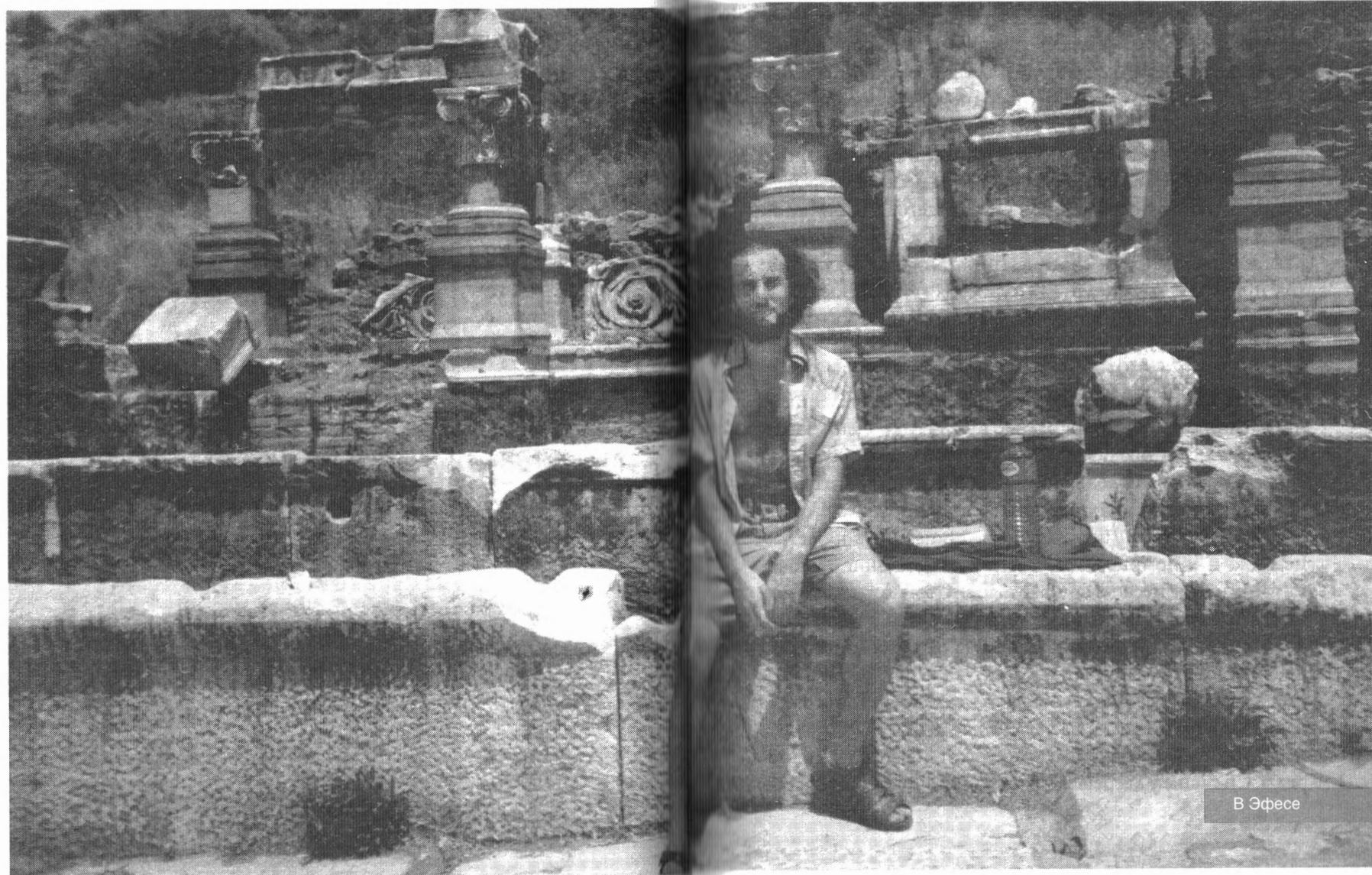
На вершине
горы Афон

ТУРЦИЯ

ВИЗАНТИЙСКИЕ ЭКСКУРСИИ

После третьей поездки на Афон я направился в страну, где мне давно хотелось побывать, – в Турцию. Ведь сегод-

няшнее турецкое государство располагается на исконно христианских землях – когда-то центре и сердцевине Византийской империи. Константинополь, Никея, Халкидон, Эфес, Каппадокия, Антиохия, Трапезунд – этот перечень дорогих каждому православному наименований можно было бы продолжать еще долго...



В Эфесе

Весной, когда я впервые упомянул о своих планах, друзья в Свято-Владимирской академии долго отговаривали меня от поездки в Турцию – страну, тогда имевшую, мягко говоря, не самую благоприятную репутацию в отношении безопасности иностранных туристов. Но, проведя месяц на Афоне и получив множество благословений (в том числе и четки от старца Паисия), я считал, что могу ехать, не опасаясь за свою жизнь и свободу. Так оно и оказалось. Незадолго до этого турецкое правительство осознало всю выгоду международного туризма и дало разнарядку его развивать. Местные СМИ единодушно разъясняли гражданам пользу и выгоду от хорошего отношения к зарубежным гостям. Повсюду были развешены плакаты с изображением улыбающегося блондинистого бородатого мешочника в панамке, а внизу красовалась надпись: «Один счастливый турист на следующий год приводит тысячу других туристов». Такая реклама немного напоминала аннотацию к какому-нибудь патентованному средству от тараканов, но оказалась весьма эффективной: по всей стране турки в лейешку разбивались, чтобы угодить весьма тогда еще немногочисленным иностранцам. Дело происходило в 1984 году. Цены были фантастически низкими, и на мой обычный путевой бюджет пять-шесть долларов в день я мог позволить себе ночевать в гостиницах и питаться в ресторанах. Я ощущал себя в полной безопасности. Никакого воровства не было и в помине: даже забытую в магазине мелочь за вами несли несколько кварталов. Стоило развернуть на улице карту, как вас немедленно окружала толпа галдящих турок, стремившихся помочь. К сожалению, как правило, никто из них не умел читать карту, так что помощь была скорее моральной, чем реальной. Но зато все наперебой приглашали на чашечку чая.

Особенно забавно было проходить сквозь торговые ряды. Сидящие у дверей своих заведений лавочники зазы-

вали туристов к себе, используя единственно знакомое им европейское обращение: «Коллега...», а дальше следовали манящие движения рукой. Впрочем, в то далекое время турецкие торговцы совсем не выказывали никакой агрессивности, чем приятно отличались, скажем, от палестинских арабов. Можно было зайти в лавку, выпить с ними чашечку чая, поболтать о жизни, и даже если вы уходили, ничего не купив, никаких обид на вас не держали.

Я проехал автостопом большую часть страны – от греческой границы до восточной части Анатолии, а затем, поднявшись в Трабзон, вернулся в Константинополь на пароходике вдоль южного побережья Черного моря. В 1988 году я, уже считая себя экспертом по турецким делам, вновь посетил эту страну (заметно более «потуристовую» и несколько подорожавшую) и доехал до самого востока – до окрестностей озера Ван.

Вспоминаю мыльную на ощупь, щелочную воду этого обширного озера с отраженными в ней горами и маленький островок Ахтамар посередине с удивительно царственным в несравненной простоте армянским храмом X века: своими идеальными пропорциями он напоминал наш храм Покрова на Нерли, а изысканной каменной резьбой – Димитровский собор во Владимире.

Близ города Ван мне довелось видеть и один из самых страшных пейзажей за всю мою жизнь: когда я поднялся на холм, чтобы полюбоваться открывающимся видом, то заросшее травой поле с какими-то бугорками и рытвинами, по которому я долго брел, преобразовалось, при взгляде сверху, в план разрушенного города. Прямоугольники домов и пролегающие между ними улицы виднелись очень ясно. То был армянский город, уничтоженный турками вместе с его обитателями во время геноцида 1915 года всего каких-нибудь 80 лет назад!

Побывал я и у подножия Арарата, где нужно было проснуться рано утром, чтобы успеть увидеть двойную

вершину этой библейской горы еще до того, как ее закроют облака. Край этот на границе Турции и Ирана совершенно безлюдный (лишь изредка встречаются шатры кочевников), просторный и зеленый, воспринимается как настоящий конец света.

Оттуда я добрался до замечательно сохранившихся руин средневекового армянского города Ани на самой границе с СССР. У туристов отбирали фотоаппараты и не советовали долго и пристально вглядываться в пограничные ограждения: советские войска, дескать, открывают огонь по всем подозрительным лицам без предупреждения.

От средневековых развалин Ани я поехал назад в Константинополь пушкинским путем: до Карса, а затем – в Эрзерум, где, вспомнив восточные впечатления поэта, даже отправился в турецкую баню.

Но это было потом, а пока я впервые знакомился с византийскими землями, в силу исторических превратностей оказавшихся в государстве под названием Турция. Бродил по Константинополю, открыто молился в Святой Софии, в музее Топкапы (бывшем султанском дворце) прикладывался к витрине, за которой лежала левая рука Иоанна Предтечи, и повсюду искал следы бывших святых в этом шумном торговом городе. В те годы, например, Студийский монастырь – ни много ни мало базилика VI века (сколько их всего в мире?) – размещался на заднем дворе какого-то турка: чтобы туда попасть, нужно было просить его отпереть калитку.

Одно из самых удивительных мест на земле – Каппадокия. О лунном пейзаже этого края каменных столпов и пещер писали многие. Выветренные туфовые конструкции всевозможных конфигураций, чаще всего противоречащих законам равновесия, поражают воображение, а то и вызывают головокружение. Удивительны краски камней и скал: от нежно-розовых и темно-лиловых до

небесно-голубых и салатно-зеленых. И всюду можно найти брошенные храмы, вырезанные из живого камня, зачастую даже с сохранившимися древними росписями. Часто там до сих пор стоят и каменные престолы – хоть сейчас приходи и служи!

Кстати, на туфе произрастает роскошный виноград, из которого в этом краю гораздо более серьезного, чем в европейском Стамбуле, ислама производят вполне приличное вино (промысел, оставшийся от изгнанных греков). В местных магазинах этот запретный для мусульман продукт представлен с избытком; правда, покупали его в основном иностранцы.

Впрочем, ислам исламом, но когда в городе Невшехире я поднялся на гору к старой оттоманской крепости (гора расположена в самом центре города), то увидел, что основание стен густо усеяно пустыми винными бутылками. Видно, турки вечерами уходили туда посидеть в мужской компании, подальше от своих более благочестивых жен.

При подъеме на эту довольно крутую гору я вспомнил святителя Григория Нисского и сообразил, что Невшехир, наверное, и есть та самая Нисса, где он занимал епископскую кафедру. В «Жизни Моисея», рассказывая о ступенях богопознания, святой Григорий описывал восхождение пророка на Синайскую гору. Вначале Моисей слышал шум израильского лагеря, потом – трубный глас, затем лишь крики птиц и наконец, когда все звуки остались позади, он вступил в безобразный мрак Божественного присутствия, не сравнимого ни с чем в тварном мире. Я шел в гору на закате. Постепенно затихал городской шум, крики торговцев, гудки автомобилей, пение муэдзинов, сзывавших правоверных на молитву, и наконец в быстро сгущавшейся тьме стало удивительно тихо: ни звуков, ни света, ни людского присутствия под стенами старой крепости не было – лишь отцветающие

краски заката и все новые и новые яркие южные звезды, зажигающиеся на темнеющем небе.

Я подумал, что, видно, и святой епископ также поднимался на эту самую гору, внимая затихающим звукам и продумывая свой великий труд. Лишь позднее я узнал, что Нисса это не Невшехир, а другой городок, неподалеку, тоже, впрочем, с крутым холмом в самом центре.

ТЮРК ОРТОДОКС КИЛЕЗИ

Бродя по современному Стамбулу в поисках осколков Константинополя, я раза три наткнулся на надпись «Тюрк Ортодокс Килези» («Турецкая Православная Церковь»). Помню одну такую надпись на заржавленных, явно давно уже не открывавшихся воротах, другую — на здании с наглухо запертыми дверями. Тогда я вспомнил о событиях шестидесятилетней давности, событиях, почти не замеченных миром, но воспринятых некоторыми как тяжелое падение Вселенского Патриархата. История эта довольно темная. В немногих публикациях на эту тему раскрыта лишь точка зрения одной стороны — Константинопольского Патриархата. Так что мы можем пытаться восстановить истинную картину происшедшего лишь на основании устных рассказов и догадок. По некоторым сведениям, Кемаль Ататюрк, который ненавидел ислам, считал его проклятием своей страны и сделал все, что он мог, для его ослабления, одно время размышлял об обращении Турции в христианство, чтобы как можно больше приблизить свой народ к европейской цивилизации. Так как, будучи диктатором, он не мог и помыслить, чтобы турки управлялись неким зарубежным властителем, он сразу отменил для себя идею римо-католичества. Идея автокефальной православной Турецкой Церкви со своим патриархом нравилась ему куда больше. Но, конечно, для того, чтобы Православие могло быть принято турецким народом, оно должно было стать турецким. Именно тогда

при поддержке турецкого правительства (но без благословения, а вполне вероятно, и без ведома Патриархата) появилась миссионерская Турецкая Православная Церковь, активно занявшаяся переводами и начавшая служить на турецком языке.

Вселенский греческий Патриархат не мог этого перенести. Легитимная Турецкая Церковь в Истанбуле означала, что и сам Патриархат должен был стать турецким. Церкви пришлось бы отказаться от эллинизма и уступить место новому видению и новым горизонтам. Она должна была бы стать тем самым евангельским зерном, которое, умерев, принесло бы много плодов.

На это Константинопольские патриархи пойти не могли. Они встали в резкую оппозицию к попытке создания турецкого Православия. Страсти накалились. Обе стороны активно прибегали к политическим интригам в борьбе друг против друга, методы которой были весьма неприглядными и там и там. В конце концов священников, пытавшихся организовать миссионерскую работу среди турок, запретили в служении, а затем всех, кто не подчинился запретам низвергли из сана и анафематствовали за непослушание церковным властям и за ересь филетизма. Так великое миссионерское дело было убито в самом зародыше.

Без изначальной поддержки Константинопольского Патриархата, а тем более при его активной оппозиции братья за него не имело смысла. Как говорят, Ататюрк скоро охладел к своей экспериментальной идее, забросил ее и занялся другим. Великая возможность была упущена раз и навсегда. Впрочем, повторю еще раз, нам очень мало известно о том, что же происходило тогда на самом деле. Но, во всяком случае, во время своих прогулок по Константинополю я убедился, что хотя бы теоретически эта не признанная Патриархатом «Турецкая Православная Церковь» существует в городе и сейчас.

Увы, как заметное явление, она так и не состоялась... Интересно, жалеют ли об этом Вселенские патриархи сейчас, когда они теснятся в микроскопическом этническом анклав и все чаще сталкиваются с проявлениями растущего и крепнущего исламского фундаментализма? Кто знает...

СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

По Турции я, как и всюду, предпочитал перемещаться автостопом. Помимо экономических соображений (не столь актуальных из-за уже упомянутой фантастической дешевизны Турции в те годы), это оказалось еще и самым комфортным способом передвижения. Междугородные автобусы, дешевые и довольно быстрые, оказались непригодными из-за всеобщего курения и нелюбви к открытым окнам. Мой первый и последний турецкий автобус, который ночью вез меня из Константинополя в Эфес, через полчаса превратился в форменную душгубку, где в клубах сизого дыма едва различался тусклый свет лампочек. На попытки ехать с открытым окном мне вежливо, но решительно сообщали, что грудной ребенок, лежащий на коленях у матери через несколько сидений от меня, теперь непременно простудится, заболеет и умрет. Мои аргументы, что табачный дым ему куда вреднее, турки предпочитали не воспринимать, глядя на меня честными глазами и повторяя на ломаном английском про страшный вред сквозняков, особенно в июле.

Автостопом ехать оказалось веселее. Во-первых, можно открывать окна. Во-вторых, всегда интересно знакомиться с новыми людьми и практиковаться в иностранном (в данном случае, турецком) языке. И наконец, водители, как правило, охотно останавливались. Проблема состояла только в том, что иной раз машин не было вовсе и ждать приходилось долго. Как-то, стоя на пустынной дороге возле моря, я наблюдал забавную картину

купания пожилого турка. Одетый по-европейски (рубаша навыпуск и брюки) турок шел по пляжу налегке, а, чуть приотстав от него, поспешали две женщины, сверх меры нагруженные сумками и свертками. Помимо этой весьма объемной поклажи, они несли деревянный стул и совковую лопату. Одеты женщины были по-турецки: в длинные – до колен – цветастые просторные рубашки, из-под которых виднелись широченные шальвары. Головы их закрывали громадные платки.

Турок остановился на облюбованном им месте и развел руки в стороны. Подбежавшие женщины, сбросив свою поклажу, бережно сняли с него рубашку и штаны, и он погрузился в теплые лазурные воды Средиземного моря. Искушавшись, турок вышел из воды, и обе стоявшие наготове женщины немедленно вытерли его заранее подготовленным полотенцем. После этого он присел на песок. Одна из дам подставила ему под спину обратную сторону сиденья перевернутого вверх ножками стула, а другая, вооружившись лопатой, начала закапывать его в горячий песок. Когда на поверхности осталась только голова и плечи зажмурившегося от блаженства отдыхающего, инструмент воткнули в песок, и обе женщины, не снимая рубах и штанов, пошли остыть в лазурных струях моря. Но долго прохладиться им не удалось, так как их повелитель вдруг встал и, отряхнув песок с выдающегося живота, улегся вновь, но уже ногами в другую сторону. Дамы моментально выбежали из воды. Одна из них немедленно подложила стул ему под спину, а другая вновь закопала его в песок. Полежав еще немного, турок встал, отряхнулся, сунул ноги в резиновые шлепанцы и, как был, в плавках, побрел в обратную сторону. Обе мокрые женщины мгновенно упаковали все вещи и взапуски побежали за своим владыкой.

Но тут передо мной наконец остановилась попутная машина, и я поехал дальше, «дивясь увиденному».

Так что ездить было интересно. Но определенные проблемы все же возникали. Например, турки не понимали, что иностранцы могут ездить автостопом. Если ловить машину приходилось на окраине селения, ко мне немедленно начинали подходить доброжелатели.

– Отобюс орада (автобус там), – говорили они и показывали пальцем в направлении остановки.

– Отобюс йок! – отвечивал я. – Отостоп! – и демонстрировал свой поднятый палец.

Но радушные турки считали, что непривычный к их порядкам иностранец просто не понимает, что автобусы останавливаются лишь в положенных местах, и продолжали указывать на остановку. В результате вокруг скапливалась толпа, выясняющая друг у друга, чего же я хочу и что для меня лучше. Понятно, что никакая машина остановиться уже не захотела бы. В конце концов я понял, что автостопить нужно в отдалении от жилых мест и от глаз турецких доброжелателей.

С самой первой проблемой я столкнулся, подъезжая к Турции со стороны Греции. Машины останавливались, но как именовать великий мегаполис, куда я направлялся? Никакой грек не признает иного наименования, кроме Константинополя, никакой турок не согласен называть самый знаменитый город его страны иначе, чем Стамбул. Пока едешь по Греции, говоришь, что надо «в сторону Константинополя», все понятно. Но вот до границы остается километров тридцать. Останавливается машина со швейцарскими номерами. За рулем усатый, смуглый человек. Он может оказаться как греком, так и турком. Что ему сказать? Ошибка может стать роковой. После нескольких секунд напряженного молчания я выдавливаю из себя:

– В ту сторону (указываю рукой) возьмете?

– Садитесь, — кивает он.

Уже потом выясняется, что водитель – ливанский араб-христианин (маронит), живет в Швейцарии, и ему

совершенно все равно, каким именем я назвал бы чужой для него город.

Еще одна характерная для турецкого автостопа история произошла во время моей второй поездки в Турцию – уже в 1988 году. Добравшись из Ани – самого восточного угла Турции – до Карса и затем Эрзерума, я направился назад – в Константинополь. Вскоре мне повезло: передо мной остановился иранский большегруз с удобной комфортабельной кабиной, откуда двое усачей гостеприимно махали руками. Иранцы сообщили, что едут в Стамбул, что с удовольствием довезут меня туда и что путешествие по турецким дорогам займет не менее двух суток. Я был на все согласен, и мы поехали. Грузовик шел пустым, чтобы загрузиться в Стамбуле турецким товаром.

До этого я слышал, что человеческое общение на 80 процентов – невербальное. Во время поездки с двумя персами я лишний раз в этом убедился. Ни на одном европейском языке они не говорили. По-персидски я, как выяснилось, знал только два слова: «кишмиш» (виноград) и «фистык» (фисташки). Единственным общим языком у нас оказался турецкий, на котором я знал примерно слов сто, а мои собеседники – раз в пять меньше. И тем не менее за полтора дня, что нам довелось провести вместе, мы очень много смогли узнать друг о друге.

Один из моих спутников был профессиональным шофером-дальнобойщиком, а другой – с моржовыми усами и накачанными мышцами – офицером-спецназовцем, которым полагалось сопровождать грузовики в зарубежных поездках. Отношения между ними были самыми задушевными. Вели себя они довольно смешно. Во-первых, они несколько раз в день подолгу и с наслаждением брились. В исламском Иране бриться запрещено, и они пользовались возможностью ощутить себя свободными. Мою бороду персы понять не могли — зачем ее растить, если можно бриться? — и в шутку называли меня аятоллой.

Во-вторых, они немедленно затоварились спиртным и по пути все время отхлебывали виски, усердно угощая и меня. К счастью, на качестве их вождения это не сказывалось. В-третьих, ехали они в шортах и в довольно открытых майках, опять же пользуясь случаем покрасоваться в недозволенной для гражданина Исламской республики Иран одежде.

Шофер рассказал мне, как он служил в армии еще при шахе и как комиссары победившей исламской революции потребовали, чтобы обожаемый всей армией генерал (слуга царю, отец солдатам), под началом которого служил и мой водитель, отрекся от бежавшего шаха и принес присягу новой власти. Бравый генерал отказался, сказав, что уже присягал на верность шаху и что присяга не перчатки и менять ее он не может, после чего его расстреляли перед строем.

Так мы ехали с гостеприимными персами, непонятно на каком языке (общечеловеческом?) рассказывая друг другу жизненные истории. Ночь мы провели на автостоянке возле шоссе. Для отдыха мои новые друзья предоставили мне совершенно пустой кузов грузовика, где я отлично выспался в своем мешке.

Наутро, плотно позавтракав персидскими припасами, включая нежные финики и громадного размера фисташки – тот самый фистык, родина которого и есть Персия, – мы отправились в путь. Разумеется, часть утра граждане исламской республики посвятили самому тщательному бритью.

Помимо моей бороды, одной из повторяющихся тем наших бесед были турки и их ужасный характер. Персы неоднократно повторяли, что дивятся моей беспечности: отправиться путешествовать по Турции, да еще автостопом! Ведь турки – известные разбойники, воры, убийцы и насильники. Нет ничего опаснее, чем доверяться вероломным туркам, которые войдут в доверие, а затем обде-

рут как липку, ограбят и убьют бедного наивного иностранца. На все заверения, что никаких проблем в путешествии по Турции у меня не возникало, персы лишь скептически качали головами и говорили, что просто я не знаю коварную натуру турок, а когда узнаю, может оказаться уже поздно.

Ехали мы ходко, и к середине дня до Константинополя оставалось всего пара сотен километров. Но тут нас остановила полиция. Офицер долго изучал документы и в конце концов дал понять, что с моим паспортом какие-то проблемы и что он и не отпустит меня без выяснения. Я был в недоумении: так это было не похоже на всегдашнее сверхдоброжелательное отношение турецких властей. Персы заволновались и сообщили полицейскому, что подождут меня. Он резко ответил, что запрещает им тут стоять, а если они не послушаются, отберет их документы за нарушение. Я попросил своих друзей ехать, заверив их, что разберусь сам. Они, попрощавшись, отбыли. На лицах их было написано: «Вот видишь, мы же тебя предупреждали...» Я остался в полицейском участке один. На душе было неуютно. Вспоминались все американские предупреждения о беспределе в кошмарных турецких тюрьмах.

Стоило грузовику отъехать, как задержавший меня офицер вернул паспорт и, предложив чаю, стал умолять о прощении. «У нас не оставалось другого выхода. – говорил он. – Мы должны были сделать все возможное, чтобы не оставлять вас в иранском грузовике. Ведь персы – известные разбойники, воры, убийцы и насильники. Нет ничего опаснее, чем доверяться вероломным персам, которые войдут в доверие, а затем обдерут как липку, ограбят и убьют бедного наивного иностранца...»

АФОНСКИЕ ЧЕТКИ

Итак, когда я попал в Турцию в первый раз – после Афона, я не снимал с руки афонских четок в сто зерен и, попадая в святые места, читал Иисусову молитву (четки, в тридцать три зерна, подаренные мне старцем Паисием, я, боясь потерять, не надевал на руку, а носил в кармане куртки: видимо, оттуда они в конце концов, через несколько лет и несколько больших путешествий, и выпали). Так было и в Константинополе, и в Эфесе, в базилике Святого Иоанна Богослова, где на месте престола до сих пор видны следы могилы апостола любви, и в пещерных храмах, и в подземных городах Каппадокии, и в родном городе апостола Павла – Тарсе. В последнем, честно говоря, никаких особых святынь отыскать я не смог, кроме какого-то подозрительного «колодца апостола Павла», также находившегося на заднем дворе местного жителя. Стоило мне подойти к колодцу, как турок немедленно вышел из своего жилища и, зачерпнув довольно нечистым стаканом воду, предложил мне ее испить. Делать было нечего, и я отхлебнул водички. Видимо, молитвами апостола Павла, произошло чудо, и нежелательных последствий от этого безрассудного поступка я не ощутил.

Так вот, на четки мои турки реагировали в высшей степени положительно. Видимо, с такими длинными приспособлениями для молитвы щеголяли их муллы, так что рядовые мусульмане спешили всякий раз высказать свое одобрение. С этими афонскими четками и связаны две путевые истории, происшедшие в мое первое турецкое путешествие.

Одна из них – автостопная. Как-то меня подобрал молодой человек на маленьком грузовичке. Завязался обычный для турецкого автостопа разговор. Поначалу у вас спрашивают имя, потом представляются сами. Затем осведомляются о стране происхождения, возрасте и профессии (я отвечал: еренджи – студент). После этого водитель интересуется:

– Тюркие гюзель? (Турция – красивая?)

– Чок гюзель! (Очень красивая!) – отвечаете вы.

И тогда начинается высокополезный с лингвистической точки зрения диалог. Водитель указывает на все, что проплывает за окном – горы, поля, фруктовые деревья, животных, море и так далее – и, называя это, присовокупляет с вопросительной интонацией: «Гюзель?» «Чок гюзель!» – соглашаетесь вы. Так можно узнать массу новых слов, многие из которых, впрочем, вполне знакомы русскому уху. Например, ак – белый, кара – черный, арба – машина, балык – рыба, изюм – виноград, сарай – дворец, чобан – пастух, ишак – осел, дурак – остановка и прочие слова.

Но на этот раз разговор пошел по другому сценарию и запомнился мне навсегда.

После знакомства водитель обратил внимание на мои четки.

Он зацепил их пальцем и, перебирая зерна, начал говорить:

– Алла, Алла, Алла!

– Йок, – ответил я, – Иса, Иса, Иса...

– Александр, – спросил он, изобразив на лице изумление, – мусульман?

– Йок, – отвечаю, – христиан.

– Александр, – вновь произнес он мое имя в сопровождении манящего движения рукой, – мусульман? (Т. е. айда к нам, мусульманам).

– Мустафа, – повторив его жест, говорю я, – христиан?

Поняв, что прямым наскоком тут ничего не возьмешь, Мустафа изменил тактику. Для начала он решил похвалить христианство.

– Мусульман, – сказал он, прижав руку к груди. – Иса – чок!

Я понял его. Он хотел объяснить, что мусульмане тоже считают Иисуса великим («чок» по-турецки значит «очень, большой, великий»).

– Христиан, – отвечал я, – Иса йок чок. Иса – чок, чок, чок, чок, чок, чок, чок, чок...

Дальше я хотел сказать, что Иисус – Сын Божий, но слова «сын» по-турецки я тогда еще не знал. Вспомнилось лишь слово «ата» – отец и «бебек», то есть «бэйби», ребенок. Его я и употребил.

– Алла – Ата! – сказал я. – Иса – Алла Бебек! Иса – Алла – бир (одно)! А ты, Мустафа, давай к нам, к христиан!

Вторая миссионерская дискуссия, которую мне довелось провести в Турции, оказалась куда более сложной. Она произошла в последний день моего первого турецкого путешествия.

Я бродил по бывшим императорским конюшням, ныне – крытому базару в Константинополе. Это громадное пространство под сводчатыми потолками, соединенными сводчатыми же переходами. Вдруг ко мне обратился незнакомый человек. Он был аккуратно, не по-туристски одет, коротко подстрижен. Лицо его обрамляла аккуратная черная борода.

– О незнакомец, – обратился он ко мне на великолепном английском языке с легким акцентом неопределенного происхождения. – Я вижу, вы особенно боголюбивы, ибо перебираете в руках некое неизвестное мне приспособление для молитвы. Но ведь нет ничего более приятного и благочестивого, чем знакомиться со способами молитвы ко Всевышнему, практикуемыми в дальних землях...

– Конечно, мне доставит радость ответить вам, о любознательный незнакомец, – ответил я ему в том же тоне, – молитва, которую я повторяю, используя эту веревку с узелками, очень проста и доступна, да и научиться ей не составляет труда. Звучит она так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!»

– Весьма поучительные слова, – отвечал мой собеседник, – и несомненно, они таят в себе значительную глубину и стремление к общению со Всевышним. Тем не менее льщу себя надеждой, что вы позволите мне проявить дерзость и задать вам вопрос, дабы разрешить возникшее у меня небольшое недоумение.

– Разумеется, задавайте, и я сделаю все возможное, чтобы разрешить недоумение столь внимательного человека.

– Скажите же тогда, разумный не по возрасту чужестранец, согласны ли вы с тем, что великий Бог превышает всякого нашего разума и представления?

– Разумеется, я согласен с вами, о пылливый вопрошатель. Думаю, любой мыслящий так не ошибется.

– Отчего же тогда вы употребили словосочетание Сын Божий? Как у Всевышнего, превосходящего все наши категории, может быть столь человеческая реальность, как сын? Не умаляет ли это Бога? Не низводит ли это Его до наших человеческих категорий? – воздел руки к сводчатому потолку крытого базара мой новый знакомый.

Тут все стало ясно. Меня приметил мусульманский миссионер. Предстояла серьезная богословская дискуссия. Я ощутил себя в средневековой Византии, тем более что и место соответствовало. Вокруг нас к тому времени уже собралась довольно значительная группа народа, и все новые зрители продолжали прибывать. Сомневаюсь, что большинство из них понимало английский (во всяком случае, в такой степени), но слушали все очень внимательно, как по команде дружно поворачивая головы к тому из нас, кто произносил свою реплику.

Мой собеседник оказался перешедшим в ислам бельгийцем-фламандцем (отсюда и хороший английский), бывшим римо-католиком, специально натренированным на контркатолическую пропаганду. Но с православным он беседовал впервые, и большинство его аргументов летело мимо цели или вовсе обращались против него.

По прошествии примерно часа бывший католик и бывший бельгиец понял, что проигрывает, и начал церемонно раскланиваться, напоследок пожелав мне побыстрее завершить поиски и наконец обрести истину. Этого стерпеть я не смог и ответил ему в том смысле, что как раз не по своим заслугам, а по милости Божией уже пребываю в Его истинной Церкви, а он был совсем близко, но отпал от нее совершенно. Так что я желаю ему вернуться к тому, что он утратил, и поискать Истину там. Искренне ищущему человеку обрести ее окажется совсем не сложно. После этого я, пройдя сквозь собравшихся турок, с достоинством удалился. Вокруг шумел равнодушный восточный базар.

Встреча в турецкой деревне: чемпион национального спорта — масаяня борьба



Групповое фото в турецкой деревне

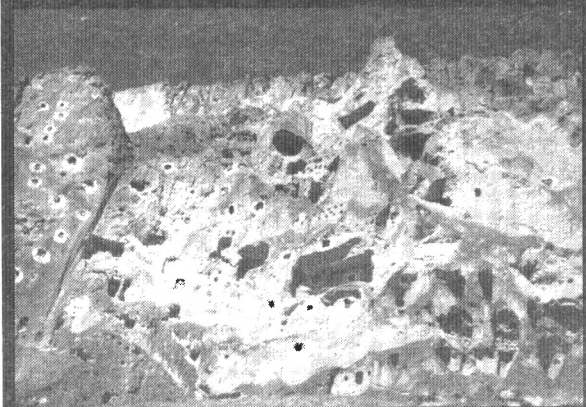


Иранские дальнобойщики

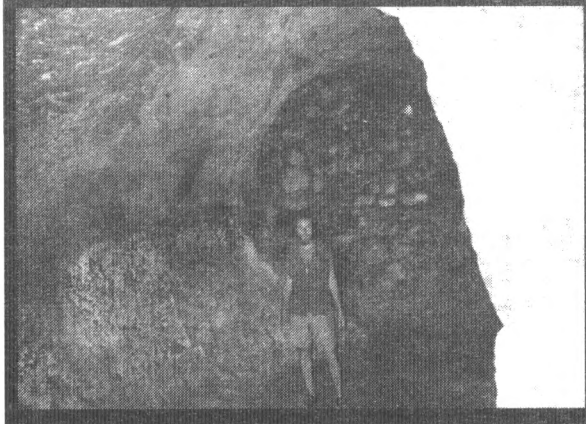




Каппадокия: высечен-
ный из скалы храм

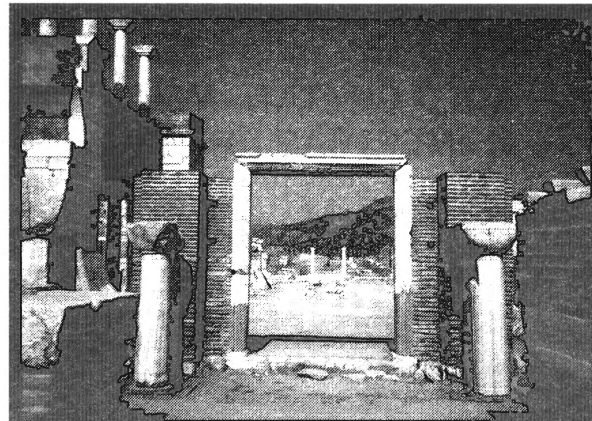


Пещеры отшельников
в Каппадокии



Подземные города
Каппадокии

Эфес



Озеро Ван —
Ахтамар



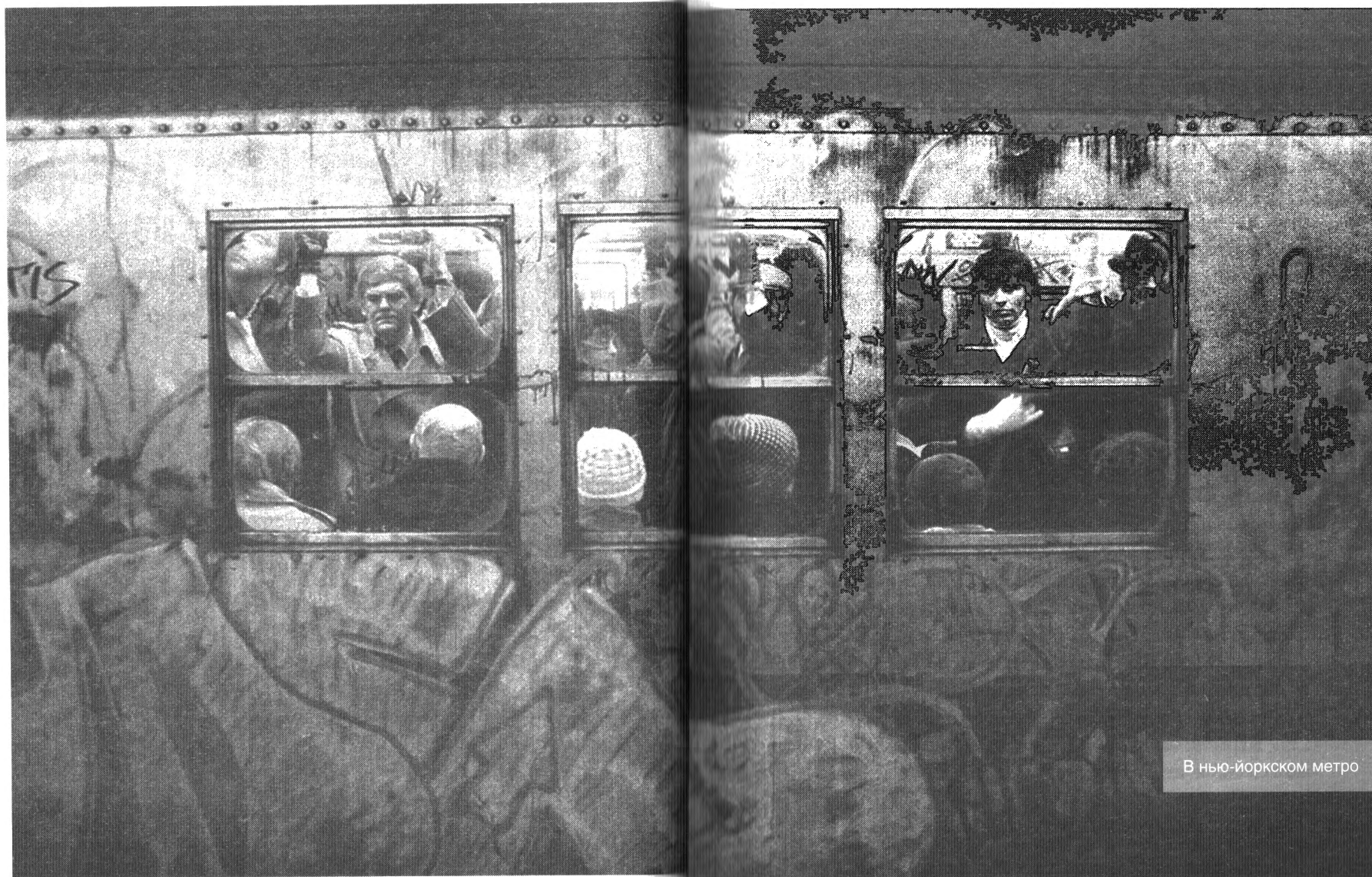
Турецко-
иранская
граница.
Край света



КОГО СЧИТАТЬ МЕНЬШИНСТВОМ И «МЕРТВАЯ ПЯТНИЦА»

Впрочем, все поездки рано или поздно кончались. Пора и мне закончить это отступление и вернуться к моим аме-

риканским будням в докторантуре Фордхэмского университета. Как и многие другие американские аспиранты, я постоянно подыскивал возможные гранты: тот режим жесткой экономии, в котором я жил, был чрезвычайно утомительным: ведь даже для похода к зубному врачу приходилось очень сильно ужиматься.



В нью-йоркском метро

Однажды я узнал про фонд, дающий гранты представителям национальных меньшинств. Я решил, что как русский идеально подхожу под эту категорию и позвонил по означенному телефону, чтобы узнать подробности. Судя по выговору, дама, ответившая мне, была негритянкой средних лет. Я попросил ее выслать мне анкету.

– А зачем вам? – удивилась она.

– Разумеется, чтобы подать прошение о гранте, зачем же еще?

– Золотце, – пропела моя собеседница, – вы не входите в обслуживаемые нашими грантами категории населения.

– Как? Я принадлежу к национальному меньшинству. Я – русский.

– Нет, к меньшинствам относятся только африкано-американцы, испаноязычные латиноамериканцы, индейцы и коренные жители Аляски.

– Но африкано-американцы в США намного более многочисленны, чем мы, русские. Мы – гораздо большее меньшинство, – не сдавался я.

– И тем не менее мы – меньшинство, а вы – нет. Белые меньшинствами не бывают, – отрезала негритянка.

Я со смехом рассказал об этом случае обучавшейся вместе со мною докторантке по имени Кармен Эрнандес. Эта чрезвычайно белокожая с золотыми волосами молодая женщина родилась на Пуэрто-Рико. Ее отец происходил из старинной испанской аристократической семьи, до сих пор владевшей на острове значительными земельными угодьями. Выросла Кармен в Швейцарии, где у ее отца имелся фармацевтический завод. В общем, бедной ее назвать было трудно. Да и испанский она знала кое-как: в семье родным считался английский.

Кармен была самой «космополитичной» из всех моих коллег по докторантуре, и мы с ней немного дружили. От меня она восприняла православный речевой

этикет. Обычно в Католической церкви к ксендзу обращаются по фамилии: «отец О’Браен», «отец Кастильоне» и так далее. Так же обращались и к моему научному руководителю: отец Мейендорф. Мое обращение «отец Иоанн» для американского уха звучало как страшная фамильярность. Но Кармен быстро его усвоила и щеголяла среди наших коллег своей особой близостью к прославленному профессору.

Итак, в качестве курьеза я поведал ей про интересный фонд. Когда она услышала мою историю, то весьма заинтересовалась и попросила координаты.

– Я ведь – пуэрториканка! Значит, подхожу под их требования.

– Так ты же белая.

– А в анкетах про это вопроса точно не будет. Они, наверное, не знают, что на Пуэрто-Рико изредка попадают белые жители.

Кармен подала документы и действительно через несколько месяцев получила искомый грант.

* * *

Расскажу еще пару забавных историй из моей студенческой жизни.

Секретарем в нашем отделении была молодая и очень бойкая итальянка (точнее, американка итальянского происхождения). Поскольку я был связан с расписанием электричек и иногда приезжал раньше или уезжал позже своих занятий, то частенько оставался подождать в приемной. Секретарь (звали ее Барбара Коста) с удовольствием принимала меня, угощала кофе.

Помню, время подходило к Великому посту, и я стал катехизировать римо-католичку Барбару, рассказывая ей о настоящем Православии и о наших постных практиках.

– Первый день поста называется у нас «Чистым понедельником». Мы стараемся в этот день ничего не есть

и не пить. Потом – Чистый вторник. Мы стараемся продолжать в этот день абсолютный пост. Затем наступает Чистая среда...

– А потом – мертвая пятница! – перебила меня острая на язык итальянка.

Конечно, я несколько преувеличивал. В академии нас в первые дни поста хоть скромно, но кормили, а я, хоть и мечтал как-нибудь продержаться сухой пост до первого причащения вечером в Чистую среду, не получал на это благословения и ничего не ел и не пил лишь первые сутки. Но мне-то хотелось представить ей идеальную картину Православия...

Первые три дня поста – до литургии Преждеосвященных Даров – я решил продержаться без еды и воды года через два, когда жил в католической семинарии в Риме и собирал материалы для докторской диссертации (об этом рассказ пойдет чуть позже). Первые два дня прошли относительно легко, но в ночь на среду у меня начались не сильные, но крайне неприятные боли в суставах. Я ворочался в постели – и ни одна поза не приносила облегчения. И тут я сообразил, что поститься до вечера в среду не имело никакого смысла, так как за неимением православного священника Преждеосвященную литургию служить не будут.

Завтрак у нас подавали с 7 до 9 часов утра. В отличие от остальных трапез, он был на самообслуживании: еда лежала на особом столике с подогревом, тут же стояли термосы с кофе и нагреватель с кипятком для чая, и каждый брал себе что нужно. Обычно я, ввиду того что работал до поздней ночи, завтрак вовсе просыпал и первую трапезу дня вкушал в обед. Но той ночью перед моими глазами возникла соблазнительная, даже сладострастная картина: румяная итальянская булочка бесстыже крутилась перед моими глазами, поворачиваясь то тем, то этим округлым обнаженным боком! Она густо была намазана

джемом, который дразнящим розовым языком свисал из надреза. Это видение было настолько реальным, что я чувствовал запах этой булки и почти мог ощутить ее хрустящую корочку! Слюна текла непрерывно, и я еле успевал ее проглатывать.

В полседьмого я уже изнывал перед закрытыми дверями столовой, а ровно в семь трясущимися руками намазывал джем на такую же булку, как из моей галлюцинации, и сыпал пятую ложку сахара в самую большую чашку с чаем...

Другая история носила скорее гастрономический характер. Когда я сдал свой большой четырехчасовой экзамен, то в знак благодарности пригласил Барбару, которая оказывала мне много мелких услуг, на ужин в ресторан. Университет располагался в сердце живого итальянского района – не коммерческого, как «Little Italy» на юге Манхэттена, а настоящего, живого, в котором обитали подлинны итальянцы и все заведения были предназначены для них, а не для туристов.

Барбара предложила пойти в такой аутентичный итальянский ресторан. Поскольку она жила в этом районе, то хорошо знала все местные заведения и выбрала один из наиболее традиционных, славившихся своей кухней. В располагавшейся в полуподвале харчевне даже не было отдельных столиков – все сидели на скамьях вдоль длинных столов. В общем – то была настоящая trattoria, какие можно встретить повсюду на юге Италии. Оба официанта говорили по-английски с сильным акцентом, а среди посетителей мы были единственными, кто общался между собой не по-итальянски.

На первое мы оба заказали себе пасту: Барбара – с мясным соусом, а я – с «фруктами моря». Еду нам принесли, причем рядом с тарелкой моей знакомой поставили мисочку со свеженатертым ароматным пармезаном. Мне тоже захотелось посыпать свою пищу сыром,

поэтому я вежливо спросил у официанта, не принесет ли он и мне такое же блюдечко.

В ответ он по-итальянски заорал через всю тратторию, обращаясь к повару:

– Эй Джанни, представляешь себе – этот идиот-американец потребовал сыру к морскому блюду. Ты слышал когда-нибудь о таких извращениях? И что ты думаешь, подать ему сыру или нет?

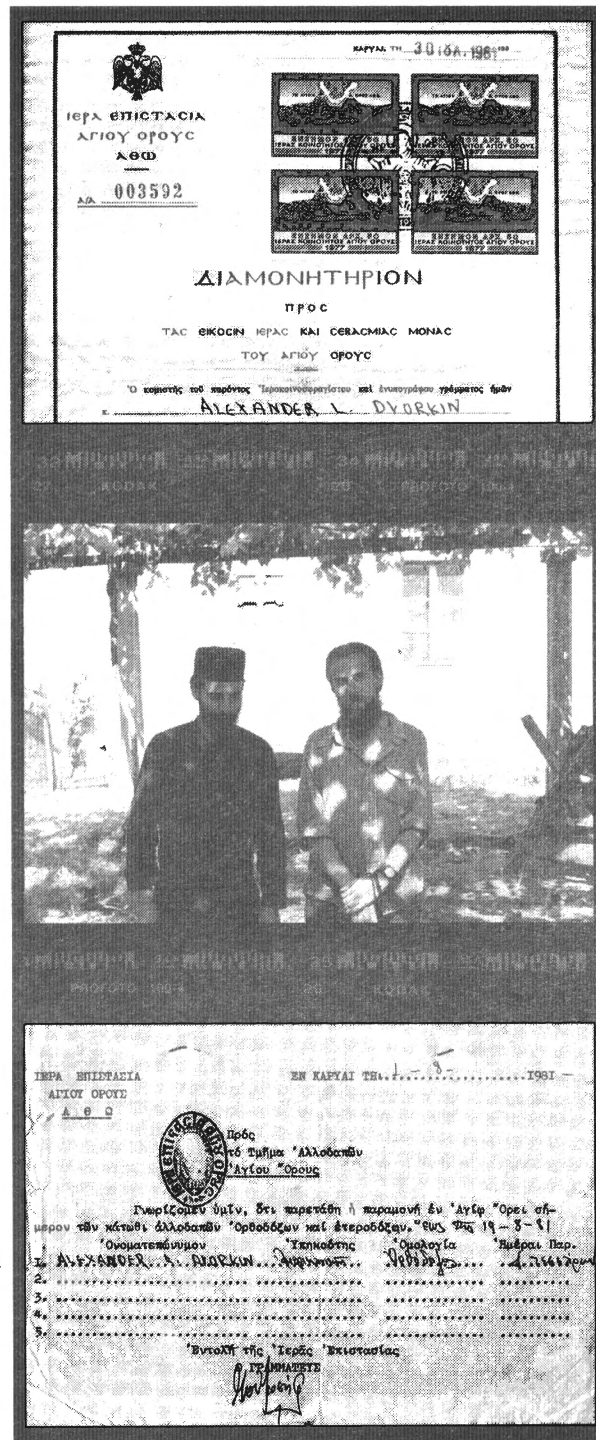
– Ну, если он хочет испортить свою пасту – подавай! Мы же не можем воспитывать каждого варвара!

Все посетители ресторана обернулись и посмотрели на меня. Никто не подозревал, что я понимаю итальянский язык. Я едва не сгорел от стыда. Но зато твердо усвоил, что на юге Италии никогда не едят морепродуктов с сыром.

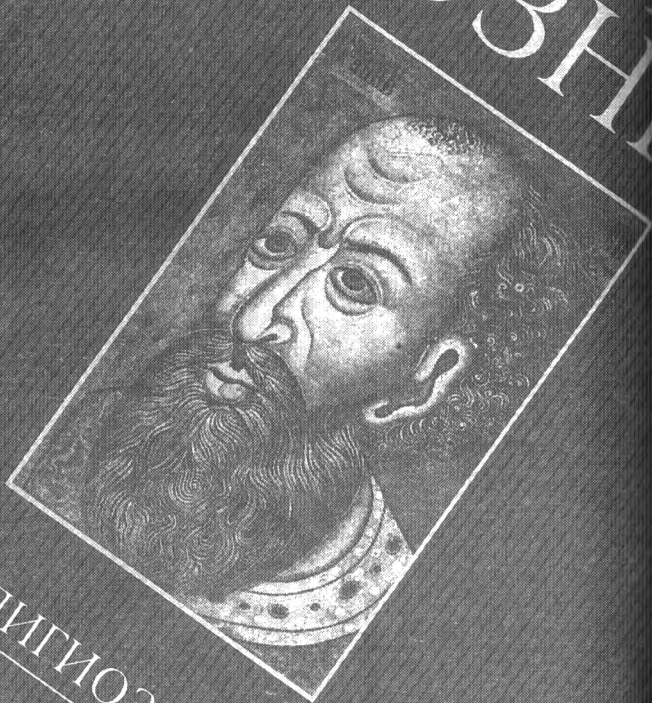
Мой первый афонский
диамонитирион,
1981 г.

Афон.
С монахом Иосифом
(бывшим Костей)

Это – запрос о про-
длении моего пребыва-
ния на Афоне



АЛЕКСАНДР ДВОРКИН ИВАН ГРОЗНЫЙ



КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП
СТАТЬИ
И МАТЕРИАЛЫ

Русское издание моей книги

«ИВАН ГРОЗНЫЙ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП»

К концу первого года обучения я уже определился, что докторскую диссертацию буду писать на тему «Иван Грозный как религиозный тип». Правда, начиная свою работу, я еще не представлял себе, к каким выводам приду. Они пришли сами собой в ходе подготовительной работы. Приведу отрывок одного из недавних интервью, где я об этом рассказываю:

– Откуда такое странное название диссертации?

– Название это я отчасти позаимствовал у протоиерея Сергея Булгакова, в свое время написавшего брошюру «Карл Маркс как религиозный тип». В конечном итоге основным содержанием диссертации стало исследование проблем теократии и восприятия теократической модели в XVI веке на Руси, то, какие вообще теократические модели бытовали в то время. В общем, я предпринял попытку объяснить царствование Ивана Грозного с точки зрения его теократических идей. Само название «религиозный тип» не значило, что моя работа является апологией Иоанна Грозного или что я считаю его опыт положительным. Религия, как мы все хорошо знаем, бывает как светлая, так и темная. Ни у одного исследователя не вызывает сомнений то, что Иван Грозный был глубоко религиозным человеком. Другое дело, какой была его религиозность. Сейчас я могу совершенно точно сказать: то, чем

я занимался тогда, много лет назад, помогло мне в моей нынешней работе, посвященной восприятию извращенной религиозности.

– Иоанна Грозного можно назвать предтечей сектантства на Руси?

– «Предтечей сектантства на Руси» – нет, потому что самое разнообразное сектантство появлялось, существовало и плодилось задолго до него. Но он является собой явный пример того, как можно извратить Библию и оправдать свои собственные грехи и свое собственное падение при помощи неких Божьих повелений и откровений. И при этом руководствоваться самыми благими намерениями. Таким образом, Иван Грозный преподносит нам очень полезный урок – полезный для понимания современной ситуации.

Царь, без сомнения, обладал богословским умом, для своего времени он был очень начитанным человеком, хорошо знавшим Писание, историю и богословие. Но всего этого оказалось недостаточно. В его мировоззрении имелась серьезная богословская ошибка, которая и стала причиной глубоких нравственных падений и страшной кровавой бани, в которую он погрузил Русь. Еретическое заблуждение царя состояло в том, что он категорически отвергал свободу человека. Господь создал человека свободным, но эта свобода не укладывалась в рамки понимания Иоанна Грозного, и он ее просто отрицал.

В тогдашнем мире Иван Грозный не производил впечатление уникального изверга. Западные правители были не менее кровавыми и не менее грозными, чем он. Наши либеральные историки любят проводить параллели: на Руси, мол, всегда так было – Иван Грозный, Петр Первый, Сталин... Что касается меня, то я не любитель таких «исторических параллелей». Каждого исторического деятеля нужно рассматривать в контексте его эпохи. И если мы посмотрим на Ивана Грозного с этой точки зрения,

то он не слишком-то выделялся из числа своих современников. Однако это не значит, что мы должны его оправдывать. Почему мы должны сравнивать православного правителя с худшими образцами? Ведь православный царь должен являть собой идеал справедливости, милосердия, самопожертвования, нравственной жизни, в конце концов. Ничего подобного в Иване Грозном мы не видим. Именно поэтому нынешние попытки его канонизировать можно назвать даже кощунственными.

Обо всем этом я написал в моей диссертации. Через несколько лет после защиты она была опубликована в одном германском академическом издательстве на английском языке. Сделать русский перевод у меня не было времени, пока мой хороший друг и замечательный переводчик Юрий Терентьев не взялся за этот труд. Так в конце концов моя книга увидела свет и на русском языке.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Но все эти выводы пришли потом. Пока, после благополучной сдачи экзамена, мне требовалось приступить к работе по сбору материалов. На ту скромную стипендию, которую я получал, сделать это было практически

невозможно. Конечно, основные архивы находились в России, но поехать туда я не мог (тогда Горбачев только пришел к власти, и СССР все еще оставался закрытой страной). Интернета пока еще не было. Я мог бы работать по опубликованным источникам, и их мне более чем хватило бы. Но многие из этих публикаций довольно



Санта-Мария-Маджоре, одна из главных базилик Рима

редки, и в Америке они разбросаны по нескольким библиотекам. Часть можно найти в Нью-Йорке, часть в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, часть в других местах. Но для этого нужно было поехать, например, в Вашингтон, где-то там жить, какое-то время работать. А мне даже не хватило бы денег на ежедневные поездки в публичную библиотеку Нью-Йорка. И вот, перебирая разные возможности, я узнал, что подавляющее большинство нужных мне книг и материалов есть в Ватиканской библиотеке.

Я уже говорил, что с самого начала эмиграции Рим стал моим любимым городом, а Италия – любимой страной. С тех пор я побывал на Аппенинском полуострове несколько раз во время своих летних путешествий, немало улучшил знание языка, так что возможность жить в Риме целых полгода весьма меня обрадовала. Тогда я уже успел побывать практически во всех исторических областях Италии (за исключением разве что Сардинии). Наверное, в этой стране можно найти какие-то некрасивые города – без них не бывает, но я ни разу таких не видел. Удивительно, но даже города, которые сразу не производили впечатления, потом поворачивались какой-то новой стороной, открывающей их шарм и очарование. Возможно, самый мой нелюбимый итальянский город – Флоренция, которая, по-моему, сильно переоценена туристами, хотя, конечно, я понимаю, что для человека, мало знакомого с Италией, Флоренция может восприниматься как нечто исключительное и потрясающее.

Несмотря на относительно небольшие размеры Италии, это чрезвычайно разнообразная страна. Можно сказать, что одной Италии нет. Италий много. Разные ее части очень сильно отличаются друг от друга. Страна относительно недавно объединилась и совсем недолго была единым государством, поэтому очень сильные региональные различия сохранились до сих пор. Север резко

отличается от Центра, столичный Рим – это мир в себе, Апулия и Калабрия воспринимаются особо, Сицилия с ее многообразными греческо-арабско-нормано-франко-испанскими влияниями стоит совершенно отдельно, а ведь есть еще и Сардиния, также со своим микромиром, своей природой и своей культурой! В каждом регионе существуют свои весьма своеобразные диалекты. Конечно, нынешняя молодежь говорит на усредненном итальянском, на котором вещают вездесущие телевидение и радио. Но если, например, два старика из разных районов встретятся, они будут понимать друг друга с большим трудом, а то и вовсе ничего не поймут. Классическим же литературным итальянским считается язык Тосканы.

ПО СЕРБСКИМ МОНАСТЫРЯМ

Я написал письмо в Ватиканский Совет по христианскому единству с просьбой предоставить мне возможность поработать в Риме. Тамошние функционеры пошли навстречу: мне обещали бесплатное жилье и питание в римском колледже Руссикум сроком на один семестр.



Я вылетел в Рим в самом конце декабря, за два дня до Рождества по новому стилю. Так как это время самого строгого поста, я заранее заказал себе в самолете вегетарианское питание. Оказалось, что на мой самолет по ошибке продали больше билетов, чем мест, и девушка за регистрационной стойкой, многожды извинившись передо мной,

Сербский монастырь Високи Дечаны зимой

выдала мне посадочный талон в бизнес-класс. Не успел я сесть в самолетное кресло, как стюардесса подала бокал шампанского, который я сразу же проглотил и лишь после сообразил, что нарушил пост.

Поэтому, когда на обед принесли семгу со спаржей, я отказался, сказав, что заказывал вегетарианское питание. Но заказ мой остался в экономклассе, так что отыскать его долго не могли, пока наконец с извинениями не подали омлет. Так что уж лучше мне было с самого начала соглашаться на семгу...

В Риме я пробыл всего несколько дней, а затем выехал на поезде в Белград, где была назначена встреча с тремя моими друзьями, с которыми мы запланировали арендовать машину и две недели поехать по православным монастырям Сербии и Македонии.

До этого я уже дважды бывал в Сербии: один раз – с Джеффри Макдональдом проездом на Афон, а во второй – еще с одним моим другом, о чем я расскажу чуть позже.

* * *

Несколько анекдотичных ситуаций сложилось в Югославии, когда мы с Джеффри первый раз попали туда. Честно говоря, подъезжая к югославской границе, я несколько побаивался: все-таки социалистическая страна, хоть и не за железным занавесом. Потом, конечно, я много раз бывал в Югославии и очень полюбил эту землю. Но тогда все было впервые.

Вопреки моим тревожениям въехали мы нормально, пограничники отнеслись к нам вполне спокойно. И вот я опять в социалистической стране. Тут и возникла первая анекдотичная ситуация. Пересхав через границу, мы оказались в маленьком словенском городке и сели выпить там кофе. Мимо по площади проходила группа рабочих – по-видимому, шахтеров: они были в брезентовых

робах и страшно перепачканы, с черными лицами. Джеффри посмотрел на них и говорит:

– Смотри-ка, ЧЕРНОГОРЦЫ!

В самом деле, с точки зрения этимологии все было верно: и гора (шахтеры), и чернота присутствовали.

После Словении мы въехали в Хорватию и наконец, в Сербию. К Сербии я относился даже трепетно: впервые после моего крещения я оказался в православной стране и не мог дожидаться встречи с православными братьями. Но дорога была пустынной. Джеффри пребывал в какой-то странной задумчивости. Я все дергал его:

– Смотри, какая красота! Смотри, какие холмы!

После долгого молчания он все-таки ответил:

– Никак не могу понять, как через эти холмы могла пройти регулярная армия Велизария...

Велизарий был лучшим полководцем императора Юстиниана, правление которого Джеффри уже тогда начал серьезно изучать.

И вот нас подобрал на дороге водитель, в машине у него даже имелись какие-то иконки, что меня очень порадовало. Он спросил:

– Откуда вы?

Я сказал, что из Америки. Он заинтересовался:

– А в Америке какая религия?

Мы говорим:

– По большей части там протестанты, но есть и католики, и православных тоже немножко есть.

Наш водитель это как-то пропустил мимо ушей. Потом мы проезжали мимо явно православной церкви, я перекрестился, он посмотрел на нас и спрашивает:

– Вы что, православные?

Говорю:

– Ну да, конечно.

И тут он произносит:

– А я римо-католик.

Следующий подвозивший нас водитель, узнав, что мы американцы, спросил, много ли в Америке баптистов. Мы сказали, что, конечно, хватает, но что в Америке есть и православные. Он ответил, что православные есть и в Сербии, но ему это не очень нравится, потому что он баптист.

Потом мы шли по дороге вдоль поля, на котором замечательный колоритный старик с длинной седой бородой и в овчине пас овец. Я возрадовался, что наконец-то я вижу православного брата, и закричал ему громко:

– Бог в помощь!

Он мне в ответ:

– Господь с вами!

Я еще больше возликовал. Старец подошел поближе и вопрошает:

– Откуда вы?

Я говорю:

– Из Америки.

Он поправил в руке палку:

– А в Америке адвентистов много?

Я отвечаю:

– Не знаю и знать не хочу. Мы православные.

– А я адвентист, – заявил старик.

Так, впервые проезжая через Сербию, мы ни разу не встретили ни одного по-настоящему воцерковленного православного. Правда, ехали мы быстро: за два дня проехали всю Югославию сверху вниз. Первого православного встретили уже в Греции.

Знакомство с православной Сербией состоялось у меня пару лет спустя, когда я уже с другим своим другом – русским парижанином Даниилом Струве – специально отправился на ее поиски. Та поездка вышла замечательной – настоящее паломничество по православным монастырям Сербии, Македонии, Косова, по старым

храмам, многие из которых, увы, уже недоступны, особенно в Косово.

Часто я вспоминаю одну приютившую нас крестьянскую семью. Тогда ночь застала нас на дороге среди каких-то хозяйственных построек и распаханых полей – там, где и разложить спальный мешок было негде. Ловить машину в темноте не имело никакого смысла, и мы пошли отыскивать себе ночлег. В одном домике горел свет, мы постучались и попросились переночевать. Там жила чета пожилых сербских крестьян – старичок со старушкой. Нас они приняли очень радушно, пригласили за стол разделить их скромный ужин: жареный перец, брынза, помидоры, лук, хлеб. Стали расспрашивать, чем мы занимаемся. Я тогда уже учился в докторантуре и представился студентом. Слово это оказалось им незнакомым, они попросили пояснить.

– Ну, что-то вроде школьника, – говорю, – учусь разным вещам.

Хозяева наши рты пораскрывали от изумления. «Как это может быть? Такой взрослый и все еще школьник».

– Я вот два года в школе учился, – говорит дедушка. – Сколько же учишься ты?

Я стал считать на пальцах: десять лет школа, потом университет, академия, докторантура...

– Деятнадцать лет уже, – говорю.

– Ну и ну! – разводят руками крестьяне. – Какой ученый человек, наверное, все уже постиг, все знать должен. Кушай брынзу, мы сами делали.

И тут я совершил роковую ошибку: спросил, как они делают свою брынзу. Разочарование было полным и необратимым:

– Учишься деятнадцать лет и все еще не знаешь, как делают сыр? Чему же ты учишься? И зачем тогда так долго учиться?

Крыть мне оказалось нечем... Со своей точки зрения они были совершенно правы. Я ощущал себя абсолютным неучем, и, наверное, вполне заслуженно.

* * *

Я был настолько впечатлен этой своей поездкой, так любил православную Сербию и так много говорил о ней друзьям, что они попросили меня организовать для них экскурсию по монастырям. Я заранее составил план маршрута, и мы, встретившись в Белграде, куда они прилетели из Нью-Йорка, а я приехал на поезде из Рима, отправились в путь.

Зима оказалась очень холодной, мы много мерзли. В монастырях топили лишь в тех кельях, где жили братья, – и хотя в гостевых комнатах тут же разжигали печь, пространство не успевало согреться и к утру (я научился очень проворно раздеваться и одеваться под одеялом). Но, несмотря на это, путешествие оказалось поистине вдохновляющим. Та чересчур студеная и снежная зима, совсем нетипичная для Балкан, еще больше породнила в моем сознании сербские монастыри с русскими.

Во-первых, храмы и византийские фрески, которые мы видели, были неповторимы, во-вторых, мы окунулись в бытовую славянскую православную культуру, о чем в Америке можно было только мечтать. Но все же мы не могли не заметить, что церковная ситуация в Сербии отягощена весьма серьезными проблемами, многие из которых до конца не изжиты и сегодня.

Мы наблюдали странную ситуацию. Мужские монастыри в Сербии, как правило, совсем небольшие: редко где жило более двух-трех братьев. Зато женские были переполнены: иной раз до сотни и более сестер – и с очень интенсивной духовной жизнью. Также и хозяйства в мужских монастырях не было почти никакого, зато женские утопали в садах и хозяйственных постройках. Сейчас, конечно, все

несколько иначе: в мужских монастырях людей стало больше, хотя прежняя тенденция все еще сохраняется и женские монастыри остаются гораздо более многочисленными. Часто это объясняется тем, что монахов в мужских монастырях после рукоположения не вычеркивают из числа братии, хотя живут они где-то в другом месте – служат на приходе и в родной монастырь выбираются довольно редко.

Гораздо хуже было то, что сербы почти никогда не причащались. Одна из самых страшных для меня картин – это когда священник выходит на амвон с Чашей, говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», после чего разворачивается и уходит в царские врата. Благодетельные сербы причащались два раза в год, а самые набожные – четыре раза, после каждого из многодневных постов. Для того чтобы причаститься, в Сербии требовался очень жесткий (даже без растительного масла) и длительный (как минимум двухнедельный) пост. Получается, если человек хочет чаще причащаться, то ему недостаточно даже быть вегетарианцем, нужно стать аскетом и подвижником, живущим монашеской жизнью в миру. Естественно, люди не могли так долго пребывать в строжайшем воздержании, и, соответственно, на большинстве служб совсем не было причастников.

Понятно, что такая строгость по отношению к Причастию обусловлена исторически. Скорее всего, в до-революционной России было так же. Хотя там хотя бы причащали младенцев, а в Сербии почему-то даже их не подносили к Чаше. В этом скрывалась какая-то фундаментальная неправильность.

Тем более что эти строжайшие постные правила на духовенство никак не распространялись. Помню, как-то летом я ужинал простоквашей вместе с милейшим игуменом одного из знаменитых косовских монастырей. Улучив момент, я сказал ему, что хотел бы завтра причаститься, и спросил, когда удобнее подойти к исповеди.

Бедный игумен едва не поперхнулся своей простоквашей: «Какое причастие! Вы же едите простоквашу! Это невозможно категорически!»

В том, что он ел то же самое, но при этом собирался завтра служить, он никаких сложностей не видел.

Мне кажется, главная проблема Сербии в том, что Православие воспринимается как этническая категория. Если человек православный, то он серб, если римо-католик, то он хорват. Другой разницы нет, говорят оба народа практически на одном и том же языке. Варианты этого языка в Сербии и Хорватии немного отличаются друг от друга — ну, скажем, как нижегородский и орловский диалекты, но при этом серб, который живет в Хорватии, говорит ровно так же, как и хорваты вокруг него. То есть вся разница только в религии. Если же ты босняк-мусульманин, то принадлежишь к тому народу, который Тито назвал мусульманами. Люди, говорящие на одном и том же языке, в зависимости от вероисповедования принадлежат к трем разным народам. Поэтому сербские атеисты-коммунисты и называли себя православными: их национальная идентичность больше ничем не определялась.

Интересно, что у хорватов такое же точно отношение к католицизму. Насколько я могу судить, они такие же номинальные католики, как большинство сербов — номинальные православные. Римо-католические костелы в Хорватии так же пустовали, как православные храмы в Сербии, а может, даже и больше. Хорваты были вынуждены называть себя католиками, потому что если они не католики, то какие же они хорваты?

Но, конечно, мы встречали настоящих православных сербов, серьезных и искренних в своей осознанной вере.

После двухнедельной поездки мы с друзьями вернулись в Белград, я проводил их до аэропорта и автостопом поехал назад в Италию. В Любляне все занесло снегом, и я вынужден был просидеть там три дня, пока не рас-

чистили дороги. На счастье, я познакомился с группой студентов, которые приютили меня на это время. Одна из них, молодая девушка, даже отвезла меня на одну ночь в крестьянский загородный дом своих родителей, также гостеприимно принявших меня. Именно тогда эта девушка вдруг сказала, что скоро я вернусь в Россию, где все будут читать мои книги по истории. Я посмеялся и забыл про это. Вспомнил о ее пророчестве я совсем недавно, когда готовил к печати пятое издание моих «Очерков по истории Вселенской Православной Церкви».

Снег расчистили, я вернулся в Рим и въехал в свою комнату в Руссикуме.

О КРОЛИКАХ, КОТЯТАХ И КУВШИНЕ С МОЛОКОМ

Моя учеба в Фордхэме, с одной стороны, и полгода проживания в Руссикуме – с другой, позволили мне довольно близко узнать римо-католичество, так сказать, изнутри. Предваряя дальнейшее, нужно сказать, что, конечно, и до этого я был знаком со многими глубоко верующими и искренними католиками, такими, например, как мой близкий друг Марко. Чтобы избежать обвинений в предвзятости, повторю здесь рассказ о нем.

Когда мы с Джеффри Макдональдом автостопом добирались от Лондона до Афона, то на самом последнем этапе нашего долгого пути Салоники – Уранополис пришлось купить билеты на автобус и пересесть на платный транспорт, иначе последующие несколько десятков километров по проселочным дорогам мы добирались бы очень долго.

В автобусе мы заметили молодого итальянца, о чем-то расспрашивавшего водителя, правда совершенно безуспешно, так как оба говорили лишь на своих родных языках. Поскольку за мои четыре месяца в Италии, проведенные в ожидании американской визы, я кое-как научился изъясняться на этом языке, а сейчас, спустя пять лет, что-то еще помнил, то вмешался и предложил свои переводческие услуги. Так мы познакомились с Марко, с тех пор ставшим одним из самых близких моих друзей. Живет он в сорока километрах к северу от Милана в городке Индуна Олона, совсем недалеко от швейцарской границы.



У Марко дома: справа от меня – отец Марко, Марко, Данилка Струве

Марко был благочестивым римо-католиком, который, впервые услышав о Православии, решил отправиться на Афон – в самую его сердцевину, чтобы получить информацию, так сказать, из первых рук. Мы с Джеффри стали первыми православными, с которыми он познакомился. С тех пор его интерес к православной вере не ослабевает, хотя позиции свои он не сдает без самого тщательного исследования. Помню, как после одного жаркого спора Марко, обозначив точку на ладони, сказал: «Предположим, мы – тут». Потом он обозначил другую точку: «А Бог – тут». Далее он провел прямую между двумя точками: «Православие приводит нас к Богу так». Затем он провел между этими же точками извилистый и длинный зигзаг и, с надеждой взглянув на меня, спросил: «Как ты считаешь, но хоть так попасть к Богу у нас, у католиков, есть шанс?» Я был тронут его смирением и его верой.

Конечно, резонно задать вопрос, почему он так и не стал православным? Тут встает очень важная проблема инкультурации. Для многих, даже теоретически согласных с правотой Православия, оно остается чужой – русской, греческой, румынской – верой. «Да, этим народам больше "повезло", – рассуждают такие люди, – им открыта полнота истины. Но у нас есть собственный путь, следуя которому, спасались наши предки». Принять Православие для них равносильно измене собственной традиции, обычаям и обрядам, впитанным с молоком матери. И чем больше человек связан со своими корнями, тем сложнее ему сделать этот шаг. Американцу это легче, чем европейцу, а особенно такому европейцу, как Марко: не просто итальянцу, но жителю Ломбардии, и не просто Ломбардии, но ее северного, горного края, всей толщей бесчисленных поколений связанному с этой землей. Марко знает своих предков на много поколений назад, и все они были ревностными римо-католиками, да и сей-

час вся его семья и весь круг его друзей и общения тесно связан с тамошней активной церковной жизнью. Весь этот груз, к сожалению, делает его обращение к Православию чрезвычайно проблематичным. Но, с другой стороны, невозможное человеку возможно Богу, тем более что Марко к своей христианской вере относится очень серьезно и по части чистоты жизни, молитвы и добрых дел может служить примером для многих...

Вернемся к нашей истории... Познакомившись с Марко в автобусе, мы вместе доехали до Уранополиса, вместе поужинали в придорожной забегаловке, вместе переночевали на пляже в своих спальных мешках, а затем рано утром погрузились на катер и отправились на Святую Гору. Когда истекли четыре отведенных на визит дня, Марко, потрясенный увиденным, отбыл на родину, пригласив нас погостить у него, когда по пути назад мы будем проезжать через его края.

Пробыв месяц на Афоне, мы доехали до Патраса, где навестили моего однокурсника по Свято-Владимирской академии (он был греком и проводил лето у родителей), оттуда на пароме приплыли в Бриндизи и неспешно автостопом поехали на север – в Рим, Умбрию, Тоскану, Эмилию Романью и, наконец, в Ломбардию, столицей которой является Милан. Все это время я практиковал свой полузабытый итальянский и кое в чем преуспел. Во всяком случае, дней через десять, когда мы доехали до Милана, устную речь я уже понимал довольно свободно и болтал хоть очень неграмотно, но бегло.

В Милане мы купили телефонные жетоны и стали звонить Марко. Но тут вышла заминка: пожилая женщина, ответившая на мой звонок, хоть и говорила явно по-итальянски, но я совершенно ничего не мог понять! Переспросив несколько раз и убедившись в безнадежности затеи, я стал отлавливать англоговорящих прохожих. Найдя подходящего человека, я попросил

его провести переговоры вместо меня. Оказалось, что на звонок отвечала бабушка Марко, коренная ломбардка, умеющая говорить лишь на местном диалекте, разительно отличающемся от стандартного языка. К счастью, мой переговорщик тоже оказался из тех краев и понимал диалект. Все в конце концов разрешилось, через пару часов в Милан приехал Марко и забрал нас к себе домой.

Он жил с родителями в просторном, хотя еще недостроенном доме на северной окраине своего городка у самого подножия Альп. Отец его, полжизни проработавший в типографии, только что вышел на пенсию и, построив свой дом и заведя натуральное хозяйство, с наслаждением работал на земле. При доме был большой фруктовый сад, огород, птичник и крольчатник. Мать Марко с большим удовольствием подавала на стол собственную продукцию. Сам наш новый друг учился на юридическом факультете Миланского университета, а сейчас, летом, помогал родителям по хозяйству. Семья была дружная и очень гостеприимная, приняла нас, как родных. Мы прожили у Марко дня три, во время которых он ежедневно возил нас по окрестностям, показывая местные достопримечательности и знакомя со своими многочисленными друзьями. Меня итальянцам представляли как Сашу – всем очень нравилось такое экзотическое русское имя почему-то с женским окончанием, а Джеффри у них проходил как Гоффредо – итальянский эквивалент имени Годфрид, вариант англо-саксонского Джеффри.

В один из этих дней солнечным утром Джеффри сидел на пороге дома и гладил пушистого белого кролика, уютно разместившегося у него на коленях. Эту идиллическую сценку заметил отец Марко, проходивший мимо.

– Гоффредо, – обратился он к моему другу, – я вижу, ты любишь кроликов?

– Да, очень люблю, – ответил Джеффри.

– Отлично, – подытожил старый итальянец, – сегодня вечером приготовим жаркое из крольчатины!

На следующее утро сцена развернулась почти такая же. На пороге сидел Джеффри и играл с сереньким котенком, громко мурлыкавшим свою песенку.

Проходивший мимо по своим хозяйственным делам отец Марко жизнерадостно его приветствовал:

– Доброе утро, Гоффредо! Я вижу, ты любишь котят?

– Нет, ничуть не люблю! – в панике завопил Джеффри, спихивая котенка с коленей.

* * *

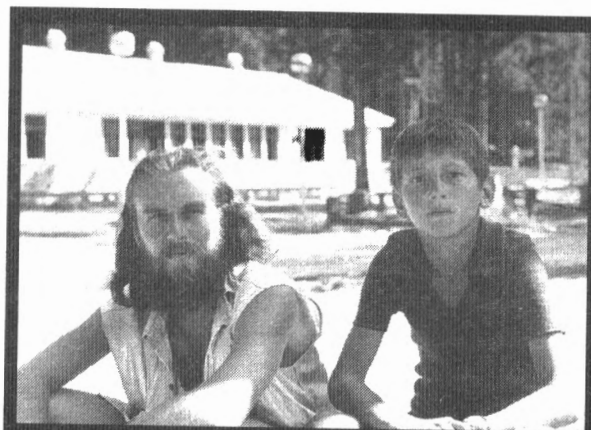
Закончить же эту историю я хочу пересказом бытующего в семье Марко предания о чудесной помощи его прабабке.

Дело было во второй половине XIX века. Сравнительно молодой женщиной оставшись без мужа, прабабушка Марко чрезвычайно бедствовала и дошла до такой нищеты, что больше ей нечем было кормить пятерых маленьких детей. Оставив их дома, мать пошла в соседнее село попытаться раздобыть какой-либо еды, хотя знала, что и там надеяться ей не на что. Но возвращаться домой и смотреть в глаза голодным детям было невыносимо. В глубоком унынии она шла тропинкой посреди поля, и вдруг ее посетила мысль о самоубийстве. После смерти мужа жизнь ей стала не мила, а детям она все равно помочь уже не сможет. Слезы потекли по лицу несчастной вдовы, взгляд ее затуманился, и она не заметила, откуда в открытом поле появился хорошо одетый господин, шедший к ней навстречу. В деревенской местности все друг друга знают, но этот молодой мужчина с небольшой бородкой, несомненно, был чужаком. Но при этом он говорил на одном из ломбардских диалектов, который знали лишь жители тех мест. Незнакомец участливо спросил, отчего она плачет, и когда молодая крестьянка рассказала ему о своей горе, велел возвращаться домой к детям, заверив, что помощь придет. «А то, о чем ты сейчас думала – великий грех, – вдруг добавил он, – впредь не допускай этих мыслей до себя! И никогда не оставляй надежду на Бога, имя Которому – Любовь».

Пораженная прозорливостью незнакомого молодого человека, вдова развернулась и побежала домой. На крыльце она увидела большой кувшин с молоком и несколько буханок хлеба. Вечером того же дня ей предложили выгодную работу, и дела ее стали поправляться.

Прабабушка моего друга до конца дней своих верила, что ей явился Сам Господь, и веру свою передала детям и внукам.

Тасмук и его овечка



Во время путешествия по Сербии





Руссикум. Надпись над входом

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РУССИКУМ

А теперь вернусь к своим общим впечатлениям от римо-католичества. В первую очередь, стоит немного рассказать о самом Руссикуме, в котором я прожил целых шесть месяцев.

Начну с того, что первый раз я попал в Руссикум еще летом 1982 года, когда мы с Джеффри проезжали через Италию на обратном пути с Афона в Лондон. Я зашел туда для знакомства — мне давно хотелось посмотреть их библиотеку. Тот визит, прежде всего, запомнился одной деталью. Мы с Джеффри позвонили в дверь и сообщили привратнику, что мы православные семинаристы из Свято-Владимирской академии, американец и русский, и что мы хотели бы посмотреть библиотеку. Нас попросили подождать, обещав немедленно привести человека, который нами займется. Через несколько минут перед нами предстал весьма пожилой, благообразного вида священник в православном подряснике и заговорил со мной на безупречном русском языке, разве что со слишком правильным выговором. Он назвал себя отцом Викентием. Как и все руководство Руссикума, он был иезуитом. Как я узнал позже, родом он происходил из Литвы, после войны оказался на Западе и лишь тогда по послушанию выучил русский язык, чтобы посвятить себя русской тематике. Служил ксендз Викентий только по восточному обряду, носил православные

богослужebные облачения, читал восточных отцов и русскую классику – в общем, приложил все возможные усилия, чтобы стать русским.

Тогда я всего этого еще не знал. И вот этот незнакомый мне старичок заговорил:

– Вы русский из Америки, – начал он, – вас зовут... Александр Дворкин. Вы сейчас закончили первый курс Свято-Владимирской академии. Вы третий человек из Советского Союза, который учится в этом учебном заведении. До вас учился отец Иаков Филиппов-Мендельсон и отец Андрей Трегубов. Оба они пока еще не закончили академию. Хотя я слышал, что отец Иаков вроде работает над своей диссертацией. У меня пока нет сведений, закончил он ее или нет. Вы не в курсе?

Я сказал, что, насколько знаю, пока не закончил.

– Да, да, я так и думал... А еще в этом году в вашу академию собирался поступать Виктор Соколов. Поступил ли он?

Я сказал, что Виктор Соколов приезжал, но решил на год отложить начало учебы. Священник все это аккуратно записал в блокнотик, поблагодарил нас и объяснил, что таково его послушание – собирать информацию о всех православных русских за границей и что мои сведения для него очень важны.

Потом, когда я уже поселился в Руссикуме, отец Викентий показывал мне свою картотеку. Он работал со многими источниками, обрабатывал громадное количество информации, и у него были заведены досье практически на всех сколько-нибудь заметных православных русских за рубежом, а также на многих хоть как-то себя проявивших православных русских в России. На духовенство у него была отдельная картотека – самая полная из всех. Нужно учитывать, что в те годы информация из-за железного занавеса поступала весьма нерегулярно, поэтому всю свою базу данных он собирал по крупинке.

Ничего плохого об отце Викентии, ныне покойном, я сказать не могу. Человек он был милейший, у нас с ним установились отношения весьма теплые, даже сердечные: я расспрашивал его о жизни, он с удовольствием предавался воспоминаниям. Пару раз он мне очень помог, за что я ему до сих пор благодарен. Дело в другом – в том послушании, которое дал ему орден, – следить за людьми, даже не подозревающими об этом и собирать на них досье. Невольно возникает вопрос: с какой целью это делалось?

* * *

Начнем с того, зачем вообще нужно было основывать Руссикум и что это такое. Это папский колледж по изучению русского Православия. В Риме есть также Украиникум, Грекум и так далее – словом, колледжи по изучению всех основных православных народов и их Церквей.

Руссикум был создан лет через десять после большевистской революции. Его основатели руководствовались идеей, что, как многим тогда казалось, советская власть не сможет долго продержаться и через некоторое время непременно обрушится. Как мы знаем, Римско-католическая церковь весьма активно сотрудничала с большевиками, пыталась наладить с ними отношения, а также поддерживала обновленцев и насаждала среди них свою агентуру. Это происходило в 20-е годы, когда советская власть со всей мощью и жестокостью обрушилась на Православную Церковь. Естественно, что Церковь была ослаблена, а к моменту предполагаемого падения советской власти могла, как это виделось из Ватикана, и вовсе быть уничтожена. И если к этому времени Ватикан подготовил бы католических священников, внешне ничем не отличающихся от православных, и массово направил бы их в Россию, то вся она, сама того не заметив, стала бы римско-католической. Представим себе: советская власть обрушилась, Церкви нет – есть только отдельные разрозненные приходы... И вдруг появляются готовые кадры – образованные русскоговорящие священники и епископы, служащие по восточному обряду, только лишь в нужных местах поминающих Римского папу. Они-то и смогут беспрепятственно занять пустующее место.

В те годы складывались книжные фонды Руссикума и Восточного института. Большевики продавали все: иконы, произведения искусства, целые библиотеки... Многие книги, вывезенные из страны беженцами от большевизма, тоже попадали в руки скупщиков:

эмигранты бедствовали и вынуждены были отдавать за бесценок свое имущество. Все это внимательным образом отслеживалось, и Ватикан скупал на распродажах книги для пополнения соответствующих библиотек. В них-то мне и довелось поработать.

Конечно, ко времени моего пребывания в Руссикуме подобных планов уже не было. После окончания Второй мировой войны стало ясно, что советская власть, вопреки всем ожиданиям, утвердилась надолго, но Церковь, несмотря ни на что, выживет.

* * *

Руссикум располагался в большом палаццо XVIII века в самом центре Рима. Его фасад выходил на площадь Санта Мария Маджоре, названной по древнему храму Девы Марии на Эсквилинском холме – одной из четырех исторических римских базилик. Работал я в библиотеке Ватиканского Восточного института, которая располагалась в соседнем палаццо. Между двумя зданиями даже имеется подземный проход, но пользоваться им позволялось только иезуитам. Все «прочие человеки» должны были выходить на улицу и, обойдя весь квартал, подняться по ступенькам с другой стороны. Работал я в библиотеке ежедневно, поэтому собрал достаточное количество материалов, сделал обширные выписки, откопировал на ксероксе множество страниц. Книги из читального зала выносить не позволялось, так что внутри я лишь отбирал и копировал материалы, а разбирал их поздними вечерами в своей комнате в общежитии. Кроме того, в самом Руссикуме имелась собственная прекрасная библиотека: многие книги можно было брать оттуда и работать с ними в комнате. Уже после полуночи я заканчивал работу и ходил на прогулки по ночному городу, в одиночку наслаждаясь его красотами. Так довольно однообразно, но очень содержательно проходили мои дни. За соседними столами в библиотеке работали такие знаменитые римо-католические литургисты – специалисты по православному богослужению, как иезуит

Роберт Тафт и профессор Габриела Винклер. Помню, я писал иронические наблюдения о них своим друзьям в Америку.

В мое время население Руссикума было довольно пестрым. Во-первых, там жила группа уже довольно пожилых иезуитов – представителей «старой гвардии», которые управляли как немалым хозяйством, так и бытием насельников здания, а кроме того, заведовали богослужebной жизнью. Все они прекрасно знали русский язык, богослужebный устав и церковное пение. Кроме того, имелись и собственно студенты. В основном Руссикум играл роль «тематического общежития» для студентов разных папских колледжей и университетов, специализировавшихся на русском Православии. Если это были священники или будущие священники, то образование и, соответственно, проживание оплачивала командировавшая их епархия. Если это были светские студенты, то они жили, как правило, на предоставленные им стипендии. Кроме того, для тех, кто специализировался, так сказать, по русским делам, Руссикум устраивал литургическую практику – служение славянской литургии, изучение устава, дополнительные курсы русского языка и так далее. Однако таких уже не набиралось на все общежитие, так что часть мест предоставлялась совсем сторонним людям. Например, там проживало довольно много арабских униатских студентов, которые занимались своими собственными делами, ничем с православной литургией не связанными.

После провала планов по внезапному переводу России в католичество была разработана другая стратегия – «окаатоличивания» Православной Церкви изнутри. Теперь главная задача ставилась иначе (хотя от обращения некоторых православных в католичество никто не отказывался). Выгодно было действовать шире: через специально разработанную пропагандистскую программу

воспитывать среди православных людей филокатоликов, которые продвигали бы в своей Церкви католические идеи и формировали бы повышение авторитета Римской церкви, а затем и восхищение перед ней. С этой целью и собирались досье, а затем очень внимательно отслеживался любой эпизод, когда тот или иной православный священник соглашался молиться вместе с католиками или, паче чаяния, совместно причащаться. Каждый такой факт фиксировался, чтобы потом послужить общему делу. На меня, например, мягкое «дружелюбное» давление оказывалось постоянно – все время моего пребывания в Руссикуме.

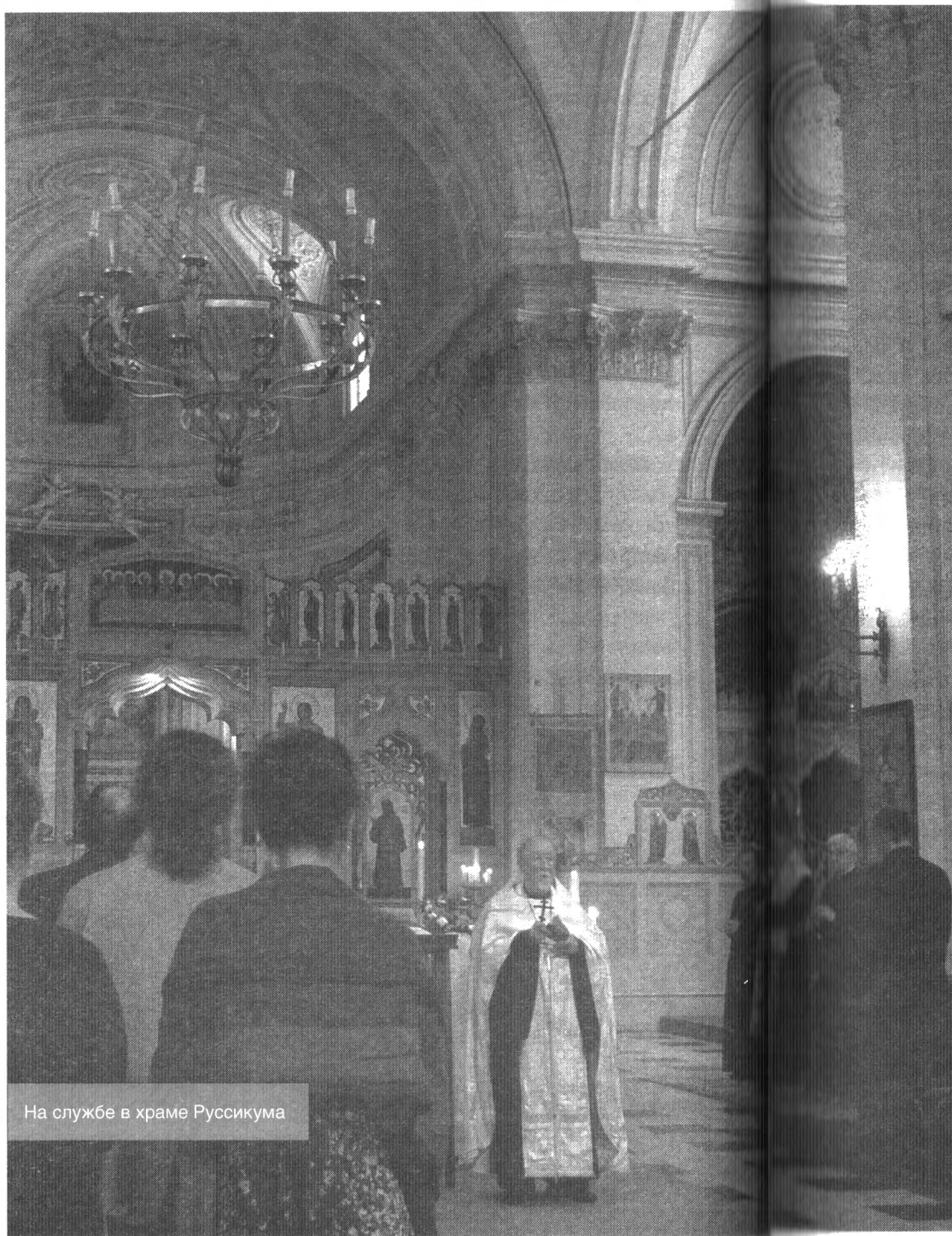
Тогда в Риме было всего два православных храма – греческий и русский, причем последний находился в довольно бедственном положении: в нем даже не было собственного священника. Примерно раз в три недели приезжал мой старый знакомый – отец Николай Чернокрак, священник-серб из Парижа. На пасхальные дни он прибывал к Страстному четвергу и оставался до Светлого вторника, а в обычное время служил лишь каждое третье воскресенье. Когда не было служб в русском храме, я ходил в греческую церковь.

Светлая седмица
в Вашингтоне



Иподиаконы в Николь-
ском соборе Вашинг-
тона. Миша
Попхадзе справа





На службе в храме Русикума

ШОТЛАНДЕЦ МАКЛАКОВ, ОТЕЦ ГЕРМОГЕН, ГРАФ ДЖУЗЕППЕ И БЛАГОРОД- НЫЕ РАЗБОЙНИКИ

Не могу не отвлечься и не рассказать о нескольких своих знакомых из православного Рима.

Когда по пути с Афона мы с Джефффри проезжали через Рим, мы познакомились с замечательным старым православным архимандритом отцом Гермогеном, из русских эмигрантов. В младенчестве его вывезли из России, вырос он в Польше в период между двумя войнами. Тогда Польша была в других границах, и значительная часть населения исповедовала Православие. Отец Гермоген пережил войны, оккупацию, беженство, многочисленные переселения, куда в конце концов не осел в Риме, где служил в греческой церкви и пел на клиросе в русской. Благодаря прекрасному образованию и эмигрантской бродячей судьбе он знал множество языков, но, в отличие от моей американской знакомой Оксаны, лишь один язык – русский – он ощущал родным. Тот самый, уже хорошо знакомый мне, удивительно прекрасный дореволюционный русский язык.

Мы попросились на ночлег, и отец Гермоген поселил нас в квартире своего духовного чада – православного итальянского аристократа, скажем графа. Сам граф отсутствовал – как всегда летом, он отдыхал

в своем поместье в Апулии. В остальное время года работал профессором древнего римского права в Римском университете. Квартира нашего хозяина была типичным обиталищем православного интеллигента-холостяка – с толстым слоем пыли повсюду и паутиной по углам. Разумеется, там имелся стандартный набор книг православного интеллигента (Шмеман, Мейендорф, Лосский, Флоровский, преподобный Максим Исповедник, авва Дорофей, святитель Григорий Палама и прочие) и репродукции икон византийского и древнерусского письма. То есть вполне типичная обстановка, в любой стране можно найти такую квартиру у соответствующего православного хозяина. Я бывал в очень похожих на эту квартиру в Нью-Йорке и Париже, Монреале и Лондоне, Будапеште и Афинах и даже в маленьком городишке в центре Техаса.

Но, разумеется, в каждом из таких обиталищ есть свои отличительные черты. Особенностью квартиры нашего отсутствующего хозяина было то, что в ванне от воды било электричеством. Я с дороги залез в душ и вдруг ощутил, что меня довольно чувствительно дергает. Звоню отцу Гермогену спросить, все ли в порядке, а он говорит: «Да, забыл предупредить, вы душем не пользуйтесь, это опасно: проводка барахлит. Граф все никак не починит». – «А как же он моется?» – «А он к тете ходит душ принимать. Она же ему и стирает».

Отец Гермоген поведал мне историю этого человека (назовем его Джузеппе). Джузеппе очень любил ездить на Афон и хотел стать афонским монахом. Но отец Гермоген все не благословлял его на этот шаг. В конце концов итальянец собрался и уехал без благословения духовного отца. Поселился на Афоне в одном из монастырей, стал послушником, прожил так около года, очень ревностно выполнял все правила и послушания и радовался такому повороту в своей жизни. Примерно через год игумен

ему наконец сказал: «А теперь, Джузеппе, готовься, завтра вечером будет твой постриг». Джузеппе всю ночь не спал: думал про свою тетю в Риме, думал о своем поместье в Апулии, о маме, которая в этом поместье живет, еще о чем-то... Утром, как только рассвело, он собрал чехмоданчик – и назад в Рим.

Во время этого моего пребывания в Риме я наконец-то познакомился с графом Джузеппе. Он был невысоким бородачом с нечесаной кудрявой головой и в толстых очках. В храме он служил уставщиком, псаломщиком и регентом. По-русски говорил прекрасно, хотя и с ярко выраженным итальянским акцентом, превосходно знал церковнославянский (даже пару раз с удовольствием поправил меня). Поначалу он относился ко мне с подозрением из-за моего пребывания в Руссикуме, который он совсем не жаловал, и лишь через пару месяцев начал оттаивать.

В завершение добавлю, что в конце концов граф Джузеппе все-таки стал монахом. Но не афонским. Сейчас он игумен небольшого православного монастыря на юге Италии.

* * *

С самим же отцом Гермогеном в Италии произошла замечательная история – можно сказать, из «коллекции анекдотов». Он жил на окраине Рима в маленькой двухкомнатной квартирке на первом этаже, очень-очень скромно, с минимальным набором мебели. При этой квартирке был миниатюрный зеленый садик, где радушный хозяин любил принимать гостей. Единственное, что у него имелось ценного, – это древний наградной наперсный крест тонкой ювелирной работы, выполненный из серебра с камнями. Это был подарок давно покойного духовника батюшки и потому очень ему дорогой.

И вот как-то отец Гермоген возвращается к себе домой и видит, что дверь раскрыта настежь, в квартире

все перевернуто. Ясно, что побывали грабители. Первая мысль хозяина была о кресте, и он побежал скорее к тумбочке, где тот лежал. Тумбочка была открыта, пустой ящик выдвинут. И вдруг батюшка видит: на столе лежит крест, а под ним – толстая пачка денег. Грабителей нет. Видимо, это оказались настоящие итальянские взломщики, которые, поняв, что попали к священнику, оставили деньги в знак извинения за причиненные неудобства и удалились. Такие вот благородные разбойники...

* * *

В тот раз, когда мы с Джеффри встретили отца Гермогена, мы познакомились и со священником из русской церкви. Тогда храм принадлежал Зарубежной юрисдикции, но выбора у нас не было, и мы отправились туда. Священник – высокий, дородный, рыжеволосый человек в рясе русского покроя поверх светлого подрясника, скуфейке и хромовых сапогах – встретил нас весьма радушно. По-русски он говорил свободно, но с явственным акцентом, что, впрочем, довольно типично для второго и третьего поколения, родившегося в эмиграции. Звали его отец Михаил Маклаков. Матушка его – полная, несмотря на молодость, женщина в очках и платочке – тоже выглядела очень по-русски. Каково же было мое изумление, когда спустя некоторое время священник сознался, что он вовсе не русский, а природный американец шотландского происхождения, обратившийся в Православие. Настоящая фамилия его – Маклафлин, но, став православным, он решил поменять ее на более «приемлемую» с точки зрения его новой идентичности. Матушка, насколько я помню, была смешанного немецко-датского происхождения.

Вечером мы вышли прогуляться. Длинные волосы отца Михаила, его густая борода и крылья рясы развевались на ветру. Под ручку с ним скромно семенила его матушка в юбке до пола и в белом платочке. Мы с Джеф-

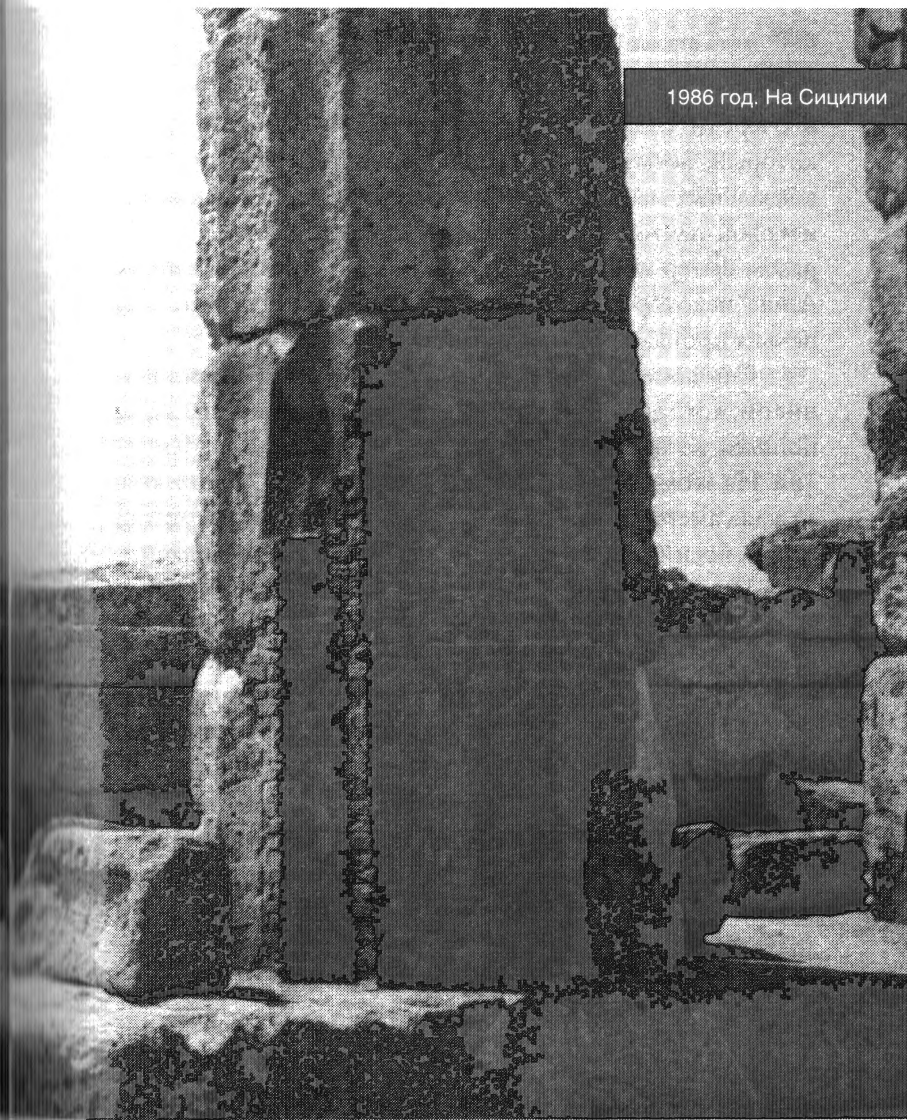
фри, оба с окладистыми бородами, вышагивали с флангов. Римляне оглядывались на такое невиданное зрелище. Время от времени тот или иной подвыпивший прохожий сообщал священнику что-то вроде того, что от него исходят позитивные вибрации. Отец Михаил, явно наслаждавшийся всеобщим вниманием, важно кивал и шествовал дальше.

Через пару лет я узнал, что вскоре после нашего отъезда отец Михаил настолько разругался с приходом, что тот покинул Зарубежную Церковь и перешел в Русский (парижский) экзархат Константинопольского Патриархата. Именно в этой юрисдикции приход и пребывал в то время, когда я вернулся в Рим собирать материалы для диссертации. А Маклаков (бывший Маклафлин) потерялся в какой-то микроскопической раскольничьей «истинно православной» секточке.



МОШЕННИЧЕСТВО ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Я не знаю ни одного рассказа об итальянских впечатлениях, автор которого не поведал бы о том, как его ограбили или надули в этой чудесной южной стране. Не стал исключением и я: случилось и мне побывать в роли жертвы итальянских мошенников.



1986 год. На Сицилии

Помню еще эмигрантский рассказ о том, как в Риме ловко обобрали одну знакомую моих знакомых. Эта дама стояла в очереди в билетную кассу столичного вокзала Термини, когда к ней подбежал мальчишка и попросил показать руку. Дама протянула ему ладонь. Сорванец плюнул на нее и немедленно убежал. К счастью, рядом

в очереди оказался хорошо одетый молодой человек, который, возмущившись распушенностью римских при вокзальных мальчишек, извлек из кармана белоснежный носовой платок и собственноручно тщательнейшим образом вытер пострадавшую ладонь бедной иностранки. Лишь некоторое время спустя дама заметила, что с ее пальца пропал бриллиантовый перстень...

Сам я всегда считал себя искушенным путешественником, которого на мякине не проведешь, пока все же не попался во время автостопного путешествия по Сицилии. На этом острове я впервые побывал в 1977 году, когда ждал американской визы в Италии и активно осваивал европейский автостоп. Тогда от Палермо мне запомнились только пальмы, море и огромное количество флагирующих по улицам совершенно одинаковых пожилых джентльменов с одинаковыми подстриженными седыми усиками и в одинаковых серых костюмах, различающихся лишь степенью дороговизны и новизны. Второй раз я поехал туда году в 87-м, с другом – русским парижанином Даниилом Струве (тем самым, с которым мы через год отправились в поездку по Югославии). Эта поездка была вполне целенаправленной – паломничество по византийским древностям и ознакомление с античными достопримечательностями. До этого мы изучили кучу путеводителей и хорошо знали, куда хотим попасть. Мы проехали автостопом весь итальянский сапог до кончика носка, на пароме переправились в Мессину, посмотрели утопающую в цветах у подножия вулкана Этны Таормину и направились в Сиракузы. На нашем пути располагался город Катания, который в путеводителях не был отмечен ничем, что нас могло бы заинтересовать. Туда мы прибыли уже несколько потрясенными. Дело в том, что подвозивший нас водитель оказался сайентологом – первым в моей жизни. До того хаббардистов я не встречал, да и знал о них немного: что это какая-то чумовая

калифорнийско-голливудская секта, поклоняющаяся научной фантастике, лидер которой Хаббард, как сообщалось в газетах, умер год назад. Из этих газетных сообщений я, собственно говоря, впервые услышал о секте. Человек, подвозивший нас на раздолбанном «Фиате», производил впечатление буйнопомешанного. Он тут же стал убеждать нас принять сайентологическую веру, дико размахивая руками, оглядываясь назад и совершенно не глядя на дорогу. Ух и натерпелись мы страху на извилистом горном шоссе! Но, к счастью, мы доехали-таки до Катании. Сайентолог высадил нас на вокзальной площади и укатил, по-прежнему размахивая руками.

Теперь нам предстояло выбираться из города. Нужно было выяснить, какие автобусы вывезут нас на нужную трассу и, не мешкая, отправляться дальше. День клонился к вечеру, а до Сиракуз добраться необходимо было засветло, чтобы успеть отыскать удобное место для ночлега. Впрочем, пути нам оставалось не более пятидесяти километров.

Мы брели со своими рюкзаками по вокзальной площади, и тут ко мне подошел человек.

– Извините, вы не говорите на местном наречии? – обратился он ко мне по-английски.

Вопрос попал в самую точку. По-итальянски говорить я очень люблю (хотя владею им далеко не совершенно), и самолюбию моему необычайно льстит, когда мне представляется возможность похвастаться знанием этого языка.

– Да, чем я могу вам помочь? – немедленно остановился я.

– Я матрос, пришел сюда с Мальты на торговом судне, – начал свою историю незнакомец. – К сожалению, совсем не знаю итальянского языка. Но мне необходимо выполнить поручение знакомого. Вы не могли бы спросить у кого-нибудь, где тут британское консульство? Да хоть у этого прохожего.

– А зачем вам британское консульство? – поинтересовался после моего вопроса прохожий – средних лет сицилиец, лицом слегка напоминавший актера Энтони Куинна.

– Дело в том, что знакомые попросили меня передать сотруднику консульства чемодан с образцами тканей. Вот я и хочу его туда донести.

– Тогда вы уже опоздали, – отозвался «Энтони Куинн». – Уже полпятого, а консульство закрывается в четыре.

Мальтиец застонал, задержался и стал рвать на себе волосы:

– Что же мне делать?! Я не могу не выполнить поручение своих друзей! Они так меня просили об этом!

– А вы придите завтра, – посоветовал я.

– Не могу я завтра! – пласивым голосом прокричал матрос. – Мое судно отходит через полчаса, и мне придется возвращаться на Мальту с этими тканями!

– О чем он так кричит? – осведомился «Энтони Куинн».

Я перевел ему содержание воплей мальтийца.

Сицилиец сразу заинтересовался:

– Передайте ему, что меня очень интересуют его ткани. Если они подходящие, я купил бы их сам.

– Да это самые лучшие ткани на свете! – закричал мальтиец. – Сейчас я сбегу за ними, вы сами посмотрите и убедитесь.

Он убежал, и мы с приятелем и новым сицилийским знакомцем остались его поджидать.

«Энтони Куинн» поинтересовался, откуда мы родом, и сказал, что редко встречал иностранца, говорящего на таком прекрасном итальянском языке. После этой фразы я ощутил его своим лучшим другом. Затем учтивый сицилиец поинтересовался, куда мы держим путь. Мы сообщили, что едем в Сиракузы, после чего намерены направиться в центр острова в город Энну.

– Так это мой родной город! – завопил «Энтони Куинн». – Я там живу. Как я тронут, что столь просвещенные люди знают, какие города на Сицилии нужно посещать! А ведь кого из иностранцев ни спросишь, никто не знает прекрасного города Энны! А у нас есть так много, чего посмотреть. Вот что скажу я вам: приедете в Энну, будете моими гостями. Остановитесь в моем доме и гостите, сколько пожелаете. Запишите адрес.

Я достал ручку и блокнот и протянул их ему.

– Нет, лучше вы сами запишите, – отмахнулся житель Энны. – Зовут меня Анжело Папалярдо, а живу я на виа Рома, 62. Итак, жду вас в Энне.

К этому моменту подоспел матрос и трясущимися от волнения руками начал открывать свой чемоданчик. Почему-то оба собеседника стали демонстрировать его содержимое мне. Я совершенно не разбираюсь в мануфактуре и ничего не могу сказать о качестве этих тряпок, кроме того что, на мой вкус, они выглядели самыми уродливыми тканями на свете. Но зато на каждой из них стоял жирный штамп «Лондон», на наличие которого и продавец и покупатель сразу же обратили мое внимание.

– Во! Настоящий английский материал!

Папалярдо достал самый верхний рулон и сунул его мне в руки, велел держать изо всех сил. Затем он впился в край ткани зубами и энергично дернул. Зубы у него были весьма аутентичные: желтые, кривые и очень крепкие. Потом он расцепил челюсти и стал тыкать меня носом во вмятины на ткани.

– Ты видишь, какая это ткань?! – восклицал он. – Супер!!! Лучше я не видел!

Отпечатки его зубов действительно видны были очень отчетливо. Больше ничего сказать я не мог.

– Что, тут продаются ткани? – подошел к нам еще один прохожий. – Мне они нравятся, хочу купить.

– Ничего не продается! Все уже решено! – закричал Анжело Папалярдо. – Иди отсюда! Мы сами разберемся.

– Переведи ему, что я все покупаю, – обратился он ко мне. – Надеюсь, он заломит не очень высокую цену.

Мальтиец выглядел весьма довольным и сказал, что продаст ткани с большой скидкой, так как положение его довольно безвыходное.

Анжело подмигнул мне и достал из кармана пачку купюр.

– Что это такое? – поинтересовался матрос.

– Как что? Итальянские деньги, называются лиры, – ответил я.

– Не знаю я никаких лир! – заявил мальтиец. – Я знаю только американские доллары. Это настоящая твердая валюта. Пусть платит мне долларами.

Я перевел это новому другу.

– Но у меня нет долларов, только лиры.

Оба собеседника с надеждой посмотрели на нас. Долларов у нас не было – имелись только дорожные чеки и некоторое количество итальянских лир. Впрочем, про это я не думал. Мне лишь хотелось помочь своему другу сицилийцу, и я стал убеждать недоверчивого и на редкость несведущего матроса, что лира – надежная и крепкая валюта, признанная во всем мире.

– А тогда покажите мне, что у вас тоже есть лиры, – сказал он. – Если я увижу, что у моих друзей – американца и француза – есть лиры, то поверю, что это действительно достойная валюта.

Мы с готовностью достали бумажники. К несчастью для нас, у моего парижского друга, помимо итальянских лир, там лежало еще и некоторое количество швейцарских франков, что, конечно, было замечено.

Мальтиец выглядел удовлетворенным.

– Хорошо, я приму лиры, – согласился он, после чего началась торговля.

Долго и интенсивно спорили они с Папалярдо о цене, с криками и бинениями себя и друг друга в грудь, в ходе чего мы с приятелем уже вообще перестали что-либо понимать. Наконец торг завершился. Сицилиец достал свои банкноты, вручил нам с другом по 10 тысяч лир («Это вам за помощь», – пояснил он, опять подмигнув), а оставшуюся сумму вручил матросу. Тот, пересчитав деньги, завопил, что сумма гораздо меньше договоренной.

– Как! Не может быть! – возмутился Папалярдо и стал выворачивать у себя карманы в поисках новых денег. Их не нашлось. Врученные ранее наградные у нас отобрали и передали мальтийцу, но положения это не спасло.

– Не беда, – промолвил Папалярдо, – моя машина за углом, через час будем в Энне, где я заплачу тебе полную сумму.

– Какая такая Энна?! – заревел матрос. – Мое судно отходит через пятнадцать минут, мы не можем никуда ехать!

Тут настал черед Папалярдо вопить и рвать на себе волосы:

– Не может быть! Неужели сорвется лучшая сделка в моей жизни?! Что же мне делать! Как же мне быть! Я так надеялся, что куплю эту ткань! Как же я буду без нее? Ужас!!! Кошмар!!!

Я понял, что новому другу нужно помочь. Одновременно та же мысль посетила и моего спутника, который высказал ее мне, но не успел я отреагировать, как Папалярдо обратился к нам с просьбой:

– Слушайте, вы же все равно едете в Энну. Пожалуйста, одолжите мне денег, чтобы расплатиться. А чемоданчик пока можете подержать у себя. Доедете до Энны, отдадите мне ткани, а я верну вам долг.

Разумеется, мы были согласны. Каким-то образом оба наших бумажника перекочевали в руки мальтийца с сицилийцем, и начался очень быстрый шелест банкнот

и мелькание денег, переходящих из рук в руки. Покуда отсчитывались купюры, я подумал, что нас ничто не заставляет добираться сейчас в Сиракузы, мы вполне можем направиться вместе с Папалярдо к нему в Энну, тем более что он все равно едет туда на машине, а в Сиракузы мы всегда успеем попасть потом. Но сказать это я не успел. Деньги были отсчитаны, наши изрядно похудевшие бумажники возвратились к нам, и Папалярдо, шепнув: «Только никому про это не говорите, потому что такая торговля запрещена законом», мгновенно растворился в толпе. Мы оглянулись. Матроса давно уже не было возле нас. И тут я прозрел.

– Данилка, они ведь работали вместе! – сказал я другу. Разумеется, так оно и было.

Должен сказать, что катанские жулики, разыгравшие перед нами столь великолепный спектакль, поступили довольно гуманно: они не изъяли всего содержимого наших бумажников, оставив нам небольшое количество денег. Хотя тут был верный расчет: если бы мы оказались совсем без сольдо, нам пришлось бы обратиться в полицию. А так мы решили отказаться от бесполезной траты времени в участке и, попеняв самим себе за глупость и растяпистость, отправились на дорогу в Сиракузы, куда вскоре добрались.

Довольно тяжелый чемоданчик с кошмарными тканями мы таскали с собой два дня, после чего я предложил другу занести его к какому-нибудь портному и продать за любую сумму, которую тот предложит.

– Если ты хочешь этим заниматься, то вперед, – ответил мне Даниил. – Меня же тошнит при мысли об этих тканях.

Так что мы оставили чемоданчик на перекрестке дорог. Десяток лет спустя его, наверное, сочли бы взрывным устройством и расстреляли бы из автоматов. Думаю, поделом.

Когда мы наконец доехали до Энны, то ради интереса сходили по адресу на Римскую улицу (виа Рома), дом 62. Там располагалось отделение Неаполитанского банка (Banco di Napoli). Катанец оказался с чувством юмора. Позже выяснилось, что Анжело Папалярдо – это имя итальянского попсового певца среднего эшелона, которого иностранцы, разумеется, не знают. На это мошенник и рассчитывал.

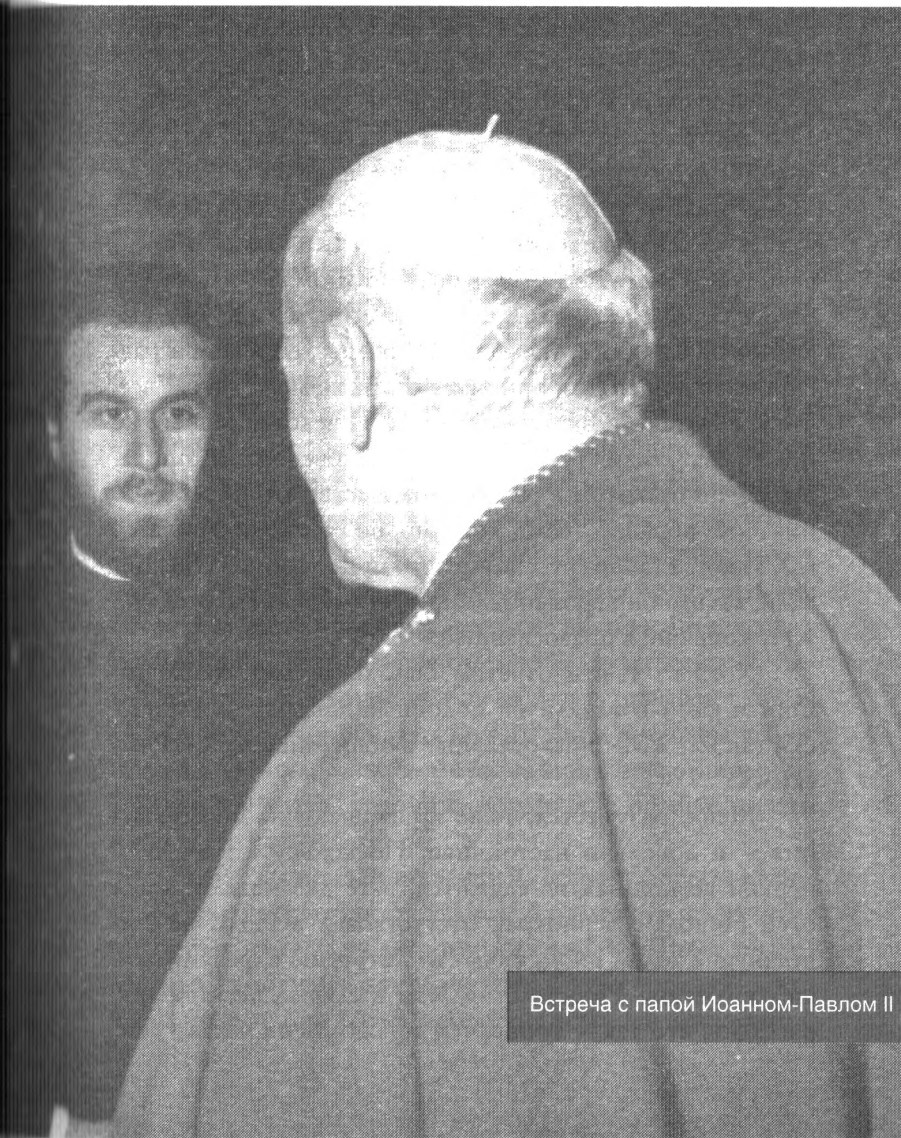
В результате этого приключения наши бумажники полегчали долларов на 200, что тогда для нас было весьма серьезной потерей. Однако позже, вспоминая этот эпизод, я готов согласиться, что он почти стоил этих денег: катанские «артисты» разыграли свой спектакль талантливо, лихо, вдохновенно, самозабвенно и не без юмора, импровизируя и подстраиваясь под нас на ходу. Да и мы приобрели определенный опыт: больше на авансы жуликов я не поддавался.

ЖИЗНЬ В РИМО-КАТОЛИЧЕСКОЙ СЕМИНАРИИ

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Помимо двух православных храмов, в городе была еще богато украшенная, с мраморным иконостасом, униатская церковь,



расположенная в здании Руссикума. Правда, сами они не любили, если их называли униатами: дескать, мы унию не заключали, просто служим по восточному обряду. Служили там по-славянски, хор пел великолепно (не сравнить с графом, в дуэте с отцом Гермогеном или вовсе в одиночку певшим на клиросе).



Встреча с папой Иоанном-Павлом II

На первый взгляд, литургия казалась совсем православной, но какой-то подлог все же чувствовался. Почти незаметная для не слишком сведущего человека разница была в том, что в ектениях и на Великом входе поминался папа Римский. Все остальное – язык богослужения, устав – было почти совсем как в каком-нибудь эмигрантском храме вне России. Разве что всенощную уж очень сильно сокращали (она служилась менее полутора часов) и календарь был григорианский, но это все встречается в эмигрантских приходах. Зачастую получалось, что какой-нибудь наш соотечественник, приехав в Рим и не застав никого в русской церкви, вряд ли отправлялся искать маленькую тесную греческую церковь, где богослужение к тому же велось на непонятном ему языке. Он почти неизбежно оказывался в Руссикуме, где ему оказывались любовь, уважение и интерес, где были и распросы, и общение, и приглашение на кофе – словом, все, что требуется в незнакомом городе. И человек, ничего не подозревая, ходил туда постоянно, исповедовался, причащался, но при этом в римо-католичество его формально никто не обращал (если, конечно, он сам не просил этого). И когда такого руссикумского прихожанина спрашивали, какого он вероисповедания, он чаще всего отвечал: «Ну конечно, я православный».

Хозяева таким ответом бывали весьма довольны. Они и сами отвечали на подобные вопросы практически так же: «Мы православные в общении с папой Римским».

Меня, разумеется, тоже приглашали на богослужения – и довольно настойчиво. Поскольку в греческой церкви всенощная не служит, в те две недели, когда отец Николай Чернокрак отсутствовал в Риме, на всенощную я ходил в Руссикум (на литургию я, разумеется, шел к грекам). Просто стоял там и слушал песнопения, рассудив, что так – лучше, чем никак. Меня начали аги-

тировать: «Пожалуйста, приходите петь в наш хор». На это я честно отвечал, что не имею ни слуха, ни голоса. Однако в покое меня просто так не оставили: «Ну, тогда вы можете почитать на клиросе. Это же очень хорошо, что вы знаете русский язык: наши студенты поучатся правильному произношению». Пришлось ответить, что и читать я тоже не могу, так как по канонам Церкви не могу участвовать в инославном богослужении. Тут последовали уговоры с примерами, что такой-то православный и такой-то православный в таком-то году так поступали, а такой-то священник и такой-то епископ даже служили у них литургию. Но тем не менее я продолжал отказываться, и в конце концов они поняли, что со мною каши не сварить, и эти уговоры прекратили.

Но были и другие возможности. Например, по руссикумскому обычаю перед обедом в трапезной один из насельников прочитывал любой отрывок из Евангелия по его собственному выбору. Чаще всего читающий ограничивался тремя-четырьмя стихами. Через неделю-другую после моего приезда попросили, чтобы завтра прочитал Евангелие я. В недоумении, как поступать, я позвонил отцу Иоанну Мейендорфу. Он сказал, что раз это не церковь, а трапезная и чтение будет проходить вне богослужебного контекста, то он не видит канонических препятствий. Тогда я посмотрел по календарю, какое чтение полагалось в тот день. Как нарочно, отрывок оказался довольно длинным. После того как я прочитал его от начала до конца, а голодные католики, с тоской глядя на дымящиеся яства, его прослушали, мне больше ничего подобного не предлагали.

Однажды меня пригласили на встречу с папой Иоанном-Павлом II (тогда он был еще в полной силе), ежегодно проводимую для всех проживающих в Риме православных стипендиатов. Вероятно, даже скорее всего, это было частью той самой пропагандистско-агитационной

программы, но я не видел никаких причин, по которым я должен был бы отказаться. К тому же мне было интересно посмотреть на прославленного понтифика вблизи.

Сначала мы присутствовали на торжественной мессе в соборе святого Павла, а потом нас провели для аудиенции в большой зал, расположенный за алтарем. В основном православные стипендиаты были греческими студентами, но имелись и другие: румыны, сербы и еще кто-то. Нас выстроили вдоль стены и велели ждать «святого отца». Минут через пятнадцать он зашел, окруженный группой помощников, и ему указали на нас. Папа подошел к каждому, говорил по несколько слов и протягивал руку для поцелуя. Я не стал ее целовать и просто пожал ее. Папе сообщили, что вот, мол, это наш единственный русский стипендиат. Он, видимо, не понял и несколько раз переспросил по-итальянски, кто я такой, затем задал мне пару тривиальных вопросов на весьма примитивном английском с сильнейшим польским акцентом и шагнул к моему соседу. Несмотря на повсеместные сообщения, что папа прекрасно владеет русским языком, ни слова по-русски я от него не услышал.

Меня поразило лицо знаменитого понтифика: на фотографиях и по телевидению он выглядел необычайно добреньким, разве что слегка рассеянным, улыбчивым старичком. Вблизи же у него оказалось очень жесткое, очень волевое и далеко не самое приятное лицо. Никакого желания общаться с этим человеком и узнать его поближе оно не вызывало.

Справа от меня стоял молодой грек, обучавшийся в одном из римских университетов. Он также ограничился пожатием папской руки, не склонившись к ней для поцелуя. Я порадовался, что рядом со мною оказался единомышленник и ободряюще улыбнулся ему. И вдруг он говорит:

— Как же я так не собрался! Я хотел сказать, так хотел ему сказать, хотел сказать самое главное...

Ну, думаю, вот это настоящая ревность о Господе! Хотел человек папу обличить в еретичестве! Спрашиваю парня:

— Так что же ты хотел ему сказать?

— Я хотел поцеловать его святую руку и поблагодарить за то, что он существует!

Я посмеялся над своим разочарованием, но еще раз имел возможность убедиться в эффективности пропагандистских программ Ватикана.

* * *

Вскоре после аудиенции мне позвонили из секретариата «Христианского единства» и сообщили, что «святой отец» через несколько дней собирается совершить международную мессу в Санта-Мария Маджоре, в которой планируется участие людей, говорящих на разных языках. К сожалению, не нашлось никого, кто без акцента говорил бы по-русски, и тут они как раз узнали про меня. Поскольку я из России («а, как вы знаете, святой отец очень любит Россию!»), было бы замечательно, если бы я согласился прочесть на мессе Апостол.

На это я очень вежливо ответил, что благодарю их за честь, но, по всей видимости, им поступила какая-то неправильная информация относительно моего вероисповедания, так как я православный, а не римо-католик.

В ответ мой собеседник закричал: «Какая разница! Мы же практически единая Церковь! У нас многие православные не только что Апостол, но и Евангелие читали, не то что миряне, духовенство у нас сослужит. Вот, например, такой-то священник и такой-то епископ...»

Я еще раз извинился и сказал, что за других не отвечаю, но сам делать этого я не могу и не буду. Уговоры длились минут десять, но я продолжал отказываться. После этого эпизода все попытки вовлечь меня в межконфессиональные богослужения прекратились уже окончательно.

Думаю, что те, кто предоставил мне эту стипендию, были сильно разочарованы: наверное, она подразумевала мое большее расположение к подобного рода деятельности и большую покладистость. С их точки зрения, «оказанного мне доверия» я явно не оправдал, но для себя вынес полезный урок.

* * *

Другой урок, который я получил, – это урок бытовой жизни в закрытом католическом учебном заведении. Думаю, об этом неприятном опыте тоже необходимо рассказать.

Среди всех папских колледжей Руссикум славился самой лучшей кухней. Повар действительно был отменным, но совсем не русским, а типично итальянским. Но вот с уставом постов у них возникали серьезнейшие проблемы.

Среды и пятницы не соблюдались вовсе, да и многодневные посты отражались на трапезе лишь символически. В том году день празднования Пасхи у православных и римо-католиков совпадал, а значит, совпадали и дни Великого поста. Тут-то я и узнал, что мяса не подают только в первую неделю поста и в Страстную седмицу, но с яйцами, молоком, сырами и рыбой ограничений нет. В остальные недели – трапезы как обычно. Помню, в Страстную пятницу, направляясь на богослужение и проходя мимо трапезной, я слышал, как выходящие оттуда руссикумские насельники громко обсуждали деликатесную рыбу под мадерой, поданную на обед, и сожалели, что Великая пятница бывает только раз в году.

Конечно, постящемуся можно было выбрать что-нибудь подходящее на столе. Я обыкновенно питался гарнирами: картошкой со шпинатом, макаронами без соуса, рисом и тому подобным. Да и зеленые салаты всегда подавали. В общем, никаких особых лишений я не испытывал. Я выбирал все, что мне требовалось, на столе, и мне этого

вполне хватало. Еду других я никак не комментировал и надеялся, что и на меня никто внимания не обращает. Но не тут-то было! Вначале надо мной просто посмеивались – вот, дескать, какой тут у нас постник объявился, чтобы призвать нас всех к благочестию. Вскоре эти насмешки переросли в плохо скрываемое раздражение. Я старался не отвечать и не обращать внимания на моих сотрапезников.

Так оказалось, что православные каноны, знанием которых все руссикумское руководство безмерно гордилось, имеют для них лишь относительное значение. Как униатство является своего рода духовным маскарадом, в котором католическое богословие прикрывается внешним видом православного богослужения, так и устав соблюдался лишь внешне – для тех, кто не видел их внутреннюю, закрытую жизнь. Очень характерно на этот счет высказался один римо-католический диакон из Франции, который сразу похвастался мне тем, что перевел на французский язык массу славянских богослужебных текстов, полагая, что православные французы должны быть ему по гроб жизни за это благодарны. Как-то в середине поста, после сытного обеда, лоснящийся от сытости и слегка осоловевший диакон, покосившись в мою сторону, очевидно, почувствовал какое-то неудобство и, решив оправдаться, изрек, что у него православное сердце, католический ум и протестантский желудок. Такая получилась интересная экуменическая анатомия.

* * *

Но это было лишь одним из симптомов серьезной болезни. Прожив полгода в католическом семинарском общении (да еще попав туда из точно такого же общежития, но православного, так что мне было с чем сравнивать), я изнутри увидел глубочайшие проблемы Римской церкви. Наверное, главная из этих проблем – клерикализм.

Конечно, в Православии он тоже присутствует, но ему далеко до тех масштабов, в которых он пронизывает Римо-Католическую церковь. Духовенство ощущает себя отдельным закрытым кланом, особым классом, выделенной кастой. Их поведение на публике, общение с прихожанами и то, как они ведут себя в кругу, где «все свои», — это совершенно разные типы поведения. И человеку со стороны, наблюдающему, что творится внутри их сообщества и как они сами воспринимают себя и мир, становится даже страшно. Разумеется, есть в Римо-Католической церкви и искренние, самоотверженные священники. Таких я тоже встречал. Но все же, по моим наблюдениям, характерным является то, что я наблюдал в Руссикуме и в других римо-католических сообществах, где мне довелось побывать.

Во многом такое самоощущение связано с celibатом, то есть обетом безбрачия, обязательным для римо-католического священника. С одной стороны, это значит, что многие искренне верующие западные христиане, которые хотели бы стать священниками, отказываются от своего стремления, ибо знают, что не смогут понести пожизненный celibат. С другой стороны, получается, что путь священства часто избирают люди, имеющие некие (пусть даже пока нереализованные) гомосексуальные наклонности. Попав в семинарию и видя вокруг себя людей, одержимых той же страстью, они рано или поздно перестают сдерживаться (если даже поначалу и старались). Более того, даже не имеющие порочных наклонностей молодые люди, которые искренне любят свою церковь, всем сердцем желают посвятить себя Богу и соглашаются на celibат, в семинариях просто развращаются.

Мне удалось многое увидеть и заметить, так как меня принимали практически за своего и поэтому ничуть не стеснялись. Все равно, мол, православный семинарист, будущий священник, то есть человек из нашего клана,

значит, все понимает. Они даже не представляли себе, что у нас может быть как-то по-другому.

Больше всего меня поразило отношение римо-католических священников к женщине. Внешне все выглядит замечательно — они общаются с прихожанками, выслушивают исповеди, дают благочестивые советы, посещают дома, принимают пожертвования и так далее... Но совсем другое — когда католические клирики общаются между собой: женщина воспринимается ими как некое отвратительное, грязное существо. Я понимаю, что в мужской компании принято подшучивать над женщинами, рассказывать анекдоты, жаловаться на жену или тещу, но там было все совсем по-другому. Анекдоты, которые эти семинаристы и священники рассказывали о женщинах, были невероятно грязными, тошнотворными, с упором на женские физиологические особенности и женскую нечистоту. О женщине они рассуждали как о какой-то отвратительной нежити, с которой они вынуждены общаться, которую вынуждены терпеть и даже относиться к ней как к человеку. «Как же тяжело нам это делать! И как героически мы терпим эту страшную обузу!»

То есть роль доброго и благостного отца, которую католический священник играет перед прихожанкой, — это не более чем маска. На самом деле, общаясь с женщиной, он постоянно преодолевает глубокое внутреннее отвращение. И это лицемерие становится его второй натурой.

Таким образом, первое, что внушается молодому человеку, когда он поступает в семинарию, — это отвращение к женщине. Как правило, молодой семинарист старается брать пример со своих старших товарищей, которые уже приспособились к этой жизни и хорошо знают здешние порядки. А в них почти неизбежно присутствует гомосексуализм, который передается от поколения к поколению и, что ужасно, воспринимается как

нечто абсолютно нормальное. В Руссикуме женщины не могли подниматься выше второго этажа: начиная с третьего располагались спальни. Но поток посетителей мужского пола никак не ограничивался. Обитатели верхних этажей частенько приводили к себе в гости «дружков». Помню, как один арабский униатский ксендз пришел на вечернюю трапезу в сопровождении какого-то очень вертялого и манерного юноши, на вид еще не вполне совершеннолетнего, сообщив, что это – его друг. При этом значительная часть студентов переглянулась и хихикнула, но вполне по-доброму, как при виде вполне простительной слабости. В глазах же нескольких других прочитывалось даже завистливое чувство.

Еще раз повторю: я ни в коем случае не хочу сказать, что все римо-католические священники – лицемеры и мужеложники. Но, несомненно, в Католической церкви присутствует глубокий кризис, который точит ее изнутри, так что самые лучшие и самые искренние люди, посвящающие себя служению ей, либо рано или поздно разворачиваются, либо остаются на второстепенных ролях, не в силах конкурировать с наглыми и напористыми циниками, выращенными в католической системе духовного образования.

* * *

Одновременно со мной в Руссикуме проживал и учился молодой итальянец Стефано Каприо, сегодня – видный римо-католический деятель, более десяти лет проведший в России. Он служил в Москве, Владимире, Ярославле и, по-моему, в других городах и, скорее всего, занимался еще какой-то деятельностью, раз в конце концов ему был запрещен въезд в нашу страну. Сейчас он профессор того самого Восточного Института в Риме, в библиотеке которого я работал. Когда мы жили в Руссикуме, он был новорукоположенным священником, активно изучав-

шим русский язык и культуру. Перестройка тогда только начиналась, но появились шансы на поездку за железный занавес.

Уже тогда он говорил, что мечтал бы жить и служить в России. Я попытался узнать, зачем ему наша страна, когда в его родной Италии так много можно сделать для проповеди христианства – ведь сколько людей не ходит в церковь, а из тех, кто ходит, многие являются лишь номинальными христианами... Но он рвался именно в Россию. Впервые после основания Руссикума это желание смогло осуществиться. Стефано Каприо повезло: он стал одним из первых среди специально подготовленных Руссикумом кадров, которые, пусть даже и через шестьдесят лет после начала этого проекта Ватикана, все-таки попали в Россию.

* * *

Однако, насколько я вижу, со времени основания Руссикума весьма видоизменились задачи, которые изначально перед ним ставились. Униатский проект – во всяком случае в России – провалился, и в Ватикане это вполне осознали. Сейчас целью католиков является не скрытая подмена Православия католичеством, а наоборот – открытая демонстрация альтернативы. Например, пятидесятиминутная римо-католическая месса вместо полутора-двухчасовой православной литургии, использование в богослужении современного, а не древнего языка, возможность сидеть, а не стоять за мессой и тому подобное. Священник – образованный европеец, владеющий несколькими языками, который, конечно, очень отличается от нашего провинциального батюшки, обремененного семьей (часто немалой) и загруженного всяческими проблемами: требами, строительством, прорабством, постоянными поисками денег на восстановление храма, на возведение приходского дома – всем тем, что оставляет ему куда меньше времени на общение с прихожанами. Даже сам факт того, что ксендзы – в основном иностранцы, с таким милым акцентом говорящие по-русски, придает им дополнительное обаяние в глазах многих людей. С этой точки зрения, римо-католикам открывается, можно сказать, прямая дорога к умам интеллигенции, в особенности – интеллигенции провинциальной. Ведь именно в провинции уровень образования духовенства намного ниже, а загруженность священников бытовыми

делами намного выше. А тут интеллигент приходит в костел, где его встречает образованный ксендз, у которого и времени для общения достаточно, да и образование позволяет поговорить, скажем, о Прусте, о Кафке, о Хайдеггере... Дальше – больше: литературные вечера, европейская культура, органичные концерты... И в результате русские люди, когда-то крещенные в Православной Церкви, переходят из Православия в римо-католичество.

И я думаю, весьма показательно то, что один из самых популярных в сегодняшней православной Москве культурных центров, в котором проводится значительная часть презентаций новых православных изданий, принадлежит культурному представительству Ватикана в нашей стране.

* * *

В 90-е годы католические приходы росли по всей России. Затем, несмотря на совсем небольшую численность католиков в России, было создано несколько епархий – явно с прицелом «на вырост». То, что часть этих епархий называется апостольскими администрациями, сути не меняет. Причина же такого форсированного распространения римо-католичества за пределами его традиционных территорий в том, что там, где оно является доминирующей религией, оно переживает глубочайший кризис.

Во Франции, например, римо-католичество сегодня представляет собой удручающее зрелище. Множество церквей закрывается, а те, что еще действуют, – практически все полупустые. В Португалии, по словам очевидцев, костелы сдаются под разные светские цели, потому что их не могут заполнить народом, и, соответственно, нет средств на их содержание. В Испании и Италии ситуация несколько лучше, но не намного. Держится римо-католичество в основном за счет Польши, в которой ситуация исторически складывалась иначе. Долгое время Римо-Католическая церковь была символом противостояния коммунизму, символом освобождения и, таким образом, подпитывалась протестными чувствами. Сейчас же, когда коммунизм отошел в прошлое, число практикующих римо-католиков неизменно сокращается и в Польше, но пока еще по наполненности костелов по воскресеньям эта страна лидирует. Однако, хотя подавляющее большинство населения относит себя к католикам, антиабортный закон, который костел лоббирует уже много лет, провести никак не могут. Получается, что те же самые люди, которые приходят на мессу, голосуют против антиабортного закона, да и сами делают аборт, количество которых в Польше совсем не мало.

Итак, кризис католицизма в Европе налицо. И, может быть, именно поэтому римо-католичество так нуждается в новых территориях и новых людях. Руссикум продолжает работать и исполнять свою миссию.

* * *

Всего в Руссикуме я провел полгода и тогда же, будучи еще в Риме, получил другую стипендию, благодаря которой месяц прожил в Париже, где прошел курс французского языка. Через моего друга Даниила Струве (в доме его родителей я обычно останавливался в Париже) я уже был знаком со многими русско-французскими семьями, ведущими свое начало от самой первой, белой, эмиграции, и их потомками. В тот визит через общих приятелей мне посчастливилось побывать в доме младшего сына великого Столыпина – Аркадия Петровича – и пообщаться с ним. Таким образом, я, хотя и опосредованно, прикоснулся к символической нити, ведущей к одному из самых почитаемых мною государственных деятелей России. Остаток лета я прожил у своих знакомых в Тоскане, где ежедневно работал над диссертацией, приводя в порядок и систематизируя собранные в Риме материалы. В начале осени я вернулся в Нью-Йорк.

Это был не первый мой визит в Италию и, конечно, не последний. Но я часто вспоминаю тогдашнее мое пребывание в Риме – как я уже говорил, самом моем любимом (конечно, после родной Москвы) городе. По-моему, это один из самых красивых городов мира. Я уже писал о своей любви к Риму, возникшей во время моего первого, четырехмесячного пребывания в нем. Но теперь я видел в нем еще и город с христианским прошлым, что чувствуется повсюду, со множеством святынь, оставшихся еще от древней Церкви: преемственность с ней, прошедшая сквозь века (пусть даже только культурная и историческая преемственность), ощущается в Риме во всем.

Я не знаю, атмосферу какого еще города можно сравнить с теплом, разлитым в римском воздухе, с пространством, наполненным всевозможными звуками, резкими и тихими, и запахами, приятными и не очень. Впрочем, тихого там довольно мало, больше все-таки громкого. И удивительные контрасты на узких римских улочках между светом и тенью, причем переход этот очень резок. Повсюду фонтаны с удивительного вкуса ледяной водой, которую я постоянно пил, дома с запыленными оливковыми ставнями... Характерный для Рима облезлый вид этих домов на самом деле часто является плодом творчества очень искусных штукатуров. Чтобы в городе отреставрировать старый дом, нужно сначала получить массу разрешений и потом пользоваться такой краской, которая немедленно начнет облезать — чтобы дом не выделялся новизной.

В Париже, которым восторгаются столь многие и романтичность которого воспевают поэты, историческая преемственность совершенно отсутствует: да, там есть небольшие средневековые фрагменты, но в основном то, что мы видим там, — это генеральная реконструкция города, проведенная в конце XIX века, в ходе которой почти весь старый Париж был снесен под корень. Делалось это, чтобы уничтожить маленькие кривые переулочки, столь удобные для возведения баррикад, что и происходило неоднократно в течение всего XIX века. Можно назвать этот воплощенный в жизнь план реконструкции Парижа первой «большевистской» градозастройкой. Так и появились знаменитые парижские бульвары, которые, сколько бы раз я там ни бывал, честно говоря, так и не научился внешне отличать друг от друга, потому что все они совершенно одинаковые... И какой контраст теплым, охряным римским зданиям представляют дома вдоль парижских бульваров, отделанные некрашеной штукатуркой — холодные парижские здания цвета серо-коричневой старой человеческой кости...

Во Франции: слева
поэт Юрий Кубланов-
ский, справа Даниил
Струве



Гоминдский турист
в Париже беседует
с отцом Ильей Шма-
ним. Я перевожу



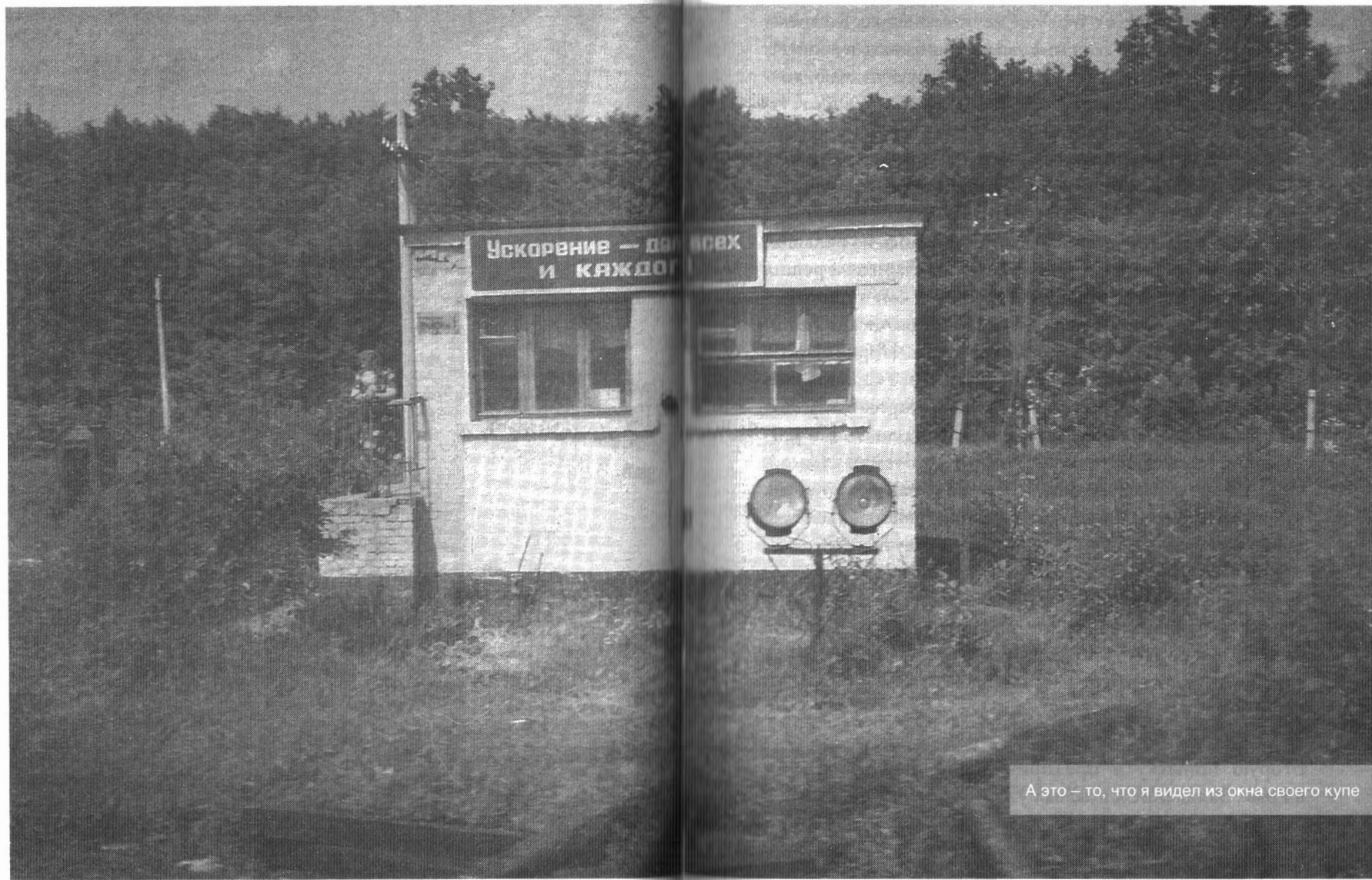
С другом
на парижской крыше



В МОСКВУ, В МОСКВУ...

В Нью-Йорке у меня был еще год, чтобы написать работу. Я почти было уложился в срок, но все же не успел вовремя сдать текст. По завершении работы я отдал его приятелю, чтобы тот отредактировал мой английский, а тот

задержал его слишком надолго. Защиту пришлось перенести на осень. То был последний год, прожитый мною в академии. Так как график теперь оказался совершенно свободным, мне удалось совместить написание диссертации с несколькими подработками. Я преподавал русскую историю в Высшей Манхэттенской школе искусств. Так



А это — то, что я видел из окна своего купе

называлась академия художеств, то есть высшее учебное заведение, в котором помимо самих художеств, было обязательным изучение общеобразовательных предметов. Кроме того, я вел курс русского языка в Свято-Владимирской академии и делал переводы. В СССР разворачивалась перестройка, и мы все внимательно за нею следили. Хотя я знал о ней уже не понаслышке. Во время моего итальянского лета мне удалось побывать в Москве. Этот невероятный визит продлился целую неделю, точнее семь дней и восемь ночей. В родном городе я отсутствовал десять с половиной лет.

То была уже вторая моя попытка поехать в Россию. Первую я предпринял в 86-м году, когда перестройка шла уже полным ходом, но советская система еще стояла крепко. В то время я, только что вернувшись из большой поездки по Югославии, гостил у друга в Париже и решил попытаться въехать в СССР с французской туристической группой, надеясь, что меня там не вычислят (я понимал, что в советском консульстве в Нью-Йорке шансов не было никаких). Но и в Париже меня все же опознали и визы не дали. Поначалу вроде все шло хорошо, и агентство сообщило, что можно уже вносить деньги. Но когда я пришел в туристическое бюро с требуемой суммой, они развели руками, сказав, что со мною заминка, так как в консульстве хотят видеть меня лично. Я направился туда и впервые за девять с половиной лет с ощутимым трепетом зашел на советскую территорию. Там на меня посмотрели через окошко и сказали, что нужно еще подождать, а через несколько дней вернули паспорт с отказом в визе безо всяких объяснений. Я особо не расстроился, так как в общем-то ни на что не рассчитывал.

* * *

Вторую попытку я предпринял в 1987 году, будучи в Риме. Заявление я подавал уже не на групповую поездку,

а на индивидуальный тур, потому что экскурсии по плану «два дня в Москве и пять в Алма-Ате и Ташкенте» или «три дня в Москве, два в Петербурге и два в Киеве» — меня совершенно не устраивали. Мне не хотелось тратить драгоценное время на Родине ни на что, кроме Москвы. И я запросил индивидуальную поездку — тур на семь дней и восемь ночей. На большее денег у меня не было.

Мариновали меня очень долго. Думаю, в консульстве просто растерялись, не понимая, как поступить в подобной ситуации. Естественно, мое советское происхождение сразу вычислили, но вот что со мной делать — не знали: Горбачев провозгласил путь «открытости» и «демократизации». Выдать мне визу не позволял наработанный десятилетиями советской власти инстинкт, не выдать — значило признаться в отсутствии демократизации. Консульские избрали средний путь — тянуть, не говоря ни «да» ни «нет». В течение целого месяца мне постоянно повторяли: «приходите завтра», или «через два дня», или «через три»... Очевидно, они надеялись, что в конце концов мне надоест, и я сам заберу свой паспорт.

Но вышло иначе. В Италии за это время у меня появилось много приятелей, среди которых — одна журналистка, часто писавшая о России в популярной итальянской газете. Она предложила пойти со мной в консульство, где предъявила свое журналистское удостоверение, достала диктофон и сказала, что пишет статью о плодах перестройки в СССР. В статье речь пойдет и обо мне — ее друге, в частности о том, что я хочу поехать в Москву, навестить своих родных, а мне не дают визы. И ей очень интересен этот факт — как доказательство того, что перестройка, видимо, еще не достаточно «перестроилась».

На что перепуганные консульские ответили: «Почему же не дают? О чем речь! Пусть приходит завтра».

И на следующий день мне действительно выдали визу. Так я наконец-то смог поехать в Россию.

* * *

Было и радостно и страшно. Денег у меня оставалось совсем мало, и я купил билет на поезд. Московский вагон практически пустовал, большая часть купе стояли запертыми. Проводниц я тоже не помню – видимо, они не особо выходили из своего закутка. Три дня в пути, через Венецию и Будапешт, где поезд простоял целый день. Это и был мой первый взгляд за железный занавес (Югославия, где я бывал уже несколько раз, находилась вне него). Все эти долгие три дня я пребывал в весьма странном состоянии, по мере приближения к России, а затем – к Москве внутреннее напряжение все возрастало. Однако я очень мало что запомнил от того путешествия: видно, настолько был переполнен эмоциями, что мозг отказывался регистрировать внешние впечатления. В Будапеште я вышел погулять в город и, увидев на улице армейский наряд, заметил, что форма венгерских солдат удивительно похожа на ту, которую я знал с детства. Когда они подошли поближе и я услышал родную речь, то понял, что это солдаты советской армии – Варшавский договор еще никто не отменял.

Вечером поезд выехал из Будапешта и поздно ночью прибыл в Чоп. Сейчас название этого пограничного городка в Закарпатской области Украины мало кто помнит. Но тогда его знали почти все: даже переиначили известную поговорку: «Не кажи "гоп", покуда не перескочишь через Чоп».

Чоп был воротами Советского Союза для всей Юго-Западной Европы, откуда к нам сжали через Венгрию. Тут поезд останавливался не только для чрезвычайно тщательной проверки документов и таможенного контроля, но и для своеобразной операции: ширина рельс в Европе и в СССР разная, поэтому в этом месте у поездов меняли

колеса. На это уходило несколько часов, и, как правило, процедура происходила ночью. После пограничной проверки (ух, все нормально, пронесло...) я вышел из вагона, чтобы обменять деньги на станции, и попал в какой-то сюрреалистический параллельный мир: тьма, блуждающие лучи прожекторов, узкие коридоры между вагонами с колючей проволокой по бокам и вдоль них – пограничники с автоматами и собаками, рвущимися с поводков. Страшное, пугающее зрелище! В довершение нереальности происходящего над нами висели поднятые в воздух вагоны со светящимися окнами, из которых выглядывали заспанные бледные лица. А под вагонами с грохотом и лязганьем сами собой пролетали колеса, сталкиваясь и останавливаясь в нужных местах.

Мне пришлось подождать, пока наш вагон опустили, и я снова в него зашел. От усталости и шока я сразу уснул, а когда проснулся, всюду светило солнце и поезд бодро отстукивал колесами по украинским просторам. Так я вновь пересек эту границу. Может, и хорошо, что мое возвращение благодаря поезду оказалось так растянуто во времени: наверное, при самолетном перелете у меня возник бы слишком сильный шок от резкой смены обстановки.

* * *

Я уже писал, что эмиграция подобна смерти: уезжаешь туда, откуда нет возврата, – в полную неизвестность и неизведанность. Наверное, осознание необратимости шага, поступка – одно из самых страшных переживаний человека. Зато возвращение – своего рода ощущение воскресения, которое прорастает изподволя, постепенно: начинается с предчувствия самого события, которое постепенно претворяется в реальность. Удивительно и чудесно видеть дорогие, родные места, которые, как ты ранее был уверен, мог бы никогда больше не увидеть.

Осознание того, что финальность разделения преодолеть невозможно, настолько въелось в мой ум, что, когда приезжавшие из Москвы американские приятели привозили мне, например, испеченный мамой свежий пирог, этот факт как-то не укладывался в голове: я знал, что нас с мамой разделяет, скажем, восемь лет, а лежащему передо мной пирогу – всего один день!

Теперь ощущение непреодолимости стремительно пропадало. Но сама эта перемена уже создавала тяжелый стресс. Его усугубляло еще и то, что я увидел дома: неустроенность, разруха и нищета тогдашней России невероятно резали глаз. В моей прежней жизни я их не замечал. Уезжая, я знал, что мама моя живет в средней, нормальной квартире, в среднем, нормальном доме. Но за почти одиннадцать лет моего отсутствия в России представление о «среднем» и «нормальном» у меня изменилось, и в мыслях своих я представлял весь московский быт несколько иначе.

Когда я подошел к своему дому, то испугался, что не узнаю его. Я понимал, что это – мой дом и что другого здания там быть не должно, но передо мной возвышались какие-то жуткие трущобы, намного хуже, чем памятные мне гарлемские строения. Гарлем – тоже трущобный район, дома там старые, облезлые, но зато повсюду вокруг яркие краски, лавки с овощами и фруктами, магазины всякого рода дешевых товаров и всевозможного скарба, в общем – постоянно кипит жизнь; а тут – мертвые трущобы, как будто в доме этом долгое время никто не жил. Склизкие стены, вонючие помойки, темные грязные подъезды и ужасно маленькие, тесные, хуже, чем пуэрториканские, квартирники. Боже, как же люди могут так жить! Все время щемило сердце.

Но была и другая сразу бросающаяся в глаза перемена. Все-таки уезжал я из Советского Союза, где при виде милиционера лучше было сразу перейти на другую сторону улицы, а при беседе – постоянно оглядываться

по сторонам. Телефонные переговоры также нужно было вести осторожно. Знающие люди даже советовали при откровенных разговорах в квартире накрывать телефон подушкой – ведь прослушку можно вести и при лежащей трубке. И вдруг этот всепроницающий страх пропал. Я увидел неожиданно прорвавшуюся сквозь все заслоны свободу, ощутил, что люди перестали бояться и говорят открыто, не оглядываясь по сторонам и не опасаясь телефона. И это было очень отрадное чувство. Можно сказать, что я вернулся в Москву с гораздо более советскими ощущениями, чем все люди вокруг меня. Буквально за пару лет они это уже изжили.

* * *

Впрочем, конечно, не все. Когда я приехал в Москву год спустя – уже во второй раз (была осень 1988 года, и перестройка уже чувствовалась всеми и повсюду), то в первый и единственный раз зашел в свою школу. Дело в том, что в числе людей, благодаря которым пришел к вере, я часто вспоминал свою учительницу литературы, открывшую в свое время для меня Достоевского. Я вспоминал, с каким вдохновением она рассказывала о зарождении веры у писателя и мечтал, как отыщу ее, поцелую ей руку, скажу, что я уже не такой непутевый, каким она воспринимала меня раньше, в годы моих хипповых экспериментов. Я пришел в школу, но ее там не застал. Зато столкнулся с учителем английского языка, которого я помнил вполне советским человеком. К моему удивлению, он чрезвычайно мне обрадовался, завел на школьное радио и записал со мной интервью на английском языке. Мы с ним очень хорошо пообщались. Он-то и дал мне домашний телефон той самой учительницы. Я позвонил ей тут же, из автомата напротив школы, и заорал в трубку:

– Здравствуйте, это Саша Дворкин, ваш ученик, помните такого?

Она как-то очень напряженно ответила:

– Откуда вы звоните?

Я ответил, что из Москвы, что я только что прилетел из Нью-Йорка... Хотел сказать, что очень хочу ее видеть, но не успел, ибо она, резко меня прервав, четко и раздельно произнесла:

– Я вас прошу, никогда больше не звоните мне! – и повесила трубку.

Меня как холодной водой окатило. Разумеется, больше попыток увидеться со своей учительницей я не предпринимал. Почему она так себя повела, остается для меня загадкой.

* * *

Но это было во время второго моего визита домой. В первый же раз на посещение школы у меня не было времени. Зато тогда я впервые осуществил свою давнюю мечту – прошел по московским церквям. Тут со мною произошла одна чрезвычайно забавная история.

Я ведь впервые был на Родине в совершенно новом качестве – православного христианина – то, о чем все эти долгие годы я мог лишь грезить, полностью осознавая несбыточность подобных грез. С какой жадностью я пытался детали и подробности церковной жизни в России у тех немногих эмигрантов «третьей волны», которые уехали, будучи церковными людьми!

Но вот, Божиим Промыслом все сбылось. Я вернулся к истокам, к тому бесценному сокровищу, которого я не ведал, покидая Россию. Теперь я видел все совсем иначе и совсем по-другому. Естественно, рано утром на второй день в Москве отправился на службу. Ближайшим от дома моей мамы известным мне действующим храмом был храм Всех святых на Соколе. Я зашел в полупустую еще церковь. За клиросом начинали читать часы. Я купил свечи (выбрал самые толстые) и стал расставлять их

в подсвечники. Неожиданно ко мне подошла представительница известной по многим рассказам породы женщин в синем халате (кстати, эта была совсем не старой) и, схватив меня за руку, с ужасом во взоре зашипела: «Что вы делаете?»

– Ставлю свечи, – удивился я.

– Да, но какие свечи?

– Обычные, тут за ящиком купил – вон у той дамы.

– Но это же рублевые свечи!

– Да, ну и что?

Служительница подсвечника была невероятно возмущена моей тупостью и невежеством.

– Разве вы не понимаете, – по слогам, как для слабоумного, произнесла она, – что рублевые свечи ставят только во время литургии?

Возразить на такой сногшибательный аргумент было нечего, да я к этому и не стремился.

– Знаете что, – предложил я, – вот вам все эти свечи, возьмите их и поставьте в подсвечник, когда вам будет угодно. Хорошо?

– Не мне угодно, а Господу Богу угодно, чтобы рублевые свечи зажигались во время литургии, – отчеканила моя суровая собеседница.

* * *

Я ходил по Москве и фотографировал все, что видел, успел встретиться с некоторыми знакомыми и друзьями. Но, конечно, за эти быстротечные семь дней я очень мало куда успел сходить. Большую часть времени пришлось сидеть дома, а ко мне все шли и шли люди, которые хотели на меня посмотреть и «пощупать»: я воспринимался невиданной диковинкой, почти что вестником с того света, ведь из многих уехавших тогда не возвращался почти никто – я был одним из первых. Мне удалось еще застать в живых бабушку – дед умер за год до того, а бабушка

скончалась через несколько месяцев после моего визита, дожив до 93 лет.

Но больше всего я общался с мамой. Я скрывал от нее всю свою долгую подготовку к приезду, так как боялся, что мне не дадут визы и она не перенесет разочарования. Но и когда визу дали, я все равно не сообщил ей: вдруг меня завернут на границе – что тогда? Я говорил ей, что в Москву собирается один мой близкий друг, и думаю, в глубине души она догадывалась, кто это может быть. Возможно, все получилось благодаря неосознанным молитвам моей тогда еще неверующей мамы.

Все время моей эмиграции мы с мамой активно переписывались. Перед отъездом она взяла с меня обещание, что я каждую неделю буду писать ей письма, и слово свое я сдержал – каждые семь дней отправлял ей по письму. Она же писала по два, по три письма в неделю, и, как правило, они приходили регулярно. Думаю, что советская почтовая цензура просто физически не могла прочитывать все почтовые отправления. Мне кажется, они старались погасить новозавязывающуюся переписку, не доставляя письма по назначению. Но, если корреспонденты продолжали писать друг другу и если цензоры не находили в письмах ничего политического, то пропускали их. Предполагаю, они копировали каждое письмо, а читали, скажем, одно из десяти. Если там обнаруживалось что-то крамольное, цензоры могли проверить остальные письма и заблокировать канал.

Мама описывала всю домашнюю жизнь, работу, встречи, события. Думаю, цензорам все это читать было просто скучно, а я зато получал «эффект присутствия», как будто бы не был отделен от дома тысячами километров расстояния и годами жизни. Я писал раз в неделю, до самого момента возвращения, тоже сообщая маме и друзьям подробности моего американского бытия. Эти письма тоже доходили, потому что интересующие цензо-

ров подробности я, разумеется, опускал, обходясь лишь намеками. Кроме того, самые главные сведения можно было передать на словах через друзей и знакомых, посещавших Москву. Мама принимала каждого из них как родного, и они возвращались, нагруженные подарками. А присланными ею шоколадными конфетами, пирогами и домашней клюквенной водкой лакомилась вся академия.

Маме тяжело далась моя эмиграция. Во-первых, исчезновение ее сына было замечено соседями. Куда я уехал, разумеется, скрывалось. Поскольку многие имели возможность наблюдать мои хипповые приключения и частые визиты милиции в наш дом, они сделали самый напрашивающийся вывод: Сашку-хиппаря посадили. Дворничиха тетя Катя время от времени спрашивала у мамы, сколько лет мне дали, мама же в ответ уверяла, что я просто уехал в другой город.

– А в какой город? – ехидно спрашивала дворничиха.

– Далеко, на Дальний Восток, – отвечала мама.

– Знаем мы этот Дальний Восток, – понимающе отвечала тетя Катя, а мама краснела от стыда.

Впрочем, это были самые малые неприятности. Вскоре все сделалось хуже. Об этом мама не писала, но оказалось, что года через два после моего отъезда в эмиграцию она лишилась работы в том самом Институте русского языка, в котором трудилась всю свою жизнь. Уже упомянутый мною партсекретарь Лев Скворцов, который в свое время установил режим террора в Институте и способствовал увольнению из него «за неблагонадежность» очень многих ученых, составлявших гордость отечественного языкознания, продолжал свои «чистки». Однажды на заседании ученого совета института он потребовал и увольнения мамы. Дескать, сын Букчиной не просто эмигрировал во враждебную страну, но теперь еще и клеветает на свою Родину по «Голосу Америки».

Скворцов-де сам однажды покрутил ручку радиоприемника и услышал «бьющегося в антисоветской истерике ведущего по имени Саша Дворкин».

Теперь я думаю, что, наверное, он, как первосвященник партийной секты, а жесвидетельствуя, невольно изрек пророчество. Ведь я тогда и помыслить не мог, что девять лет спустя действительно попаду на «Голос Америки». Но с мамой, слава Богу, все закончилось благополучно: друзья помогли ей устроиться на работу в Институт повышения квалификации работников печати, и вскоре она стала там одним из ведущих преподавателей. К счастью, Скворцов об этом ничего не узнал, и мама проработала в ИПК до почтенного возраста, а в годы зрелой перестройки ее восстановили на прежней должности в Институте русского языка. Скворцов тогда вынужден был уйти из Института, но вскоре устроился на какую-то ответственную должность, позиционируя себя государственным и патриотом.

Дни, проведенные дома, пролетели очень быстро. А через год, когда диссертация уже была написана, но защита еще не состоялась, я приехал в Москву на сорок дней, уже устроившись на «Голос Америки», но пока еще не начав там работать.

Мама в моей квартире
в Вашингтоне

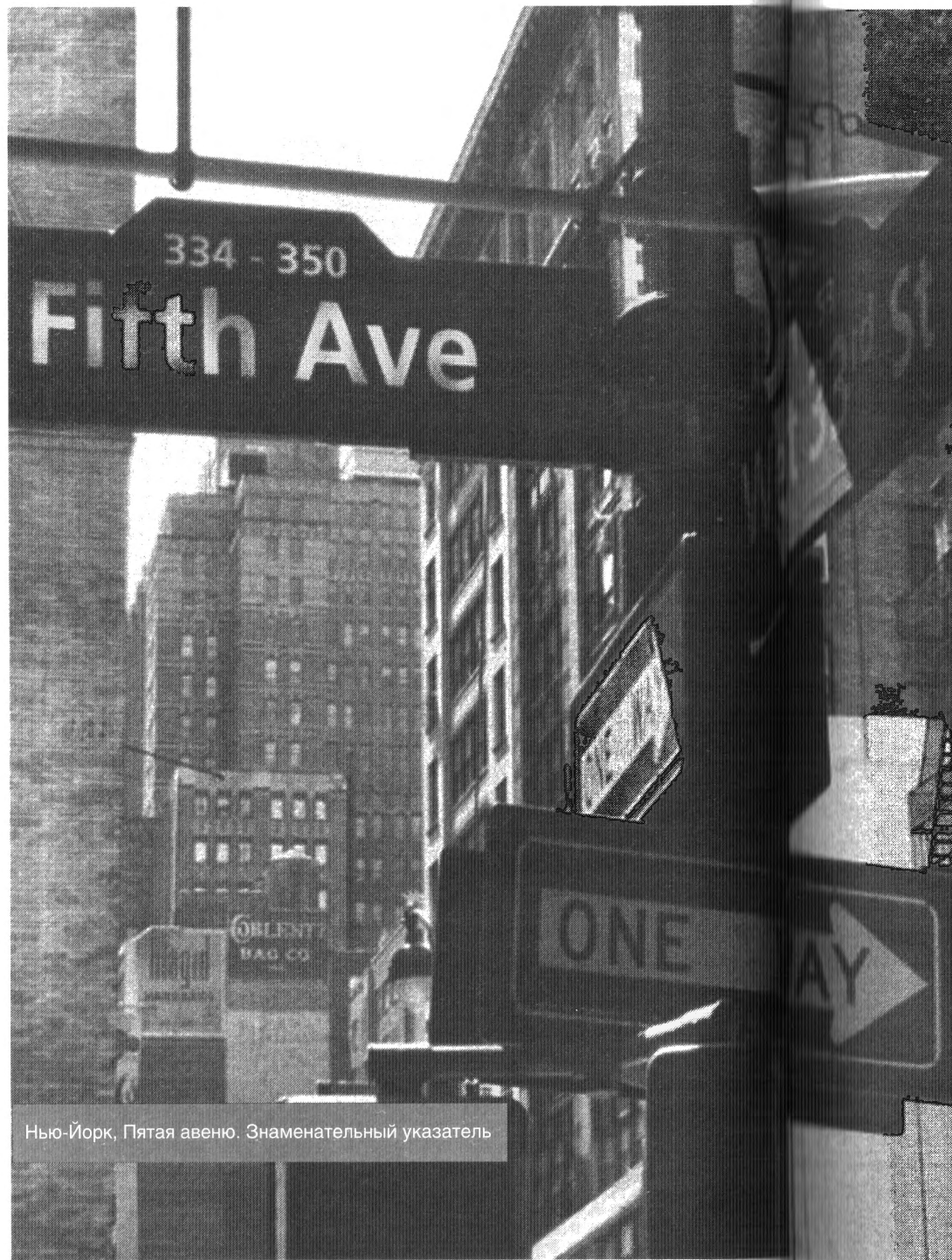


Я показываю маме и
сестре Аннатолис (при-
город Вашингтона)



В Нью-Йорке
с гостями из России





Нью-Йорк, Пятая авеню. Знаменательный указатель

ЕХАТЬ ИЛИ ОСТАВАТЬСЯ?

В самом начале 1988 года, дописывая диссертацию, я начал поиски постоянной работы: разослал свои бумаги в несколько американских университетов, где были объявлены вакансии.

* * *

Система устройства на работу в американские вузы такова: бумаги с данными широко рассылаются, те университеты, которые ими заинтересовались, приглашают вас на ежегодную профессиональную конференцию (в моем случае, преподавателей истории). Там в кулуарах происходят «смотрины»: вы встречаетесь с представителями пригласившего вас на встречу университета. Проводится собеседование, в ходе которого происходит первичный отсев. Университетские кадровики отбирают двух, максимум трех кандидатов и приглашают их уже за свой счет к себе в университет. Там человек живет несколько дней, проводит пробные занятия, после которых университет делает окончательный выбор. Первоначальный контракт с молодым преподавателем обычно подписывается на год. В течение года к вам приглядываются, оценивают, после чего контракт продлевается (либо, разумеется, не продлевается). Но и сам преподаватель держит ухо востро: ищет более интересные вакансии, ездит на конференции, делает доклады, публикуется и в конце концов, как правило, переводится в другой университет, который ему больше подходит. Так обычно преподаватели и ездят из одного учебного заведения в другое, работая в каждом из них год, два или три, набираются опыта и известности в своей профессиональной сфере, пока наконец, во второй половине жизни, не осадут в университете, который им более или менее подходит и который подписывает с ними договор о постоянной работе. Это

значит, что должность закреплена за этим профессором до выхода на пенсию. Кроме того, обладателю желанного постоянного места предоставляется много разных льгот. Самая завидная из них – субботний год: каждый седьмой год профессора освобождают от преподавания при сохранении за ним полного жалования. Это делается для того, чтобы человек мог заниматься наукой. Можно куда-то поехать, провести исследование, написать новую книгу. В общем, получить постоянное место очень выгодно, и все преподаватели к этому стремятся.

* * *

На особо удачное преподавательское место я претендовать не мог. Два главных требования, выдвигавшихся для получения должности, были наличие докторской степени и преподавательского опыта. Если первое у меня уже почти что имелось, то относительно второго хвастаться было нечем: всего два семестра преподавания на четверть ставки. Тем не менее мной заинтересовались представители университета из Эль-Пасо – города на окраине Техаса, на самой мексиканской границе, расположенного одинаково далеко от обоих берегов США и известного тем, что, по некоторым данным, он считается самым жарким городом в мире. Я побеседовал с представителем университета на конференции в Вашингтоне, прошел первичный отсев и был приглашен в Эль-Пасо.

Но тогда я уже получил еще одно предложение. Незадолго до этого мне попало на глаза объявление, что русская служба «Голоса Америки» ищет людей на должность писателя и диктора. Для прохождения по конкурсу требовалось сдать экзамен на скорость и качество письменного литературного перевода с английского языка на русский. Я приехал в их нью-йоркский офис со своей пишущей машинкой: компьютерная эпоха тогда только начиналась, и я в нее пока еще не влился. Этот экзамен, неожиданно для себя, я выдержал очень хорошо, и мне пришло приглашение работать в вашингтонской штаб-квартире «Голоса Америки». Перевоз вещей и подъем

ные за счет работодателя гарантировались. Ответ о принятии (либо отказе от) предложения требовалось дать немедленно.

Передо мной встал выбор: отказываться ли мне от работы на «Голосе Америки», чтобы ехать в Эль-Пасо, не будучи уверенным, что я пройду второй этап собеседования? При этом, даже если бы я его прошел, Эль-Пасо представлялся мне уж слишком далеким (и слишком жарким) местом. Конечно, там, на мексиканской границе, жизнь может быть по-своему очень интересной, но готов ли я к прозябанию в такой глухой провинции? Православная церковь там была – греческая, так что без церковной жизни я не остался бы, но пришлось бы привыкать к совсем иному строю благочестия. Жалование мне полагалось относительно небольшое, для холостяцкой жизни в Эль-Пасо более чем достаточное (цены там, конечно, не чета нью-йоркским), но выбраться оттуда на эти деньги уже казалось довольно затруднительным. Опять же, для чего выбирать? Чтобы начать ежегодные переезды из университета в университет? Более того, преподавать там мне пришлось бы «Введение в общую историю» – ознакомительный семестровый курс, вмещающий всю мировую историю, и, в лучшем случае, один курс по русской истории. Византийскую историю в Эль-Пасо не проходили вообще. Иными словами, удовольствия от работы я там бы не получал.

Имелся и третий вариант – отказаться от Эль-Пасо, продолжать в качестве почасовика преподавать в Нью-Йорке в нескольких местах, ездить на конференции, писать статьи и каждый год рассылать свои бумаги, чтобы в конце концов получить предложение из более перспективного университета. Но это значило продолжать ту бесприютную жизнь, которую я вел уже двенадцать лет: экономить на всем, ютиться где-нибудь в съемной комнате и – главное – не иметь медицинской страховки, без которой я

и так жил все свои американские годы. Конечно, можно было надеяться, что здоровье пока не подведет и она не понадобится, но очень уж я устал от такой неопределенности. К тому же, к дантисту все же приходилось ходить, а каждый такой поход пробивал очень серьезную дыру в моих финансах. Многие зубоврачебные процедуры я не мог себе позволить, откладывая их на потом, и проблемы продолжали накапливаться.

* * *

Вначале я ходил в университетскую клинику, где прием стоил относительно дешево. Минус был в том, что на пациентах там практиковались студенты. Когда мне рвали «зубы мудрости», то, поскольку они не прорезались из десен, пришлось делать настоящую операцию, и ее совершил профессор на глазах собравшихся студентов. В этом мне повезло.

Но вот пломбировать поврежденный зуб мне назначили студента, представившегося как «доктор Сироп» (такая у него была комичная фамилия). Вначале он долго уговаривал меня поставить золотую пломбу, уверяя, что другая просто не подойдет. Я сдался на столь настойчивые уговоры, и он принялся за работу. Я ходил к нему через день и часами сидел в его кресле с раскрытым ртом, а он сверлил по сотой доле миллиметра, потом бежал в соседний кабинет, приводил преподавателя (которого часто приходилось ждать), тот смотрел и одобрял или указывал, на что обратить внимание. Сироп опять брался за сверло, опять бежал к преподавателю и так без конца. Когда я наконец выходил от него, челюсти у меня не закрывались, так как я держал их открытыми по два-три часа. А до завершения работы было так же далеко, как и при моем первом знакомстве с доктором Сиропом.

Как-то я рассказал о своих зубных злоключениях приятелю.

– Так почему ты не пойдешь к Софе? – удивился он.
– А кто такая Софа?

Софа оказалась зубным врачом то ли из Гомеля, то ли из Житомира. Она жила в Израиле, потом переехала в Бруклин, где открыла нелегальный кабинет. Зато руки у нее были ловкие, а цены – умеренные. Я побежал к ней, и она за двадцать минут поставила мне обычную пломбу, которая простояла целых тридцать лет. Сироп долго потом звонил мне и требовал, чтобы я оплатил его работу, а то ему не поставят зачета. Я наотрез отказывался, говоря, что платят за заверченный труд, а он, столько времени мучив меня, так ничего и не сделал. В конце концов он от меня отстал.

С тех пор я ходил только к Софе. Еще одним ее преимуществом было то, что она делала лишь самую необходимую работу, честно информируя, что еще может подождать. Она знала практически всех сколько-нибудь известных людей из третьей волны эмиграции, но только с одной стороны.

– Довлатов, – говорила она, ковыряясь у меня в зубе, – знаю. Третий нижний коренной справа. Пульпит. Петр Вайль – конечно, помню, очень хороший человек. Верхний второй пришлось удалить. Алешковский, как же, как же... Сложная пломба в левом премоляре. Два часа делали.

Наверное, сегодня какой-нибудь таблоид дорого дал бы, чтобы с ней познакомиться...

* * *

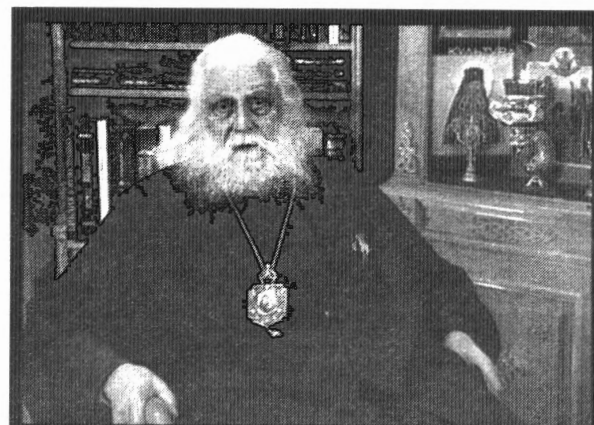
После долгих раздумий я все же выбрал работу на «Голосе Америки». Вашингтон – хоть и не мой любимый Нью-Йорк, но все же большой культурный центр, да и от Нью-Йорка недалеко – всегда при случае можно съездить. А параллельно, утешил я себя, можно будет искать

преподавательскую работу и выбрать уже не абы что, а дожидаться действительно достойного места.

Однако с точки зрения человека, стремящегося сделать преподавательскую карьеру, мой выбор был ошибкой – и я очень скоро это понял. Ведь тот преподавательский стаж, который требовался для получения места, у меня и так был минимальным, а теперь он и вовсе прерывался. А еще, чтобы искать себе подходящий университет, нужно постоянно вариться в этом соку, преподавать, знакомиться с новыми людьми, ездить на конгрессы, на конференции, делать доклады, публиковать статьи. Этого я тоже делать уже не мог.

Сегодня, зная дальнейшие события моей жизни, я вижу, что тот выбор, чем бы он ни был тогда обусловлен, оказался промыслительным: ведь если бы я погрузился в преподавательскую работу, которую очень люблю, то, может быть, уже не смог бы так легко и безболезненно вернуться в Россию, если бы вообще решился возвращаться.

Епископ Василий
(Родзянко)



Групповой портрет
епископом Василием



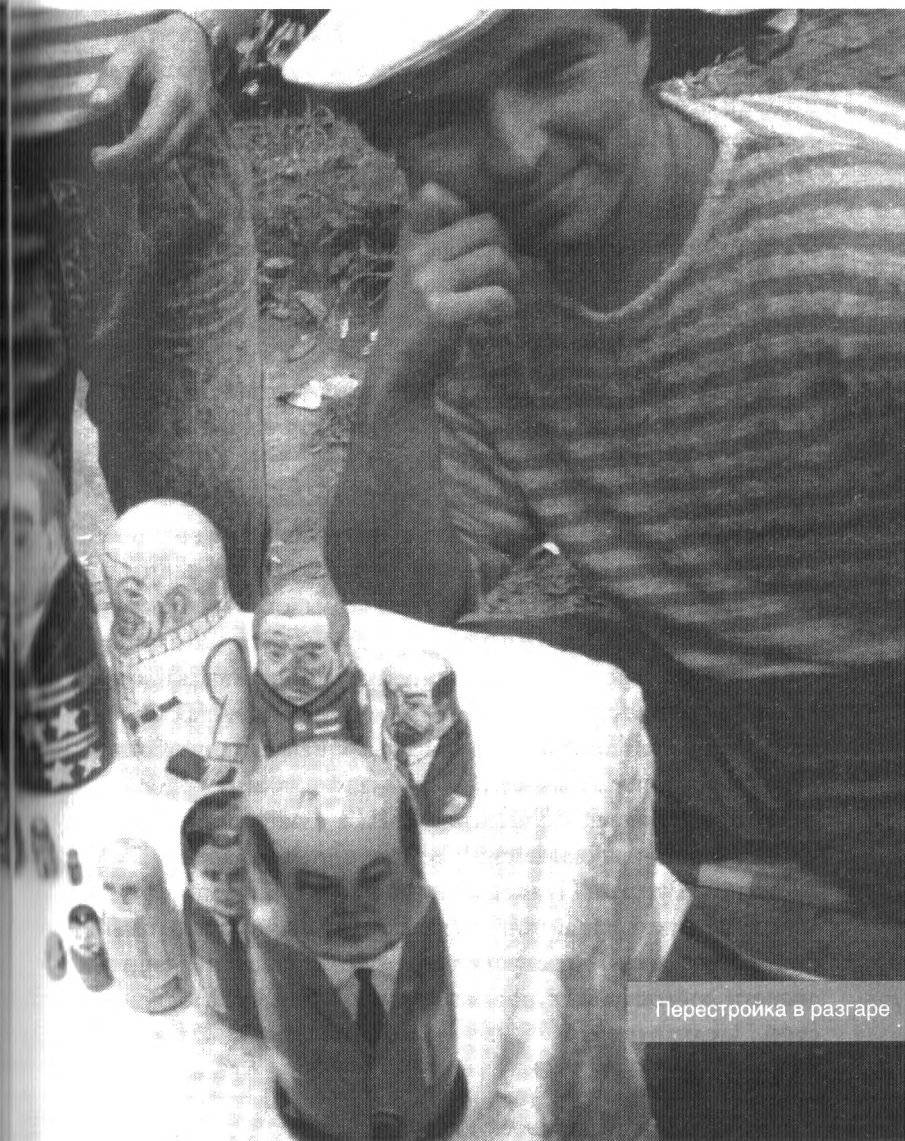
Диякон Благое с женой



НОВАЯ МОСКВА

На новую работу я заступил в конце сентября. Летом я провел полтора месяца в автостопном путешествии по Турции (уже второй раз), а потом, вернувшись в Америку и перевезя свои вещи в Вашингтон, на целых сорок дней улетел

в Москву. Теперь у меня были большие планы, куда пойти и кого навестить. Помимо встреч с родными и друзьями и посещения памятных с детства мест, я мечтал познакомиться с русской церковной жизнью и с теми многими людьми (церковными диссидентами), о которых я много слышал и об освобождении которых из мест заключения молился.



Перестройка в разгаре

Все это время я провел в Москве, выезжая лишь в ближайшие пригороды. Визу мне выдали только для Москвы, и, хотя советские правила применялись уже далеко не так строго, я все же опасался их нарушать.

В Москве все кипело и бурлило. Народ собирался на улицах, шли жаркие обсуждения всего и вся, люди постоянно открывали для себя что-то новое, делились этим узанным с другими, те соглашались или, наоборот, отвергали это, выдвигали свои аргументы. Открылись долго сдерживаемые информационные шлюзы, и люди купались в информационных потоках, впитывали их и никак не могли остановиться, утоляя почти семидесятилетнюю жажду. Они были открыты ко всему и все время требовали нового и нового. В общем, в городе было невероятно интересно.

Я посетил множество семинаров, как в МГУ и нескольких других вузах, так и полуподпольных церковных. Один из них проводил некто Стефан Разин – тогда еще диакон РПЦ. Позже он ушел в зарубежный раскол, в котором пробыл несколько лет, осаждая во главе каких-то подонков храмы и насильно захватывая их. Потом он покался и вернулся в Церковь.

К слову сказать, в России тогда было совершенно особое отношение к Зарубежной Церкви. Это название произносилось с придыханием, во всем чувствовалась симпатия – «зарубежников» воспринимали бескомпромиссными борцами против коммунизма, за свободу Православия и так далее. Очень мало знали о тогдашней раскольнической позиции РПЦЗ в западных странах и о реальном отношении ее тогдашнего руководства к России и Русской Православной Церкви. Напомню, что в те годы она возглавлялась фанатичным митрополитом Виталием, десять лет спустя наотрез отказавшимся признавать состоявшееся воссоединение РПЦЗ с Московской Патриархией.

Помню, как впервые мною встреченный и, несмотря на молодые годы, весьма корпулентный и краснолицый диакон Разин уверенно заявил о необходимости тесного сотрудничества с Зарубежной Церковью – о том, как это во всех отношениях полезно, чтобы, в том числе, обуздать наше церковное руководство. Тут я встал и сказал, что он, видимо, плохо себе представляет, что такое Зарубежная Церковь и как она на самом деле относится к нашей Церкви. Диакон резко прервал меня, сказав: «Мы тут Зарубежную Церковь не критикуем. Это на наших семинарах категорически запрещено».

Познакомился я с Феликсом Световым и Зоей Крахмальниковой, о которых ранее много слышал. Роман Светова «Отверзи мне двери» я прочел незадолго до этого, и он очень мне понравился. Собственно, я и пришел к ним, чтобы в первую очередь высказать ему благодарность за книгу. Приняли они меня весьма дружелюбно, хотя, в отличие от мягкого и тихого Феликса, его жена показалась мне чересчур уж жесткой, чересчур неспособной прощать и чересчур всезнающей. Но, может быть, я оцениваю свои тогдашние впечатления через призму сегодняшнего опыта. Зоя Крахмальникова так и не смогла отрешиться от диссидентского запала и обиды на всех и вся. Причем вся ее аргументация против Патриархии сводилась к многократно ею повторяемой фразе: «Я на нарах гнила, а они в это время черную икру жрали!» Как-то уж очень не давала ей покоя эта черная икра.

Кончилось все трагически: после смерти Феликса, который, очевидно, был единственным человеком, способным ее сдерживать, Зоя увлеклась тоталитарной сектой «Богородичный центр» и была вовлечена туда, чтобы затем красоваться на их экзальтированных, кошмарно безвкусных собраниях. Она почти совсем пропала из виду, лишь изредка разражаясь антипатриархийными статьями, услужливо публикуемыми «богородичниками»

на их интернет-ресурсах. Несколько лет назад она умерла, так и не покаявшись и не вернувшись в Церковь.

Отец Александр Шмеман как-то сказал, что в Церкви нет героев, в ней есть свидетели*. В Церкви не бывает пожизненных заслуг – и самые великие в последний момент могут отпасть от нее, как случилось, например, с Тертулианом и многими другими. И, наверное, самый опасный соблазн – считать, что ты очень много сделал для Церкви и заслуживаешь от нее особого отношения, не такого как к «прочим человекам». Дальше начинается повальное осуждение других, превознесение своих недостаточно ценимых подвигов и, как результат, уход из Церкви туда, где тебя оценят гораздо больше. Трагическая судьба Зои Крахмальниковой (которую, несомненно, можно было назвать исповедницей) – самое красноречивое тому подтверждение.

Впрочем, это я понимаю сейчас. В то время я был вполне очарован своими новыми знакомыми.

Тогда же я познакомился и с другой легендарной личностью – Глебом Якуниным. Впрочем – и это я хорошо помню, – он и в те дни произвел на меня скорее неприятное впечатление.

Мы встретились на одной квартире, где он тогда часто бывал. Глеб Павлович, тогда он еще был священником, сказал, что очень занят, и если я хочу с ним пообщаться, то могу это сделать только по пути. Засим он вручил мне свой тяжеленный «дипломат», и мы отправились. В результате я провел с ним полдня: мы ездили по разным адресам, где он общался с хозяевами, а во время переездов говорил со мной. Впрочем, разговором это назвать сложно – то был сплошной монолог, прерывавшийся лишь тогда, когда в очередном троллейбусе Глеб Павлович

* «Свидетель» по-гречески «martyr», что на русский традиционно переводится как «мученик».

оглядывался по сторонам и, указывая на какого-нибудь пассажира пальцем, говорил, что он, несомненно, стукач, следящий за ним. Поскольку меня представили Якунину как сотрудника «Голоса Америки», он счел меня полезным знакомым и сразу начал предоставлять мне материал для будущих передач.

– Такой-то митрополит, – шипел он, беспрестанно оглядываясь по сторонам и брызгая слюной, – стукач! А такой-то – откровенный агент КГБ и даже этого не скрывает. Этот епископ – развратник и пьяница, а этот – гомосексуалист и к тому же стукач. И вообще – все они стукачи! Верить нельзя никому. Этот – совершенно неверующий, я точно вам говорю!

Монолог в таком духе продолжался бесконечно. Уловив краткую паузу, я быстро втиснул в нее свой вопрос:

– Отец Глеб, ну с церковным служением у вас теперь все ли нормально? Есть ли у вас приход, удастся ли служить?

– Что? – не понял меня великий церковный диссидент, все еще одурманенный парами обличения.

– Приход есть? Служить удастся?

– А, вы об этом? Да есть там какой-то приход в Подмоскowie. Но это – совсем неважно и неинтересно! Вы лучше послушайте, вот этот архиепископ, знаете, кто он?..

В общем, после той поездки впечатление от московской церковной жизни у меня осталось довольно противоречивое.

* * *

Пугала и разруха, которая чем дальше, тем больше воцарялась в жизни моей страны. Хотя я несколько уже привык к господствующему повсюду запустению, новые подсмотренные картинки жизни не переставали меня поражать. Помню, как-то зашел я в магазин «Мясо-рыба» на Тверской. Там даже свет почти не горел: светила одна

сиротливая лампочка под засиженным мухами потолком. В этой полутьме стоял жуткий, густой, отвратительный запах. Витрины поражали зияющей пустотой, а под той единственной горящей лампочкой сидела одинокая продавщица. Пока я стоял, осматриваясь, в дверь зашел довольно потертый гражданин и испитым, хриплым голосом просипел:

– Кости есть?

– Нет, – ответила продавщица, и он вышел.

Вслед за ним вышел и я. Когда я вспоминаю о жизни в СССР, всякий раз перед глазами у меня встает эта картинка.

Еще одним запомнившимся мне эпизодом стало посещение районного отделения милиции. Мне, как иностранцу, нужно было там зарегистрироваться по приезду. Я зашел в отделение и попросил поставить мне штамп в визу.

Моего старого участкового Кузякина там уже не было. Несколько незнакомых милиционеров стали подробно расспрашивать меня о жизни в Америке.

– А почему же вы уехали? – спросил один из них.

– А вот, например, потому, что в этом самом отделении двенадцать лет назад мне надевали сумку на голову и за бороду таскали по комнате.

– Ну это были совсем другие люди, грубые и бескультурные, – стали заверять меня милиционеры, – сейчас таких в милиции уже давно нет!

А я подумал, что один из моих тогдашних мучителей, возможно, сидит в соседнем кабинете и говорит своим посетителям те же самые слова про моих милейших собеседников.

На «Гласе Америки»
мне хватало времени
даже, чтобы зани-
маться каллиграфией.
Мой радиосеверодном

Вещание
на «Гласе Америки»

Сотрудник «Гласа
Америки» Александр
Фрязин интервьюирует
Юрия Гребенщикова

АЛЕКСАНДР ФРЯЗИН



ГОВОРIT «ГОЛОС АМЕРИКИ» ИЗ ВАШИНГТОНА

По истечении сорока дней я вернулся в Вашингтон и вышел на работу. Для начала поселился в квартире своего друга Джеффри Макдональда, который после нескольких

лет, проведенных на Аляске в Свято-Германовской семинарии, где он преподавал, вернулся в континентальные штаты, чтобы учиться в докторантуре Католического университета*. Через несколько дней мне удалось снять

* Catholic University of America – так называется этот расположенный в столице США университет.



«Говорит "Голос Америки" из Вашингтона.
У микрофона Александр Фязин...»

двухкомнатную квартиру, расположенную всего кварталах в шести от «Голоса Америки», что позволяло мне ходить на работу пешком (неспешным шагом это занимало минут десять) и стал там устраиваться. Мы с Джеффри на его пикапчике ездили по окрестностям, посетили несколько распродаж в маленьких городках и буквально за центы приобрели необходимую мебель и кухонную утварь. Кое-что собрали для меня прихожане из Никольского собора, куда я начал ходить. Так впервые со времени моего приезда в США я зажил своим хозяйством в отдельной квартире.

Через два месяца после начала работы я съездил в Нью-Йорк, защитился и получил докторский диплом. Этим я закончил бесконечно долгий период своей учебы (с 1962, когда я поступил в первый класс, по 1988 – всего 26 с половиной лет, если не учитывать трехлетний перерыв) и начал новую, уже рабочую жизнь в США. Я и не подозревал тогда, что она продлится совсем недолго.

* * *

Во времена, когда я еще жил в Советском Союзе, название «Голос Америки» произносилось с придыханием. Радиостанция «Свобода», которую глушили больше всего, многими считалась слишком тенденциозной, хотя мне, скорее, импонировал ее открытый антисоветизм. Самой объективной советские интеллигенты признавали «Би-Би-Си», а после нее – «Голос Америки». Помню деда, припавшего ухом к радиоприемнику и вылавливающего какие-то осмысленные звуки среди отвратительного визга и писка глушилок. Я не обладал таким терпением, поэтому почти никогда не слушал зарубежные «голоса». Но некое априорное уважение к ним, несомненно, испытывал.

Увы, первые дни на «Голосе Америки» принесли разочарование. Как только я вышел на работу, мои новые коллеги стали подходить ко мне для знакомства, причем

многие из них чуть ли не со второго слова говорили: «Зачем вы пришли работать на эту помойку? Что вам тут делать? Мы, понятно, пожилые люди, нам нужно на пенсию зарабатывать. На то здесь и госслужба – гарантии социальные, страховка, пенсионные фонды и прочее, а вам-то что? Вы молодой, можете карьеру сделать, вам здесь прозябать ни к чему». Я отвечал, что успею еще, что сейчас отдохну, поработаю пару лет, потом устроюсь в университет. На что мне отвечали: «Нет, кто сюда попал, отсюда уже не выйдет. И вы, если сразу не уволитесь, будете до пенсии тут сидеть, вариться в этом соку, ненавидеть такую жизнь, но уйти уже не сможете».

Тут нужно дать небольшое пояснение. Во-первых, дело в том, что в США большая часть американцев занята в том, что у нас называется «частным сектором», а госслужба составляет весьма небольшой процент всех рабочих мест. Большинство американцев считает госслужбу своеобразным островком социализма в капиталистической стране, местом, где можно бездельничать, то есть где большая часть сотрудников ничего не делает или работает спустя рукава, так как здоровой конкуренции там нет, а выгнать нерадивого работника практически невозможно. Конечно, жалование там не такое уж большое (немного выше среднего) – в частном секторе можно зарабатывать гораздо больше, но зато есть множество привилегий: социальные гарантии, выгодная страховка, хорошая пенсия, большой отпуск... Последнее, кстати, для Америки чрезвычайно важно, потому что в частном секторе двухнедельный отпуск считается роскошью. Нередко он составляет всего неделю или десять дней. Отпуск же у госслужащих, в зависимости от выслуги лет, – от трех недель до полутора месяцев. Добавьте к этому всевозможные привилегии и пусть нерезкий, но неизменный должностной рост из года в год и абсолютную стабильность рабочего места, то есть практическую

гарантию от увольнения. Однако при всем этом считается, что в госслужбу идут неудачники, которые, выбирая место «под крылышком Большого брата», показывают тем самым, что боятся жизни, не хотят делать настоящую карьеру, подразумевающую ответственность за предпринимаемый риск.

Во-вторых, нужно учитывать и то, что в журналистском сообществе «Голос Америки» считался, выражаясь современным языком, отстоем, куда идут несостоявшиеся журналисты, не сумевшие сделать карьеру на частных радиостанциях. Возможность для творческой работы там чрезвычайно ограничена, в силу того что редакционная политика основывалась на госзаказе и писать позволялось, соответственно, в строго определенных рамках. Но более того, за редкими исключениями (учитывая национальную специфику), создавать оригинальные программы приходилось лишь тем, кто был занят в английской редакции, то есть в головной службе «Голоса Америки», а во всех иностранных отделениях работа состояла по большей части из переводов и адаптаций уже готовых текстов. Исключение составляли специфические передачи, например спортивная, музыкальная или, скажем, религиозная, в которых ведущему позволялось проявлять небольшую самостоятельность. Но даже и эти программы делались на основе наборок и директив английской редакции. Что же касается отделов новостей, политических и публицистических программ, то журналистская свобода заключалась лишь в том, что мы могли что-либо немного сократить, не дописывая при этом ничего от себя. Все материалы, даже переводы, проходили многоступенчатую цензуру. Интересно, что на «Голосе Америки» запрещено было негативно высказываться о почитаемых в странах вещания политических лидерах, как действующих, так и давно умерших. И даже когда в СССР уже полным ходом шла перестройка, это прави-

ло все еще сохранялось. Лишь в самом конце 80-х, то есть уже при мне, был снят запрет на критические замечания о Ленине.

По маминой просьбе, указавшей на то, что, несмотря на перестройку, скворцовы и их присные все еще у власти и могут вновь лишиться ее работы, я взял себе псевдоним, под которым и вещал на радиостанции: Александр Фрязин.

* * *

Когда я оформлял документы перед выходом на работу, случился такой живой анекдот. Вместе со мною ту же самую процедуру проходил один албанский парнишка. Английский он знал плохо и все время спрашивал меня, что писать в том или ином пункте анкеты. Было ему лет двадцать, и он сбежал из своей самой социалистической страны в мире, не окончив даже средней школы. По ходу нашего оформления он спросил меня о моем образовании и был потрясен, когда услышал, что я через два месяца получаю докторскую степень. Он лишь довольно приблизительно представлял себе, что это такое, — понял только, что я очень ученый человек. Далее мой новый знакомый поинтересовался, на какую ступень американской «табели о рангах» (в госслужбе имеется единая многоступенчатая иерархия) меня принимают. Я небрежно ответил, что сразу на девятую, а через год, по окончании испытательного срока, автоматически повысят аж до одиннадцатой. Затем я снисходительно спросил у него, на какую ступень его определили — четвертую или пятую. «Да нет, для начала на двенадцатую», — ошеломленно глядя на меня, ответил он.

Тогда я уже знал, что двенадцатая ступень соответствовала редакторской должности. Понятно, что носителей албанского языка в американской госслужбе почти не было, а открытые должности имелись в изобилии, так

что принимали любого. Правда, об уровне их албанских передач можно только догадываться.

Когда-то подобная ситуация была и с русским языком. После Второй мировой войны, когда правительство создало «Голос Америки», в стране жило достаточно еще вполне активных белых эмигрантов, представителей «первой волны». Так что первоначально туда пригласили людей, владеющих хорошим русским языком. Годы шли, их оставалось все меньше, и служащих стало не хватать. А тем временем «Голос Америки» рос, создавались новые вакансии, расширялся объем работы. Новый набор сотрудников пришелся на так называемую вторую волну эмиграции, то есть тех, кто оказался на Западе в ходе Второй мировой войны. И если белая эмиграция была цветом нации, то вторую составляли самые случайные люди, оказавшиеся вне СССР не по идейным соображениям, а в силу жизненных обстоятельств – то, что именовалось в документах термином DP (Displaced Persons). Образовательный ценз при приеме на работу в 50–60-е годы вовсе не соблюдался – брали всех, кого можно. Это могли быть даже домохозяйки, с всевозможными экзотическими акцентами, в основном, конечно, украинскими. Представление о нормативном русском языке у них было весьма и весьма приблизительное. Но к тому моменту, когда я туда пришел, они уже отслужили по двадцать с лишним лет на этом месте и, соответственно, занимали все командные должности. Они редактировали то, что мы писали, навязывая нам свои языковые нормы, в результате чего передачи приобретали весьма специфический, американизированный околорусский стиль. Причем этим дамам было вовсе безразлично, как, собственно, говорят в России. Например, когда началась операция «Буря в пустыне»*, то сверху нам пришло распоряжение переводить это название как «Буря в пу-

* Desert Storm (англ.). Первая война США против Ирака в Кувейте (январь–февраль 1991 г.).

стыне». Вообще-то буря – это снежная буря, и как она совместима с пустыней – непонятно. Но мы несколько дней вещали именно так, пока мнение руководства в конце концов не переменялось.

Другую значительную группу сотрудников составляли уже представители нашей, «третьей волны» эмиграции, в основном, разумеется, еврейской. Однако и тут представителей московской и питерской интеллигенции с хорошим русским языком было меньшинство: в основном свободные редакторские должности занимали не слишком грамотные, но весьма пробивные уроженцы Бершади, Жмеринки и Бердичева, говорившие по-русски, мягко говоря, весьма своеобразно.

Частенько забредал в наше крыло пожилой азербайджанец с грустными глазами – руководитель своей национальной редакции. На родине он работал шофером, дослужился до высокой должности начальника автобазы и жил, как король. Как-то его отпустили навестить родственников в Турции, и он стал невозвращенцем, попросив убежища в США. На радио ему приходилось крайне сложно: английского он почти совсем не знал, а переводить материалы для передач требовалось ежедневно. Более того, он боялся подходить к компьютеру, а за год до моего прихода «Голос Америки» полностью перешел на компьютерную систему. Именно там я освоил свой первый компьютер. Пожилому азербайджанцу это оказалось не по силам. Лъстиво заглядывая в глаза, он подходил к нам и просил: «Дорогой мой человек, дай свой перевод почитать, пожалуйста, а? Ай, очень люблю грамотный текст! Такой хороший русский язык, вах! Даже дома я такой не видел! Как красиво пишешь, дорогой мой человек, спасибо тебе!»

Получив нужный текст, он быстро копировал его на ксероксе и убегал с добычей к себе: переводить на азербайджанский с почти родного русского. К счастью, никто

на него не доносил, и он худо-бедно исполнял свои столь сложные для него обязанности.

* * *

Имелись и другие особенности нашего рабочего коллектива. Например, руководительница русской службы через пару недель работы пригласила меня в кабинет и сообщила, что, по ее сведениям, я уже успел подружиться с некоторыми нехорошими людьми, и она от всего сердца предупреждает меня, человека молодого и неопытного, что до добра меня они не доведут. На самом же деле, всего-то и произошло, что некоторые из немногочисленных московских и питерских интеллигентов с нашей службы пригласили меня в гости – поближе познакомиться. Они и оказались теми самыми неуютными начальству «нехорошими людьми». Поскольку русский круг общения в столице был очень мал, то нашлись какие-то доброжелатели, которые пожаловались в наш отдел, что я связался явно не с теми, с кем нужно, и начальница из добрых побуждений меня об этом предупредила. Звучит все весьма анекдотично, но, к сожалению, именно таковыми были реалии моей новой работы.

Кроме того, я скоро понял, что на «Голосе Америки» всякая инициатива и прилежание наказуемы. В основном наш труд состоял в переводах присланных сверху текстов и в озвучивании их в студии. Теоретически считалось, что чем быстрее и лучше человек переводит тексты, тем больше работы он получит и тем добросовестнее он будет отбавывать свое жалование.

«Выполнил задание? Молодец, на тебе другой текст, начинай!»

Но на практике выходило, что я не должен был переводить более чем одну страничку в час, потому что моя начальница, сидевшая рядом и говорившая на невозможном суржике, уже пять часов корпела над текстом, куда

меньшим по объему. Соответственно, в ее глазах моя быстрая работа могла означать только одно: я в грубой форме указываю ей на ее некомпетентность. В общем, меня быстро инструктировали, что спешить не следует.

Поэтому пришлось учиться, как тянуть время. Именно тогда на «Голосе Америки» стало возможным смотреть русское телевидение, и я подолгу сидел перед экраном. Это позволялось, поскольку я таким образом вроде как изучал вкусы нашей целевой аудитории. Вообще-то я никогда не был поклонником телевидения: в советское время смотреть там было нечего, я телевизор никогда не включал и так и не выработал привычки бездумно пялиться на «голубой экран», а тем более жить на его фоне. Вот и все мои годы в Америке я ни разу не заводил в своем доме этот квадратный агрессивный агрегат. Новое российское (тогда еще советское) телевидение впервые мне понравилось. Во-первых, в нем бросались в глаза откровенные свежесть и непрофессионализм, которые сразу подкупали. Кроме того, явственно ощущалось своего рода опьянение свободой: ведущие как будто ежедневно пробовали границы дозволенности, понемногу шагая все дальше и дальше. Это была такая увлекательная игра, в которую зритель сразу же включался, с нетерпением ожидая, какой запрет или какое табу будут преодолены сегодня, а чего можно ожидать завтра. Благодаря этой возможности я все больше узнавал о новой России.

Но, кроме новых русских телепрограмм, ничего привлекательного на моей работе не было. В бюро царил общая атмосфера наушничества, доноительства и подсиживания друг друга, временами перераставшая в открытые скандалы. Все стремились получить заветную двенадцатую ступень госслужбы, но до нее повышали редко: лишь когда освобождалась редакторская должность. Стоило кому-либо из старожилых уйти на пенсию, вся русская служба превращалась в гудящий улей или,

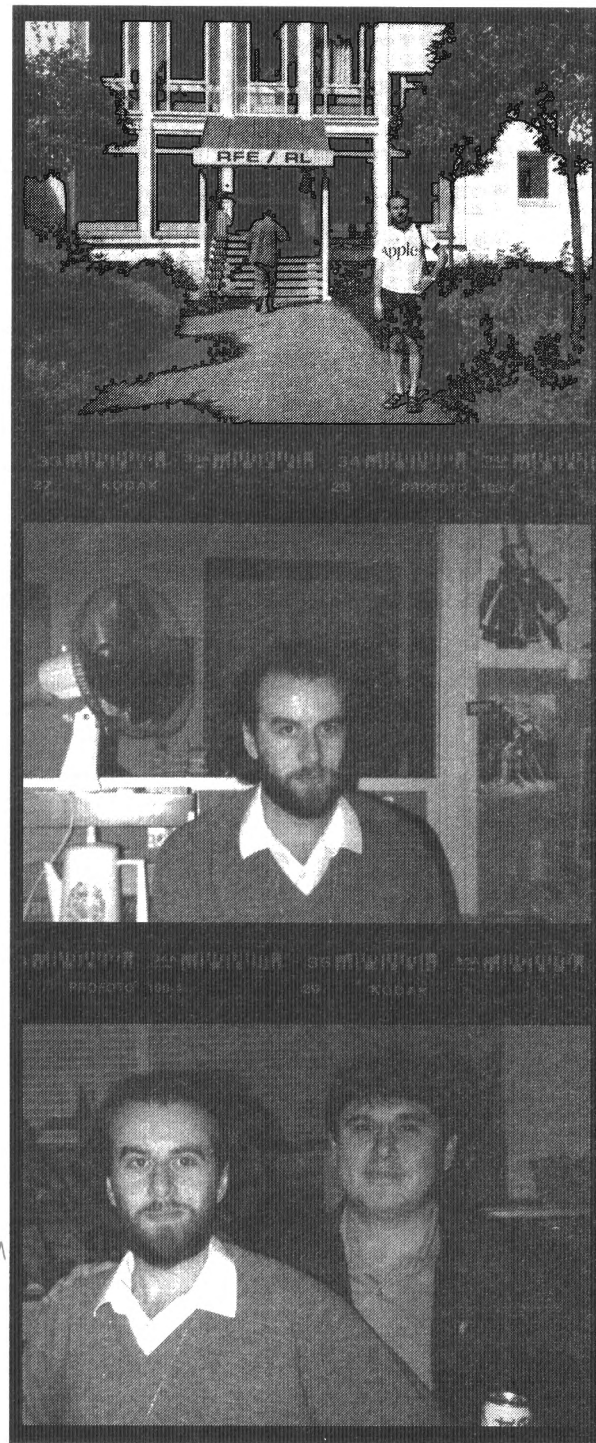
вернее сказать, в собрание скорпионов в банке. Того, кто в конце концов получал повышение, все дружно начинали ненавидеть. Во всем этом я, разумеется, не участвовал и ни в какие группировки не входил.

Поначалу я решил, что мне абсолютно безразлично все происходящее в русском бюро «Голоса Америки». Прихожу, делаю свое дело, ухожу домой. Работа не слишком интересная, но бывает хуже. И кто вообще сказал, что человек должен любить свою работу? Работа существует для зарабатывания средств к существованию. Главное, что она не слишком противная и не слишком утомительная. А настоящая жизнь проходит вне работы.

и радио «Свобода»

В офисе на
«Голосе Америки»

Прощание с «Голосом
Аmericи»: коллеги

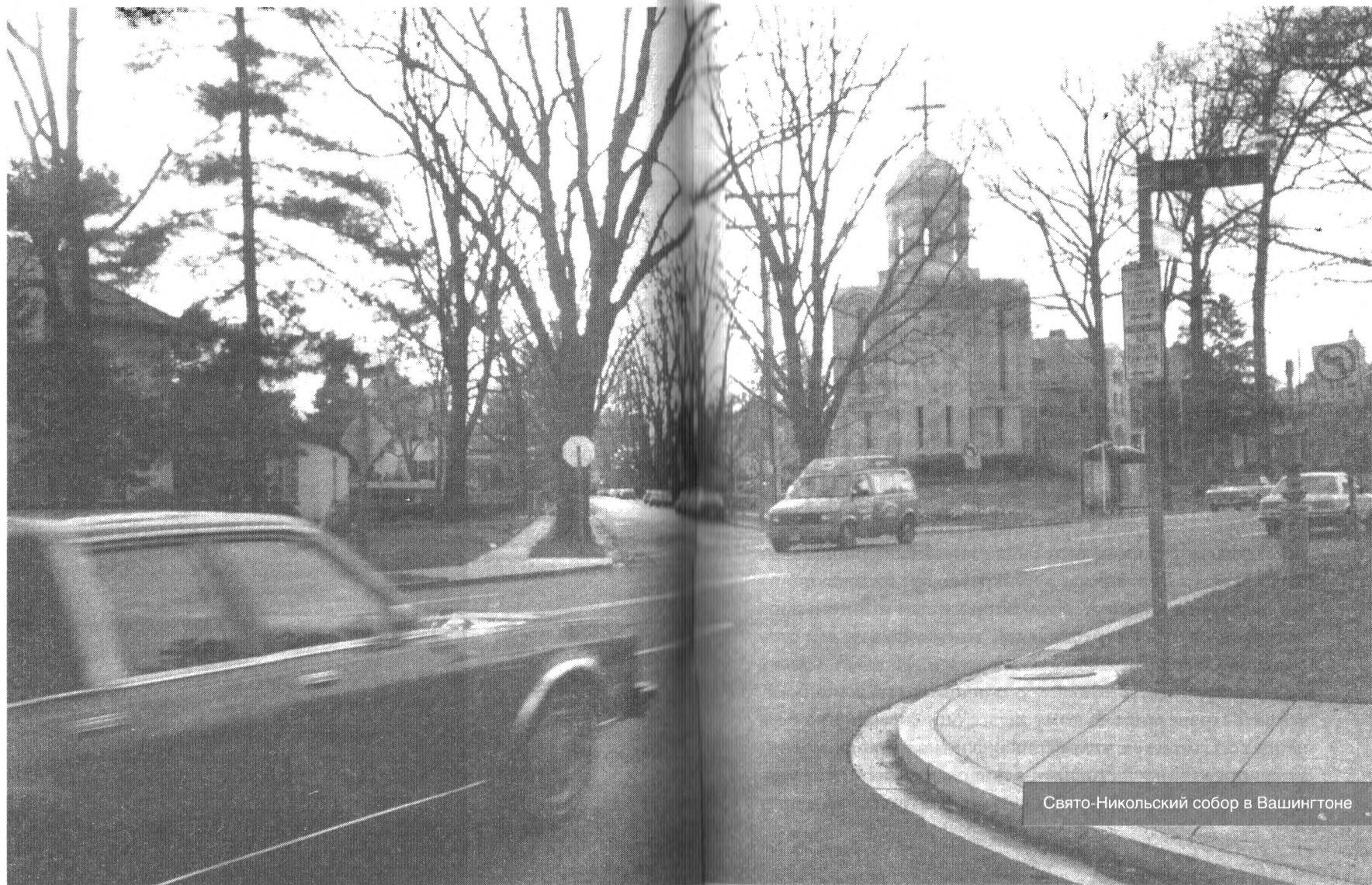


СТОЛЬНЫЙ ГРАД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

ГОРОД И ГОСТИ ИЗ РОССИИ

Постепенно я знакомился со своим новым местом обитания. Вашингтон совсем не похож на Нью-Йорк. Сам город относительно небольшой: в его черте проживает

всего 600 тысяч жителей, восемьдесят процентов из которых – чернокожие. Правда, с пригородами получается почти в десять раз больше – пять с половиной миллионов. То есть все те многочисленные белые чиновники, которых видишь на улицах города, скорее всего, приезжают сюда на работу, а живут в соседних штатах – Виргинии



Свято-Никольский собор в Вашингтоне

и Мэриленде. Городская территория и была вырезана из этих штатов – в виде аккуратного ромба. Потом часть ее вернули Виргинии, и ромб потерял одну сторону. Теперь с того бока граница проходит по реке Потомак.

Планировка Вашингтона регулярная, то есть уже знакомая сетка номерных улиц, которую дополнительно пересекают диагональные авеню, носящие названия штатов. Особенность города еще и в том, что он разделен на четыре района: Юго-запад, Юго-восток, Северо-запад и Северо-восток, причем номера улиц в них могут дублироваться. Поэтому в адресе нужно непременно писать название района.

Помимо нескольких кварталов с исторической викторианской и неокOLONиальной застройкой (самым живописным из которых является Джорджтаун), большая часть центра выстроена в тяжеловесном столичном стиле: где-то почти как в Париже, где-то почти как в Лондоне, где-то встречаются древние римские мотивы с очевидной и откровенной масонской символикой. Все выстроено так, чтобы отовсюду были видны федеральные памятники-святыни (и, соответственно, объекты для паломничества) американской гражданской религии: Капитолий, монумент Линкольну, обелиск Вашингтона (в народе называемый «Стамеской»), Белый дом и другие. Дома невысокие – максимум этажей 11–12, поскольку в городе действует запрет на строительство высотных зданий. Зато через реку – в Виргинии – небоскребов предостаточно.

Центр города пересечен широким газоном, протянувшимся от «Стамески» до Капитолия, а по обе стороны этого газона расположены музеи. И какие музеи! Более чем соответствующие столичному статусу в богатейшей стране мира. К тому же все они совершенно бесплатные. Считается, что американский налогоплательщик имеет право в своей столице на свободное посещение всех принадлежащих государству культурных объектов, вклю-

чая даже ботанический сад и зоопарк. Я чаще всего ходил в Национальную галерею – несомненно, один из лучших музеев изящных искусств в мире. Кстати сказать, коллекция его примерно на треть состоит из шедевров, по дешевке распроданных или вообще раздаренных большевиками в 20–30-е годы прошлого века. Всякий раз я жалел, что все эти картины и статуи находятся не в Эрмитаже и не в Пушкинском музее, откуда они были фактически украдены антирусским большевистским правительством.

Климат в Вашингтоне – примерно такой же маловыносимый, как в Нью-Йорке, только чуть похуже: температура на два-три градуса повыше, влажность воздуха на два-три процента побольше. Город стоит на низменной, болотистой местности, и, как мне неоднократно рассказывали местные жители, построили его на землях, выкупленных у первого президента – Джорджа Вашингтона. Дескать, были тут у него малопродуктивные сельхозугодья, вот подобострастный Конгресс и приобрел их в федеральную собственность. «Видишь, коррупция и подхалимаж даже тогда процветали», – обычно завершали свой рассказ мои собеседники. Мне оставалось только кивать головой.

* * *

Моя светская вашингтонская жизнь складывалась весьма неплохо. Круг знакомств значительно расширился, я активно общался, ходил в гости и принимал гостей. Появилось у меня много американских друзей, как православных, так и «внешних». Некоторые из них в результате нашего общения в конце концов стали православными. Жил я на Юго-западе, на берегу реки и в пятнадцати минутах ходьбы от центрального газона и музеев. По моей карточке госслужащего я мог пройти на закрытую территорию принадлежавшего военному ведомству роскошного (и совершенно пустого) парка, расположенного

в нескольких шагах от моего дома, и даже водить туда моих гостей. Чуть дальше вдоль берега располагался живописный рыбный рынок, где всевозможная морская живность продавалась прямо с борта больших барж. Туда я тоже заходил частенько с гостями: и на экскурсию, и за свежей рыбой и морепродуктами.

В Америке стало появляться все больше приезжих из России, в их числе были и церковные люди, и я все ближе знакомился с реалиями русского Православия. Некоторые из этих посетителей подолгу жили у меня, другие останавливались на несколько дней. Среди последних был москвич Борис Козушин, представившийся другом уже знакомого мне диакона Стефана Разина. До Вашингтона он был в Нью-Йорке, где встречался с отцом Иоанном Мейендорфом, который и попросил меня принять его и постараться «вправить ему мозги». Борис активно добивался рукоположения, причем служить он хотел в России, но непременно в какой-нибудь заграничной юрисдикции. Он предложил отцу Иоанну ходатайствовать о его рукоположении в ПЦА, а затем он, дескать, откроет приход ПЦА в Москве. Понятно, что на такое безумное предложение Козушин получил отказ. Из Свято-Владимирской академии он напрямую отправился в Синод Зарубежной Церкви, но там, узнав о его еврейском происхождении, долго разговаривать с ним не стали. Затем сей странный соискатель приехал в Вашингтон и оказался у меня. В течение двух дней его пребывания в моей квартире я пытался убедить его в фундаментальной неправильности его плана, но, к сожалению, совершенно в этом не преуспел. Когда Зарубежная Церковь стала открывать приходы в России, Козушин все же добился рукоположения. Происшедшего в конце концов объединения и уврачевания раскола он не принял и пребывает теперь в одной из микроскопических «суперправославных» секточек.

Впрочем, к счастью, бо́льшая часть моих гостей была совсем иного типа.

Долгое время жил у меня начинающий питерский иконописец, который сегодня считается одним из ведущих изографов нашей северной столицы. Гостили нью-йоркские друзья, присезжавшие на побывку. А однажды мне даже пришлось принимать у себя попавшую в весьма затруднительное положение молоденькую матушку из Москвы.

Она приехала в Америку по обмену от своего университета на год обучения. Незадолго перед этим ее мужа рукоположили в священный сан и направили восстанавливать разрушенный храм в ближнем Подмоскowie.

Таня (назовем ее так) прилетела в Вашингтон, где познакомилась со мною в Никольском соборе. Через несколько дней она направилась в Детройт, где из-за какой-то нестыковки местный университет как-то не совсем понял, что с ней делать, и более или менее отпустил ее в свободное плавание. Время от времени она посещала занятия, но жить ей оказалось совершенно не на что. Зато в русском клубе она встретила Джеймса Саймса* – видного баптистского деятеля, заведующего небольшим издательством, которое выпускало русскоязычную христианскую литературу. Первоначальное (до американизации) имя Саймса было Яков Цимес, и происходил он то ли из Винницы, то ли из Житомира, где работал массовиком-затейником. Эмигрировал в середине 70-х, почти сразу принял баптистское крещение и сделал в рядах этой самой богатой общины США сказочную карьеру (тешившую его самолюбие и выражавшуюся весьма приличным количеством дензнаков), фактически возглавив ее русскоязычную миссию. Он вещал на радио, вел телепередачи,

* Этот персонаж выведен в одном из романов Довлатова под именем «таинственного баптиста Лемкуса».

издавал книги, а к некоторым из них, например к книгам К. С. Льюиса, писал довольно глупые предисловия, состоящие из вычурно изложенных общих мест. Впрочем, его баптистских работодателей они устраивали. Любил новоиспеченный проповедник, скромно аттестовавшийся философом, богословом и мыслителем, и размещать всюду свои фотопортреты в позе мудреца, с рукой, застывшей у глубокомысленного лба или прикрывающей подбородок.

Цимес вошел в Танино положение и предложил ей делать для него переводы, на что она с радостью согласилась. Он отнесся к ней со вниманием, показывал ей город, приглашал в рестораны. Молодая матушка усердно работала, ходила на занятия. Время от времени звонила мне и рассказывала о своих делах. Очень забавно описывала крошечного роста, кругленького Цимеса, вещающего прописные истины с характерным местечковым акцентом. Стиль одежды, избранный этим баптистским проповедником, делал его похожим на итальянского сутенера: уложенные в прическу удлиненные залакированные волосы, небольшая бородка, остроносые штиблеты, белый шелковый шарфик на шее и массивные перстни на коротких пальцах.

Но как-то Таня позвонила мне в смятении – Цимес, прямо как литературный Киса Воробьянинов, потребовал, чтобы она отправилась с ним в номера. Не найдя что ответить и стараясь оставаться в рамках вежливости, матушка напомнила ему о том, что и она замужем, да и сам проповедник некоторым образом женат. Но в ответ он, встав в позу, обличил ее в лицемерии и фарисействе, призвал отбросить условности и проявить свободу в духе, после чего полез целоваться. Таня вырвалась и убежала.

Через день Цимес весьма настойчиво повторил свое предложение, намекнув: дескать, если иммиграционные власти узнают, что она, въехав в США по студенческой

визе, работала и получала деньги, у нее могут возникнуть серьезные неприятности.

Я посоветовал молодой женщине немедленно собираться и выезжать в Вашингтон, где она прожила у меня не меньше месяца, пока не уладила свои дела с университетом и не смогла вернуться домой, к мужу-священнику.

Помню, по ее приезду я пригласил ее отпраздновать избавление от похотливого Джеймса Саймса в эфиопском ресторане. Но и тут ей не повезло: когда официант внес блюдо с всевозможными кушаньями, Таня для начала взяла в рот маленький ромбик зеленого перца, украшавший какое-то жаркое. Больше она ничего уже есть не могла, лишь время от времени жестами подзывала официанта, и показывала ему на лед, чтобы он вновь наполнил им ее бокал – слишком жгучим оказался этот эфиопский перчик.

Кроме этого прискорбного эпизода, ее пребывание в Вашингтоне ничем не было омрачено.

А Цимес по-прежнему проповедует баптистские ценности, особо упирая на необходимость для «принявших Христа» вести высоконравственную жизнь. Нередко он приезжает в Россию (в «лихие девяностые», когда за деньги можно было купить почти все, вел на телевидении свою передачу-проповедь под фикусом) и даже основал какой-то «Фонд Дипломатов Духа». Не хочу даже думать, чем они там занимаются.

* * *

Я вел в Вашингтоне активную церковную жизнь, став алтарником в кафедральном соборе ПЦА святителя Николая Чудотворца. Храм находился в очень зеленом дорогом районе, где располагалось большинство посольских особняков, – так что Массачусетс-авеню в этом месте даже имела неофициальное название «посольский ряд».

Я жил с другой стороны города, и до храма мне нужно было добираться минут сорок. Помню, как утром в воскресенье, еду по пустому Вашингтону на автобусе, я любовался заходившими в него по пути пожилыми негритянками, направлявшимися в свои баптистские или методистские молельни. Одетые в самое лучшее – в светлые платья, шляпки и перчатки, – торжественные и радостные (они ведь шли в День Господень общаться со своим Создателем), они были похожи на ангелов. Через некоторое время мои светящиеся изнутри попутчицы выходили, а затем и я приезжал на свою остановку, с которой сквозь зелень виднелся купол храма. Еще до моего переезда я был знаком с его настоятелем протоиереем Дмитрием Григорьевым, а теперь близко с ним подружился. Он принадлежал к тому же поколению, что и отцы Александр Шмеман и Иоанн Мейендорф, но жизнь его сложилась совсем по-другому.

ОТЕЦ ДИМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ

Отец Димитрий родился в 1919 году в семье последнего вице-губернатора Сахалина. Его родители бежали от большевистского наступления в Ригу, где руководители только что провозглашенной Латвийской республики назначили его дядю (еще по старой жизни доброго приятеля многих членов формируемого латвийского правительства) министром по делам национальных меньшинств. Когда большевики подступали к Риге, английский боевой корабль эвакуировал новосозданное правительство и членов их семей. Так Григорьевы оказались в Англии, где и родился маленький Дима. Вскоре семья будущего священника переехала в Японию, где младенец Димитрий был крещен в Свято-Никольской церкви в Токио. По окончании Гражданской войны Григорьевы вернулись в Ригу. Там Дима закончил школу и поступил в местный Православный богословский институт. Долго проучить-

ся в нем ему не удалось: в 1940 году пришли большевики. Григорьевым удалось бежать во многом благодаря сыну, который, вроде бы случайно родившись в Англии, получил британское подданство.

Григорьевых эвакуировали в Австралию, где Дмитрия Дмитриевича призвали на воинскую службу во флот: шла Вторая мировая война. С 1943 по 1944 годы он нес службу в Британском торговом флоте на Тихом океане. В конце войны оказался в США и был переведен в Управление военной информации. По окончании войны Дмитрий Дмитриевич был демобилизован и смог наконец возобновить прерванную учебу: вначале в Йельском университете, где получил степень магистра лингвистики, а затем в Пенсильванском университете получил докторскую степень по русской литературе. Он специализировался на Достоевском, которого любил всю жизнь и считал не просто величайшим писателем, но пророком и учителем жизни. Также окончил он и Свято-Владимирскую академию со степенью кандидата богословия.

Учась там, он познакомился со своей будущей женой – Галиной Владимировной. История их знакомства удивительна, так как жизни их протекали почти параллельно, но познакомиться будущие супруги смогли лишь в Америке. Галина Владимировна родилась в семье русских эмигрантов, обосновавшихся в Таллинне. После войны ее семья оказалась в Новой Зеландии, где им очень понравилось, и они решили там остаться. Как-то Галина поехала в Америку – навестить родственников в Нью-Йорке, а те в воскресенье повели ее на литургию в Свято-Владимирскую академию. Там и произошла эта встреча.

С 1959 года Дмитрий Григорьев начал преподавать русскую литературу в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, а в 1969 году – уже в весьма зрелом возрасте – он был рукоположен во священника. Тем не менее он

продолжил преподавание, что, впрочем, вполне нормальное для Америки явление.

Отец Димитрий являл собой образ настоящего русского интеллигента, как бы сошедшего со страниц дореволюционной литературы. Разница была лишь в том, что он был священником. Высокий и сухопарый, с чеканным орлиным профилем, с белоснежной бородкой клинышком и безупречными манерами, батюшка был удивительно мягким и деликатным человеком, тонко чувствовавшим каждого собеседника и обращавшим к нему свое участливое внимание. Ему была присуща некая старомодная учтивость, которая мгновенно покоряла американцев. Вообще, в США, при всей пресловутой американской демократичности, прагматизме и прямолинейности, европейский шарм, легкий акцент, аристократические манеры считаются особым шиком и признаком высокого класса.

Лекции отец Димитрий читал чрезвычайно интересные, так как переживал за каждого литературного героя, как за живого человека, а оценки он ставил невероятно милостиво. Студенты были от него без ума. Помню, я как-то зашел к нему в университет. Лекция закончилась, из аудитории профессора Григорьева выходили слушатели. Девушка с ярко выраженной еврейской наружностью, экспрессивно вздевая руки, говорила: «Greggi is my god!»*

Слышать это было забавно, особенно из уст еврейки (обязанной почитать первую заповедь) по отношению к православному священнику.

Я много раз бывал в хлебосольном доме отца Димитрия. Детей им с матушкой Бог не дал, и всю свою любовь они растрачивали на ближних. Была у них собака – большой золотистый ретривер по имени Миша, к которому оба они были очень привязаны.

* «Грегги – мой бог» (англ.). Greggi – сокращение от Grigorieff. Для американцев типично сокращать труднопроизносимые длинные фамилии.

Отец Димитрий считал себя русским человеком и горячо любил Россию. Он старался часто туда приезжать, интересовался всем, что в ней происходило. Благодаря ему, в храме сохранялась служба на славянском, хотя в доперестроечные годы число русскоязычных прихожан неуклонно сокращалось. При мне в храме служилось две литургии: ранняя – английская и поздняя – славянская. Всенощные и литургии по большим праздникам совершались смешанные английско-славянские, и тогда обе половины прихода собирались вместе.

Казалось, что скоро вся нужда в славяноязычном богослужении отпадет, но с началом перестройки все изменилось, и многолетняя борьба отца Димитрия за сохранение русского характера прихода принесла свои плоды. Появились посетители из России, новые эмигранты, стали заходить посольские работники (советское, впоследствии российское, посольство располагалось совсем близко от храма). Отец Димитрий затеял и довел до конца проект полной росписи храма и строительства нового иконостаса, для чего были приглашены иконописцы из России. Благодаря этому собор стал одной из washingtonских туристических достопримечательностей, которую ежедневно посещают сотни туристов.

Уже при мне стали появляться и делегации от Русской Православной Церкви. Однажды Великим постом отцу Димитрию пришлось принимать несколько русских архиереев, и он попросил меня приготовить для всех праздничный постный ужин.

После того как я переехал в Россию, умерла матушка Галина Владимировна. Внешне она представляла собой резкий контраст по сравнению со своим тихим, деликатным мужем: она была полной, невысокой, с громким голосом и весьма прямолинейным характером. Но вместе с тем супруги гармонично дополняли друг друга и являли пример нежной взаимной любви и заботы. Отец

Димитрий сильно переживал смерть жены и рассказывал мне, что последние дни сидел рядом с ее кроватью и читал ей вслух Достоевского.

Последние годы батюшка жил в семье русских эмигрантов, относившихся к нему, как к родному отцу. Несколько раз он приезжал в Россию, служил, читал лекции, выпустил книгу про Достоевского в издательстве Свято-Тихоновского университета. Всякий раз отец Димитрий встречался со мною и подолгу расспрашивал о церковной жизни на Родине. Он по-хорошему завидовал мне и говорил, что, будь он чуть помоложе, непременно тоже вернулся бы.

Умер он в Вашингтоне в 2007 году, немного не дожив до своего 89-летия. Наверное, он был последним подлинным русским дворянином.

ЕПИСКОП ВАСИЛИЙ (РОДЗЯНКО)

Помогая в алтаре в Свято-Никольском соборе, я также продолжил исполнять иподиаконские обязанности во время нередких приездов архиереев. Чаще всего у нас служил епископ Василий (Родзянко). Он пребывал на покое и жил в Вашингтоне. Его проповеди транслировали по «Голосу Америки», но у нас в русском бюро он почти никогда не бывал, записывая свои программы дома, где с помощью духовных чад оборудовал настоящую студию. Я несколько раз бывал у владыки в гостях и поражался тому, как он обустроил свою совсем небольшую однокомнатную квартиру. Свободного места там не было совсем. Один отгороженный книжными полками сектор играл роль кабинета, другой – студии, третий – спальни. Крохотная кухонька служила трапезной и гостиной. Угол комнаты был отгорожен складным иконостасом, сооруженным в виде передвижной конструкции: Владыка выкатывал его вперед, и угол преображался в алтарное пространство, а вся квартира – в храм.

Владимир Родзянко еще успел родиться в России. В 1915 году в семье Председателя Государственной Думы III и IV созывов Михаила Родзянко появился внук. В 1919 году семья бежала в Болгарию, а оттуда в Сербию, где Владимир и вырос, получил образование (в Белграде и в Лондоне) и женился на дочери священника. До войны он преподавал Закон Божий в сербских школах, а в роковом 1941 году был рукоположен в священный сан и начал пастырское служение в клире Сербской Православной Церкви.

В 1949 году коммунистические власти титовской Югославии арестовали отца Владимира «за незаконную религиозную пропаганду» и бросили в тюрьму на восемь лет. Однако после вмешательства архиепископа Кентерберийского коммунисты через два года выпустили священника из тюрьмы и выслали из страны. Отец Владимир поселился в Лондоне, где служил на сербском приходе и вел религиозные передачи на «Би-Би-Си». Его радиопроповеди пользовались чрезвычайной популярностью в России и снискали ему множество поклонников. Рассказывают даже такую историю.

Начиная с перестроечных лет владыка часто приезжал на Родину и много путешествовал по ней. Однажды на пустынной дороге в глубинке, по которой он ехал на машине, чтобы служить литургию в отдаленном храме, он заметил происшедшую аварию. Владыка попросил водителя остановиться и увидел рядом с перевернутым мотоциклом распростертое на земле тело старика, над которым стоял молодой человек. Это был сын пострадавшего, который вез отца домой, и не справился с управлением. Пожилой человек погиб на месте. Владыка сказал оцепеневшему от горя сыну, что он священник и хочет отпеть новопреставленного, если тот, конечно, был православным.

– Да, был, – ответил сын. – Он и крещен с детства, хотя в церковь не попадал почти никогда – не было у нас

в селе церкви, некуда было ходить. Но папа много раз говорил мне, что у него есть духовный отец.

– Кто же это? Как это возможно?

– А он слушал религиозные передачи «Би-Би-Си», которые вел отец Владимир. Папа настолько его любил, что считал своим духовным отцом!

Вот так и встретился духовный отец со своим чадом и, помолвившись за упокой его души, дал ему последнее целование.

Итак, отец Владимир жил в Лондоне и служил на приходе. Но в 1978 году его жизнь изменилась самым радикальным образом. В автокатастрофе погибли его жена и внук. Сын, Владимир, получил серьезные травмы, но, к счастью, выжил. В следующем году на Соборе Православной Церкви в Америке отец Владимир был избран епископом Сан-Францисским и Калифорнийским, пострижен в монашество с именем Василий и переехал в США.

Однако на кафедре ему довелось пробыть всего четыре с небольшим года. Неизбежная для управления столь обширной епархией административная работа весьма тяготила епископа, и в 1984 году он ушел на покой, посвятив себя целиком пастырской и проповеднической деятельности.

Именно тогда я познакомился с владыкой Василием. Иногда он произносил в соборе проповеди – длинные, прочувствованные и чрезвычайно содержательные. Духовные чада записывали их на профессиональные аудионосители, обрабатывали, а затем передавали на «Голос Америки» для транслирования на Россию. Поэтому иногда ощущалось, что слова владыки относятся не совсем к нам, а к кому-то еще.

Помню, как-то в конце литургии владыка вышел для произнесения слова на амвон. Как всегда, к его омофору был прикреплен беспроводной микрофон. Он оперся на посох и произнес начальные слова проповеди:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Но тут помощники подали ему знак остановиться: по какой-то причине микрофон не работал.

Через несколько секунд по их команде владыка начал опять:

– Во имя Отца и Сына...

Ему опять дали знак прерваться.

Пауза и снова:

– Во имя Отца и... – владыка вопросительно смотрит на помощников и те вновь беспомощно разводят руками:

– Не пишет...

Таких фальшстартов было не меньше пяти, после чего епископ Василий обратился к нам:

– Простите, дорогие братья и сестры, но ведь мы должны подумать о тех, к кому обращена эта проповедь!

Невольно подумалось:

– Так значит, владыка обращается не к нам, молившимся вместе с ним за литургией и вместе с ним причастившимся Святых Христовых Таин!

Впрочем, такие редкие эпизоды ничуть не препятствовали нашей любви к владыке Василию и почтению к нему. Даже внешне он выделялся из толпы. Высокий и статный, с лежащей на груди седой бородой, густыми длинными белоснежными волосами и благородным породистым лицом, он не мог не привлекать к себе внимания. При этом владыка был деликатным и смиренным человеком, умевшим в любом разговоре переключать внимание с себя на собеседника. Говорил он тихим и мягким голосом, внимательно глядя в глаза.

Помню, как-то в алтаре он, взглянув на стоящее на горнем месте резное епископское седалище, сказал мне, что не понимает, почему на архиерейских тронах всегда изображают всевозможных чудовищ. На это я ответил цитатой из псалма: «Всякое дыхание да хвалит Господа!»,

и владыка, как ребенок, обрадовался такому ответу. И вот эта детская непосредственность, вкупе с удивительным нестяжательством – он умел довольствоваться самым малым, практически не имея ничего своего, и были характерными его чертами. Даже его крохотная, разделенная на секции квартира в Вашингтоне, в которой я бывал, ему не принадлежала: он просто снимал ее на свою скромную пенсию.

В 90-е годы владыка много раз приезжал в Россию и подолгу жил там. Таким образом, Господь даровал ему радостную возможность созидать то, над чем он заочно трудился и о чем молился всю свою сознательную жизнь.

Скончался епископ Василий в Вашингтоне в 1999 году в возрасте 85 лет.

ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

Из всех моих коллег по «Голосу Америки» я чаще всего вспоминаю уже покойного Игоря Журкина – казачьего сына, родившегося в эмиграции и выросшего в Чехословакии. После войны он оказался в Германии и оттуда в конце концов переехал в США. Игорь был простым, не очень книжным человеком, не слишком красноречивым и немногословным. На радиостанции он работал звукооператором и уже приближался к пенсионному возрасту. Постепенно, несмотря на значительную разницу в возрасте, мы с ним сблизились.

Вдовец, он жил один, выросшие дети давно обзавелись семьями. Была в его характере удивительная верность и рыцарская твердость. Позже я узнал, что уже после смерти жены Игорь полюбил одну женщину и та ответила ему взаимностью. Супруга его умерла рано, и тогда Игорь был еще во вполне «жениховском» возрасте. Но, поскольку его возлюбленная была замужем, Игорь не стал разрушать чужую семью и прервал с нею все отношения.

Больше он ни с кем не сближался, издали любя свою избранницу, но не делая никаких попыток вновь установить с нею контакт.

Игорь был церковным человеком, прихожанином Зарубежной Церкви. Но, хотя в тот момент отношения между двумя Церквями были весьма напряженными, мой друг совсем не делил людей на юрисдикции, считая, что это абсолютно неважно. У зарубежных он оставался из того же присущего ему чувства верности: попав в США в конце 40-х годов, он впервые пришел в их храм и остался там, придерживаясь принципа: «Где родился, там и пригодился». Кстати, иногда он приходил и в наш храм и причащался у нас, что тогда священноначалием «зарубежников» строго воспрещалось.

У Игоря была черта, сближавшая его и с Сергеем Сергеевичем Верховским, и с отцом Александром Шмеманом, и со многими другими представителями первой эмиграции и их детьми: он, горячо любя Россию, ни разу там не был – слишком боялся разочароваться в той идеальной стране, в верности которой он воспитывался с самого детства.

Может быть, поэтому Игорь с особой трепетностью относился к людям «оттуда», принимая их и расспрашивая о той жизни. Мы с ним частенько бывали друг у друга в гостях, иногда по выходным (если они у нас совпадали в наших плавающих графиках) он возил меня на экскурсии за город.

Помню, раз Игорь пришел ко мне очень радостным.

– Поздравьте меня, – говорит, – у моего внука родилась дочка!

– Ну и как вы ощущаете себя в качестве прадедушки? – спрашиваю.

– Как будто из генерала меня сразу повысили до маршала, – ответил старый казак.

После моего отъезда из Америки несколько лет мы

с ним поддерживали переписку. Потом она прервалась. Что с ним стало потом – не знаю.

* * *

Дружил я и с нашим соборным диаконом – сербом Благое. Это имя удивительно верно характеризовало его жизнерадостную, деятельно добрую, смиренную и незлобивую натуру. На диаконское жалование прожить было невозможно, и он, будучи мастером на все руки, зарабатывал строительными подрядами. Служил Благое, мягко говоря, неважно, часто путался и никак не мог запомнить последовательности диаконских священнодействий. Но никто на него не сердился – это было невозможно из-за смирения и терпения, с которыми он воспринимал свои промахи. Основная тяжесть его диаконского служения приходилась на иное – на то, что описано в Новом Завете, когда говорится об избрании первых диаконов. Он помогал всем и каждому, заботился о немощных, навещал больных, тайно пересылал деньги обездоленным, знал все о нуждах всех и никогда не ждал просьб о помощи, стремясь опередить их.

Еще один мой друг – редактор грузинского бюро «Голоса Америки» Миша Попхадзе в 70-е годы подвизался на ниве рок-музыки, играя на бас-гитаре. В Грузии его знали все, да и за ее пределами он был широко известен. Как-то его группу выпустили для гастролей за границу, чтобы показать свободную молодежную политику в СССР, и Попхадзе сбежал, или, как тогда говорились, «избрал свободу». Миша по-прежнему играл на своей гитаре в какой-то группе, но жить этим в США оказалось невозможно. Так он попал на «Голос Америки». Михаил тогда только начинал свой путь к вере, пробуя разные пути, в том числе – и весьма экзотичные. В частности, он записывался на какие-то семинары к всевозможным мутным гуру, но, по счастью, подолгу у них не задерживался.

При этом Миша считал себя православным. В храм он заходил лишь изредка, но об исповеди и Причастии никакого представления не имел. Понятно, что его религиозное сознание было весьма размытым.

Мы подружились с ним в это время, и мне очень приятно, что я смог сыграть некоторую роль в Мишином религиозном становлении. Постепенно он воцерковился и даже стал прислуживать в алтаре вместе со мною. Сейчас Михаил Попхадзе – священник Православной Церкви в Америке, окормляющий грузинскую диаспору в Вашингтоне.

* * *

Наверное, самым известным в России среди моих коллег по «Голосу Америки» был протоиерей Зарубежной Церкви Владимир Максимов. К тому времени отец Владимир уже долгое время вел религиозные передачи, которые слушали очень многие. Правда, многие считали, что он был агентом ЦРУ. Конечно, это не так.

Но что действительно происходило – это брифинги о положении Церкви в России, которые он регулярно проводил в названном разведведомстве. Соответственно, политика ЦРУ и политика Госдепартамента США по отношению к Русской Православной Церкви выстраивалась, в том числе, и на основании тех лекций и брифингов, которые проводил отец Владимир Максимов. Как мне кажется, весьма характерно, что представитель Зарубежной Церкви, которая тогда находилась в жесткой оппозиции к Московской Патриархии, формировал отношение правительственных органов США к церковному вопросу в России.

Впрочем, по крайней мере это делал далеко не самый худший «зарубежник». Отец Владимир – довольно взвешенный, осторожный и неконфликтный человек – всегда был далек от того ненавистнического фанатизма по отношению к нашей Церкви, которым характеризовался

митрополит Виталий (Устинов) и тогдашнее руководство РПЦЗ. И несомненно, мой коллега по «Голосу Америки» относился к родине своих предков с неподдельной любовью.

Долгое время я поддерживал с отцом Владимиром нейтрально-хорошие отношения, иногда делал для его программы интервью (например, с приезжавшим в Нью-Йорк Борисом Гребенщиковым, который по старой памяти согласился пообщаться со мною). Но это происходило достаточно редко, так как свою религиозную передачу протоиерей весьма цепко держал в своих руках и никого к ней не подпускал. Внешнее вмешательство ограничивалось лишь тем, что отдельный блок в его программе составляли проповеди епископа Василия, которые представлялись ему в готовом виде и фактически составляли инородную область в его радиоцарстве.

Протоиерей Владимир Максимов был одним из немногих деятелей «мозгового центра» Зарубежной Церкви (при том что его образование ограничивалось лишь Джорданвилльской семинарией, никогда сколько-нибудь высоким уровнем не отличавшейся) и одновременно принадлежал к наиболее либеральному ее крылу. Нужно сказать, что отец Владимир при всех его «либеральных» взглядах (несомненно, значительно отличавшихся в лучшую сторону от воззрений митрополита Виталия и его ближайшего окружения) очень хорошо умел лавировать. Один очень уважаемый мною священник ПЦА как-то в частном разговоре назвал его «иезуитом», разумеется не в смысле тайного католичества, а в смысле присущей ему своего рода «дипломатической неискренности».

Я этой черты своего коллеги долгое время не ощущал. Сам он, общаясь со мной, говорил, что себя раскольников совсем не считает: просто исторически так сложилось, что Зарубежная Церковь находится вне литургического общения с другими православными Церквями, но

такая позиция им вовсе не поддерживается. К тому же есть хоть и номинальное, но общение с Сербской Церковью, а через нее, опосредованно, – и со всей полнотой Православия. Он принадлежит к части Русской Православной Церкви, хоть временно и отделенной от нее. Но она не может называться раскольнической, так как не создается и никогда не будет создавать параллельной церковной структуры на Родине.

«А если ваши иерархи начнут открывать приходы в России, что тогда?» – спрашивал я.

На это отец Владимир отвечал, что такого не может быть по определению. И если бы вдруг – по какой-то невероятной причине, которую даже нельзя вообразить, – такое бы случилось, он, протоиерей Владимир Максимов, немедленно ушел бы из Зарубежной Церкви.

Помню, как в Вашингтон приезжал уже знакомый мне Глеб Якунин, тогда еще действующий священник Московской Патриархии. Я все еще по инерции глубоко уважал его как героя и страдальца за веру, считая неким недоразумением характер моего московского общения с ним. Было анонсировано выступление «исповедника наших дней» в приходе отца Владимира Максимова, и я, разумеется, тоже пошел послушать главного церковного диссидента. Но этот доклад произвел на меня еще более странное впечатление, чем встреча в Москве. Главная мысль пришедшего в храм в светской одежде Якунина заключалась в идее, что Зарубежная Церковь должна как можно скорее открывать свои приходы в России.

К чести отца Владимира должен сказать, что среди собравшихся прихожан и слушателей оказалось весьма много нормальных, здравомыслящих людей, которые задали резонный вопрос:

– А зачем?

Священник Московской Патриархии Глеб Якунин ответил так:

— Понимаете, у нас в стране никогда не было рынка, никогда не было конкуренции, и это очень плохо. Потому что, например, заходишь в наш магазин и выбираешь лишь из того, что там есть, — пойти-то все равно больше некуда. А если там ничего нет — то и суда нет. А значит, нет никакого стимула для повышения качества обслуживания и приобретения новых товаров. Вот если бы на одной стороне улицы была лавка, на другой стороне улицы — другая лавка, а рядом еще одна лавка, — то они бы все конкурировали между собой и старались сделать как лучше, боролись бы за клиента. Так вот и в Церкви — то же самое.

Такой ответ и сравнение храмов с магазинами шокировал даже «зарубежников». Отец Владимир, хоть и был организатором встречи, высказал несколько мягко критических замечаний относительно неуместности некоторых аналогий. Якунин парировал, что рынок духовных услуг нуждается в конкуренции не менее, чем рынок экономический. На этом вечер закончился. Люди расходились, недоуменно пожимая плечами.

Встреча с 92-х
летней бабушкой



С друзьями в Кремле

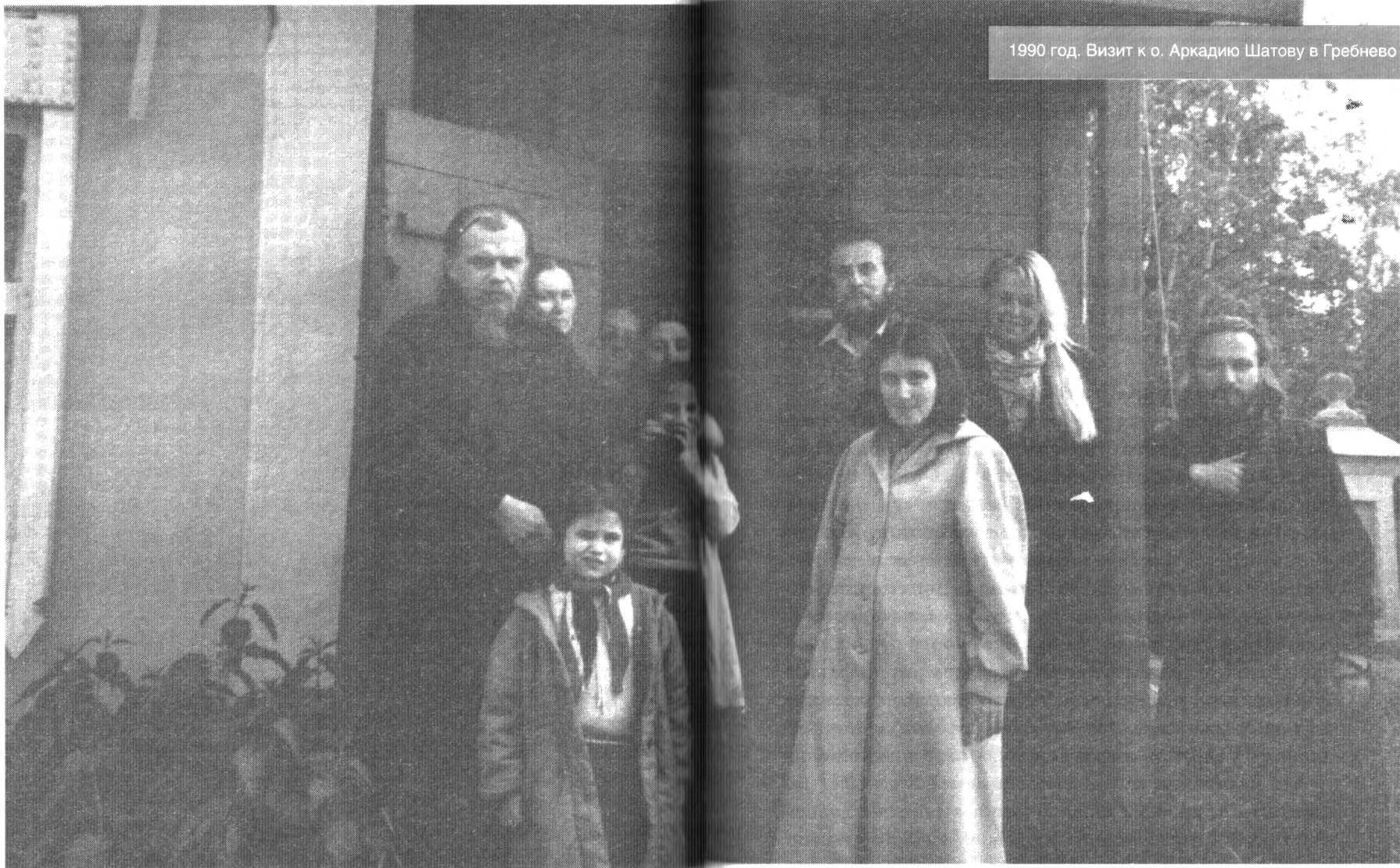


Встреча с мамой



Зоя Крахмальникова и
Феликс Светов





ТРЕТИЙ РАЗ В РОССИИ

Через год благополучно завершился мой испытательный период на радиостанции, и я получил повышение, поднявшись с 9-й на 11-ю ступень госслужбы США. Выросло и мое жалование. А еще через полгода я собрался в за-

служенный отпуск: за этот срок, да еще с учетом нескольких отгулов у меня накопилось целых пять недель. Все это драгоценное время я собрался провести в России.

Естественно, я рассказывал о своей предстоящей поездке коллегам по «Голосу Америки», и многие просили меня исполнить в Москве те или иные мелкие поручения.

В предпоследний день в офисе неожиданно к моему столу подошел отец Владимир Максимов и, протянув мне большой желтый пакет, сказал, что просит меня передать его в Москве по одному адресу. Я спросил о содержании пакета. Он, очень смущаясь, ответил, что в нем содержится указ Зарубежной Церкви об открытии в России приходов.

Я онемел: это означало, что руководство РПЦЗ приняло решение перенести раскольническую деятельность на территорию России.

– Как же так, вы же мне клялись, что этого не будет никогда?

Отец Владимир, покраснев, как рак, ответил:

– Понимаете, Саша, так все сложилось. Мы не можем оставить всех этих хороших людей без окормления...

Ответить я мог только так:

– Ваше Высокопреподобие, вы же прекрасно знаете, что я этот пакет никуда не повезу. Никакого участия в этом несправедном деле принимать не хочу и не собираюсь. И вообще, мне совершенно непонятно, почему вы, зная мою позицию, предлагаете везти пакет именно мне!

Тут я в первый раз в жизни увидел отца Владимира Максимова взбешенным. Напоминаю, что он человек крайне сдержанный, с несколько даже замедленной реакцией. И вдруг он закричал, что я ровно ничего не понимаю и отказываюсь видеть очевидное: в Русской Церкви власть захвачена масонами (это первый и последний раз, когда я слышал от него подобное), а я не хочу вместе с истинным Православием противостоять коммунистической черной силе и так далее...

Я ответил, что действительно не хочу. На этом мы и расстались. Мне стало очень жаль отца Владимира, который вынужден был идти против совести и защищать чудовищный, предательский и антицерковный шаг своего священноначалия.

Дальше... тут я должен покаяться. Дальше я совершил не совсем этичный поступок. Я пришел домой и долго переживал, как же это так: они открывают приходы, а я не могу известить об этом нужных людей. Я позвонил отцу Иоанну Мейендорфу, и мой духовный отец, всегда столь безупречно корректный, вдруг сказал мне, что хорошо бы узнать содержание этого пакета. В ту ночь мне предстояло отбыть последнее дежурство на «Голосе Америки» перед утренним вылетом в Россию. Я пришел на рабочее место и увидел на столе отца Владимира Максимова этот самый пакет.

Я понял, что это – мой шанс, незаметно вскрыл пакет, отксерил его содержимое и отвез в Россию, где передал в Московскую Патриархию. Это была первая и последняя шпионская операция в моей жизни. Благодаря ей Русская Православная Церковь получила официальный текст об этом решении раньше, чем те люди, которые стали открывать у нас зарубежные приходы.

После этого мои отношения с отцом Владимиром Максимовым больше не восстановились. Я был шокирован тем, что раскол перешел на территорию России и что отец Владимир, несмотря на все, сказанное ранее, принял решение этот процесс поддерживать. Если до этого я иногда заходил в храмы Зарубежной Церкви и даже пару раз причащался в их европейских храмах, где отношения между юрисдикциями были несколько помягче, чем в США, то теперь решил этого более никогда не делать. Я даже спросил отца Иоанна Мейендорфа, как мне теперь общаться со священниками Зарубежной Церкви, а он ответил, что не рекомендует теперь даже брать у них благословение. Разумеется, я послушался совета своего духовного отца.

Как Московская Патриархия тогда отреагировала на доставленную мной информацию – до сих пор не знаю. Я просто пришел в Чистый переулок, отдал папку с отксеренными документами – как ни странно, даже не

помню кому... Кроме этого, мне нужно было передать другие бумаги, касающиеся росписи вашингтонского собора тогдашнему управделами епископу Алексию (Кутепову), ныне архиепископу Тульскому и Белевскому. Возможно, и «максимовский» пакет я отдал ему же.

Я очень рад прошедшему воссоединению «зарубежников» с Матерью-Церковью. Протоиерей Владимир Максимов воспринял его с энтузиазмом. Уверен, что после этого события громадный камень упал с его души*.

Однако – увы, и тут есть «однако» – созданные РПЦЗ раскольничьи приходы в России никуда не делись. Джинн был выпущен из бутылки, и единство Церкви было нарушено. Сегодня большая часть этих людей отвергли объединение, откололись от Зарубежной Церкви и существуют в совершенно «свободном полете», размножаясь делением и почкованием, но при этом совместно противостоя Церкви Христовой.

* * *

Третий приезд домой оказался самым плодотворным в смысле знакомства с православной жизнью на моей родине. Наконец-то у меня сложилось гораздо более полное и реальное представление о церковной ситуации в России. Мне удалось познакомиться с теми, кого тогда называли молодым поколением московского духовенства. Я встретился с давней (еще по короковской компании) знакомой Ирой Крокодилчик, которая, в отличие от большинства наших тогдашних друзей, полностью оставила старое и воцерковилась. Она отвезла меня в подмосковное Гребнево, где тогда служил священник Аркадий Шатов (ныне – епископ Орехово-Зуевский Пантелеи-

* Выскажу предположение, что когда все начиналось, отец Владимир умышленно оставил без присмотра столь важный документ у себя на столе, с тайной надеждой, что я сниму с него копию и отвезу в Московскую Патриархию.

мон). Он пригласил меня в алтарь, и во время этой службы я впервые прислуживал и читал Апостол в русском храме на родине. После службы мы долго беседовали с отцом Аркадием и его женой. Тогда она была тяжело больна и через полгода скончалась. Так получилась, что их семейная фотография (отец Аркадий, матушка София и четыре дочери), которую я сделал, стала единственной цветной фотографией матушки.

Познакомился я и с отцом Димитрием Смирновым, читавшим тогда курс лекций в ДК на Беговой. Меня к нему подвели после окончания беседы и представили ему. Тогда же я впервые встретился с присутствовавшими там же отцами Владимиром Воробьевым и Александром Салтыковым. Через некоторое время после этого отец Александр приезжал в Америку и побывал у меня в гостях.

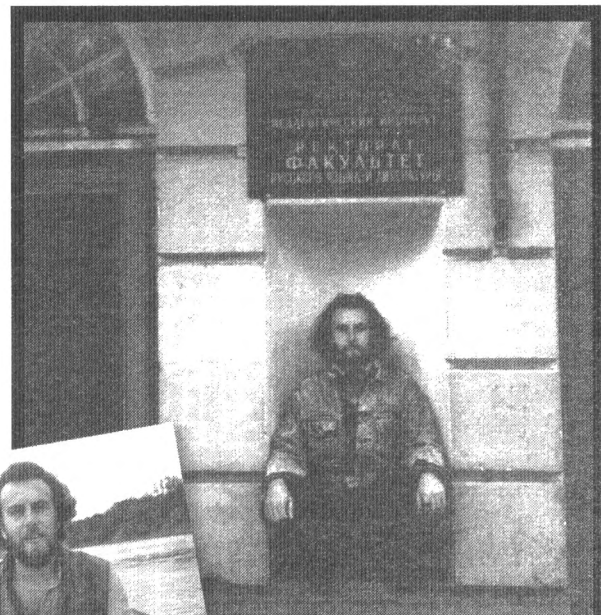
Я поехал на поезде в Киев, а оттуда – в Винницкую область, в то село, в котором я в детстве проводил каждое лето. К счастью, мне довелось еще застать в живых мать принимавшего меня большого семейства и проститься с ней. Затем я направился в Санкт-Петербург, тогда еще оскверненный именем главного большевика. А оттуда отбыл на круизном теплоходе в Петрозаводск, в Кижии, главное, на Валаам, где только что вновь открылся и начал возрождаться монастырь. Чувства от посещения святого места остались довольно сложные: конечно, удивительная красота тамошних мест не могла не восхищать, равно как и то, что теперь здесь вновь, хоть и в самых катакомбных условиях, но совершается литургия.

Но так страшно тяжело было видеть всю мерзость запустения, царившую в святом месте: ободранные, полуразрушенные храмы, захлащенные и заплесанные корпуса... Службы совершались в подвале церкви, все еще сильно загаженном (работы по его очистке только-только начались, и все проводилось силами нескольких монахов).

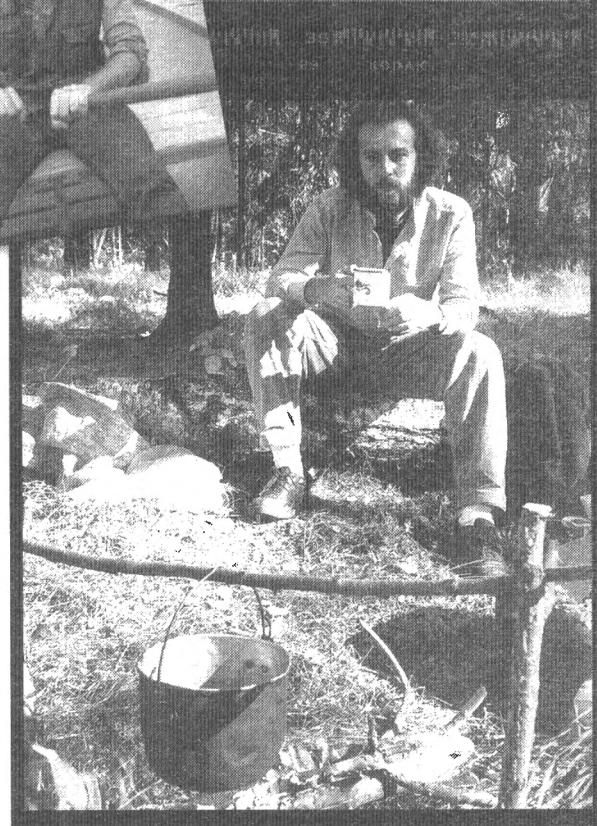
А ведь замечательная красота храмов и монастырских построек в некотором роде была видимостью: скорее, то были великолепные руины, которые издали смотрелись прекрасно, но по мере приближения становилось очевидно, что все они в катастрофическом состоянии и вот-вот обрушатся. Местная околмонастырская община состояла в основном из молодых интеллигентов, приехавших из Москвы и Питера, селившихся на острове среди алкоголизированного населения, жившего в страшной нищете. Даже банка консервов считалась большой ценностью.

Да, тогда мне действительно удалось поехать, увидеть и почувствовать страну гораздо больше. Я совсем не ощущал себя «вновь приехавшим». Конечно, даже в самых смелых мечтах невозможно было себе представить, что все это за очень короткие сроки будет восстановлено и обретет былые красоту и величие. Но и без всякой надежды хотелось быть в России. Ощущалась вся судьбоносность грядущих перемен.

1989 г. Я на фоне
Ленинского «педа»



На лодке
в Серебряном Бору



1989 г.
Приезд в Россию



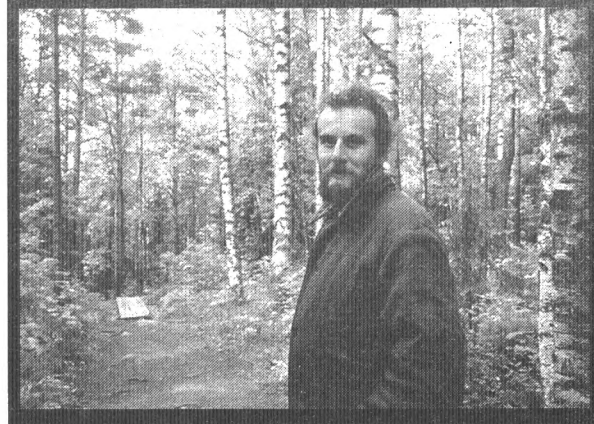
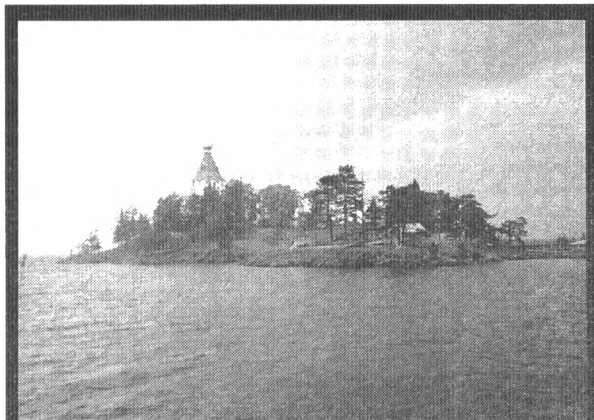
1990 г.
Отец Аркадий
с матушкой и одной
из их четырех дочерей



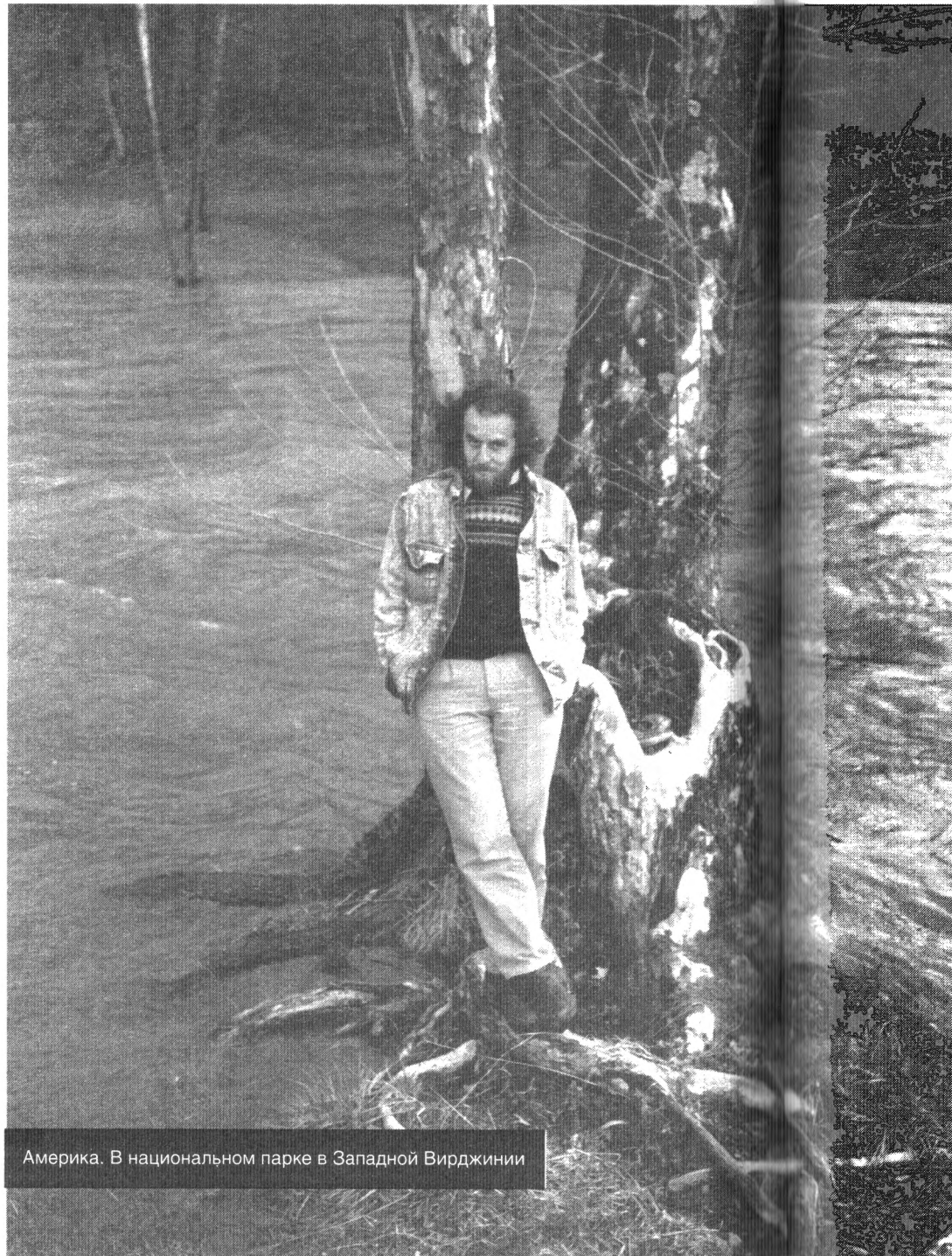
Отец
Александр Салтыков



Отец Владимир
Воробьев и отец
Александр Салтыков
(крайняя слева —
Ира Крокодильчик)



1990 г. Валаам



Америка. В национальном парке в Западной Вирджинии

НОВЫЙ ВЫБОР

Однако все хорошее подходит к концу, завершился и мой отпуск. Я вернулся назад в Вашингтон и на следующий день после прилета вышел на работу.

Я писал уже, что избранная мною тактика поведения состояла в полном невмешательстве в какие-либо выяснения отношений и конфликты на русской службе. Однако к этому времени я стал замечать, что ходить на работу, полностью игнорируя тамошнюю обстановку, а потом, возвращаясь домой, жить своей жизнью у меня не получается. Мне было далеко до такой степени бесстрастности. Вся эта атмосфера медленно и исподволь начинала действовать на меня. Я замечал за собой, что постепенно становлюсь склочным, подозрительным и раздражительным человеком. Когда я это осознал, я испугался за себя и за свою душу. Нужно было срочно что-то решать.

Но тогда я уже хорошо понимал, что возвращение в академическую жизнь для ушедшего в другую сферу деятельности человека совсем не так просто. Получение места в университете для меня стало еще более проблематичным: преподавательского стажа и публикаций за эти два с половиной года не прибавилось, научной работы я не вел никакой, в нужной среде не крутился и полезных знакомств не заводил. Но даже если бы мне вдруг предложили место, то стартовое жалованье составило бы гораздо меньшую сумму, чем та, что я получал:

в учебных заведениях платят сравнительно немного, особенно поначалу. Человеку, привыкшему к какому-то определенному уровню, перейти на меньшее всегда сложно.

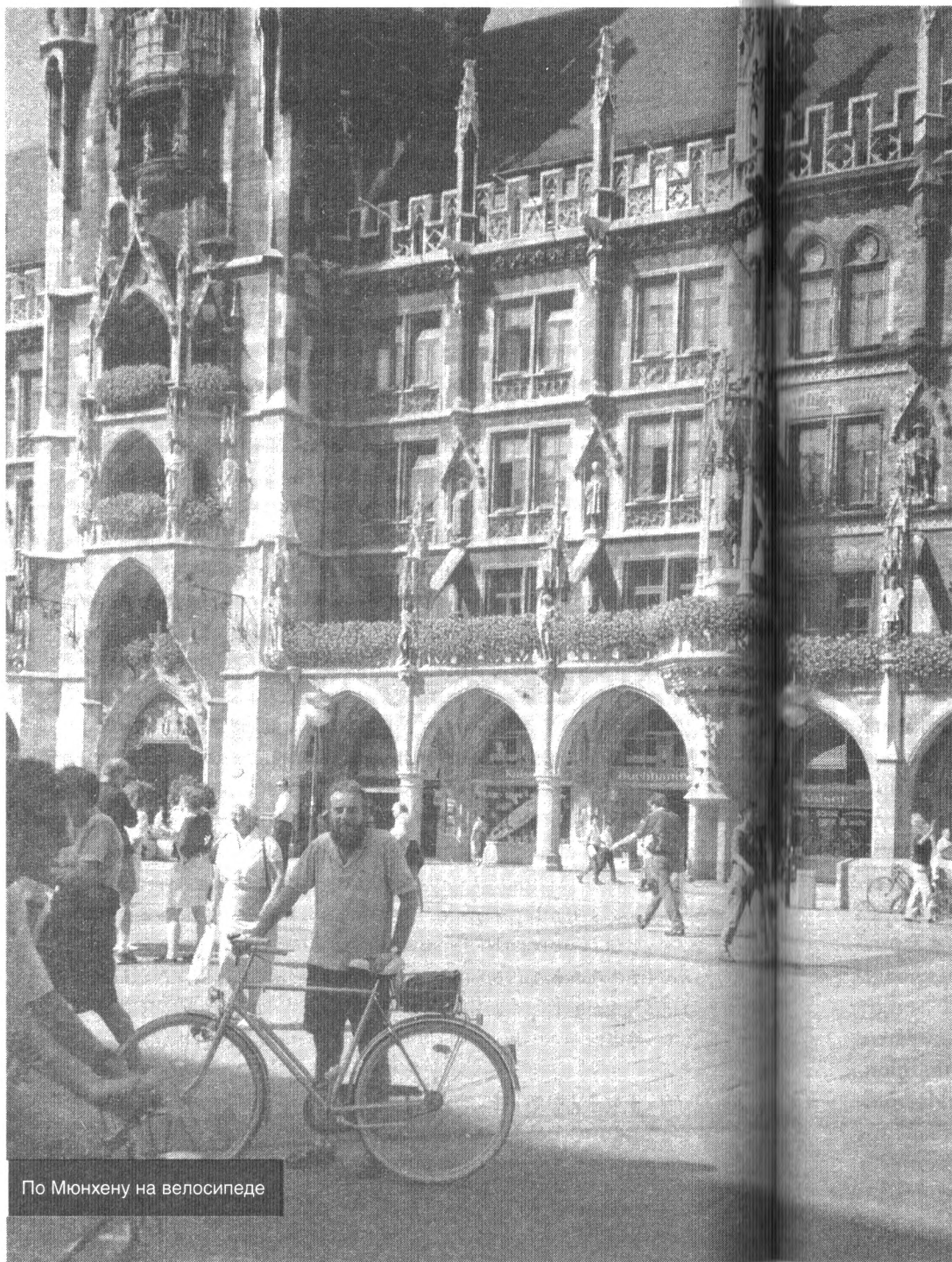
И вдруг мне подвернулся совершенно новый вариант. Мой давнишний приятель по «Голосу Америки», богемный поэт Алексей Цветков, устроился работать на Радио «Свобода» в Мюнхене и предложил мне тоже попробовать туда перебраться. Для этого требовалось сдать экзамен на скорость и качество перевода, примерно такой же, как на «Голосе Америки». Поддавшись на цветковские уговоры, я отправился в представительство «Свободы» в Вашингтоне, сдал этот экзамен и забыл про него. И вдруг мне прислали извещение, что мной заинтересовались и приглашают слетать на трехдневную стажировку в Мюнхен, дабы оценить меня в деле.

В покрытой январским снегом столице Баварии все прошло вроде бы успешно. Спустя некоторое время я получил официальное извещение, что мне предоставляется место редактора в отделе новостей с испытательным сроком в полгода. Мне было положено приличное жалованье (раза в полтора больше того, что я получал на «Голосе») и бесплатная двухкомнатная меблированная квартира (что делало реальный доход намного более высоким: в Вашингтоне на квартплату у меня уходила треть жалования). Более того, за все коммунальные счета тоже платил работодатель. К приглашению с немецкой дотошностью прилагался список всего, что ожидает меня в квартире. Было подсчитано даже количество предоставляемых мне ложек, ножей и стаканов, равно как и два коврика (внешний и внутренний) у двери. Упаковка и перевоз вещей, разумеется, осуществлялись за счет приглашающей стороны.

Рабочий день в Германии составлял всего семь часов (против восьми в США), а отпуск – шесть недель в год, которые, по немецким законам, каждый сотрудник был обязан полностью использовать. Да еще отгулы набега-

ли за работу по многочисленным немецким праздникам. Кроме того, каждые два года сотрудникам-американцам предоставлялись дополнительные четыре недели и оплаченный билет в любую точку США (так называемый «домашний визит»). В общем, количество всевозможных льгот поражаало воображение.

Все это делало мюнхенское предложение весьма заманчивым, но тем не менее решиться на него было весьма сложно. Я понимал, что, уехав в Европу, навсегда отказываюсь от академической карьеры в Штатах. Живя в Германии, найти место в американском университете невозможно. Более того, меня предупреждали, что атмосфера на Радио «Свобода» куда хуже, чем на «Голосе Америки». Говорили, что склоки, подковерная борьба и подсиживания друг друга там таковы, что «Голос Америки» в сравнении выглядит детским садом. В общем, при всей заманчивости этого предложения, по-хорошему, от него следовало бы отказаться. Тут, как никогда, подходила поговорка о синице в руках и журавле в небе. То, что я все же, вопреки здравому смыслу, согласился ехать, как я вижу теперь, несомненно, было промыслительным. Да, «Голос Америки» мне порядком надоел, да, перспектива пожить в Европе казалась заманчивой, к тому же повышение жизненного уровня не могло не привлекать, но всех этих причин в дальней перспективе было недостаточно. Но я ощутил некую глубокую внутреннюю уверенность, что мне нужно ехать в Германию. Это было настолько непонятно для меня самого, что я сам придумал себе оправдательную причину, дескать Германия куда ближе к России, чем Штаты, и навещать родину я смогу гораздо чаще.



По Мюнхену на велосипеде

МЮНХЕН: ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА

Отъезд был назначен на конец июня, а в мае ко мне в Вашингтон в гости приехали мама с сестрой. Я с радостью их принимал, возил по окрестностям, знакомил с друзьями. На несколько дней они съездили в Нью-Йорк, где останавливались у Мейендорфов в Крествуде и матушка Мария Алексеевна устроила им пару полноценных экскурсий в город. Сестра моя была уже крещена (во время первого своего визита в Москву я отвел ее в Елоховский собор – тогда единственное место в Москве, где крестили полным погружением), а мама, хоть и согласилась креститься лишь много позже, но не пропускала ни одной службы и очень подружилась со всеми моими церковными друзьями – от семей Мейендорфов и Григорьевых и до диакона Благое с Игорем Журкиным.

Через пять недель они уехали, а я стал собираться в Мюнхен. За время визита родных я потратил абсолютно все сбережения и уезжал в новую страну меньше чем с десятью долларами в кармане. За ненадобностью я даже закрыл американские банковские счета. Самолетный паек оказался на удивление скудным, и к Мюнхену я подлетал, едва ли не щелкая зубами от голода. Решил перечитать список вещей, ожидавших меня в новой квартире. В числе прочего там значился двухкамерный холодильник. Я стал мечтать о том, что новые

работодатели, конечно, решат позаботиться об уставшем путешественнике и загрузят этот кухонный агрегат продуктами первой необходимости. В уме возникали соблазнительные картинки: вот я открываю дверцу, а там лежат немецкая ветчина, сыр, булочки, листья салата, горчица – в общем, все необходимое, чтобы сделать себе толстый сэндвич и выпиться в него зубами. Увидел я всю эту роскошь столь отчетливо, что почти уверился в ее реальности.

В аэропорту меня встретили и привезли по адресу, сказав в случае проблем звонить в административный отдел «Свободы». Мое новое жилище оказалось светлым, просторным, с большим балконом и даже почти что трехкомнатным: обширная прихожая с полноценным окном была оборудована как столовая. Одна незадача: нигде в этой чудесной квартире не было холодильника. Я вновь перечел список: холодильник там значился. Вновь обошел квартиру – его не было! Я вышел на улицу, разменял пять марок на мелочь и направился к таксофону (телефон в квартиру мне обещали поставить через два дня).

В ответ на мой недоуменный вопрос люди из хозяйственного отдела «Свободы» надо мной просто посмеялись: «До чего вы, американцы, ненаблюдательные! Привыкли к своим громадным холодильникам и, если он чуть меньше ваших необъятных размеров, просто не можете его заметить».

Я побрел домой на поиски. Внимательно осмотрел всю квартиру – даже под кровать заглянул (вдруг в Германии разработали особую модель маленького подкроватного холодильника?), но найти ничего не смог.

На мой повторный звонок ответил очень смущенный голос: «Знаете, мы проверили, действительно произошел недосмотр: холодильник забыли завезти. Извините, пожалуйста, завтра в течение дня его к вам в квартиру доставят».

На счастье, оказалось, что Цветков, соблазнивший меня на переезд в Мюнхен, жил с семьей в соседнем доме. Я пошел к нему обедать и заодно одолжил денег на первое время. В тот же день он свозил меня в спортивный магазин, где я приобрел крепкий и надежный велосипед. Всю свою дальнейшую жизнь в Мюнхене я перемещался по городу только на нем, сочетая приятное с полезным: никогда я не был в столь хорошей физической форме, как в течение этих шести месяцев. Доехать до работы занимало у меня шесть минут туда (под гору с ветерком) и поначалу двенадцать – обратно. Первые дни я едва-едва мог въехать на крутую горку. Но уже через месяц назад я доезжал минут за восемь, практически не замечая подъема.

* * *

Я уже знал, что ездить на велосипеде в Мюнхене удобно и привольно: повсюду проложены специальные дорожки, и право пути принадлежит обладателям двухколесного транспорта. Город оказался исключительно комфортным для жилья: все блистало новизной и свежестью, поражаало благоустроенностью и уютом. Никаких тебе нью-йоркских контрастов! Все идеально функционировало, чистота поддерживалась примерная, застройка была продумана до мелочей, так что жилые дома и торговые центры перемежались с зелеными парками, крупнейший из которых – Энглише Гартен, врезаюсь клином в самый центр города, постепенно переходил в настоящий лес.

Единственную проблему в этом парке составляли nudисты, которым там была отведена обширная территория. Рассказывали, что поначалу nudистам разрешали кучковаться в любых зеленых зонах, особенно они любили демонстрировать друг другу свои тела у реки, под мостами. Однако вскоре турецкие рабочие буквально облепили эти мосты: они специально приходили туда с биноклями, чтобы поглазеть на увлекательное зрелище.

В результате нудистов переселили в отдаленный район Энглише Гартена.

Я этого не знал и как-то, срезая свой путь через парк, подумал, что, наверное, сошел с ума: с двух сторон дорожки прогуливались совершенно голые люди, причем, насколько я успел заметить, подавляющее большинство из них совсем не отличалось красотой фигур. Это – мягко говоря. Один из них – с большим вислым животом – очевидно, воображал себя по меньшей мере Аполлоном Бельведерским: он бросал вперед длинное копье и, хотя оно падало почти что у его ног, приставлял ладонь щитком ко лбу и пристально вглядывался вдаль, тщетно высматривая там свой снаряд.

Я нажал на педали и вскоре вылетел из странного места. Расспросив знакомых, узнал об особенностях этого угла парка и потом объезжал его стороной. Хотя все же мне до сих пор непонятна психология этих людей. Кажалось бы – любишь щеголять, в чем мать родила, – никто не препятствует! Парк большой, отойди себе в сторонку – там и травка погуще, и пыли поменьше – и делай, что хочешь. Но почему-то вся нудистская публика выгуливалась вдоль велосипедных дорожек. Видно, очень им не хватало турецких рабочих с биноклями.

Осенью я стал собирать крупную рябину, которая обильно росла во дворах и в парках. Проходящие мимо горожане заботливо подходили ко мне и предупреждали, что эта оранжевая ягода очень ядовита и есть ее нельзя. Я же в ответ только посмеивался. Из собранной рябины наварил варенья и стал угощать немецких приятелей, которые немало дивились тому, что смертоносная ягода оказалась вполне съедобной.

Был в Мюнхене и исторический центр со старинной застройкой, любовно восстановленной после почти тотальных военных разрушений (и также сверкавший новой отделкой), и несколько превосходных музеев. В об-

щем, я быстро приспособился к новому месту обитания. Единственное, к чему оказалось сложнее привыкнуть, – это к жестким немецким правилам, которые тогда соблюдали все.

Например, шуметь разрешалось лишь в строго отведенные часы: с семи утра до двух дня и потом с четырех до шести вечера. В субботу и воскресенье также предписывалось хранить тишину. Я узнал об этом правиле довольно быстро. Получив первое жалование, съездил в «Икею», купил там несколько книжных шкафов и, привезя их в разобранном виде домой, начал сколачивать на балконе. В самом начале седьмого в дверь позвонили соседи и вежливо сообщили, что шуметь уже пять минут как нельзя. Пришлось подчиниться.

Более того, для меня, с моим нестандартным графиком, это правило оказалось весьма неудобным. Часто я приходил домой после вечернего дежурства в два и три ночи и, соответственно, ложился спать в три-четыре утра. Но ровно в семь начинала грохотать стройка напротив. Это было их законное время, и сделать ничего было нельзя.

Так же жестко соблюдалось правило о переходе улицы только лишь на зеленый сигнал светофора. Даже при полном отсутствии движения немцы терпеливо ждали, когда погаснет красный. Помню, как-то поздно ночью я ехал домой на велосипеде. Улицы были совершенно пустынные. Лишь на перекрестке напротив меня стоял одинокий велосипедист и дожидался зеленого света. Я притормозил, огляделся по сторонам – никакого транспорта нигде не было видно – и поехал вперед. На лице стоящего напротив немца отразилось сильнейшее беспокойство. Он посмотрел на светофор и увидел тот же красный свет. Затем глянул на меня – я ехал. Не в силах понять происходящего, он опять бросил взгляд на меня и, наверное, решил, что сходит с ума. Я думаю, бедняга

меньше бы удивился, если бы я вдруг полетел по воздуху. Может быть, с ним случился бы удар, если бы я, проезжая мимо, не сказал ему: «Улица свободна, не жди попусту, приятель, езжай тоже!»

И тут он понял, что я НАРУШАЮ! Глаза его выпучились, он налился кровью и завопил, что немедленно вызовет полицию. На счастье, тогда еще не было мобильных телефонов, так что я смог безнаказанно укатить с места преступления.

* * *

Еще одна забавная история связана с тараканами. Дело в том, что эти домашние насекомые буквально наводняли американские города и вывести их из квартиры было делом практически невозможным. Тараканы присутствовали во всех моих многочисленных жилищах, и все меры по их уничтожению давали лишь временные результаты: через какое-то время насекомые возникали опять в еще большем количестве. В магазинах появлялись все новые и новые смертоносные средства против этих ползающих тварей, каждая третья телевизионная реклама превозносила новейшие антитараканные изобретения, обещая, что теперь-то с домашними вредителями будет покончено навсегда, но те, не обращая на эти средства никакого внимания, с невероятными скоростью и упорством плодились и множились в американских домах.

Когда я приехал в Германию, то с удивлением обнаружил, что в немецких квартирах этих повсюду шныряющих черных и рыжих врагов чистоты и порядка просто нет. На мой недоуменный вопрос приятели ответили, что тараканов вывели уже очень давно, а в случае их появления санэпидемслужба оцепляет весь квартал и дезинфицирует дом за домом. Я порадовался за немцев, столь радикально избавившихся от заразы, и забыл об этой проблеме. До времени.

Через несколько дней мне наконец доставили мои вещи, упакованные в большие картонные коробки. В основном это были книги – всю свою нехитрую мебель и большинство кухонной утвари я раздал знакомым в Вашингтоне. И вдруг, к моему ужасу, из коробки на подгибающихся ножках выполз дрожащий таракан. Я немедленно его прихлопнул, но ведь где есть один таракан, могут быть и другие! Значит я стану виновником нового нашествия зловредных насекомых на ничего не подозревающую страну!

Я накинул куртку и побежал в магазин. Никаких средств от насекомых там, разумеется, не оказалось. Поразмыслив немного, я решил пойти в аптеку и попросил провизора продать мне борной кислоты.

– А зачем она вам? – вежливо спросил немец.

– Да так, нужная вещь, в хозяйстве пригодится, – ответил я.

– Тогда я не могу вам ее продать, – ответил бдительный аптекарь, – борная кислота – сильный яд, и, не будучи уверенным, в каких целях вы ее употребите, я не могу взять на себя ответственность по отпуску ее в ваши руки.

Несолоно хлебавши я поплелся в другую аптеку, где в ответ на аналогичный вопрос признался, что она нужна мне для выведения насекомых, после чего получил заветный белый порошок. Я обильно рассыпал его по всем углам кухни и вокруг водопроводных труб. На счастье, тараканы так и не появились. Не знаю уж, борная кислота ли подействовала, или тот убитый мною экземпляр был путешественником-одиночкой.

* * *

Что касается церковной жизни, то, как оказалось, русской церкви для меня в Мюнхене не было. В Зарубежную церковь по понятным причинам ходить я не мог. Оставались греческая и сербская церковь. Я выбрал сербскую,

тем более что после многих путешествий по Югославии неплохо освоил сербский язык: все понимал и довольно свободно, хоть и не слишком грамотно, говорил. Мой новый храм располагался в жилом здании и занимал совсем небольшое, но уютное пространство. Когда-то там была русская церковь, но потом она переехала в новое место, а сюда въехали сербы. Служили они по-славянски. Меня сразу определили читать на клиросе и помогать в алтаре, так что я приступил к привычному занятию. Несколько раз священник, отец Слободан, просил меня в выходные съездить с ним на требы и помочь ему, что я с удовольствием делал. Прихожане тоже сразу же стали воспринимать меня как своего.

В общем, жизнь в Мюнхене наладилась у меня сразу, и, как мне казалось, я проживу там долгие годы. Я даже успел принять нескольких гостей издалека. Приезжали ко мне Марко с невестой из своей Италии, затем приехал из Голландии Йоост Ван Россум. Бывали и гости из России. Но все же обстоятельства складывались так, что пустить корни в Мюнхене мне не удавалось.

* * *

Обжившись немного, я решил завести котеночка. Купил кошачий туалет, миски для еды и питья и стал разузнавать, где тут продаются котята. Оказалось, продаются только в зоомагазинах, только очень породистые и очень дорого. Зато в каждом городском районе печатаются свои многотиражки с объявлениями жителей, и по этим объявлениям легко можно найти семью, где недавно родились котята и которая охотно отдаст их в хорошие руки. В ближайшем супермаркете я захватил газету и стал ее изучать. Обнаружил объявления про котят и попросил своего знакомого, свободно владеющего немецким, позвонить хозяевам и договориться. Хозяйка сказала, что прежде всего хочет узнать побольше о нем самом.

– Да я не для себя договариваюсь, – говорит мой знакомый.

– А для кого?

– Для приятеля.

– Почему же он сам не позвонит?

– Он иностранец и по-немецки еще пока плохо говорит.

– Вы хотите, чтобы я отдала своего котеночка иностранцу?

– А почему бы и нет?

– Одна знакомая моих знакомых отдала своего котенка иностранцам – по-моему, они были откуда-то из Малайзии, – так они его, поверите ли, зажали и съели!

– Ну, в таком случае вы можете не волноваться, мой друг вовсе не из Малайзии. Он из Америки приехал, где никто кошек не ест. И вообще, он сам души в кошках не чаёт.

– Нет, и не думайте меня уговаривать! Нужно было с самого начала сказать, что речь идет об иностранце – я с вами и говорить не стала бы. Всего вам доброго!

Оставшись несолоно хлебавши, мы решили впредь быть умнее и о моем чужеземстве ничего не сообщать.

Позвонили мы по следующему номеру, и вот какой диалог у нас вышел:

– Я хотел бы взять у вас котенка.

– Не могли бы вы рассказать немного о себе?

– Я обеспеченный человек, тружусь в солидной фирме, получаю хорошее жалование, так что смогу обеспечить котенку достойный уход.

– В какой квартире вы живете?

– Моя квартира достаточно велика, чтобы котенок чувствовал себя просторно и вольготно.

– А как велика ваша семья?

– Семьи у меня нет, так что все моя забота будет направлена на котенка – мне ее не на кого больше растрачивать.

— Так значит, все время, что вы будете на работе, мой котенок будет совершенно один в вашей большой квартире? Ни за что вам его не отдам! И не просите больше.

Так я и не завел себе котенка. А вскоре грянули события августа 1991 года, я начал понимать, что пребывание на чужбине утрачивает всякий смысл, и мне пора собираться домой. Успей я завести котенка, все сильно усложнилось бы...

Эти же события прервали мое изучение немецкого языка. Радио «Свобода» оплачивало базовые курсы немецкого для своих сотрудников, и через пару месяцев по прибытии в Мюнхен я записался на них. Но когда в Москве разразился путч ГКЧП, мы все были вызваны на работу и в течение более двух недель работали без выходных в авральном режиме. Изучение немецкого пришлось прервать, а дальнейшие события не дали возобновить его.

Впоследствии я понял: то было еще одно указание, что в Германии оставаться я не должен.

* * *

Но все же большую часть моего времени в Мюнхене занимала работа. Работа на новой для меня радиостанции.

«Свобода» была создана в начале 50-х годов как единственная небольшевистская русскоязычная радиостанция. В отличие от «Голоса Америки» — официального органа правительства США, «Свобода» виделась как вольная и неподцензурная радиостанция, на которой сами русские предоставляют альтернативную комунистическую точку зрения. Соответственно, претензии за содержание передач правительством США не принимались — радиостанция, дескать, частная, неправительственная, мы-то тут при чем? Разумеется, ничего неподцензурного на самом деле не бывает, и у контента «Свободы» были свои достаточно жесткие ограничения (кстати, руководили станцией всегда назначенные Конгрессом высокопоставленные американские чиновники). Но в период борьбы с поработившим Россию коммунизмом на это мало кто обращал внимание. Поначалу «Свобода» финансировалась Конгрессом через ЦРУ. Но затем, в 1971 году, начался «детант», как на Западе называли разрядку напряженности в отношениях между США

и СССР. После этого финансирование «Свободы» передали Конгрессу США, и в редакции полностью поменялось руководство.

В самом конце 80-х годов радиостанция подошла к порогу новых радикальных перемен. Контакты с Россией усиливались, сотрудники радиостанции стали ездить за железный занавес, а люди оттуда — приезжать на Запад. Некоторые граждане СССР уже начинали практически легально сотрудничать с ней и открыто давать интервью. Перестройка и гласность делали свое дело, цензура в СССР сходила на нет соответственно, «Свобода», вместо единственной, постепенно делалась лишь одной из многих русских радиостанций. Руководству требовалось убедить Конгресс в необходимости продолжения проекта и сохранения финансирования. Для этого правительство США должно было увидеть веские причины полезности радиостанции в новых условиях.

* * *

Как я уже писал, многие доброжелатели предупреждали меня о нетерпимой обстановке в тесном эмигрантском кругу сотрудников «Свободы» (он был несравненно меньше, чем в Вашингтоне), о сплетнях, интригах, враждующих фракциях и подсиживании друг друга. К счастью, все это прошло мимо меня. Меня приняли редактором отдела новостей, и в силу краткости и чрезвычайной загруженности моей мюнхенской жизни, почти ни с кем из обитателей других отделов познакомиться я не успел.

Говорят, что ведущие тематических программ на «Свободе» не слишком перетруждали себя служебными обязанностями, так что времени на интриги оставалось более чем достаточно. Но в отделе новостей работы было очень много, поэтому отношения складывались там совсем иначе. Я попал в тяжелейшую потогонную систему. Семь часов рабочего дня, без перерыва на обед (принесенный с собой бутерброд приходилось проглатывать без отрыва от производства). Сидишь за компьютером (тогда еще очень примитивным), фактически не вставая, готовишь ежечасный десятиминутный выпуск новостей, который каждые три часа должен полностью обновляться. Сотрудников мало, в лучшем случае — один за редакторским

столом и двое «писателей» (по правилам полагалось пятеро). Редакторская смена – четыре часа. Редактор несет ответственность за выпуск: он вычитывает все переведенные писателями сообщения, составляет из них новостной эфир и в начале каждого часа наговаривает его в студийном прямом эфире. Поскольку рабочая смена составляла семь часов, оставшиеся три часа редактор дорабатывал в качестве писателя. Но пишущих журналистов не обязательно было двое, мог быть и один, а частенько бывало и так, что редактор готовил выпуски в полном одиночестве, хотя по правилам это запрещалось, потому что свои тексты не редактируют. Зато занятость выходила такая, что до ссор и выяснения отношений дело просто не доходило – некогда было. Мне даже не хватало времени задуматься о том, что работа – скучная и однообразная, что совсем не к этому стремился я в своей жизни и не того добивался. Поначалу по окончании смены я вставал со своего стула с дрожащими от усталости и напряжения коленями и с плавающими перед глазами зелеными кругами, и мне требовалось несколько часов, чтобы прийти в себя. Так что мы, в отделе новостей, свои деньги отрабатывали полностью.

* * *

Если на «Голосе Америки» я освоил свой первый компьютер, то на «Свободе» впервые столкнулся с электронной почтой. Там она была установлена внутри корпоративной сети, и, таким образом, все распоряжения начальства огромного комплекса посылали по почте. Должен сказать, что тогда это мне показалось вычурной причудой и игрой в научную фантастику: не проще ли просто разнести по кабинетам директивные письма или сообщить новости по телефону? Я и не подозревал, какое большое будущее у этого «корпоративного баловства». Впрочем, привыкнуть к сему новшеству я тогда так и не успел.

* * *

19 августа, в день Преображения Господня, возвращаясь с литургии, я зашел к Алексею Цветкову и застал его в крайне возбужденном состоянии: «В Москве переворот, все пропало! Там путч, конец перестройке. Начинаются страшные времена!».

Я побежал домой, где уже разрывался телефон: всех сотрудников отдела новостей срочно звали на службу. Следующие две недели мы практически безвылазно сидели в офисе, выдавая каждый час свежие выпуски последних событий. В студии я встретил и свой тридцать шестой день рождения. Отмечать его, разумеется, было некогда. Я много раз выходил в эфир, в глубине души надеясь, что не только мои знакомые и близкие услышат новости, сказанные моим голосом, но, может, даже запертый в Форосе Горбачев сейчас слушает меня.

Но еще сильнее я стал ощущать острое, щемящее переживание: ведь в моей стране сейчас происходит нечто чрезвычайно важное, а я при этом не присутствую. Кое-что мне эта ситуация напомнила. Когда я в первый раз приехал в Грецию, то заметил в центре Афин выставку с фотографиями уличных шествий и манифестаций, в результате которых от власти ушли «черные полковники». И, глядя на веселые, счастливые, вдохновенные лица простых греков, я ужасно позавидовал тем из них, кто в то время был на улицах и все видел, во всем участвовал. Но вот теперь то же самое происходило в России, а меня там нет!

Я сижу в будке и вещаю, вместо того чтобы быть в родной стране, на улицах родного города. Постепенно начало крепнуть чувство какой-то нечестности, неправильности моего пребывания вне России. Я вспоминал, что много раз с неприкрытым бахвальством заявлял себя политическим эмигрантом, а не экономическим переселенцем и свысока поглядывал на обитателей Брайтон-

Бича, Форест-Хиллса или Флашинга*. Но ведь коли это так, то причин обустривать свою жизнь за границей у меня больше не оставалось. Я стал серьезно думать о возвращении.

Конечно, это решение вызрело во мне не сразу: путь не удался, наш график вернулся к норме, и у меня появилось больше времени для размышлений. Я ведь неоднократно говорил, что вавилонское пленение не длится больше 70 лет и что СССР тоже больше семи десятилетий не протянет. Но то просто были шутки – реально-то я ведь и сам этому не верил? Или все же надеялся в глубине души? Но вдруг мое «пророчество» начинало сбываться. Сбываться вопреки всякому здравому смыслу. Каким-то образом надежда – и весьма робкая – вдруг переросла в реальность. Но принять решение о новой – и чрезвычайно радикальной – перемене жизни оказалось необычайно сложно. Отказаться от всего, что есть, – от жалования, льгот, комфортного европейского существования – и поехать в нищенскую неизвестность? Жить непонятно где, непонятно на что, неизвестно чем заниматься... Заново привыкать к совершенно новому существованию в почти уже незнакомой мне стране? Накопить денег хотя бы на первое время я еще не успел. Может, стоит подождать пару лет и переселяться уже потом, с накопленным «резервным фондом»?

Так я размышлял в ту тревожную осень. В ноябре я съездил на несколько дней в Париж – повидаться с американским приятелем, который тогда учился в Оксфордской докторантуре, вот мы и решили встретиться на полпути. За это время я уже довольно привык к удобному и размеренному мюнхенскому существованию и даже не представлял себе иного.

* Районы в Нью-Йорке, где селились многие эмигранты «третьей волны».

Я нашел ноябрьский Париж пасмурным, дождливым и... неожиданно красивым. Серая осенняя погода очень гармонировала с цветом его домов, придавая им даже какой-то жемчужный оттенок. После мюнхенской тишины я был оглушен обилием звуков: автомобильные гудки, крики разносчиков, громкие разговоры горожан. Пешеходы переходили дорогу на красный свет, ловко уворачиваясь от машин. Магазины работали в любое время суток, а не в строго обозначенные часы и дни. На улицах было грязно, и требовалось постоянно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в собачьи экскременты. И вдруг я почувствовал, что в первый раз Париж мне очень понравился, и, более того, с удивлением ощутил, как мне не хватало этой живой, настоящей жизни после комфортной, но совершенно стерильной баварской столицы! Вернувшись из Парижа, я понял, что Германия мне смертельно надоела, и я больше не хочу в ней жить.

* * *

И тут случилось еще одно весьма providенциальное событие, заставившее меня принять решение о возвращении на Родину. Впрочем, спровоцировало его событие, происшедшее немного раньше – недели через две после провала августовского путча. Как-то поздно вечером я в одиночестве сидел за редакторским компьютером (большинство коллег воспользовались отгулами за сверхурочные). Вдруг телетайпная лента центральной редакции «выплюнула» беседу с Еленой Боннэр – вдовой покойного академика Сахарова. Диссидентская дама рассуждала о будущем постсоветского государства и вдруг почему-то переключилась на Церковь, в которой, как оказалось, она видела своего злейшего идеологического врага. В частности, именитой вдове не понравилось, что Патриарх Алексей II отслужил на Ваганьковском кладбище литию об упокоении трех юношей, погибших во время

путча. Далее последовали злобно-клеветнические нападки на Церковь и Патриарха, цитировать которые не имеет никакого смысла.

Я прочел это кликушеское и истеричное заявление и выбросил его в корзину, сочтя, что оно не представляет ценности для новостного выпуска: в конце концов, Боннэр – не Сахаров, специалистом в какой-либо общественной или гуманитарной области не является, и ее агрессивные и некомпетентные идеи относительно Церкви никому не интересны. Есть другие новости, куда важнее.

Но оказалось, что у начальства Радио «Свобода» имелось совсем другое мнение. Через день меня вызвали к руководству и спросили, почему я не дал в эфир новость про Боннэр. Я объяснил почему. Мне довольно жестко сказали, что я допустил серьезнейшую ошибку (если даже не диверсию), которая будет иметь последствия. Честно говоря, вскоре я совершенно забыл об этом эпизоде, но сразу после того как я вернулся из Парижа, мне про него напомнили.

Начальник отдела новостей вызвал меня к себе и сообщил, что испытательный срок я не прошел и что по истечении полугодия (до этого оставался еще месяц), моя работа прекращается. Меня могут за счет радиостанции вернуть в Америку (разумеется, со всеми вещами). Честно говоря, такого поворота я никак не ожидал. Нужно было срочно принимать решение, что делать дальше. У меня оставалась возможность вернуться на «Голос Америки» (у уволившихся с госслужбы есть право в течение года восстановиться на ней с сохранением прежнего жалования).

Была в моем тогдашнем положении очевидная ирония: вновь, как много лет назад, передо мной стоял выбор: Америка или Россия. Но выбор этот в некотором роде был с обратным знаком: Америка означала знакомую мне жизнь и гарантии безбедного существования,

а новая, незнакомая мне Россия не обещала ничего, кроме полной неизвестности. Правда, против обратного пути в Америку, на старую надоевшую и бессмысленную работу, протестовала моя душа: ведь тогда я вернулся бы к тому, отчего только что бежал. Переезда в Россию разумом я страшился, но тем не менее внутренне ощущал, что должен это сделать.

А что если Сам Господь таким образом подталкивает меня к возвращению домой, в Россию, осекая соблазн стремления к стабильности и безбедному существованию?

Я позвонил отцу Иоанну Мейендорфу, и он отнесся к моей идее с неожиданным для меня с энтузиазмом: «Конечно, ты должен возвращаться! Там ты принесешь гораздо больше пользы. Да, материально тебе будет намного тяжелее, но, я знаю, ты сможешь это выдержать. Зато в духовном смысле жизнь твоя будет гораздо более наполненной, ты найдешь себе применение в церковной деятельности и сможешь послужить Церкви. Я уверен, что твое будущее – в России!»

Я редко слышал столь однозначные советы от отца Иоанна, и такая его категоричная реакция чрезвычайно меня вдохновила.

И я стал собираться. Интересно, но все вышло именно так, как я уговаривал себя, раздумывая над предложением работать на «Свободе»: переезд в Европу действительно приблизил меня к России. К тому же за счет своей, теперь уже бывшей, работы мне удалось перевезти в Москву все мои книги, что на свои средства сделать было бы весьма проблематично.

Я договорился, что вещи мои пока поместят на склад, а в течение полугодия я сообщу российский адрес, куда их доставить. Поскольку перемещать меня в Россию выходило значительно дешевле, чем в США, «свободское» радиона начальство легко согласилось на мое предложение.

Друзья по обе стороны океана были в шоке. Говорили, что я сошел с ума, не знаю, что делаю, и потом долго буду жалеть об этом (если, конечно, выживу). В Москве ведь голод, нищета и страшная преступность. По улице невозможно пройти: грабят каждого второго, убивают каждого третьего. Выживают лишь счастливчики. Но они жестоко страдают от голода и холода.

Не могу сказать, что на меня это не действовало. Полная неизвестность относительно будущего тоже очень пугала. Но тем не менее решение было принято, отступить от него не приходилось. Я вновь раздал все лишние вещи и упаковал книги. К переезду все было готово.

* * *

И вот наконец в заставленную книжными коробками квартиру пришли дюжие немецкие грузчики и начали таскать их вниз.

— Что там у вас такое неподъемное? — спросил один из них.

Я стал объяснять:

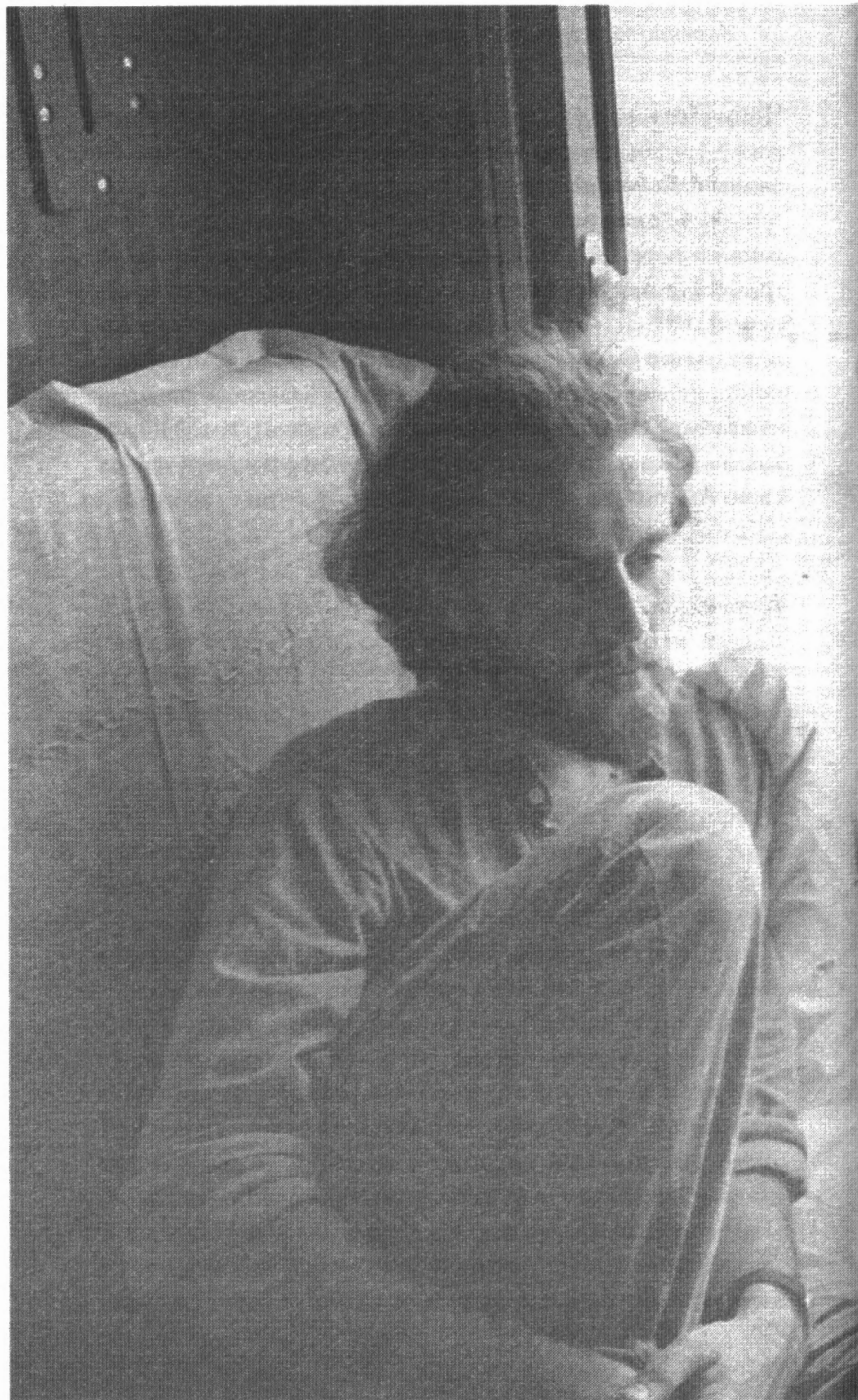
— В этих коробках у меня художественная литература, в этих — философия, в этих — история, в этих — теология.

— Да, тяжелая вещь теология! — подытожил грузчик, с кряхтением взваливая на плечо очередную коробку.

Даже без основного груза, багажа с собой у меня набралось более чем достаточно. Компьютер, принтер, запас картриджей (кто знает, можно ли их достать в России?), некоторые самые важные книги, одежда, подарки... В общем, самолетом лететь не получалось. Я решил опять ехать поездом. Прямых рейсов из Мюнхена не было. Я доехал до Будапешта, где, к счастью, у меня жил давний приятель, который помог мне выгрузиться. Я погостил у него три дня, потом он вновь отвез меня на вокзал, посадил в купе, и я поехал по направлению к знакомому уже

Чопу. Этот поезд был полон самыми первыми «челноками» — довольно разношерстной публикой, так что я со своим багажом не слишком выделялся из них.

И вот наконец 31 декабря 1991 года я вышел из вагона на перрон Киевского вокзала в Москве. Моя эмигрантская жизнь длилась четырнадцать лет, девять месяцев и двадцать пять дней. Моей церковной жизни вот-вот должно было исполниться одиннадцать лет. Я еще до конца не верил, что вернулся в Россию навсегда, не знал, что буду делать, чем заниматься и как сложится моя новая жизнь. Но зато я отчетливо понимал, что наконец нашел свою Америку.



ЭПИЛОГ ВТОРОЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ К ПРОЛОГУ...

А под конец узнай, как чудно
Все вдруг по-новому понять.

Ходасевич



ЭПИЛОГ II

Вот уже двадцать лет, как я живу в Москве.

Можно сказать, что этим последним переездом завершился затянувшийся период моего ученичества, моего личностного формирования, и наконец началась ответственная жизнь. До этого я в основном лишь брал от окружения. Теперь настала пора раздавать. В моей жизни это произошло довольно поздно, но, наверное, таков был Промысл Божий для меня, в конце концов приведший меня в нужное время в нужное место. Я уехал из Москвы инфантильным юношей, а вернулся взрослым тридцатилетним человеком, с одной стороны, еще достаточно молодым и полным сил, но при этом обладающим некоторым накопленным опытом и запасом знаний. Все это мне сразу же пригодилось и оказалось востребованным.

По рекомендации отца Иоанна Мейендорфа я стал работать в новосозданном Отделе религиозного образования и катехизации под непосредственным руководством приснопамятного отца Глеба Каледы. Там и сформировалось новое направление, которым я начал заниматься – противодействие тоталитарным сектам. Конечно, если раньше мне кто-нибудь сказал бы, что я стану профессиональным сектоведом, я ни за что не поверил бы такому человеку. Но жизнь часто преподносит нам совсем неожиданные сюрпризы. По-видимому, ради этого дела я и был возвращен на родину.

Первое время я чувствовал себя иностранцем и воспринимался таковым даже на улицах русских городов. Но через пару лет это ощущение безвозвратно прошло, и я давно чувствую себя дома только в России. Мне много приходится ездить, и я повидал мою страну во всей ее необъятной шири – от Камчатки и Сахалина на востоке до Калининградской области на западе и от Мурманска и Якутии на севере до Пятигорска и Астрахани на юге.

У меня появилось много новых друзей, прежде всего – в Церкви, которой я служу. Познакомился и сблизился

я и со многими европейскими коллегами-сектоведами, которые также делают все возможное, чтобы противостоять сектантской угрозе.

Я вернулся к преподаванию и уже пятнадцать лет преподаю в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете – лучшем негосударственном учебном заведении страны.

После нескольких лет жизни на родине мне восстановили российское подданство взамен утраченного советского (то, что уезжавших из СССР лишали его, было признано незаконным), и я ощущаю себя полноправным гражданином своей страны.

За эти годы мне приходилось переживать сложные моменты, сталкиваться с тяжелыми испытаниями (а как же без них?) и делать нелегкий выбор, но я ни разу не пожалел о принятом решении и счастлив тем, что живу в своей России.

Но гораздо больше было радостей: за эти двадцать лет моего московского бытия произошло множество важных и светлых происшествий, я пережил (и переживаю) массу интереснейших эпизодов, бываю в уникальных местах и встречаюсь с необыкновенными людьми. По наполненности событиями и концентрированности жизнь моя давно превзошла все то, что я когда-либо испытывал в эмиграции. Впрочем, это уже совсем другая история.

Москва – Агиос Иоаннис – Москва, 2009–2012

В книге использованы рисунки и фотографии
из личного архива автора;
фотографии, любезно предоставленные
С. А. Шмеманом, М. Заиграйкиной, А. Никифоровой,
а также фотографии А. Бурого, Э. Кан, Н. Меирович.

СОДЕРЖАНИЕ

Прот. Димитрий Смирнов. ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!	9
Олеся Николаева. ПРЕДИСЛОВИЕ	11
 ПРОЛОГ: АМЕРИКА И Я	
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:	
СТАРЫЙ ЖУРНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ	19
Разъяснение	25
 КНИГА ПЕРВАЯ: В ПОИСКАХ СВОБОДЫ	
ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ	45
ВОЛОСАТЫЕ	57
Как я не произнес речь с балкона	57
Выпасть из советской действительности	60
Творение КПСС	79
Первый урок	81
В храме	82
Больше не студент	82
В Системе	87
Что делать?	97
Автостопом вокруг России	102
Я уезжаю	117
Римские каникулы	137
Я НАЧИНАЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ	152
РАБОТА	173
УЧИТЕЛЬ	189
ОПЯТЬ ПРО РАБОТУ	199
УНИВЕРСИТЕТ И УЧЕБА	212
Про Нью-Йорк и его нравы	218
Я ПЕРЕЕЗЖАЮ	233
ЖИЗНЬ В ГАРЛЕМЕ: У ОКСАНЫ	237
ДРУЗЬЯ-ПРИЯТЕЛИ	248
ВЫБОР	259

ОТЕЦ ИАКОВ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС	266
Я ПОПАЛСЯ	276
АМЕРИКАНСКАЯ ИЛИ ЗАРУБЕЖНАЯ?	289
НОВЫЙ ПЕРЕЕЗД	299
НОВЫЕ И СТАРЫЕ ПРИХОЖАНЕ	305
КРЕЩЕНИЕ	315
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ	325

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ

Бес в храме	345
Как я поссорился с Довлатовым	348
Судьбы скрещенья	350
Психоанализ в Церкви	352

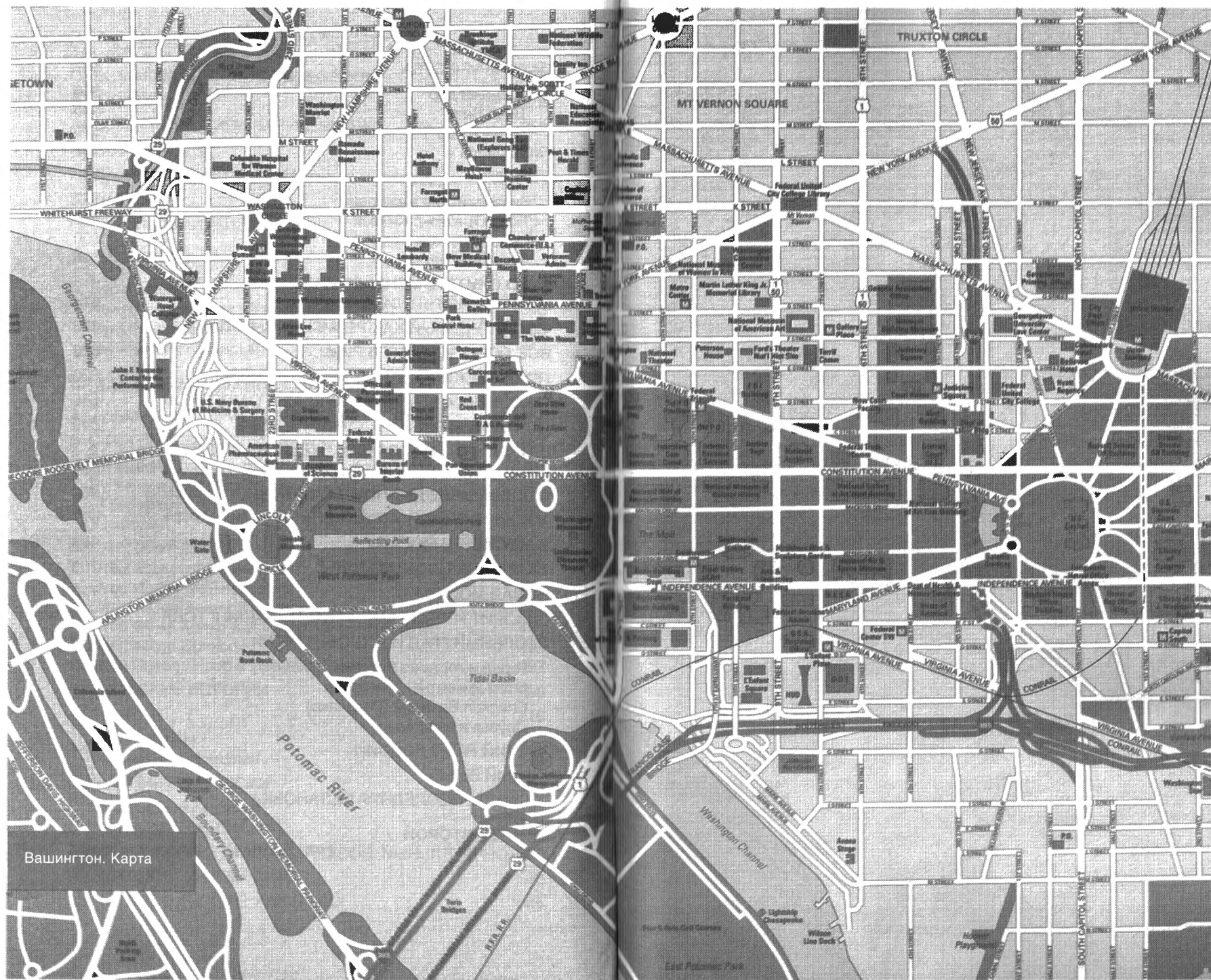
КНИГА ВТОРАЯ: ПРАВОСЛАВНАЯ АМЕРИКА

АКАДЕМИЯ: ИСТОРИЯ И ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ	358
ГАС-ПОГОРЕЛЕЦ И ДРУГИЕ	387
СЕМИНАРИСТЫ	390
Русские и русскоязычные	390
«Конверты»	395
Украинцы	424
ПРЕПОДАВАТЕЛИ	432
Отец Александр Шмеман	433
Отец Иоанн Мейендорф	458
Сергей Сергеевич Верховской	483
Отец Фома Хопко и звездно-полосатый флаг	491
Профессор Эрикссон	495
Отец Павел Лазор и Промысл Божий	497
ПРИХОДСКИЕ ИСТОРИИ	506
АЛЯСКА	516
Миссионерша	516
Больничный капеллан	519
РОЖДЕННЫЕ В РОССИИ	523
Столетний священник	523
Настоящий Лев Троцкий	525
АМЕРИКАНСКОЕ ГРАЖДАНСТВО	533
ИЕЗУИТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	538
АВТОСТОП В ЕВРОПЕ: КАК БЫЛО	546

ПАЛОМНИЧЕСТВА	567
Щедрый дар	568
Дядя Вася	570
Четыре дня	573
Израиль	575
ТУРЦИЯ	592
Византийские экскурсии	592
Тюрк Ортодокс Килези	598
Способ передвижения	600
Афонские четки	606
КОГО СЧИТАТЬ МЕНЬШИНСТВОМ	
И «МЕРТВАЯ ПЯТНИЦА»	614
«ИВАН ГРОЗНЫЙ КАК РЕЛИГИОЗНЫЙ ТИП»	623
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ	626
ПО СЕРБСКИМ МОНАСТЫРЯМ	630
О КРОЛИКАХ, КОТЯТАХ И КУВШИНЕ С МОЛОКОМ	640
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН РУССИКУМ	649
ШОТЛАНДЕЦ МАКЛАКОВ, ОТЕЦ ГЕРМОГЕН, ГРАФ ДЖУЗЕППЕ И БЛАГОРОДНЫЕ РАЗБОЙНИКИ	657
МОШЕННИЧЕСТВО ПО-ИТАЛЬЯНСКИ	662
ЖИЗНЬ В РИМО-КАТОЛИЧЕСКОЙ СЕМИНАРИИ	672
В МОСКВУ, В МОСКВУ...	688
ЕХАТЬ ИЛИ ОСТАВАТЬСЯ?	703
НОВАЯ МОСКВА	710
ГОВОРIT «ГОЛОС АМЕРИКИ» ИЗ ВАШИНГТОНА	718
СТОЛЬНЫЙ ГРАД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ	730
Город и гости из России	730
Отец Димитрий Григорьев	738
Епископ Василий (Родзянко)	742
Друзья и знакомые	746
ТРЕТИЙ РАЗ В РОССИИ	754
НОВЫЙ ВЫБОР	765
МЮНХЕН: ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА	769

ЭПИЛОГ ВТОРОЙ

И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ К ПРОЛОГУ..	789
---	-----



Вашингтон. Карта



27

27A

28

28A

29

30

30A

31

31A

21 KODAK

22 PROFOTO 100-4

23 KODAK



32

33

33A

34

34A

35

35A

36

36A

37

37A

27

KODAK

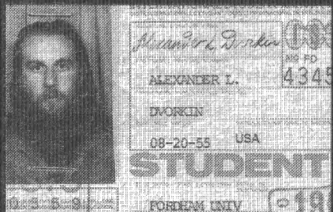
28

PROFOTO 100-4

KODAK

30 PROFOTO 100-4

31 KODAK



27

27A

28

28A

29

30

30A

31

31A

32

KODAK

22 PROFOTO 100-4

23 KODAK

24 KODAK

22 PROFOTO 100-4

23



33

33A

34

34A

35

35A

36

36A

37

37A

27

KODAK

28

PROFOTO 100-4

KODAK

30 PROFOTO 100-4

31 KODAK



27

27A

28

28A

29

30

30A

31

31A

32

Дворкин Александр Леонидович

МОЯ АМЕРИКА

Автобиографический роман
в двух книгах с прологом и двумя эпилогами

Издание 2-е, исправленное

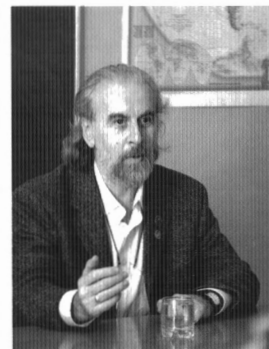
Ответственный редактор: А. И. Стариченков
Литературный редактор: А. В. Вигилянская
Оригинал-макет, верстка: Е. Ю. Агафонов
Оригинал-макет, оформление: С. А. Хидоятов
Технический редактор: В. В. Кременецкий
Корректоры: И. З. Дьякова, Н. В. Лукиянова

ООО «РИЗА»,
125167, г. Москва,
ул. Красноармейская,
д. 2, стр. 4

ООО Издательство «Христианская библиотека»,
603086, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, д. 4-а, оф. 26.
Тел. (8-831) 277-64-75

Подписано в печать 25.10.2013. Формат 84х108/32
Печать офсетная. Объем 25 печ. л.
Тираж 3000 экз. Заказ № 5025/13

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт», г. Тверь, Боровлево 1
www.pareto-print.ru



Александр Леонидович Дворкин (род. в 1955 в Москве) — историк, богослов и эксперт по проблемам экспансии новых религиозных движений в России. В 1977 эмигрировал из СССР в США. В 1980 принял крещение в православном храме Христа Спасителя в Нью-Йорке. В 1980 закончил Нью-Йоркский университет и продолжил образование в Свято-Владимирской православной духовной академии, которую закончил в 1983 со степенью кандидата богословия. В 1988 в Фордхемском университете (Нью-Йорк) под руководством о. Иоанна Мейендорфа защитил докторскую диссертацию по средневековой истории.

31 декабря 1991 вернулся в Россию и был принят на работу в Отдел религиозного образования и катехизации Московской Патриархии. С 1993 возглавляет Центр религиозоведческих исследований во имя сщмч. Иринея Лионского, а с 2006 — Российскую ассоциацию центров изучения религий и сект.

С 1993 по 1999 — профессор церковной истории Российского Православного университета. В настоящее время — профессор кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вице-президент Европейской федерации центров по изучению и информированию о сектантстве (FECRIS). Автор 15 книг и около 700 публикаций на 17 языках. Совокупный тираж его книг превысил полмиллиона экземпляров.

«Моя Америка» представляет собой бесценное свидетельство о великих людях, с которыми автора свел Господь. Воспоминания об отце Александре Шмемане, отце Иоанне Мейендорфе, отце Георгии Флоровском и многих других потрясающих людях, с которыми Александр Леонидович близко общался, добавляют живые штрихи к их портретам.

Читается залпом! Сердечно хочется выразить благодарность автору книги, открывающей чрезвычайно интересные странички подлинной американской церковной жизни, свидетелем и участником которой он был.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Книга Александра Дворкина «Моя Америка» — это автобиографическое произведение, по своей канве напоминающее авантурный роман — столь много здесь захватывающих приключений, авантурных сюжетов, скитаний, странствий, духовных блужданий, обольщений, разочарований, открытий и откровений, испытаний и искушений, которые предстоят герою.

А герой — это молодой человек, московский хиппи, своего рода длинноволосый и джинсовый «хипповский профи» начала семидесятых годов, входящий в Систему, знакомый с легендарным вождем хиппи Солнышко, посещающий подпольные «сейшены», путешествующий к теплому морю авто-стопом, удостоенный милицейских разбирательств и даже несколькодневного тюремного заключения с насильственным обриванием головы.

В поисках истинной свободы и вольных людей, настоящих, подлинных хиппи, этих «детей цветов», герой отправляется «на страну далече», а именно эмигрирует по израильской визе через Вену и Рим в США... Здесь и начинается настоящая «школа жизни»: истории забавные и страшные, события удручающие и чудесные, люди, порой полубезумные, порой премудрые... Тесен и узок путь к подлинной свободе!

Олеся Николаева

